This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

НЕЧАЯННО.

ПОВѢСТЬ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ИЗДАНІЕ

Ж. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39).
1886.

Я. П. ПОЛОНСКІЙ.

НЕЧАЯННО.

ПОВѢСТЬ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ИЗДАНІЕ

Ю. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39).
1886.

Текстъ книги печатанъ въ типографіи И. Н. Скороходова
(Надеждинская, № 39).

НЕЧАЯННО.

ПОВѢСТЬ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Утромъ, въ новый 1865 годъ, навстрѣчу метели, изъ мѣховаго воротника Александра Васильевича Пулькина торчалъ сильно покраснѣвшій посъ его. Онъ ѣздилъ благодарить начальство за первый полученный имъ орденокъ, Станислава третьей степени, и... ропталъ...

Ропталъ на дороговизну извозчиковъ, на то, что денежная награда къ праздникамъ ускользнула изъ рукъ его, на швейцара, почтительная вѣжливость котораго выудила изъ кошелька его тридцать копѣекъ, — на то, что сей швейцаръ въ одно это утро получитъ (шутка сказать!) 2,000 рублей на водку отъ пріѣзжающихъ, а онъ, чего добраго, истратитъ свои послѣдніе 4 рубля, и — вотъ что значитъ молодость! — на скверную погоду вовсе не ропталъ мой Пулькинъ, даже не замѣчалъ ея.

Подъѣзжая къ дому Анны Петровны Любиной, онъ ухватился рукой за обшлагъ форменнаго вицмундира и сталъ недоумѣвать: войти или подать только карточку; а если примутъ, войти съ орденомъ или спрятать его въ карманъ... Либерально или нелиберально выставлять на

видъ только что полученную награду и, такъ сказать, какъ бы хвастаться видимымъ расположеніемъ начальства.

Въ гостиной у Анны Петровны, Пулькинъ засталъ только дочь ея Лизу и двухъ военныхъ, въ полной формѣ и съ орденами.

Пулькинъ невольно пожалѣлъ, что въ передней, причесываясь передъ зеркаломъ, онъ, при лакеяхъ, откололъ Станислава — и спряталъ его у себя въ боковомъ карманѣ.

Лиза, разумѣется, не читала «Сенатскихъ Вѣдомостей», а потому его не поздравила; вообще, она приняла его холодно-вѣжливо, извинилась за мама, что она выйти не можетъ, потому что простудилась и не совсѣмъ здорова.

Пулькинъ пошаркалъ ногами—сказалъ, что на дворѣ метель, что есть слухи о назначеніи новаго министра... хотѣлъ спросить, давно ли Лизавета Михайловна видѣла Елену Александровну Затаилову, но не рѣшился спросить, и уѣхалъ почему-то очень сконфуженный. Еще никогда молоденькой, черноглазой Лизы не видалъ онъ такой натянутой, такой съ нимъ нелюбезной, т. е. неразговорчивой. Даже не спросила, отчего его не было наканунѣ, вмѣстѣ съ ея кузеномъ Сопѣлкинымъ!

Вѣрно этотъ Сопѣлкинъ что-нибудь на меня насплетничалъ, подумалъ Пулькинъ, и угадалъ: Сопѣлкинъ ничего не сказалъ про него дурного, но, ради поддразнивающей болтовни, увѣрилъ свою кузину, что Пулькинъ былъ къ ней неравнодушенъ, а потомъ—измѣнилъ ей и пылаетъ къ какой-то Затаиловой.

Лиза ни на волосъ не была влюблена въ Пулькина. Никогда не пошла бы за него замужъ, но была самолюбива. Ужъ если Пулькинъ былъ къ ней неравнодушенъ, то ему непростительно мѣнять ее на кого бы то ни было.—Я вовсе не хуже Лелечки Затаиловой—думала Лиза—и терпѣть не могу вѣтренниковъ.

II.

На третій день Новаго года, вечеромъ, въ домѣ Любиныхъ собралось небольшое общество—двѣ дамы, одна разбитная, другая скучная, три дѣвицы, два лицеиста, только что поступившіе въ сенатъ на службу, одинъ молодой помѣщикъ изъ Костромы, неизмѣнные—инженеръ, усатый старикъ, отставной полковникъ и, наконецъ, нашъ Пулькинъ. Но, не смотря на то, что сама хозяйка была, по обыкновенію, любезна съ нимъ, даже пожалѣла, что нѣтъ Лели Затаиловой—такъ какъ, добавила она, я вижу, вамъ у насъ невесело... Не смотря на эту внимательность, Пулькинъ держался въ сторонѣ и былъ молчаливъ, какъ запуганный школьникъ... Онъ не могъ не почувствовать, до какой степени милая Лиза перемѣнила съ нимъ свое обращеніе; ему казалось,—цѣлая пропасть легла между нимъ и ею. Начиналъ ли онъ говорить—Лиза тотчасъ же заводила новый разговоръ, какъ бы не обращая вниманія на слова его; намекалъ ли онъ на то, что она къ нему перемѣнилась, и что если онъ виноватъ, то въ чемъ именно заключается вина его — Лиза казалась удивленною, говорила, что она все такая же, и что все это ему воображается.

Посягалъ ли онъ на комплиментъ или вообще на что нибудь лестное,—Лиза пожимала плечами и смотрѣла на другихъ, какъ бы спрашивая: чего хочетъ отъ меня этотъ господинъ?!

Уйду — думалъ сконфуженный Пулькинъ — вообразятъ, что я разсердился, не уйду—подумаютъ, что у меня нѣтъ ни малѣйшаго гонора. Сѣлъ бы играть въ преферансъ... а ну какъ проиграю рублей десять!... Куда ни кинь, вездѣ клинъ!

*

Пока раскрывали ломберный столъ для играющихъ въ карты, молодые люди столпились въ залѣ у рояля.

Одинъ изъ бывшихъ лицеистовъ, только что приписанный къ сенату, наигрывалъ какой-то мотивъ и даже подпѣвалъ, хотя ни малѣйшаго признака веселости не было на приторно-серьезномъ лицѣ его. Другой о чемъ-то спорилъ. Барышни лепетали и сдержанно посмѣивались.

Пулькинъ сѣлъ у окна и смотрѣлъ въ дверь столовой, гдѣ двигалась тяжелая фигура экономки и хрустѣли куски сахара, перекладываемаго изъ жестянки въ сахарницу и позвякивали чайныя ложечки. Вдругъ имя Лели, т. е. Затаиловой коснулось ушей его.

— Ахъ, эта бѣдненькая Леля! какъ бы продолжая начатый разговоръ, пролепетала Лиза; какая она впечатлительная! И что хорошаго нашла она въ этомъ студентикѣ?...

— Ну, вотъ... какой вздоръ!...

— А! Это тотъ, что провожаетъ ее на лекціи... Коситъ глазами? Уменъ?... послышались вперебивку голоса любопытныхъ барышенъ.

— Да, онъ, говорятъ, уменъ...

— А эта Леля такая впечатлительная!... Впрочемъ, мало ли въ кого можно влюбиться!... добавила Лиза тѣмъ же наивно-лепечущимъ голоскомъ.

Она не засмѣялась, даже не улыбнулась, но мелькомъ взглянула въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ Пулькинъ, слегка зарумянилась, раскрыла ноты, положенныя на рояль, и заговорила съ бывшимъ лицеистомъ о Шубертѣ.

Она чувствовала, что Пулькинъ задѣтъ ея словами заживо и мысленно хохотала надъ его молчаливой, вытянутой физіономіей...

Лицеистъ сталъ наигрывать Шуберта, явно à livre ouvert, онъ останавливался на трудныхъ мѣстахъ, но туше его былъ недуренъ и въ лицѣ была самоувѣрен-

ность, недопускающая ни малѣйшаго сомнѣнія въ его громадныхъ, музыкально-артистическихъ способностяхъ.

Когда всѣ пошли въ столовую чай пить, Пулькинъ взялъ съ окна шляпу и на цыпочкахъ вышелъ въ переднюю, съ явнымъ намѣреніемъ—*стушеваться*.

Пулькинъ былъ просто-на-просто бѣдный чиновникъ, много-много что помощникъ столоначальника въ одномъ изъ департаментовъ министерства. Хотя онъ и считалъ себя свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ, членомъ самаго образованнаго общества; хотя и чистилъ свои бѣлыя перчатки такъ, что можно было объ закладъ побиться, что онѣ совершенно новыя; хотя и былъ, по милости своего сожителя, Сопѣлкина, принятъ въ домѣ его превосходительной тетушки, Анны Петровны Любиной, какъ свой человѣкъ; хотя онъ и былъ собой весьма недуренъ—высокъ, но не очень,—сухощавъ, но строенъ; хотя лицо его и было даже слишкомъ выразительно для чина титулярнаго совѣтника: блѣдное, съ карими глазами, съ длиннымъ и тонкимъ, совершенно гальскимъ носомъ, съ темно-каштановыми на головѣ волосами, съ англійскимъ назади проборомъ, и съ такими же темными, по молодости лѣтъ, далеко еще не густыми, но уже совершенно министерскими, такъ сказать, форменными баками, ибо почти у всѣхъ въ департаментѣ были такіе же бритые подбородки и такія же баки, — однимъ словомъ, такое лицо, которое многимъ нравилось, особливо на улицѣ; хотя Пулькинъ и вполнѣ сознавалъ свои физическія и нравственныя преимущества передъ всѣми чиновниками одного съ нимъ чина; хотя и считалъ себя выше многихъ по части либеральныхъ идей, но на взаимность такой барышни, какъ Леля Затаилова, или на возможность когда-нибудь сочетаться съ нею законнымъ бракомъ не имѣлъ ни малѣйшей претензіи. Онъ очень хорошо зналъ, что, получая 60 рублей въ мѣсяцъ жалованья, въ такой сто-

лицѣ, каковъ Петербургъ, онъ тотчасъ же превратится въ совершенное «*ничто*», какъ скоро не шутя захочетъ сдѣлать предложеніе кому-либо изъ числа фешенебельныхъ дѣвицъ, вращающихся въ томъ обществѣ, въ которомъ онъ вращается, и хотя Анна Петровна Любина и намекала ему, будто бы Леля Затаилова къ нему не совсѣмъ равнодушна, и хотя ему отъ всей души хотѣлось повѣрить ей, — повѣрить ей онъ не могъ, имѣя за душой не болѣе трехъ рублей съ какими-нибудь копейками. Онъ былъ слишкомъ для этого благоразуменъ, и странно—отчего онъ такъ обидѣлся, такъ былъ страшно возмущенъ и озадаченъ, когда узналъ, что Леля Затаилова влюблена въ какого-то студентика.

— Чортъ ихъ возьми! думалъ онъ, шагая вдоль улицъ, освѣщенныхъ снизу и придавленныхъ сверху тяжелымъ, непроглядным мракомъ, среди пьяныхъ голосовъ, двигающихся саней, тѣней, освѣщаемыхъ фонарями людскихъ и лошадиныхъ профилей, занавѣшанныхъ оконъ и блестящихъ вывѣсокъ.

— Очень мнѣ нужно! Очень!—Очень я нуждаюсь! повторялъ Пулькинъ, ибо очень скверно было на душѣ его. Онъ и не догадывался, что кокетка Лиза просто мстила ему за то, что онъ влюбленъ не въ нее, а въ другую, что поступилъ онъ очень глупо, улизнувъ изъ гостей, ибо этою выходкой явно доказалъ онъ Лизѣ, что и Сопѣлкинъ правъ, и маменька ея права, и что Пулькинъ не вынесъ той боли, какую причинила она его мечтательному сердцу своею злонамѣренною, летучей болтовней о Лелечкѣ Затаиловой.

Иначе все это понималъ Пулькинъ.—Я такой же, думалъ онъ, чортъ возьми, дворянинъ, какъ и они. Я не глупѣе ихъ, чортъ возьми! У меня и безъ нихъ, слава Богу, есть дома, гдѣ принимаютъ меня по-человѣчески. А что Затаилова влюблена въ какого-то студентика, ну

и пускай! Мнѣ что за дѣло!... Я и претензіи не имѣлъ на ея взаимность. Свѣтъ не клиномъ сошелся. Слава Богу, не она одна... куда ужъ намъ за такими учеными барышнями ухаживать!

И онъ чуть-чуть не повторилъ словъ Сопѣлкина: надобно прежде выучиться взятки брать, а ужъ потомъ и мечтать о взаимности какой-нибудь чиновнической дочки.

— Студентикъ! Гм! а можетъ быть у этого студентика 20,000 годоваго дохода, — гдѣ ужъ намъ съ такими юношами соперничать!... А можетъ быть какой-нибудь геній... феномен первой руки? Ну и Богъ съ ними! Отправлюсь-ка лучше на Васильевскій островъ къ Соколовымъ.

И черезъ часъ онъ уже пилъ чай у этихъ Соколовыхъ—и потомъ, до 3-хъ часовъ пополуночи, въ низенькомъ, но довольно просторномъ залѣ, подъ звуки растроеннаго фортепьяно, танцовалъ съ гимназистками, гимназистами, офицерами, гувернантками, юными докторами и удалыми педагогичками, словомъ, среди толпы всевозможныхъ возрастовъ, толкотни, хохота и разныхъ дурачествъ. Всѣ были въ сюртукахъ—онъ одинъ былъ во фракѣ и бѣломъ галстухѣ. Всѣ были веселы и врали все, что приходило въ голову; одинъ Пулькинъ по временамъ задумывался: образъ Лели Затаиловой безпрестанно рисовался и смущалъ его воображеніе. И ни одного-то лица, среди этихъ веселыхъ, разбитныхъ толстушекъ, рѣзвушекъ и хохотушекъ, не нашлось такого, которое могло бы замѣнить или хоть напомнить ему то милое личико, которое рѣшился онъ никогда не встрѣчать и не видѣть!

III.

На другой день, 4-го января, сожитель Пулькина и товарищъ по службѣ Степанъ Авдѣичъ Сопѣлкинъ былъ именинникъ.

Не смотря на тусклое утро, онъ былъ въ праздничномъ настроеніи духа. Его кухарка, красавица Софья, преподнесла ему къ чаю кондитерскій пирогъ, украшенный сахарнымъ рогомъ изобилія и цвѣтками изъ конфектъ и шеколадныхъ лепешечекъ.

Въ своемъ новомъ халатѣ, Сопѣлкинъ имѣлъ видъ молодаго филистера, воображающаго, что и конца не будетъ его медовому мѣсяцу.

На Софьѣ было новое платье — ременный поясъ съ стальной пряжкой охватывалъ ея талью, башмачки поскрипывали, черные глаза свѣтились, изрѣдка только тѣнь легкаго неудовольствія пробѣгала по лицу ея. Она вспоминала, какъ въ пятомъ часу утра, когда она только что заснула крѣпкимъ и сладкимъ сномъ, раздался звонокъ и какъ она должна была встать, должна была зажечь свѣчку, накинуть кацевейку и босикомъ бѣжать отворять дверь Пулькину, который, какъ ей показалось, былъ въ нетрезвомъ видѣ и, взявъ у нея свѣчу, покачнулся и чуть не упалъ.

Та же тѣнь неудовольствія пробѣгала по лицу и счастливаго Сопѣлкина.

— Этого скоро не будетъ, — таинственно произнесъ онъ вполголоса, допивая послѣдній стаканъ чаю и многозначительно поглядѣлъ на дверь, за которою спалъ Пулькинъ.

— Мы наймемъ другую кухарку. А ты... поселишься вотъ тутъ и... и Сопѣлкинъ указалъ на дверь, за которою спалъ Пулькинъ.

— Да неужели ли же онъ до сихъ поръ не можетъ очнуться?... Мнѣ надо уйти—тебѣ тоже.

Сопѣлкинъ вошелъ въ комнату Пулькина и сталъ его расталкивать.

— Перестаньте нѣжиться—скоро двѣнадцать часовъ... Пожалуйста, не задерживайте...

Пулькинъ спалъ какъ мертвый.

— Эй, слышите! Можно ли сегодня вечеромъ воспользоваться вашимъ столомъ и вашей комнатой?

При этомъ Сопѣлкинъ такъ толкнулъ его, что Пулькинъ приподнялъ голову...

— А? что?

— Можно ли, я говорю вамъ, сегодня вечеромъ воспользоваться вашей комнатой?

— Что? зачѣмъ?

Пулькинъ очевидно ничего не понималъ.

— Гости будутъ...

— Гости? Какіе гости? Ну, хорошо. Дѣлайте, что хотите, только оставьте меня въ покоѣ.

И Пулькинъ энергично отвернулся къ стѣнкѣ и закуталъ въ одѣяло сонное лицо свое.

Окончательно проснувшись, онъ уже не засталъ дома своего сожителя. Софья собиралась идти на рынокъ за разными покупками и рѣшительно отказалась подогрѣвать самоваръ.

— У насъ и плита не топится, и угольевъ нѣтъ, и баринъ дома не обѣдаетъ... Не хочу, да и только.

— Коли вы барыней хотите быть,—говорилъ ей Пулькинъ, стоя на порогѣ въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и довольно живописно растрепанный. — Коли вы для меня шагу не хотите сдѣлать, то, ужъ не взыщите, я платить вамъ не буду.

— И не нужно! Проживемъ и безъ вашихъ денегъ,— грубо и вспыльчиво отвѣчала Софья. И, накинувъ на

плечи новый шерстяной платокъ, вышла вонъ и хлопнула дверью.

Кое-какъ умылся, одѣлся и причесался раздосадованный Пулькинъ. Онъ чувствовалъ, что ему остается одно—пріискать себѣ новое обиталище. И онъ бы это сдѣлалъ тотчасъ же, если бы не бездене жье.

IV.

Не ранѣе двухъ часовъ, Пулькинъ заперъ снаружи свою квартиру, отнесъ ключъ дворнику и, голодный, пошелъ узнать, нѣтъ ли чего-нибудь новаго въ департаментѣ.

Онъ былъ такъ золъ, что даже не хотѣлъ отвѣдать пирога съ рогомъ изобилія, который стоялъ около похолодѣвшаго самовара и чайника, покачнувшагося на конфоркѣ и уныло склонившаго на бокъ фаянсовый носикъ свой.

Зайдя въ департаментъ и не заставши на обычныхъ мѣстахъ своихъ ни секретаря, ни столоначальника, Пулькинъ отправился въ кафе-ресторанъ на Невскій.

Выпивъ рюмку померанцевой водки и закусивъ горячимъ пирожкомъ, усѣлся онъ въ бильярдной комнатѣ и долго молча глазѣлъ, какъ нацѣливаются и ерзаютъ кіи, какъ катаются шары по зеленому полю, какъ они сшибаются, щелкаютъ, разбѣгаются, а иногда съ трескомъ влетаютъ въ лузу; какъ широкіе газетные листы, заслоняя лица читающихъ, въ то же время заслоняютъ и свѣтъ изъ оконъ, падающій въ дымную атмосферу биткомъ набитой комнаты.

— А что! не пуститься ли и мнѣ на эту штуку, — подумалъ Пулькинъ:—давно ужъ я не игралъ, а игралъ когда-то недурно; ну, проиграю послѣдніе три рубля съ полтиной — бѣда не велика, а можетъ быть и выиграю.

И онъ сидѣлъ, сидѣлъ, глазѣлъ, глазѣлъ, дымъ становился гуще, свѣтъ тусклѣе, кое-гдѣ ужъ загорались лампы съ широкими зелеными колпаками, повиснувшія надъ бильярдами; онъ все сидѣлъ, но, не дождавшись очереди, вдругъ всталъ, расплатился въ буфетѣ и вышелъ на улицу.

Мысли его приняли другое направленіе и направили шаги его вдоль Мѣщанской (нынѣ Казанской) улицы. Онъ очень хорошо зналъ, гдѣ живетъ Амальхенъ, и хотѣлъ съ ней разогнать хандру свою.

Бѣлокурая нѣмочка Амальхенъ, голубоглазая, кругло-лицая, съ очень маленькимъ носикомъ, но зато съ очень красивыми и вкусными губками, была дочь какого-то бѣднаго портного въ Ревелѣ. Четырнадцати лѣтъ была она увезена въ Питеръ тоже ревельской нѣмкой, генеральшею Пуфманъ, вдовою, больною и сердобольною. Генеральшѣ хотѣлось сдѣлать добро ей и ея родителямъ, обремененнымъ кучею дѣтей. Положивъ ей въ мѣсяцъ два рубля жалованья, старуха всякій разъ, какъ принималась за свое вязанье, заставляла Амальхенъ читать ей вслухъ нѣмецкіе романы и каждую недѣлю посылала ее за новою провизіей въ нѣмецкую библіотеку, т. е. за новыми романами.

Когда генеральша умерла, Амальхенъ поступила швеей къ одной портнихѣ. Разсѣянная и непривычная къ шитью, немало перепортила она модныхъ рукавовъ и волановъ, немало выслушала ругани и попрековъ; но когда, замечтавшись, подпалила она утюгомъ край какой-то бархатной юбки, она не выдержала... и ушла.

Затѣмъ, какой-то офицеръ обѣщалъ на ней жениться и надулъ: Амальхенъ осталась безъ копѣйки денегъ, а офицеръ исчезъ—да такъ мастерски исчезъ, что даже въ томъ полку, гдѣ онъ служилъ, или говорилъ ей, что служитъ, никто никогда даже и не слыхивалъ его фамиліи.

Нашелся юркій прикащикъ изъ перинной линіи, который взялъ ее на содержаніе.

Года два гулялъ онъ съ ней по всѣмъ островамъ и окрестностямъ столицы. Пріучилъ ее пить пиво и курить папиросы.

Затѣмъ, имя ея стало извѣстно на «Минерашкахъ». Посѣтители Излера находили ее пикантной и угощали ее на славу.

Амальхенъ не разбогатѣла, но одѣвалась съ шикомъ и, пользуясь своею независимостью, превратилась въ искательницу приключеній.

Пулькинъ, въ августѣ прошлаго года, познакомился съ ней въ вагонѣ, возвращаясь въ Питеръ изъ Павловска, наэлектризованный вальсами и польками неподражаемаго Страуса. Была темная и дождливая ночь, когда они пріѣхали и сошлись на ступенькахъ С.-Петербургской Царскосельской станціи. Пулькинъ предложилъ ей свой зонтикъ, нанялъ ей извощика и, не говоря ни слова, сѣлъ съ ней рядомъ и всю дорогу до ея квартиры очень ловко и крѣпко поддерживалъ ее за талію и увѣрялъ ее, что мостовая плоха, ухабовъ много и что она чего добраго свалится. Съ тѣхъ поръ Амальхенъ, когда бывала дома, не отказывалась принимать Пулькина. Она очень хорошо понимала, почему онъ являлся къ ней только послѣ двадцатыхъ чиселъ каждаго мѣсяца, хвалила его за честность и увѣряла, что она его немножно любитъ.

Стало быть, ничего нѣтъ мудренаго, что Пулькинъ отправился къ Амальхенъ.

Прошелъ онъ мощеный, подметенный дворъ, по тропинкѣ между четырехъ-этажными стѣнами и снѣжными кучами — вошелъ во второй дворъ, и за воротами увидѣлъ знакомый ему подъѣздъ, съ черной доской надъ дверью и бѣлыми на ней цифрами, обозначающими номера квартиръ.

Въ сырыхъ, тускло освѣщенныхъ сѣняхъ направо позвонилъ онъ въ 42 номеръ. Позвонилъ разъ,—повѣсилъ носъ и подождалъ, позвонилъ два—и еще подождалъ.

Но не успѣлъ Пулькинъ подумать, что Амальхенъ дома нѣтъ — дверь отворилась и на порогѣ появилась сама Амальхенъ, блѣдная, съ распущенными русыми волосами и въ бѣлой блузѣ, поглядѣла на него расширенными глазами (какъ сталь былъ блестящъ и холоденъ взглядъ ея) и прежде чѣмъ озябшій Пулькинъ успѣлъ сказать ей: «здравствуйте!» быстро захлопнула дверь у него подъ носомъ и тотчасъ же заперла ее на желѣзный крючекъ.

Минуты съ три, какъ огорошенный, простоялъ Пулькинъ въ холодныхъ сѣняхъ.

Онъ былъ похожъ на человѣка, которому кто-то вдругъ далъ затрещину и чортъ знаетъ куда провалился.

Наконецъ, онъ плюнулъ и пошелъ со двора куда глаза глядятъ.

— Подлая тварь! ворчалъ онъ себѣ подъ-носъ, не замѣчая, куда идетъ, не замѣчая, что уже насту пила зимняя, ранняя ночь.

Какъ вытянутыя бусы въ двѣ линіи тянулись огненныя точки фонарей; конецъ ихъ терялся въ буровато-сизомъ туманѣ, и улица казалась безъ конца и начала.

Надъ нѣкоторыми домами изъ трубъ шелъ дымъ, заворачивалъ книзу и низко висѣлъ, фантастически перегибаясь надъ ѣдущими санями, каретами, возами и черными фигурами пѣшеходовъ.

— Подлая тварь! продолжалъ ворчать Пулькинъ:—ну развѣ не могла она мнѣ сказать по-человѣчески... такъ и такъ... извините, не могу принять васъ... Что за невѣжество! захлопнула дверь и заперлась, точно я разбойникъ или каторжникъ! точно я не бывалъ у ней—тьфу! а еще увѣряла меня, что любитъ.—Боже ты мой, сколько

лѣтъ живу я на свѣтѣ, слышу, что такая-то влюблена безъ памяти, такая-то ужасно любитъ, такая-то вся любовь и самоотверженіе—дудки! Никто не любитъ—любовь куда-то ушла къ чорту на кулички; оттого у насъ и драмы нѣтъ настоящей, все комедія да водевиль, а если драма, такъ непремѣнно переводная съ французскаго или съ англійскаго, или глупая. «Искра» не даромъ преслѣдовала поэтовъ, воспѣвающихъ любовь! Не даромъ я всегда говорилъ и буду говорить, не даромъ! Все это фантазіи... Не приняла, подлая тварь! Подъ-носомъ дверь захлопнула! Тьфу! И Пулькинъ опять плюнулъ и оглянулся—онъ уже былъ у Казанскаго собора и переходилъ площадку около памятника Кутузова.

Наконецъ, перейдя на правую сторону Невскаго, онъ почувствовалъ аппетитъ и подумалъ: чортъ возьми, не зайти-ли къ Палкину! И тутъ припомнилось ему, что Софья не желала ему ставить самовара, сказавъ, что Степанъ Авдѣевичъ и обѣдать дома не будетъ, и плита не затоплена, и ничего до самаго вечера не будетъ.

— Ну, не подлость ли это? Ей-Богу подлость! Можетъ быть, я хочу именно сегодня пообѣдать дома, но Сопѣлкину это неугодно, онъ, изволите видѣть, въ гостяхъ обѣдаетъ, стало быть, я могу въ трактирѣ пообѣдать! Право, онъ воображаетъ, что я у него на содержаніи, что онъ даетъ мнѣ квартиру, ѣсть, пить у себя позволяетъ изъ великодушія. Нѣтъ, чувствую, что мы не уживемся. Возненавидѣлъ меня человѣкъ и ненавидитъ, ненавидитъ! И за что? Что я ему сдѣлалъ? Кажется, я плачу исправно и не мѣшаю ему, даже молчу и—ни слова!

— Съ тѣхъ поръ, какъ завелась у насъ эта цыганка проклятая, Софья—молчу. Противенъ онъ мнѣ, вотъ какъ противенъ, до тошноты противенъ! Я ни слова. Люби хоть Сидорову козу, не только что кухарку! Порядочнаго супу съ клецками сварить не умѣетъ, проклятая! На-

медни зразы подала—чортъ знаетъ, что это такое! Только щи да ватрушки, ватрушки да щи... Русская баба, и что же! каши сварить порядочно не можетъ... Я все терплю и плачу ей. За что, спрашивается?, Матрена хоть и попивала, да по крайней мѣрѣ недурно кормила насъ. По крайней мѣрѣ носъ свой передо мной не поднимала! И чѣмъ все это кончится? Возьметъ она его себѣ въ руки да и обдеретъ, какъ липку — хуже, во сто разъ хуже Амальхенъ; та по крайней мѣрѣ... Ба! Что это такое? Никакъ бумажникъ!!

Пулькинъ былъ уже у самаго подъѣзда Старопалкинскаго трактира, какъ нога его запнулась за что-то мягкое и скрипучее; это «что-то» лежало въ тѣни около самаго крыльца у нижней ступеньки.

Пулькинъ, не долго думая, нагнулся, поднялъ и тотчасъ же поднятое засунулъ въ боковой карманъ своего теплаго пальто.

V.

Да, да... бумажникъ. Пулькинъ оглянулся и тотчасъ же убѣдился, что равнодушная толпа зѣвакъ идетъ мимо, не обращая на него ни малѣйшаго вниманія; одинъ извозчикъ могъ бы видѣть, да и тотъ дремалъ въ саняхъ, полуприкрывшись полостью.

Уже занесъ Пулькинъ ногу, чтобы войти въ трактиръ, какъ вдругъ повернулся и пошелъ назадъ вдоль по Невскому.

Шелъ онъ то тихо, то скоро; изрѣдка рука его залѣзала въ широкій боковой карманъ пальто и щупала находку; бумажникъ казался биткомъ набитымъ, и сердце Пулькина такъ билось, какъ будто онъ только что совершилъ какое-то преступленіе или избѣгнулъ страшной, непредвидѣнной опасности.

Фонари слѣва, магазинные огни справа озаряли его блѣдный профиль—кто-то изъ знакомыхъ окликнулъ его, но Пулькинъ не обернулся. Куда онъ идетъ, сначала онъ и самъ не зналъ... Но вотъ перешелъ онъ Полицейскій мостъ — обернулся, поглядѣлъ назадъ, направо, налѣво, точно ждалъ, что вотъ-вотъ кто нибудь его догонитъ и, цапъ-царапъ, схватитъ за воротъ: «Не вы ли, милостивый государь, подняли бумажникъ?» Но толпа шла, не обращая на него ни малѣйшаго вниманія.

Пулькинъ подумалъ, постоялъ и поднялся вверхъ по узенькой лѣстницѣ въ ресторанъ Вольфа; тамъ спросилъ онъ себѣ отдѣльный номеръ. По счастью, одинъ изъ номеровъ былъ еще не занятъ и онъ вошелъ въ него.

Не успѣлъ онъ въ пальто опуститься на диванчикъ, между двумя зеркалами, какъ низенькій человѣкъ изъ татаръ, изжелта-смуглый, съ узенькими усиками, въ нитяныхъ бѣлыхъ перчаткахъ, подалъ ему карточку.

Долго смотрѣлъ онъ на эту карточку и ничего не видѣлъ.

— А какое вино у васъ?

Человѣкъ, молча, подалъ ему печатный листъ винъ (прейсъ-курантъ).

— Рюмку водки, обѣдъ въ рубль и полбутылки лафиту.

Человѣкъ вышелъ.

Пулькинъ не рѣшался истратить болѣе трехъ рублей.— Почемъ знать,—думалъ онъ,—можетъ быть, какой нибудь шутникъ набилъ старый бумажникъ старыми газетами или какой нибудь дрянью, да и подбросилъ.

Съ легкой дрожью въ рукахъ и ногахъ, подозрительно поглядывалъ онъ на лакированную съ матовыми стеклами дверь, отдѣляющую его отъ буфетной. Былъ обѣденный часъ и въ буфетѣ было немало народа. Слышалась топотня ногъ и голоса:—«Почему же нѣтъ отдѣльнаго но-

мера!» «Что стоитъ?» «Рюмку хересу».—«Получите, пожалуйста, деньги». «А, это вы?» «А есть у васъ устрицы?» Кто-то толкнулся къ нему въ дверь и тотчасъ же скрылся. Но Пулькинъ все-таки нашелъ минутку безъ свидѣтелей раскрыть бумажникъ изъ очень гладкой, атласистой кожи, вѣнской выдѣлки, охваченный черной резинкой.

И достаточно было секунды, чтобъ убѣдиться, что бумажникъ набитъ по большей части сторублевыми депозитками.

Восторгъ, похожій на смертельный испугъ, сжалъ его сердце, горячій потъ пронялъ его — голова закружилась.

Бѣднякъ за полчаса передъ тѣмъ, онъ вдругъ почувствовалъ себя богачемъ. — Тысячи двѣ навѣрняка,—подумалъ Пулькинъ, и засунулъ бумажникъ уже не въ пальто, а въ боковой карманъ своего сюртука; а такъ какъ это мѣсто съ боку у самаго сердца оттопырилось, онъ рѣшилъ все время не снимать пальто, хотя ему вдругъ сдѣлалось ужасно жарко.

Слуга татаринъ принесъ ему на серебряномъ подносикѣ рюмку водки, потомъ поставилъ приборъ—и минутъ черезъ десять, Пулькинъ уже изъ судка перекладывалъ себѣ въ тарелку дымящійся бульонъ, съ плавающимъ въ немъ зеленымъ горошкомъ и звѣздочками изъ морковки.

Не сознавая порядкомъ, что онъ ѣстъ и что онъ пьетъ, Пулькинъ ѣлъ и пилъ машинально—мысли вихремъ кружились въ головѣ его. Впрочемъ, это не были мысли, а какіе-то вопросы и недоконченныя соображенія, борьба честности и слѣпого эгоизма, надеждъ и сомнѣній, радости и страха, фантазій и практическаго взгляда на жизнь, словомъ—хаосъ.

Нельзя сказать, чтобъ въ душѣ Пулькина не было честныхъ и благородныхъ побужденій. Не даромъ же онъ считалъ себя гражданиномъ, страдающимъ недугами

своего отечества, не даромъ читалъ современные романы и сочувствовалъ героямъ идеальнымъ съ европейской точки зрѣнія; но на каждое такое честное побужденіе появлялось въ немъ по нѣскольку иныхъ, хищническихъ побужденій, порожденій среды, избалованности, нужды и разлагающейся, гнилой нравственности нашего общества.

— Заявить полиціи? думалъ онъ—а почемъ я знаю, не попадутъ ли эти деньги въ карманъ полицейскаго, особливо, если человѣкъ, потерявшій ихъ, даже и не прочтетъ заявленія въ «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ?» Разузнать самому, кто потерялъ и воротить? Но почему я знаю, можетъ быть, потерявшій такъ богатъ, что преравнодушно положитъ ихъ къ себѣ въ карманъ и подумаетъ: вотъ дуракъ-то! нашелъ и не присвоилъ! Можетъ быть, это купецъ Овсянниковъ потерялъ, или какой нибудь купчикъ, прокучивающій свое послѣднее состояніе—даровое наслѣдство отъ родителей и въ то же время—грабителей... А если бѣднякъ? Но какой же онъ бѣднякъ, если возитъ съ собой по трактирамъ такую сумму! Положимъ, я поступлю благородно. Гм, благородно! Желалъ бы я знать, кто скажетъ мнѣ за это спасибо! Ну, положимъ, и скажутъ, да вѣдь такое-то «спасибо» сказать ничего не стоитъ. Желалъ бы я знать, какую собственно цѣну имѣютъ на Руси благородные поступки, великодушіе, самоотверженіе, и проч., и проч... Вѣдь за благородство души и десяти рублей не прибавятъ мнѣ къ жалованью, а если я въ департаментъ буду пріѣзжать въ собственной каретѣ, непремѣнно прибавятъ. — Нѣтъ, я еще подумаю, что мнѣ дѣлать! Разъ упущу случай поправить свои дѣлишки, другой разъ тю-тю! Не каждый день, даже не каждыя 50 лѣтъ, подвертываются такіе необыкновенные случаи. А вдругъ спросятъ, откуда у меня появились деньги!? Э, спросятъ! Какъ

будто нельзя чего-нибудь придумать подходящаго! Ну, родственникъ умеръ—наслѣдство... Ну, одна графиня богатая взаймы дала, потому что дура влюбилась по уши, да и мало ли что! Нѣтъ, я лучше спрячу ихъ, эти деньги-то, на черный день, спрячу и ни гугу!... Чтобъ даже Сопѣлкинъ не зналъ. А отъ Сопѣлкина надо какъ нибудь отдѣлаться. Невтерпежъ мнѣ жить съ нимъ... Больно ужъ что-то пѣтушиться сталъ!

Пообѣдавъ, онъ потребовалъ кофе, сигару и развалился на диванчикѣ.

— Положимъ, думалъ онъ, деньги эти потеряла какая нибудь хорошенькая графиня или княгиня, или даже тамъ какая нибудь миленькая дамочка; ну, какъ я скажу ей: пожалуйте третью часть! Невозможно! Языкъ не повернется; непремѣнно начнешь великодушничать. Да если и заговоришь, ничего не подѣлаешь.—«Хи-хи-хи», да «ха-ха-ха!» Какой вы благородный, да какой вы честный! Да я, пожалуй, васъ разцѣлую за это. — Такъ и уйдешь ни съ чѣмъ. Вѣдь не дѣло же затѣвать? Да я и не помню, бывали ли когда нибудь такія дѣла на свѣтѣ.

А очень бы хотѣлось знать, сколько тутъ... А?

Онъ снова вытащилъ драгоцѣнный бумажникъ, раскрылъ его подъ столомъ, но вынимать денегъ не рѣшился; вынулъ только на авось одну депозитку, которая оказалась 50-рублеваго достоинства, и переложилъ ее въ жилетный карманъ; потомъ опять затянулъ бумажникъ резиновой тесьмой, опять втиснулъ его въ карманъ своего сюртука, и весь, такъ сказать, сожигаемый ничѣмъ невыразимою радостью, точно пьяный или наглотавшійся опіума, сталъ предаваться безконечной вереницѣ фантазій, надеждъ и предвкушаемыхъ наслажденій. — Я увѣренъ, что многіе изъ моихъ читателей желали бы въ эту минуту быть на мѣстѣ Пулькина.

VI.

Къ восьми часамъ вечера того же дня, (4 января) квартира Сопѣлкина была освѣщена на столько, на сколько можно было освѣтить ее. Въ трехъ комнатахъ горѣло двѣ лампы и одиннадцать свѣчей. Бѣлые обои средней комнаты казались чище, и какой-то особенно теплый, праздничный колоритъ лежалъ на нихъ.

Спальня Пулькина (она же и кабинетъ) также какъ и спальня Сопѣлкина (она же и кабинетъ), были тщательно прибраны. Въ кухнѣ кипѣлъ самоваръ и, какъ нарочно (должно быть, отъ излишняго усердія), такъ чадилъ, что Софья безпрестанно на морозъ отворяла форточку, чтобъ отвлечь этотъ головоломный чадъ отъ *парадныхъ* комнатъ. На ея постели стояли подносы съ закусками и фруктами. Пахло сыромъ, ветчиной, яблоками и чадомъ. На кухонномъ столѣ размѣщались стаканы, чашки, корзинка съ печеньями, бѣлый хлѣбъ, сахарница и проч. (Все это Сопѣлкинъ добылъ отъ Любиной и другихъ знакомыхъ, особенно серебряныя ложки, щипчики для сахара и проч., и проч.) На окнѣ стояли бутылки въ жестяныхъ колпачкахъ, съ виномъ отъ Елисѣева, и просто заткнутыя пробкой, съ морсомъ и сливками.

Сопѣлкинъ самъ во все входилъ и, не смотря на то, что, по рекомендаціи Софьи, нанялъ на весь этотъ вечеръ лакея, приземистато, съ чахоточнымъ лицомъ, съ маленькими глазками и маленькими усиками, безпрестанно самъ бѣгалъ въ кухню.

Потъ градомъ лилъ съ несчастнаго Сопѣлкина; тѣсно было въ гнѣздѣ его; негдѣ было ему развернуться; къ тому же немало и хлопотъ стоили ему эти приготовленія, немало и денегъ истратилъ онъ. Свѣчи горѣли, окна потѣли, Софья во второй разъ подлила воды въ самоваръ

и также была внѣ себя отъ хлопотъ и усталости: улыбавшееся поутру лицо ея казалось злымъ и капризнымъ.

Одинъ одинехонехъ до 10 часовъ ходилъ Сопѣлкинъ по своимъ освѣщеннымъ комнатамъ и уже начиналъ бѣситься, даже раза два топнулъ ногой и сдѣлалъ гримасу—ядовитую гримасу досады...

Зачѣмъ затѣялъ онъ вечеринку? Зачѣмъ позвалъ не только кой-кого изъ своихъ сослуживцевъ, но даже самого Ивана Петровича Духанчикова, въ нѣкоторомъ смыслѣ слова, особу довольно полновѣсную?... Зачѣмъ истратилъ онъ чуть ли не болѣе ста рублей? Кого хотѣлъ онъ удивить такою непомѣрною для него роскошью? Откуда вдругъ такія барскія затѣи, когда извѣстно всѣмъ, кто хоть мало-мальски знаетъ Сопѣлкина, до какой степени онъ демократъ и ненавистникъ барства!

Всѣ эти вопросы поочередно приходили въ голову самому Сопѣлкину и на всѣ эти вопросы, вмѣсто отвѣта, онъ только фыркалъ: Фрр! чортъ меня дернулъ!!

И дѣйствительно, кромѣ чорта, винить ему было не кого.

Это былъ чортъ мелочнаго тщеславія, или той пошлой, никому ненужной суетности, которая всю *именинную* Русь, не смотря на нищету ея, заставляетъ печь именинные пироги, звать гостей и на послѣднія деньги угощать,—если не шампанскимъ и наливками, то хоть простой кабацкой сивухой.

Не даромъ мелочно самолюбивый Сопѣлкинъ былъ такъ обидчивъ и раздражителенъ. Не даромъ хотѣлось ему постоянно казаться «чѣмъ-то», не даромъ онъ пѣтушился и въ то же время довольно безтактно заискивалъ у своихъ начальниковъ, на словахъ презиралъ чиновничество и въ то же время былъ съ головы до ногъ архичиновникомъ, сознавалъ свое безсиліе и въ то же время воображалъ, что онъ не просто служака, но служака съ идеями.

Все это нѣкоторымъ образомъ объясняетъ его затѣю сдѣлать именинный вечеръ; но тотъ, кто поглубже заглянулъ-бы въ тайники души его, тотъ, можетъ быть, и замѣтилъ-бы смутное, почти безсознательное желаніе порисоваться не только передъ сослуживцами, но и передъ Софьей, пококетничать передъ ней своими средствами, иначе сказать, распустить передъ ней свой хвостъ — хвостъ индѣйскаго пѣтуха—и при этомъ похвалиться передъ своими пріятелями красивой самкой.

Дескать, если что-нибудь и дойдетъ до нихъ, покрайней-мѣрѣ, не удивятся: такая писаная красавица, какъ моя Софья, хоть кого съ ума сведетъ—одни глаза чего стоятъ!

Отъ перваго звонка, раздавшагося въ передней, Сопѣлкинъ вздрогнулъ, просіялъ и, скрестя пальцы, остановился съ полуоткрытымъ ртомъ передъ дверью.

Вошелъ самый незначительный, самый неинтересный субъектъ изъ числа приглашенныхъ, а именно — нѣкто Васинькинъ, чиновникъ, только что поступившій на службу, сынъ кумы его превосходительства, за безталанность исключенный изъ 4-го класса гимназіи. Вошелъ онъ, прихрамывая, стараясь улыбнуться и протягивая хозяину красную, какъ гусиная лапа, и еще холодную съ мороза руку.

Сопѣлкинъ съ достоинствомъ пожалъ ему руку — и заговорилъ, бросивъ сердитый взглядъ на освѣщенныя стѣны.

— Видите, видите, что значитъ довѣрять *нашимъ;* сами, почти что сами назвались, сами вспомнили день моихъ имянинъ, сами хотѣли быть и — видите! Ха, ха, ха! не правда ли?!—Ну такъ что-жъ! Я и съ вами проведу вечеръ великолѣпнѣйшимъ образомъ. Играете вы въ карты?

Васинькинъ оторопѣлъ—точно чего-то струсилъ.

— Нѣтъ, я не играю-съ.

— Ну, и я не играю... Ха, ха!—А пьете вы коньякъ съ чаемъ?

— То-есть, чай съ коньячкомъ-съ?

— Ну, все равно, то или другое.

— Я лучше люблю, знаете, чай со сливками, и, если ужъ подливать, то маленькую такую ложечку рому — ямайскаго рому-съ!

И Васинькинъ показывалъ ему двумя пальцами, какую при этомъ нужно употреблять маленькую порцію.

— Да развѣ это не все равно — ромъ или коньякъ? Софья Даниловна, давайте-ка намъ чаю!...

И Сопѣлкинъ сунулся было въ кухню, но второй звонокъ остановилъ его.

Вошли столоначальникъ, по фамиліи Сошка, и другъ Сошки — литераторъ Минераловъ, пишущій въ разныя повременныя изданія, подъ псевдонимами «Гвоздь», «Заноза», «Подвальный поэтъ» и проч. и проч.

Сошка, какъ видно, былъ давнишній пріятель Сопѣлкину; онъ говорилъ ему ты — и нисколько не церемонился.

— Ну, вотъ, рекомендую, ты желалъ познакомиться— Ѳома Ильичъ Минераловъ.

И затѣмъ, безъ малѣйшей улыбки, тѣмъ же голосомъ началъ:

— А знаешь? *Онъ* у тебя не будетъ.

Сопѣлкинъ поглядѣлъ на него сквозь очки.

— Не будетъ, не будетъ; кажется, даже Симеону Родіоновичу поручено сказать тебѣ, дескать, извиняется: забылъ, что сегодня оперный день, и что онъ непремѣнно долженъ быть съ женой въ оперѣ.

— Я ничего не слыхалъ отъ Симеона Родіоновича— ну, не будетъ, такъ и...

Сопѣлкинъ чуть было не ляпнулъ: «такъ и чортъ съ

нимъ», но пріостановился, только лице его передернуло и слегка покривились губы.

— Плакать не будемъ! Человѣкъ, чаю! А Симеонъ Родіоновичъ удостоитъ насъ своимъ посѣщеніемъ?

Сопѣлкинъ до такой степени внутренно былъ взбѣшенъ на правителя дѣлъ, какъ нарочно въ день имянинъ его обязаннаго провожать въ оперу жену, что чуть было не забылъ отрекомендованнаго ему литератора, котораго онъ едва зналъ, котораго онъ считалъ плохимъ литераторомъ и все-таки самъ пожелалъ его у себя видѣть, ибо надѣялся, что присутствіе его среди чиновниковъ будетъ чѣмъ-то въ родѣ приправы; онъ слышалъ, что Минераловъ — острякъ, а извѣстно, что общество безъ остряка, это тоже, что щи безъ соли или солонина безъ хрѣна.

Опомнившись, онъ обратился къ Минералову, вторично пожалъ ему руку, пробормоталъ: спасибо, что безъ церемоніи—и затѣмъ спросилъ: что новаго въ литературѣ?

— Да ничего—все вздоръ! отвѣчалъ тотъ, слегка закинувъ волосастую голову и оглядывая стѣны.

— Ну, а вы что пишете новаго?

— И я пишу вздоръ, потому что, кромѣ вздора, ничего иного русскому человѣку писать не подобаетъ.

— Да почему же?

— Да потому, что всѣ мы, начиная съ Ломоносова, тянемъ канитель и ничего другого не совершаемъ, спокойно проговорилъ Минераловъ и, засунувъ руки въ карманы брюкъ, продолжалъ оглядывать комнату.

Сопѣлкинъ собирался было объяснять ему, что съ Ломоносова до нашихъ дней много воды утекло, что были Гоголь и Бѣлинскій, потомъ Добролюбовъ...

Но раздался третій звонокъ.

— А! это вѣрно Симеонъ Родіоновичъ съ порученіемъ отъ его превосходительства,—подумалъ Сопѣлкинъ.

Но, позамѣшкавшись въ передней, вошелъ не Симеонъ Родіоновичъ, а Александръ Васильевичъ Пулькинъ.

Пулькинъ былъ блѣденъ, не смотря на морозную ночь, и казался удивленнымъ, даже озадаченнымъ. Онъ не ожидалъ такихъ огней, такого парада.

— Гм!... Сейчасъ только узналъ отъ Софьи, что вы имянинникъ,—сказалъ онъ Сопѣлкину, какъ бы извиняясь.

— Ужъ будто бы и не знали! какъ бы себѣ подъ носъ отвѣчалъ Сопѣлкинъ.

— Имѣю честь поздравить!

— Сожитель мой Пулькинъ, Александръ Васильевичъ,—небрежно отрекомендовалъ его Сопѣлкинъ гостямъ своимъ.

Пулькинъ поклонился, никому не протянулъ руки и, пользуясь тѣмъ, что именинникъ, желая продолжать разговоръ свой съ литераторомъ, не обращаетъ на него (т. е. на оттопыренный карманъ его) никакого вниманія, поспѣшилъ шагнуть въ свою комнату.

Увы! комната его была неузнаваема; даже кровать стояла не справа вдоль стѣны, а поперекъ, у самой задней стѣнки. Все что было у него на столѣ, было перенесено на комодъ, а прямо противъ входной двери, немного загородивъ проходъ, стоялъ раскрытый ломберный столъ, съ двумя подсвѣчниками, съ мѣлками и двумя колодами нераспечатанныхъ картъ.

Пулькинъ сдѣлалъ кислую гримасу и чуть не плюнулъ.

Но думать было некогда, сердиться тоже было и некогда, да и не кстати.

Онъ тотчасъ-же отперъ верхній ящикъ комода, выдвинулъ его, оглянулся и торопливо переложилъ въ него то самое, что оттопыривало карманъ его (т е. бумажникъ съ деньгами), взялъ себѣ новый носовой платокъ и громко высморкался (дескать, знай ты, Сопѣлкинъ, зачѣмъ я въ комодъ пошелъ—за платкомъ, дескать).

Высморкавшись еще громче, онъ сталъ задвигать ящикъ.

Но влетѣлъ Сопѣлкинъ и произнесъ скороговоркой:

— Если хотите чай пить—милости просимъ.

— Не въ пору гость—хуже татарина, Степанъ Авдѣевичъ,—жалобно протянулъ Пулькинъ, засовывая въ жилетный карманъ ключъ отъ комодныхъ ящиковъ: — извините, что пришелъ незваный.

— Фрр! что за вздоръ! — никакихъ церемоній! — милости просимъ чай пить.

VII.

Изъ девяти человѣкъ, званыхъ Сопѣлкинымъ, явилось только пятеро (къ немалому удовольствію кухарки Софьи). Но можетъ быть именно благодаря этому обстоятельству, вечеринка прошла не только сносно, но даже такъ сказать, занимательно.

Симеонъ Родіоновичъ, средняго роста толстячекъ, который съ особенной бережностью носился съ выпуклымъ животомъ своимъ, сѣлъ играть съ господиномъ Сошкой въ палки—и на цѣлые три рубля обыгралъ его. Сошка былъ въ отчаяніи. Минераловъ, который вначалѣ былъ довольно мраченъ и даже огорчалъ Сопѣлкина тѣмъ, что не признавалъ никакой философіи, а тѣмъ паче нѣмецкой,—выпивъ нѣсколько рюмокъ померанцевой водки и закусивъ, сталъ гораздо развязнѣе и очень забавно подтрунивалъ надъ проигрышемъ своего друга Сошки.

Затѣмъ, говоря о естественныхъ наукахъ, какъ о фундаментѣ настоящаго равенства, очень разсмѣшилъ Сопѣлкина слѣдующей фразой:

— Всѣ мы,— сказалъ Минераловъ,—равны, потому что каждый изъ насъ ничто иное, какъ мѣшокъ съ требу-

хой, и вся разница между людьми та, что одинъ больше, а другой меньше сочится.

— Фи! смѣясь возопилъ Сопѣлкинъ,—какъ вы зловонно выражаетесь.

— А все потому, что вы въ Бога не вѣруете,—замѣтилъ Симеонъ Родіоновичъ, поглощая икру, семгу, сардинки и маринованные грибы, поданные передъ ужиномъ.

— А я въ одно вѣрю,—замѣтилъ Сошка.

— Во что? спросилъ Симеонъ Родіоновичъ.

— А въ то, что въ четныя числа мѣсяца я не долженъ садиться въ карты играть. Совсѣмъ забылъ, что сегодня 4-е число.

Васинькинъ сидѣлъ, вытянувъ шею, молчалъ и слушалъ съ напряженнымъ любопытствомъ занимательныя рѣчи господъ ученыхъ чиновниковъ. Минераловъ даже казался ему какимъ-то необыкновеннымъ существомъ, чуть не геніемъ.

Пулькинъ сидѣлъ какъ на иголкахъ и то вмѣшивался въ разговоръ, то уходилъ въ свою комнату и всякій разъ, издали поглядывая на комодъ, щупалъ, въ карманѣ ли ключъ, то садился въ уголокъ, потчивалъ себя фруктами или страшно дымилъ, куря свои папиросы.

Въ часъ ночи отъ кухмистера принесли ужинъ.

Бифштексъ былъ не довольно горячъ, но былъ недуренъ и своимъ запахомъ наполнилъ всю квартиру нашихъ пріятелей. Рыба подъ гарниромъ была тоже недурна.

Гости много ѣли и много пили; въ особенности по части выпивки Минераловъ оказался человѣкомъ, достойнымъ своей репутаціи: онъ разомъ налилъ себѣ нѣсколько рюмокъ и два стакана, поставилъ ихъ передъ собой во фрунтъ и сталъ съ ними разговаривать...

— Ты не обижайся, говорилъ онъ хересу, если я выпью тебя послѣ бургонскаго, я не адмиралъ; а ты,

медокъ, не важничай, если я проглочу тебя раньше бургонскаго!.. А что я проглочу тебя великолѣпно, въ этомъ ты не сомнѣвайся, другъ ты мой любезный!.. А что, будетъ ли мѣсто для шампанскаго!

Пулькинъ тоже какъ будто развеселился и разсказалъ анекдотъ о кочергѣ и французскомъ учителѣ.

Сошка долго поглядывалъ на Софью, которая то и дѣло ставила на столъ чистыя тарелки, и не утерпѣлъ: разъ ущипнулъ ее, другой разъ потянулъ ее за рукавъ и осклабился.

Сопѣлкинъ тоже не выдержалъ.

— Ну, ну! не очень, не очень!

— А что? Эге, да ты никакъ ревнуешь?

— Ну, ну! ревнуешь!.. засмѣявшись натянутымъ смѣхомъ, проговорилъ хозяинъ:—стану я ревновать; просто нравственность соблюдаю; у меня, вѣдь ты знаешь, на это очень строго.

Сошка фыркнулъ. —Да помилуй, кого ты дурачишь, братецъ ты мой! Ну говори, какъ зовутъ твою красавицу?

— Какую «мою»? сморщивъ чело, съ притворнымъ недоумѣніемъ спросилъ Сопѣлкинъ.

— Да вотъ ту, что сейчасъ вышла.

— Ну, пожалуйста, дружище, потише, поскромнѣе веди себя... Вотъ господинъ Минераловъ хочетъ разсказать намъ содержаніе своей повѣсти.

— То-есть не повѣсти, отозвался Минераловъ, а того разсказа, который вы можетъ быть прочтете, а можетъ быть и не прочтете. Сопѣлкинъ! господинъ Сопѣлкинъ! Поглядите на эти пустые стаканы и рюмки, они жаждутъ, они умираютъ отъ жажды; мнѣ ихъ жаль... слышите, какъ звенятъ... точно лбы у нашихъ поэтовъ и доморощенныхъ философовъ.

Минераловъ по пустымъ стаканамъ и рюмкамъ сталъ щелкать ногтемъ своего указательнаго пальца.

— Очень жалобно звенятъ! Наполните ихъ какимъ-нибудь содержаніемъ... А это рейнъ-вейнъ? А! ну, хорошо!..

Вдругъ раздался въ передней звонокъ, затѣмъ послышалось отпираніе двери и чей-то грубоватый голосъ.

Всѣ встрепенулись.

— Неужели это *онъ* изъ оперы!? подумалъ Сопѣлкинъ, вытараща глаза и машинально салфеткой протирая очки свои.

— Александръ Васильевичъ, пожалуйте! — сказала Софья, высунувшись изъ передней.

У Пулькина вытянулось лицо,—какъ полотно поблѣднѣлъ онъ, поднимаясь съ мѣста. — Ну вотъ, представилось ему это ужъ навѣрное! — Кто нибудь видѣлъ, какъ я поднялъ бумажникъ, слѣдилъ за мной, все разузналъ и явился съ частнымъ приставомъ.

Покачнувшись, неровными шагами, точно пьяный, прошелъ онъ въ переднюю.

Взоры всѣхъ обратились къ двери. Наступила мертвая тишина.

— Жандармерія! Арестъ! Сейчасъ начнется переборка и обыскъ, подумалъ Минераловъ, и также страшно поблѣднѣлъ... У него въ карманѣ былъ «Колоколъ».

Стали прислушиваться, — но не прошло и минуты, какъ Пулькинъ вернулся изъ передней румяный и ухмыляющійся.

Вытирая потъ, каплями проступавшій по лбу, онъ подошелъ къ Сопѣлкину и спросилъ его:

— Нѣтъ ли у васъ рубля, Степанъ Авдѣевичъ? Позабылъ заплатить извощику, простоялъ съ 10 часовъ. И такая ракалья, меньше рубля не беретъ, а у меня вотъ меньше пятидесяти рублей нѣтъ, и размѣнять негдѣ.

Тотчасъ же у всѣхъ развязались языки и послышался хохотъ. Сопѣлкинъ пошелъ къ себѣ въ спальню, гдѣ-то тамъ порылся и принесъ рубль.

— Ха, ха, ха! Вы всегда такъ разсѣянны? обратился къ Пулькину Симеонъ Родіоновичъ, человѣкъ очень разсчетливый и, какъ казначей, ужъ нисколько неразсѣянный.

— Никогда! отвѣчалъ Пулькинъ. Вѣрите-ли, носоваго платка никогда еще не потерялъ. Ей-Богу!..

— Носовые платки слѣдуетъ терять,—замѣтилъ литераторъ.

— Отчего слѣдуетъ?

— Для распространенія насморка; насморкъ — это единственная вещь, которую мы имѣемъ право пропагандировать.

— А что-бы такое вы желали пропагандировать! снова замѣтилъ Симеонъ Родіоновичъ, накладывая себѣ въ тарелку желтое желе съ бѣлыми полосками и кося на сосѣда воловьи глаза свои.

Минераловъ покосился на него въ свою очередь.

— А вы семейный человѣкъ или холостой?

— Семейный.

— А есть у васъ дочки?

— Слава Богу!

— А какихъ лѣтъ?

— Всякихъ, отъ двадцати и до шести лѣтъ!.. Всякихъ.

— Пригласите меня къ вашимъ старшимъ дочерямъ— уроки давать; возьму недорого.

— А зачѣмъ я васъ приглашу имъ уроки давать?

— Да я... я имъ, если угодно, свободную любовь буду пропагандировать.

— Нѣтъ... Ха, ха! Это мнѣ вовсе не угодно, покорнѣйше васъ благодарю.

— Не стоитъ благодарности!

VIII.

Наконецъ, хлопнула пробка, зашипѣла пѣна и появился чахоточный лакей съ подносомъ и бокалами.

— Господа,—сказалъ Сопѣлкинъ,—прошу покорно!

Затѣмъ послѣдовали обычныя поздравленія именинника, чоканье бокаловъ, пожеланія всяческихъ благъ и, затѣмъ, разумѣется, выпивка.

Подгулявшій Сопѣлкинъ позвалъ Софью и подалъ ей тоже бокалъ шампанскаго.

Софья поглядѣла на него какъ-то исподлобья — пристально и проницательно, точно спрашивала: ну, а еще что? еще ты какое колѣнце выкинешь?

— Поздравляю васъ, баринъ, начала было она...

И Сопѣлкинъ тотчасъ же вспомнилъ, что онъ долженъ при такихъ гостяхъ играть роль человѣка серьезнаго и, хотя былъ навеселѣ, удержался отъ дальнѣйшихъ фамильярностей, только поглядѣлъ ей въ лицо, и бокалы ихъ чокнулись.

— Гдѣ это вы добыли такую?.. проговорилъ Минераловъ, всталъ и тоже полѣзъ съ ней чокаться, но только расплескалъ вино и чуть не уронилъ бокалъ.

— Я у тебя перебью ее. Ей-Богу, перебью, съ мѣста не сойти, если не перебью,—божился Сощка.

Однимъ словомъ, все было какъ слѣдуетъ.

Минераловъ былъ пьянѣе вина, хромоногій Васинькинъ всѣхъ довольнѣе, впечатлительный и ревнивый Сопѣлкинъ—всѣхъ недовольнѣе.

Одинъ Пулькинъ долго сидѣлъ, повѣся свой тонкій носъ, и казался погруженнымъ въ какія-то соображенія; не даромъ у него въ головѣ слегка кружилось—у него въ головѣ вертѣлся замыселъ. Онъ уже раза два привставалъ со стула—хотѣлъ что-то говорить и не рѣшался.

Наконецъ, онъ рѣшился, поднялся, поднялъ недопитый бокалъ и провозгласилъ:

— Господа! Хотя въ нашъ вѣкъ, когда умы заняты... заняты всевозможными реформами, когда у насъ на-мази гласный судъ и свобода печати, когда мы, такъ сказать, какъ-бы это вамъ сказать? быстрыми шагами идемъ по пути прогресса; совѣстно, да, господа, какъ-то совѣстно гордиться земными благами!

— Что онъ это городитъ? подумалъ Сопѣлкинъ.

— Молодецъ! дальше! воскликнулъ Минераловъ, ударивши кулакомъ по столу и затѣмъ тотчасъ же, по направленію къ лакею, протянувъ пустой бокалъ свой.

— Совѣстно гордиться.... продолжалъ Пулькинъ,—но все-таки, какъ вы ни разсуждайте, господа, а все-таки въ нѣкоторой степени пріятно чувствовать себя независимымъ.

— Наливай, пробурчалъ Минераловъ, держа бокалъ свой по направленію къ лакею, который не зналъ, что ему дѣлать—у него въ рукахъ была послѣдняя пустая бутылка.

— Независимости же не могутъ дать никакіе законы человѣчества.

— Къ чорту такіе законы! прогремѣлъ Минераловъ.

— Никакіе законы... Ее, т. е. независимость, даютъ деньги... Что дѣлать, господа, такъ ужъ міръ созданъ. Я никогда не любилъ денегъ, никогда не искалъ богатства, даже не мечталъ о немъ и можетъ быть за это судьба или, такъ-сказать, слѣпая фортуна улыбнулась мнѣ.

— Гм! «улыбнулась!» хихикнулъ Минераловъ, держа пустой бокалъ и мутными глазами оглядывая оратора.

— Поздравьте меня, господа. — У меня умеръ дядя, братъ моей покойной матери, и только сегодня я узналъ, что получилъ отъ него въ наслѣдство пятьдесятъ тысячъ.

— Ура! вскрикнулъ Минераловъ и тотчасъ же оскла-

бившись, добавилъ: а чѣмъ же поздравить, ничего нѣтъ... Ни... ничего!

Но на это «ничего» никто не обратилъ вниманія, глаза всѣхъ были обращены на Пулькина, на бѣломъ лбу котораго выступили крупныя капли пота. Ораторъ очевидно не зналъ, что ему еще говорить и стоялъ, покачиваясь...

— Вы не врете? вдругъ глухимъ голосомъ спросилъ его Сопѣлкинъ, едва ли не болѣе всѣхъ озадаченный.

— Я никогда не вру, Степанъ Авдѣевичъ, нѣсколько обиженнымъ тономъ проговорилъ Пулькинъ:—и объ одномъ прошу васъ: если еще не поздно, пошлите на мой счетъ взять еще полдюжины шампанскаго.

— Ура! Душка! Молодецъ! Пятьдесятъ тысячъ! Дайте мнѣ обнять! Поздравляю, поздравляю!—Минераловъ первый пошелъ обниматься съ нимъ. И со всѣхъ сторонъ съ пустыми и недопитыми бокалами полѣзли поздравлять его.

— Эхъ! кабы да у насъ съ вами такой дядюшка! проговорилъ Сошка толстому Симеону Родіоновичу.

Поднялся говоръ... Сопѣлкинъ, какъ потерянный, бросился въ кухню... и минутъ черезъ пять вернулся оттуда съ видомъ уже совершенно разстроеннымъ.

— Господа! бормоталъ онъ, разводя руками:—что дѣлать! Третій часъ ночи. Праздники—никто не идетъ. Все заперто—никакой возможности достать вина.

— Ка-а-къ!.. точно съ просонья отозвался озадаченный Минераловъ—даже ротъ раскрылъ.

— Ну, и слава Богу! въ полголоса произнесъ Симеонъ Родіоновичъ, сбираясь домой и отыскивая на окнѣ свою бобровую шапку.

Минераловъ сталъ ругаться. Сошка сталъ унимать его.

Черезъ полчаса всѣ уже вышли, кромѣ Сошки и Минералова.

IX.

— Я, я — дѣятель! кричалъ еще Минераловъ, въ четвертомъ часу ночи, сидя въ уголкѣ на стулѣ, пока Софья и нанятый лакейчикъ убирали со стола, а Сопѣлкинъ то бѣгалъ въ кухню считать чужія серебряныя ложки, то въ свою спальню, уже озаренную однимъ свѣчнымъ огаркомъ.

— Да, я дѣятель... и не стыжусь—что мнѣ стыдиться? чего?

И Минераловъ махнулъ рукой, между пальцами которой торчала закуренная папироска.

— И еще смѣютъ судить меня! Ахъ вы... Да что вы за судьи такіе авторитетные!? Что вы такое? Журналисты!.. Спекуляторы! А ночевали ли вы на Сѣнной или въ ночлежномъ домѣ? А? Ночевали? Я васъ спрашиваю.

И Минераловъ такъ качнулся впередъ, что чуть не упалъ со стула.

— Ну, а я ночевалъ! добавилъ онъ, удержавшись и опять назадъ откинувъ свою волосатую голову, сунулъ въ ротъ папироску и тотчасъ же съ огнемъ на полъ швырнулъ ее.

Пулькинъ ее затопталъ и хотѣлъ что-то сказать, но голосъ Минералова оборвалъ его.

— А я ночевалъ-съ! Значитъ, чортъ васъ возьми! Вы тутъ ничего—ни-и-и бельмеса!... Ну да, я талантъ; а что вы тамъ толкуете, будто бы я Николаю Успенскому подражаю... а все-таки я талантъ, а вы свиньи... Я это не вамъ... Позвольте закурить папироску.

— Пойдемъ домой! Пора! сталъ уговаривать его Сошка и даже тащилъ его за руку.—Хозяева спать хотятъ...

Сошкѣ было какъ будто немножко совѣстно, что онъ

привезъ въ гости такого гуся; но онъ уже такъ привыкъ къ подобнымъ сценамъ, что совѣстливость не очень его безпокоила.

Чтобъ уговорить Минералова подняться, Сошка сталъ звать его ѣхать за виномъ:—поѣдемъ, можетъ быть, достучимся, привеземъ шампанскаго.

Пока увели его въ переднюю, надѣли на него шубенку съ вытертымъ енотовымъ мѣхомъ; пока онъ въ калоши всовывалъ свои ноги и никоимъ образомъ сразу не могъ ихъ всунуть, острилъ и опять закуривалъ папироску—добрыхъ полчаса прошло.

Можете сами вообразить, какъ были утомлены Сопѣлкинъ и Пулькинъ и какъ имъ хотѣлось спать.

Оставшись одни, они потушили лампу и разошлись по своимъ комнатамъ. Но когда Пулькинъ раздѣлся и уже легъ въ постель, вошелъ Сопѣлкинъ, взъерошенный и весь бѣлый, въ туфляхъ и подштанникахъ.

— Я еще и не поздравилъ васъ, какъ слѣдуетъ, сказалъ онъ, протягивая руку и усиленно улыбаясь.—Очень радъ... Ей-Богу, очень радъ за васъ... Отъ души говорю вамъ это...

И чуть не со слезами на глазахъ Сопѣлкинъ обнялъ Пулькина и крѣпко прижалъ его къ груди своей и поцѣловалъ.

Пулькинъ поддался обаянію дружескихъ объятій и уже раза три облобызалъ его.

— Эхъ! не съ чѣмъ еще поздравлять-то... сказалъ онъ:—получу-то я получу, но когда еще! Вѣдь еще надо, чтобы и духовная утверждена была... Еще спасибо, сосѣдъ одинъ,—моего покойнаго дядюшки сосѣдъ, далъ мнѣ взаймы подъ вексель... Можетъ быть, нужно будетъ самому ѣхать и хлопотать. Такъ я, на всякій случай, понимаете, занялъ...

— Сколько же вы у него заняли? спросилъ Сопѣл-

кинъ, садясь на его кровать и какъ бы принимая самое живое участіе въ дѣлахъ его.

— Э! не спрашивайте... Получу наслѣдство—отдамъ, не получу... ну, что будетъ... то будетъ!... И чортъ меня дернулъ этотъ спичъ сказать!...

— Это точно, что этого спича говорить вамъ совсѣмъ бы не слѣдовало... только не сердитесь вы на меня...

— За что!

— А за то, что я такъ выразился. Думалъ, ей-Богу же думалъ, что это вы такъ—ни съ того, ни съ сего—заврались, выпили стакана три нюи, да еще хересу прихватили, ну и заиграла фантазія.

И Сопѣлкинъ почему-то беззвучно засмѣялся коротенькимъ смѣхомъ и рукой потрепалъ по желудку Пулькина.

— Ничего, кажется, вы не сказали мнѣ такого обиднаго, Степанъ Авдѣевичъ!

— Ну, очень радъ!... Вотъ, и кровать вашу надо завтра на прежнее мѣсто поставить...

— Не велика важность — кровать! А вечеръ вашъ, ей-Богу, хорошо прошелъ... И рыба подъ соусомъ была... мое почтеніе! И желе тоже было — недурно. Вотъ только ростбифъ былъ, того... слишкомъ пережаренъ. Ну и винъ было достаточное количество. Кабы не этотъ чортъ Минераловъ, вина бы на всѣхъ хватило...

— А все-таки глупость — величайшую глупость сдѣлалъ я!... Истратился, и ей-Богу же никакого удовольствія!...

— Если вамъ деньги будутъ нужны, Степанъ Авдѣевичъ, то... ради Бога...

— Полноте... сдѣлайте такую милость!

Такъ бесѣдовали наши юные чиновники чуть ли не до шести часовъ пополуночи. Бесѣда ихъ окончилась чѣмъ-то въ родѣ новаго признанія въ любви и новымъ объятіемъ. Сопѣлкину не шутя казалось, что онъ искренень въ выс-

шей степени; Пулькину тоже казалось, что не найти ему никогда такого сожителя... что Сопѣлкинъ чудакъ, большой руки чудакъ, но будь онъ, Пулькинъ, аккуратнѣе въ расплатѣ, да не будь этой Софьи, ничего бы — никакихъ бы непріятностей не было...

Но когда они разошлись и оба уткнули въ подушку носы свои, Сопѣлкинъ подумалъ: чортъ возьми! еще вообразитъ, пожалуй, что я подличалъ передъ нимъ! А Пулькинъ подумалъ: а все-таки я ни за какіе пряники жить съ тобой не останусь! какъ ты тутъ ни финти, а не останусь!

Положа ключъ подъ подушку, Пулькинъ думалъ, что заснетъ мертвымъ сномъ, но мертвымъ сномъ заснуть удалось ему не прежде, какъ въ окнѣ его заиграли розовыя краски зимняго солнца—около 9-ти часовъ утра.

Сопѣлкинъ тоже до утра спалъ плохо. Софья грубо прогнала его, когда онъ зашелъ къ ней проститься, и съ этой минуты весь вечеръ, имъ заданный, окончательно потерялъ всякій смыслъ въ глазахъ его.

X.

Пока спятъ наши сожители и видятъ сны, обреченные на вѣчное забвеніе также какъ и тѣ, которые видятъ ихъ, я, ради успокоенія своей авторской совѣсти, постараюсь уяснить вамъ характеръ тѣхъ интимныхъ отношеній Сопѣлкина къ Софьѣ, которыя, быть можетъ, озадачили нѣкоторыхъ изъ числа нашихъ читателей, въ особенности благовоспитанныхъ читательницъ, хотя имъ, конечно, не разъ случалось слышать, что такой-то окончательно загубилъ жизнь свою, женившись на безграмотной швеѣ, а другой не можетъ жениться, потому что на рукахъ его цѣлая семья отъ мѣщанки или горничной.

Сопѣлкинъ былъ именно изъ числа тѣхъ увлекающихся матеріялистовъ на идеальной подкладкѣ, которымъ угрожала та же судьба; но вовсе не потому, что на долю его выпадали такія, а не иныя случайности, нѣтъ, а потому, что, по свойству его жизни и характера, онъ самъ искалъ, самъ жаждалъ именно такого рода случайностей.

Ранняя молодость Степана Авдѣевича прошла въ деревенскомъ домикѣ, подъ крылышкомъ его маменьки, мелкопомѣстной помѣщицы, посреди распущенной дворни, которой дана была полная свобода развивать въ немъ вкусы и романтическія наклонности. За скотнымъ дворомъ, на огородѣ, забушевали его первыя страсти—любовь и ревность. Привычка къ легкимъ, ничего нестоющимъ, такъ сказать, грошевымъ побѣдамъ, съ одной стороны, сдѣлала его невыносимо-притязательнымъ и раздражительно-обидчивымъ въ дамскомъ обществѣ, хоть сколько-нибудь приличномъ и образованномъ; съ другой стороны, онъ самъ чувствовалъ, что не годится для кисейныхъ барышенъ. Поступивши въ Петербургѣ на службу, онъ ни съ кѣмъ не познакомился—ѣздилъ только къ своей тетушкѣ Любиной, и то для того только, чтобъ острить (и весьма неудачно острить) надъ Лизой или быть букой, то-есть молчать и мысленно надъ всѣми ядовито подтрунивать. Всякое утонченное волокитство было противно душѣ его. Сердце его было пусто и праздно, когда Софья, дочь одного сестербецкаго оружейника, дѣвица черноглазая и стройно-сухощавая, нанялась у него въ качествѣ кухарки; она сразу произвела на него особенное впечатлѣніе.

Софья была дѣйствительно очень недурна и напоминала собою типъ гребенской казачки. Сколько ей было лѣтъ, 19 или 26, трудно было рѣшить, не заглянувши въ ея адресный билетъ. Она была молода, но, очевидно, прошла уже сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы—и эти

мѣдныя трубы оставили на ней слѣды свои. Смуглоблѣдное лицо ея, съ синевой подъ глазами, рѣзко обрисованныя, рѣдко улыбающіяся губы и недовѣрчивый, хотя и пристальный взглядъ изъ-подъ тонкихъ, черныхъ и прямыхъ бровей сразу дѣлали ее замѣтной среди женщинъ ея сословія, и не одного Сопѣлкина подзадоривали испробовать, на сколько эта красота податлива. Вся ея фигура, на первый разъ пугливая, но въ сущности самоувѣренная и даже наглая, заставляла подозрѣвать въ себѣ нѣчто страстное и неукротимое.

Глядя на ея руки—съ длинными пальцами и съ серебрянымъ колечкомъ на одномъ изъ нихъ, Пулькинъ невольно думалъ: жутко и сладко будетъ тому, въ кого эти руки вцѣпятся.

Мало по малу, забѣгая въ кухню, балагуря съ ней и заигрывая, Сопѣлкинъ привязался къ ней.

Пулькинъ скоро замѣтилъ настроеніе своего сожителя, тотчасъ же уступилъ ему дорогу (ибо виталъ въ другихъ, высшихъ сферахъ) и далъ ему честное слово, что мѣшать не будетъ.

Но никогда еще, ни съ кѣмъ, такъ не бился бѣдный Сопѣлкинъ, какъ съ Софьей; никто еще такъ не мучилъ его, какъ эта грубая женщина.

— Скажи по совѣсти, любишь ты меня? приставалъ къ ней Сопѣлкинъ.

И, смотря по расположенію духа, Софья отвѣчала или:

«Какъ бы не любила, не то бы и было»; или:

«Отстаньте, надоѣли вы мнѣ! Вѣдь ужъ сказано вамъ—ну, и что-жъ вы пристаете!»

На разспросы Сопѣлкина, какъ прожила она жизнь свою, Софья, если была въ духѣ, смѣясь и при этомъ скаля блестящіе зубы, разсказывала, какъ билъ ее пьяный отецъ и какъ она отъ него убѣгала, какъ потомъ

стали посылать ее на фабрику, какъ у нихъ осенью на дворѣ рубили кочерыжки и какой у нихъ былъ попъ.

Иногда, она какъ будто отдавалась всей душой своимъ ребяческимъ воспоминаніямъ, и тогда Сопѣлкинъ умилялся и даже думалъ: какая простая, грубая жизнь, и все-таки сколько поэзіи!

Но Софья не хотѣла ничего разсказывать, явно виляла, когда неотступный Сопѣлкинъ принимался ее исповѣдовать, что было потомъ, когда 16-ти лѣтъ привезли ее въ Питеръ, и до октября прошлаго 1864 года.—Ну, да что... ну, ничего — ну, жила по мѣстамъ. Разумѣется, гдѣ ужъ уберечь, али сохранить себя... Скорѣй удавишься... Не мало я горя-то вынесла, и вспоминать-то не стоитъ, да и памяти у меня такой нѣтъ — жила, какъ и всѣ, вотъ и весь сказъ, не приставайте!

Сопѣлкинъ не удовлетворялся, не унимался, но ни къ чему не вели его приставанья.

Для всякаго развитого человѣка съ чуткой душей достаточно было бы и десятой доли того, что говорила Софья, чтобъ охладѣть къ ней, или отрезвѣть умомъ и сердцемъ; но не таковъ былъ Сопѣлкинъ, не смотря на все свое самолюбіе: онъ только дулся, страдалъ, уходилъ отъ нея въ свою комнату—фыркалъ, хваталъ себя за грудь, за голову—и часа черезъ два, какъ ни въ чемъ не бывало, съ тѣми же сантиментами возвращался къ ней.

XI.

На другой день, послѣ ужина, заданнаго нашимъ именинникомъ, около 3-хъ часовъ пополудни, Сопѣлкинъ сидѣлъ у тетушки Любиной, сдавши ея экономкѣ то серебро и тѣ бокалы, которыми онъ пощеголялъ вчера передъ своими сослуживцами, и разсказывалъ ей о Минераловѣ,

о наслѣдствѣ, полученномъ Пулькинымъ, и что онъ очень радъ за Пулькина, ибо это добрый и даже неглупый малый, хотя немножко пустой и вѣтряный.

Анна Ивановна была въ восторгѣ за Пулькина.—Ахъ, это очень хорошій подарокъ для Новаго года получилъ онъ, говорила она; это ничего, что онъ вѣтренъ, надо найти ему невѣсту и женить его. Не все же одни геніи женятся.—Кого разумѣла подъ словомъ «геніи» госпожа Любина — это ужъ Господь ее вѣдаетъ! Можетъ быть, и тотъ полковникъ, и тотъ инженеръ, которые каждую недѣлю приходили къ ней съиграть партію въ преферансъ, были въ глазахъ ея геніи, можетъ быть и тотъ бывшій лицеистъ, который игралъ у ней Шуберта, былъ тоже геній—не знаю!

Аннѣ Ивановнѣ было уже за 40 лѣтъ, но душа у ней была семнадцатилѣтняя — она все еще мечтала (если не за себя, такъ за другихъ). Ея фантазія безпрестанно требовала себѣ пищи, она непремѣнно жаждала кому-нибудь поклоняться, передъ чѣмъ-нибудь благоговѣть и не шутя сокрушалась, что всѣ наши писатели такіе прозаичные люди, не то, что заграничные, вовсе непохожи ни на Байрона, ни на Ламартина.

Сопѣлкинъ былъ не въ духѣ — у него болѣла голова и отъ вчерашнихъ поздравленій, и отъ безсонницы, и отъ суровости Софьи, которая точно белены объѣлась—нагрубила ему съ вечера, нагрубила и сегодня, когда подала самоваръ, и за что же? за то, что Сопѣлкинъ спросилъ ее: довольна ли она вчерашнимъ вечеромъ, и успѣла ли выспаться?

Не даромъ, какъ бы съ отчаянія, Сопѣлкинъ поддался на просьбу своей любезной и любвеобильной тетушки и остался у нея обѣдать.

Пулькинъ, проснувшись, уже не засталъ Сопѣлкина дома (чему былъ очень радъ). Наскоро напившись чаю,

онъ тотчасъ же полѣзъ въ свой комодъ и, вынувъ бумажникъ, сѣлъ за свой письменный столъ (очутившійся тамъ, гдѣ вчера еще стояла кровать его) и сталъ выбирать все, что нашелъ въ бумажникѣ.

Онъ вынулъ деньги, вексель, два письма, почтовую квитанцію, и при этомъ не замѣтилъ, какъ выронилъ на полъ чью-то визитную карточку...

Денегъ оказалось не двѣ тысячи, какъ онъ предполагалъ, а пять тысячъ и 450 р., кромѣ тѣхъ пятидесяти, которые были у него въ жилеткѣ.

Отъ роду у Пулькина на глазахъ не было столько денегъ...

Сосчитавъ, онъ тотчасъ же отнесъ ихъ обратно въ комодъ и почему-то двѣ тысячи заложилъ между полотенцами, одну завернулъ въ простыню, двѣ оставилъ въ бумажникѣ, который поставилъ къ стѣнкѣ ящика ребромъ, а остальныя деньги 450 р. оставилъ у себя на столѣ, прикрывъ ихъ старымъ календаремъ и бумагами.

Затѣмъ, щелкнувъ ключемъ, вернулся онъ опять къ столу и прочелъ два дѣловыхъ письма къ какому-то Александру Афанасьевичу, и такъ какъ оба письма были уже безъ конвертовъ, то счастливый Пулькинъ и не узналъ, кто такой этотъ Александръ Афанасьевичъ. Вѣрно какой нибудь толстопузый купчина! подумалъ онъ. Вотъ и вексель на имя какого-то Завиляева на 375 р.

— Вексель-то этотъ надо будетъ вотъ какъ...

И онъ разодралъ его на четыре части.

— А то онъ еще, пожалуй, подкузьмитъ — вексель-то этотъ!—Письма эти надо будетъ тоже того — кажется и печь топится въ спальнѣ моего милаго сожителя... А небось сталъ вчера лисить...

— Видимъ мы васъ теперь насквозь, почтеннѣйшій, насквозь видимъ! Ну, да Богъ съ вами! Я человѣкъ не злопамятный.

А пока Пулькинъ считалъ деньги, въ кухнѣ у Софьи сидѣлъ мужчина лѣтъ сорока, въ потертой солдатской шинели, съ лохматой бараньей шапкой подъ мышкой, повязанный полинялымъ гаруснымъ шарфомъ сверхъ галстука, по-видимому, отставной солдатъ или сторожъ изъ какого нибудь казеннаго заведенія. Лицомъ онъ былъ смуглъ и желтъ, какъ голенища, но недуренъ: черныя брови его сходились у самаго переносья и, вмѣстѣ съ большими темно-сѣрыми глазами навыкатѣ и горбатымъ носомъ, придавали лицу его видъ неудобозабываемый. Усы были свѣтлѣе бровей, губы надтреснуты, два пальца лѣвой руки завязаны въ грязную тряпку. Звали его Прохоръ или Проша (такъ, по крайней мѣрѣ, называла его Софья).

Она два раза садилась къ нему на колѣни, шепталась съ нимъ, цѣловалась, была вся какъ на огнѣ, вскакивала, прислушивалась, уходила за занавѣску и глядѣла въ расчищенную дверную дырочку: что дѣлаетъ баринъ Александръ Васильевичъ.

Когда въ третій разъ, перегнувшись черезъ всю постель свою и отставивъ ногу въ бѣломъ нитяномъ чулкѣ, заглянула она въ эту дырочку, она минуты три не могла оторвать отъ нея своего зоркаго глаза. Затѣмъ, откинувъ рукой занавѣску, таинственно стала манить къ себѣ гостя. Прохоръ тотчасъ же всталъ—онъ несомнѣнно иначе понялъ жестъ ея.

Но Софья закивала ему головой, глазами и бровями и всѣмъ раскраснѣвшимся лицомъ своимъ стала ему указывать на дверь и приподнялась, чтобъ дать ему мѣсто.

— Гляди! шепнула Софья.

Заскрипѣла кровать, и лѣвый глазъ Прохора, нацѣлившись, прижался къ дырочкѣ.

Все, что могъ на первый разъ разглядѣть онъ, это—бѣлые пальцы Пулькина, между которыми шелестили и перегибались радужныя депозитки. Прохоръ былъ недви-

жимъ, какъ бревно, и не приподнялся до тѣхъ поръ, пока Пулькинъ не понесъ денегъ обратно въ комодъ, пока не щелкнулъ ключемъ и не усѣлся за чтеніе писемъ.

— Что, видѣлъ? спросила Софья и, стиснувъ зубы, выдвинула впередъ пылающее лице свое.

— Въ комодъ?.. спросилъ онъ лаконически и концомъ висящаго полотенца вытеръ лице свое.

Софья кивнула ему головой.

— Говорятъ, пятьдесятъ тысячъ получилъ,—прошептали ея влажныя губы.

— Ага!..

Онъ усѣлся на деревянный кухонный табуретъ, разставилъ ноги и вытаращилъ на Софью глаза свои—она стала противъ него пригорюнившись, и какая-то загадочная, грустная задумчивость облекла лице ея. Изрѣдка, легкой судорогой появлялась улыбка на ея губахъ, и она исподлобья взглядывала на Прохора. Онъ же все больше и больше таращилъ на нее глаза свои. Точно безъ словъ хотѣлъ понять, какъ она обо всемъ этомъ думаетъ.

Если бы въ эту минуту она дала ему въ руки топоръ, онъ бы пошелъ и убилъ Пулькина, разбилъ бы его комодъ и ушелъ бы съ деньгами.

Но она прошептала: «не теперь» и тотчасъ же стала гнать его.

— Уходи! говорятъ тебѣ,—уходи!..

Прохоръ нехотя поднялся съ деревяннаго табурета и сказалъ ей:

— Только смотри, коли сегодня туда не придешь — бѣда!

— Не сегодня, а завтра утромъ—какъ пойду на рынокъ... Не жди сегодня... Тамъ собща обсудимъ, что и какъ; только сказано тебѣ—уходи... Аль не слышишь!

И, дѣйствительно, въ комнатахъ послышались шаги вставшаго Пулькина.

Прохоръ напялилъ на себя баранью шапку и вышелъ, на половинѣ лѣстницы о чемъ-то задумался и вернулся, но дверь уже была заперта на крюкъ, и, потряхивая головой, онъ, не торопясь, спустился на улицу.

Пулькинъ въ это время былъ ужъ въ комнатѣ Сопѣлкина и коротенькой желѣзной кочергой мѣшалъ въ печкѣ; оглянувшись, онъ въ дверяхъ увидѣлъ Софью и пріостановился...

— Что вы? спросилъ ее Пулькинъ дрогнувшимъ голосомъ.

— Чтой-то это вамъ самимъ вздумалось въ печкѣ мѣшать?

— Да я и у себя въ печкѣ люблю мѣшать.

— Эхъ! не ваше это дѣло, баринъ!

Софья подошла и нагнулась, чтобъ заглянуть на уголья; Пулькинъ выронилъ кочергу и схватилъ ее за ногу.

— Пустите, баловникъ... что это съ вами!

— Еще вчерашній хмель не прошелъ, хочу подурачиться. И онъ опять взялся за кочергу.

Но Софья стала у него отнимать ее—вовсе не затѣмъ, что она была ей нужна, а затѣмъ, что въ эту минуту ей было особенно пріятно, что Пулькинъ, разбогатѣвшій Пулькинъ, ни съ того, ни съ сего, сталъ баловаться съ ней.

Вырвавъ кочергу, она опять хотѣла нагнуться къ печкѣ, но не удержалась и повалилась на полъ.

Пулькинъ весьма нецеремонно сталъ ее щекотать, но видно вспомнилъ свое честное слово и выбѣжалъ изъ комнаты, запыхавшись, точно онъ во весь духъ пробѣжалъ цѣлую версту.

Софья ушибла себѣ руку, но не разсердилась...

Съ яркимъ румянцемъ на щекахъ и съ разгорѣвшимися глазами, выходя изъ двери вслѣдъ за Пулькинымъ, она, улыбаясь, сказала ему, что пожалуется на него Степану Авдѣичу.

— Ну что-жъ, тѣмъ пріятнѣе будетъ ему со мной разстаться—я вѣдь у васъ не долго буду, Богъ съ вами совсѣмъ!

— А когда же вы переѣдете?

— А вотъ, какъ найду себѣ другую квартиру, такъ и переѣду; можетъ быть, надняхъ.

— Говорятъ, вы какое-то наслѣдство получили?...

— Еще не получилъ, а получу...

— А вчера за шампанскимъ посылали! Откуда же это у васъ деньги-то?

— А я занялъ, въ ожиданіи будущихъ благъ. Надо же и обшиться. Не три же года въ одномъ и томъ же сюртукѣ ходить. Да вотъ и шубы нѣтъ... и за наслѣдствомъ ѣхать будетъ не въ чемъ, еще пожалуй замерзнешь—вотъ будетъ штука-то.

— Жалко будетъ, если вы отъ насъ переѣдете — оченно жалко!

— Ну, ты жалѣть не будешь.

— Отчего? сказала она съ живостью.

— Ну, да ужъ я знаю!..

— Это напрасно — протянула Софья. Это вы ужъ напрасно такъ думаете; теперь то бы вамъ и пожить у насъ!

И вѣроятно замѣтивъ, что Пулькинъ уже не хочетъ ни балагурить, ни баловаться съ ней, Софья притворно вздохнула и ушла въ свою кухню.

XII.

Само собой разумѣется, что Пулькинъ, провѣривъ, хорошо ли заперъ онъ комодъ свой и положа къ себѣ ключъ въ карманъ, захватилъ съ собой деньги—450 рублей и на цѣлый день пропалъ изъ дому.

Но я долженъ сказать въ оправданіе Пулькина, что прежде, чѣмъ рѣшился онъ на разныя покупки, онъ зашелъ въ кондитерскую Доминика, отыскалъ № «Полицейскихъ Вѣдомостей», вышедшій въ тотъ же день утромъ, и, подъ рубрикой, гдѣ помѣщаются объявленія о пропажахъ, сталъ искать, нѣтъ ли объявленія о пропажѣ бумажника или 5,500 рублей.

Не смотря на радостное волненіе, которое ощущалъ онъ,—какой-то тайный зубъ грызъ его за сердце, и ему было на столько же жутко, на сколько и весело. Не даромъ точно какая-то тяжесть свалилась съ плечъ его, и, внутренній зубъ на время пересталъ его грызть, когда въ «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ» не нашелъ онъ никакого объявленія о потерянномъ бумажникѣ.

Теперь ясно, подумалъ онъ, что деньги эти потерялъ или такой богачъ, для котораго потерять какія-нибудь 5,000 руб. дѣло плевое, хлопотъ не стоитъ, или такой кутила, который еще не проспался.

Это предположеніе развязало руки Пулькину, и, позавтракавъ не безъ аппетита, онъ тотчасъ же отправился къ Альвангу заказывать себѣ платье. Затѣмъ, по цѣлымъ часамъ толковалъ онъ съ разными мѣховщиками, что лучше: енотъ или шубка съ чернымъ скунсовымъ воротникомъ, что моднѣй и что будетъ больше къ лицу.

Давно уже Пулькинъ не испытывалъ наслажденія выбирать сукно и трико на брюки, разглядывать мѣха и водить по нимъ рукой, съ видомъ знатока или такого доки, котораго—шалишь! — не надуешь; затѣмъ—торговаться и заставлять купца Христомъ Богомъ божиться, что лучше и дешевле г. Пулькинъ нигдѣ ничего не найдетъ въ цѣломъ свѣтѣ.

По-крайней-мѣрѣ въ десяти магазинахъ перебывалъ Пулькинъ— зашелъ даже къ часовщику, провѣрилъ часы

и купилъ у него золотую цѣпочку съ брелоками. Вечеромъ, около 9 часовъ, отправился онъ къ подлой твари, т. е. къ Амальхенъ — или потребовать у нея объясненія за ея послѣднюю выходку, или ѣхать и отыскать Луизу.

Амальхенъ засталъ онъ дома, выслушалъ изъ устъ ея цѣлый романъ въ оправданіе, но, какъ благоразумный молодой человѣкъ, домой вернулся не позднѣе полуночи.

На другой день, въ Крещенье, онъ былъ на парадѣ, страшно прозябъ и зашелъ въ кондитерскую выпить рюмку водки и закусить. Въ кондитерской засталъ онъ инженера, знакомаго Любиной, который тоже, выпивъ рюмку водки и закусивъ пирожкомъ, равнодушно поглядѣлъ на него и даже не улыбнувшись пробормоталъ: поздравляю.

— Съ чѣмъ? спросилъ Пулькинъ.

— Вы тамъ какое-то наслѣдство получили.

— Помилуйте, стоитъ ли поздравлять,—еще хлопотъ не оберешься...

— Пріятныя хлопоты...

— Было бы здоровье, да на душѣ было бы весело.

— Здоровье здоровьемъ, а деньги деньгами. Что это васъ давно не видать у Любиной?

— Да можетъ быть и не буду...

— Что такъ?

— Да такъ...

— Нѣтъ, серьезно. — И инженеръ слегка подергалъ его за рукавъ.

— Развѣ непріятность какая-нибудь вышла?

У Пулькина заныло сердце. — Никакихъ непріятностей,—сказалъ онъ, разглядывая раскраснѣвшееся отъ холода лице и мокрые усы инженернаго полковника: — но— знаете пословицу: насильно милъ не будешь...

— Да что, вы... влюблены что-ли... за Лизой ухаживали?

— Никогда... помилуйте, никогда не думалъ ухаживать!

— Да отчего-же не ухаживать?

— Да оттого что—знаете... «не въ свои сани не садись», или «съ чужого коня среди грязи долой».

— Гм! чей же она конь по вашему?.. Однако, прощайте...—И, какъ бы мимоходомъ пожавъ руку Пулькину, инженеръ вышелъ.

Неужели, подумалъ Пулькинъ, теперь весь городъ знаетъ, что... Ну, да чортъ возьми! Ужъ если удалось соврать—пусть ихъ, спорить не стану.

XIII.

На третій день, въ одной изъ комнатъ департамента, Пулькинъ только что дописалъ какую-то бумагу и, вытянувъ подъ столомъ ноги, величественно откинулся назадъ на спинку стула, какъ бы отдыхая и безучастно разглядывая знакомыя стѣны, знакомые шкафы и знакомыя лица. Вдругъ, въ комнату, выпячивая грудь, прикрытую голландскимъ, лоснящимся полотномъ, вошелъ нѣкто Савишинъ — юноша лѣтъ тридцати, толстенькій и румяный, рано начинающій плѣшивѣть и потому съ особеннымъ стараніемъ расчесывающій свои густыя баки. Савишинъ занималъ уже довольно видное мѣсто, а, главное — былъ на короткой ногѣ въ домѣ одной высокопоставленной особы, и потому нѣтъ ничего мудренаго, что съ кѣмъ бы ни говорилъ онъ въ департаментѣ, въ его манерѣ и въ тонѣ его голоса слышался будущій начальникъ. Немногіе, конечно, замѣчали, что онъ топорщится и важничаетъ, но всѣ охотно подавали ему руку; были

и такіе, которые заискивали въ немъ, такъ какъ смутно вѣрили, что этому юношѣ сама фортуна покровительствуетъ, и что его непремѣнно, рано или поздно, кривая вывезетъ.

— Господинъ Пулькинъ! — сказалъ онъ довольно громко, подойдя къ нему.

Пулькинъ подобралъ свои ноги, не всталъ, но выразилъ на лицѣ своемъ вѣжливую готовность узнать, зачѣмъ онъ нуженъ господину Савишину.

— Господинъ Пулькинъ! мнѣ сейчасъ сказали, будто бы вы ищете квартиру. Я могу вамъ услужить въ этомъ случаѣ: одинъ мой знакомый надняхъ уѣзжаетъ въ Берлинъ; человѣкъ онъ холостой и квартира у него тоже холостая—всего двѣ комнатки, но очень удобныя и комфортабельныя... Хотите до августа занять ее?

— Очень вамъ благодаренъ-съ... но... можетъ быть, очень дорого?..

— То-то что вовсе не очень дорого—80 рублей въ мѣсяцъ, съ мебелью; но, замѣтьте при этомъ, на Караванной — въ двухъ шагахъ отъ Невскаго, швейцаръ, вода, газъ... Я нахожу, что недорого...

— Очень, очень благодаренъ вамъ!

Пулькинъ покраснѣлъ отъ удовольствія, что Савишинъ предлагаетъ ему такую квартиру, и отъ совершеннаго недоумѣнія, что̀ ему отвѣтить: — слишкомъ ужъ неожиданно этотъ важный молодой человѣкъ сдѣлалъ ему такое предложеніе. Пулькинъ всталъ и, помявшись на одномъ и томъ же мѣстѣ, спросилъ его: можно ли ему, по-крайней-мѣрѣ, видѣть эту квартиру, прежде чѣмъ онъ рѣшится...

— О да, разумѣется можно. Въ пять часовъ подождите меня на подъѣздѣ, я свезу васъ и покажу вамъ ее.

Сказавъ это, Савишинъ отошелъ къ другому столу и сталъ говорить съ другимъ столоначальникомъ, уже

очевидно о какомъ-то дѣлѣ, такъ какъ тотъ, сейчасъ же засуетившись, вынулъ кипу подшитыхъ бумагъ, долго перевертывалъ листъ за листомъ, затѣмъ, то упирая въ нихъ указательнымъ пальцемъ, то похлопывая по бумагѣ ногтями, старался что-то уяснить, растолковать, доказать и проч.

Восемьдесятъ рублей! фу, канальство! думалъ Пулькинъ, — восемьдесятъ рублей безъ стола, безъ прислуги, безъ освѣщенія и отопленія! Погляжу.... какая такая квартира за восемьдесятъ рублей.

Въ пять часовъ онъ уже былъ у подъѣзда на улицѣ.

Савишинъ вышелъ изъ департамента получасомъ позднѣе; казалось, онъ забылъ уже, что Пулькинъ его дожидается, но, увидя его длинную фигуру въ пальто и шапкѣ, тотчасъ же произнесъ: а! и затѣмъ, пригласивъ его въ свои сани, отправился съ нимъ на Караванную показать квартиру.

Хозяина квартиры, Буганина, не было дома. Мальчикъ, въ сѣромъ фракѣ съ гербовыми пуговицами, доложилъ, что его баринъ обѣдаетъ въ гостинницѣ, но впустилъ ихъ.

Дѣйствительно, квартира была щегольская, съ комнаткой для прислуги, съ большимъ зеркальнымъ трюмо въ небольшой спальнѣ и съ роялино въ гостиной: — вся она состояла только изъ гостиной и спальни, но убрана была роскошно.

Пулькинъ разсматривалъ ее такъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ былъ намѣренъ немедленно нанять ее.

— Ну что, какъ вы находите?

— Квартира великолѣпная-съ... только позвольте подумать; у меня есть другая — надо подумать... Если я рѣшу... то...

— Рѣшайте скорѣе—черезъ недѣлю Буганинъ ѣдетъ за границу.

— Отъ кого же вы слышали, что я ищу квартиру?

— Да въ курильной отъ кого-то, кажется казначей.. не то... Буркинъ... какъ его...

— Вотъ что, Дмитрій Ѳедоровичъ! Мнѣ, можетъ быть, на это лѣто придется проситься въ отпускъ... у меня дядя умеръ и можетъ быть...

— Ну, сдадите ее на лѣто другому — до лѣта еще пять мѣсяцевъ. Впрочемъ, какъ хотите... я только хотѣлъ вамъ угодить, такъ какъ на эту квартиру много охотниковъ, а угодно вамъ или не угодно — это ужъ до меня не касается.

Они вышли на подъѣздъ, сопровождаемые швейцаромъ.

— Не подвезти ли васъ? вы гдѣ живете?

— Въ Казацкомъ переулкѣ.

— Гдѣ это Казацкій переулокъ?

— Близъ Гороховой-съ.

— Ну, намъ не по дорогѣ. Прощайте, Пулькинъ!

— Очень, очень благодаренъ вамъ.

— Помилуйте...

Важный юноша сѣлъ въ сани, прикоснулся рукою къ шляпѣ, потомъ къ спинѣ своего кучера — и уѣхалъ.

Пулькинъ былъ взволнованъ. — Что это вздумалось г. Савишину вдругъ, ни съ того, ни съ сего, угождать ему? Неужели и онъ слышалъ!... Да если и слышалъ— ну, не подлость ли это? Какихъ нибудь пятьдесятъ тысячъ—и такая перемѣна въ людяхъ! А что, если бы я получилъ милліонъ! что бы тогда?... Чего добраго, самъ Ицкинъ, его превосходительство, поѣхалъ бы искать для меня квартиру! Фу, чортъ возьми! А что... не рискнуть ли хоть до августа пожить по-барски! Этотъ же вообразилъ, что я богачъ... Заведутся связи... найдутся покровители. Нѣтъ! Дудки! Проживаться нечего; какихъ нибудь пять тысченокъ—пустяки, сущіе пустяки!

Вообразивъ себя наслѣдникомъ пятидесяти тысячъ, Пулькинъ уже съ пренебреженіемъ относился къ своимъ пяти тысченкамъ, а потому и рѣшилъ, что ему не слѣдуетъ слишкомъ раскошеливаться; его даже мучила совѣсть, что онъ у Амальхенъ оставилъ 50 р. да обѣщалъ устроить для нея пикникъ, нанять тройку и съ бубенчиками, да по̀ снѣгу, въ лунную ночь, махнуть куда нибудь за̀ городъ.

XIV.

Не въ такомъ настроеніи духа былъ Сопѣлкинъ. Во-первыхъ, по своей наивности, Василькинъ кому-то сболтнулъ въ правленіи, что Сопѣлкинъ очень былъ недоволенъ, что его нѣкоторые гости надули, не пришли къ нему на вечеръ, хотя сами же навязались.

— Какъ навязались! Какъ вы смѣете говорить—навязались! Кто навязывался?! раздались голоса...

Василькинъ струсилъ и извинился, сказавъ, что это не онъ говорилъ, а самъ Степанъ Авдѣичъ...

— Вы слышали?

— Самъ, ей-Богу самъ слышалъ-съ... Зачѣмъ же, говоритъ, такъ поступать—сами навязались... А я ничего не говорю.

Понятно, отчего Сопѣлкина встрѣтили всѣ очень холодно: — многіе кивнули ему только головой, или сухо пробурчали: «здравствуйте!»—и отчего самъ Василькинъ, переписывая бумаги, вдвое ниже пригнулся къ столу, точно ото всѣхъ хотѣлъ спрятаться, и—нигугу!

Такой перемѣны не могъ не замѣтить щекотливый и самолюбивый Сопѣлкинъ—и когда же?! послѣ своего именинаго вечера!

Во-вторыхъ, Сопѣлкинъ, воротясь однажды домой и зайдя въ комнату къ Пулькину, нашелъ на столѣ его визитную

карточку, на которой было напечатано: Карлъ Ивановичъ Шталь—сенаторъ.

— Откуда эта карточка? спросилъ онъ у Софьи.

— Не знаю, кто-то были у нихъ и не застали дома.

— Гм! Сенаторы стали навѣщать... Вотъ оно что! И не то, что зависть и досада, а такъ, какое-то очень скверное чувство забралось въ душу Сопѣлкину. Софья тоже была холодна и непривѣтлива, и напрасно Сопѣлкинъ хотѣлъ развеселиться, или, такъ сказать, растаять въ соблазнахъ любви. Увы! Хоть она и была подъ рукой—эта любовь, хоть ему и не нужно было безпокоиться и идти Богъ знаетъ куда, чтобъ искать ее; но — Софья была холодна, какъ ледъ, сидя въ кухнѣ, шила себѣ рубашку и, окруженная обрѣзками холста, на всѣ заигрыванья Сопѣлкина отвѣчала: «знаемъ мы васъ!... какова ваша любовь-то!.. Слышала, слышала, что третьягодня это гость вамъ про меня нашептывалъ, у меня чай ушито есть... не глухая, слава тебѣ, Господи!».

Что такое она слышала, чѣмъ она была обижена, такъ и не добился несчастный Сопѣлкинъ.

Можетъ быть, Софья и слышала, какъ Сошка грозился Сопѣлкину отбить ее у него... но... придраться было не къ чему, и, если она придиралась, то, конечно, не безъ задней мысли, не безъ какого-нибудь умысла.

Сопѣлкинъ былъ въ отчаяніи. Топнувъ ногой, съ гримасой досады и гнѣва, онъ вышелъ изъ кухни и долго ходилъ или, лучше сказать, пѣтушкомъ бѣгалъ у себя изъ угла въ уголъ по комнатѣ. Затѣмъ, объявилъ онъ Софьѣ, чтобъ она не накрывала стола, что онъ обѣдать не будетъ; затѣмъ, онъ легъ на диванъ и такъ былъ жалокъ, такія красныя пятна выступили у него на опухломъ лицѣ, такъ онъ громко вздыхалъ и фыркалъ, что... въ головѣ Софьи мелькнула другая мысль; она усомнилась, встала,

вошла и въ какихъ-нибудь пять минутъ совершенно его утѣшила.

Ревнуетъ, значитъ страстно любитъ меня, подумалъ про себя Сопѣлкинъ — освѣженный, удовлетворенный и успокоенный.

XV.

Подъ воскресенье, вечеромъ, Пулькинъ вернулся домой довольно поздно (онъ былъ на вечеринкѣ у Соколовыхъ, на Васильевскомъ Островѣ, гдѣ, конечно, не зналъ никто о его наслѣдствѣ и, конечно, онъ никому не повторилъ, да и не имѣлъ никакой нужды повторять своей выдумки).

Сопѣлкина онъ засталъ еще за работой — ему, какъ нарочно, принесли дѣла на домъ, съ запиской отъ директора, въ которой была фраза: «нельзя ли поспѣшить».

Шляется счастливецъ! подумалъ Сопѣлкинъ про Пулькина, заслышавъ шаги его за спиной своей.

— Не мѣшаю ли я вамъ? сказалъ Пулькинъ Сопѣлкину.

Сопѣлкинъ ничего не отвѣтилъ.

Только черезъ полчаса онъ спросилъ его: «Зачѣмъ былъ у васъ сенаторъ Шталь?»

— Когда?..

— Не знаю когда—на дняхъ.

— Кто же вамъ сказалъ, что онъ былъ у меня?

— Да у васъ на столѣ его карточка.

— Удивительно... я съ нимъ незнакомъ...

— Гм!... Ужъ не въ сенатъ ли собираетесь поступить?..

— Не понимаю,—проворчалъ Пулькинъ и сталъ со свѣчей на своемъ столѣ искать этой визитной карточки; онъ нашелъ ее заложенною подъ календарь.

Ни малѣйшей мысли о томъ, что карточка эта могла выпасть изъ бумажника, когда онъ вынималъ изъ него

деньги, не пришло ему въ голову; онъ повѣрилъ тотчасъ же, что у него съ визитомъ былъ сенаторъ, даже подумалъ: ужъ и этотъ не квартиру ли предлагаетъ мнѣ!.. Вспомнилъ наконецъ, что какого-то Шталя раза два встрѣтилъ онъ у Анны Петровны Любиной... и легъ въ постель, размышляя: слѣдуетъ ли ему за визитъ отплатить визитомъ?.. Наконецъ, рѣшилъ, что слѣдуетъ, и съ отрадной вѣрой, что счастье явно начинаетъ свѣтить ему или улыбаться, повернулъ носъ свой къ стѣнкѣ и сталъ засыпать подъ легкій прерывающійся шелестъ пера и бумаги, который, среди ночной тишины, доносился къ нему изъ сосѣдней комнаты.

Проснувшись на другой день, Пулькинъ лежалъ въ своей постели и размышлялъ:

— За что мой сожитель на меня дуется—почти не говоритъ со мной? За что! Неужели за то, что я далъ Софьѣ три рубля... Но вѣдь ни на праздники, ни въ Новый годъ я ничего ей не далъ, ничего не подарилъ; кажется, получа деньги, я былъ въ правѣ дать ей на чай три рубля!... Или ужъ не дуется-ли онъ за то, что я ни разу не угостилъ его по-пріятельски... хорошимъ обѣдомъ въ какой нибудь гостиницѣ... Очень можетъ быть... Да, да, слѣдуетъ; чортъ возьми, давно слѣдовало-бы мнѣ пригласить его, да еще кого-нибудь...

Вошла Софья съ кувшиномъ, мелькомъ взглянула на него, молча налила въ рукомойникъ свѣжей воды и уже хотѣла выйти, какъ Пулькинъ спросилъ ее:

— Софья!... ты не видала, кто принесъ визитную карточку?...

— Кто-то былъ у васъ, а кто—не знаю; а про какую такую карточку вы говорите... тоже не знаю... Ахъ да, билетикъ этотъ я подняла съ полу и положила на столъ...

— А какого вида былъ у меня этотъ господинъ?... Толстый или тоненькій, высокій или низенькій?

— Вотъ ужъ не разглядѣла; кажется низенькій, плюгавый такой, некрасивый... хотѣлъ записку вамъ написать, да видно раздумалъ; въ другой разъ, говоритъ, зайду...

— Гм!... Странно...

Софья вышла. Пулькинъ обулся, надѣлъ свой халатъ, оглядѣлъ его... и устыдился... Ну что, если въ такомъ халатѣ да кто-нибудь его застанетъ!...

Раздался звонокъ.

— Фу, чортъ возьми, неужели ко мнѣ!... Еще рукъ умыть не успѣлъ...

Онъ сталъ на скоро умываться, а въ сосѣдней комнатѣ уже послышались шаги и голосъ Софьи: подождите, *они* сейчасъ выйдутъ.

Это вѣрно къ Сопѣлкину, подумалъ Пулькинъ и успокоился. Но не успѣлъ онъ причесать волосы, какъ кто-то постучалъ къ нему въ дверь и послышался мужской сиповатый голосъ: можно?

Пулькинъ подошелъ къ двери, пріотворилъ ее и въ двухъ вершкахъ отъ себя увидѣлъ широкое лицо Минералова.

— Можно? повторилъ Минераловъ:—безъ церемоніи!...

И, затѣмъ, дѣйствительно безъ всякой церемоніи, вошелъ къ нему въ комнату и протянулъ ему свою теплую ладонь.

— Къ вашимъ услугамъ!... Извините, что такой безпорядокъ; нынѣ воскресенье, знаете... и я всталъ позднѣе...

— Не пойдете, значитъ, на службу?

— Не пойду-съ...

— Да неужели-жъ вы, получивъ наслѣдство, вашей проклятой службы не бросите!

— Не знаю, это смотря по обстоятельствамъ...

Минераловъ сѣлъ у стола, облокотился, запустилъ въ длинные волосы свои короткіе съ обгрызаннымъ ногтями

пальцы и сталъ доказывать, что ему, Пулькину, служить теперь не слѣдуетъ, такъ какъ онъ можетъ выйти на совершенно иное поприще.

— На какое-же поприще могу я выйти?

— А вотъ я вамъ сейчасъ и укажу это поприще; еще спасибо мнѣ скажете, — собственно для этого я и зашелъ къ вамъ. Вотъ что-съ! Начните-ка вы издавать журналъ... литературно-судебный политическій журналъ— на новыхъ началахъ, разумѣется... Я вамъ доставлю, если хотите, планъ и программу... Объ этомъ ужъ вы не безпокойтесь, будутъ у васъ сотрудники, и для начала вовсе не нужно пятидесяти тысячъ — тридцати заглаза достаточно... Мы же дадимъ журналу этому такое направленіе, что подписчики будутъ: на первый годъ четыре, на третій годъ 6 и 7000 подписчиковъ—хотите?

Пулькинъ былъ озадаченъ. Ничего подобнаго даже и во снѣ не приходило ему въ голову... Предложеніе Минералова также не могло не польстить его самолюбію... и кто знаетъ, будь у него дѣйствительно въ перспективѣ пятьдесятъ тысячъ, можетъ быть, онъ и согласился бы, и сталъ бы не шутя воображать себя будущимъ издателемъ журнала! Но Пулькинъ, конечно, очень хорошо зналъ, что на пятьдесятъ тысячъ—надежда плоха, хуже чѣмъ плоха... вовсе никакой надежды нѣтъ.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ Минералову,—какой я къ чорту издатель!... Я понятія не имѣю... да и вовсе не готовился къ такому дѣлу.

Минераловъ сталъ доказывать ему, что не боги же горшки обжигаютъ и что есть множество издателей, которые въ литературѣ—тоже, что свиньи въ апельсинахъ, что они вовсе не ученѣе Пулькина, что для этого даже вовсе не нужно учености, а нужны люди съ идеями, люди въ родѣ Минералова, новые люди, которые за словомъ въ карманъ не полѣзутъ, люди, для которыхъ ни-

какихъ предразсудковъ не существуетъ, ни религіозныхъ, ни литературныхъ, ни политическихъ.

Долго слушалъ его Пулькинъ, то краснѣлъ, то улыбался, то ежился, точно Минераловъ на медленномъ огнѣ жегъ его и въ то же время мазалъ его по губамъ.

— Все это хорошо-съ, что вы говорите,—возражалъ Пулькинъ, глядя въ глаза Минералову:—но... вѣдь я только еще извѣстіе получилъ, что... есть такое завѣщаніе, — а вѣдь завѣщаніе-то это должно пройти сквозь огнь и мѣдныя трубы-съ. Еще, можетъ быть, его будутъ и оспаривать... а вы говорите мнѣ такъ, какъ будто я уже владѣю капиталомъ. У меня еще ничего нѣтъ-съ!... Когда получу... тогда... ну... тогда—я подумаю, и, можетъ быть, съ большимъ удовольствіемъ...

— Да когда же это будетъ?

— Ей Богу не могу вамъ сказать... Можетъ быть, къ лѣту, можетъ быть къ осени...: Я, можетъ быть, и самъ долженъ буду ѣхать въ Ярославль и хлопотать. Вы понимаете, какъ у насъ медленно дѣла идутъ, особенно дѣла по завѣщаніямъ.

На это Минераловъ предлагалъ ему занять тысячъ десять... войти въ соглашеніе съ какимъ-то княземъ Голицынымъ, у котораго есть сто тысячъ, и начать дѣйствовать немедленно. Но Пулькинъ и на это не далъ ему никакого рѣшительнаго отвѣта. Минераловъ напился чаю и спросилъ водки. Пулькинъ послалъ за водкой — и не раньше отдѣлался отъ Минералова, пока вся водка до дна не была имъ выпита. Можетъ быть, Минераловъ остался бы и до самаго обѣда, если-бы Пулькинъ не сказалъ, что ему непремѣнно къ тремъ часамъ нужно выѣхать. Сопѣлкинъ сначала слышалъ весь разговоръ Минералова съ Пулькинымъ и страшно бѣсился; потомъ, чтобъ не встрѣчаться съ геніальнымъ гостемъ, перенесъ къ себѣ въ спальню всѣ бумаги и затворился.

XVI.

Ахъ, чортъ его возьми съ его журналомъ! про себя воскликнулъ Пулькинъ и сталъ одѣваться, сильно досадуя, что Альвангъ еще не прислалъ ему новаго платья. Ради воскресенья, онъ все-таки хотѣлъ надѣть на себя новую, надняхъ купленную имъ голландскаго полотна рубашку, и повязалъ на себя новый галстукъ. Дождавшись выхода Софьи, которая прибрала кровать его, Пулькинъ отперъ комодъ и отодвинулъ верхній ящикъ. Сразу показалось ему, что бумажникъ его не на томъ самомъ мѣстѣ, куда онъ его засунулъ... Машинально онъ взялъ его въ руки и машинально раскрылъ его.

Сердце его замерло... страшная мертвая блѣдность покрыла лице его... глаза остановились... Вмѣсто двухъ почтенныхъ пачекъ съ двумя тысячами, въ его бумажникѣ было всего на всего двѣ сто-рублевыхъ бумажки.

Нѣтъ, этого быть не можетъ, подумалъ Пулькинъ. Онъ бросился искать въ бѣльѣ остальныя деньги, и нашелъ ихъ—счелъ три тысячи... Куда же дѣвались остальныя двѣ?! Онъ подумалъ, не переложилъ-ли онъ ихъ по разсѣянности въ другое мѣсто; но, обшаривъ весь комодъ, вынувши и пересмотрѣвши тщательно все бѣлье свое, онъ окончательно убѣдился, что 1,800 рублей у него украдено.

У Пулькина подкосились ноги; онъ сѣлъ на стулъ... и на него нашелъ точно столбнякъ; онъ что-то соображалъ и ничего сообразить не могъ....

— Украли... украли бы все, если бы я не догадался разложить деньги и спрятать ихъ въ бѣлье. Но кто же этотъ воръ? Кто, какъ бы изъ жалости, оставилъ ему двѣсти рублей?! Неужели комодъ былъ не запертъ? Нѣтъ, онъ былъ запертъ. Пулькинъ вспомнилъ, какъ щелкнулъ замокъ, когда онъ отпиралъ его.—Что же это?...

Пулькинъ всталъ и прошелся по комнатѣ. Наконецъ, подошелъ къ выдвинутому ящику, вынувъ остальныя три тысячи рублей, завернулъ ихъ въ бумагу, запихалъ въ боковой карманъ своего сюртука, сюртукъ повѣсилъ на гвоздикъ и опять сѣлъ на стулъ...

Что теперь дѣлать! Дать знать въ полицію?.. Донести, что меня обокрали? Но... сыщики потребуютъ объясненій— увидятъ бумажникъ... Можетъ быть теперь уже и разыскиваютъ этотъ бумажникъ—можетъ быть уже и примѣты его всѣ описаны. — Господи! Отчего я до сихъ поръ не сжегъ его! думалъ Пулькинъ — отчего его не унесли!.. Нѣтъ, это было бы хуже—или лучше? Украли!.. украли— почти двѣ тысячи... Кто? когда? какимъ образомъ!? Кто могъ узнать? Даже Сопѣлкину ничего не говорилъ онъ объ этихъ деньгахъ. А!... не шутка-ли это?

И Пулькину вдругъ пришло въ голову, что Сопѣлкинъ, желая помучить его или наказать за скрытность, ради шутки, спряталъ отъ него эти деньги.

— Нѣтъ, это вздоръ; такъ шутить онъ не станетъ,— комодъ былъ запертъ. Но, можетъ быть, ключи отъ его комода какъ разъ подходятъ и къ моему комоду; въ такомъ случаѣ—но...

Онъ подошелъ къ ящику и сталъ осматривать скважину замка, и около скважины оказалась липкая шероховатость; онъ поскоблилъ ее ногтемъ, и тотчасъ же представилось воображенію Пулькина, что со скважины замка желтымъ воскомъ была снята мѣрка и что, стало быть, воровство было сдѣлано поддѣльнымъ ключемъ.

— Софья! Это дѣло Софьи!... подумалъ Пулькинъ.

И подозрѣніе гвоздемъ засѣло въ головѣ его.

Пулькинъ поглядѣлъ на заколоченную дверь и тотчасъ же вспомнилъ о дыркѣ, когда-то имъ проверченной. Подкравшись къ двери, онъ заглянулъ въ нее,—дырка уже

сквозила, и ему показалось, что въ кухнѣ, занавѣска, прикрывавшая постель Софьи, колыхнулась.

— Ба! Она сейчасъ подсматривала за мной... Она же и подсмотрѣла, когда я считалъ деньги... Эге! вотъ оно что!.. мелкнуло въ умѣ его.

— Ну-съ, будете журналъ издавать по плану и проекту Минералова? беззвучно смѣясь ядовитымъ смѣхомъ, проговорилъ Сопѣлкинъ, входя къ нему въ комнату.—Но что съ вами?!..

Пулькинъ стоялъ передъ нимъ, глядѣлъ на него, и на немъ, какъ говорится, лица не было.

— Что съ вами?..

— Поздравьте меня... проговорилъ Пулькинъ.

— Что такое?

— Меня обокрали... украли у меня тысячу восемьсотъ рублей.

— Какъ! Какимъ образомъ!скрещивая пальцы, проговорилъ Сопѣлкинъ — и самъ поблѣднѣлъ, самъ испугался не хуже Пулькина...

XVII.

Пулькинъ сталъ торопливо одѣваться; руки его дрожали, повязывая галстухъ.

Сопѣлкинъ стоялъ, сложа руки, раскрывши ротъ въ видѣ маленькаго четыреугольника и, блестя неподвижными очками, въ испугѣ наблюдалъ за нимъ. Ему мерещилось, что Пулькинъ спятилъ съ ума, что никогда не было у него никакихъ тысячъ, что это онъ вообразилъ себѣ, и, того гляди, начнетъ съ нимъ драться.

— Можетъ быть, вы потеряли или обронили? пролепеталъ Сопѣлкинъ.

Пулькинъ снялъ съ гвоздя сюртукъ и, пощупавъ боковые карманы, надѣлъ его.

— А вотъ, не угодно ли обратить вниманіе,—заговорилъ онъ: — подойдите сюда, поглядите, — съ замочной скважины воскомъ была снята форма... ключъ былъ поддѣланъ,—обратите вниманіе...

Сопѣлкинъ подошелъ и пощупалъ замочную скважину.

— Было двѣ тысячи... осталось двѣсти... Странный воръ! Но пойдемте въ вашу комнату, здѣсь неловко говорить...

И Пулькинъ пальцемъ сдѣлалъ едва замѣтное движеніе по направленію къ заколоченной двери, какъ бы указывая на близость кухни.

Это движеніе не осталось незамѣченнымъ Сопѣлкинымъ.

— Тутъ некого подозрѣвать,—сказалъ онъ скороговоркой;—но, очевидно, не далъ хода вспыхнувшему въ немъ неудовольствію и, вмѣстѣ съ Пулькинымъ, прошелъ въ свою спальню.

Тамъ Пулькинъ, притворивши дверь, далъ полную волю своимъ соображеніямъ и не только обвинилъ Софью въ воровствѣ,—поклялся Сопѣлкину, что къ ней ходитъ любовникъ и что онъ самъ разъ на праздникахъ видѣлъ въ кухнѣ кончики мужицкихъ сапоговъ, высунувшихся изъза занавѣски, очевидно неизвѣстнаго ему человѣка, и что онъ не разъ слышалъ въ кухнѣ шопотъ, когда Сопѣлкина не было дома.

Сопѣлкинъ былъ пораженъ; но, не смотря на ревность, закипѣвшую въ душѣ его, горячо заступался за Софью... Онъ рѣшился не словами, а самымъ фактомъ доказать Пулькину, что Софья тутъ непричемъ. — Пойдемте въ кухню,—сказалъ онъ.—Вошли въ кухню. Софья, какъ ни въ чемъ не бывало, стояла передъ затопленной плитой и поправляла высунувшееся полѣно.

— Софья! глухо забормоталъ сконфуженный Сопѣлкинъ; у Александра Васильевича изъ комода пропала боль-

шая сумма денегъ — чтобъ онъ не подозрѣвалъ тебя, пожалуйста, дозволь ему тебя обыскать и отопри ему сундукъ твой.

Софья, не говоря ни слова, продолжала стоять у жарко затопленной плиты: непослушное полѣно не лѣзло въ печь,—искры такъ и сыпались ей на фартукъ.

— Какія такія деньги пропали? проговорила она холодно, не глядя на нихъ.

— Или вы, или кто-нибудь изъ тѣхъ, кого вы принимаете у себя... началъ Пулькинъ, сразу горячась и приближаясь къ ней.—Да, да, да! Это ваше дѣло, и вамъ жестоко за это достанется. Гдѣ ключъ отъ вашего сундука? — отоприте.

— Ну, ужъ это... завтра!..

— Не завтра, а сейчасъ, сію минуту!

— Софья, ради Бога, докажи ты этому барину, что ты тутъ непричемъ — пусть онъ посмотритъ твои пожитки.

— Пошлите за полиціей, я при полиціи отопру сундукъ... Посылайте... Я не воровка и безъ свидѣтелей не стану давать понапрасну ворошить вещей своихъ. Не дозволю. Ишь вы! Больно ловки! Не на таковскую напали. Еще за безчестье заплатите!

— Ну что-жъ, и пошлемъ за полиціей, — крикнулъ Пулькинъ, — и пусть тебя арестуютъ. Тогда узнаютъ, разыщутъ.

— Не боюсь, посылайте за полиціей, да не грозите, пожалуйста. Еще не бывала воровкой, да и не буду. Еще миловалъ Богъ. Слава тебѣ, Господи! Пусть придутъ дворники, приставъ, городовые, тогда и обыскивайте, хоть всю кухню обшарьте. А вамъ—вотъ это не хотите ли!

И, сверкнувъ глазами, Софья вытянула руку съ засученнымъ рукавомъ, и передъ самымъ носомъ Пулькина

показала кукишъ. Движеніе было энергично и напоминало кабакъ. Сопѣлкинъ совершенно убѣдился въ ея невинности. Пулькинъ же былъ такъ взбѣшенъ, что, не будь здѣсь Сопѣлкина, онъ бы за одинъ этотъ кукишъ схватилъ ее за шиворотъ; но онъ только устремилъ на нее взглядъ, силу котораго отказывается передать перо мое.

— Кто у васъ былъ подъ Новый годъ, когда Степана Авдѣевича дома не было? спросилъ ее, задыхаясь Пулькинъ.

— Никого не было, а если кто и былъ, такъ — прачка.

— Прачка... А мужской голосъ! А мужская походка! Это прачка по-вашему! И затѣмъ, когда онъ ушелъ, вы попросили меня запереть за вами дверь, сказали, что черезъ 5 минутъ вернетесь и вернулись въ первомъ часу... Вы сказали, что пойдете въ лавочку. Кой чортъ до перваго часа будетъ оставаться въ лавочкѣ!

— Ну, не врите... вы лучше про себя разсказывайте... Вы мнѣ вашими тремя рублями ротъ-то не замажете. Да, да! Кабы я отъ васъ намедни не вырвалась... Да, да! Забыли?! Вотъ, какъ еще вы у барина-то въ комнатѣ въ печкѣ мѣшали... Еще до сихъ поръ у меня руки болятъ...

Пулькинъ былъ взбѣшенъ до послѣдней степени и весь дрожалъ отъ злости и негодованія.

— Нѣтъ, я говорить съ ней не стану, съ этой наглой, гнусной, противной женщиной, съ этой воровкой.

— Молчите! Пока она не уличена, вы не можете такъ обвинять ее.

— А кто это былъ у васъ, начала Софья, — вотъ который билетикъ-то у васъ оставилъ?... Онъ никакъ съ полчаса былъ у васъ въ комнатѣ, хотѣлъ записку вамъ написать... Почемъ я знаю, можетъ быть, онъ за это время и облапошилъ васъ. Вотъ, и у Степана Авдѣича

почитай деньги есть... я бы лучше ихъ у него украла, кабы была воровкой... Три мѣсяца живу у васъ—никакой тряпки у васъ не пропало... А тутъ еще дамъ я вамъ надъ собой куражиться, да еще обыскивать... Нѣтъ, еще руки у васъ коротки... Ишь какіе молодчики нашлись! Посылайте за полиціей!

И долго, долго, съ небольшими перерывами въ томъ же родѣ, говорила и бранилась Софья.

Пулькинъ уже не слыхалъ ея, онъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и размышлялъ:

— Шутка сказать, тысяча восемьсотъ рублей! Эхъ! Можетъ быть, по горячимъ слѣдамъ и нашлись бы денежки. Но... за полиціей!... Не могу... И почему она такъ настаиваетъ, чтобъ я послалъ за полиціей?! Почему она такъ увѣрена!

Пулькину стало страшно; онъ всталъ и пошелъ къ Сопѣлкину, который, весь зеленый, завернутый въ халатъ, сидѣлъ у себя въ креслахъ, глядѣлъ въ разложенныя передъ нимъ бумаги и, очевидно, ничего не понималъ, ничего не видѣлъ.

— Степанъ Авдѣевичъ, — сказалъ ему Пулькинъ: — повѣрьте мнѣ—чѣмъ хотите поклянусь вамъ,—даже въ помышленіяхъ моихъ не было воспользоваться податливостью вашей Софьи; я далъ вамъ честное слово и сдержалъ его. Знаю, что вамъ въ высшей степени непріятна эта исторія... Но что же дѣлать!—Я убѣжденъ, что это дѣло Софьи.

— Молчите!

— Я убѣжденъ, что это дѣло Софьи, но я не пошлю за полиціей, и пусть она подавится этими деньгами! Она одна могла подглядѣть въ щелку, что у меня есть деньги, она видѣла, какъ я считалъ ихъ, и я самъ тутъ виноватъ, самъ же провертѣлъ, на свою бѣду дырку, въ то время, когда и Софьи не было. Дырка эта была ею залѣплена, и я,

конечно, не могъ ни за ней, ни за вами подглядывать, но теперь она сквозитъ... Замѣтьте вы это—сквозитъ.

— Не говорите... брр!... не говорите... я съ ума сойду...

— И неужели вы вѣрите, чтобъ сенаторъ, извѣстная личность, — могъ рыться у меня въ комодѣ, могъ обокрасть меня! Да и почемъ онъ зналъ, что у меня тамъ деньги!—Никто не зналъ—никто! Даже вы не знали.

— Дайте мнѣ опомниться,—пробормоталъ Сопѣлкинъ.

— У меня еще есть деньги. — Но жить подъ одной кровлею съ такой женщиной, которая при васъ мнѣ показываетъ кукиши,—я не могу... завтра же переѣду...

— Такъ вы не даете знать въ полицію?

— Нѣтъ, Богъ съ ней...

Сопѣлкинъ, молча, судорожно пожалъ ему руку и обѣщалъ съ своей стороны употребить все свое стараніе узнать истину. Если же, сказалъ онъ съ горечью, вы меня подозрѣваете, то обыщите—у меня же отъ 600 р. наградныхъ еще осталось 318 руб. съ копѣйками.

— Васъ!... никогда, Степанъ Авдѣевичъ! Богъ съ вами! Все это сдѣлано при помощи слесаря. Помните еще разъ, она проболталась, что у ней родственникъ какой-то есть слесарь... Помните?... Но прощайте, Степанъ Авдѣевичъ. Повѣрьте, я и самъ еще не знаю, куда иду и что будетъ. Не знаю!...

XVIII.

Хотя Пулькинъ и сказалъ, что онъ не знаетъ, куда идетъ, но, вышедши на улицу, тотчасъ же сообразилъ, что ему дѣлать.

Онъ купилъ себѣ новый бумажникъ,—и у ресторана Вольфа, за обѣдомъ, въ особой комнаткѣ, переложилъ въ него всѣ оставшіяся у него деньги. Потомъ, когда

уже смерклось, пошелъ онъ вдоль по Мойкѣ, увидѣлъ строющійся домъ, окруженный лѣсами и досчатымъ заборомъ, зашелъ за заборъ, постоялъ тамъ и выронилъ найденный имъ бумажникъ на кучу мусора, перемѣшаннаго съ снѣгомъ; затѣмъ, продолжая застегиваться, онъ пошелъ дальше... и долго еще ему казалось, что кто-то идетъ за нимъ и хочетъ возвратить ему его пустой бумажникъ. Завернувъ на Большую Морскую, онъ опять вышелъ на Невскій, прошелъ пѣшкомъ вдоль до угла Литейной и позвонилъ у Альванга.

Въ закройную со свѣчей вышла женщина и спросила фамилію; надѣвъ очки, порылась въ книгѣ и сказала, что платье въ 5 часовъ было послано по адресу, но такъ какъ г. Пулькина не было дома, принесено назадъ.

Пулькинъ заявилъ, что онъ переѣзжаетъ на другую квартиру, и какъ только переѣдетъ, самъ зайдетъ за платьемъ и расплатится.

Женщина сказала: хорошо.

— Прощайте! сказалъ Пулькинъ.

— Прощайте! сказала женщина и заперла за нимъ дверь.

XIX.

Прошло съ небольшимъ двѣ недѣли. Эти двѣ недѣли не даромъ прошли для Пулькина, не даромъ прошли и для Сопѣлкина.

Начнемъ съ Александра Васильевича, такъ какъ фортуна, очевидно, на его сторону повернула колесо свое, и кончимъ раздражительнымъ Степаномъ Авдѣичемъ.

Кто бы могъ подумать, что аккуратный, разсудительный, хотя и нелишенный кой-какихъ игривыхъ фантазій, Пулькинъ рѣшится взять дорогую квартиру, отрекомендованную ему Савишинымъ, этимъ jeune prèmier всего

департамента. Но это случилось, и несомнѣнно по волѣ Провидѣнія, ибо что же можетъ и быть безъ воли Провидѣнія!

Пулькинъ заходилъ и на Садовую, въ домъ Яковлева, гдѣ такое множество холостыхъ квартиръ для молодежи обоего пола, и на Обуховскій проспектъ, въ домъ Шольца, гдѣ обитаетъ такое множество нашихъ будущихъ инженеровъ и техниковъ—и что же? Какъ на зло, всѣ сколько нибудь порядочныя комнаты были заняты; оставались только узенькія, съ темными окнами на дворъ или заплесневѣлыя, даже какія-то подозрительныя коморки.

И потому ли, что «пуганая ворона куста боится», осматривая эти коморки, Пулькинъ безпрестанно думалъ: чортъ знаетъ, еще, того гляди, и здѣсь меня обокрадутъ!

И опять шелъ нашъ Пулькинъ читать билетики на воротахъ и разспрашивать дворниковъ.

Но очевидно, что Питеръ былъ въ эту зиму биткомъ набитъ и что время для такого рода поисковъ было самое неподходящее. А оставаться Пулькину подъ одной кровлей съ распроклятой Софьей было чѣмъ-то въ родѣ нравственной пытки, тѣмъ болѣе, что эта красавица даже Сопѣлкина начала приводить въ ужасъ и отчаяніе своими поступками — хлопала дверями, грубила, роняла тарелки, а можетъ быть и съ умысломъ бросала и разбивала ихъ, и каждодневно, послѣ обѣда, пропадала до поздняго вечера. Тщетно несчастный Сопѣлкинъ то пѣтушился, то старался ее умилостивить, чуть не со слезами на глазахъ умолялъ ее простить его, даже клялся, что онъ никогда, ни на одну минуту не сомнѣвался въ ея честности (Сопѣлкинъ лгалъ—онъ уже сомнѣвался въ глубинѣ души своей), но ничто не помогало! Софьѣ тоже, какъ видно, было уже не въ мочь жить подъ одной кровлей съ Пулькинымъ и Сопѣлкинымъ. Она, очевидно, сама

добивалась, чтобъ Сопѣлкинъ воротилъ ей паспортъ, или сказалъ бы ей: убирайся къ чорту!

— А что,—подумалъ Пулькинъ,—ужъ не зайти ли мнѣ туда, на Караванную. Кто знаетъ, можетъ быть, этотъ баринъ и уступитъ мнѣ. Ужъ коли слыть богачемъ, такъ ужъ надо, чтобъ и квартира была не чортъ знаетъ какая, а настоящая.

— Пойду на Караванную,—сказалъ Пулькинъ. День былъ воскресный, и онъ отправился. Но пусть ужъ лучше самъ Пулькинъ, съ нѣкоторой завидной веселостью на молодомъ лицѣ, разскажетъ намъ, какъ онъ нанялъ эту квартиру, т. е. двѣ комнаты съ мебелью за 84 рубля въ мѣсяцъ, безъ воды и дровъ.

— Ну! началъ онъ разсказъ свой, воротившись домой къ ночи и заставъ еще Сопѣлкина за своими бумагами:—ну, нанялъ наконецъ! Какъ гора съ плечъ...

— Наняли? не безъ внутренняго волненія, но притворно-равнодушно проговорилъ Сопѣлкинъ, не глядя на Пулькина.

— Прихожу, велю доложить — завтракаютъ. Скажи, говорю, по дѣлу... Подалъ мальчику визитную карточку... жду. Слышу говоръ, голосъ Савишина. Знаете Савишина?

— Не знаю,—пробурчалъ Сопѣлкинъ.

— Ну-съ... Савишинъ вышелъ ко мнѣ въ переднюю, схватилъ меня за руку, потащилъ — вижу, компанія... Столъ накрытъ... Омары, сыры, стразбургскій пирогъ, много вина и всякая всячина... Ну, разумѣется, отрекомендовался, сѣлъ. Хозяинъ Буганинъ... Вы и Буганина не знаете?

— Не знаю.

— Молодой еще человѣкъ, должно быть, милый шалунъ, немного кривляка, но дипломатъ! У! дипломатище первѣйшаго сорта! нижняя челюсть оттопырена, ротъ до

ушей, глаза на выкатѣ, одѣтъ какъ кукла, сидитъ верхомъ на стулѣ, покачивается.

— А, вы насчетъ квартиры? говоритъ:—ну, говоритъ, чуть было не опоздали— я вѣдь, батюшка вы мой, завтра на чугунку, да и въ путь. Вонъ и чемоданишки мои уложены...

— Ну, думаю, слава тебѣ, Господи, опоздалъ!—Такъ, значитъ, вы уже сдали вашу квартиру? спрашиваю.

— И не думалъ, говоритъ; очень нужно мнѣ ее сдавать. А если, говоритъ, и рѣшусь я вамъ сдать ее, то вотъ, благодарите Савишина. Онъ мнѣ совѣтуетъ и рекомендуетъ. А впрочемъ, какъ вамъ угодно, говоритъ... А ты, Николашка, подай шампанскаго г. Пулькину! Меня это даже удивило... А Николашка этотъ, надо вамъ сказать, мальчишка лѣтъ 18-ти, сутулый, низенькій, съ боку точно лягушка, должно быть, чухна, въ сѣромъ ливрейномъ фракѣ, тотчасъ же подаетъ мнѣ на подносѣ бокалъ: рука въ вязанной перчаткѣ, и уже совершенно лакейская физіономія. Ну-съ, дѣлать нечего, я выпилъ. Савишинъ — эдакая каналья, этотъ Савишинъ! Не будь онъ тутъ, кажется, ни за что бы не рѣшился — легъ на диванъ, ноги вверхъ, да и говоритъ:

— Я всегда радъ услужить сослуживцу! А вы, говоритъ, г. Пулькинъ, не только на Караванной, нигдѣ въ цѣломъ свѣтѣ не найдете такой квартиры за 84 рубля... Вы только поглядите... игрушечка!..

— И точно, что игрушечка... т. е. я вамъ скажу!.. Каминъ съ мраморной доской, картины, бронза, мебель, —я вамъ скажу,—роскошнѣйшая—рѣзная, цѣльный орѣхъ, и въ добавокъ пьянино!

— Пьянино,—повторилъ Сопѣлкинъ,—ха-ха!

— Да-съ, пьянино! А какая спальня, если бы вы видѣли! точно будуаръ самой модной красавицы! Трюмо, умывальный столикъ, и проч... Согласитесь сами, Сте-

панъ Авдѣичъ, что оно хоть и дорого, 84 рубля въ мѣсяцъ, но вѣдь стоитъ, согласитесь, что стоитъ!

— 84 рубля, повторилъ Сопѣлкинъ. Ну, а что, вы камердинера себѣ наймете, или что...

— Да и это все уже устроено. Тотъ же самый Николашка остается. Онъ оказывается сынъ швейцара, и очень радъ...

— Такъ у васъ значитъ и швейцаръ будетъ?

— Будетъ и швейцаръ... отставной солдатъ; но нельзя сказать, чтобъ очень представительный... нѣтъ, этого нельзя сказать!

Пулькинъ помолчалъ немного и снова началъ, понизивъ голосъ:

— Я вѣдь и самъ знаю, что это дорого, что это чортъ знаетъ, во что обойдется мнѣ! но... что же мнѣ дѣлать? Я весь Петербургъ перековырялъ, и хоть бы что! Нѣтъ нигдѣ квартиръ, да и баста!

— Коли по силамъ, такъ почему-жъ. Хоть дворецъ нанимайте...

— Э! кабы по силамъ!

— А были вы у Любиныхъ? круто повернулъ разговоръ Сопѣлкинъ.

— Нѣтъ, Богъ съ ними!

— Я у нихъ былъ, они очень любятъ васъ.

— Эхъ! правду однажды сказали вы... Степанъ Авдѣичъ... протянулъ Пулькинъ, слегка по плечу ударивъ Сопѣлкина и почему-то вздохнувъ, ушелъ въ свою комнату.

— Что я такое сказалъ ему! подумалъ Сопѣлкинъ. А Софьи все нѣтъ, какъ нѣтъ... Ничего дѣлать не могу... точно дурманомъ опоили. Кто бы могъ это предвидѣть! Унесетъ чортъ этого вертопраха, и я—одинъ — никого!..

— Пулькинъ!

— Что вамъ угодно?..

— Вы заперли дверь на лѣстницу?

— Заперъ, а что!

— Такъ... Вы ложитесь?

— Ложусь, Степанъ Авдѣичъ.

— А когда вы переѣзжаете?

— А я думаю послѣ завтра... А что?

— Ничего.

Пулькинъ заперъ въ комодъ бумажникъ, заперъ дверь на крючокъ (этотъ крючокъ онъ завелъ уже послѣ покражи денегъ), вычистилъ свой носъ и сталъ раздѣваться.

Часъ спустя, Сопѣлкинъ, не вставая съ мѣста и не переставая водить перомъ по казенной бумагѣ, спросилъ:—вы спите, Александръ Васильевичъ?

Отвѣта не послѣдовало.

Сопѣлкинъ продолжалъ писать (Что, еслибъ отъ этой бумаги зависѣла участь кого-либо изъ моихъ читателей! Кто не знаетъ, что исходъ дѣлъ иногда зависитъ отъ расположенія духа тѣхъ, кому поручены они).

Но вотъ Сопѣлкинъ бросилъ перо, вскочилъ и сталъ ходить изъ угла въ уголъ.

Часъ спустя, въ передней раздалось тихое звяканье.

Сопѣлкинъ дрогнулъ, запахнулъ халатъ и вышелъ въ темную переднюю.

— Кто тамъ? спросилъ онъ у двери.

— Я! послышался голосъ Софьи.

— Слишкомъ поздно, сударыня! прохрипѣлъ Сопѣлкинъ и отперъ дверь на лѣстницу.

Софья вошла; отъ нея пахнуло холодомъ. Сопѣлкинъ сдѣлалъ шагъ назадъ, далъ ей пройти въ кухню и, оставаясь въ потьмахъ, съ замираніемъ сердца сталъ прислушиваться: ему показалось, что кто-то, покашливая, осторожно спускается внизъ по каменной, темной лѣстницѣ.

Софья долго шарила, наконецъ шаркнула спичкой и зажгла огарокъ.

Сопѣлкинъ на желѣзный крюкъ заперъ дверь въ сѣни и страшно блѣдный, съ вихрами на головѣ, сверкая глазами, вошелъ въ кухню.

— Гдѣ вы были? прошипѣлъ онъ, хватая ее за руку.

— Отстаньте! проговорила Софья слабымъ, разбитымъ голосомъ, медленно снимая теплый платокъ, который закутывалъ ея голову.

— Кто это съ вами былъ сейчасъ?

— Не ваше дѣло.

— Софья!

Софья покачнулась и сѣла на табуретъ; она была пьяна.

— Софья! что ты дѣлаешь! Софья! пощади меня!

— Отстаньте! отстаньте! Что вы ко мнѣ лѣзете... Я воровка, я... Ну, и не приставайте! А кто провожалъ меня, это тоже не ваше дѣло... Вы что? вы баринъ... ну, и ступайте себѣ... А что вы меня любите... такъ это мнѣ—тьфу!... Много васъ, прости Господи!... Много я на своемъ-то вѣку маялась, да отъ вашего брата горя приняла... А вы мнѣ паспортъ мой пожалуйте, потому что я—ну, да понимай, какъ знаешь!... Ничего мнѣ, ни синя пороха отъ тебя не надо... Я, значитъ, пропащая, ну и распрекрасно—прекрасно! и лопни глаза мои, если я... Ну, да что говорить... одно слово... воровка!

И черные глаза ея, то потухая, то загараясь мутно-холоднымъ блескомъ, какъ бы съ ненавистью выглядывали исподлобья на несчастнаго Сопѣлкина, тогда какъ губы лепетали несвязныя рѣчи и признанія, а пальцы хватались то за уголъ очага, то за кушакъ, стараясь машинально разстегнуть его.

Сопѣлкинъ всплеснулъ руками, выбѣжалъ въ свою комнату, бросился ничкомъ на кровать и съ нимъ сдѣлалось нѣчто въ родѣ истерики.

XX.

Въ среду на той же недѣлѣ, Савишинъ подошелъ къ Пулькину въ департаментѣ и съ нѣкоторой важностью сообщилъ ему, что Буганинъ уѣхалъ, и что онъ надѣется, что всѣ вещи, имъ оставленныя, найдетъ онъ въ исправности, и что по этому онъ оставляетъ ему лампу, подсвѣчники, розетки и кой-какія бездѣлушки въ полной увѣренности, что все будетъ цѣло, что онъ, Савишинъ, за него ручался и что списокъ оставленнымъ вещамъ онъ найдетъ у швейцара.

— Можете провѣрить,—сказалъ онъ, и затѣмъ, кивнувъ головой, прошелъ въ другое отдѣленіе.

— Что сей сонъ значитъ! подумалъ столоначальникъ Фуфаевъ и покосился на Пулькина.

Пулькинъ, проводивъ глазами Савишина, вытянулъ подъ столомъ ноги и съ застывшей на губахъ улыбкой задумался.

— Али тысячную квартиру наняли? спросилъ Фуфаевъ.

— Да-съ, новую квартиру...

— А сколько комнатъ?

— Двѣ, да еще одна для прислуги.

— А сколько за это удовольствіе?

— Да такъ около тысячи!

— Пфа!?... А позовёте на новоселье?...

— Кто же пойдетъ ко мнѣ... и кого звать? помилуйте...

— Ничего, задайте хорошую пирушку—побольше зеленыхъ столовъ раскройте... и ничего!... придемъ... А сколько тысячъ—сто или больше послалъ вамъ Богъ?

— Да такъ... около... около ста... нерѣшительно, съ

запинкой отвѣчалъ Пулькинъ, и едва замѣтный румянецъ пошевельнувшейся совѣсти бросился въ лицо ему.

— Хоть бы и сто, не Богъ знаетъ какое богатство... не раскутишься... А хотите-ли годика черезъ три-четыре сто на сто? Хотите!

— Отчего же не хотѣть, помилуйте...

— Купите акцій побольше на Балтійскую дорогу... онѣ теперь по низкой цѣнѣ стоятъ.

— Подумаю... проговорилъ Пулькинъ и съ удвоеннымъ прилежаніемъ принялся строчить какое-то отношеніе.

XXI.

Пулькинъ довольно равнодушно разстался съ Сопѣлкинымъ, но пригласилъ его въ свое новое обиталище. На это Сопѣлкинъ не сказалъ ему ни слова, но на прощанье въ обѣ щеки поцѣловалъ его.

Оба были не въ духѣ.

То восторженное настроеніе, съ какимъ Пулькинъ сообщалъ Сопѣлкину о прелестяхъ своей новой квартиры, на другой же день смѣнилось разсудочнымъ недоумѣніемъ и тревожными запросами. Не даромъ Пулькинъ все утро чертилъ карандашемъ какія-то цифры, считалъ и пересчитывалъ...

Что это были за цифры, всякій можетъ догадаться; но авторъ все-таки рѣшается для недогадливыхъ переписать тотъ клочекъ бумаги, надъ которой Пулькинъ ломалъ себѣ голову. Вотъ какія знаменательныя данныя начертала рука его:

За квартиру 84 руб., дворникамъ 5, швейцару 3, мальчику 11 (жалов. 6, на харчи 25 коп. ежедн.), обѣдъ около 15, дрова 8, чай и сахаръ 4, бѣл. хлѣбъ 3, свѣчи и керос. 4, полотеру 1, прачка 3, итого 116; если

на извощиковъ 10, папиросы 6, театръ 10, перч. 5, Ам. 30, непредвид. 20, итого 81; всего 197.—Или около 200 руб. въ мѣсяцъ!

Ясно, отчего Пулькину, привыкшему проживать не больше 60 р. въ мѣсяцъ, такой расходъ показался чудовищнымъ. Онъ струсилъ, что при такой обстановкѣ, чего добраго, карманнаго капитала его хватитъ ненадолго. Пройдетъ годъ, и я опять на бобахъ, опять на пищѣ святого Антонія! подумалъ Пулькинъ.

Почему, недорогой, но все же довольно сытный обѣдъ, которымъ пользовался онъ у Сопѣлкина, показался ему пищей святого Антонія, это ужъ его тайна, въ разъясненіе которой я входить не намѣренъ. Очень можетъ быть, что все прошлое, въ сравненіи съ тѣмъ, что дразнило его аппетитъ въ будущемъ, вдругъ показалось ему мизернымъ, чѣмъ-то въ родѣ бобовъ или пищи святого Антонія; но если такъ, я не понимаю, почему въ своемъ разсчетѣ онъ отмѣтилъ на столъ такую ничтожную сумму (15 рублей)?... Или намѣревался онъ раза три въ недѣлю обѣдать въ гостяхъ, у кого-нибудь изъ числа моихъ петербурскихъ читателей? Не знаю.

— Вѣдь эдакую глупость я затѣялъ! продолжалъ онъ думать, садясь въ сани, чтобъ догнать ломового, который повезъ его скудные пожитки: старый чемоданъ, комодъ и два стула.

Сопѣлкинъ тоже хандрилъ, и хандрилъ отчасти изъ разсчета, отчасти по причинамъ, лично касающимся его сердечныхъ безобразій и горестей, изъ нихъ проистекающихъ. Во-первыхъ, онъ не могъ не видѣть, что безъ Пулькина расходы его увеличатся, что съ этого числа онъ будетъ платить за квартиру вдвое, и что это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не найдетъ онъ себѣ новаго сожителя. А гдѣ, и скоро-ли найдешь его?!.. Во-вторыхъ, увы! онъ уже расплатился съ Софьей, отдалъ

ей ея паспортъ и чувствовалъ себя одинокимъ, убитымъ, оплеваннымъ.

Когда, съ накипѣвшей желчью въ душѣ, онъ на прощанье сказалъ ей, что никто такъ, какъ онъ, не любилъ ея, и когда, въ отвѣтъ на это, она вздохнула и наклонилась, чтобъ облобызать у него руку, онъ скорчилъ такую кисло-отчаянную гримасу, какой никогда еще не появлялось на лицѣ его.

Софья исчезла вмѣстѣ съ своими сундуками, матрацомъ и юбками; иначе сказать, потонула въ мутныхъ подонкахъ столицы, но исчезла она не безъ слѣда для нашихъ маленькихъ героевъ.

Долго будетъ помнить Пулькинъ, что изъ денегъ, имъ незаконно присвоенныхъ, Софья похитила цѣлую треть, да еще съ хвостикомъ, и еслибъ не случай—все-бы взяла, оставивъ ему, по добротѣ души своей, 200 руб. на шубу, чтобъ не замерзъ онъ на дорогѣ, пустившись въ дальній путь за полученіемъ наслѣдства.

Долго не забудетъ и Сопѣлкинъ, что такая женщина, какъ Софья, не только не оцѣнила его сантиментовъ, самоотверженія и щедрости, но, при первой возможности, откровеннѣйшимъ образомъ наплевала на любовь его.

XXII.

«Такъ не шутятъ!.. какъ-бы о чемъ-то соболѣзнуя, съ недовольнымъ лицемъ замѣтила Анна Петровна Любина, полулежа у себя въ уборной, на маленькомъ диванчикѣ, прислоненномъ своею рѣзною спинкой къ рѣзной перегородкѣ изъ орѣховаго дерева, за которой стояла ея постель и прочія спальныя принадлежности. У ея ногъ сидѣла дочь ея Лиза, около Лизы, на креслахъ—Леля, или Елена Александровна Затаилова, въ глубокомъ траурѣ. Черная шляпка, съ черною дымкою откинутаго назадъ

вуаля, еще сильнѣе выдавала фарфоровую бѣлизну ея красиваго личика, и свѣтло-русые волосы ея казались еще свѣтлѣе. Грустная полутѣнь ложилась на ея голубые глазки съ полуопущенными рѣсницами. Эти рѣсницы, также какъ и тонкія брови, были гораздо темнѣе косы ея.

Лиза, съ своими большими, карими глазами, пухлыми губками и капризно вздернутымъ носикомъ, одна казалась веселой... Одну ее нисколько не смущалъ предметъ интимнаго разговора, хотя, можетъ быть, отчасти и занималъ ее.

— Я думала,—сказала она,—что вы, мама, ошибаетесь: и такъ какъ онъ продолжалъ мнѣ строить куры, мнѣ просто хотѣлось испытать его...

— Никогда я не ошибаюсь,—проговорила мать съ легкимъ раздраженіемъ въ голосѣ,—никогда! Поживи съ мое, и тогда... Но очень можетъ быть, что ты и въ мои года не будешь такъ проницательна... Я въ шестнадцать лѣтъ уже умѣла глубоко глядѣть въ душу людей. Женскій инстинктъ много, много подсказывалъ такого, чего никто не видѣлъ! И у меня была деликатность, и я никогда не позволяла себѣ оскорблять чье-нибудь чувство или отталкивать, особливо тѣхъ, у которыхъ есть сердце. Это непростительно!

— Вѣдь я вамъ тогда же разсказала эту—исторію, и вы мнѣ хоть бы словечко на это.

— И все-таки это не значитъ, чтобъ мнѣ не было на тебя досадно... очень было досадно. Никакого права не имѣла ты выдавать секреты своей подруги, а тѣмъ паче такъ опрометчиво клеветать на ея сердце.

Леля еще ниже опустила свои рѣсницы, Лиза сдѣлала маленькую гримаску и пожала плечами: ахъ, какъ подумаешь, какая страшная клевета! выразило ея лице.

— Ты, конечно, не хотѣла клеветать... продолжала мать, мелькомъ взглянувъ на молоденькую гостью: — ты хотѣла пошутить... но... это была жестокая шутка... Ты

видишь послѣдствія—съ тѣхъ поръ Пулькинъ пропалъ, съ тѣхъ поръ его нога не была у насъ.

Леля молчала, но самое молчаніе ея доказывало, до какой степени небезучастно относилась она къ оправданіямъ насмѣшливой Лизы и выговорамъ ея матери.

Изъ ихъ разговора нельзя ей было не понять, что, во-первыхъ, Пулькинъ былъ страстно влюбленъ въ нее; во-вторыхъ, Пулькинъ пересталъ ходить къ Любинымъ съ тѣхъ поръ, какъ заключилъ изъ намековъ Лизы, что она, т. е. Леля Затаилова, влюблена въ другого; въ-третьихъ, Пулькинъ отъ того пересталъ ходить къ Любинымъ, что каждую встрѣчу съ ней считаетъ для себя опасной и не желаетъ страдать безплодно; въ-четвертыхъ, Пулькинъ разбогатѣлъ и, любя ее, непремѣнно сталъ бы искать руки ея, и въ-пятыхъ, наконецъ, она, Лелечка Затаилова, въ такомъ положеніи, послѣ внезапной кончины своего родителя, что, можетъ быть, и не отказала бы ему въ рукѣ своей.

Все, что знала Леля Затаилова о Пулькинѣ, это то, что онъ человѣкъ практическій, т. е не идеалистъ, и что къ ея убѣжденіямъ относился онъ съ нѣкоторымъ сочувствіемъ, потому что всегда былъ готовъ поддакивать и при этомъ мило улыбался и чего-то конфузился. И хотя она не была влюблена въ него, все-таки этотъ разговоръ сильно задѣвалъ ее во всѣхъ отношеніяхъ; онъ задѣвалъ ея самолюбіе, онъ дразнилъ ее, ей было досадно на Лизу и почему-то было пріятно думать, что Пулькинъ изъ-за нея бросилъ знакомство съ Любиными, что Пулькинъ боится ея, какъ огня, и проч.

Анна Петровна понимала, что слова ея не безслѣдно прошли по душѣ молодой дѣвушки, подруги ея дочери, но она и вида не подала, что замѣчаетъ свое вліяніе; она уже хотѣла прекратить этотъ разговоръ, какъ вдругъ Леля вся вспыхнула и заговорила.

— И зачѣмъ, зачѣмъ объ этомъ говорить! Положимъ даже, онъ былъ ко мнѣ неравнодушенъ — что-жъ изъ этого? Съ тѣхъ поръ столько прошло времени, что онъ сто разъ могъ заинтересоваться какой нибудь другой особой и даже забыть о моемъ существованіи.

— Конечно, это можетъ быть,—сказала Анна Петровна, поглядывая на раскраснѣвшуюся дѣвушку: — но я это узнаю...

— Какъ-же это вы, мама, узнаете? спросила Лиза.

— Очень просто—я напишу ему.

— Чтооо?! испуганно встрепенулась Леля.

— Напишу къ нему, чтобъ онъ зашелъ ко мнѣ.

— И... и что-же вы будете говорить ему?

— Леля, — заговорила Лиза, — не безпокойся, мы съ тактомъ... Мама его позоветъ, я буду очень любезна съ нимъ, и о тебѣ ни слова.

— Да и зачѣмъ... зачѣмъ вамъ звать его?

— Я увѣрена,—тряхнувъ головой и слегка улыбнувшись своими красными (отъ губной помады) губами, заговорила Анна Петровна,—я увѣрена, что Елена Александровна и не думаетъ, чтобъ я была такъ глупа, или что во мнѣ такъ мало деликатности, что я заговорю съ молодымъ человѣкомъ, или даже намекну ему о томъ, что такъ интересуетъ насъ... Все это между нами... Но если Пулькинъ по-прежному будетъ насъ навѣщать и хоть изрѣдка встрѣчаться съ Еленой Александровной, то—что будетъ? Мы увидимъ. Любитъ — хорошо... Не любитъ... Богъ съ нимъ!

— Конечно, плакать не буду! подхватила Леля и замѣтно успокоилась.

— А можетъ быть... пробормотала Лиза и искоса поглядѣла на Лелю.

Леля искоса поглядѣла на Лизу, но не сказала ни слова.

— Будьте со мной только откровенны, милыя дѣти мои, и знайте, что я никогда ничего дурного вамъ не посовѣтую,—сказала Любина, тоже какъ будто успокоившись.

На этой фразѣ она думала и покончить свою интимную бесѣду съ молодыми дѣвицами — у ней же болѣла голова; но востроглазая Лиза не унималась, должно быть, была въ ударѣ болтать все, что придетъ ей въ голову.

— Ну, мама,—весело заговорила она,—на все разсчитывай, только не на откровенность.

Анна Петровна вздрогнула, точно ее ужалили, не безъ изумленія поглядѣла на дочь свою, и скляночка со спиртомъ, какъ была въ рукѣ, такъ и остановилась, не дойдя до носа.

— Какъ? Отчего-же?

— Да такъ.

— Значитъ, ты по себѣ судишь! У тебя секреты отъ матери?!

— О, что касается до Пулькина,—перебила ее Леля, то я надѣюсь, что я буду съ вами откровенна—не безпокойтесь!

— Ха! засмѣялась Лиза,—только до Пулькина! А что будетъ касаться до другихъ, то не жди, мама, откровенности.

Затаилова опять поглядѣла на Лизу и опять не произнесла ни слова.

— Ахъ вы, молодыя дѣвицы! укоризненно вздохнула Анна Петровна:—Не вѣрите вы нынѣче ни въ наше дружеское расположеніе, ни въ участіе, ни во что...

— Отчего же, мама, не вѣрить!

Но Анна Петровна уже не слушала; она была огорчена, опечалена, и не скоро можно было вывести ее изъ грустнаго раздумья о современныхъ, неблагодарныхъ дѣвушкахъ... Голова у ней разболѣлась пуще, она стала

закрывать глаза, чаще нюхать спиртъ и кончила тѣмъ, что велѣла дочери принести себѣ подушку... Оставшись одна, долго лежала она, стиснувъ себѣ руками голову и думала: есть секреты или нѣтъ секретовъ у ея Лизы?.. И если есть, то какого рода эти секреты? Невинные, дѣтскіе, или опасные? Если опасные, то не лучше ли ей, какъ матери, постоянно слѣдить за ней и наблюдать, зорко наблюдать, нежели ждать ея откровенности... Ахъ! сколько хлопотъ, сколько заботъ, сколько горя причиняютъ намъ эти взрослыя дочки! Того гляди, что сочинятъ какой-нибудь романъ на свою голову!!..

XXIII.

Лиза и Леля когда-то ѣздили въ одинъ и тотъ же пансіонъ учиться... Пансіонъ былъ очень дорогой и очень модный. Я не хочу вамъ назвать его только потому, что, чего добраго, кто-нибудь изъ моихъ читательницъ соблазнится его дороговизной и отдастъ туда учиться дочерей своихъ...

Леля была такой хорошенькой дѣвочкой, что всѣ ею любовались и всѣ ее баловали; даже учителя (что грѣха таить!) невольно прибавляли ей баллы за ея золотыя кудри и херувимское личико.

Лиза, съ 10-тилѣтняго возраста своего, слыла стотысячной невѣстой и долго косилась на Лелю за то, что та въ пансіонъ пріѣзжала на грязныхъ извозчикахъ, а не въ собственномъ своемъ экипажѣ, и ходила въ какомъ-то старомодномъ салопчикѣ, а не въ бархатной шубкѣ... Ей было смѣшно, что ее такъ безобразно кутаютъ въ сѣняхъ, когда на улицѣ морозъ и вьюга, и что провожать ее приходитъ то горничная, то кухарка, то какой-то гимназистъ низенькаго роста, очень зябкій, съ подвязанной щекой и припухшимъ носикомъ. Но разъ, въ про-

ливной дождь, Лиза довезла Лелю въ своей каретѣ до дому и, оказавъ ей это покровительство, до такой степени подружилась съ ней, что не разъ говорила своей матери: — ахъ, мама, я безъ Лели жить не могу. Ради Бога, если ты меня любишь, пошли за ней.

Въ 16 лѣтъ Лиза уже на столько сознавала свои преимущества надъ Лелей (независимое состояніе, способности, свѣтскую развязность и проч.), что прощала ей красоту и гордилась тѣмъ, что у ней такой хорошенькій другъ, какихъ немного. Она уже не признавалась ей въ любви и не ласкала ее такъ страстно, какъ въ 14 лѣтъ, но по-прежнему повѣряла ей свои сердечныя тайны и по-прежнему каждое воскресенье звала ее къ себѣ обѣдать!

Это была дружба, въ полномъ смыслѣ, слова пансіонская, т. е. самая непрочная и удобозабываемая.

Однако, она продолжалась съ годъ или даже около двухъ лѣтъ послѣ ихъ выхода изъ пансіона, когда обѣ онѣ сдѣлались уже такими дѣвушками, что хоть подъ вѣнецъ сейчасъ.

Но такой необыкновенной продолжительности ихъ дружескихъ отношеній много способствовали слѣдующія обстоятельства: Лиза жила на Фурштадтской и Леля на Фурштадтской, т. е. очень недалеко отъ Лизы. Лелѣ гораздо пріятнѣе было ѣздить по магазинамъ въ каретѣ съ Лизой, чѣмъ на дрожкахъ съ горничной. Леля ни о чемъ серьезно не думала, любила разнообразить общество и въ гостиной Любиной находила это разнообразіе. Не смотря на то, что дѣла отца ея были разстроены, что впереди ничего не предвидѣлось, что она съ 12-ти лѣтъ сиротѣла безъ матери, она все-таки была избалованная, изнѣженная барышня, скучала дома и, очевидно, дорожила расположеніемъ Лизиной мамаши, а Лизина мамаша очень любила, когда дорожатъ ея расположеніемъ. И, на-

конецъ, Леля долго подчинялась вліянію Лизы, а Лизѣ это тоже очень нравилось; Лизѣ было пріятно сознавать, что она умнѣе, ловчѣе и хитрѣе своего милаго друга Лели.

И эта дружба стала замѣтно простывать съ той самой минуты, когда измѣнились обстоятельства, т. е. когда Леля и Лиза уже не жили на одной и той же улицѣ, когда Леля стала задумываться и поняла Лизу или вообразила себѣ, что вполнѣ поняла ее, когда у Лели въ домѣ появился студентъ, сынъ ея родной тетки, тотъ самый гимназистъ, который когда-то провожалъ ее, и когда, наконецъ, она попала въ такое молодое общество, которое совершенно измѣнило весь складъ ея прежнихъ пансіонскихъ понятій и, такъ сказать, заставило ее сжечь все то, чему она покланялась. Послѣ внезапной кончины своего отца (онъ въ началѣ января умеръ ударомъ), она еще рѣже стала появляться у Любиныхъ, и хотя не ссорилась съ Лизой, но уже окончательно вышла изъ подъ ея вліянія.

Чтобъ еще нагляднѣе разъяснить вамъ ихъ взаимныя отношенія, приведу вамъ ихъ разговоръ въ будуарѣ Лизы, куда онѣ отправились тотчасъ же послѣ того, какъ Анна Петровна потребовала себѣ подушку и стала, закрывъ глаза, грустить объ испорченности сердца и лукавствѣ молодого поколѣнія дѣвушекъ.

— Ты, пожалуйста, Леля, не очень сердись на мою маму... сказала Лиза.

— Я не сержусь, но что ей за охота хлопотать о судьбѣ моей?

— Ахъ... что за охота! Она это дѣлаетъ просто отъ нечего дѣлать, по добротѣ души своей, и, если это тебѣ непріятно, дѣлай такъ же, какъ я... гляди на все сквозь пальцы... Что же касается до этого Пулькина, то... почему, если онъ влюбленъ въ тебя, и если имѣетъ сред-

ства содержать тебя... почему ты не могла бы выйти за него замужъ... почему?

— Да просто потому, что онъ чиновникъ, а я ненавижу чиновниковъ.

— Да кто же не чиновникъ? Весь Петербургъ—чиновникъ. Да и не все ли равно, офицеръ, чиновникъ или просто свѣтскій молодой человѣкъ, если только онъ не глупъ, не уродъ и съ деньгами. Я тебя не понимаю!

— А я тебя не понимаю. Я хлопочу о томъ, чтобъ мнѣ самой заработывать себѣ кусокъ хлѣба и независимость, чтобъ къ работѣ пріучить себя; а... ты толкуешь мнѣ о женихѣ съ деньгами, хочешь, чтобъ я къ мужу пошла на содержаніе!...

— Какимъ же это способомъ заработывать себѣ кусокъ хлѣба? Въ гувернантки, что ли, ты хочешь закабалить себя?

— Я не знаю, чѣмъ я буду; но учусь и пріучаю себя къ мысли ничѣмъ не брезгать...

— Ну, такъ и пріучи себя къ мысли не брезгать Пулькинымъ...

— А почемъ я знаю, каковы его убѣжденія!

— Ахъ... Боже мой! Убѣжденія! Если онъ дѣйствительно, какъ увѣряетъ мама, влюбленъ въ тебя, то у него одно убѣжденіе,—убѣжденіе, что лучше, милѣе, умнѣе и прекраснѣе тебя никого на свѣтѣ нѣтъ... Почему тебѣ не уважать такого убѣжденія?

Леля задумалась.

— То, что можетъ удовлетворить тебя,—проговорила она нерѣшительнымъ тономъ, какъ бы боясь обидѣть Лизу,—меня не удовлетворяетъ; одной любовью нельзя жить на свѣтѣ—есть и другіе интересы.

— Это все поэзія, Леля... Трудъ, самопомощь, гражданскіе подвиги, эманципація, все это чистѣйшая поэзія!

Леля замѣтно обидѣлась.

— Ну, положимъ, поэзія; но я только такую поэзію понимаю и хочу понимать; а если тебѣ любовные стишки по вкусу...

— Да, если они хороши, то и они по вкусу, да и тебѣ тоже... пожалуйста, не лги на себя... сдѣлай такую милость!... Давно ли еще ты списывала въ тетрадку: «Мечты, мечты, гдѣ ваша сладость!»

— Ахъ, какъ это было давно! вздохнула Леля.

— Ахъ! какъ мнѣ васъ жаль! Какъ вы состарились съ тѣхъ поръ, какъ Дицъ посвятила васъ въ тайны нигилизма, съ тѣхъ поръ, какъ стали вы заниматься анатоміей и подстригать ваши длинные локоны!...

Леля вспыхнула, глаза ея и потемнѣли, и заблестѣли... Но это было одно мгновеніе: она тотчасъ же потупилась, поблѣднѣла и проговорила:

— Ну, пусть такъ, пусть такъ! Оставь меня и мой нигилизмъ въ покоѣ, тутъ ты ровно ничего не понимаешь...

Лиза захохотала — это былъ нехорошій смѣхъ, какой-то злой, обидный.

— Познакомь меня съ твоей Дицъ! Кто знаетъ, можетъ быть, и я... пойму хоть что-нибудь... Изъ того же, что ты говоришь мнѣ, я ничего не понимаю... извини меня.

— Извиняю, — монотонно и въ то же время какъ-то безнадежно грустно промолвила Леля, натягивая на руку перчатку. Потомъ она машинальнымъ движеніемъ рукъ поправила на головѣ свою шляпку, расправила вуаль и стала прощаться съ Лизой.

— Не шутя, Леля, я говорю тебѣ, познакомь меня съ твоей Дицъ.

— Хорошо, пожалуй! тѣмъ же тономъ проговорила Леля,—а теперь прощай! Я у тебя засидѣлась...

— Когда же ты опять къ намъ?

— Не знаю...

— А когда я могу быть у тебя?

— Когда хочешь... прощай!

Обѣ пріятельницы холодно поцѣловались, и Леля, черезъ корридоръ, надувши губки, прошла въ переднюю.

— Мамѣ будетъ очень непріятно, если я поссорюсь съ ней,—подумала Лиза.

XXIV.

Самолюбіе Пулькина, казалось, было вполнѣ поощрено и утѣшено. Никогда еще не жилъ онъ съ такимъ комфортомъ, никогда еще не спалъ онъ на такой во-истину барской кровати. на такихъ эластическихъ матрацахъ, за такими широкими цвѣтными занавѣсками. Самая прислуга его, въ видѣ блѣдно-сѣрой лягушки, оказалась въ высшей степени дрессированной. Николашка вездѣ поспѣвалъ, все дѣлалъ во время и умѣлъ угождать. Знакомые сослуживцы, чиновники, тоже стали посѣщать Пулькина и, разумѣется, не могли не замѣтить, до какой степени преобразился Пулькинъ, какимъ сталъ джентльменомъ, и какъ отлично умѣлъ онъ сервировать свой завтракъ, когда разъ позвалъ ихъ къ себѣ на новоселье.

Нечему тутъ дивиться, думали гости; мы бы еще и не такъ зафрантили, кабы разбогатѣли.

Но внутренній зубъ не переставалъ грызть Пулькина. Не могъ забыть онъ въ глубинѣ души своей, что расходуетъ чужія деньги и что расходы эти начинаютъ превышать всѣ его соображенія. Онъ сталъ вдвое, втрое прилежнѣе по службѣ. Едва-ли не раньше всѣхъ являлся на должность и едва-ли не позднѣе всѣхъ покидалъ департаментъ, чтобъ идти куда-нибудь обѣдать,—на Морскую за табльдотомъ или у знакомыхъ.

Недавно случился съ нимъ неожиданный случай.

Въ сумерки переходилъ онъ Неву, по ледяной тропинкѣ, чтобъ поспѣть на Васильевскій островъ къ обѣду... Вдругъ, на серединѣ Невы, замѣтилъ онъ двухъ барышенъ—и вдругъ забилось у него сердце такъ, какъ никогда не билось. Въ одной изъ двухъ, въ черномъ, атласномъ салопѣ и въ черномъ капорѣ, онъ узналъ Елену Александровну Затаилову.

Затаилова тоже его узнала, и глаза ихъ встрѣтились.

Пулькинъ снялъ шляпу и хотѣлъ улыбнуться.

Оба прошли, не сказавъ другъ другу ни слова, и оба, пройдя шаговъ десять на вѣтру, оглянулись.

Пулькинъ былъ въ нерѣшительности: вернуться ли ему къ ней, или не вернуться, спросить ее о здоровьѣ, или ничего не спрашивать?... Онъ даже пріостановился, какъ-бы переводя дыханіе, и секунды на двѣ потупился... Вся Нева съ обѣими набережными ушла изъ глазъ его куда-то въ неопредѣленное, мутно-лиловое пространство. Морозный вѣтеръ пересталъ пощипывать лице его... Образъ Лели сразу въ такомъ ослѣпительномъ блескѣ предсталъ его воображенію, что онъ одурѣлъ.

Но это было не болѣе одной минуты; затѣмъ, онъ пошелъ еще быстрѣе, какъ можно шире раздвигая шаги свои, и чуть было не упалъ, поскользнувшись на ступенькахъ академической набережной.

Другая неожиданность тоже немало изумила нашего Пулькина. Отъ г-жи Любиной получилъ онъ маленькую записочку слѣдующаго содержанія:

Милостивый Государь
Александръ Васильевичъ,

Положимъ, вы забыли насъ, Богъ васъ да проститъ за это; но не грѣхъ ли вамъ забывать вашего стараго сожителя и друга Сопѣлкина! онъ боленъ, навѣстите хоть его, если не хотите насъ порадовать вашимъ посѣщеніемъ. Моя Лива проситъ передать вамъ свой усердный поклонъ.

Преданная вамъ
А. Любина.

Эта записочка уколола его въ самое чувствительное мѣсто его нѣжнаго сердца — онъ уже нѣсколько дней собирался навѣстить Сопѣлкина, и совѣсть его мучила. Онъ самъ хотѣлъ заѣхать къ Любиной, но не зналъ, какъ онъ будетъ принятъ тамъ—и колебался.

Третья неожиданность, которая въ особенности сконфузила Пулькина,—это его визитъ къ сенатору Шталь.

— Что вамъ угодно? спросилъ его сенаторъ, выходя въ залу.

— Извините, ваше превосходительство,—слегка сгибая колѣна и подобострастно улыбаясь, началъ Пулькинъ:—я полагалъ, что я былъ обязанъ явиться къ вамъ, такъ какъ нашелъ у себя вашу визитную карточку. Я счелъ это не иначе, какъ за приказаніе быть у васъ.

— Извините, г. Пулькинъ, я и не думалъ посылать къ вамъ моей визитной карточки; даже не знаю, гдѣ вы живете...

Пулькинъ покраснѣлъ до самыхъ бровей.

— Если такъ, то... это... странное недоразумѣніе; кто-бы это могъ занести ее? Не найди я у себя на столѣ... какъ-бы я осмѣлился безпокоить ваше превосходительство.

— Мнѣ кажется, я гдѣ-то видѣлъ васъ.

— Я имѣлъ честь васъ видѣть у г-жи Любиной и даже разъ былъ представленъ вашему превосходительству.

— Странно, очень странно, откуда вдругъ взялась у васъ моя карточка?

Сенаторъ пожалъ плечами и пристально поглядѣлъ ему въ лице.

Счастье Пулькина, что онъ не струсилъ, не поблѣднѣлъ, не потупилъ глазъ... Сенаторъ засмѣялся, пожалъ ему руку и сказалъ, что бываютъ всякіе случаи, что очень можетъ быть онъ самъ нашелъ эту карточку на какомъ-нибудь столѣ у Любиной и нечаянно занесъ ее къ себѣ на квартиру.

— Никогда я не былъ такъ разсѣянъ, ваше превосходительство! отвѣчалъ сконфуженный Пулькинъ и, еще раза три почтительнѣйше извинившись, вышелъ, какъ ошпаренный.

XXV.

Сопѣлкинъ не шутя заболѣлъ послѣ переѣзда Пулькина, и что всего ужаснѣе — очутился безъ всякой прислуги.... Если-бъ не жена дворника, некому было бы ни печей затопить, ни самовара поставить. Гнусная исторія съ Софьей, кой какія непріятности по службѣ и, наконецъ, безпомощное одиночество не могли не отозваться болѣзненно на рыхломъ организмѣ нашего надворнаго совѣтника, дѣльца и демократа Сопѣлкина. По городской почтѣ, въ двухъ словахъ, далъ онъ знать о себѣ тетушкѣ Любиной, прося ее прислать къ нему ея домашняго доктора, адреса котораго онъ не зналъ, и какъ зовутъ его тоже не зналъ.

Можетъ быть, читатели вообразятъ себѣ, что Сопѣлкинъ горько раскаялся въ своихъ сантиментально-амурныхъ отношеніяхъ къ кухаркѣ; но читатели ошибутся; никакого раскаянья Сопѣлкинъ не возчувствовалъ. Онъ даже былъ доволенъ тѣмъ, что пощадилъ ее, въ тотъ самый день, когда кража денегъ изъ комода Пулькина была обнаружена. Онъ уже и вспоминалъ о ней не какъ о своей возлюбленной, а только какъ о воровкѣ и негодяйкѣ первой степени. Затѣмъ, анализируя *событія* послѣдняго времени, онъ понялъ, до какой степени онъ виноватъ передъ Пулькинымъ, помѣшавъ ему тотчасъ же призвать полицію и приняться за поиски, и Пулькинъ въ глазахъ его выросъ, какъ человѣкъ деликатный и великодушный въ высшей степени.

Когда сама Любина пріѣхала навѣстить его и даже

привезла ему баночку варенья, онъ очень хвалилъ своего бывшаго сожителя и очень сожалѣлъ, что Пулькинъ, послѣ переѣзда, какъ-будто совершенно забылъ о его существованіи.

Пулькинъ же, получивъ записку г-жи Любиной, въ тотъ же вечеръ отправился къ своему старому сожителю, и засталъ его лежащимъ на диванѣ, въ великой меланхоліи. Передъ нимъ на столѣ находились сводъ законовъ, склянка съ ревенной микстурой, графинъ съ водой, стаканъ и баночка съ вареньемъ; старый халатъ прикрывалъ его ноги.

Сопѣлкинъ былъ очень радъ приходу Пулькина, но ничѣмъ не обнаружилъ этой радости, даже покосился на него своими желчными глазами, недовѣрчиво, сквозь очки поглядѣлъ на кончики его моднаго галстука и, затѣмъ, опустивъ въ подушки свою голову, сказалъ ему: садитесь, коли пришли!

Пулькинъ пожалъ ему руку, привелъ нѣсколько оправданій или объясненій, почему онъ никоимъ образомъ до сихъ поръ не могъ зайти къ нему, и не безъ участья спросилъ:—что же такое могло такъ сразить васъ, милѣйшій Степанъ Авдѣевичъ? Неужели Софья, которую вы такъ любили, и которая...

— А кто вамъ сказалъ, что я любилъ ее?... перебилъ Сопѣлкинъ... Фрр!... Я вамъ не говорилъ... Знаю, что вы готовы трунить, но, кажется, вы со мной спорить не будете... Она была красавица, и при этомъ... въ ней одной электричества-то побольше, чѣмъ въ дюжинѣ вашихъ барышенъ.

— И все-таки я предпочитаю влюбиться въ какую нибудь воспитанную или образованную дѣвицу, чѣмъ...

Сопѣлкинъ сильно поморщился и долго глядѣлъ въ потолокъ, прежде чѣмъ опять покосился на Пулькина.

— Не охотникъ я ѣздить по гостямъ, или безъ

толку ухаживать! А если и образованная, какъ вы говорите, меня полюбитъ, я все-таки не повѣрю любви ея, если она вотъ тутъ не будетъ сидѣть со мной. Какъ вы думаете, если бы какая нибудь мамзель, ну хоть бы въ родѣ вашей Затаиловой, пришла ко мнѣ, прогналъ ли бы я ее? Какъ вы полагаете? Можетъ быть, и не прогналъ бы!

Пулькину почему-то было непріятно упоминаніе Затаиловой.

— Какая же благородная сама пойдетъ къ вамъ! сказалъ онъ...

— Да вѣдь и я по-вашему благородный, и первый не хочу идти къ кому бы то ни было. Женщины же кричатъ о равенствѣ, ну, и будь такія же, какъ и мы...

— Да мы развратны... Какъ же вы хотите, Степанъ Авдѣевичъ, чтобъ и женщины были такія же?

— Да съ чего вы взяли, что мы развратнѣе? Я никогда никому не продавалъ себя, ни одной не измѣнилъ, отъ каждой, какъ дуракъ, требовалъ вѣрности, даже готовъ былъ жениться. Гм—да! раза два въ жизнь мою стоялъ на этой точкѣ—даже будучи студентомъ, чуть не женился на дочери нашего огородника...

— И хорошо, что не женились; наплакались бы... Безграмотная жена, да еще глупая, какъ это возможно, Степанъ Авдѣевичъ!

— Э! подите вы съ вашими умницами... Церемониться съ ними нужно, не умѣю... Я, конечно, не уродъ (Сопѣлкинъ былъ убѣжденъ, что онъ хорошъ собой), но во всю свою жизнь ни одной еще кисейной барышнѣ не имѣлъ чести нравиться. Носъ у меня, видите, не такой, какой имъ нуженъ... Карманъ плохъ, да и фамилія хуже Свиньиныхъ, Дурасовыхъ, Свистуновыхъ... Впрочемъ, это такой предметъ, о которомъ говорить не стоитъ.

Скажите-ка лучше о себѣ, какъ вамъ живется? Да не знаете ли вы кого нибудь на свое мѣсто?... Мнѣ очень трудно будетъ одному платить тридцать шесть рублей за квартиру... А почему вы не зайдете къ Любинымъ? Вы теперь человѣкъ съ состояніемъ, можете даже и за мою кузину посвататься. Вы думаете не пойдетъ? Хе, хе! Ей-Богу же пойдетъ, хоть вы и титулярный совѣтникъ, а она генеральская дочь. Дарья! самоваръ...

Новая кухарка, рекомендованная прачкой,—толстая, круглолицая баба, съ двойнымъ, дрожащимъ подбородкомъ, вытянувъ коротенькія руки и какъ бы боясь ошпарить грудь свою, внесла въ комнату самоваръ и поставила его на ломберный столъ, между окнами.

Затѣмъ, Сопѣлкину поднесенъ былъ чайникъ для засыпки чаю, затѣмъ Сопѣлкинъ самъ отперъ жестянку съ сахаромъ, что немало удивило Пулькина: при Софьѣ этого не было; все было у ней на рукахъ, и чай, и сахаръ; но видно Сопѣлкинъ самъ ужаснулся, когда счелъ, сколько въ это послѣднее время выдулъ онъ чаю, и какое громадное количество проглотилъ сахару.

— Ну, эта толстомордая, полагаю, неопасна,—сказалъ улыбаясь Пулькинъ, когда, заваривши чай, новая кухарка пыхтя вышла за дверь.

Сопѣлкинъ засмѣялся.

— Ну, вы этого не говорите,—сказалъ онъ: неровенъ часъ... Только бѣситъ она меня, куда ни пошли—непремѣнно заблудится. Аптека за угломъ, а она по цѣлымъ часамъ аптеки ищетъ—совершенная деревенщина. Еще слава Богу, коли не пьяница. Эй, Дарья!...

— Чего угодно?

— Ты не пьянствуешь?

Дарья вытаращила глаза—покраснѣла, точно кровью налилась, и засмѣялась.

— Я-то?!. Богъ миловалъ—съ чего пьяной быть!

— Ну то-то же! попробуй только,—грозно сморщивъ лобъ, съ угрожающимъ жестомъ, обратился къ ней больной Сопѣлкинъ:—ступай, купи калачъ.

И оба расхохотались. Эдакой чудородъ! подумалъ Пулькинъ.

— А знаете,—началъ онъ вдругъ, пристально взглядываясь въ выраженіе лица Сопѣлкина:—я вѣдь былъ съ визитомъ у этого сенатора, у Шталя... Очень былъ любезенъ...

— А объяснилъ онъ вамъ, зачѣмъ заѣзжалъ?

— Я, признаться вамъ, не спросилъ... неловко, знаете; конечно, я ему былъ отрекомендованъ у Любиныхъ; впрочемъ, вѣдь и вы знакомы съ нимъ,—чтожъ тутъ мудренаго... Проѣзжалъ мимо и велѣлъ забросить карточку, даже можетъ быть только вамъ однимъ—кто знаетъ?.. Я не объяснялся...

— И хорошо сдѣлали. Что за объясненія! Вдругъ узнали бы, что онъ былъ у меня, а не у васъ... У меня же въ отдѣленіи и дѣло есть одно по сенату... Развѣ эта дура Софья не могла перемѣшать?

Сопѣлкинъ принялъ въ серьезъ предположеніе Пулькина, и тѣмъ убѣдилъ его, что эта таинственная визитная карточка не есть мистификація, въ злую минуту сочиненная Сопѣлкинымъ для того, чтобъ поддѣть его...

Что же это за чертовщина! подумалъ про себя Пулькинъ. Затѣмъ, напившись чаю, съ вареньемъ и съ калачемъ, оба пріятеля и не замѣтили, какъ время ушло за полночь, и разстались очень довольные другъ другомъ. Сопѣлкинъ далъ честное слово зайти на новоселье къ Пулькину, Пулькинъ далъ честное слово пріискать ему новаго сожителя.

XXVI.

Само собой разумѣется, что Пулькинъ, дождавшись масляницы, отправился съ визитомъ къ Аннѣ Петровнѣ Любиной. Любина, хоть и собиралась ѣхать куда-то на блины, приняла его любезно, но сдержанно,—ни одного словечка не было произнесено ею о Лелѣ Затаиловой, ни одного упрека за долгое отсутствіе. Лиза, нарядная, какъ бабочка, не болѣе какъ на десять минутъ появилась въ гостиной, молча подала ему руку и, затѣмъ, исчезла, какъ мимолетное, воздушное видѣніе. Любина спросила Пулькина, не знаетъ ли онъ кого нибудь изъ русскихъ портретистовъ, такъ какъ она намѣрена снять свой портретъ. Пулькинъ обѣщался разузнать, кто самый лучшій.

— Кого нибудь изъ молодыхъ, сказала Любина, а то эти знаменитости такія цѣны заламываютъ, что надо быть графиней Шереметевой или Строгоновой, чтобъ обращаться къ нимъ. Вы, пожалуйста, разспросите, у кого есть талантъ и кто нуждается. Много-много рублей полтораста за портретъ поясной я могу рискнуть, но не больше...

Пулькинъ сказалъ, что непремѣнно, непремѣнно постарается.

— А когда же вы у насъ вечеромъ? Пріѣзжайте,— ну, хоть во вторникъ:

Пулькинъ обѣщалъ и явился къ ней вечеромъ во вторникъ, былъ встрѣченъ очень любезно и сѣлъ играть въ преферансъ съ однимъ бывшимъ лицеистомъ и двумя полковниками—отставнымъ артиллерійскимъ и инженернымъ. Любина очень удивилась, увидѣвъ его за картами. Пулькину везло, онъ выигрывалъ. Каковъ! ворчалъ инженерный полковникъ Дымовъ, указывая выбритымъ подбородкомъ на Пулькина.

— Не ожидала!.. отозвалась Анна Петровна, подходя къ столу и заглядывая въ карты.

— Пасъ!... Далеко пойдетъ молодой человѣкъ!.. продолжалъ про себя мурлыкать Дымовъ.

— А вотъ, кажется, и Елена Александровна пріѣхала, проговорила Анна Петровна, увидавши, какъ въ столовую изъ передней проскользнула дѣвушка въ траурѣ, несомнѣнно пробираясь въ комнатку Лизы.

— Давно не видалъ! сказалъ Пулькинъ, но такимъ тономъ, что даже опытная Анна Петровна подумала, что новость эта нисколько его не трогаетъ, или что въ эту минуту червонная или трефовая дама на рукахъ для него гораздо интереснѣе.

Но счастье ли измѣнило Пулькину, или онъ сталъ разсѣянъ, только, изъ выигранныхъ имъ 14 рублей съ копѣйками, къ чаю проигралъ онъ рублей 8 и, по-видимому, былъ очень радъ, что пулька кончилась. За чайнымъ столомъ и весь остальной вечеръ онъ только мелькомъ, раза три взглянулъ на Елену Александровну, спросилъ: отчего она въ траурѣ, сказалъ, что трауръ ей къ лицу, что̀ она похорошѣла; но ни разу не подошелъ и не заговорилъ съ ней.

Затаилова была очень рада, что Пулькинъ все время держался отъ нея въ извѣстномъ отдаленіи; Лиза же поняла, что̀ это значитъ, и когда Леля уѣзжала, шепнула ей: ну, теперь я убѣждена, что онъ, какъ дуракъ, влюбленъ въ тебя. — Это почему?! — Да потому, что у него даже духу не хватило на то, чтобъ заговорить съ тобой.

Воротившись въ гостиную, Лиза сѣла противъ Пулькина, лукаво закусила губку, сложила ручки и стала кокетливо на него поглядывать. Пулькинъ повеселѣлъ и сталъ что-то разсказывать.

— У васъ хорошенькая квартирка? проговорила Любина.

— Такъ себѣ, недурна! отвѣтилъ Пулькинъ;—но что прикажете дѣлать: я объѣхалъ весь городъ—и ничего... Взялъ какая попалась.

Что хотѣлъ сказать этимъ Пулькинъ: то ли, что квартиры похуже и подешевлѣ онъ не могъ найти, или, напротивъ, то, что не могъ найти болѣе великолѣпнаго и дорогóго помѣщенія и поневолѣ долженъ былъ ограничиться небольшой квартиркой? Можно было понимать и такъ, и иначе... Любина поняла, что онъ находитъ возможнымъ перемѣнить свою квартиру на лучшую. Она даже подумала: вотъ кабы да въ моемъ домѣ на Фурштатской квартира очистилась... Восемь высокихъ комнатъ, лѣпной потолокъ, ванна, ватерклозеты — и цѣна всего только 1,200 (Теперь эта квартира ходитъ чуть ли не за 2,400). Кажется, къ лѣту квартира эта будетъ свободна, — я предложу ее Пулькинымъ... Къ тому же времени, я знаю, онъ долженъ будетъ жениться... непремѣнно женится на Леличкѣ Затаиловой.

И все, что про себя думала или мечтала милѣйшая хозяйка дома, все это, какъ подкладка, просвѣчивалось въ ея салонныхъ рѣчахъ и разспросахъ, обращенныхъ къ Пулькину—и Пулькинъ это смутно почувствовалъ.

«Вотъ кто похлопочетъ обо мнѣ!» подумалъ онъ въ свою очередь.

— А когда же, Анна Петровна, я съ вами въ картишки поиграю?

— Да съ вами страшно. Вы меня обыграете.

— Постараюсь.

— Вотъ вы какой злодѣй! Ну, приходите когда вздумается. Мы каждый вечеръ къ вашимъ услугамъ.

— Исключая тѣхъ вечеровъ, когда мы въ оперѣ, перебила Лиза.

— Да, да... исключая оперныхъ дней... нашего або-

немента... но по вторникамъ мы всегда дома... или въ воскресенье приходите обѣдать къ намъ...

Бывшій лицеистъ, со стеклышкомъ на глазу, подсѣлъ къ Лизѣ, нагнулся къ ней и спросилъ ее въ полголоса:

— Что это за индивидуумъ?..

— Это Пулькинъ.

— Пулькинъ, Пулькинъ!.. но... что онъ такое?

— Нашъ гость—кажется, этого довольно съ васъ.

— Богатъ?

— Не считала его денегъ, не знаю.

— Уменъ?

— Развѣ дураки умѣютъ въ преферансъ играть!

— Гм! строитъ вамъ куры?

— На столько же, на сколько и вы.

— Гм!.. Благодарю, не ожидалъ!

— Кого вы это благодарите? спросила его Анна Петровна, подслушавшая конецъ разговора.

— Лизавету Михайловну.

— За что?

— За то, что она великодушна, и, не меньше другихъ, позволяетъ мнѣ за собой ухаживать.

Юный джентльменъ, вѣроятно, остался доволенъ своимъ отвѣтомъ и движеніемъ личныхъ мускуловъ сбросилъ стеклышко, приставленное къ глазу.

— Теперь, Лизавета Михайловна, не мѣшаетъ намъ въ четыре руки разыграть увертюру. Я люблю каждый вечеръ кончать музыкальнымъ десертомъ.

— Ну нѣтъ, прежде десерта слѣдуетъ закусить... Господа, пойдемте!

Анна Петровна встала и повела гостей своихъ въ столовую, гдѣ уже накрытъ былъ столъ и стояла закуска: двухъ сортовъ водка, бутылка столоваго вина, рыба подъ холоднымъ гарниромъ, копченый языкъ, нарѣзанный ломтиками подъ горшкомъ, и кусокъ довольно жесткаго сыру.

Такая закуска, въ часъ ночи, подавалась только по вторникамъ. Анна Петровна въ своемъ домашнимъ обиходѣ была на столько же скупа, на сколько романтична и мечтательна.

Пулькинъ выпилъ рюмку померанцевой и, затѣмъ, такую же точно рюмочку налилъ инженерному полковнику:

— Нѣтъ! сказалъ ему Дыминъ, я пью только на морозѣ, когда прозябну. Видите вы у меня на носу красныя жилки и нѣчто въ родѣ свинцоваго отлива?

— Нѣтъ.

— Вглядитесь-ка хорошенько — видите? Это, я вамъ скажу, именно оттого, что я въ молодости по десяти рюмокъ одной водки въ сутки пилъ. Но разъ я далъ себѣ заклятье пить въ день одну рюмку, и буду пить одну рюмку, пока не скажу себѣ — пей одну воду, и тогда я буду одну воду пить. Я, напримѣръ, играю въ карты; но если разъ скажу себѣ: баста! — вы меня пытайте, а ужъ того... за карты меня не засадите... Таковъ я есмь человѣкъ! До 17 лѣтъ я былъ лѣнтяй, ровно ничего не дѣлалъ, баклуши билъ, съ осьмнадцати началъ учиться и изъ корпуса вышелъ однимъ изъ первыхъ; мало того, когда-то въ Бога не вѣрилъ и вольнодумничалъ, а теперь къ чорту всякую вольнодумную философію; иначе сказать, я постигъ, что не могу обнять необъятное, и вѣрю-съ... буквально вѣрю въ каждое слово священнаго писанія. Таковъ я есмь человѣкъ! Нравится вамъ это—прекрасно, очень радъ, очень благодаренъ вамъ, то-есть не благодаренъ, но признателенъ, даже не признателенъ, а какъ бы вамъ это сказать... тьфу! никакъ не могу найти подходящаго выраженія; ну, а въ противномъ случаѣ— какъ вамъ угодно. А вотъ этой рыбы я сейчасъ отвѣдаю съ удовольствіемъ.

Пулькинъ съ похвалой отозвался о его силѣ воли и сказалъ, что будетъ очень радъ съ нимъ покороче познакомиться.

Что касается до отставного артиллерійскаго полковника Лидянцова, то это былъ уже старикъ, съ печатью скорби на челѣ, серьезный, молчаливый и даже скучный; онъ былъ другомъ покойнаго генерала Любина, говорятъ, былъ ученъ и начитанъ, участвовалъ въ составленіи какого-то энциклопедическаго словаря и, по непріятности, вышелъ въ отставку. По старой привычкѣ, заходилъ онъ къ Любинымъ, но рѣдко вмѣшивался въ разговоры, мысленно поражаясь пустотою ихъ и считая всѣхъ, даже юношей, блистательно сдавшихъ послѣдніе экзамены, порядочными невѣждами. Познакомиться съ Пулькинымъ онъ не имѣлъ ни малѣйшаго желанія.

XXVII.

Прошло еще около двухъ недѣль.

Пулькинъ, по-видимому, былъ все такой же Пулькинъ—такъ же не манкировалъ службой, такъ же всѣ почти вечера свои проводилъ въ гостяхъ, продолжалъ ходить къ Любинымъ и проигрывать въ стуколку или въ ералашъ; но порядочная путаница въ эти двѣ недѣли происходила въ мозгу его.

Съ одной стороны, ему казалось, что фортуна все еще исподтишка продолжаетъ мазать его по губамъ—даже карты ему довольно удачно подтасовываетъ, даже Лелю Затаилову заставляетъ краснѣть и явно смущеннымъ голоскомъ отвѣчать ему въ тѣ рѣдкія минуты, когда онъ, случайно встрѣчаясь съ ней (на улицѣ или въ гостиномъ дворѣ), рѣшается обращаться къ ней съ пустыми, ничего незначащими вопросами; съ другой стороны, самое счастіе это или мазанье по губамъ имѣло свои неудобства, повергало умъ его въ бездну колебаній и, уча изворотамъ, вызывало его на борьбу, — мелочную и въ то же время досадно-непріятную.

Какой пожилой, охладѣвшій къ жизни человѣкъ не позавидуетъ молодому, влюбленному мечтателю! И Пулькинъ, откуда бы не вернулся онъ къ себѣ домой и какъ бы поздно не укладывался въ упругую и мягкую постель свою — постоянно мечталъ о свѣтлоокой и чернобровой Еленѣ Затаиловой: мечталъ, когда въ постели курилъ папиросы; мечталъ, когда тушилъ свѣчу; мечталъ, когда вся спальня его, съ полураздвинутымъ на золотыхъ кольцахъ занавѣсомъ, фантастически освѣщалась мигающими газовыми рожками съ улицы; мечталъ, когда среди ночной тишины, съ гуломъ по торцевой мостовой, катились колеса и когда отъ двойныхъ фонарей несущихся экипажей, то справа налѣво, то слѣва направо, по лѣпному потолку его вѣерообразно перебѣгали длинныя полосы свѣта; мечталъ, когда засыпалъ... И что же? Сознаваясь, что влюбленъ, Пулькинъ, какъ ни напрягалъ свое воображеніе, никакъ не могъ понять или ясно себѣ представить, къ чему эта страстишка можетъ привести его.

Благопріятный исходъ изъ этого нравственнаго состоянія казался ему также невозможенъ, какъ и полученіе несуществующаго богатства по завѣщанію несуществующаго дядюшки.

Ахъ! если бы это была правда!

Но ни поутру, ни днемъ мечтать ему было некогда, особливо по табельнымъ днямъ и праздникамъ. Въ эти дни являлись къ нему всевозможные непрошенные посѣтители. Разъ явилась къ нему какая-то стриженая, черномазая барыня съ портфелемъ подъ мышкой, съ неотступною просьбою подписаться въ пользу какой-то музыкальной школы или обязаться ежегодно вносить въ какое-то общество 10 рублей. При этомъ, она засыпала его трескучей, далеко не музыкальной болтовней своей, точно она вызубрила всѣ печатныя рекламы и объявленія и какъ

«Отче нашъ» читала ихъ наизусть — читала, безъ передышки, передъ самымъ носомъ ошеломленнаго Пулькина.

Затѣмъ, являлись господа въ родѣ Минералова, предлагая ему принять денежное участіе въ устройствѣ то читальни, то переплетной, то типографіи—а если не типографіи, то хоть въ изданіи новой народной христоматіи—такъ какъ Пчела Щербины яко-бы слишкомъ ретроградна и не выполняетъ своего назначенія. Затѣмъ, являлись совѣтники (по большей части изъ служебнаго чиновнаго міра), наши доморощенные биржевики и финансисты, которые засыпали его совѣтами, куда именно пристроить ему свои капиталы, какъ ими выгоднѣе распорядиться, остерегали его, потирая руки, пророчили ему вѣрное и быстрое обогащеніе. Были и такіе, которые просто, безъ всякихъ церемоній, недѣли на двѣ просили у него взаймы рублей 200,—а не 200, то хоть 50.

Каково это было выслушивать бѣдному Пулькину, когда онъ не могъ не сознавать, съ какой быстротой таятъ найденныя имъ денежки! Онъ долженъ былъ то притворяться, то изворачиваться, то увѣрять, что ему нѣтъ времени посѣщать такіе-то концерты и что въ музыкѣ онъ профанъ; то благодарить за полезный совѣтъ и обѣщаться непремѣнно, непремѣнно имъ воспользоваться. Иногда же онъ выходилъ изъ границъ терпѣнія и невольно выражалъ свое отчаяніе.

— Ахъ, помилуйте! у меня въ эту минуту вовсе нѣтъ такихъ крупныхъ суммъ... Дайте срокъ! Я даже не привелъ въ извѣстность, что у меня есть, что будетъ, какими средствами я буду въ состояніи располагать; я жду отпуска—а вы хотите, чтобъ я рѣшился на такое предпріятіе! Заходите ко мнѣ когда нибудь послѣ. Послѣ, послѣ, послѣ!!...

«Вотъ оно что значитъ прослыть богачемъ-то!» думалъ Пулькинъ.

«Вотъ оно что значитъ разбогатѣть-то! думали иные изъ числа его посѣтителей:—Сквалыжничать началъ, хоть колъ на головѣ теши! Виляетъ, виляетъ, и никакого толку!»

Въ одно воскресенье, Пулькинъ кончилъ тѣмъ, что позвалъ Николашку и сказалъ ему: не смѣй никого пускать; всѣмъ говори, что меня дома нѣтъ.

И что же! Не успѣлъ онъ отдать этого приказанія, какъ въ передней—динь, дзинь! послышался звонокъ. Николашка бросился къ дверямъ, полурастворилъ ихъ, брякнулъ: «барина дома нѣтъ!» получилъ визитную карточку, и, на ходу прочитавъ фамилію, положилъ ее на столъ предъ Пулькинымъ.

На глазированной, довольно красивой карточкѣ было напечатано: «Степанъ Авдѣевичъ Сопѣлкинъ».

— Бѣги, вороти его! крикнулъ озадаченный Пулькинъ и даже самъ бросился къ окну, чтобы постучать въ стекло и помахать рукою, въ случаѣ, если увидитъ на тротуарѣ мимо проходящаго Сопѣлкина.

Николашка минутъ черезъ пять вернулся и доложилъ своему барину, что гость, должно быть уѣхалъ, потому что на тротуарѣ, какъ онъ ни глазѣлъ—не видалъ енотовой шубы.

Вспомнилъ Пулькинъ, какъ увѣрялъ онъ Сопѣлкина, что, по воскреснымъ днямъ, онъ постоянно до двухъ часовъ пополудни дома, что онъ будетъ ожидать его—и представилось ему, до какой степени взбѣшенъ его пріятель, какъ оскорблено его пѣтушиное самолюбіе!

Пулькинъ вспылилъ отъ прилива досады и накинулся на Николашку.

— Ты бы прежде подалъ мнѣ карточку, а ужъ потомъ бы отказывалъ!

Николашка, заложивъ руку за пазуху, тряхнулъ головой и отвѣчалъ весьма резонно:

— Да всѣ они карточки подаютъ! И какъ же я скажу, что васъ дома нѣтъ, когда самъ же понесу къ вамъ карточку! Этакъ и шубу когда нибудь стащутъ.

— Эхъ! Ну, а какъ дѣлалъ Буганинъ?!

— Г-нъ Буганинъ какъ изволилъ дѣлать?! И Николашка исподлобья пристально поглядѣлъ на Пулькина, какъ бы мысленно сравнивая его съ Буганинымъ. У г. Буганина, Александра Павловича, всѣ тѣ господа, которыхъ онъ принималъ у себя, были у меня наперечетъ-съ. Зналъ я, кого принимать, кому отказывать.

— Ну, такъ и теперь то же дѣлай. Вотъ этотъ баринъ, что былъ у меня сейчасъ, Сопѣлкинъ,—мой пріятель. Когда ни зайдетъ, всегда пускай.

— Слушаю-съ!—сказалъ Николашка, немного на сторону скрививъ и свою голову, и свои узкія, длинныя губы.

— А то пріѣдетъ Савишинъ, ты и ему откажешь!

«Не поѣдетъ къ тебѣ Савишинъ!» подумалъ про себя смышленый и даже плутоватый малый. — Савишинъ? Господина Савишина я оченно хорошо знаю; я и безъ васъ завсегда могу принять его, потому что къ Александру Павловичу, г-ну Буганину, они, почитай, каждую недѣлю изволили ѣздить; даже разъ пріѣхали изъ маскарада съ масками, такъ до самаго утра оставались... я поутру и за лихачами бѣгалъ... Какъ мнѣ не знать Савишина! Одного шампанскаго они сколько здѣсь выдули — счету нѣтъ.

— У меня тоже немало выдули... какъ еще завтракали-то у меня, помнишь?

Николашка опять исподлобья поглядѣлъ на Пулькина. «Вотъ сравненье нашелъ!»—подумалъ онъ.

— Что-жъ ты молчишь? А?

— Можетъ быть,—не знаю-съ ..

— А развѣ онъ очень богатъ, этотъ Буганинъ твой? А?

— Не знаю-съ! Денегъ немало изводили, мнѣ тоже

немало перепадало, особливо, какъ подгуляютъ, — это трехрублевую или пятерку сунуть мнѣ въ зубы нипочемъ бывало. На, говоритъ, ѣшь на мое здоровье! Ну, разумѣется, ѣшь не ѣшь, а такъ во рту и отнесешь къ себѣ.

— Да развѣ ты собака, чтобъ во рту подачку таскать?

Николашка заморгалъ своими безцвѣтными глядѣлками и, затѣмъ, не безъ нѣкотораго любопытства поглядѣлъ на Пулькина.

— Надъ тобой потѣшались, а ты и радъ. Нѣтъ, братъ, принеси мнѣ хоть тысячу, хоть десять тысячъ, не возьму. Тяжела даровая денежка.

Можетъ быть, Пулькинъ и не сказалъ бы этой послѣдней фразы, если бы у него чиста была совѣсть.

— Ну, ступай. Калоши вычистилъ?

— Вычистилъ.

— Ишь ты къ чему подбивается! подумалъ Пулькинъ, чтобъ я трехрублевки да пятирублевки низачто ни про что ему въ ротъ совалъ! Ишь ты! А что, успѣю ли я сегодня, хоть послѣ обѣда, забѣжать къ Сопѣлкину? Экая досада! экая досада!...

Пулькинъ досадовалъ, ибо, въ высшей степени заинтересованный своимъ знакомствомъ съ г-жей Любиной, зналъ, что ея племянникъ, Степанъ Авдѣевичъ, можетъ опять чѣмъ-нибудь повредить ему, и сталъ дорожить мнѣніемъ Сопѣлкина.

XXVIII.

Да, подумалъ Пулькинъ, если я сегодня же не зайду къ Сопѣлкину—кончено! Этотъ бука вообразитъ себѣ, что я чванюсь передъ нимъ моимъ какимъ-то богатствомъ— и чортъ знаетъ что! А когда зайти? Сегодня утромъ, на-

вѣрно, не застану. Къ обѣду?... Но я обѣщалъ Дымину отобѣдать съ нимъ у татаръ. Вечеромъ? Но вечеромъ мнѣ хотѣлось бы побывать у Любиныхъ (отчего это Леля Затаилова, съ самой масляницы, ни разу не была у нихъ!). Но не лучше ли мнѣ теперь (скоро два часа) заѣхать къ Любинымъ, а вечеромъ отправиться къ Сопѣлкину? Ахъ ты, чортъ! Вѣдь я обѣщалъ найти ему сожителя — изъ ума вонъ!... Ну гдѣ я ему найду сожителя? Вотъ портретистовъ для Любиной сколько угодно. Нашелъ, да еще какого! Золотую медаль получилъ!...

Размышляя такимъ образомъ, Пулькинъ чистилъ себѣ ногти, и, вычистивъ ногти, тотчасъ же сталъ одѣваться. Сюртукъ, брюки и жилетъ, присланные къ нему отъ Альванга, были изъ хорошаго матеріала, моднаго покроя и, главное, сидѣли на немъ великолѣпно. Теплое мѣховое пальто съ скунцовымъ чернымъ воротникомъ также удивительно шло къ его росту и къ его блѣдной, немного вытянутой физіономіи...

Но мы должны спѣшить, потому что день этотъ для Пулькина былъ полонъ такихъ неожиданныхъ впечатлѣній, что едва ли одной главы будетъ достаточно на то, чтобъ намъ воспроизвести ихъ въ размѣрахъ, достаточныхъ для нашего правдиваго повѣствованія.

У Любиной въ будуарѣ, гдѣ иногда по утрамъ, полулежа на кушеткѣ, любила она принимать самыхъ короткихъ друзей своихъ, Пулькинъ засталъ сенатора Шталя, который только что разсказалъ Любиной о его визитѣ и называлъ его *порядочнымъ пистолетомъ*.

— Вы прогуливались? — спросила Любина Пулькина, когда онъ сѣлъ, пожавъ ей руку, поклонившись Шталю и сконфузившись.

— Нѣтъ-съ, я не пѣшкомъ, я пріѣхалъ.

— А вотъ, берите примѣръ съ Карла Иваныча — каждый день, отъ семи до осьми и даже до десяти верстъ,

пѣшкомъ ходитъ, и такъ привыкъ, что не чувствуетъ ни малѣйшей усталости.

— Что это вамъ вздумалось, почтеннѣйшая, меня въ примѣръ приводить! заговорилъ Шталь тихимъ металлическимъ баскомъ — точно зарокоталъ... Я хожу потому, что для меня это здорово, потому что я, наконецъ, цѣлый день сижу. Не дѣлай я моціона, въ нашемъ анаѳемскомъ климатѣ, меня бы уже давно какъ-нибудь прихлопнуло.

Пулькинъ поглядѣлъ на него: дѣйствительно, у коренастаго здоровяка-сенатора, шея была коротка, голова широка, плечи высоки, ноги тоже коротки, хотя и объемисты. Вся фигура его дышала силой, а лицо — спокойной самоувѣренностью и чувствомъ собственнаго достоинства. Большой ротъ его и тонкія губы несомнѣнно принадлежали человѣку насмѣшливому и въ то же время осторожному. Пулькинъ слыхалъ уже, что Шталь извѣстенъ, какъ ученый юристъ, что онъ горой стоялъ за эманципацію крестьянъ, что газета «Вѣсть» не пользуется его сочувствіемъ и что его не долюбливаютъ за его якобы красноту и тенденціи; — но не зналъ Пулькинъ, что онъ душеприкащикъ покойнаго Затаилова, отца Лели, и, такъ сказать, въ нѣкоторомъ родѣ опекунъ ея, и не зналъ Пулькинъ, что Анна Петровна Любина намекнула уже сенатору о его страстишкѣ къ Лелѣ и даже, расхваливая его до небесъ, прямо высказала Шталю свои надежды соединить ихъ навѣки брачными узами.

Знай это Пулькинъ, онъ никакъ не рѣшился бы спросить Анну Петровну: давно ли заходила къ ней мадемуазель Затаилова и какъ ея здоровье?

Любина какъ-то особенно лукаво и самодовольно улыбнулась. Шталь поглядѣлъ на него исподлобья, сжалъ свои губы и, понуривъ голову, о чемъ-то задумался.

— Совсѣмъ измѣнила намъ наша Леля, носу не по-

казываетъ,—заговорила Анна Петровна:—Лиза писала къ ней... и ужъ я не знаю, что та отвѣчала; кажется, ждетъ нашего визита. Это даже что-то и непохоже на нашу милую, прежнюю Лелю.

— Очень можетъ быть,—отозвался сенаторъ тѣмъ же металлическимъ, ровнымъ баскомъ,—очень можетъ быть, что Леля и не то уже, чѣмъ была; но что она до сихъ поръ «милая», это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію; я даже увѣренъ въ совершенно противномъ тому, что вы говорите, почтеннѣйшая Анна Петровна. Она не только не желаетъ и не ждетъ вашего визита,—ей даже будетъ непріятно, если вы къ ней заѣдете. Вы ничего не знаете, что дѣлается. Тамъ образовался свой маленькій мірокъ, гдѣ есть свой особенный далай-лама и свои маленькіе геніи, своя особенная философія жизни, — однимъ словомъ, тамъ другой воздухъ и другое небо... Вы знаете, почтеннѣйшая, до какой степени я преданъ былъ покойному Александру Афанасьевичу. Лелю я еще молодымъ человѣкомъ на рукахъ держалъ; стало быть, волей-неволей, все, что касается этой очень милой, но — будь это между нами сказано—далеко не хитроумной дѣвушки, меня интересуетъ. На-дняхъ она мѣняетъ квартиру... и очень хорошо дѣлаетъ, потому что того жалованья, которое получалъ отецъ ея, она получать не будетъ, а на пенсію да на доходы не разживешься. Немудрено, что она нашла нужнымъ перемѣнить дорогую квартиру на сравнительно дешевую, и что она все лишнее распродаетъ; все это въ порядкѣ вещей; но чему нельзя не подивиться, такъ это—ея фантазіямъ...

— Какимъ? не безъ тревоги въ глазахъ спросила Любина.

— А вотъ послушайте, почтеннѣйшая; я буду это говорить вовсе не для того, чтобъ осуждать ее; но какъ вы хотите, чтобъ это не казалось намъ, людямъ стараго

поколѣнія, чѣмъ-то совершенно неестественнымъ! Леля мечтаетъ о бѣдности — такъ, какъ мы съ вами когда-то мечтали быть богатыми... Какъ вамъ это нравится? Она мечтаетъ, будто бы трудъ и знаніе дадутъ кусокъ хлѣба и независимость, а на мой взглядъ — это фантазія. Что она думаетъ о бракѣ и семьѣ, этого я не знаю, допрашивать не хочу, а дождаться отъ нея откровеннаго изложенія новыхъ идей — не надѣюсь, ибо, само собою разумѣется, она не пойдетъ ко мнѣ на исповѣдь. Тамъ же на меня и косятся, когда я захожу. Все это въ порядкѣ вещей; но, вообразите себѣ, почтеннѣйшая, такую изнѣженную, избалованную мамзель, какъ эта Леля, въ подвальномъ сыромъ этажѣ, или на чадномъ чердакѣ за перегородкой, или хоть на Сѣнной съ провизіей... Нечего и говорить, что такой жизни она не вынесетъ. Положимъ, это очень хорошо, что она хочетъ работать; но вопросъ — руками или мозгами? Если руками... то на этихъ рукахъ еще ни разу ни одной мозоли не было; да и много ли она заработаетъ иглой, переплетая, переписывая, дѣлая гильзы для папиросъ, коробочки для аптеки, или... я ужъ не знаю что? Если же мозгами, то я даже и представить себѣ не могу нашу милую Лелю ученой и литераторшей; да если бы, паче-чаянья, какимъ-нибудь чудомъ и обнаружился въ ней какой-нибудь талантишка, развѣ на святой Руси таланты благоденствуютъ!.

— Но согласитесь, ваше превосходительство, что для того, чтобъ какъ-нибудь бѣднымъ людямъ благодѣтельствовать, надо или служить, или работать,—замѣтилъ Пулькинъ, сильно краснѣя отъ умственнаго и нравственнаго напряженія. Онъ все время, точно аршинъ проглотилъ, сидѣлъ выпрямившись и держа обѣими, тоже вытянутыми руками шляпу-цилиндръ между колѣнъ своихъ, и ни одного словечка не проронилъ изъ того, что говорилъ сенаторъ.

Шталь, по-видимому, не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на замѣчаніе Пулькина, даже не взглянулъ на него; но то, что онъ продолжалъ, очевидно было отвѣтомъ на его слова.

— Все это очень хорошо-съ... но, спрашивается, можно ли ожидать серьезной работы отъ дѣвицы, которая боится сквознаго вѣтра и всякій разъ, какъ промочитъ свои фарфоровыя ножки, вытираетъ ихъ одеколономъ? Вѣдь одеколонъ тоже что-нибудь да стоитъ! И можно ли мечтать о какой-то независимой бѣдности, если безъ пирожнаго намъ обѣдъ не въ обѣдъ, такъ какъ съ дѣтства привыкли мы всякими сластями начинять желудокъ свой? Работниковъ, настоящихъ работниковъ воспитываетъ ранняя нужда и трудная обстановка, а не баловство и роскошь; мы же всѣ, за исключеніемъ русскаго мужика, мы всѣ живемъ не по средствамъ, избалованы до нельзя, и, не смотря на нашъ суровый и непривѣтливый климатъ, во сто разъ изнѣженнѣе любого француза или итальянца; тамъ иногда зимой спятъ въ комнатахъ, гдѣ мерзнетъ вода и замерзаютъ чернила, и ничего! Ходятъ подъ дождемъ безъ калошъ и о сквозныхъ вѣтрахъ не имѣютъ никакого понятія...

— Зачѣмъ же работать на вѣтру, можно и въ натопленной комнатѣ! сказалъ Пулькинъ.

— То-есть, дѣлать гильзы или клеить конфектныя коробочки?

— Нѣтъ... можно переводить что-нибудь, лечить больныхъ, быть повивальной бабушкой, учить дѣтей, служить на телеграфѣ, въ какой-нибудь конторѣ, и мало-ли что...

— Позвольте, почтеннѣйшій! Я вовсе не противъ женскаго труда,—да и никто такъ не работаетъ, какъ простая русская женщина... Но хочешь перевязывать раны—готовься и поступай въ сестры милосердія; хочешь повивать — учись и будь повитухой; хочешь учить дѣтей—

вооружись терпѣньемъ и учи... Но въ 20 лѣтъ начать учиться алгебрѣ или химіи, позабывъ таблицу умноженія,—этого я не понимаю, это абсурдъ!... Вѣдь ужъ какъ вы тутъ ни умудряйтесь, а изъ Затаиловой ни химика, ни доктора не испечете; изъ бисквитнаго тѣста калача не выйдетъ. Я знаю ее съ дѣтства и, такъ сказать, насквозь ее вижу—она все это продѣлываетъ только потому, что ей говорятъ: такъ надо дѣлать, да еще потому, что у ней есть двоюродный братецъ, субъектъ очень золотушный, вѣчно съ повязанной щекой или съ повязаннымъ горломъ, но геній, (имѣетъ успѣхъ между гимназистами, значитъ геній), пишетъ статейки, отъ которыхъ маменька его, госпожа Кроликова, не только потеряла голову—совсѣмъ перестала думать. Маменька эта женщина очень добрая, даже на видъ чахоточная; но почему покойный Александръ Афанасьевичь вообразилъ себѣ, что она можетъ воспитывать дочь его, — это развѣ только потому, что онъ былъ Александръ Афанасьевичъ. Ахъ да, почтеннѣйшая: между бумагами покойника нашлась тетрадка, которую, право, не худо бы даже помѣстить когда-нибудь въ «Русскомъ Архивѣ»; это характеристика его отца, Афанасья Афанасьича, и описаніе первыхъ дней его дѣтства... Если хотите, я вамъ пришлю прочесть. Очень любопытный документъ...

— Пожалуйста, пришлите, — равнодушно протянула Анна Петровна, очевидно нисколько не интересуясь въ эту минуту какою-то тетрадкой.

— Очень любопытный документъ! повторилъ сенаторъ. Ну, однако, мнѣ пора... До свиданья, почтеннѣйшая!... Онъ всталъ, пожалъ всѣмъ руки, какъ-то торопливо, безъ всякаго видимаго желанія пожимать чужія руки, и вышелъ твердой походкой солиднаго государственнаго человѣка, не смотря на почтенныя лѣта свои, небольшую лысину и природную неповоротливость.

Все, что говорилъ сенаторъ, говорилъ онъ не безъ умысла; но своими словами озадачилъ онъ не столько Пулькина, сколько Анну Петровну Любину.

По его уходѣ, она долго сидѣла молча, томно опустивъ свои розовыя вѣки, и до такой степени было уныло и меланхолично лицо ея, что Пулькинъ непремѣнно-бы обратился къ ней съ нѣкоторымъ участіемъ и заигрываніемъ въ голосѣ, если-бы слово «Александръ Афанасьевичъ» почему-то вдругъ не показалось ему знакомымъ и не навело на него нѣчто въ родѣ трусливаго недоумѣнія.

— Про какого это Александра Афанасьевича упоминалъ онъ? спросилъ онъ Анну Петровну.

— Такъ вотъ оно что! не поднимая глазъ и не отвѣчая Пулькину, какъ-бы про себя, слабымъ голосомъ проговорила Анна Петровна.— Ну, что вы на все это скажете?

Пулькинъ повѣсилъ носъ.

— Что-же мнѣ сказать? Какое я имѣю право осуждать... осуждать кого-нибудь? Мнѣ даже немножко нравится, что Елена Александровна не боится бѣдности;это мнѣ даже правится.

— Знаете что?—И Анна Петровна выпрямилась, глазки ея раскрылись и заблестѣли, точно какое-то зловѣщее вдохновеніе разлилось по измятому лицу ея.—Вы должны какъ можно скорѣй спасти ее!

— Какъ-же я могу спасти ее?

— Женитесь.

— Жениться! воскликнулъ Пулькинъ и даже привскочилъ—такъ его это озадачило.

— Да, да! для этой несчастной нѣтъ другого спасенія... Вы еще ни разу у ней не были?

— У Елены Александровны? Ни разу. Да и какъ я пойду безъ приглашенія?

— Ступайте безъ всякаго приглашенія; найдите предлогъ—ну, хоть скажите ей, что я просила васъ узнать о

ея здоровьѣ, или не нужно-ли ей человѣка, который-бы помогъ ей укладываться, такъ какъ она куда-то переѣзжаетъ; однимъ словомъ, ступайте и, пожалуйста, не спорьте со мной—не спорьте! Я знаю, что говорю... Вы не нынче, такъ завтра должны быть у ней. Знаете ея адресъ?

— Я знаю, гдѣ она живетъ.

— А какъ вы это знаете?..

— Не помню, кто-то мнѣ говорилъ... Пулькину не хотѣлось признаться, что разъ, встрѣтивъ Лелю на улицѣ, онъ тихонько издали ее преслѣдовалъ—даже всходилъ по ея слѣдамъ на лѣстницу и прочелъ на дверяхъ ея фамилію.

— Такъ вы думаете?... началъ онъ.

— О! вы будете сами жалѣть и раскаяваться, если опоздаете!—при этомъ Любина не шутя погрозила ему пальцемъ:—будете горько сожалѣть, если пропустите время протянуть ей руку; она погибнетъ—и невозвратно.

— Жениться... это... еще Богъ-вѣсть! подумалъ Пулькинъ:—но отчего-же мнѣ и не пойти къ ней! Ну, встрѣтятъ меня холодно — другой разъ не сунусь; по крайней мѣрѣ, буду знать, глупо или неглупо мнѣ помышлять о ней.

— Если вы совѣтуете, милая Анна Петровна, я завтра же какъ нибудь урвусь изъ департамента и зайду къ ней сказать, что вы прислали меня спросить, не нуженъ-ли ей человѣкъ или дѣвушка.

— Да, да, лучше скажите «дѣвушка», потому что какого-же я пошлю къ ней человѣка? Дворня у насъ небольшая, и всѣ заняты, всѣ нужны. А горничную для укладыванья посуды или бѣлья я еще какъ-нибудь могу послать... Какой вы, однако-же, умный!, надоумили меня. Можете даже просто сказать, что я прислала васъ узнать объ ея здоровьѣ.

— Что-нибудь скажу...

— Ну да, вы умный... Вы непремѣнно что-нибудь

придумаете. Боже мой! Тамъ еще есть какая-то Дицъ— какая-то, говорятъ, ужасная дѣвушка, и моя Лиза непремѣнно хочетъ съ ней познакомиться. Этого еще недоставало! Боже мой! Но вы уходите! Прощайте, милый Александръ Васильевичъ! Вы очень мило заступались за вашу Лелю, какъ истинно любящій, истинно благородный молодой человѣкъ. Я вѣрю — вы вырвете ее изъ этой адской, нигилистической бездны, вы спасете ее. Но прощайте. Благословляю васъ!

XXIX.

Въ этотъ-же день, около 5 часовъ, Пулькинъ сидѣлъ въ татарскомъ ресторанѣ и, подъ звуки большого органа, развалясь на мягкомъ, давно уже примятомъ диванчикѣ, дожидался инженера Дымина. Лицо у него было такое, какъ-будто у него сосало подъ ложечкой,—онъ казался усталымъ, не смотря на то, что успѣлъ уже выпить рюмку водки и закусить двумя бутербродами, чтобы заморить червячка, такъ какъ раньше въ этотъ день ему нигдѣ не удалось позавтракать.

Въ ожиданіи Дымина, онъ спросилъ: нѣтъ ли какихъ нибудь газетъ или журнала? Ему подали «Искру», и первое, что ему попалось на глаза, это были чьи-то афоризмы. Онъ прочелъ: «Положеніе человѣка, поставленнаго между искушеніями нищеты и требованіями морали, подобно положенію желѣзной полосы между молотомъ и наковальней» и «Жить честно все равно, что плыть противъ теченія; минута усталости или безпечности гибельна». Правда! чуть не вслухъ произнесъ Пулькинъ и затѣмъ принялся читать новую поэму Минаева: «Послѣднее блюдо». Онъ тотчасъ же догадался, что это было вовсе не въ Римѣ, а въ загородномъ домѣ одного изъ нашихъ юныхъ аристократовъ. Весь Питеръ говорилъ тогда объ одной

актрисѣ и шестнадцатилѣтней сестрѣ ея, внесенной въ залу холостого пиршества, на большомъ серебряномъ блюдѣ, въ одеждѣ Евы до ея грѣхопаденія, т. е. украшенною только гирляндами изъ цвѣтовъ (въ видѣ гарнира). Было ли это на самомъ дѣлѣ, или это была выдумка праздной фантазіи, пущенная въ свѣтъ ради того только, чтобы чѣмъ нибудь занять наше праздное общество,—неизвѣстно. Пулькинъ искренно вѣрилъ этому слуху и мысленно сожалѣлъ, что его не было въ числѣ гостей, озадаченныхъ и восхищенныхъ геніальной изобрѣтательностью и завиднымъ мотовствомъ хозяина. Эта поэма на нѣкоторое время развлекла его,—но только на нѣкоторое время.

Закуривъ папироску, онъ опять задумался. Но о чемъ же?

Неужели о предложеніи Любиной жениться на Лелѣ Затаиловой? Нѣтъ, это предложеніе относилъ онъ къ области дамскихъ фантазій, и оно льстило его самолюбію. Неужели о разговорѣ его съ сенаторомъ Шталемъ и его мнѣніи объ этой дѣвушкѣ съ фарфоровыми ножками? (И почему онъ знаетъ, что у ней фарфоровыя ножки и что она одеколономъ моетъ ихъ?!). Нѣтъ, ему, какъ человѣку, жаждущему взаимности, было даже пріятно, что эта душка Леля, это очаровательное созданіе придерживается какихъ-то новыхъ идей и, стало-быть, можетъ любить его безкорыстно, не разсчитывая на узы брака. Нѣтъ, его тревожилъ вопросъ: кто такой этотъ Александръ Афанасьевичъ? Неужели тѣ письма, которыя онъ сжегъ, были тоже написаны какому-то Александру Афанасьевичу? Что, если эти деньги потерялъ никто другой, какъ Затаиловъ, отецъ этой самой Лели?.. Фу, чортъ возьми! Мало ли на свѣтѣ Александровъ Афанасьевичей!—рѣшилъ онъ наконецъ... Да и весьма возможно, что письма эти были писаны вовсе не къ Александру Афанасьевичу,

а къ Ѳомичу или Фадѣевичу... Я даже и не помню хорошенько... Помню только, что тогда же подумалъ: вѣрно какой нибудь купецъ, имя не совсѣмъ дворянское. А чѣмъ же это не дворянское имя: «Александръ Афанасьевичъ»!?

— Давно? спросилъ его появившійся Дыминъ, кладя на столъ свою фуражку съ кокардой и замшевыя перчатки пыльнаго цвѣта. Пулькинъ вскинулъ на него глаза свои и пожалъ ему руку.

— Да такъ давно-съ, что ужъ думалъ, вы надули,— не будете.

— Обѣдъ заказали?

— Нѣтъ еще.

— Надо заказать — и Дыминъ подозвалъ пальцемъ человѣка въ синемъ фракѣ и бѣломъ галстукѣ.

Человѣкъ подалъ карточку; Дыминъ и Пулькинъ выбрали обѣдъ съ стерляжьей ухой въ полтора рубля.

Инженеръ усѣлся противъ Пулькина и, сложа пальцы рукъ съ выпуклыми ногтями, поглядѣлъ на своего новаго знакомца. Онъ былъ уже не первой молодости и былъ бы недуренъ собою, еслибъ носъ его не былъ такъ красенъ и если бы лобъ былъ немножко повыше. Онъ былъ сильный брюнетъ съ темно-сѣрыми, выпуклыми и какъ-бы сонливыми глазами. Выраженіе лица его было холодно, какъ бы заморожено, рѣчи были или отрывисты, или кудреваты — отзывались риторикой; онъ рѣдко улыбался и никогда не смѣялся; но любилъ смѣшить—особливо дамъ; онъ никогда не горячился, не любилъ спорить и, даже играя въ карты, только подергиваніемъ усовъ выражалъ свою досаду. Онъ былъ скрытенъ и былъ мастеръ вызывать людей на откровенныя бесѣды съ нимъ. Вотъ уже лѣтъ 10 какъ жилъ онъ постоянно на одной и той же квартирѣ, въ двухъ комнатахъ (изъ которыхъ первая имѣла видъ чертежной), хотя въ эти десять лѣтъ онъ, какъ говорятъ, нажилъ себѣ весьма порядочное со-

стояніе. Въ это время онъ успѣлъ быть и профессоромъ матсматики, и однимъ изъ завѣдывающихъ работами на желѣзной дорогѣ, и прожектеромъ. Безбожникъ въ школѣ, онъ въ тридцать лѣтъ сдѣлался религіозенъ, или, какъ самъ онъ выразился на-дняхъ, бесѣдуя съ Пулькинымъ, «навсегда отбросилъ всякую вольнодумную философію». Нѣкоторые изъ его старыхъ знакомыхъ полагали, что Дыминъ — плутъ преестественный; нѣкоторые, напротивъ, считали его честнѣйшимъ и безкорыстнѣйшимъ изъ людей; одни полагали, что онъ ханжа; другіе—а въ томъ числѣ и Анна Петровна Любина—любили слушать его рѣчи въ православномъ духѣ и убѣждались его, только ему одному свойственной, діалектикой. Вообще, этотъ дѣловой и въ то же время какой-то полу-мистическій Дыминъ, въ одно и то же время, былъ и симпатиченъ, и внушалъ нѣкоторое недовѣріе.

Заказанный имъ обѣдъ не заставилъ долго ожидать себя. На столикѣ, между двумя приборами, появился серебряный судокъ съ серебряной разливальной ложкой. Дыминъ, съ аккуратностью благовоспитаннаго кадета, одинъ конецъ салфетки заткнулъ за пуговицу своего вицмундира и сталъ разливать.

— Что вы нынче—извините за персидское выраженіе—точно грязи наѣлись? спросилъ онъ Пулькина, наклоня къ тарелкѣ съ горячей и душистой ухой темнокаріе, щетинистые уси свои. Усы эти были такого свойства, что больше лѣзли въ ротъ, чѣмъ расходились въ обѣ стороны.

— А? повторилъ онъ вопросъ свой и изъ-подъ темныхъ бровей поглядѣлъ на Пулькина своими круглыми глазами, темно-свинцоваго, почти чугуннаго цвѣта.

— Что?

— Отчего хандра?

— Да должно быть погода дѣйствуетъ, да и не одна

погода; что ни прочтешь—мерзость, что ни услышишь—гадость. Ну, какъ тутъ быть въ духѣ!

— Да какія же гадости?

— Да мало ли! Вонъ на-дняхъ передѣлывали полы въ одной казенной квартирѣ; такъ какъ вы думаете? каждую четверть аршина—вотъ этакій кусокъ паркета—вмѣстѣ съ архитекторомъ, оцѣнили въ три рубля! Представятъ смѣты и потащутъ съ казны 5—6 тысячъ, тогда какъ весь-то паркетъ и 600 рублей не стоитъ. Вонъ намѣдни всю лѣстницу одной важной особы, чтобъ угодить его супругѣ, на казенный счетъ уставили густымъ лѣсомъ тропическихъ растеній. То-то сдерутъ потомъ!... Вдвое, втрое! А развѣ это законно? Словомъ, воровство идетъ самое безобразное, и все это называется у насъ безгрѣшными доходами.

— Да что вамъ—завидно, что ли? спросилъ Дыминъ, уплетая свою уху и уже не глядя на Пулькина.

— Да конечно, всякому честному человѣку завидно—воры и подлецы наживаются, покупаютъ дома, пользуются почетомъ и уваженіемъ, а честные люди страдаютъ.

— Да такъ и должно быть; кабы всѣ были честны—жизнь сдѣлалась бы земнымъ раемъ. Нѣтъ, это хорошо, что мошенники житья не даютъ; жизнь мерзка, да и должна быть мерзка... иначе жизнь не была бы испытаніемъ.

— Т. е. экзаменомъ въ нѣкоторомъ родѣ,—перебилъ Пулькинъ:—умѣешь воровать—живи, годишься; не умѣешь — убирайся, никуда ты не годенъ. Хорошее, чортъ возьми, испытаніе!

— А *тамъ?!* произнесъ Дыминъ и къ потолку приподнялъ указательный палецъ, — тамъ не такъ: сберегъ душу—годишься, не сберегъ—убирайся къ чорту!

— Э! *тамъ!*.. Мы этого не знаемъ, что тамъ...

— И я не знаю,—сказалъ Дыминъ, разставивъ руки

и многозначительно поглядѣвъ на Пулькина. Затѣмъ, уха была съѣдена, и послѣдовало молчаніе.

— А вотъ отчего вы хандрите—это я знаю.

— Отчего?

— Леля Затаилова перестала ходить къ Любинымъ!... А уха была хороша.

— Уха—ничего... Только, позвольте, почему вы думаете?..

— Я ничего не думаю,—пробурчалъ Дыминъ, вытирая салфеткой мокрые усы свои:—Это *вы* думаете, что я ничего не вижу. А знаете, какой я *есмь* человѣкъ? Я вижу на сотни верстъ, что кругомъ меня творится; мнѣ достаточно было видѣть, какъ вы держали въ рукѣ колоду картъ, и какъ вы заздались въ то самое время, какъ у Любиныхъ въ передней послышался звонокъ; этого было достаточно, чтобъ тотчасъ же понять, кого вы поджидаете и что въ эту минуту происходитъ въ васъ.

— Когда? Какой звонокъ?! спросилъ Пулькинъ и покраснѣлъ: онъ вспомнилъ и въ глубинѣ души своей не могъ не сознаться, что Дыминъ угадалъ тогдашнее настроеніе его души.

— Вотъ вы не знаете, отчего Затаилова перестала бывать у Любиныхъ.

— Не знаю.

— А я знаю.

— Отчего же?

— Лиза съ нею поссорилась—и изъ-за васъ, потому что сама неравнодушна къ вамъ.

— Изъ чего вы это предполагаете?

— Я никогда ничего не предполагаю—у меня математика. Всѣ явленія жизни я подвожу подъ алгебраическіе знаки, и всякое неизвѣстное мнѣ число рѣшаю уравненіемъ. Хотите, я побьюсь съ вами объ закладъ, что съ Анной Петровной вы поссоритесь?

— Никогда.

— Ну вотъ, увидите.

— Никогда-съ... Вы сколько лѣтъ съ ней знакомы?

— Я—ффь?—лѣтъ десять, если не больше.

— Отчего же вы съ нею не поссорились?

— А мой чередъ еще не пришелъ. Еще и у меня съ ней будетъ какая-нибудь баталія. Вы, впрочемъ, этого и не увидите, и не услышите.

— Отчего?

— Да ужъ такъ.

— Да что вы пророкъ или колдунъ—а?!

— То, что я пророчу, для меня такъ же ясно, какъ дважды два четыре.

— Ну что, какъ вы думаете, женюсь я на Еленѣ Александровнѣ?

Дыминъ сначала доѣлъ котлетку, потомъ утеръ свои усы и уже потомъ поглядѣлъ на Пулькина.

— Этого я вамъ не скажу,—сказалъ онъ:—тутъ все будетъ зависѣть отъ васъ, отъ вашей честности. А котлеты тоже недурны,—добавилъ онъ.

— Такъ что не мѣшаетъ и запить ихъ. Разопьемте бутылочку, ну, хоть лафита.

— Недорогого—да,—отвѣчалъ Дыминъ, черезъ носъ поглядывая на усы свои.

— Я, вы знаете, не пью, я только отвѣдываю, и напрасно вы не спросили полбутылки. Я вовсе не хочу, чтобъ вино вызвало васъ на кой-какія откровенности...

— Я этого не боюсь, Андрей Петровичъ; нечего мнѣ скрывать отъ васъ; только скажите мнѣ по совѣсти: для чего вы сказали, будто Лиза... Это, конечно, вздоръ... что она ко мнѣ неравнодушна; но для чего вы это сказали?... Какое мнѣ до этого дѣло?!

— А я—это не безъ цѣли...

— Какая же цѣль?

— Не безъ нѣкоторой цѣли—вы теперь можете выбирать между той, которую вы любите, и той, которая богата.

— Ну, и чтожъ вы думаете? Вы думаете, что меня соблазнитъ богатство, что сердце у меня продажное, что я подлецъ?

Пулькинъ разгорячился и оттого, что выпилъ стаканъ дорогого лафита, и оттого, что Дыминъ какъ-то странно и раздражалъ его, и привлекалъ. Пріятно имѣть такого проницательнаго друга (многому кой-чему научитъ), но и страшно: того гляди, ужъ слишкомъ окажется проницателенъ и, чего добраго, выдастъ.

— Я уже вамъ сказалъ, что я ничего не думаю. Для меня жизнь—сцена, и—когда я самъ не актерствую—я наблюдаю, какъ другіе актерствуютъ. Постойте, не горячитесь, я знаю, что вы равнодушны къ религіи. Для васъ вѣдь все равно, есть Богъ или нѣтъ, не правда-ли? Вы объ этомъ даже и не думали никогда.

— Ну да, не думалъ и не думаю.

— Значитъ, вы съ дѣтства думали и думаете только о своей особѣ, и такъ какъ для вашей персоны ничего иного не существуетъ, кромѣ земного благополучія, то очень можетъ быть, вы и предпочтете прочное, независимое состояніе непрочному чувству... Это весьма возможно. Но будемъ пить кофе и прекратимъ сегодняшній разговоръ; надѣюсь, мы не въ послѣдній разъ съ вами встрѣчаемся.

— О, надѣюсь! повторилъ Пулькинъ и черезъ столъ протянулъ ему руку, но рукавомъ задѣлъ и опрокинулъ на скатерть свою чашку съ кофе; кофейная струя полилась на его брюки.

— Ахъ! чортъ возьми!

Пулькинъ вскочилъ, схватилъ салфетку и сталъ выти-

раться... Человѣкъ, тоже съ салфеткой, бросился помогать ему.

Дыминъ всталъ и велѣлъ подать себѣ счетъ...

— Извините, Андрей Петровичъ, я васъ звалъ—я и плачу,—сказалъ Пулькинъ.

— Нѣтъ-съ!... Обыграть васъ въ ералашъ—съ моимъ удовольствіемъ, а тутъ пусть каждый изъ насъ платитъ свою долю. Мы такъ условились.

— Ну, какъ хотите,—сказалъ Пулькинъ, не безъ досады разглядывая то мѣсто на брюкахъ, которое онъ залилъ кофеемъ.

Черезъ четверть часа, расплатившись, оба они вышли на Невскій проспектъ, уже сіявшій огнями всѣхъ своихъ магазиновъ, конторъ и кондитерскихъ.

На тротуарѣ, пожавъ другъ другу руку, условились они когда сойтись имъ у Любиной, разумѣется, для того, чтобъ поиграть въ ералашъ,—и разошлись.

— Эка бестія! подумалъ Пулькинъ про Дымина.

— Неопытенъ, но не безъ поползновеній! подумалъ Дыминъ про Пулькина.

XXX.

Пулькинъ кликнулъ извощика, поторговался съ нимъ и поѣхалъ къ Сопѣлкину. Но по дорогѣ къ Сопѣлкину онъ вовсе не думалъ о Сопѣлкинѣ; онъ думалъ то о Любиной, то о Затаиловой, то объ инженерѣ Дыминѣ, который такой странный разговоръ завелъ съ нимъ.

— Ишь ты,—думалъ Пулькинъ,—воображаетъ, что на сто верстъ кругомъ видитъ; а не видитъ, что для того, чтобы мнѣ жениться, мало одной честности, нуженъ капиталъ; прикидывается всевѣдущимъ, а того и не видитъ, что я вовсе не богачъ и что съ замираніемъ сердца вынимаю изъ кошелька каждую новую десятирублевую. А

что на счетъ Лизы... такъ это, пожалуй, что и правда—я самъ замѣтилъ, кокетничаетъ, шельма; тоже, чай, думаетъ: «у тебя сто тысячъ, да у меня сто тысячъ—партія подходящая!» Эхъ, да кабы у меня сто тысячъ!.. Извощикъ, налѣво... къ подъѣзду!.. Стой!.. стой, говорятъ тебѣ!..

— Сколько разъ поднимался я по этой лѣстницѣ! невольно подумалъ Пулькинъ, пробираясь на 3-й этажъ въ квартиру къ Сопѣлкину.

Сопѣлкина засталъ онъ дома и сразу замѣтилъ нѣчто не совсѣмъ обыкновенное: въ кухнѣ что-то стирали, въ средней комнатѣ было темно, а изъ той, гдѣ когда-то спалъ онъ, выходилъ свѣтъ. Едва онъ снялъ свои калоши, какъ Сопѣлкинъ, въ халатѣ нараспашку, съ свѣчей въ рукѣ, точно выбѣжалъ, блестя очками, остановился и раскрылъ ротъ, какъ бы спрашивая: кого это чортъ принесъ?

Ужъ не обзавелся ли онъ какой-нибудь новой подругой сердца? подумалъ Пулькинъ.

— А! воскликнулъ въ полголоса Сопѣлкинъ и съ нѣкоторою торжественностью протянулъ ему руку.

— Степанъ Авдѣичъ! проговорилъ Пулькинъ,—не въ пору гость хуже татарина; пожалуйста прогоните, если я не во время... или мѣшаю.

— Фу! Вздоръ!.. Входите... входите! Вы ничего не знаете?

— А что?.. Ничего...

— Я сегодня утромъ былъ у васъ, хотѣлъ вамъ сообщить, да не засталъ.

— Знаю, знаю... но что такое?

— Пойдемте.

Сопѣлкинъ съ той же свѣчей повелъ Пулькина въ его бывшую узкую спаленку, гдѣ тоже горѣла на столикѣ свѣчка,—и Пулькинъ, къ величайшему своему изум-

ленію, увидалъ сидящую женщину, повязанную платкомъ по-деревенски, плотную, голоплечую и съ ребенкомъ, котораго она кормила грудью. Возлѣ нея стояло нѣчто въ родѣ колыбели, что-то такое плетеное, не то на двухъ стульяхъ, не то на собственныхъ ногахъ, съ маленькой дѣтской подушечкой, бѣльемъ и одѣяльцемъ.

Пулькинъ невольно раскрылъ ротъ и приподнялъ плечи.

— Что-жъ вы меня не поздравляете? Видите, дочь Богъ далъ. А?! Что-жъ вы не поздравляете!..

— Какими судьбами?

— Вотъ и кормилицу досталъ. — Пожалуйста, голубушка, не совѣститесь, исполняйте ваше предназначеніе, нечего совѣститься! Ха, ха! Грудь-то у васъ плебейская... бабья, какая быть должна!..

И Сопѣлкинъ рукой дотронулся до плеча кормилицы, которая, съ двухъ сторонъ освѣщенная двумя стеариновыми свѣчками, замѣтно сконфузилась и стала прикрывать ту сторону, гдѣ покоилась неподвижная голова ребенка съ подвижными, сильно работающими губками.

— Что за оказія! продолжалъ удивляться Пулькинъ, уже посмѣиваясь: веселое расположеніе духа Сопѣлкина сообщилось и ему. Казалось, никогда еще Пулькинъ не видалъ Сопѣлкина въ такомъ игривомъ настроеніи.

— Что тебѣ? спросилъ Сопѣлкинъ кухарку Дарью, которой широкое лицо съ отвислымъ подбородкомъ высунулось изъ-за двери.

— Подавать самоваръ? спросила она.

— Подавать! да, постой! кажется, ха, ха, ха! сахару нѣтъ; сперва, на, поди, купи два или три фунта колотаго сахару, чай мы сами заваримъ—маршъ!

— А сколько булокъ прикажете взять?

— Бери на троихъ.

— Сухарей брать?

— Сухарей... ну, пожалуй, и сухарей! ха, ха!

Кухарка пошла за самоваромъ. Сопѣлкинъ вслѣдъ за ней вышелъ въ среднюю комнату, поставилъ на столъ свѣчу и, оставивъ Пулькина, опять вернулся въ дѣтскую и сталъ тамъ о чемъ-то не то хлопотать, не то разспрашивать кормилицу.

Кухарка внесла кипящій самоваръ.

— Откуда такая благодать? какъ бы невольно вслухъ проговорилъ озадаченный Пулькинъ.

Кухарка, молча воротившись въ переднюю, высунула оттуда красное лицо свое и, ухмыляясь и подмигивая, прошептала ему съ таинственнымъ видомъ: подкинули!

— Э! что ты тамъ! заговорилъ Сопѣлкинъ; какъ ты смѣешь секреты выдавать! А!.. Постой, не торопись, поди сюда,—вотъ я заварю чай, а ты разскажи ему, какъ подкинули... Это не ты ли подкинула?

Дарья фыркнула и складывая свои толстые пальцы, съ видомъ униженной просьбы, обратилась къ Сопѣлкину:

— Ей Богу же не я! Господи!.. Эдакій грѣхъ!..

— То-то грѣхъ! Да вѣдь это не мнѣ, это тебѣ подкинули—ты и корми! шутилъ Сопѣлкинъ, криво улыбаясь маленькимъ, узенькимъ ртомъ своимъ.

— Нѣтъ, не мнѣ... такъ и сказали, что вамъ.

— Кто сказалъ? спросилъ Пулькинъ и при этомъ обѣими руками подбоченился.

Дарья вышла на средину комнаты и не безъ нѣкотораго удовольствія начала ему разсказывать.

— Я, знаете... была въ куфнѣ—обѣдъ барину готовила; ну, я одна, значитъ, а барина-то дома нѣтъ... Вдругъ, зазвонили... Думаю, баринъ—отперла. Ну, охъ!.. отперла я этто, вижу какой-то мужикъ въ полушубкѣ, а на головѣ-то эта самая кошелка. — Что тебѣ? спрашиваю.—Здѣсь, говоритъ, баринъ Запекинъ живетъ?—Какой, говорю, тутъ Запекинъ—никакого тутъ тебѣ нѣтъ

Запекина. — Да Степанъ Авдѣичъ, говоритъ. — Степанъ Авдѣичъ, говорю, тутъ, а тебѣ что?...

— Да вотъ, говоритъ, были они у насъ въ магазеѣ на Садовой, купили провизію, велѣли снести, на квартиру отдать, говоритъ; а деньги, говоритъ, сполна уплочены. Охъ! Ну, я эдакъ-то постороннлась немного, дорогу дала ему, и вошелъ онъ, этотъ самый мужикъ, въ комнату, да и спрашиваетъ: а куда, говоритъ, мнѣ тутъ поставить— въ куфнѣ что-ль?—Ставь, говорю, на полъ—не разсыплется! Думаю, баринъ двѣ головы сахару купилъ, либо что. Почемъ я знаю! Ну, спустилъ онъ эту самую корзину на полъ около вѣшалки, около самой вѣшалки, да и говоритъ: на водку бы надоть; а самъ ухмыляется. Да дала бы, говорю, голубчикъ, да какъ быть-то, говорю, барина-то дома нѣтъ.—Ну, говоритъ, счастливо оставаться.—А я: съ Богомъ, говорю, голубчикъ! Охъ! Ушелъ. Заперла я этто дверь за нимъ, какъ дура какая, прости Господи!—Ну-съ, вотъ, рублю котлетки... котлетки, знаете, — вдругъ слышу — кто-то, нѣтъ-нѣтъ, да и запищитъ... не то котенокъ, не то ребенокъ... нѣтъ-нѣтъ, да и опять: мя, мя, мя! Что это, думаю откуда? Заглянула въ сѣни — ничего! Охъ!.. Вернулась этто я... принялась было стряпать, какъ вдругъ кто-то какъ запищитъ... запищитъ! Господи! Руки, ноги похолодѣли. Слышу въ этой самой корзинѣ что-то мутошится—я, согрѣшила грѣшная, заглянула, да такъ и обмерла... Ребеночекъ! Дрожитъ, посинѣлъ индо... Ахъ ты Господи! Руки, ноги трясутся. Хотѣла было броситься за дворникомъ — да куда! боюсь и двери-то отворить... Какъ, думаю, квартиру отперши оставлю... Неровенъ часъ... дрожу вся... что и дѣлать... сама, охъ! сама не знаю...

— Ну, что же дальше? спросилъ Пулькинъ, видя, что разскащица запыхалась.

— Ну, тутъ самъ и баринъ пришелъ! заключила

она, разводя руками и поклонилась,—дескать, я свое дѣло сдѣлала, разсказала что знаю, дальше ничего не знаю.

— Я, признаться вамъ, началъ Сопѣлкинъ, я было сначала испугался—послалъ за полиціей. Въ корзинѣ нашелъ записку, я вамъ покажу ее, безграмотно написанную — вотъ какъ мальчишки или отставные солдаты пишутъ: «Родилась 30 Августа, во святомъ крещеніи наречена Степанидой». Ну, думаю, я Степанъ—она Степанида, оставлю ее у себя и стану какъ нибудь воспитывать. И что странно, на шейкѣ голубая атласная ленточка и золотой крестикъ, рубашечка обшита кружевцами, одѣяльце вязаное—шерстяное.

— И башмачки эдакіе махонькіе, вязаные,—начала было Дарья.

— Ну, за сахаромъ и булками маршъ! скомандовалъ Сопѣлкинъ, я и безъ тебя доскажу. Ха, ха!

Дарья махнула рукой и скрылась.

— Вы какъ будто рады, Степанъ Авдѣичъ,—сказалъ Пулькинъ, поглядѣвши на лице Сопѣлкина.

— А что?.. не на улицу ли, по-вашему, выбросить?..

— А расходы?

— Фрр! расходы!.. какъ нибудь... расходы... Не Богъ знаетъ что.

— А знаете, что мнѣ пришло въ голову... Что, если это какая нибудь княжна или фрейлина... словомъ, какая нибудь особа богатая и высокопоставленная доставила вамъ плодъ любви своей. Чего добраго, еще когда нибудь и озолотитъ васъ,—сталъ фантазировать Пулькинъ. Вы не глядите, что тамъ въ запискѣ этой написано помужицки и безграмотно, — это съ умысломъ, это такъ нарочно сдѣлано, чтобъ подумали... А то сами посудите: золотой крестикъ и все эдакое... Значитъ ли, что мать бѣдная или какая нибудь нищая? А то можетъ и того... нигилистка какая нибудь... добавилъ Пулькинъ — и, кто

знаетъ, можетъ быть, пріятельница Затаиловой! подумалъ онъ про себя.

— Ну, это мнѣ все равно-съ; теперь ребенокъ мой, и я никому не отдамъ его. Будутъ въ канцеляріи сплетни, и все такое... но, надѣюсь, вы меня знаете—я не такой, чтобъ ужъ очень дорожить ихъ мнѣніемъ. Скажутъ, что это я самъ себѣ свое собственное дитя подкинулъ (это въ Петербургѣ нерѣдко дѣлается), ну, и пусть свое собственное дитя—эка важность!

И Сопѣлкинъ, потирая руки, пѣтушкомъ пробѣжалъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ.

— Ишь ты,—подумалъ Пулькинъ,—точно отъ судьбы богатый подарокъ получилъ за свои добродѣтели!

Напившись чаю и наговорившись вдоволь, Пулькинъ тотчасъ же уѣхалъ домой отдыхать отъ впечатлѣній этого дня, а Сопѣлкинъ еще разъ зашелъ въ комнату спросить кормилицу, пила ли она чай, не нужно ли ей молока купить, чтобъ было больше молока, и не прежде ушелъ спать, какъ полюбовавшись на сонную дѣвочку... Ей уже было около 6-ти мѣсяцевъ; она была смугла, но не дурна собой — носикъ былъ прямой, глазки большіе, рѣсницы длинныя, верхняя губка поднималась выше нижней. Будетъ красавица! думалось нашему Сопѣлкину, и всѣ будутъ называть ее Степанидой Степановной.

XXXI.

На другой день, около двухъ часовъ пополудни, урвавшись изъ департамента (будто-бы закусить на тощій желудокъ), Пулькинъ въ Троицкій переулокъ направилъ шаги свои и не безъ сердечнаго трепета подходилъ къ тому подъѣзду, къ той лѣстницѣ, къ той двери, на которой красовалась мѣдная досечка съ фамиліей покойнаго Затаилова. То боялся онъ не застать дома предметъ любви

своей (даже думалъ, что Леля Затаилова уже переѣхала), то боялся застать и не быть ею принятымъ. Не глупость ли, не величайшую ли глупость совершаю я! думалъ Пулькинъ... Не звала, ни малѣйшаго намека на желаніе видѣть меня не заявляла,—и я... иду!...

Блѣдное лицо его, обрамленное чернымъ скунсовымъ воротникомъ, казалось еще блѣднѣе, еще интереснѣе; изжелта коричневыя перчатки на рукахъ были безукоризненно свѣжи, а черный шелковый зонтикъ, развернутый надъ головой, спасалъ его шляпу отъ дождевыхъ капель, которыя носились въ воздухѣ, такъ какъ въ этотъ день была оттепель. Онъ такимъ казался франтомъ, что двѣ молоденькія нѣмочки, которыхъ встрѣтилъ онъ — дочь учителя и дочь кондитерши — невольно съузили свои глазки и невольно ему улыбнулись; словомъ, никакъ не могли утерпѣть, чтобъ мимоходомъ съ нимъ не пококетничать.

Пулькину пріятно было сознавать себя франтомъ и останавливать на себѣ вниманіе молоденькихъ и, быть можетъ, даже еще невинныхъ грѣшницъ (хотя Пулькинъ и не вѣрилъ въ невинность отроковицъ, улыбающихся ему на улицѣ); но... сердце его все-таки билось сильнѣе обыкновеннаго; а когда сталъ онъ подниматься по лѣстницѣ, такъ смутился, что даже значительно замедлилъ шаги свои. Вотъ уже взобрался онъ на ту площадку, на которой направо была дверь въ квартиру Затаиловыхъ, и увидѣлъ, что дверь эта настежь отворена и что оттуда выглѣзаетъ длинное зеркало въ рѣзной орѣховой рамѣ, показалась сѣрая фигура носильщика, за нимъ другая такая же фигура — и снизу послышался голосъ: дерзи, осторознѣй, осторознѣй!...

Онъ вспомнилъ, что на тротуарѣ встрѣтилъ точно такое же, несомое на двухъ головахъ зеркало и еще какихъ-то мужиковъ, нагруженныхъ мебелью.

Дверь въ переднюю осталась растворенною, и онъ вошелъ въ нее.

Квартира показалась ему пустой, но заставленной сундуками, засоренной сѣномъ и клочками изорванныхъ газетъ и сильно истоптанной мокрыми мужицкими сапожищами.

— Вѣроятно, все уже уложено,—подумалъ Пулькинъ, все продано и уже никого тутъ нѣтъ, кромѣ покупщика-еврея, который сію минуту воротится и спроситъ: что вамъ тутъ надо, господинъ?

Не снимая ни калошъ, ни шубы, съ зонтикомъ подъ мышкой, онъ прошелъ залу и вошелъ въ другую, довольно просторную комнату, тоже весьма безпорядочно заставленную мебелью. Но не успѣлъ онъ заглянуть въ нее, какъ фигура бѣлокурой дѣвушки, въ траурномъ платьецѣ, бросилась ему въ глаза и заставила пріостановиться.

Онъ тотчасъ же узналъ Лелю Затаилову.

Она сидѣла на табуретѣ, опершись однимъ локоткомъ на круглый, скатертью покрытый столъ съ остатками завтрака, и карандашемъ что-то записывала на клочкѣ бумаги.

Минуты двѣ Пулькинъ имѣлъ возможность молча любоваться ея тонкимъ, задумчивымъ профилемъ.

— Елена Александровна! произнесъ онъ.

Затаилова повернула голову и широко раскрыла удивленные глаза, точно чего-то испугалась.

— Извините, если я рѣшился, безъ вашего приглашенія, явиться къ вамъ.

Румянецъ выступилъ на ея фарфоровомъ личикѣ.

— Извините,—произнесла она, — что такой безпорядокъ. Завтра мы переѣзжаемъ...

— Я шелъ мимо, вижу, выносятъ какія-то вещи, и такъ какъ Карлъ Иванычъ Шталь сказалъ мнѣ, что вы

переѣзжаете и продаете лишнія, ненужныя вещи—я зашелъ-съ... Ради Бога, извините...

— Вы хотѣли что-нибудь купить? проговорила Леля, съ одного предмета на другой переводя глаза свои.

— Да-съ, именно... что-нибудь.

— Да уже все почти продано—вы опоздали...

— Я такъ уже давно не имѣлъ удовольствія видѣть васъ.

— Да, я давно уже не была у Любиныхъ; но что же вы не садитесь... И она протянула ему свою маленькую, бѣленькую ручку.

Пулькинъ, неуспѣвшій еще снять перчатокъ, крѣпко пожалъ ее и замѣтно просіялъ, ободрился. Чего же лучше! Встрѣча ознаменовалась взаимными извиненіями и она первая протянула руку.

— Нѣтъ-съ, прежде чѣмъ сѣсть, позвольте распорядиться.

— Какъ?

— Да-съ, распорядиться—пойти въ переднюю и запереть дверь на лѣстницу... она растворена настежь, и пока мы съ вами будемъ бесѣдовать,—васъ могутъ обокрасть...

— Но... какъ же это?! неужели никого...

— Вы видите — я вошелъ къ вамъ, какъ былъ на улицѣ... даже калошъ не снялъ...

И Пулькинъ повернулъ назадъ; но не прошелъ онъ и половины залы, тускло освѣщенной двумя окнами, выходящими на улицу, какъ слѣва отворилась дверка и появилась новая фигура: вышелъ какой-то человѣчекъ—блондинъ, съ сѣрымъ шерстянымъ шарфикомъ на шеѣ, въ домашнемъ запыленномъ костюмѣ, въ родѣ архалука, и прохрипѣлъ:

— Откуда несетъ!... откуда такъ несетъ!... Что это за варварство?!...

— Сейчасъ я затворю дверь на лѣстницу, —проговорилъ Пулькинъ.

— Это вы вошли и не затворили?

— Нѣтъ, это выносили зеркало.

— Вы тоже покупщикъ?

— Нѣтъ, я знакомый Елены Александровны...

Съ этими словами, Пулькинъ прошелъ переднюю, и пока онъ запиралъ на крючекъ дверь на лѣстницу, снималъ калоши и въ уголокъ ставилъ мокрый зонтикъ свой, юноша съ повязаннымъ горломъ, съ недовольной миной прошелъ въ гостиную.

— Кто это? спросилъ онъ Елену.

— Фамилія его Пулькинъ и онъ былъ представленъ мнѣ у этихъ Любиныхъ.

— И давно ты знакома съ нимъ?

— О, да... съ осени... И какъ досадно... онъ зашелъ, чтобъ купить кой-что изъ нашихъ вещей, и я увѣрена, далъ бы настоящую цѣну... а не эту жидовскую... Ахъ... если-бы ты зналъ, какъ мнѣ жаль, какъ мнѣ жаль этого піанино! И такъ дешево, такъ дешево!!...

— Ну, что за малодушіе! Есть о чемъ жалѣть! Накинь-ка лучше на себя платокъ или что-нибудь... здѣсь сыро и холодно.

— Дверь заперта и теперь не дуетъ,—сказалъ Пулькинъ, появляясь въ дверяхъ и кланяясь юношѣ съ повязаннымъ горломъ.

— Имѣю честь рекомендовать, — произнесла Елена Затаилова,—кузенъ мой, Савелій Дмитріевичъ Кроликовъ.

— Какъ?... Кроликовъ! писатель! воскликнулъ Пулькинъ:—можетъ-ли быть!!... Я такъ давно желалъ...

Кроликовъ опустилъ глаза — ему польстило восклицаніе Пулькина; онъ молча протянулъ ему руку, и Пулькинъ съ тѣмъ же восторгомъ сталъ потрясать ее.

— Какъ же мнѣ не знать Савелья Дмитріевича Кро-

ликова! Имѣю честь рекомендоваться: Пулькинъ — вашъ поклонникъ и вашъ послѣдователь, такъ сказать, ученикъ вашъ.

Кроликовъ снисходительно поглядѣлъ на модныя перчатки и модный галстухъ своего ученика и поклонника и не зналъ, что сказать ему на неожиданный привѣтъ его. Онъ былъ еще очень юнъ, не высокъ и далеко не красивъ; усики и борода едва пробивались на его явно золотушномъ лицѣ, глаза казались припухшими и волосы на головѣ были такъ рѣдки, что кожа на черепѣ сквозила, особливо около висковъ; ни одной рѣзкой мужественной черты не было во всей его физіономіи—все было какъ-то ужъ очень мягко, сѣро и ординарно; даже голубые или свѣтлосѣрые глаза ничего особеннаго не выражали, ни прозорливости и самоувѣренности, ни быстроты мысли, ни непреклонной воли; вся фигура его, напротивъ, казалась какой-то немощной или болѣзненной.

Глядя на него, Пулькинъ невольно припоминалъ разсказъ Шталя.

— Однако здѣсь свѣжо... Экъ настудили квартиру!... Вы меня извините, если я оставлю васъ... дѣла пропасть:— и держать корректуру, и писать къ сроку, и укладывать библіотеку... Да, это ужасно укладываться, особенно эти книги проклятыя...

— Если угодно—я за особенное удовольствіе сочту помочь вамъ; прикажите — и я явлюсь къ вамъ завтра, или хоть сегодня послѣ обѣда...

— Мнѣ Ефименко помогаетъ,—равнодушно произнесъ Кроликовъ:—ты не знаешь, куда онъ пропалъ? А? обратился онъ къ Лелѣ.

— Не знаю... позавтракали эти господа и разошлись,— Стихаревъ пошелъ въ комнату торговаться на счетъ перевозчиковъ... Умековъ пошелъ на счетъ дровъ... даже не

знаю, вернулась ли Дуня... и удивляюсь, отчего до сихъ поръ тети нѣтъ.

— Ну, я не удивляюсь: коли мама да забралась въ гостиный дворъ — поминай какъ звали, весь день потерянъ,—проговорилъ Кроликовъ и тотчасъ же вышелъ, очевидно, удаляясь въ свой кабинетъ—работать.

Леля осталась у стола на томъ же мѣстѣ, но, поглядѣвъ на Пулькина, не повторила своего приглашенія—садиться.

— Значитъ, вы читаете статьи Савелья Дмитрича? спросила она.

— Конечно-съ! Кто же теперь не читаетъ ихъ... Я, знаете, тоже когда-то пописывалъ и печатался, — разумѣется, не подъ своимъ именемъ.

— Гдѣ же это? спросила Леля и изъ-подъ темныхъ рѣсницъ возвела на него свѣтло-голубые, какъ лѣтнее небо, глаза свои.—Можетъ ли это быть! какъ-бы спрашивали эти небесныя очи, тихо изумленныя и слегка недоумѣвающія.

— Въ «Искрѣ»-съ.

— Неужели!? Искра—это очень хорошій журналъ.

— Да-съ, очень хорошій, такъ сказать, единственный! Можетъ быть, у меня и нѣтъ таланта; не хвастаюсь, Елена Александровна, я на поэтическій даръ не имѣю ни малѣйшей претензіи, но сатирическая жилка есть-съ. Я очень скоро, знаете, подмѣчаю уродливыя стороны жизни, и такъ какъ я имѣю несчастіе служить, мнѣ гораздо виднѣе эти наши бюрократическіе нравы, и я ихъ не щажу-съ! Но согласитесь сами, Елена Александровна, какъ могу я подписываться: «Пулькинъ» — тотчасъ же запретятъ писать или со службы выгонятъ.

— И не подписывайтесь! горячо сказала Леля.—А развѣ вы очень боитесь, что васъ выгонятъ? добавила она, какъ бы о чемъ-то размышляя и пытливо поглядывая на Пулькина.

— Да-съ, когда это было единственнымъ источникомъ моего существованія—поневолѣ, знаете... Но, Елена Александровна, скажите по совѣсти, вы на меня не сердитесь?

— За что?

— За то, что я смѣлъ зайти къ вамъ.

— Я не ожидала васъ, но... что-жъ тутъ обиднаго?!

— Нисколько не сердитесь?!

— Нисколько...

— А вѣрите ли, у меня ноги подкашивались, когда я шелъ къ вамъ; ну, думаю, — не приметъ меня Елена Александровна! — И Пулькинъ вздохнулъ довольно явственно.

— Ну, а если бы я васъ не приняла?...

Пулькинъ потупилъ глаза. — Для меня это было бы ударомъ, Елена Александровна.

Леля въ свою очередь потупилась и начала маленькими шагами ходить по комнатѣ.

— А давно ли вы видѣлись съ Карлъ Иванычемъ? Скажите, онъ про меня говорилъ что-нибудь?

— Онъ говорилъ... позвольте, что бишь такое онъ говорилъ? Ахъ да!.. о какой-то рукописи, которую онъ хотѣлъ дать прочесть Аннѣ Петровнѣ, а Анна Петровна хотѣла дать мнѣ прочесть...

— А! это рукопись моего покойнаго папа. — Пожалуйста, возьмите ее отъ Анны Петровны, она ничего не пойметъ, да это и не можетъ интересовать ее?

— А вы позволите мнѣ прочесть ее?

— Да... но только не затеряйте; говорятъ, ее можно будетъ напечатать со временемъ.

— А вы позволите мнѣ иногда бывать у васъ?..

— Сдѣлайте милость! кто вамъ мѣшаетъ...

— А если?...

— Что «если»? переспросила Леля и перестала дви-

гаться по комнатѣ; ей показалось, что за этимъ «если» непремѣнно послѣдуетъ нѣчто въ родѣ признанія.

— А если это будетъ не совсѣмъ пріятно вашимъ роднымъ или вашимъ знакомымъ?

— Этого я не знаю, будете ли вы имъ пріятны или непріятны. Если же я захочу васъ принимать, то никто не помѣшаетъ. Я никому не мѣшаю, и мнѣ никто мѣшать не можетъ. Завтра мы переѣзжаемъ на Знаменскую, № 17. Если будете въ нашей сторонѣ, заходите. Мой кузенъ, Кроликовъ,—вы еще его не знаете, — онъ зло пишетъ, очень зло иногда пишетъ; но самъ лично очень добрый и даже сговорчивый; очень можетъ быть, что вы и сойдетесь съ нимъ.

Въ это время въ передней раздался звонокъ. Леля вздрогнула.

—Теперь прощайте, Елена Александровна; я болѣе не смѣю безпокоить васъ своимъ присутствіемъ.

Леля слабымъ пожатіемъ руки отвѣчала на крѣпкое пожатіе руки влюбленнаго гостя и пошла было до передней проводить его, но, замѣтивъ горничную Дуняшу, выбѣжавшую на звонокъ, воротилась.

Пулькинъ въ передней встрѣтился съ новой особой, ему совершенно неизвѣстной. Эта, по мнѣнію Любиной, ужасная дѣвушка показалась Пулькину и хорошенькой, и даже веселенькой особой: это была Юленька Диць, извѣстная всей тогдашней интеллигентной молодежи, — умная, бойкая и краснорѣчивая.

XXXII.

Радостный, какъ выпущенный на волю школьникъ, шелъ нашъ Пулькинъ обратно въ свой департаментъ.

Онъ мысленно про себя ухмылялся и мысленно хвалилъ себя.

Онъ былъ не только влюбленъ, но и въ восторгѣ отъ своего поведенія.

«Ей-Богу, я молодецъ! думалъ Пулькинъ. Захотѣлъ быть у ней—и былъ; захотѣлъ ей выразить мою любовь, мое обожаніе, и такъ намекнулъ, что все равно, что и высказалъ. — А надо, надо мнѣ почитать статейки этого Кроликова! Я и ему тоже ѳиміама подпустилъ; они это любятъ—наши молодые-то писатели, очень даже любятъ... Ну, не каналья ли я... а?...

Богъ знаетъ, почему въ эту минуту Пулькину въ особенности нравилось быть канальей, точно лучшей похвалы онъ самому себѣ не могъ даже и придумать. Въ особенности онъ за то мысленно похвалялъ себя, что не передалъ поклона отъ г-жи Любиной; онъ уже догадывался, что между Лелею и Любиными пробѣжала черная кошка. Пулькинъ такъ былъ поглощенъ мыслью о самомъ себѣ, о своемъ свиданіи съ Лелей и надеждою на взаимность, что и не замѣтилъ, какъ дошелъ до департамента и какъ очутился у своего стола, заваленнаго бумагами.

— Васъ здѣсь кто-то спрашивалъ,—сказалъ ему одинъ изъ канцелярскихъ служителей,—записалъ вашъ адресъ и ушелъ.

— Кто такой?

— Какой-то Орѣшниковъ?...

— Орѣшниковъ! какой Орѣшниковъ?...

— Не знаю-съ.

«Неужели это мой двоюродный братецъ изъ Ярославля! Это какими судьбами!» подумалъ Пулькинъ и сдвинулъ брови. «Лѣтъ восемь не видались, ни слуха, ни духа—и вдругъ! На что я ему нуженъ?»—И онъ опять принялся за работу. Въ департаментѣ уже на столько были довольны имъ, что стали заваливать его работой. Пулькинъ при этомъ велъ себя съ большимъ тактомъ,

ни на что не напрашивался и ни отъ чего не отказывался. Всѣ думали, что, получа состояніе, или какъ-то тамъ разбогатѣвъ, Пулькинъ окончательно излѣнится и только для проформы будетъ заглядывать въ департаментъ. Оказалось напротивъ. Оказалось, что у этого юноши есть и честолюбіе, и усердіе, и почтительность, и даже какая-то увѣренность въ успѣхъ на служебномъ поприщѣ. Недаромъ самъ директоръ, какъ-то проходя мимо, молча протянулъ ему одинъ палецъ и, слегка по-начальнически, кивнулъ ему головой. Этой милости немногіе удостоивались, и Пулькинъ былъ на седьмомъ небѣ отъ этого протянутаго пальца. Чѣмъ чортъ не шутитъ! невольно подумалъ онъ; можетъ быть, этотъ палецъ когда-нибудь и вытащитъ меня на мѣсто болѣе злачное и прохладное!

XXXIII.

На другой день, утромъ, прежде чѣмъ Пулькинъ всталъ съ постели—въ передней его произошло нѣкоторое столкновеніе между Николашкой и какимъ-то пріѣзжимъ бариномъ въ медвѣжьей шубѣ.— Спятъ еще,—говорилъ ему Николашка:—пожалуйте вашу карточку.—Снимай шубу.—Я же вамъ сказываю, почиваютъ, и не приказано будить.—Я подожду.—Заѣзжайте черезъ часъ.—Некогда мнѣ тутъ разъѣзжать! а ты не толкуй,—возразилъ баринъ, снимая калоши.

Николашка не зналъ, что ему дѣлать.

— Какъ ваша фамилія? спросилъ Николашка.

— Фамиліи тебѣ не скажу; родственникъ — братъ, ну, понялъ ты? А?...

Дѣлать было нечего, Николай впустилъ гостя въ комнату. Пулькинъ уже не спалъ и тотчасъ же услыхалъ, что у него по сосѣдству, за дверью, кто-то взадъ и впе-

редъ прохаживается—постоитъ-постоитъ, и опять начнетъ сапогами поскрипывать.

— Это непремѣнно Орѣшниковъ Сеня, подумалъ Пулькинъ... и не зналъ самъ, радоваться ему или досадовать: съ одной стороны, Орѣшниковъ могъ сообщить ему кой-какія новости о его родинѣ, о его замужней сестрѣ, о племянницахъ, о сосѣдяхъ, можетъ быть, даже вручить ему письмо или посылочку; съ другой стороны, ему представлялось, что Орѣшниковъ этотъ, съ которымъ онъ когда-то въ дѣтствѣ велъ великую дружбу, судя по слухамъ, сталъ порядочнымъ выжигой, самодуромъ и мазурикомъ. Не успѣлъ Пулькинъ надѣть халатъ и заглянуть за дверь, какъ дверь эта отворилась и онъ очутился въ горячихъ объятіяхъ своего бывшаго друга, Сени Орѣшникова.

— Братецъ!... Саша!... голубчикъ! какъ я радъ, что наконецъ-то отыскалъ тебя! Какой ты сталъ, братецъ ты мой,—смотрѣть любо-дорого.

— Да и я бы на улицѣ не узналъ тебя... Ну, какими судьбами?...

— Прилетѣлъ, самолично прилетѣлъ поглядѣть на вашу столицу—ну, и очень радъ, что нашелъ тебя... Сестра тебѣ кланяется и всѣ тебѣ кланяются.

— Садись, будемъ чай пить. Да развѣ ты въ первый разъ въ Питерѣ?

— Былъ я, братецъ ты мой, тому назадъ годика этакъ четыре... По дѣлу, по одному очень важному дѣлу. Вотъ и теперь—ты думаешь, я такъ пріѣхалъ, баклуши бить? Какъ не такъ! Вчера еще у министра финансовъ просьбу подалъ.

— Какую просьбу? спросилъ Пулькинъ, усаживаясь за чайный столъ, сервированный Николашкой такъ, что смотрѣть со стороны было весело, и усаживая на угловый диванъ своего двоюроднаго братца, Сеню. Сеня этотъ

былъ уже малый лѣтъ тридцати, съ рыжими баками и такими же рыжими по лицу веснушками, съ брюшкомъ, въ сѣрыхъ брюкахъ и, не смотря на ранній часъ утра, во фракѣ и бѣломъ галстухѣ.

— Какую просьбу? повторилъ онъ. А вотъ, братецъ ты мой, слушай. Это собственно даже и не просьба, а мой *прожектъ* о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ акцизномъ дѣлѣ, по части винокуренія,—*прожектъ*, въ которомъ ясно, какъ дважды два, доказываются какъ выгоды самого правительства, такъ и выгоды дворянъ, господъ заводчиковъ.

Тутъ онъ, растопыря пальцы вѣеромъ, сталъ разъяснять Пулькину, въ чемъ именно заключается суть его проекта, и видя, что Пулькинъ не совсѣмъ ясно его понимаетъ, ударилъ его по плечу и засмѣялся.

— Ты все такой же, все такой же романтикъ, ха ха! Нѣтъ, братецъ ты мой, надо самому побыть въ моей шкурѣ, да знать мѣстность и обстоятельства, да изучить факты, да поломать голову, чтобъ рѣшиться ѣхать и объясняться съ самимъ министромъ. Онъ меня, надо тебѣ сказать, очень благосклонно выслушалъ, взялъ бумагу, но сказалъ, что прожектъ мой поступитъ въ какую-то коммисію и будетъ разсмотрѣнъ. А что смотрѣть? И смотрѣть нечего—дѣло ясное! Согласятся принять мое предложеніе—и общее благосостояніе! Не только я—всѣ разбогатѣютъ... Нашего уѣзда въ три года узнать нельзя будетъ—дворцы, братецъ мой, выстроимъ! И вотъ тебѣ крестъ: если да этотъ проектъ будетъ утвержденъ—сто тысячъ твои, потому что дѣло это не тысячами пахнетъ, а милліонами. Только дай ты мнѣ указаніе—не знакомъ ли ты съ кѣмъ-нибудь изъ здѣшнихъ финансистовъ?

— Нѣтъ, кажется ни съ кѣмъ незнакомъ,—отвѣчалъ Пулькинъ. Перспектива полученія ста тысячъ, конечно, ему очень понравилась, но Сенѣ Орѣшникову онъ плохо

вѣрилъ. Несомнѣнно вретъ! подумалъ онъ и, кликнувъ Николашку, приказалъ ему сбѣгать въ погребокъ и купить бутылку рому. Онъ зналъ, что его двоюродный братецъ по части разныхъ спиртныхъ напитковъ собаку съѣлъ.

— А если мало тебѣ будетъ ста тысячъ — двѣсти! Что? ты не вѣришь что-ли, али разбогатѣлъ? Что за квартиру въ мѣсяцъ платишь? чай рублей тридцать-сорокъ?

— Э! подымай, братъ, выше!—восемьдесятъ четыре рублика.

— Ну, ужъ Питеръ! лѣшій его дери!.. Ахъ да, что за ерунда! Сказывали мнѣ, братецъ, будто ты какое-то наслѣдство получилъ. Что это за наслѣдство? Объясни ты мнѣ это, братецъ ты мой!

— Эге! вотъ оно что! хочется по наслѣдству процессъ завести со мной... подумалъ Пулькинъ.

— Какое наслѣдство? сказалъ онъ съ притворнымъ изумленіемъ:—въ первый разъ слышу... Кто это сказалъ тебѣ?

— Отъ вѣрнаго человѣка слышалъ, будто какой-то дядюшка твой умеръ и огромное состояніе завѣщалъ тебѣ. Какой же это дядюшка? Иванъ Петровичъ давно уже помре и ничего, кромѣ шведскаго ружья да беззубой собаки Пижона, не оставилъ. Дядюшка Илья Петровичъ до сихъ поръ у себя на хуторѣ благодушествуетъ... У твоей матери тоже, сколько мнѣ извѣстно, былъ одинъ братецъ, да и тотъ—самъ знаешь, въ крымскую войну подъ Севастополемъ Богу душу отдалъ. Какой-же это, чортъ возьми, дядюшка—двоюродный, или дядюшка изъ Америки?

— А можетъ быть! Жилъ въ Америкѣ, нажилъ деньгу, да и завѣщалъ мнѣ, — шутливымъ тономъ произнесъ Пулькинъ.

— Да, чѣмъ чортъ не шутитъ! Вотъ, слыхалъ я

еще, въ дѣтствѣ слыхалъ, что будто-бы одинъ изъ братьевъ нашихъ матерей, 16-ти лѣтъ отъ роду, пропалъ безъ вѣсти— кто знаетъ!..

— Да, кто знаетъ! повторилъ Пулькинъ, весело оскаливъ зубы: можетъ быть, этотъ дядюшка милліончика два-три и завѣщаетъ намъ...

— Такъ что же это такое, братецъ ты мой: получаешь ты на службѣ 60 рублей, а живешь такъ, что хоть бы и предводителю — чуть не сто рублей за однѣ стѣны платишь! Не взятку же ты взялъ?

— Кто знаетъ? А можетъ быть и въ картишки выигралъ! Но пей твой чай, вотъ тебѣ и ромъ... Помнишь, какъ пріятно:

Въ чай китайскій
Ромъ ямайскій и пр.

Орѣшниковъ подлилъ въ стаканъ свой съ полрюмки рому и, поболтавъ въ стаканѣ чайной ложечкой, исподлобья поглядѣлъ на Пулькина.

— Взятки тебѣ никто не дастъ, а чтобъ въ карты играть—нужно особенную практику въ рукахъ имѣть.

— Какая тутъ къ чорту практика! Просто-на-просто пошелъ да метнулъ въ одномъ домикѣ, — домикъ тутъ есть такой, не скажу какой—240 квартиръ въ немъ, а на улицу окна зеркальныя — ну вотъ, метнулъ. Думаю себѣ: была не была,—или панъ, или пропалъ; ну и вывезла кривая.

— Такъ для чего-же всѣ говорятъ: дядюшка! дядюшка! Да еще въ Ярославской губерніи, говорятъ, одной земли 15 тысячъ десятинъ... Слушаю, только руками развожу— что за дребедень! Просто шехеразада какая-то!

— Мало-ли что говорятъ! Можетъ быть, я и самъ нарочно этого дядюшку выдумалъ; не кричать-же мнѣ по всѣмъ переулкамъ, что я четыре тысячи въ азартную,

запрещенную игру выигралъ... Тутъ, братъ, не провинція, тотчасъ начнутъ вывѣдывать да разспрашивать.

— Какъ ты говоришь: четыре тысячи! Да что-жъ это за кушъ такой—четыре тысячи?

— Да еще въ ту-же ночь, какъ я ихъ выигралъ, 1800 рублей изъ нихъ у меня украли, какъ пить дали, такъ что всего на всего осталось 2,200. Что ты смотришь, ты думаешь это все—мое? Эта мебель, зеркала, картины..., роялино? Э! все это, братецъ ты мой, принадлежитъ нѣкоему Буганину—племяннику княгини А..., который и уступилъ мнѣ свою квартиру только на время своего отсутствія, да и то съ тѣмъ, чтобъ я его вещи сберегъ. Вотъ и вся недолга! Вотъ и все мое богатство. Только послушай—ради Бога, не выдавай меня, Сеня! Пусть думаютъ, что хотятъ. Не выдавай. Пусть себѣ воображаютъ, что я наслѣдникъ чортъ знаетъ какого милліонера. Вѣдь не будь ты мнѣ родственникъ, ну, ей-Богу, я и тебя одурачилъ-бы, выдумалъ-бы и про дядюшку, и про 15,000 десятинъ земли, и чортъ знаетъ что...

— Понимаю,—сказалъ Орѣшниковъ:—вѣрно богатую невѣсту хочешь подцѣпить — а? Нѣчто въ родѣ свадьбы Кречинскаго! А? Смотри—не оборвись, братецъ ты мой!

— А нѣтъ-ли у тебя 1,000 рублей въ займы мнѣ дать? Отдамъ послѣ свадьбы съ процентами.

— Тысячу рублей намъ дѣло плевое,—только, того, похлопочи ты за меня. Какой за меня!—за всю губернію; да и не за губернію,—за все русское дворянство. Узнай, какая такая коммиссія, и нельзя ли что-нибудь сдѣлать—ну, хоть взятку дать. Я же тебѣ не шутя говорю: коли дѣло наше выгоритъ — озолотимъ... Я не объ одномъ себѣ хлопочу—понимаешь?

— Какъ не понимать — винокуренья развилось немало.

— Ну, а если ты, братецъ ты мой, со мной былъ не-

искрененъ и утаилъ отъ меня, откуда тебѣ Господь Богъ наслѣдство далъ... глаза мои отвелъ, дурману напустилъ— я тебя пропеку, ей-Богу же, пропеку!

— Пропеки,—равнодушно усмѣхаясь, сказалъ Пулькинъ.

— Пропеку самымъ неожиданнымъ способомъ.

— Пропеки.

— Ха-ха-ха!.. ѣхалъ къ тебѣ, думалъ еще у тебя, стараго друга и пріятеля, занять, а ты у меня же просишь тысячу. Вотъ чего не ожидалъ! Думалъ, что ты меня не примешь, чуть не въ зашей вытуришь, все это я могъ думать; ну, а чтобъ ты у меня же денегъ взаймы просилъ—этого я не ожидалъ! Да покажи же мнѣ твое обиталище-то, во всѣхъ статьяхъ покажи. Что это у тебя— спальня?

— Спальня.

И Пулькинъ повелъ своего кузена Сеню показывать спальню, только-что прибранную проворнымъ Николашкой. Но Сеня этимъ не удовольствовался; онъ и къ Николашкѣ зашелъ въ комнату, удивился, что не воняетъ, похвалилъ чистоплотность столичной жизни, разсказалъ цѣлую исторію о томъ, какъ у себя въ деревнѣ онъ хотѣлъ завести ватерклозеты и какъ эта штука никоимъ образомъ не удалась ему,—и можетъ быть долго бы онъ еще разсуждалъ, вралъ и разсказывалъ, если-бы Пулькинъ, одѣвшись при немъ и облекшись въ вицъ-мундирный фракъ, не сказалъ ему, что онъ спѣшитъ на службу и что у него уже нѣтъ ни минутки свободнаго времени.

— А развѣ ради моего пріѣзда ты не могъ бы манкировать днемъ или двумя? замѣтилъ Сеня Орѣшниковъ, выходя съ нимъ на улицу. Ему еще много нужно было сдѣлать экскурсій по городу, онъ самъ спѣшилъ, но ему было досадно, что Пулькинъ точно выгналъ его подъ предлогомъ, что пора на службу. Провинціальный барчукъ

этого никакъ понять не могъ. Онъ все еще мѣсяцевъ по пяти въ годъ жилъ въ той же усадьбѣ, куда во дни его дѣтства приводили сѣчь крестьянъ, куда бабы носили холсты и сушеные грибы, куда сгоняли дѣвокъ огородъ полоть и куда нашъ герой Пулькинъ, будучи гимназистомъ, пріѣзжалъ проводить свои каникулы. Сеня былъ уже женатъ, уже успѣлъ прокутить приданое жены своей—и затѣмъ, по поводу новоиспеченнаго земства въ его уѣздѣ, былъ избранъ однимъ изъ членовъ, много оратор-ствовалъ, бранилъ гласныхъ, плутовалъ на выборахъ, держалъ руку крючковъ и кулаковъ, извѣстныхъ всему городу, сколько-нибудь образованныхъ людей терпѣть не могъ; но въ своемъ кругу, въ своей уѣздной партіи слылъ за великаго дѣльца и умника. Затѣявши винокуренный заводъ, онъ тотчасъ же затѣялъ проектъ, исполненіе котораго немедленно освободило бы его изъ-подъ всякаго контроля и дало бы ему возможность обирать крестьянъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Онъ вовсе не надѣялся, чтобъ его проектъ прошелъ, былъ почти увѣренъ, что Пулькинъ ему не поможетъ; но, сочинивши этотъ проектъ, онъ пріѣхалъ въ Питеръ хлопотать о немъ—не на свои деньги, а на деньги дворянскаго предводителя, у котораго тоже былъ винокуренный заводъ и для котораго Сеня Орѣшниковъ былъ чѣмъ-то въ родѣ затерявшагося въ глуши государственнаго человѣка—не ученаго, но съ необыкновенно выгодными для дворянъ финансовыми соображеніями.

XXXIV.

Кроликовы и Леля переѣхали на новую квартиру. Вотъ уже недѣли двѣ, какъ они стараются приловчиться къ ней и никакъ не могутъ. Надо вамъ сказать, что Кроликовы, мать и сынъ, рѣшились взять квартиру на

дворѣ, какъ можно дешевлѣ и какъ можно для нихъ удобнѣе, т. е. чтобъ у каждаго было по комнатѣ: у Марфы Сергѣевны Кроликовой, у ея сына, у ея племянницы Лели, у Магдалины Матвѣевны Тырковой, и, если возможно, если только будетъ еще лишняя комнатка, для Маши Студенецкой. Юная, кроткая и податливая Леля мечтала, вмѣсто Маши Студенецкой, пригласить на жительство какого-нибудь молодого человѣка, способнаго рублей 30 въ мѣсяцъ заработывать уроками; но старуха Кроликова почему-то воспротивилась. Она не сказала при этомъ, что находитъ весьма неприличнымъ, чтобъ въ одной и той же квартирѣ жили и дѣвицы, и холостые молодые люди (хотя она это и думала); но, не желая выслушивать возраженій, сказала, что съ молодыми людьми много хлопотъ, что къ нимъ будутъ ходить ихъ товарищи — будутъ попойки, споры, что ея Савелію Дмитріевичу покоя не будетъ—начнутъ орать пѣсни, а тутъ надо къ сроку статьи писать...

Савелій Дмитріевичъ совершенно согласился съ матерью и рѣшилъ, что если будетъ лишняя комната, отдать ее Машѣ Студенецкой; но лишней комнаты, т. е. такой, гдѣ можно поставить кровать, не оказалось, и только одна Тыркова, дѣвушка лѣтъ 30-ти, живущая своими переводами, переѣхала къ нимъ съ ребенкомъ и заняла назначенную ей небольшую комнату за 25 рублей со столомъ и прислугой. Всѣ должны были платить по 25 рублей; одинъ только Савелій Дмитріевичъ обязывался вносить ежемѣсячно 75 рублей, такъ какъ выбиралъ онъ для себя не одну, а двѣ комнаты: спальню и довольно просторный кабинетъ съ каминомъ. Шестая комната, первая при входѣ, предназначалась для чая, обѣдовъ и завтраковъ; изъ этой же комнаты шелъ коридоръ въ кухню и двѣ двери: 1-я въ комнату къ Лелѣ, 2-я въ кабинетъ къ самому Савелію Дмитріевичу Кроликову.

Если бы кто-нибудь спросилъ Лелю, боится ли она бѣдности — она бы тотчасъ вамъ отвѣтила, что трудолюбивая бѣдность въ ея глазахъ честнѣе праздная богатства, и, чего добраго, вы могли бы подумать, что сенаторъ Шталь правъ; но въ глубинѣ души своей она глубоко сожалѣла о тѣхъ удобствахъ, о той относительной роскоши, какою пользовалась она при жизни своего отца. Ей было тяжело, очень тяжело просторную и удобную квартиру въ Троицкомъ переулкѣ промѣнять на тѣсную квартиру на Знаменской. Боже мой, какъ желала она убрать свою комнату!—къ окну примѣстить письменный столикъ и уставить его разными письменными, фарфоровыми и бронзовыми бездѣлушками, въ углу помѣстить свой маленькій туалетикъ, съ табуретомъ передъ зеркаломъ, прикрытымъ розовымъ чехломъ съ кисейной отдѣлкою. Ей хотѣлось, чтобъ кровать ея никому не бросалась въ глаза—и она заставила ее двумя комодами, а въ ногахъ помѣстила умывальный столикъ. Только въ ея комнатѣ и былъ на полу мягкій коверъ и по стѣнамъ кой-какая живопись. Прямо же передъ дверью, надъ маленькой кушеткой, рисовался поясной портретъ отца ея, довольно искусно писанный масляными красками.

Ей очень не хотѣлось, чтобъ кто-нибудь безъ ея позволенія входилъ къ ней въ комнату, но это было положительно невозможно. Этой церемоніи никоимъ образомъ не допускалъ характеръ тѣхъ отношеній или тѣхъ правилъ, которыя образовались сами собой въ томъ кружкѣ, среди котораго она была какъ бы центромъ. Не было дня, чтобы за столъ ихъ не садилось двое или трое студентовъ, не было дня, чтобъ Стихаревъ не появлялся у нихъ въ квартирѣ и, ровно ничего не дѣлая, по цѣлымъ часамъ не засиживался то въ кабинетѣ у Кроликова, то на кушеткѣ у Лели Затаиловой. Рѣдкій вечеръ проходилъ, чтобъ волны табачнаго дыма не проходили къ ней

въ комнату. Да и то сказать, гдѣ же бы она могла принимать своего собственнаго гостя, какъ не въ своей спальной комнаткѣ. Но надо отдать ей справедливость, она ни на что не жаловалась, не ныла, не капризничала, и если дула губки и призадумывалась, то только оставшись одна, сама съ собой, когда она утромъ чесалась передъ зеркаломъ, или когда, поздно вечеромъ, утомленная чтеніемъ или долгими разговорами, принималась за разуваніе своихъ фарфоровыхъ ножекъ и затѣмъ ложилась спать, предварительно осмотрѣвши стѣну, уголъ и даже углы своей деревянной кроватки — нѣтъ ли гдѣ клоповъ, и если есть они — уничтоживши ихъ самымъ безпощаднымъ образомъ.

Когда-то студентъ Кроликовъ, ея двоюродный братецъ, былъ неравнодушенъ къ ней, и тогда она имѣла полную власть надъ нимъ; но время это прошло, юный критикъ уже не былъ студентомъ, очевидно, къ ней охладѣлъ и въ свою очередь возъимѣлъ надъ нею власть. Леля была очень довольна, что онъ разлюбилъ ее; но сама не подозрѣвала, что слава Кроликова, какъ писателя, слава, во сто разъ преувеличенная ея воображеніемъ, незамѣтно подчиняла себѣ ея образъ мыслей, — иначе сказать, въ умѣ ея сложилась слѣдующая формула: чтобъ прославиться, надо непремѣнно сказать новую правду, а чтобъ сказать новую правду—надо быть очень умнымъ и видѣть многое. Стало быть, тотъ, кто не вѣритъ новой правдѣ, — или глупъ, или упрямится, ради какихъ-либо личныхъ, въ высшей степени эгоистичныхъ соображеній. Писаревъ прославился—значитъ, онъ правъ; Кроликовъ очевидно его послѣдователь и очевидно имѣетъ успѣхъ, ему даже деньги хорошія платятъ за статьи,— стало быть, Кроликовъ такъ уменъ, что его надо слушаться. Кроликовъ посовѣтовалъ ей бросить музыку— значитъ, она не артистка и должна бросить музыку;

Кроликовъ скажетъ: надо прослушать тебѣ такую-то лекцію, прочесть по-нѣмецки или по-французски такую-то книгу—значитъ, надо ѣхать на лекцію и непремѣнно прочесть ту книгу, которую рекомендуетъ онъ. Въ особенности Кроликовъ выросъ въ глазахъ ея съ тѣхъ поръ, какъ Юленька Дицъ, будучи незнакома съ нимъ, удостоила его своимъ посѣщеніемъ и цѣлое утро въ его кабинетѣ съ нимъ спорила. Правда, что Юленька Дицъ побѣдоносно переспорила ея кузена, и онъ долженъ былъ сознаться, что онъ самъ себѣ иногда противорѣчитъ; но ужъ одно то, что къ Кроликову идутъ и ѣдутъ даже незнакомыя, даже такія дѣвушки, какъ Юлія Дицъ, явно говорило ей въ пользу ея двоюроднаго братца, и она читала его статьи не безъ нѣкотораго увлеченія, хотя многаго и не понимала.

Какъ не совсѣмъ глупая дѣвушка, хотя и не остроумная, какъ справедливо рѣшилъ о ней сенаторъ Шталь, она сознавала, что въ ней недостаетъ то характера, то самостоятельности, то научной подготовки, и что едва-ли когда-нибудь своими трудами она что-нибудь заработаетъ... Послѣдняя мысль ей была всего противнѣе, и не смотря на это, она всѣми силами души своей и вездѣ, гдѣ только могла, проповѣдывала о женскомъ трудѣ, о заработкахъ и о независимости.

XXXV.

На шестой недѣлѣ великаго поста, въ четвергъ, Пулькинъ въ первый разъ рѣшился быть на Знаменской, чтобъ поздравить Елену Александровну съ новосельемъ; купилъ ей въ кондитерской великолѣпный пирогъ, фунтъ конфектъ и отправился.

У Лели въ ея комнатѣ сидѣлъ сенаторъ Шталь, когда горничная, вмѣсто того чтобъ доложить о Пулькинѣ, про-

сто на просто указала ему на дверь въ ея комнату и удалилась.

Пулькинъ оставилъ въ столовой на столѣ свое приношеніе и отворилъ дверь.

Леля вспыхнула, увидавъ его, и такъ сконфузилась, такъ растерялась, что сенаторъ поглядѣлъ на нее исподлобья, особенно проницательнымъ взглядомъ; затѣмъ, молча оглядѣлъ съ ногъ до головы Пулькина, и, не двигаясь корпусомъ, точно въ мѣдную броню закованный и привинченный къ кресламъ, далъ ему свою руку, съ тѣмъ, чтобъ Пулькинъ пожалъ ее.

— Садитесь! Какъ это вы нашли насъ? Я, кажется, и не сказала вамъ, куда мы переѣзжаемъ,—схитрила Леля; ей не хотѣлось показать сенатору, что она сама дала ему адресъ, и такъ какъ она очевидно сконфузилась, ей хотѣлось, напротивъ, показать сенатору, что она Пулькина не ждала и что онъ въ первый разъ заходитъ къ ней.

Карлъ Ивановичъ Шталь, какъ человѣкъ въ высшей степени опытный и проницательный, тотчасъ же понялъ, что при немъ молодые люди будутъ церемониться, что разговора ихъ онъ не поддержитъ, напротивъ, помѣшаетъ имъ между собой разговаривать,—скоро зашевелился, и съ лицемъ налитымъ кровью, какъ бы нехотя, приподнялся и проговорилъ своимъ нѣжно рокочущимъ баскомъ:

— Ну, такъ какъ же, почтеннѣйшая?

— Ну, дѣлайте какъ хотите,—отвѣчала Леля.

— Какъ я хочу—хорошо-съ! процѣдилъ онъ сквозь зубы; я пришлю къ вамъ бумагу и вы ее подпишите — согласны?

— Дѣлайте что хотите, — повторила Леля тѣмъ же нетерпѣливымъ тономъ и тѣмъ же нервнымъ голосомъ, разсѣянно улыбаясь и не глядя на сенатора, который явно всталъ для того только, чтобъ проститься съ нею.

— Такъ прощайте же, милѣйшая! Протяните мнѣ вашу ручёнку...

— У меня нѣтъ ручёнки, у меня рука,—сказала Леля, вставая и протягивая ему руку съ той же улыбкой—неопредѣленной или разсѣянной.

— Кто-то будетъ обладать этой рукой! въ свою очередь улыбнувшись, проговорилъ сенаторъ, и не будь тутъ Пулькина, онъ непремѣнно поцѣловалъ бы ручку Лели; но онъ воздержался и только пожалъ ее.

— До свиданья, почтеннѣйшій Карлъ Ивановичъ, благодарю васъ,—говорила ему Леля, провожая его въ переднюю: —что вы теперь опять пойдете ходить?

— Опять ходить пойду,—отвѣчалъ онъ уже въ шляпѣ, надѣвая лѣтнее пальто.

— Что же вы ваши калоши не надѣваете?

— Я не ношу калошъ. Прощайте, почтеннѣйшая!

Леля возвратилась въ свою комнату, улыбнулась и сѣла у письменнаго стола, полуобернувшись къ Пулькину.

— Вы себѣ представить не можете, начала она, какъ я сейчасъ горячилась, какъ я сейчасъ спорила съ этимъ опекуномъ моимъ. Во-первыхъ, онъ зоветъ меня къ себѣ, хочетъ, чтобъ я жила у него... Скажите пожалуйста, какая милая фантазія! Правда, онъ не одинъ, у него живетъ его свояченица, очень милая молодая женщина и даже музыкантша; но съ какой стати я буду у него жить! Во-вторыхъ, онъ во что бы то ни стало хочетъ выхлопотать мнѣ пенсію—300 рублей въ годъ, такъ какъ отецъ мой былъ 35 лѣтъ на службѣ и еще прошлаго года дослужился до пенсіи... Что вы на это скажете?

— Триста рублей очень мало-съ, это почти что ничего,—сказалъ Пулькинъ.

— Совсѣмъ не мало по нашей жизни — по нашей жизни, какую я намѣрена вести, совсѣмъ не мало; но тутъ не въ томъ вопросъ, много или мало—вопросъ въ

томъ, должна ли я даромъ получать эти деньги изъ казны или не должна?

— Почему же даромъ? перебилъ ее Пулькинъ:—вы должны получать по заслугамъ отца вашего!

— А какія мои заслуги? Что я такое сдѣлала для правительства или для государства, что я стану пользоваться казенными деньгами? Ну, положимъ, отецъ мой былъ въ правѣ получать, онъ служилъ, т. е. дѣлалъ то, что ему поручали дѣлать; а я? Я развѣ состояла или состою на службѣ у правительства? Какое же я имѣю право?...

— Право даетъ законъ-съ, и если по закону вамъ слѣдуетъ пенсія, — я не понимаю, зачѣмъ вы и только вы однѣ будете отъ нея отказаться? Да и почему вы отказываете правительству въ правѣ поддерживать семейство или дѣтей тѣхъ, кто служилъ ему, если это семейство или дѣти остались безъ всякихъ средствъ къ жизни?!

— А... да — безъ всякихъ средствъ къ жизни; такъ не лучше ли, вмѣсто этихъ денегъ, дать эти средства къ жизни.

— Т. е. какія же это средства?

— Дать всѣмъ возможность трудиться и зарабатывать себѣ насущный хлѣбъ. Нужно, чтобъ всѣ работали. Кто не работаетъ, тотъ не имѣетъ права жить!

— Да развѣ государство отнимаетъ у васъ возможность трудиться?

— А какъ же?

— Я не думаю.

— Да что же я буду дѣлать и куда я пойду? Кому я нужна?

— Что вы будете дѣлать? Много будетъ у васъ всякаго дѣла, Елена Александровна!

– Да-съ, я понимаю, что вы хотите сказать: я выйду

замужъ, у меня будутъ дѣти, и я буду ихъ кормить, нянчить, воспитывать...

— Гмъ, да... отвѣчалъ Пулькинъ, почему-то сконфузившись.

— Да вѣдь для всего этого нужны деньги, вѣдь этотъ трудъ самый невыгодный. Развѣ трудъ этотъ окупается, даетъ средства къ безбѣдной жизни? Положимъ, вы—мать и у васъ больной ребенокъ; вы ночи надъ нимъ будете просиживать—и чѣмъ же оплачивается этотъ трудъ! А докторъ явится на 10 минутъ и получаетъ два, три, даже пять рублей.

— На то есть мужья, Елена Александровна: они должны и работать, и заработывать.

— А мы должны сидѣть сложа руки и брать у нихъ за это деньги!

— Да развѣ мать не работница... развѣ жена не работница? Ну вотъ, мужъ и долженъ оплачивать трудъ ея.

Леля понурила голову, сдвинула тоненькія бровки и задумалась... Нѣтъ,—подумала она,—не умѣю я спорить; вотъ Дицъ, такъ та съумѣла бы... Господи! какъ я еще глупа—даже Пулькинъ можетъ меня оспаривать! Нѣтъ, лучше мнѣ не говорить съ нимъ...

— Я не знала,—молвила она,—что вы такъ смотрите на жизнь.

— Я и самъ не знаю, какъ мнѣ смотрѣть на жизнь, Елена Александровна; вы меня умнѣе—научите меня...

Этою фразою Пулькинъ положительно подкупилъ расположеніе Лели. За эту фразу она готова была простить ему какой угодно взглядъ на жизнь. Если онъ думаетъ, что я его умнѣе, значитъ, я могу рано или поздно во всемъ переубѣдить его,—подумала Леля, и бровки ея раздвинулись, глазки повеселѣли, и она въ эту минуту готова была даже пококетничать съ Пулькинымъ.

— Ну-съ, давно вы были у милой Лизы Любиной?

Что она, все также мила, добра и любезна, или груститъ и скучаетъ? Неужели вы дадите ей скучать, неужели вы не съумѣете развлечь ея? Что она—еще не начала играть съ вами въ ералашъ? Да, она счастливица—она думаетъ, что лучше въ ералашъ играть, чѣмъ учиться и работать... Да вѣдь и вы, Александръ Васильевичъ, вѣдь и вы тоже любите поиграть въ эти карты. Скучно вамъ будетъ у насъ...

Въ это время въ комнату вошла тетя Лели — г-жа Кроликова, пожилая, очень худая, высокая женщина въ бѣломъ чепцѣ, съ нѣкоторой претензіей на моду, и въ простомъ шерстяномъ коричневомъ платьѣ, безъ всякихъ претензій: съ высокимъ воротомъ и безъ прикрасъ, оно безпощадно выставляло на видъ худобу ея, плоскую грудь и сухія плечи. Кроликова замѣтила на столѣ кондитерскій пирогъ, услыхала мужской голосъ въ комнатѣ своей племянницы и вошла поглядѣть: кто у ней. Сѣрые глаза ея глядѣли какъ-то особенно равнодушно, не казались ни злыми, ни добрыми, также какъ и губы — ни привѣта, ни улыбки не было на этихъ губахъ, но и не было ничего такого, что бы заставило васъ подумать, что обладательницѣ ихъ почему либо непріятно ваше присутствіе.

— Отчего ты нынче не завтракала? спросила она Лелю, не обращая почти никакого вниманія на Пулькина, и только слегка кивнувъ ему головой.

— Да Карлъ Ивановичъ мѣшалъ съ его пенсіей.

— Не хочешь ли, я принесу тебѣ котлетку?

— Нѣтъ тетя, ничего не хочу.

— Ты бы прогулялась, нынче погода такая стоитъ прекрасная—точно весна.

— Еще успѣю, тетя.

— Да, день довольно теплый, сказалъ Пулькинъ, только грязь—грязь я вамъ скажу!

— На тротуарахъ грязи нѣтъ,—сказала Кроликова и,

повернувъ къ нему длинное лице свое, поглядѣла на него. Пулькинъ смутно почувствовалъ, что это такая женщина, съ которой нечего церемониться, что даже рекомендоваться ей не стóитъ,—можно и такъ говорить обо всемъ, если только охота есть; но онъ точно также смутно почувствовалъ, что злоупотреблять первымъ визитомъ не слѣдуетъ и что ему пора откланяться. Онъ такъ и сдѣлалъ: всталъ—и также какъ сенаторъ непремѣнно-бы поцѣловалъ ручку Лели, если бы тутъ не было этой тети, этой длинной и равнодушной женщины, съ ея немного гнусливымъ и медленнымъ голосомъ.

Когда онъ простился и вышелъ, Леля подозвала къ себѣ тетку, поглядѣла ей въ лицо и спросила ее:

— Тетя?

— Что тебѣ?

— Позволь мнѣ пощекотать тебя!

— Эка что выдумала! Не принести-ли тебѣ чашку кофе?...

— Видѣла ты этого молодаго человѣка?

— Видѣла, а что?

— Что ты скажешь, если онъ за меня посватается, а я за него выйду замужъ?

— Ну, съ Богомъ! дай Богъ... Только какъ-же ты, Леля, ничего не ѣла нынче... съ восьми часовъ утра ничего не ѣла?

— Да отстаньте вы съ вашей ѣдой; у меня былъ суженый, а вы съ ѣдой!

— Да который же часъ теперь?

Леля не отвѣчала.

Кроликова постояла передъ ней, поглядѣла въ зеркало, поглядѣла въ окошко, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, обняла ее.

— Ахъ! если-бы ты вышла замужъ, Леля! сказала она съ такимъ чувствомъ, какого, по-видимому, и ожи-

дать отъ нея былъ невозможно, смотря на сухое, точно деревянное лицо ея.

— Ты думаешь, я въ самомъ дѣлѣ?... Нѣтъ, слишкомъ я вѣтрена, Богъ знаетъ, что у меня въ головѣ, право; даже не знаю, люблю я кого нибудь или никого не люблю—даже этого не знаю. Вотъ, Маша Студенецкая полюбила Умекова, отдалась ему душею и тѣломъ и—горя ей мало!

— Не будь ни Машей Студенецкой, ни Магдалиной Тырковой—не будь. Погляди ты на эту Магдалину, загляника ей въ душу—хорошо ли ей теперь!... Чуть не слѣпнетъ надъ переводами, да съ ребенкомъ возится, да въ тридцать лѣтъ очки надѣла, сгорбилась... точно старуха...

— Эхъ, тетя, вѣдь и мужья есть такіе, что не дай Богъ!...

— А выбирай, не лѣзь, очертя голову!

— Да что выбирать! Вотъ, говорятъ, Стихаревъ влюбленъ въ меня,—засмѣялась Леля и почему-то поглядѣлась въ зеркало.

— Стихаревъ!... Это что по цѣлымъ днямъ-то сидитъ у насъ, какъ филинъ какой нибудь—ѣстъ, пьетъ у насъ и ни съ кѣмъ ни слова?

— Нѣтъ, иногда онъ говоритъ, — проговорила Леля, думая о чемъ-то... только не о Стихаревѣ...

— Стихаревъ... вотъ такъ женихъ! Вчера полпоросенка съѣлъ, да бутылку пива выдулъ, да еще послѣ обѣда отхватилъ себѣ такой ломоть сыру, что я даже ахнула.

— Никогда ты не ахаешь, тетя,—что ты на себя врешь! Ты также, какъ и Стихаревъ, никогда ни съ кѣмъ не говоришь, только на меня иногда смотришь. Ну, довольно—сейчасъ переодѣнусь и гулять. Зайду къ Юлинькѣ Дицъ. Ты, пожалуй, и Юлиньки Дицъ не любишь?

— А за что мнѣ не любить ея? Сынъ мой на что

уменъ, а и тотъ радъ-радехонекъ, когда она заѣдетъ. Ты думаешь, она замужъ не выйдетъ?

— Никогда, тетя.

— Вотъ помяни ты мое слово, что выйдетъ.

— Ну, ужъ если она, то и я тогда... Голубушка ты моя!

И Леля поцѣловала тетю сначала въ лобъ, потомъ въ носъ, потомъ въ подбородокъ и затѣмъ сказала ей, чтобъ она убиралась.

XXVI.

На шестой недѣлѣ великаго поста, ихъ превосходительства Любины говѣли.

Пулькинъ узналъ, гдѣ они будутъ причащаться, и въ субботу, около одиннадцати часовъ утра, въ пальто, завитой и, такъ сказать, весь по праздничному лосняцiйся, появился въ церкви, и какъ-разъ въ ту минуту, когда Лиза—вся въ бѣломъ съ розовыми лентами,только что поцѣловала причастную чашу и, еще крестясь, отходила къ лѣвому клиросу.

Сама Любина, Анна Петровна, уже причастилась и сидѣла около стѣны за клиросомъ, въ томъ же свѣтло-лиловомъ, шелковомъ платьѣ, въ которомъ была она на блинахъ у княгини Тихомiровой.

Анна Петровна держала въ лѣвой рукѣ полузавернутую въ батистовый съ кружевами носовой платокъ просфору, и въ ту самую минуту, когда собиралась она отломить отъ нея кусочекъ и, перекрестившись, съѣсть его, Пулькинъ протянулъ ей руку и сталъ поздравлять ее.

— «Тѣло Христо—ово прi—им—ите, Источни—ика безсмертнаго вку—усите»,—тянули пѣвчiе.

По всей церкви, напоенной запахомъ ладана, слышался легкiй шорохъ атласа, кисеи, волочащихся по чу-

гунному полу длинныхъ, женскихъ шлейфовъ и накрахмаленныхъ юбокъ, такъ какъ причащающихся женщинъ было чуть-ли не втрое болѣе, чѣмъ мужчинъ. Гдѣ-то въ углу пищалъ ребенокъ, гдѣ-то у стѣнки вздыхала старуха, да слышались слова священника: «причащается раба Божія...»

— Какими это судьбами? зачѣмъ? — какъ бы спрашивали строгіе, каріе глазки Лизы, когда Пулькинъ, въ свою очередь, увидѣлъ ее всю свѣтлую и бѣлую, у окна за стуломъ матери и, разумѣется, также поздравилъ.

— «Тѣ—ѣло Хри—истово пріимите...» тянули пѣвчіе.

— А вы говѣли? спросила Любина Пулькина.

— Я?... Нѣтъ еще...

— А вы знаете, что безъ свидѣтельства о томъ, что вы были на исповѣди, васъ вѣнчать не станутъ?

— А вы думаете, что въ этомъ году я женюсь?...

— Не думаю, а увѣрена, даже очень скоро — или скоро, или никогда.

— Ну, такъ вѣрнѣе, что никогда,—улыбаясь или весело скаля зубы, проговорилъ Пулькинъ.

Лиза поглядѣла на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

Онъ не похожъ на влюбленнаго, подумала она. Ей, какъ и многимъ дѣвушкамъ, казалось, что у влюбленныхъ мужчинъ совсѣмъ другое лицо, что на нихъ лежитъ печать разсѣянности или сосредоточенности, тѣнь какой-то озабоченности или меланхоліи.

Или онъ такъ счастливъ, что ему и думать не о чемъ?—продолжала думать Лиза.

Запричастная молитва кончилась. Пулькинъ, также какъ и всѣ, приложился ко кресту и, затѣмъ, при выходѣ изъ церкви, былъ приглашенъ Анной Петровной на чашку чая.

Щеголемъ вышелъ онъ на улицу, сѣлъ въ первыя по-

павшіяся ему дрожки и поскакалъ за каретой ея превосходительства.

Лиза тоже недурна собой, думалъ Пулькинъ; чудесная дѣвушка! Жаль, что я не въ нее влюбленъ! Конечно, Лиза и Леля—это... земля и небо... Лели нельзя не любить,—но жениться — о! жениться страшно! — Да что и говорить! Мнѣ вообще, на комъ бы то ни было, жениться страшно... Вѣдь онѣ даже и влюбиться-то въ себя не позволятъ какъ слѣдуетъ, коли узнаютъ... что никакой земли, никакихъ тысячъ... Особливо Лиза... Леля, та безсребреница. Впрочемъ, всѣ онѣ безсребреницы пока мечтаютъ... Леля такъ честна и такъ щекотлива, что обмана не вынесетъ... А что, если отецъ ея, Александръ Афанасьевичъ,—тотъ самый, чьи письма я сжегъ въ найденномъ бумажникѣ! Если... если... Нѣтъ, лучше не думать... лучше не думать! Прошедшаго не воротишь, а будущее... Весь Петербургъ только на интригахъ, на подкупахъ, на связяхъ да на враньѣ созидаетъ свое будущее... Я докажу, что я не глупѣе другихъ... чортъ возьми!... Да, да! продолжалъ онъ думать, не замѣчая ни широкихъ лужъ, ни грязнаго, точно тиной обмазаннаго льда, ни ухабовъ, ни весенняго, солнцемъ пригрѣтаго вѣтра... Да, жаль, что я влюбленъ не въ Лизу! Маменька ея несомнѣнно благоволитъ ко мнѣ. Люблю васъ, говоритъ, какъ сына родного. Вы, говоритъ, человѣкъ намъ близкій, другъ дома, и проч. И все это съ такимъ чувствомъ, что нельзя не вѣрить.

XXXVII.

Но Пулькинъ жестоко ошибался.

Не мало молодыхъ людей Анна Петровна ублажала своей дружбой такъ же, какъ и Пулькина, и всѣ эти молодые люди, разставшись съ нею, имени ея слышать не

могли безъ нѣкотораго озлобленія. Ея мечтательная, расплывающаяся душа могла приходить въ экстазъ, ахать, охать, даже истекать слезами, но не любить. Даже Леля Затаилова, и та смутно поняла Анну Петровну и перестала вѣрить добротѣ ея.

Не потому ли и было ей досадно, когда Любина, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, начала хлопотать о судьбѣ ея?

Лиза долго не понимала своей матери, и не разъ до слезъ доводила ее тѣмъ, что, по молодости лѣтъ своихъ, сгоряча говорила ей правду. — «Э, мама, вы сами себѣ противорѣчите: вчера говорили одно, а сегодня другое. Вы, мама, непослѣдовательны! Вотъ, вы говорите, мама, что Леля должна выйти замужъ по любви, и Пулькинъ долженъ на ней жениться по любви; а что, если-бы я полюбила какого-нибудь нечиновнаго, неблестящаго и небогатаго человѣка,—что бы вы тогда заговорили? Ахъ, мама, сами вы говорите: не два раза — одинъ разъ молодость, ну, и какъ же проходитъ моя молодость? Танцы мнѣ надоѣли, а къ картамъ я еще не привыкла.

Но, въ сущности, хотя Лиза и была на нѣсколько градусовъ умнѣе своей матери, она точно также была далеко не изъ числа существъ сердечныхъ или любящихъ. Сердце ея также было полно фантазій, и не священный огонь согрѣвалъ его. Также какъ и мать, она привязывалась на короткое время, влюблялась на двѣ, на три недѣли, была деспотична въ дружбѣ и дула губки всякій разъ, когда что-нибудь вокругъ нея дѣлалось не такъ, какъ ей хочется, или не такъ, какъ она думала.

Лицемѣрить она выучилась у матери, убѣдившись на опытѣ, что лицемѣрить выгодно; но съ тѣми, кого она часто встрѣчала, или которыхъ знала съ дѣтства, она не церемонилась. И не странно-ли: она скорѣй оскорбляла и отталкивала, чѣмъ привлекала ихъ своей откровенностью. Въ свое послѣднее свиданіе съ Лелей, она съ такимъ

прямодушнымъ цинизмомъ высказала ей свой взглядъ на бѣдныхъ дѣвушекъ, такъ искренно увѣряла ее, что бѣдность и порочность одно и то-же, и что между продажностью бѣдныхъ и продажностью знатныхъ—великая разница, что Леля, блѣдная, чуть не со слезами, ушла отъ нея и на другой-же день, скрѣпя сердце, написала ей, что между ними—бездна, и что имъ лучше никогда не встрѣчаться и не видѣться.

И такъ, Пулькинъ былъ увѣренъ въ неизмѣнномъ расположеніи къ нему друга, Анны Петровны; но эта Анна Петровна уже мысленно была недовольна имъ. Во-первыхъ, она была недовольна имъ за то, что онъ отрекомендовалъ ей такого ординарнаго, непоэтическаго художника или портретиста, который не съумѣлъ опоэтизировать, возвести въ перлъ созданія ея полинявшую физіономію... Напрасно она ѣздила къ нему на сеансы, напрасно съ томностью во взорѣ принимала самую трогательную позу—увы! на портретѣ, по ея мнѣнію, ничего не вышло: ни мысли на челѣ, ни глубокой задумчивости въ очахъ, ни того отблеска на лицѣ, который былъ-бы ничѣмъ инымъ, какъ отраженіемъ внутренняго свѣта, неугасимо пылающаго въ добродѣтельной душѣ ея.

Ужъ если Пулькинъ не знаетъ толку въ художествѣ, такъ ужъ лучше-бы и не брался рекомендовать ей этого портретиста (Любина и забыла, что она просила рекомендовать портретиста подешевле, не изъ числа знаменитостей).

Во-вторыхъ, она была недовольна Пулькинымъ за то, что онъ, по-видимому, далеко не такъ, какъ слѣдуетъ, цѣнитъ то горячее участье, которое принимаетъ она въ судьбѣ любви его. Ей вообразилось, что онъ что-то отъ нея скрываетъ, и для ея чувствительной души этого было уже слишкомъ достаточно для того, чтобы считать Пулькина не вполнѣ достойнымъ ея расположенія.

Неужели онъ не понимаетъ, думала Анна Петровна, что Леля, которая написала такое дерзкое письмо къ моей дочери, что эта Леля, которая чуть не съ дѣтства была принята въ моемъ домѣ, какъ родная, (даже подарки получала подъ Рождество на елкахъ) и которая съ такимъ равнодушіемъ покидаетъ домъ мой, (послѣ всего того, что я говорила ей), не стоитъ того, чтобъ я заботилась о судьбѣ ея! Но... кто въ нашъ вѣкъ найдетъ такое великодушіе! Развѣ я не скрыла отъ Пулькина, что Леля разсорилась съ Лизой только за то, что та сказала ей правду, стараясь, ради дружескаго участья, вразумить ее? Да, я это скрыла. Я не хотѣла ни малѣйшей тѣни набросить на это неблагодарное существо! О, я слишкомъ добра, слишкомъ самоотверженна—слишкомъ, слишкомъ!

Лиза тоже была недовольна Пулькинымъ—какъ могъ онъ предпочесть ей эту бѣдняжку Лелю! Въ пансіонѣ она была глупенькой дѣвочкой и училась плохо—теперь вздумала умничать!

Она уже знала, что Пулькинъ бываетъ у Лели Затаиловой; но не знала, признался ли онъ ей въ любви, пользуется ли ея взаимностью, и если пользуется, то не оттого ли именно и не хочетъ на ней жениться, что уже слишкомъ безцеремонно воспользовался этой взаимностью. Еслибъ она убѣдилась въ этомъ послѣднемъ... о, какъ бы она обрадовалась! Она слыхала, что любовь мужчины тотчасъ же переходитъ въ презрѣнье къ той дѣвушкѣ, которая, прежде чѣмъ выйдетъ замужъ, беззавѣтно отдается страсти. Даже разъ сама мама говорила ей, что мужчины рѣдко женятся на своихъ метресахъ, потому что въ глубинѣ души своей презираютъ ихъ.

Въ послѣднее время Лиза такъ часто думала о Пулькинѣ, и съ такой на него досадой, что отъ скуки стала фантазировать. Ей даже казалось иногда, что она влюблена въ него,—что съ Лелей, какъ законный мужъ, онъ

будетъ и несчастливъ, и жалокъ. И не смѣшно ли? Маменька Лизы, по добротѣ души своей, хотѣла спасать Лелю посредствомъ Пулькина; а дочка, по добротѣ души своей, задумала спасти Пулькина отъ Лели! И при этомъ, (считаю нужнымъ замѣтить) и нѣжная маменька, и умная дочка, обѣ до такой степени не привыкли самоуглубляться или самихъ себя анализировать,—понимать—что въ нихъ зло и что добро, какія побужденія ложны и какія истинны, что даже готовясь къ исповѣди и ища въ себѣ грѣховъ, никакъ не могли придумать, въ чемъ имъ слѣдуетъ раскаяться. Онѣ знали очень хорошо, что онѣ ничего не украли, никого не ограбили, никого не убили, ни одному двуногому существу мужескаго пола не назначали ночныхъ свиданій и, любя, не забывались—и ужъ этого было для нихъ слишкомъ достаточно, чтобъ считать себя ангелами во плоти, чистыми и непорочными.

Анна Петровна, стоя передъ налоемъ и невидимо предстоящимъ ей Христомъ, на всѣ вопросы священника, отвѣчала, что мысленно или во снѣ она не разъ грѣшила—но на дѣлѣ ни въ чемъ неповинна, никого не отравила, не обидѣла, не обокрала и цѣломудренно соблюдала вдовство свое.

Лиза только въ томъ и покаялась, что иногда она кокетничаетъ, а иногда слишкомъ рѣзко отвѣчаетъ своей матери,—вотъ все дурное или грѣховное, что она нашла въ себѣ!

Думаю, что священники, исповѣдующіе нашихъ дамъ и дѣвицъ, нерѣдко приходятъ въ изумленіе отъ ихъ чистоты и непорочности, и не знаю, многіе ли изъ нихъ догадываются, что эта мнимая чистота ничто иное, какъ самоослѣпленіе или просто полнѣйшее непониманіе того зла, которое вносятъ онѣ въ свѣтъ своимъ чванствомъ, лицемѣріемъ, лестью, пристрастіемъ, честолюбіемъ, раболѣпствомъ, прихотями и капризами!

XXXVIII.

Все время, пока, воротившись отъ обѣдни, обѣ дамы, и маменька, и дочка, за чайнымъ столикомъ угощали молодого гостя, ни маменька, ни дочка ни слова не произнесли о Затаиловой. Говорили онѣ о томъ, какіе славные московскіе калачи стали печь и продавать въ Петербургѣ; говорили о концертахъ, о Рубинштейнѣ, о Ниццѣ, о болѣзни покойнаго Наслѣдника, о слухахъ изъ Парижа, о предстоящемъ столѣтнемъ юбилеѣ Ломоносова и даже о Сопѣлкинѣ—о томъ, какъ ему подкинули дѣвочку, и какъ онъ, смѣшной человѣкъ! съ нею возится...

Но когда, послѣ чая, Пулькинъ очутился одинъ возлѣ Анны Петровны, томно склонившейся на свою кушетку, въ томъ же самомъ свѣтло-лиловомъ шелковомъ платьѣ и въ той же самой наколкѣ, въ видѣ кружевного блина, съ черными бархатными бантиками (вмѣсто чепца), Пулькинъ понялъ, что Анна Петровна тотчасъ же начнетъ копаться въ душѣ его и въ этомъ находить свое удовольствіе.

И Пулькинъ не ошибся.

— Ахъ, какъ скоро, какъ скоро идетъ время! вздохнула Анна Петровна; давно ли была масляница, и вотъ уже на дняхъ Пасха. Гдѣ вы будете разговляться, — у ней?

— У кого?

— Ну, да у *ней*, — вы очень хорошо понимаете, о комъ я говорю, зачѣмъ-же притворяетесь!

Пулькинъ, дѣйствительно, очень хорошо понималъ о комъ идетъ рѣчь и притворялся.

— Ну, а давно ли вы были у *вашей* Лели?

— Былъ я не очень давно, и знаете, кого я тамъ встрѣтилъ?

— Кого?

— Вашего друга, сенатора Карла Иваныча.

— Ну, и что-же?

— Ну, ничего...

— Вы это говорите такимъ тономъ и съ такою улыбкой, что... какъ будто это что нибудь значитъ. Это ровно ничего не значитъ: Шталь былъ другомъ семьи Затаиловыхъ, чуть-ли не все дѣтство провелъ въ домѣ ея бабушки, и, какъ душеприкащикъ отца ея, какъ ея опекунъ, обязанъ навѣщать ее.

— Какъ, онъ опекунъ ея?

— Ну, да... что-то въ этомъ родѣ.

— Отчего же, когда я вошелъ къ ней въ комнату, онъ замѣтно сконфузился и пресердитыми глазами на меня посмотрѣлъ, пресердитыми! А она покраснѣла... Признаюсь вамъ, мнѣ показалось, что онъ за ней ухаживаетъ или не совсѣмъ равнодушенъ-съ: такъ, знаете, взялъ ее за руку и, знаете... нѣсколько времени мялъ ее, прежде чѣмъ простился...

— Все это ваша ревность вамъ подсказываетъ. Карлъ Иванычъ слишкомъ серьезенъ, чтобъ ухаживать за дѣвицей, которую онъ когда-то на рукахъ носилъ.

— Я не увѣряю васъ, я такъ только...

— Да... да... вы и ревнивы, и подозрительны. Я знаю Карла Иваныча, знаю его одну старую привязанность, знаю, что онъ съ нею свыкся и никогда не разстанется... Это человѣкъ положительный... Если же Леля не шутя ему нравится,—чего не бываетъ на свѣтѣ!—то берегитесь... И въ глазахъ у Анны Петровны промелькнулъ зловѣщій огонекъ. — Берегитесь, какъ онъ ни старъ, а это опасный соперникъ! Знаете ли, тому назадъ лѣтъ пятнадцать, когда онъ еще былъ въ небольшихъ чинахъ, онъ однажды сказалъ мнѣ: Анна Петровна, ровно въ 1863 году я буду сенаторомъ. Я не повѣрила. И что-же,

наступилъ тысяча восемьсотъ шестьдесятъ третій годъ—и онъ получилъ звѣзду и сенаторство. Это человѣкъ необыкновенной силы воли: чего захочетъ—достигнетъ; не въ васъ...

— Однако же, при всей своей силѣ воли, не могъ онъ уговорить Елену Александровну сдѣлалъ ему одолженіе—переѣхать къ нему на квартиру?.. Она ему отказала!

— А потомъ все это разсказала вамъ, и, можетъ быть, даже добавила, что этотъ почтенный человѣкъ неравнодушенъ къ ней... Но какъ же вы изъ одного этого не видите, до какой степени она занята вами! Зачѣмъ ей переѣзжать, когда она надѣется быть вашей и къ вамъ переѣхать (я же для васъ и квартиру приготовила). Если же Карлъ Иванычъ и приглашалъ ее переселиться къ нему въ домъ, то, разумѣется, только ради того, чтобъ спасти ее отъ этого противнаго, нигилистическаго общества! Знаете ли вы, что это за общество! Тамъ никто и за грѣхъ не считаетъ... ну, какъ бы это вамъ сказать... даже сказать стыдно... самое скотское удовольствіе... гдѣ всякій стыдъ осмѣивается, какъ порокъ... потому что животныя его не имѣютъ, гдѣ искажены всѣ понятія, всѣ до единаго, особливо понятія о нравственности. Человѣкъ—это для нихъ животное; женщина — самка! Боже мой! Боже мой!

— Вы все это преувеличиваете, милая Анна Петровна,—скромно замѣтилъ ей Пулькинъ.

— Кто? я преувеличиваю! удивилась она такъ, что даже приподнялась съ кушетки.

— Мнѣ кажется, что тутъ есть маленькое преувеличеніе!... повторилъ Пулькинъ.

— Ну-съ, позвольте ужъ мнѣ это лучше знать... Я говорила объ этомъ съ людьми, которые спеціально изучали эту гнусную секту. Я знаю...

— А если вы правы, то зачѣмъ же мнѣ жениться?...

— А для того, чтобы сдѣлать великое, доброе, христіанское дѣло,—для того, чтобъ нашу, когда-то милую, прелестную Лелю воротить свѣту или тому обществу, для котораго она родилась и была воспитана.

— Я радъ, клянусь вамъ, былъ бы очень радъ; но, помилуйте — вѣдь я еще лѣтомъ долженъ ѣхать въ отпускъ, хлопотать о разныхъ тамъ дѣлахъ и формальностяхъ по этому дурацкому завѣщанію. Вѣдь я еще не получилъ ни этихъ десяти тысячъ десятинъ, ни этихъ двухъ-сотъ пятнадцати тысячъ...

— Какъ, двухъ-сотъ пятнадцати?..

— Да... не менѣе... если не оттягаютъ или не вырвутъ изъ этой суммы какого-нибудь клочка мои двоюродные братцы — страшные охотники до всякаго рода кляузныхъ тяжбъ. Вотъ мой повѣренный пишетъ мнѣ, что мое личное присутствіе необходимо — онъ знаетъ, также какъ и вы, что я человѣкъ практическій... Такимъ образомъ, сами согласитесь, не лучше ли мнѣ жениться тогда, когда я совершенно устрою дѣла свои и успокоюсь, т. е. никакъ не раньше осени.

Во всѣ глаза глядѣла Любина въ лице практическаго молодаго человѣка, но Пулькинъ не только не краснѣлъ и не конфузился, напротивъ, говорилъ совершенно спокойно, съ оттѣнкомъ самаго милаго, откровеннаго прямодушія, даже улыбался.

— Нѣтъ, я вамъ не совѣтую откладывать... Впрочемъ, съ такими средствами, вы можете всегда жениться и найти себѣ очень хорошую партію...

— Одно, что я могу сдѣлать— это написать ей письмо и объясниться... и что будетъ, то будетъ...

— Ну, да: «что будетъ, то будетъ», повторила Анна Петровна, глядя куда-то въ сторону, (двѣсти тысячъ все еще не выходили изъ головы ея; ей не вѣрилось!). Куйте желѣзо, пока горячо! Если Леля, получивъ ваше письмо,

очертя голову бросится въ ваши объятья—то даже и это можетъ спасти ее. Вы, все-таки, какъ благородный человѣкъ, испытавъ ея характеръ и ея привязанность, рано или поздно на ней женитесь,—тогда какъ, оставаясь здѣсь, среди этой банды, она будетъ падать все ниже, ниже и ниже, и къ осени совершенно погрязнетъ! О, тогда уже поздно будетъ спасать ее!..

Пулькину ничего не оставалось больше дѣлать, какъ поцѣловать ея ручки.

За перегородкой въ это время послышался шорохъ.

— Поля, это ты? слабо вскрикнула Анна Петровна, сморщивъ лобъ и къ перегородкѣ повернувъ лице свое.

Вмѣсто горничной Поли, въ комнату вошла Лиза.

«Она подслушивала», подумалъ Пулькинъ.

— Надѣюсь, мама,—сказала Лиза,—что вы не секреты тутъ говорите, и что я могу войти?

Сморщенный лобикъ Анны Петровны еще больше сморщился: ей было досадно! — Какіе же могутъ быть секреты между мной и Александромъ Васильевичемъ,— сказала она, покосившись на дочь: — и если тебя любопытство мучитъ, мы можемъ повторить нашъ разговоръ...

— Пожалуйста, не трудитесь, мама—я нелюбопытна!

— Мы говорили о Лелѣ...

— Ну, вотъ, я тоже думала о ней—и знаете, мама, я полагаю, что мнѣ слѣдуетъ навѣстить ее... я не хочу, чтобъ между нами были какія-то недоразумѣнія. Она просто не поняла меня...

— Какія бы ни были недоразумѣнія, ты къ ней поѣдешь, когда она сдѣлается мадамъ Пулькиной. Раньше же ты не поѣдешь. Въ общество какихъ-то сумасбродныхъ студентовъ я не пущу тебя!

Лиза отошла къ окну, скрестила пальцы стиснутыхъ рукъ, назадъ подала свои круглыя плечи, опустила голову и молча стала глядѣть на улицу.

Анна Петровна тоже замолчала и тоже потупилась.

— Я былъ два раза у Елены Александровны,—сказалъ Пулькинъ,—и признаюсь вамъ, не видѣлъ ни одного студента.

— Только два раза! не повертывая головы своей и не измѣняя позы, проговорила Лиза.

Пулькинъ поглядѣлъ на ея великолѣпные, зачесанные черные волосы, на ея бюстъ, шейку, на складки платья, разстилавшіяся по полу, и повторилъ: — да-съ, только два раза!

— Да я не спрашивала,—заговорила Анна Петровна, да и спрашивать васъ не имѣю права, сколько разъ вы были у вашей Лели. Къ чему же вы это говорите? Сердите вы меня для такого дня... какъ вамъ не грѣхъ!..

Лиза повернулась, поглядѣла на свою мать, отошла отъ окна и молча опустилась въ кресло возлѣ большого, на толстыхъ точеныхъ лапахъ стоявшаго зеркала.

— Не слѣдовало бы мнѣ нынче такъ много говорить,— продолжала Анна Петровна, очень неискусно скрывая свое раздраженіе:—я такъ сегодня устала, такъ устала!

— Если я безпокою васъ, извините...—сказалъ Пулькинъ, всталъ и протянулъ ей руку.

— Вы меня нисколько не безпокоите, но я такъ устала, что вы себѣ представить не можете. Надо и переодѣться, и отдохнуть. Лиза, отчего ты не переодѣлась? Позови ко мнѣ дѣвушку... Ахъ, да... Александръ Васильевичъ, у меня къ вамъ просьба: пожалуйста, съѣздите вы къ этому живописцу Смакову и скажите ему отъ моего имени, что если онъ моего портрета не передѣлаетъ, я, къ величайшему сожалѣнію, не могу взять его. Я за такой портретъ денегъ платить не намѣрена... До свиданья, Александръ Васильевичъ!

Она пожала ему обѣ руки и, какъ бы въ доказатель-

ство что она на него уже не сердится, сказала:—послѣ заутрени, на святой... заѣзжайте къ намъ на пасху...

Пулькинъ поблагодарилъ и уже простился съ нею, какъ вдругъ что-то внезапно вспомнилъ и проговорилъ:

— Извините, Анна Петровна, одну минуту... я хочу еще побезпокоить васъ... Та рукопись, которую обѣщали вамъ дать прочесть... у васъ, или...

— Какая рукопись?.. удивилась Анна Петровна.

— Рукопись покойнаго Затаилова, та самая, которую вамъ рекомендовалъ Карлъ Ивановичъ.

— Ничего не знаю... Лиза, Шталь не говорилъ тебѣ?

— Ничего, мама.

— Ну, такъ значитъ она еще у Шталя. Извините меня, Анна Петровна.

Анна Петровна удалилась за перегородку; Пулькинъ взялъ шляпу, поклонился Лизѣ и вышелъ изъ комнаты.

Бѣдный Смаковъ! думалъ Пулькинъ, шагая черезъ паркетный залъ въ переднюю. А я еще увѣрялъ его, что къ праздникамъ получитъ деньги! Вотъ-те и праздники!.. А еще причащалась!..

— Постойте! послышался вслѣдъ за нимъ замѣтно сдержанный, какъ бы испуганный голосъ Лизы...

Пулькинъ пріостановился и съ полупоклономъ повернулся къ дверямъ гостиной. Лиза шла за нимъ.

— Что прикажете, Лизавета Михайловна?

— Скажите Лелѣ, что ей грѣхъ писать ко мнѣ такія письма; что мнѣ чваниться передъ ней даже и въ голову не приходило, что я... ну, право же отдала бы все свое состояніе за счастье быть такъ любимой какъ она любима. Вѣдь... не правда-ли? добавила она, прищуривъ на него большіе, темные глаза свои,—вы очень, очень влюблены въ нее?

Всякій другой на мѣстѣ Пулькина сказалъ бы ей: «да, я влюбленъ!» или: «какое вамъ до этого дѣло»; но

Пулькинъ уже до такой степени изолгался въ послѣднее время, до такой степени пріучилъ себя къ разнымъ, часто даже ненужнымъ изворотамъ и ухищреніямъ, что въ умѣ его тотчасъ же промелькнула лукавая мысль.

— Ахъ, Лизавета Михайловна, — отвѣчалъ онъ,—я право еще и самъ не знаю... все это такъ условно. Если я и позволю себѣ эту роскошь—любить, то право только потому, что она бѣдная дѣвушка! Будь она богата, или съ состояніемъ, я давно бы сказалъ: Богъ съ ней! Съумѣлъ-бы и *на этотъ разъ* побороть свое чувство, съумѣлъ-бы преодолѣть себя, ибо я гордъ, Лизавета Михайловна, повѣрьте мнѣ! Проговоривъ все это, Пулькинъ съ такою почтительностью поклонился ей, какъ поклонился бы онъ особѣ, стоящей безконечно выше на ступеняхъ общественной лѣстницы, и, не протянувъ ей руки, отворилъ дверь въ переднюю. Онъ ушелъ. Лиза минуты двѣ неподвижно простояла на томъ же мѣстѣ, посреди комнаты. Она, очевидно, была поражена отвѣтомъ Пулькина.

— Что онъ хотѣлъ этимъ сказать? То-ли, что будь я бѣдная... или...

И за этимъ «или» что-то такое туманное, странное и загадочное пришло ей въ голову, что-то такое, надъ чѣмъ она будетъ долго думать и, разумѣется, фантазировать.

Пулькинъ же, шагая по тротуару, былъ убѣжденъ, что онъ отвѣтилъ ей такъ, какъ слѣдуетъ, т. е. не признался ей въ любви своей къ Затаиловой, но и не отрекся; не раздразнилъ ея ревности или зависти, и въ то же время очень тонко уколокъ ее за прошлое, за то, что она сама, когда-то, оттолкнула его своимъ пренебреженіемъ. Онъ поступилъ, какъ любезный и хитрый дипломатъ, но не какъ волокита. Онъ даже и не предчувствовалъ, какой сумбуръ, какую сумятицу произведутъ слова его въ душѣ

этой самолюбивой и тщеславной дѣвушки! Хоть онъ и вѣрилъ, что она немножко влюблена въ него, но думалъ по-своему.—Ну, что-жъ, думалъ онъ, влюблена отъ того, что воображаетъ, яко-бы у меня сто тысячъ есть. Сегодня я удвоилъ кушъ, и, чего добраго, не только она—сама маменька будетъ жалѣть, зачѣмъ я за нее не сватаюсь! Скажи я Аннѣ Петровнѣ, что я пошутилъ, что никакого наслѣдства не только нѣтъ, но даже и не предвидится, куда тогда дѣнутся всѣ эти сантименты и нѣжности! Правда, Анна Петровна всегда была со мной очень любезна, и даже тогда, когда считала меня бѣднымъ чиновникомъ, намекая мнѣ на Лелю; но будь я теперь въ глазахъ ея такой же бѣднякъ, она очень бы хорошо поняла, что мое шестидесяти-рублевое жалованье для милой Лели—плохое спасеніе! Скорѣе обоюдная наша погибель, чѣмъ спасеніе!

XXXIX.

Въ понедѣльникъ на Страстной, когда Пулькинъ сидѣлъ въ департаментѣ, къ столу его подошелъ одинъ чиновникъ, подосланный къ нему начальникомъ отдѣленія, и, отозвавъ его къ окну, вкрадчивымъ голосомъ спросилъ его:

— Какъ вы думаете, Александръ Васильевичъ—рѣчь, изволите видѣть, идетъ о небольшомъ пособіи къ празднику—вы не разсердитесь, если сумму, примѣрно около ста рублей, которую слѣдовало бы вамъ получить, начальникъ отдѣленія распредѣлитъ другимъ, которые, знаете, побѣднѣе и, можетъ быть, нуждаются. Ивану Ивановичу совѣстно, знаете, васъ объ этомъ спрашивать...

Пулькинъ сѣлъ на подоконникъ и повѣсилъ носъ; ему было жаль какой бы то ни было суммы (онъ съ Января до апрѣля прожилъ уже около 1,500 рублей) и чѣмъ

болѣе проживалъ, тѣмъ становился все скупѣе и скупѣе. Одной Амальхенъ задолжалъ онъ болѣе ста рублей; къ тому же, на праздникахъ, предстояло ему опять пускать пыль въ глаза и раскошеливаться. Жаль ему было отказаться отъ этого пособія и въ то же время хотѣлось показать, что онъ такую ничтожную сумму презираетъ и въ ней не нуждается.

— Если я заслуживаю пособія,—началъ онъ,—то почему бы мнѣ и не получить его... Вы говорите—бѣдные; у меня тоже есть бѣдные, которымъ я помогаю... Къ тому же... признаюсь вамъ, мнѣ нужно будетъ ѣхать: мой повѣренный пишетъ, что мое присутствіе необходимо... А дадутъ-ли денегъ на поѣздку—едва ли! Вѣдь двухъ наградъ въ одинъ годъ не бываетъ.

— А въ какомъ городѣ вашъ повѣренный?

— Теперь онъ въ Калугѣ...

— Въ Калугѣ? А какъ его фамилія?

— Козиковъ Матѳей Сергѣевичъ.—Пулькинъ слегка поблѣднѣлъ отъ нравственнаго напряженія.

— Знаете что, Александръ Васильевичъ,—тоже присѣвъ на подоконникъ и чуть не къ самому уху Пулькина приложа свои губы, таинственно заговорилъ чиновникъ.

— Что такое?

— Тутъ, говорятъ, пріѣзжалъ вашъ какой-то родственникъ.

— Пріѣзжалъ... Орѣшниковъ?

— Я, признаюсь, даже не знаю его фамиліи... только, изволите видѣть, былъ онъ какъ-то у Спиридонова. Вы знаете Спиридонова?

— Знаю Спиридонова—чудеснѣйшій и добрѣйшій малый... Ну, такъ что же-съ? — Сильно билось сердце у Пулькина, рука его судорожно играла брелоками отъ часовъ—онъ уже понялъ, что этотъ кузенъ, этотъ другъ

дѣтства выдалъ его, и выдалъ за то, что онъ ни денегъ ему не далъ, не угостилъ и даже не пригласилъ его въ трактиръ позавтракать.

— Такъ, значитъ, вы знаете этого Спиридонова? Такъ вотъ-съ, у этого самаго Спиридонова, за ужиномъ, вашъ этотъ самый родственникъ Орѣшкинъ...

— Орѣшниковъ,—поправилъ его Пулькинъ, и для чего поправилъ—самъ не зналъ.

— Клялся Господомъ Богомъ, что у васъ нѣтъ никакого дядюшки, и что никакого наслѣдства вы не получите, и что будто бы...

— Въ карты тысячу рублей выигралъ.—И Пулькинъ захохоталъ.

— Ну да-съ...

— Ну да-съ, это я самъ ему и сплелъ, потому что, вообразите, я его знаю съ дѣтства—это сутяга и кляузникъ первой величины. Онъ пріѣхалъ сюда нарочно, чтобъ запугать меня, придралъ требовать съ меня десять тысячъ съ тѣмъ, что онъ не будетъ оспаривать духовнаго завѣщанія и въ мои дѣла мѣшаться не будетъ. Я рѣшительно отказалъ ему, во-первыхъ потому-съ, что брату моего отца онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ наслѣдовать; во-вторыхъ потому-съ, что я его знаю, и ни копѣйки ему отъ меня не получить... Разумѣется, я сказалъ ему, что если у меня теперь и есть деньги, то только потому, что я играю въ карты и выигралъ; онъ мнѣ не повѣрилъ, но, чтобъ какъ нибудь насолить мнѣ или подорвать мнѣ всякій кредитъ, началъ съ того, что сталъ врать про меня всякую нелѣпицу — и если вы или Спиридоновъ ему вѣрите, мнѣ, понимаете, отъ этого ни тепло, ни холодно.

— Да что же вы такъ сердитесь! Я вамъ по секрету... по-товарищески, такъ сказать... въ надеждѣ, что вы меня не выдадите...

— Спасибо вамъ, что вы мнѣ это сказали, потому что этого родственничка, если онъ въ другой разъ вздумаетъ ко мнѣ заѣхать, я прикажу швейцару просто выгнать, — такъ-таки въ зашей... Пусть жалуется! А Спиридонову скажите, что на болтовню господина Орѣшникова я не обращаю ни малѣйшаго вниманія.

Оба помолчали.

— Ну, такъ какъ же-съ насчетъ того-съ... пособія-то?... началъ чиновникъ, опять повернувшись къ нему животомъ.

— Какъ съ пособіемъ? Да такъ, какъ я вамъ сказалъ.

— Внести ваше имя въ представленіе и...

— А какъ вы мнѣ совѣтуете?

— Да какъ вы хотите!

— Ну такъ скажите, чтобъ долю мою распредѣлили по другимъ... по усмотрѣнію... Да гдѣ же самъ Иванъ Ивановичъ?

— Да вотъ они сейчасъ только пріѣхали...

Чиновникъ всталъ и, переваливаясь, пошелъ навстрѣчу начальнику. Пулькинъ остался сидѣть на подоконникѣ. Ему было и стыдно, и досадно, и даже страшно... долго ли онъ выдержитъ роль свою — роль человѣка съ большимъ, независимымъ состояніемъ. Онъ былъ бы очень радъ, если бы ничего, никакой роли не было, если бы никогда, ничего онъ не вралъ. Но разъ совралъ—и дѣлать нечего: надо врать, врать и врать!..

XL.

Всю страстную недѣлю Пулькинъ былъ въ тревожномъ настроеніи духа. Разговоръ на подоконникѣ и отказъ отъ пособія не выходили изъ ума его. Въ особенности мучило его одно обстоятельство: Пулькинъ самъ забылъ—и ни-

какъ не могъ припомнить—какую-такую фамилію брякнулъ языкъ его на вопросъ почтеннаго сослуживца: кто у него повѣренный?

Пулькинъ сталъ подозрителенъ и преувеличивалъ размѣры интереса, возбужденнаго толками о его наслѣдствѣ. Ему стало казаться иногда, что не только говорятъ о немъ, но и разспрашиваютъ, переписываются, наводятъ справки и проч., и проч.

Въ сущности-же, обогащеніемъ Пулькина болѣе всѣхъ интересовалась Анна Петровна Любина, потому что вообразила себя его единственнымъ другомъ и намѣревалась женить его. Остальныя лица, выведенныя въ этомъ разсказѣ, относились къ его обогащенію настолько равнодушно, что никоимъ образомъ не стали-бы хлопотать о какихъ-бы то ни было розыскахъ. «Ему-же хуже, если вретъ», подумалъ-бы каждый, и никто-бы вдругъ не сообразилъ, что совершенно напротивъ, что ему вовсе не хуже, а гораздо лучше живется съ тѣхъ поръ, какъ началъ онъ болтать вздоръ о своемъ состояніи. Пулькинъ не могъ не замѣтить, что съ тѣхъ поръ, какъ пустилъ онъ слухъ о наслѣдствѣ, въ какихъ-нибудь два, три мѣсяца, даже само начальство стало находить въ немъ такія способности къ писанію бумагъ, какихъ прежде и не замѣчало въ немъ.

Пулькинъ не могъ не замѣтить, какъ шансы его поднялись во всѣхъ отношеніяхъ—и это не могло не поощрить его.

Пулькинъ былъ недалекъ; но, по свойству характера своего, былъ довольно правдивъ и простодушенъ, и очень хорошо понималъ, что онъ вретъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Если-бы всѣ люди, начиная съ Любиной и кончая Савишинымъ, могли вдвое полюбить его за откровенное признаніе, онъ, кажется, могъ-бы сознаться имъ и въ утайкѣ найденныхъ денегъ, и въ совершеннѣйшемъ

враньѣ своемъ; но онъ очень хорошо понималъ, что не только Любина и Савишинъ, но и каждый, кто его знаетъ, отомстятъ ему за такое разочарованіе.

Не столько скептикъ, сколько человѣкъ, совершенно равнодушный къ вопросамъ религіи, онъ, все-таки, счелъ за нужное въ пятницу на страстной недѣлѣ пойти на исповѣдь.

На исповѣди онъ признался попу, что любитъ иногда врать или дурачить людей.

— А съ какою цѣлью? спросилъ его попъ, — съ злымъ или безъ злаго умысла?

— Безъ всякаго злого умысла,—отвѣтилъ Пулькинъ уже совершенно искренно.

Въ субботу, причастившись, онъ поѣхалъ домой, переодѣлся, напился чаю и, вспомнивши о порученіи генеральши Любиной, отправился на Васильевскій островъ, въ Академію Художествъ.

Поднявшись вверхъ по каменной лѣстницѣ (съ другого угла), долго ходилъ онъ по длиннымъ, прямолинейнымъ и узкимъ коридорамъ нашей академіи, переходя изъ тѣни въ свѣтъ, изъ свѣта въ тѣнь и отыскивая досчечку съ именемъ художника Смакова.

«Неужели еще подниматься? Кого-бы спросить? Спросить даже не у кого!...» подумалъ Пулькинъ. Но вдругъ, въ концѣ коридора, косвенный, пыльный лучъ солнца освѣтилъ что-то такое зеленое, черное, розовое... и вдругъ, изъ этой пестроты, образовалась фигурка молоденькой женщины въ свѣтло-зеленой шляпкѣ.

Пулькинъ пошелъ ей навстрѣчу и въ десяти шагахъ отъ себя узналъ Амальхенъ.

Амальхенъ была близорука и узнала его на разстояніи двухъ шаговъ.

Оба расхохотались.

— Вы какъ здѣсь? спросилъ Пулькинъ.

— Вы куда? спросила Амальхенъ.

— Я ищу Смакова. Не знаете-ли, гдѣ его мастерская? Вѣрите ли, раза два у него былъ и никакъ не могу найти...

— Вы прошли его дверь — вонъ тамъ, вторая отъ угла...

— А вы у кого здѣсь, измѣнница?..

— Сами вы измѣнщикъ, никогда васъ дома нѣтъ! Ахъ, да!... Г-нъ Пулькинъ, не пришлете ли вы мнѣ къ празднику... сколько-нибудь денегъ... Фуй, стрямъ! разбогатѣлъ и сталъ скрягой. Стыдно вамъ, очень стыдно, г-нъ Пулькинъ; вы сами знаете, какъ я живу!

— Знаю, какъ вы живете. Васъ тоже никогда дома нѣтъ. Разъ въ два часа ночи звонилъ, звонилъ къ вамъ... хоть бы тантушка ваша носъ свой высунула... думалъ, что ужъ васъ давно черти взяли.

— Фуй, какъ не грѣхъ! Зачѣмъ меня чортъ брать будетъ!... А въ два часа какъ можно—я никогда не стану такъ поздно принимать—да и тетенька моя боится двери отпирать. Вы же не умѣете звонить какъ надо. Вы бы меня спросили, какъ надо звонить. И—никогда нельзя такъ поздно!

Амальхенъ, проговоривъ все это, очень мило надула губки, но обѣими своими руками, мягкими и холодными, ухватила его за руку и минуты двѣ продержала ее около своей груди или темной, шерстяной безрукавки, прикрытой кончиками розоваго платочка, которымъ была повязана ея бѣлая шейка.

— Пожалуйста, г. Пулькинъ, хоть сто рублей пришлите мнѣ.

— Какъ только получу деньги, такъ немедленно самъ привезу вамъ — сегодня же никакъ не могу. Вѣрите-ли, долженъ былъ самъ занять ради предстоящихъ праздниковъ,—солгалъ Пулькинъ.

*

— Ахъ, какъ жаль... но когда же?

Пулькинъ повернулъ назадъ къ дверямъ мастерской Смакова, и, идя рядомъ съ Амальхенъ, увѣрялъ ее, что онъ скоро получитъ деньги и тотчасъ-же явится къ ней съ визитомъ.

У дверей мастерской, Амальхенъ оглянулась и, видя, что никого нѣтъ, поцѣловала Пулькина въ щеку, пролепетавъ, что она все еще его *немножко* любитъ. Пулькинъ сталъ стучаться въ запертую дверь, Амальхенъ повернула въ коридоръ налѣво и исчезла. Только запахъ какихъ-то духовъ еще остался въ пыльномъ воздухѣ.

— Фу ты, Боже мой! Неужели его тутъ нѣтъ? подумалъ Пулькинъ и еще крѣпче сталъ стучаться въ дверь.

Но Смаковъ былъ въ мастерской—онъ былъ занятъ дѣломъ: упаковывалъ портретъ Анны Петровны Любиной, въ надеждѣ немедленно послать его къ оригиналу и тоже попросить у него денегъ къ празднику. Онъ хотѣлъ написать письмо, но у себя на столѣ нашелъ чернильницу съ высохшими чернилами, какое-то подобіе пера, и ни клочка не только почтовой, но никакой такой бумаги, на которой было бы мыслимо написать письмо къ ея превосходительству.

Никого не ожидая, онъ былъ въ поношенной блузѣ и, не смотря на то, что не попалъ домой къ завтраку (гдѣ, конечно, давно уже его ожидали), Смаковъ былъ въ отличномъ настроеніи духа—онъ былъ увѣренъ, что къ вечеру получитъ 150 рублей, купитъ подарокъ сестрѣ, а остальными деньгами подѣлится съ своей бѣдной матерью. Въ домѣ денегъ было очень мало, но надежда на полтораста рублей была такъ велика, что Смаковъ весело посвистывалъ и когда отпиралъ дверь, думалъ, что за нимъ пришла горничная звать его домой кофе пить; онъ даже не сообразилъ, что у горничной нѣтъ такого сильнаго кулака, чтобы такъ стучать.

Смаковъ былъ еще молодой человѣкъ лѣтъ двадцатишести, съ какимъ-то восточнымъ оттѣнкомъ въ чертахъ лица, очевидно добрый малый, немного вспыльчивый, самоувѣренный, польщенный первыми успѣхами и несомнѣнно даровитый, судя по тѣмъ этюдамъ и недоконченнымъ картинамъ, которыми была завѣшена его мастерская.

— А! здравствуйте! весело воскликнулъ онъ, увидавъ Пулькина.—Какъ кстати... Вы рекомендовали меня, значитъ... Ну, да вотъ въ чемъ дѣло, Александръ Семенычъ?...

— Васильевичъ...

— Ну, Васильевичъ, — ну, не все ли вамъ равно? Главное вотъ что—не свезете-ли вы къ этой Любиной ея портретъ: она меня все торопила къ Святой. Переписалъ фонъ и кончилъ, батюшка вы мой. Баста! Самъ признаюсь, не ожидалъ, чтобъ такъ удалось! Такъ вотъ что-съ... вы ей свезите и получите деньги; а я къ вамъ зайду, такъ какъ буду на Невскомъ.. Въ которомъ часу послѣ обѣда я могу заѣхать къ вамъ? А? Или вы мнѣ привезли деньги отъ ея превосходительства, и сами пріѣхали за портретомъ? Если такъ, то великое вамъ спасибо!

— Я съ субботы и не видалъ ея.

— Жаль-съ, очень жаль; впрочемъ, время еще не ушло. Не правда-ли?

Пулькину стало неловко. Онъ положительно не зналъ, какъ, какими словами передать ему щекотливое порученіе.

Смаковъ тотчасъ замѣтилъ натянутое выраженіе лица его.

— А! Вы, можетъ быть, думаете, почему я самъ не хочу отвезти ей портрета? А потому, во-первыхъ, что у ней есть швейцаръ, который, чего добраго, приметъ меня за столяра или за обойщика, или скажетъ: барыни дома нѣтъ!—во вторыхъ, потому, что никоимъ образомъ

не могу сказать: ваше превосходительство, пожалуйте деньги!—никоимъ образомъ! Непремѣнно поперхнусь! Какъ я ей скажу, что... понимаете, батюшка вы мой! что до зарѣзу нужны мнѣ эти проклятыя деньги!... и непремѣнно сегодня-съ, непремѣнно!

Пулькинъ сѣлъ на деревянный табуретъ и, смутившись, началъ съ того, что онъ съ большимъ бы удовольствіемъ исполнилъ его порученіе, только—изволите видѣть, продолжалъ онъ—барыня она такая странная: ей ужасно хочется, чтобъ вы портретъ ея переписали... и... просто не понимаю, чего она хочетъ... какой ей хочется передѣлки!... Только послала она меня къ вамъ—и... сама говоритъ, что портретъ хорошъ, но, говоритъ, надо... что-то такое передѣлать. Выраженіе что-ли ей не нравится... просто не понимаю... Позвольте закурить папироску... Есть у васъ спички?

Пока говорилъ Пулькинъ, Смаковъ стоялъ противъ него подбоченившись и таращилъ на него калмыцкіе глаза свои. Затѣмъ, когда Пулькинъ пересталъ говорить, онъ мѣшковато пошелъ искать спичекъ — шарилъ по столу, на окнѣ, за мольбертомъ, на печкѣ, и наконецъ, нашелъ коробочку въ пустомъ сигарномъ ящикѣ, вмѣстѣ съ растушевками. Чиркнувъ спичкой по какой-то старой золоченой рамѣ, зажегъ и двумя, углемъ запачканными, пальцами преподнесъ ее Пулькину.

— Передѣлывать я не стану,—заговорилъ онъ,—не глядя уже на Пулькина и, повидимому, совершенно спокойнымъ голосомъ:—не стану потому, что не считаю нужнымъ.

Пулькинъ, затянувшись, пустилъ струю дыма и, тоже не глядя на него, какъ бы машинально проговорилъ:

— Можетъ быть, и не нужно.

— Да-съ, не считаю нужнымъ, такъ какъ портретъ удался такъ, какъ немногіе портреты удаются... Вотъ-съ,

я его упаковалъ, нынче пошлю и надѣюсь, что ея превосходительство со мной расплатится...

Голосъ, которымъ онъ проговорилъ все это, уже отзывался заклокотавшей въ душѣ его досадой и оскорбленіемъ.

— Да,—проговорилъ Пулькинъ,—я увѣренъ, что она расплатится—средства есть... но сдѣлайте ей уступку—дайте ей еще два, три сеанса.

Смаковъ дрогнулъ, лице его поблѣднѣло... глаза загорѣлись.

— Скажите ей отъ моего имени, что она дура... такъ и скажите!..

Пулькинъ изумился.

— Какъ же я ей это скажу! проговорилъ онъ подумавши.

— А такъ и скажите! Да вотъ еще что... я спросилъ съ нее за портретъ полтораста рублей, а теперь-съ, если она хочетъ получить его, пусть пришлетъ двѣсти-пятьдесятъ рублей—меньше ни копѣйки! Я этотъ портретъ поставлю на выставку—и пусть публика насъ разсудитъ; ея имя будетъ пропечатано въ каталогѣ, и цѣна будетъ назначена двѣсти-пятьдесятъ рублей!.. Такъ и скажите!..

— Это пожалуй... но сегодня такой день... я не предполагаю быть у нея. Вы лучше сдѣлаете, если сами ей это напишете. Если хотите, я даже завезу ей вашу записку...

— А! на попятный дворъ!.. Ну нѣтъ, къ этой дурищѣ писать я не стану, да и не умѣю. Какъ я ей напишу: Ваше превосходительство—вы дура! какъ я ей это напишу? Вы меня ей рекомендовали, вы меня и выручайте.

«Вотъ, чортъ возьми, оказія!» подумалъ Пулькинъ, и, нѣсколько встревоженный запальчивостью художника, нервной дрожью губъ его, гнѣвнымъ выраженіемъ обык-

новенно добрыхъ и даже смиренныхъ глазъ, долженъ былъ кончить тѣмъ, что обѣщалъ Смакову, на первый же день праздника, передать слова его Аннѣ Петровнѣ Любиной.

— Вы меня рекомендовали, вы и выручайте.

— Я бы сію минуту васъ выручилъ, но... не захватилъ съ собою денегъ. А если вамъ нужно рублей пятнадцать, двадцать...

— Что мнѣ ваши деньги! Я не нищій, чортъ возьми! Я и на толкучкѣ за двадцать-то пять рублей продамъ его... Я понимаю, чего ей хочется... Точно я виноватъ, что она не Мадонна и не Венера Милосская, а старая, облизанная кошка... Ей хочется, чтобъ, вмѣсто портрета, вышло нѣчто въ родѣ видѣнія небеснаго съ поднятыми вверхъ очами... А еще образованной барыней себя считаетъ! Не отдамъ ей портрета—будетъ онъ на выставкѣ, такъ какъ мнѣ и совѣтуютъ... профессора совѣтуютъ! Такъ и скажите. Да не забудьте, слышите, не забудьте сказать ей, что я ее выругалъ дурой. Ну, прощайте, пора уходить — я васъ не держу... Только, пожалуйста, впередъ никому меня не рекомендуйте!

Пулькинъ протянулъ ему руку, но Смаковъ отворилъ дверь въ коридоръ и ему хотѣлось плюнуть.

Крѣпко захлопнулъ онъ за спиною гостя дверь мастерской своей и сталъ ходить по ней, какъ звѣрь, запертый въ желѣзную клѣтку. И до тѣхъ поръ ходилъ онъ звѣремъ, пока слезы не выступили у него на глазахъ и пока не воскликнулъ онъ сокрушеннымъ голосомъ: Боже мой! Праздникъ, а еще и провизія не куплена—ни вина, ни закуски! И дрова всѣ вышли, и маменька на одинъ только день заняла пять рублей! Проклятая барыня! Да и я хорошъ! Другой бы на моемъ мѣстѣ поѣхалъ бы ругаться съ нею, а я точно пришибленный! Эхъ! Авось хоть завтра, если не двѣсти-пятьде-

сятъ, пришлетъ полтораста рублей. А будь я французъ или нѣмецъ,—у! сколько бы я содралъ съ нея!!

И только манкенъ, сидящій на стулѣ, въ темномъ парикѣ и въ какой-то мантіи, приложа тряпичную руку къ тряпичному сердцу, глядѣлъ на него неподвижными глазами и былъ единственнымъ свидѣтелемъ его злости и отчаянія...

XLI.

Того же дня вечеромъ, нанявъ двумѣстную карету на всю ночь, до четырехъ часовъ утра, Пулькинъ сидѣлъ въ парикмахерской у Оливье, и куаферъ-французъ причесывалъ и завивалъ его волосы. Въ бѣлой накидкѣ, передъ зеркаломъ, между двумя газовыми рожкàми, сидѣлъ Пулькинъ, покуривая папироску и думалъ. Мысли его, какъ и всегда, были отрывочны... влетали въ его голову, производили въ ней нѣкое круговращеніе и вылетали вонъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

— Кареты дороги... у, какъ дороги! А что же дѣлать! Взялся за гужъ, не говори что не дюжъ. Другіе въ одинъ мѣсяцъ прокутили бы эти деньги, а я... въ три мѣсяца прожилъ всего только полторы тысячи... да еще экономничалъ... А кабы не экономничалъ?..

— Жаль мнѣ этого бѣднаго портретиста. Что ни говори, а портретъ похожъ... Я его видѣлъ... Дура, говоритъ... да, можетъ быть, и точно, что дура... Какъ она удивилась, какими глазами на меня поглядѣла, когда я ей брякнулъ... двѣсти пятнадцàть тысячъ! Повѣрила... А что, коли выйдутъ всѣ деньги, — удастся ли мнѣ занять? А?.. Развѣ я не знаю: лучшая петербургская молодежь долгами живетъ, почему-жъ бы и мнѣ не жить такъ, какъ они!

— Эхъ Леля... милая!.. изъ ума нейдетъ... Ну, какой

мнѣ разсчетъ любить ее... а люблю... Будь у меня двѣсти тысячъ... куда! будь хоть двадцать пять тысячъ, я бы... ну, кажется, за одинъ ея поцѣлуй отдалъ бы жизнь... Не фантазія ли это?...

— Да неужели же я въ три-четыре года не добьюсь порядочнаго жалованья!.. Ну хоть въ полтораста, въ двѣсти рублей въ мѣсяцъ... А добьюсь — женюсь... Живетъ же она въ одной комнаткѣ... Сдѣлаю ей ночью визитъ,—ну хоть визитный билетикъ оставлю ей... А можетъ быть она меня и приметъ... скажу, что разговляться пріѣхалъ къ ней... А Любина? Она тоже приглашала меня разговляться... Чортъ возьми! какъ я передамъ ей резолюцію этого Смакова!.. Взбѣсится... чего добраго, я же останусь виноватъ.

Такъ размышлялъ и мечталъ Пулькинъ, пока голова его покачивалась подъ искусной рукой куафера-артиста. Вся комната, окруженная зеркалами и залитая свѣтомъ, была полна ожидающихъ очереди. Не одинъ Пулькинъ тщательной прической желалъ придать лицу своему праздничный видъ... Безпрестанно раздавался возгласъ: «щипчи!»... и въ зеркалахъ отражались молодыя и старыя, красивыя и плюгавыя физіономіи.

Изъ числа завивающихся, Пулькину былъ знакомъ только одинъ Сошка, котораго видѣлъ онъ на именинномъ вечерѣ у Сопѣлкина. Когда Пулькинъ, уже причесанный и завитой, всталъ съ кресла, съ тѣмъ, чтобъ расплатиться и купить новый бѣлый галстухъ, Сошка узналъ его и подошелъ къ нему:

— Вы еще не уѣхали? спросилъ онъ Пулькина.

— Нѣтъ еще. А что дѣлаетъ вашъ Минераловъ?

— Что онъ дѣлаетъ! Пьянствуетъ, безпутничаетъ.

— Давно его видѣли?

— Да съ тѣхъ поръ не видѣлъ, какъ онъ ночевалъ

у меня и ушелъ поутру въ моихъ сапогахъ и въ моемъ платьѣ.

— Какъ, неужели?!

— Да еще задолжалъ мнѣ.

— И съ тѣхъ поръ вы его не видите?

— Да и видѣть его не хочу... Чортъ его побери!— И у Сашки, отъ одного воспоминанія о Минераловѣ, лице сдѣлалось злымъ. А вы думаете, заключилъ онъ, Минераловъ не зайдетъ ко мнѣ? Найдетъ на него полоса, опять каждый день начнетъ шляться...

— Ну, и что-жъ?

— Ну, и не драться же съ нимъ!... Опять свяжешься. Талантъ,—что прикажете дѣлать!...

На этомъ разговоръ ихъ и покончился.

— Ну, вотъ, будь у меня пятьдесятъ тысячъ, чего добраго, этотъ Минераловъ и уговорилъ бы меня журналъ съ нимъ издавать... чего добраго! подумалъ Пулькинъ, сходя по чугуннымъ ступенькамъ на тротуаръ и затѣмъ садясь въ карету. Былъ одиннадцатый часъ вечера и онъ спѣшилъ домой одѣваться. У него въ карманѣ былъ билетъ на входъ въ одну модную церковь на Литейной, гдѣ, какъ узналъ онъ, будетъ кое-кто изъ его начальствующихъ и немало дамъ и дѣвицъ самаго высшаго петербургскаго общества.

XLII.

Въ полночь раздался торжественный благовѣстъ, и по петербургскимъ улицамъ на тумбочкахъ загорѣлись плошки.

Пулькинъ, во фракѣ и въ новомъ драповомъ пальто, вышелъ изъ своей квартиры, и выскочившій вслѣдъ за нимъ швейцаръ, отецъ Николашки, крикнулъ: «Эй! ты, карета»!

Карета подкатила къ подъѣзду, и Пулькинъ отправился къ заутрени.

Нечего разсказывать, какъ простоялъ онъ эту заутреню, въ этой жарко-душистой, сіяющей атмосферѣ, со свѣчей въ рукахъ, посреди разныхъ сановниковъ, генеральскихъ звѣздъ, голоплечихъ дамъ и болѣе скромно одѣтыхъ, но затянутыхъ и по бальному причесанныхъ дѣвушекъ, какъ онъ крестился, косился по сторонамъ, то вправо, то влѣво поворачивая носъ свой, и какъ желалъ онъ только одного,—чтобъ всѣ его видѣли.

Когда, въ концѣ заутрени, священникъ вышелъ на амвонъ и, крестомъ благословляя толпу, произнесъ: «Христосъ воскресе», когда Пулькинъ, такъ-же какъ и всѣ, погасилъ свѣчу свою и положилъ ее на серебряную тарелку, разносимую церковнымъ старостой, когда въ церкви послышались поздравленія, и толпа, колыхаясь, сдержанно зашумѣла, зашелестила и стала групироваться отдѣльными кучками, Пулькинъ въ сторонѣ замѣтилъ Савишина. Въ эту минуту Савишинъ, почтительно поклонясь, цѣловалъ протянутую ему руку какой-то сухопарой дамы, въ голубомъ муаре, въ черныхъ кружевахъ и бриліантахъ. Кто эта барыня? подумалъ Пулькинъ. Ему сдѣлалось даже немножко грустно, что у него, въ этой фешенебельной толпѣ, знакомыхъ нѣтъ, что эти свѣтскія дѣвицы проходятъ мимо него, какъ мимо фонарнаго столба, не обращая на него ни малѣйшаго вниманія, что никто даже не удивляется, что Пулькинъ тутъ, между ними, и никто не спрашиваетъ, что́ это за молодой человѣкъ такой интересной наружности? Никто! О, столица, какъ ты ко всему равнодушна и какъ тебѣ не грѣхъ не обращать вниманія, ни малѣйшаго вниманія на нашего милаго Пулькина, тогда какъ этотъ Пулькинъ есть тоже продуктъ твоей пустой и эфемерной жизни и ничѣмъ не хуже цѣлаго десятка тысячъ твоихъ блестящихъ юношей, даже

въ нѣкоторомъ отношеніи лучше ихъ, ибо не потерялъ еще способности мечтать не только о матеріяльномъ, но и о сердечномъ благополучіи!

Пулькинъ задумался; онъ чувствовалъ, что ему даже улыбнуться некому, и почему-то вспомнилъ, какъ встрѣчалъ онъ когда-то этотъ праздникъ, въ своемъ губернскомъ городѣ, въ мундирѣ гимназиста, посреди знакомыхъ и хорошенькихъ кузинъ, которыя цѣловали его и веселыми глазками глядѣли въ веселые глаза его. Онъ даже вспомнилъ свою ворчунью няню Константиновну, однимъ словомъ, унесся мечтою въ невозвратимое прошедшее, и если-бы самъ Савишинъ, выходя изъ церкви, не тронулъ его за рукавъ, онъ бы такъ и прозѣвалъ его.

— А! вы здѣсь! сказалъ ему Савишинъ, мелькая передъ нимъ своей юношеской лысиной, румяными щеками и превосходно расчесанными баками.

— Христосъ Воскресе! обрадовался Пулькинъ.

Но Савишинъ не полѣзъ съ нимъ христосоваться: только пожалъ руку и сказалъ, что онъ спѣшитъ заѣхать домой, прежде чѣмъ поѣдетъ на утренній чай къ министру.

— Я тоже... уѣзжаю. Вы въ каретѣ, Дмитрій Ѳедоровичъ?

— Нѣтъ, а что?

— Вы мнѣ позволите довезти васъ? У меня карета.

— Хорошо-съ... да по дорогѣ-ли вамъ?

— О, времени еще у меня много! Вы представить себѣ не можете, какъ я радъ...

И вотъ, по мраморной парадной лѣстницѣ, сошли они внизъ, оба почти ровесники по лѣтамъ, но стоящіе другъ отъ друга на разстояніи титулярнаго совѣтника отъ статскаго и далеко не равные по своему служебному значенію.

Облекшись въ пальто и нахлобучивъ шляпы, Пулькинъ и Савишинъ, мимо швейцара съ булавой и толпы ливрейныхъ лакеевъ, вышли на улицу. И близко, и далеко,

въ темнотѣ этой улицы свѣтились каретные фонари, да смутно рисовались тѣни дремлющихъ кучеровъ и недремлющихъ полицейскихъ, прохаживающихся между рядами фыркающихъ лошадей и повторяющихъ крикъ жандармовъ: «карету такого-то!»

— Карету Пулькина! прокричалъ жандармъ.

— Спросите кучера Митрофана Петрова,—сказалъ Пулькинъ.

— Эй! Митрофанъ! Петровъ! послышалось въ ночномъ морозномъ воздухѣ:—Митрофанъ Петровъ!

Въ это время раздались пушечные выстрѣлы съ крѣпости.

— А! И въ зимнемъ дворцѣ служба кончилась, — сказалъ Пулькинъ.

Затѣмъ, пропустивъ впередъ Савишина, Пулькинъ вскочилъ вслѣдъ за нимъ въ карету и приказалъ Митрофану ѣхать по канавѣ къ Чернышеву мосту.

— Ну, какъ дѣла? — спросилъ Савишинъ, когда загремѣли колеса и по лицу его заходили полосы свѣта и тѣни.

— Все слава Богу,—отвѣчалъ Пулькинъ:—Позвольте закурить папироску. Вы не курите, Дмитрій Ѳедоровичъ?

— Курите, я не курю; да опустите окошко; какъ можно ѣздить съ закрытыми окнами! Слава Богу, погода хоть куда!... Тихо и морозецъ есть... А я очень радъ, что встрѣтилъ васъ: хочу переговорить съ вами насчетъ одного обстоятельства.

— Ужъ не по поводу ли болтовни моего милаго кузена Орѣшникова? подумалъ Пулькинъ и выбросилъ въ окно свою дымящуюся папироску, такъ какъ ему показалось, что Савишинъ не большой охотникъ до табачнаго дыма.

— Насчетъ какого же это обстоятельства?

— А вотъ что-съ: вамъ вѣдь все равно, если васъ переведутъ въ наше отдѣленіе секретаремъ. А?

— Мнѣ-съ это все равно. Но развѣ есть вакансія? произнесъ Пулькинъ, стараясь не показать Савишину ни малѣйшаго признака того волненія, которое овладѣло имъ.

— Скоро будетъ вакансія; только вы, пожалуйста, помолчите: будете болтать, вамъ же хуже.

— Какъ же можно! Развѣ я младенецъ! болтать!... Развѣ я не знаю, какія интриги, какія сплетни на меня поднимутся... И теперь уже, Богъ знаетъ, что про меня изобрѣтаютъ—вы себѣ представить не можете!

— А что такое... изобрѣтаютъ?

— Да помилуйте, распускаютъ слухъ, будто я мое состояніе въ карты выигралъ.

— Да хоть и въ карты! Что же тутъ такого дурного, не понимаю? Не все-ли вамъ равно! Я вамъ на многихъ укажу, которые картами составили себѣ состояніе. Давно-ли, напримѣръ, Никодимовъ у камергера графа Астрима шестьсотъ тысячъ выигралъ? Что же тутъ такого? Ну, выиграли,—неужели это васъ огорчаетъ?

— Не огорчаетъ-съ нисколько, только зачѣмъ же выдумывать...

— Э, помилуйте! на кого не выдумываютъ! Какой вы еще наивный, господинъ Пулькинъ!

— Эхъ, да кабы мнѣ это мѣсто! И дѣла мало, и жалованья чуть не вдвое! подумалъ про себя *наивный* Пулькинъ.

— Ахъ да, Дмитрій Ѳедоровичъ... извините моей наивности, если я спрошу васъ: кто была эта старушка, которую вы поздравляли—съ брильянтовымъ фермуаромъ на шеѣ и въ голубомъ платьѣ?..

— Какая же она старушка!.. Она еще не старушка! А вы и не знаете? Ахъ вы!

— Не знаю-съ!

— Да это сама Клеопатра Антоновна...

— Какая такая Клеопатра Антоновна?

— Какъ? Вы и этого даже не знаете?! О, вы, несчастный! А еще служите, хотите, чай, карьеру сдѣлать, а не знаете, гдѣ раки зимуютъ. Да что же вы за человѣкъ послѣ этого, на что вы годитесь?

И Савишинъ подробно объяснилъ Пулькину, кто такая эта Клеопатра Антоновна, какія у нея связи, и кого она вывела въ люди, и какъ отъ нея зависитъ многое, очень многое... потому именно, что ея просьба не можетъ не быть уважена; что ей стоитъ только сказать какому-нибудь начальству: не у васъ ли служитъ такой-то? чтобъ этотъ «такой то» тотчасъ же былъ замѣченъ и двинутъ впередъ при первой возможности.

— Вотъ бы познакомиться! проговорилъ Пулькинъ.

— Ну, это трудно... Гм! развѣ десять тысячъ пожертвуете въ одно изъ тѣхъ благотворительныхъ заведеній, которымъ она покровительствуетъ... А то... познакомиться!..

— Чѣмъ чортъ не шутитъ, — можетъ быть, когда-нибудь и рѣшусь десять тысячъ пожертвовать! пробормоталъ Пулькинъ довольно веселымъ тономъ, точно онъ самого себя тѣшилъ своими веселыми фразами.

— Ну, вотъ, доѣхали. Прикажите кучеру остановиться вонъ тамъ, у того подъѣзда.

— Митрофанъ! направо! вонъ у того фонаря! высунувши голову изъ окна кареты, крикнулъ Пулькинъ и, затѣмъ, отворивши дверцу, первый выскочилъ на тротуаръ.

Савишинъ, выходя, пожалъ руку Пулькину и спросилъ его:

— Ну, вы куда теперь?

— Да я теперь-съ къ одной моей знакомой — какъ бы это вамъ сказать-съ...

— А, понимаю! Счастливецъ!... Чай француженка? Дорогъ подарочекъ, приготовленный къ праздникамъ? Гм... Смотрите, Пулькинъ, не раззоритесь раньше времени, бѣда! Вы не то, что... Впрочемъ, я не хочу васъ задерживать. Adieu и bonne nuit!

Савишинъ позвонилъ: дверь отворилась и, впустивъ его въ темныя сѣни, тотчасъ же за нимъ захлопнулась.

Снова усѣвшись въ карету и приказавъ кучеру ѣхать на Знаменку, Пулькинъ засмѣялся... Его радовала перспектива перейти подъ крылышко Савишина, съ высшимъ окладомъ жалованья, и смѣшило предположеніе, что онъ, Пулькинъ, ѣдетъ отъ заутрени въ объятіи какой-то француженки! Что бы ни подумалъ Савишинъ про него въ этомъ смыслѣ, Пулькинъ ни за что бы не сталъ отнѣкиваться или разувѣрять его: онъ уже зналъ петербургскую жизнь и, конечно, понималъ, насколько онъ выигралъ въ глазахъ Савишина своею связью съ какой-то француженкой.

— Вотъ какъ онъ меня понялъ! А я просто хотѣлъ сказать,—къ моей будущей невѣстѣ, но не хватило духу.

Затѣмъ, переставъ смѣяться, онъ сталъ думать о томъ, куда онъ ѣдетъ—зачѣмъ и почему?..

И что-то тоскливо-безпокойное, щемящее сердце, охватило Пулькина. Онъ даже поежился, точно ему вдругъ стало холодно.

Быстро, подъ гулъ и стукъ колесъ, мимо открытаго окна его кареты, проносились дома, запертыя лавки и магазины, вывѣски, тротуары, фонари, погасающія плошки, дворники, идущіе пѣшеходы, колонны Аничковскаго дворца, темные бронзовые кони, наконецъ, широкій Невскій проспектъ, погруженный въ какія-то сумерки, ясные безъ опредѣленныхъ очертаній, — темные безъ мрака ночи... Уныло изъ этой кареты выглядывалъ изъ окна носъ нашего Пулькина. И не замѣтилъ онъ,

какъ доѣхалъ до церкви Знаменья и какъ его карета стала поворачивать налѣво. Тутъ увидалъ онъ, что народъ еще толпится на паперти (скорѣй выходитъ, чѣмъ входитъ), и тысячи огоньковъ еще мелькаютъ за рѣшетчатой оградой, съ раскрытыми настежь рѣшетчатыми воротами и съ темными, вверхъ торчащими сучьями.

— Сейчасъ будутъ пасхи святить,—подумалъ Пулькинъ. Онъ все еще не зналъ зачѣмъ онъ ѣдетъ и зайдетъ-ли онъ къ Затаиловой. Какъ влюбленный, онъ ѣхалъ наавось: авось встрѣчу, авось увижу, авось зайду...

Онъ сталъ напряженнѣе, зорче глядѣть въ окно, какъ-бы боясь пропустить номеръ дома, припоминалъ признаки этого дома, и вотъ показалось ему, что эти ворота, съ настежь отворенной калиткой—тѣ самыя ворота. Онъ велѣлъ остановиться и вышелъ изъ кареты; вышелъ, оглядываясь, кто идетъ по тротуару, кто эта женщина—не старуха ли Кроликова? Хорошо еслибы она: онъ сейчасъ ее спроситъ... И, можетъ быть, она пригласитъ его... Но женщина оказалась нисколько непохожей на Кроликову и прошла мимо воротъ, подъ носомъ взволнованнаго Пулькина.

— Жди меня здѣсь,—сказалъ Пулькинъ кучеру, вошелъ въ калитку и пріостановился подъ сквозными воротами. Вслѣдъ за нимъ юркнула какая-то горничная — судя по росту, еще дѣвочка. Поправляя на головѣ большой платокъ, торопливо шла она и чуть не наткнулась на Пулькина.

— Послушайте!

Дѣвушка пріостановилась.

— Вы не изъ 18-го номера?

— Не знаю,—отвѣчала она и побѣжала, точно чего-то струсила.

Пулькинъ вышелъ на дворъ и, къ изумленію своему,

увидѣлъ, что, во второмъ этажѣ, тамъ, гдѣ живутъ Кроликовы и Леля, всѣ окна свѣтятся...

— Э! да они не спятъ,—подумалъ Пулькинъ.

Онъ вынулъ часы и, повернувъ циферблатъ ихъ къ сторонѣ, откуда сводъ неба начиналъ бѣлѣть, кое-какъ разглядѣлъ, что уже 2 часа безъ 10 минутъ.

На дворѣ пахло сыростью и навозомъ, гдѣ-то, точно изъ подвала, кричалъ пѣтухъ.

Пулькинъ ступилъ уже на первую ступеньку лѣстницы, которая вела къ Затаиловой, но остановился... Ему вдругъ показалось, что его визитъ можетъ ее скомпрометировать; что будетъ слишкомъ явно, для чего онъ явится въ ея общество; что еще никакого права нѣтъ за нимъ на такое фамильярное, ночное посѣщеніе; что онъ однимъ этимъ поступкомъ можетъ или оскорбить, или обезпокоить ее, и проч., и проч.

Распахнувши грудь, онъ, съ бьющимся сердцемъ, отошелъ къ высокой кучѣ сложенныхъ дровъ, шагахъ въ десяти отъ той каменной дорожки, которая, изъ-подъ воротъ, вела къ подъѣзду съ 18-мъ номеромъ,—и остановился.

«Впрочемъ, подумалъ онъ, глядя на окна,—смѣлымъ Богъ владѣетъ! Войду и подамъ свою карточку — что за бѣда!»

Но не успѣлъ онъ и шагу ступить, какъ изъ-подъ воротъ выступила какая-то фигура, въ коротенькой енотовой шубѣ нараспашку и въ теплой зимней шапкѣ.

— Кто это? подумалъ Пулькинъ:—фигура какъ будто знакомая—баранья малороссійская шапка, широкое лицо, густые волосы, медленная походка, шаркающія по кампямъ калоши, точно онѣ чужія и спадаютъ съ ногъ... харкаетъ и идетъ прямо къ подъѣзду съ 18-мъ номеромъ.

— Это Минераловъ! мысленно воскликнулъ, удивился и испугался Пулькинъ.

Но Минераловъ, по-видимому, не обратилъ ни малѣйшаго на него вниманія, быть можетъ, даже и не разглядѣлъ его.

— Минераловъ! да, это онъ! И неужели къ нимъ, въ ихъ квартиру, въ ихъ общество! Леля и Минераловъ! Что тутъ можетъ быть общаго? Или—продолжалъ думать Пулькинъ,—это одно изъ самыхъ подходящихъ лицъ къ этому нигилистическому притону, и ничего тутъ нѣтъ удивительнаго! Онъ будетъ пить, другіе будутъ... цѣловаться, третьи спать или безобразничать.

И въ его воображеніи предстала вдругъ картина какой-то ночной безстыдной оргіи — картина въ родѣ той, которая, быть можетъ, не разъ представлялась и воображенію чистой и непорочной Анны Петровны Любиной.

Вотъ еще идетъ какой-то юноша въ фуражкѣ... И Пулькинъ точно оцѣпенѣлъ. Но юноша замѣтилъ въ тѣни его бѣлую грудь, бѣлый бантъ и бѣлую рубашку; пріостановился, потомъ направилъ къ дровамъ шаги свои, на разстояніи аршина вытянувъ лице, поглядѣлъ на Пулькина, и, тѣмъ же шагомъ повернувъ назадъ, вошелъ въ подъѣздъ съ 18 номеромъ.

— Очевидно, и этотъ къ нимъ! подумалъ Пулькинъ,— вонъ и свѣчу кто-то перенесъ изъ одной комнаты въ другую; одно окно стало свѣтлѣе, другое совершенно потемнѣло. Что это у нихъ?.. Да это можетъ быть цѣлое скопище!..

И Пулькинъ рѣшился...

— Сейчасъ войду и самъ все увижу!

Но онъ не вошелъ, а вышелъ изъ воротъ, сѣлъ въ свою карету и поѣхалъ. Любовь, ревность, подозрѣніе, досада, какая-то безпредметная злоба и чортъ знаетъ какія мысли рвали на части нѣжное сердце бѣднаго Пулькина. Поневолѣ подумаешь, что любовь и самыя пошлыя изъ пошлѣйшихъ побужденій могутъ помѣщаться въ од-

номъ и томъ же сердцѣ и что пустые юноши иногда способны влюбляться точно такъ же, какъ и натуры недюжинныя или глубокія. Разница будетъ не въ чувствѣ, а только въ его проявленіяхъ да въ его примѣненіяхъ къ жизни при тѣхъ или другихъ обстоятельствахъ.

XLIII.

Опять поглядѣвъ на часы, Пулькинъ направилъ экипажъ свой въ Моховую, къ Любинымъ.

У Любиныхъ онъ засталъ парадный столъ, зажженные канделябры, простывающій самоваръ, блюдо съ освященной пасхой, окруженной крашеными яйцами, разрѣзанный куличъ, великолѣпный окорокъ ветчины, сыръ, масло, сливки и сухіе фрукты рядомъ съ англійскимъ печеньемъ.

Вокругъ стола засталъ онъ Анну Петровну, Лизу, Дымина, Сопѣлкина, двухъ бывшихъ лицеистовъ, какую-то пріѣзжую барыню, родственницу Любиныхъ, и дочь ея, дѣвушку лѣтъ шестнадцати.

— Какъ вы поздно, однако! протянула Анна Петровна.

Пулькинъ, не говоря ни слова, поцѣловалъ ея ручку.

— Извините, если чай немного простылъ,—проговорила Лиза.

Пулькинъ, не говоря ни слова, поцѣловалъ ручку Лизы.

Сопѣлкинъ пробормоталъ Пулькину: «Христосъ воскресе!» и они поцѣловались. Дыминъ отвѣчалъ: «Во истину воскресе!» и тоже облобызалъ Пулькина.

Пулькинъ сѣлъ за столъ между Лизой и Сопѣлкинымъ.

— Гдѣ вы были у заутрени? зарумянившись спросила Лиза.

Пулькинъ сказалъ.

— А! Кто же тамъ былъ изъ числа нашихъ общихъ знакомыхъ?.. Почему именно вы выбрали эту церковь?

— Изъ числа моихъ знакомыхъ тамъ былъ одинъ только Савишинъ, и я опоздалъ къ вамъ потому, что отъ обѣдни завезъ его домой въ своей каретѣ. Въ этой же церкви я былъ изъ любопытства—хотѣлось поглядѣть и послушать пѣвчихъ...

— Не оправдывайтесь, не оправдывайтесь! въ полголоса пробурчалъ Сопѣлкинъ и ядовито усмѣхнулся.

Это замѣчаніе почему-то заживо задѣло Пулькина и онъ нахмурился.

Дыминъ поглядѣлъ на Пулькина и тотчасъ же отвелъ отъ него глаза свои.

— Вы уже разговѣлись? спросила его Лиза, доливая чайникъ.

— О, нѣтъ еще, Лизавета Михайловна!

— Александръ Васильевичъ, подите сюда. Дыминъ, отрѣжьте ему этой пасхи, дайте ему разговѣться прежде чѣмъ Лиза начнетъ чаемъ угощать его,—проговорила Анна Петровна и улыбнулась, когда Пулькинъ подошелъ и сѣлъ на стулъ за ея кресломъ.

— Эхъ! подумалъ Пулькинъ, дорого бы я далъ, чтобъ быть *тамъ!*..

— Отчего вы такъ блѣдны? не безъ участія спросила его Анна Петровна.

— Кто этотъ прелестный молодой человѣкъ? спросила Лизу на ухо пріѣзжая барышня.

— Я, между прочимъ, долженъ сообщить вамъ не пріятную новость,—началъ Пулькинъ, посылая себѣ въ ротъ кусокъ кулича, намазаннаго творогомъ и заглядывая въ лице Анны Петровны.

— Ахъ, если непріятная — не говорите... я не могу слышать!.. Какія такія непріятныя новости? умеръ кто-нибудь?

— Нѣтъ-съ, всѣ, слава Богу, живы и здоровы.

— Ну, и слава Богу! что же такое? Ужъ не Елену-ли Александровну арестовали?

— Арестовали? изумился Пулькинъ. Какъ арестовали? развѣ это можетъ быть?

— Такъ что же это за новость?!..

— То, что я хотѣлъ сказать вамъ, Анна Петровна, вовсе не такъ страшно. Я, изволите видѣть, былъ у вашего портретиста Смакова и передалъ ему ваше порученіе...

— Передали? Ну, и что-же?

— Онъ страшно взбѣсился и говоритъ, что не отдастъ вамъ вашего портрета иначе какъ за двѣсти-пятьдесятъ рублей!

— Каковъ! Да я и двадцати пяти рублей не дамъ ему за этого урода! Вы видѣли этотъ портретъ?

— Видѣлъ-съ, когда еще онъ не былъ готовъ.

— Да это ужасъ что такое! Есть и колоритъ, и кисть видна, но... написалъ онъ какую-то старуху шестидесяти лѣтъ, какого-то урода и думаетъ, что я заплачу ему полтораста рублей!

— Онъ очень нуждается въ деньгахъ, это я тотчасъ-же замѣтилъ; но, когда я ему предложилъ, онъ не хотѣлъ ни копѣйки взять...

— Какая благородная гордость! Скажите пожалуйста!

— Благородную гордость всякій смертный долженъ имѣть,—замѣтилъ Сопѣлкинъ, который, вслушавшись въ разговоръ ихъ, понялъ, что дѣло идетъ о какомъ-то несчастномъ художникѣ.

— Ну, и пусть утѣшается своей благородной гордостью. А я портрета этого не возьму и не возьму... Пусть онъ дѣлаетъ съ нимъ что хочетъ — мнѣ до этого дѣла нѣтъ...

Пулькинъ хотѣлъ сказать ей, что портретъ этотъ

можетъ очутиться на весенней академической выставкѣ, но промолчалъ. Промолчалъ онъ по тремъ причинамъ. Во-первыхъ, онъ замѣтилъ, что Анна Петровна раздражена и сильно негодуетъ въ глубинѣ души своей. Во-вторыхъ, потому, что ему вдругъ пришло на мысль: а что, если она и въ самомъ дѣлѣ дура? Въ-третьихъ, потому, что самъ онъ былъ въ тревожномъ, почти злomъ настроеніи духа и думалъ: пусть-ка этотъ портретъ, который какъ двѣ капли воды на нее похожъ, появится на выставкѣ!

— Вотъ, Лиза,—обратилась Анна Петровна къ дочери, хотѣла я для тебя сдѣлать сюрпризъ—подарить тебѣ на память портретъ мой, такъ какъ, Богъ дастъ, ты переживешь меня! Раза по два въ недѣлю, а иногда и по три раза, ѣздила я въ академію и, не жалѣя ногъ, поднималась по крутѣйшей лѣстницѣ, имѣла терпѣніе сидѣть въ этомъ ателье—и что же! какой результатъ! Вышло какое-то совсѣмъ чужое лице, совершенно чужое!

— Жаль, мама! небрежнымъ тономъ отвѣтила дочка и черезъ столъ подала Пулькину чашку чаю, указавъ ему рукой на сливочникъ.

— Да-съ,—подтвердилъ Пулькинъ,—не всегда удаются намъ наши надежды и наши ожиданія.

Съ этой минуты разговоръ перешелъ на разные пустяки, и Пулькину стало казаться, что всѣ какъ-то особенно обращаютъ на него вниманіе; что какой бы вздоръ ни заговорилъ онъ, всѣ тотчасъ какъ бы притихаютъ; что бывшій лицеистъ, котораго онъ въ преферансъ обыгрываетъ, смотритъ на него въ свое стеклышко съ какимъ-то необычайно пронзительнымъ выраженіемъ; что барышня, родственница Лизы, то и дѣло что-то шепчетъ ей на ухо, и что Сопѣлкинъ, не смотря на то, что ему явно и скучно, и хочется спать,—насмѣшливо улыбается.

Все это привело къ тому, что Пулькинъ первый под-

нялся съ мѣста и сказалъ, что не слѣдуетъ утомлять хозяйку слишкомъ долгими бесѣдами, что уже скоро день и что пора убираться.

Дѣйствительно, въ окна уже глядѣло желтовато-бѣлое утро, и на улицѣ все рѣже и рѣже слышался грохотъ несущихся экипажей.

Всѣ тотчасъ же встали, простились съ Анной Петровной, пожали ручку Лизѣ, отыскали свои шляпы и вышли.

Извощикъ-кучеръ такъ крѣпко спалъ на козлахъ кареты, нанятой Пулькинымъ, что онъ едва растолкалъ его и сказалъ, ступай за мной!

Самъ же Пулькинъ, чтобы пройтись, пошелъ вмѣстѣ съ Дыминымъ, такъ какъ тотъ положительно отказался сѣсть съ нимъ въ карету, съ тѣмъ, чтобъ онъ довезъ его.

— Знаете что, Андрей Петровичъ: я боюсь, что ваше пророчество исполнится,—заговорилъ Пулькинъ, закуривая папироску.

— Какое?—то, что вы женитесь на Лизѣ?

— Нѣтъ, а то, что рано или поздно я поссорюсь съ этой Анной Петровной. То-есть не я поссорюсь, а она со мной поссорится. Не понимаю, отъ чего она стала какъ-то раздражительна, все какъ будто чѣмъ-то недовольна, или ужъ я не знаю что... Замѣтили вы это?... А помните, какая она была веселая и любезная?

— Да и вы тоже, позвольте вамъ замѣтить, не въ своей тарелкѣ... Впрочемъ, я это понимаю... вы между двухъ огней...

— Какихъ огней!?

— Сами знаете.

— Ей-Богу, не знаю.

— Не божитесь.

— Ей-Богу же, Андрей Петровичъ, я не понимаю васъ!

— Полноте, вы меня понимаете. Позвольте, можно вамъ нескромный вопросъ задать? не разсердитесь?

— Я такъ уважаю и такъ вѣрю вамъ, что не разсержусь.

— Объяснились вы въ любви Еленѣ Затаиловой?

— Нѣтъ...

— Отчего?

— Да какъ отчего! — еще не увѣренъ въ ней. Почемъ я знаю... можетъ быть, она не только ни въ Бога, ни въ чорта не вѣритъ, но и...

— А вы вѣрите?...

— Въ силу обрядовъ я вѣрю, Андрей Петровичъ.

— Ну, это мы съ вами послѣ, когда-нибудь, переговоримъ, есть-ли какая-нибудь сила въ однихъ обрядахъ, коли вѣры нѣтъ въ ихъ таинство! Это мы послѣ. Вотъ вы вчера, кажется, причащались; скажите же, сколько разъ вы съ тѣхъ поръ солгали или слукавили?

Пулькинъ былъ озадаченъ, онъ не шутя хотѣлъ обидѣться и отвѣтилъ нѣсколько вспыльчиво:

— Умышленно — ни разу, Андрей Петровичъ, ни разу...

— Зачѣмъ вы утаили отъ Анны Петровны, что Смаковъ хочетъ портретъ ея поставить на выставку?

Пулькинъ даже вздрогнулъ—такъ поразили его слова Дымина.

— Фу, чортъ возьми! подумалъ онъ,—отчего я утаилъ, отчего?! Утаилъ отъ того-съ,—проговорилъ онъ,—что не хотѣлось окончательно огорчать ее.

— Какой вы сострадательный! А можетъ быть, огорчившись, она бы спохватилась да и послала бы ему завтра же 250 рублей, испугалась бы, что портретъ ея появится на выставкѣ, и всѣ знакомые ей будутъ говорить: Ахъ, какъ похожъ!

— Этого я не сообразилъ, ей-Богу не сообразилъ... и въ голову не пришла такая комбинація... Но почему вы знаете...

— Я все знаю-съ, и вотъ что я вамъ совѣтую: куйте желѣзо, пока горячо!

— То-есть, что же именно вы хотите этимъ сказать?

— Куйте желѣзо, пока горячо... Но прощайте... вонъ ѣдетъ извощикъ, я поѣду и завалюсь спать... До свиданья!

Пулькинъ крѣпко пожалъ ему руку на прощанье и, садясь въ свою карету, былъ въ такомъ странномъ настроеніи духа, такъ былъ потрясенъ и взволнованъ, что, взвѣшивая каждое слово, произнесенное Дыминымъ — то злился на него, то удивлялся, то жалѣлъ, что не сказалъ ему: Андрей Петровичъ, будьте моимъ руководителемъ!

Качаясь на рессорахъ и закрывая глаза, Пулькинъ былъ въ припадкѣ раскаянія. Такого раскаянія въ немъ и тѣни не было, когда онъ шелъ на исповѣдь...

XLIV.

Пулькинъ на все слѣдующее утро, утро Свѣтлаго Христова Воскресенія (4-го апрѣля), нанялъ ту же двумѣстную карету и, не смотря на то, что не спалъ всю ночь, въ 11 часовъ поѣхалъ дѣлать визиты, начиная съ министра и кончая Любиными, которымъ забросилъ карточку. Иначе сказать — отдавъ Богу Божіе, не забылъ отдать и цезарю цезарево. И не странно ли: Пулькинъ не только самъ съ поздравленіемъ не заѣхалъ къ Затаиловой, но даже не послалъ ей карточки. «Что ей карточка!.. У ней, можетъ быть, такія понятія, что ей, просто-на-просто смѣшна покажется моя визитная карточка.»

Но, разсказавши вамъ, какъ эту праздничную ночь провелъ Пулькинъ, необходимо мнѣ разсказать, какъ ту же ночь провела Леля или Елена Александровна Затаилова.

Когда зажгли плошки и раздался благовѣстъ, она набросила на голову большой черный платокъ и пошла до церкви провожать свою тетю.

Вмѣстѣ съ ними, перегоняя ихъ, въ ту же церковь пошла кухарка съ пасхой на тарелкѣ, завязанной въ салфетку, чтобъ какъ можно скорѣе занять мѣсто на паперти.

— Тетя! ты, пожалуйста, не лѣзь въ толпу: тебя сомнутъ,—проговорила Леля.

— Не сомнутъ,—отвѣчала Кроликова.

— Отчего, тетя, всякій разъ, когда я вхожу въ церковь, мнѣ такъ бываетъ грустно, такъ грустно, что плакать хочется!

— Да когда же ты бываешь въ церкви?

— Да я намедни была; вижу, растворена—я и вошла.

— И къ плащаницѣ прикладывалась?

— Нѣтъ... только такъ мнѣ стало грустно... ты себѣ представить не можешь...

— Ну, не знаю отчего, Господь тебя знаетъ!

Затѣмъ, молча подошли онѣ къ церкви, вокругъ которой несли образа, кресты и хоругви, двигалась густая толпа безъ шапокъ, и въ тихомъ морозномъ воздухѣ горѣли восковыя свѣчи, ярко освѣщая одни только лица; они однѣ выдѣлялись изъ темной, двигающейся массы. Хоръ пѣвчихъ вмѣстѣ съ священниками поднимался на паперть и слышалось церковное пѣніе.

— Ну, прощай тетя,—сказала Леля: я пока накрою столъ и сама все приготовлю.

И Леля, перейдя улицу, пошла домой, озаряемая плошками. Не смотря на то, что было не больше одного градуса мороза, она озябла, такъ какъ была въ одномъ шерстяномъ черномъ платьѣ и черномъ платкѣ, который закутывалъ ей голову, плечи и грудь. Освѣщаемая плошками, скоро добралась она домой, пришла въ кухню, от-

пустила горничную къ заутрени, заперла кухню и затѣмъ зашла въ комнату жилички ихъ, Матильды Тырковой.

Матильдѣ было около 38 лѣтъ, но, судя по лицу, она казалась уже пожилою женщиной; стриженные черные волосы едва покрывали ей шею; одѣвалась она небрежно, носила очки и, когда писала, то горбилась. Полнѣйшее отсутствіе всякаго кокетства или желанія кому нибудь нравиться, казалось, вполнѣ гармонировало съ ея нѣсколько суровой физіономіей. О мужчинахъ была она далеко не утѣшительнаго мнѣнія; но никогда не высказывала своихъ убѣжденій, кромѣ одного, а именно: что отъ словъ до дѣла такъ же далеко, какъ до звѣзды небесной. Когда она произносила эту фразу, она дѣлала безнадежный жестъ кистью правой руки, дескать, «это такъ... не спорьте, спорить не стоитъ!». И, дѣйствительно, жизнь ея была не изъ веселыхъ. Покинутая безъ всякихъ средствъ своимъ замотавшимся любовникомъ, она выкормила двоихъ дѣтей, схоронила ихъ и возилась съ третьимъ. Она горячо любила своего трехлѣтняго мальчугана и, не смотря на это, по-прежнему, не берегла его. Всю зиму бѣгалъ онъ по двору и выбѣгалъ за ворота въ своемъ заячьемъ тулупчикѣ, въ жесткихъ сапожкахъ и ватной шапочкѣ, и когда говорили ей, что онъ можетъ или простудиться, или заразиться на улицѣ отъ чужихъ дѣтей, или попасть подъ колеса, она только махала руками и отвѣчала: «Авось вытерпитъ; а не вытерпитъ... что же дѣлать! Пусть съ дѣтства пріучается проклятую жизнь выносить»... Впрочемъ, и то сказать, никакой возможности не было ей слѣдить за своимъ ребенкомъ или отъ всякихъ случайностей оберегать его; она жила переводами, и не только днемъ, но и ночью не покидала пера и ложилась спать постоянно усталая, измученная.

Когда Леля вошла къ ней въ комнату, ей хотѣлось помѣшать Матильдѣ работать, и хоть для праздника за-

ставить ее положить перо и отодвинуть чернильницу;— но сгорбленная спина Матильды ни на одну минуту не выпрямилась, лѣвая рука по-прежнему лежала на страницахъ раскрытой нѣмецкой книги, а правая не переставала писать, тогда какъ глаза ея, съ припухшими, загноившимися вѣками, бѣгали по строчкамъ, а подстриженные волосы, сзади по воротничку ея манишки, двигались машинально, повторяя однообразные повороты головы ея.

— Какъ это ты можешь такъ переводить! сказала Леля, — смотришь въ книгу и пишешь, даже поправокъ нѣтъ!

— Привычка,—отвѣчала Матильда.

— Я тебѣ не мѣшаю?

— А тебѣ нужно о чемъ-нибудь переговорить со мной?

— Мнѣ всегда хочется съ кѣмъ нибудь поговорить... Что, какъ теперь здоровье твоего мальчика?

— Немножко кашляетъ... но— жару нѣтъ.

— Нѣтъ!

Леля подошла къ ребенку, прикрыла его и пощупала голову. Матильда оглянулась и съ тревожной нѣжностью поглядѣла на постель, гдѣ лежалъ ея Миша, съ закрытыми глазками — но это была одна минута; опять заходило перо въ рукѣ ея и она сказала:

— На Ѳоминой эту книгу я покончу — разумѣется, если не буду сидѣть сложа руки...

Матильда уже славилась какъ скорая и грамотная переводчица; рѣдко была она безъ работы, и многія изъ числа нашихъ труженицъ могли-бы ей позавидовать—она могла въ мѣсяцъ заработать отъ 35 до 50 рублей. Особенно много работы скопилось на рукахъ у ней съ тѣхъ поръ, какъ открылось женское издательское общество, членами котораго были и Леля, и Юлинька Дицъ...

— Господи! какое терпѣнье! какъ можно такъ рабо-

тать! проговорила Леля и пошла хлопотать по хозяйству, которое отчасти лежало у ней на рукахъ—особливо, когда тети ея, Кроликовой, не было дома.

Кузенъ ея, Савелій Дмитріевичъ, въ это время сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, въ туфляхъ, въ сѣромъ суконномъ халатикѣ, и съ боку на столъ поставивъ лампу, читалъ Гейне и дѣлалъ карандашемъ отмѣтки (можетъ быть, собирался писать что-нибудь о нѣмецкой поэзіи).

Онъ едва сознавалъ, что эта ночь—первая ночь Пасхи, и только вслушивался иногда, какъ въ сосѣдней комнатѣ стучали наблучки Лели, какъ звенѣли съ мѣста на мѣсто перекладываемые ножи, вилки и чайныя ложечки; припоминалъ, что въ эту ночь, несомнѣнно, кто-нибудь изъ молодыхъ людей зайдетъ къ нему, — что столъ будетъ накрытъ, и маменька непремѣнно чѣмъ нибудь угоститъ его—можетъ быть, даже крашенное яйцо заставитъ его проглотить на сонъ грядущій.

Какъ характеръ, въ высшей степени недодѣланный, Кроликовъ весь состоялъ изъ противорѣчій: ни чему не вѣрилъ и былъ страшно суевѣренъ,—боялся тринадцати за столомъ, боялся увидѣть съ лѣвой руки молодую луну, боялся трехъ свѣчей, и проч., и проч.; не признавалъ праздниковъ и былъ очень радъ всякимъ такимъ обычаямъ, которые не вынуждали-бы его покидать теплой комнаты, или идти со двора. Такъ, напримѣръ, онъ очень любилъ, чтобъ въ вербное воскресенье кто-нибудь принесъ къ нему пучечекъ вербъ, или чтобъ въ Троицынъ день уголъ его комнаты украсили молодыми березками.

Кроликовъ любилъ семейную жизнь,—а теоретически отрицалъ необходимость семьи; мало того, не будь цензуры, онъ печатно сталъ-бы доказывать, что весь вредъ, все зло происходитъ на землѣ оттого, что есть отцы, матери и дѣти—вмѣсто стариковъ, юношей и младенцевъ! Самъ онъ былъ очень мягкосердый, добродушный юноша,—

а съ перомъ въ рукахъ былъ золъ и безпощаденъ такъ, какъ немногіе; ненавидѣлъ изнѣженныхъ—и былъ изнѣженъ едва-ли еще не больше, чѣмъ Леля, ибо Леля никогда себя такъ не кутала, какъ онъ, и никогда такъ не боялась сквознаго вѣтра, сырости и даже излишней сухости воздуха... Не даромъ Кроликовъ, прежде чѣмъ переѣхалъ на квартиру, во всѣхъ углахъ перековырялъ обои, чтобъ убѣдиться, нѣтъ-ли подъ ними какой-нибудь плѣсени, потомъ на цѣлый день отложилъ свой переѣздъ, испугавшись 13-го числа марта, и цѣлый день зябнулъ въ квартирѣ покойнаго Затаилова, потому что купленныя наканунѣ двѣ сажени дровъ были отправлены уже на новую квартиру (на Знаменскую), а въ старой едва ихъ хватило на то, чтобъ затопить плиту въ кухнѣ да въ его комнатѣ сжечь три полѣна.

Около часа ночи начались звонки въ передней, и Леля со свѣчей въ рукахъ сама отпирала дверь, чтобъ впускать обычныхъ посѣтителей.

Явились Маша Студенецкая, Умековъ, Стихаревъ и другіе. Такимъ образомъ, у Лели, по части накрыванья стола, установки закусокъ и кушаній, самовара и проч., нашлись помощники.

Одна Маша ни въ чемъ не помогала ей. Она усѣлась въ уголокъ на низенькій клеенчатый диванчикъ, сложила ручки—правую въ лѣвый рукавчикъ, лѣвую въ правый—и казалась то погруженною въ мечтательную задумчивость, то спокойно наблюдавшею за всѣмъ, что вокругъ нея дѣлалось. Маленькое, полудѣтское, нелишенное нѣкоторой прелести личико ея молча улыбалось всякій разъ, когда кто-нибудь острилъ или совершалъ какую-нибудь неловкость: ронялъ на скатерть закупоренную бутылку или вмѣсто спирта подъ кофейникъ хотѣлъ налить уксусу. Когда-же Умековъ, забравшись въ кухню, вдругъ запѣлъ пѣтухомъ — она засмѣялась, но засмѣялась такъ, какъ

засмѣялась-бы маменька, любующаяся на шалости дѣтей, что вовсе не шло къ ея личику: она была слишкомъ молода для такого смѣха—смѣха, такъ сказать, со стороны, или смѣха взрослаго человѣка надъ ребяческою выходкой.

Когда уже всѣ блюда и тарелки стояли на столѣ—Стихаревъ, который, по обыкновенію, былъ всѣхъ мѣшковатѣе и молчаливѣе, сказалъ:

— Ну что-жъ, чего дожидаться?—давайте ужинать.

— Подождите же, еще и тети нѣтъ,—замѣтила Леля, вытирая салфеткой какой-то стаканъ, навѣрно плохо вымытый горничной.

— Наконецъ,—сказала Леля,—надо же прежде разговѣться.

— Я не постничалъ,—проговорилъ Стихаревъ.

— Да и я не постничала, и никто не постничалъ.

— Ну, такъ это лицемѣріе или самонадувательство... Не постничали и вдругъ будто-бы перестаемъ постничать!

— А развѣ цѣлый день ничего не ѣсть и вдругъ закусить, не значитъ перестать постничать? замѣтилъ Умековъ, оглянувшись на Стихарева, и при этомъ захвативъ въ свои руки маленькую ручку маленькой Маши.

— Да съ чего вы это взяли?... Я вовсе не такъ ужъ голоденъ...

— Вѣдь онъ у васъ сегодня не обѣдалъ, Елена Александровна?

— Не обѣдалъ.

— Ну, такъ какже?

— Я не для того сюда хожу, чтобъ обѣдать! нѣсколько обиженнымъ тономъ отозвался Стихаревъ.

Стихаревъ, сынъ какого-то дьякона, изъ бурсы поступившій въ университетъ, дѣйствительно былъ бѣденъ, но ровно ничего не дѣлалъ и всегда былъ сытъ. Умековъ не разъ говорилъ ему: «Какъ-же это тебѣ не совѣстно, ты ничего Кроликовымъ не платишь и живешь на ихъ

счетъ, чуть не съ утра у нихъ, — обѣдаешь, вечеромъ чай пьешь и только спать ходишь къ себѣ домой. Неужели у тебя нѣтъ никакихъ занятій, кромѣ одного— любоваться Лелей!»

Стихаревъ сердился, говорилъ, что никому до него дѣла нѣтъ и продолжалъ быть ежедневнымъ посѣтителемъ Кроликовыхъ. Изъ числа знакомыхъ имъ молодыхъ людей, это былъ самый странный, несговорчивый, молчаливый, всегда спокойный по наружности и Богъ вѣсть какими страстями постоянно обуреваемый. Въ послѣднее время даже Кроликовъ едва могъ выносить его. Леля очень хорошо понимала, что̀ значатъ эти долгіе, тускло-пламенные взгляды, которые онъ устремлялъ на нее всякій разъ, когда оставался съ ней наединѣ, и Лелѣ это было не только непріятно — эти неподвижные взгляды были противны ей; иногда, довольно смѣло она выгоняла его изъ своей комнаты, или говорила ему: «Ахъ, какъ вы мнѣ надоѣли!»

Но Стихареву все это было—какъ съ гуся вода!

Ничѣмъ невозможно было ни пронять, ни пропечь его. Только разъ пропалъ онъ дня на два, а затѣмъ опять сталъ появляться каждый день за часъ до обѣда и сидѣть у Кроликовыхъ даже въ ихъ отсутствіи. Не заставъ ихъ, онъ обыкновенно бралъ какую-нибудь книгу, усаживался въ уголокъ и погружался въ чтеніе. Казалось, ему было все равно, что ни читать: ко всякой книгѣ, имъ прочитанной, онъ относился или съ ироніей, или съ пренсбреженіемъ.

Когда Леля занималась математикой или химіей, онъ молчалъ, онъ былъ спокоенъ; но когда она бралась за романъ или повѣсть, онъ говорилъ насмѣшливо:

— Лучше самой жить, чѣмъ читать всякій вздоръ о жизни, состряпанный такими людьми, у которыхъ за душой ничего нѣтъ, кромѣ пустячной фантазіи...

Или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Леля запиралась отъ него или старалась не замѣчать его присутствія. Наконецъ, она привыкла къ нему, какъ привыкаютъ къ мебели; равнодушно сносила его странные взгляды, неожиданныя наставленія и постоянно тупое, молчаливое, надоѣдливое сидѣнье то у нея на кушеткѣ, то въ столовой, или у печки въ комнатѣ Матильды Тырковой.

XLV.

Былъ уже второй часъ ночи.

Кроликовъ все еще сидѣлъ у себя и читалъ, такъ какъ никто изъ гостей не вошелъ къ нему, хотя каждый изъ нихъ и заглянулъ къ нему въ комнату. Леля, убравши столъ, ушла въ свою комнату, вымыла руки и опять пришла. Умековъ, сѣвшій рядомъ съ Машей, все еще держалъ ее за руку, тогда какъ она, положивъ къ нему на плечо свою курчавую головку, изрѣдка снизу вверхъ, черезъ лобъ, съ застывшей улыбкой, увлаженными глазами любовалась имъ.

Леля изрѣдка искоса поглядывала на эту парочку, но никого изъ молодыхъ людей (а ихъ уже было четверо) ни сколько не удивляла романическая поза двухъ влюбленныхъ. Всѣ уже знали, въ какихъ они близкихъ другъ къ другу отношеніяхъ, и знали, что на Ѳоминой недѣлѣ они будутъ обведены вокругъ аналоя, такъ какъ это было единственнымъ средствомъ оправдать послѣдствія ихъ излишней фамильярности.

Умековъ Алексѣй Алексѣичъ воистину былъ красавецъ, и ничего нѣтъ мудренаго, что Маша Студенецкая была до безумія влюблена въ него. Что онъ нашелъ въ ней, почему именно онъ полюбилъ ее, многіе этого не понимали, въ особенности Леля; но кудрявая Маша, хоть

и не была красавицей, все же была хорошенькой; если она и не была очень умна, все же умъ ея способенъ былъ увлекаться, также какъ и ея сердце, и въ добавокъ, въ этой маленькой дѣвушкѣ, съ полудѣтской улыбкой, было гораздо болѣе характера, чѣмъ въ Алексѣѣ Алексѣевичѣ; она инстинктивно поняла, что онъ рыцарь въ душѣ, и сама, по собственной иниціативѣ, увлекла его. Какъ онъ ни боролся, что ни дѣлалъ, воля его не въ силахъ была устоять противъ такого настойчиваго съ ея стороны желанія принадлежать ему. Онъ былъ не богатъ и жилъ уроками, да отецъ, старый профессоръ, иногда помогалъ ему. Умековъ былъ безпеченъ, даже вѣтренъ въ глубинѣ души своей и смотрѣлъ на жизнь не какъ практикъ, а какъ идеалистъ и даже романтикъ. Всякій невольно довѣрялся небольшимъ, впалымъ, но блестящимъ, веселымъ и честнымъ глазамъ его, его мягкозвучному голосу, его молодой улыбкѣ, и никому не приходило въ голову, что никто такъ не обманываетъ себя и другихъ, какъ этотъ Умековъ; у него были рѣдкія способности, большая память и даже начитанность, и онъ воображалъ себя ученымъ, способнымъ занять кафедру; но едва-ли онъ былъ способенъ на долгій, усидчивый трудъ. Бывши студентомъ, онъ безпрестанно пропускалъ лекціи и занимался урывками. Всѣ думали, что онъ реалистъ, позитивистъ, чуть не нигилистъ, онъ и самъ такъ думалъ; но былъ эстетикъ съ ногъ до головы: не даромъ часть своей молодости онъ прожилъ въ Германіи и пропитался ея отвлеченнымъ міросозерцаніемъ, ея теоріями о красотѣ, о любви, объ идеалахъ или высшихъ задачахъ человѣчества. Онъ умно говорилъ, но когда кто нибудь точно также умно возражалъ ему, онъ задумывался и соглашался. Онъ могъ убѣдить васъ, что нѣтъ религіи, и въ то же время, въ глубинѣ души своей, питалъ благоговѣйное изумленіе къ древнимъ пророкамъ, и даже вѣ-

рилъ въ новое, будущее, преображенное христіанство. Цѣлую бездну чего-то мистическаго можно было откопать въ душѣ его. Онъ считалъ себя демагогомъ, пролетаріемъ, и все-таки, появляясь въ обществѣ, казался денди или джентльменомъ, что шло и къ его стройному росту, и къ его бѣлому лицу съ золотистымъ пушкомъ вмѣсто усовъ и эспаньолкой, и къ густымъ русымъ, слабо-вьющимся волосамъ, высоко приподнятымъ надъ высокимъ лбомъ, какъ у Байрона.

Кроликовъ считалъ его въ числѣ своихъ поклонниковъ; но какимъ образомъ тотъ могъ сочувствовать статьямъ его—это было непостижимо для тѣхъ, кто слышалъ его говорящимъ или спорящимъ на вечерахъ, гдѣ собирались молодые люди, или для тѣхъ, кто встрѣчалъ его въ концертахъ или на художественныхъ выставкахъ. Впрочемъ, онъ иногда позволялъ себѣ спорить и съ Кроликовымъ и даже говорилъ ему, что собирается письменно, цѣлымъ рядомъ статей, вступить съ нимъ въ ученую полемику, и никогда не собрался; онъ и самъ не подозрѣвалъ, что писать онъ далеко не великій мастеръ, что онъ пишетъ какъ-то на нѣмецкій ладъ, съ претензіей на глубокомысліе, и для людей, избалованныхъ ясностью и простотой языка, не всегда вразумительно.

Умековъ все-таки мечталъ о какомъ-то колоссальномъ трудѣ, и даже урывками ходилъ въ библіотеку—собирать матеріялы.

Вотъ что былъ этотъ Умековъ, и если къ этому мы еще добавимъ, что, при всемъ своемъ самолюбіи, онъ былъ добрый малый и неизмѣнный товарищъ—мы скажемъ все, что на этотъ разъ можно сказать о немъ.

Про остальныхъ двухъ юношей, которые тоже тутъ были, скажу только, что одинъ изъ нихъ, спустя десять лѣтъ, сдѣлался извѣстнымъ адвокатомъ, а другой, съ худенькимъ, темнымъ еврейскимъ лицомъ, пошелъ драться

за освобожденіе Сербіи, дрался, какъ левъ, и умеръ отъ тяжкихъ ранъ на рукахъ Черняева. Въ этомъ романѣ они не играютъ иной роли, кромѣ роли молодыхъ субъектовъ, втайнѣ неравнодушныхъ къ Лелѣ, вѣрующихъ въ громкую славу Кроликова и тоже слывущихъ почему-то страшными нигилистами.

Не смотря на то, что всѣ эти господа чувствовали волчій апетитъ, глядя на жирный окорокъ, свѣжее масло, сыръ, колбасы, холодную телятину и проч., Леля съумѣла сдержать ихъ нетерпѣніе до тѣхъ поръ, пока не вышелъ изъ кабинета кузенъ ея Савелій. Въ томъ-же халатикѣ, обшитомъ бѣлыми мерлушками и въ теплыхъ туфляхъ появился онъ въ столовой, (она-же зала и гостиная) и, потирая руки, сказалъ: «пора-бы, господа, спать ложиться, а тутъ вишь какіе соблазны разставлены!»

Маша Студенецкая, не вставая съ диванчика, протянула ему руку, поглядѣла ему въ лицо и опять молча прикорнула къ плечу своего, пока еще счастливаго, обладателя.

Вслѣдъ за ней, каждый пожалъ руку Кроликова и также странно поглядѣлъ ему въ лицо: каждому хотѣлось знать—какое впечатлѣніе произвела на него одна статья, въ одномъ изъ нашихъ толстыхъ журналовъ, гдѣ Кроликова смѣшали чуть не съ грязью и даже назвали лягушкой, мнящей быть воломъ. Всѣ знали, что Кроликовъ не могъ равнодушно прочесть этой ядовитой статьи,—но на измятомъ, невзрачномъ лицѣ его на этотъ разъ не было ни слѣда досады или унынья. Великій критикъ былъ въ самомъ благодушномъ настроеніи духа...

— Знаете, Умековъ, что я читалъ сейчасъ?... Гейне! Въ первый разъ я съ нимъ знакомлюсь, какъ слѣдуетъ. Въ политическихъ письмахъ его много неглупыхъ и горячихъ страницъ,—но сатира его... какъ вамъ сказать... собственно у него нѣтъ и не было сатирическаго таланта,

а былъ юморъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ замѣчательный. Что касается до его «Buch der Lieder»—то, хоть вы меня убейте, не понимаю... Всѣ эти «Du Fischermädchen» или «Du meine, Du kleine, Du reine» даже читать совѣстно, точно Фетъ. — И такихъ блестящихъ пустячковъ у него великое множество.

Кроликовъ все это говорилъ такимъ тономъ, какъ будто онъ дѣлалъ великую честь нѣмецкому поэту Гейне тѣмъ, что обратилъ на него вниманіе.

— Правда! подтвердилъ слова его Стихаревъ.

— По моему, его «Buch der Lieder» — одно что останется вѣчнымъ и неувядаемымъ,—замѣтилъ Умековъ

— Все, что живетъ, должно увядать; неувядаемое или по вашему безсмертное — не есть живой организмъ; это просто—фигурка изъ камня, или изъ стекла, или изъ металла...

— Или то, на чемъ лежитъ печать человѣческаго духа,—сказалъ Умековъ.

— Ну!... говорите о чемъ хотите, только не о духѣ,— тутъ я профанъ! смѣясь отвѣтилъ Кроликовъ и, садясь за столъ, добавилъ: надѣюсь, что Гейне не помѣшаетъ мнѣ выпить рюмку желудочной водки и закусить... ну, хоть сыромъ!

— Можно и колбасой,—перебилъ его Стихаревъ, тоже усаживаясь за столъ и вооружаясь вилкой.

— А трихины!? какъ вы объ этомъ думаете?... Это пострашнѣй какихъ хотите разбойниковъ. Хоть и говорятъ, что у русской свиньи ихъ нѣтъ, потому что она не ѣстъ будто-бы падали, — я этого не знаю... Можетъ-быть, эта самая свинья, которая попалась въ эту колбасу, благоденствовала на казенномъ дворѣ медицинской академіи и отъ сторожа анатомической аудиторіи пользовалась подачкой, иначе сказать, пожирала тѣла нашихъ соотечественниковъ или соотечественницъ.

Выслушавъ это вступленіе къ закускѣ, Леля положила себѣ не ѣсть колбасъ. Стихаревъ-же, напротивъ, выпивъ водки, прежде всего насѣлъ на колбасу, чѣмъ и далъ всѣмъ прочимъ примѣръ безстрашія.

XLVI.

Леля ждала свою тетю, ждала кухарку и прислушивалась къ кухонному звонку, такъ какъ, по ея мнѣнію, ранняя обѣдня сейчасъ должна кончиться. Кроликовъ же ждалъ Ефименко; но, вмѣсто Ефименко, явился Минераловъ, и явился совершенно неожиданно.

— Не ожидалъ! воскликнулъ Кроликовъ.

— Я самъ не ожидалъ,—началъ Минераловъ сѣповатымъ голосомъ:—иду, знаешь, вдругъ вспомнилъ, что еще третьяго года, при покойномъ Затаиловѣ, въ эту ночь я зашелъ къ тебѣ, и мы разговѣлись. Пришелъ, господа, душу отвести. «Подъ вѣяньемъ возвратныхъ впечатлѣній». Надѣюсь, что вы меня не прогоните!

Судя по лицу Минералова, можно все-таки было думать, что ему было не совсѣмъ ловко; но вся эта внутренняя неловкость тотчасъ же замѣнилась въ немъ развязностью, какъ только Кроликовъ протянулъ ему руку и какъ только, пожимая руку Кроликова, замѣтилъ онъ бутылку вина и порядочный графинъ водки.

— Ну, милости просимъ, садись,—сказалъ Кроликовъ.

Леля поморщилась, но дѣлать было нечего, подала ему стулъ и ушла въ кухню

Умековъ удивился, что Минераловъ не пьянъ. Вѣрно денегъ пѣтъ, подумалъ онъ и молча взглянулъ ему въ глаза своими свѣтлыми глазами.

— Отчего онъ, точно охрипъ? шепнула ему Маша.

— Оттого, что деньги всѣ до единой копѣйки пропиты.

Леля очень кстати появилась въ кухнѣ; не успѣла она взглянуть на самоваръ, какъ звякнулъ у двери колокольчикъ и она впустила съ задняго крыльца не только кухарку, но и тетю свою. Поцѣловалась, поболтала съ ними и побѣжала звать Матильду пасху ѣсть.

— Пожалуйста, перестань писать, пожалуйста! говорила Леля, теребя ее за рукавъ.

— Сейчасъ, сію минуту. Кто тамъ у васъ?

— Вообрази, Минераловъ!

Матильда перестала писать и какая-то тѣнь прошла у ней по лицу, при имени Минералова. Она вспомнила, какъ отецъ дѣтей ея кутилъ вмѣстѣ съ этимъ Минераловымъ и какъ разъ онъ ночевалъ у нея на полу, лежа въ безчувственномъ состояніи. Она почему-то считала Минералова однимъ изъ виновниковъ ея тяжелаго одиночества; иначе сказать, ей почему-то воображалось, что именно этотъ человѣкъ сбилъ, окончательно сбилъ съ толку того, для котораго она всѣмъ пожертвовала и о которомъ не могла вспомнить безъ внутренняго содроганія...

— Развѣ Савелій Дмитріевичъ приглашалъ его? спросила Матильда, вытирая перо и приводя въ порядокъ свои бумаги. Столъ ея постоянно былъ въ гораздо большемъ порядкѣ, чѣмъ она сама, ея костюмъ и прическа.

— Ну, пойдемъ... я его не боюсь, я и цѣлой стаи такихъ, какъ онъ, не боюсь... Пойдемъ.

И, похлопавъ ладонями по своему коричневому съ бѣлыми полосками, чуть-ли не ситцевому, платью — Матильда заложила свои волосы за уши и, стараясь выпрямиться, вышла въ столовую.

Всѣ молча поклонились ей; Минераловъ сначала какъ будто не узналъ ея, потомъ, услыхавъ ея голосъ, обратилъ на нее вниманіе, выпучилъ глаза и извинился, что не узналъ.

— Сильно вы постарѣли, Матильда Сергѣевна!

— А вы опухли,—отвѣчала Матильда.

— Я бы васъ не узналъ!

— Да и я бы васъ не узнала...

Въ эту самую минуту раздался новый звонокъ. Стихаревъ пошелъ отворять дверь, такъ какъ Леля, стоя въ это время передъ кипящимъ самоваромъ, заваривала кофе... и въ комнатѣ появился Ефименко, любимецъ Кроликова, большой руки чудакъ и говорунъ.

— Ба, даже Минераловъ! Какими судьбами? прозвенѣлъ голосъ Ефименко.

— А вотъ,—заговорилъ Кроликовъ,—не успѣлъ онъ за столъ сѣсть, какъ уже три рюмки водки выпилъ.

— Хвалю...

— Разумѣется...

— А ты вотъ что, Ефименко,—перебилъ Кроликовъ,—возьми ты этотъ графинъ и, подальше отъ соблазна, унеси его куда нибудь, да такъ запрячь, чтобъ онъ никоимъ образомъ не могъ отыскать его.

Минераловъ засмѣялся и въ то же время покосился на хозяина.

— Я-то не отыщу! На днѣ моря... ей Богу! Удивительные вы, право, люди... Возможно-ли это, чтобъ Минераловъ ради праздника не напился...

— Да какой для васъ сегодня праздникъ? сказалъ Умековъ:—развѣ вы христіанинъ, чтобы праздновать Свѣтлое Христово Воскресеніе!

— Да отчего же не праздновать! Положимъ, я не христіанинъ, такой же, какъ и вы, но я русскій человѣкъ—простой русскій человѣкъ, и то, что русскій народъ празднуетъ, я тоже долженъ праздновать: у меня съ нимъ одна душа,—онъ напивается и я напиваюсь. Какъ вы этого не понимаете!

— А когда онъ молится, вы молитесь? спросилъ его Умековъ.

— Да когда же онъ молится! Онъ только лобъ свой креститъ! Развѣ я не знаю... Ефименко, другъ ты мой любезный, не уходи, постой! Посуди ты самъ, возможноели это дѣло, чтобъ столъ порядочныхъ людей былъ безъ водки! Да вѣдь это то же, что халатъ безъ ваты, или рифмы безъ стиховъ... или, еще вѣрнѣе,—это тоже, что жители планетъ безъ Страхова или Страховъ безъ жителей планетъ...

Кроликовъ захохоталъ.

— Ефименко! пожалуйста, не слушай ты этого великаго критика и въ то же время добрѣйшаго и цѣломудреннѣйшаго изъ смертныхъ, верни графинъ и водвори его на прежнемъ мѣстѣ жительства.

— Ни, ни! пробормоталъ Кроликовъ.

Ефименко унесъ графинъ. Минераловъ налилъ себѣ стаканъ краснаго вина и замолкъ.

— Вотъ и мамаша пришла, и видишь, братъ Минераловъ, какая пасха! Никогда ты такой пасхи даже не нюхалъ, а что касается до водки, то сиди и жди.

— А! если сказано «жди», то я готовъ, я ужасно люблю ждать,—разумѣется, въ полной увѣренности чего нибудь дождаться... Вотъ отъ издателя и редактора Фіялкина сколько ни жди—ни толку, ни славы, ни денегъ—ничего! Помѣшался на сороковыхъ годахъ, а сороковые-то года и знать его не хотятъ. Ни Тургеневъ, ни Гончаровъ, ни Григоровичъ—никто и не думаетъ украшать его своими лаврами, тоже говорятъ ему «жди». Вотъ онъ и будетъ ждать—подождетъ, подождетъ, да и лопнетъ!

Опять всѣ захохотали, кромѣ женщинъ, особливо Матильды; ей было даже тяжело думать, что этотъ Минераловъ, такъ сказать, сдѣлался душой всего молодого

общества, что онъ одинъ всѣхъ занимаетъ и веселитъ болтовней своей.

— А я, господа,—началъ Ефименко, какъ бы заражаясь этой болтовней,—а я, когда шелъ сюда, встрѣтилъ нѣчто въ родѣ привидѣнья.

— Гдѣ? спросилъ Кроликовъ; онъ не вѣрилъ никакимъ привидѣньямъ и все таки боялся ихъ.

— Да у васъ на дворѣ. Ей-ей! Иду, знаете, вдругъ вижу у дровъ, прямо противъ вашихъ оконъ, стоитъ какая-то темная фигура и не двигается... Что же, думаю, будь это какой нибудь жилецъ изъ дома или гость какой нибудь, зачѣмъ бы ему стоять и не двигаться. Я, разумѣется, тотчасъ же къ нему направилъ шаги свои; вижу... въ шляпѣ, въ пальто и въ бѣлыхъ перчаткахъ, одѣтъ по модѣ—значитъ, если и покойникъ, то не изъ очень давнихъ, можетъ быть, только вчера еще въ землю зарыли и даже креста надъ нимъ поставить не успѣли. Ну-съ, подхожу я, гляжу на него—и онъ глядитъ!

— Ну, и что же? перебилъ его Умековъ.

— Онъ на меня—а я на него, глаза такъ и свѣтятся; я, признаюсь вамъ, тотчасъ-же направо кругомъ—маршъ!

— Струсили? спросилъ Кроликовъ.

— Ну да; представьте вы себѣ, еслибъ вдругъ да это привидѣнье дало мнѣ затрещину!.. Ха, ха! Не драться же мнѣ съ нимъ!..

— Кто бы это могъ быть? подумалъ Стихаревъ.

— А карету видѣли у воротъ? спросила Кроликова.

— Кареты не замѣтилъ.

— А какое у него было лицо, вы не замѣтили? спросила Леля.

— Продолговатое, съ продолговатымъ носомъ и блѣдное.

— А! это, должно быть, Пулькинъ,—всплеснувъ ру-

ками, засмѣялась Леля: — ахъ, милый! это непремѣнно онъ.

— Какой такой Пулькинъ? пробормоталъ Стихаревъ.

— А... Пулькинъ! воскликнулъ Минераловъ — это не тотъ-ли, что наслѣдство получилъ? Ха! можетъ быть, онъ и добрый малый, чортъ его побери! но пороху не выдумаетъ... Можете вообразить, я вѣдь чуть было съ нимъ не связался. Получилъ онъ тамъ какія-то чертовскія деньги—и что же, вы думаете, затѣялъ? Хочу, говоритъ, издавать журналъ... Ну, представьте себѣ: этакій какой нибудь стрекулистъ Пулькинъ, и вдругъ—редакторъ! Какъ вамъ это нравится? До чего мы дошли! Я, разумѣется, тотчасъ окатилъ его холодной водой и сказалъ: не лучше-ли будетъ, милѣйшій мой другъ, если вы пошлете за водкой? Онъ такъ и сдѣлалъ... Я же всегда былъ того правила, что лучше синицу въ руки или рюмку водки, чѣмъ журавля въ небѣ...

Минераловъ разсказалъ это въ полной увѣренности, что именно такъ и было. Онъ рѣшительно не помнилъ, самъ ли онъ предложилъ Пулькину издавать журналъ, или Пулькинъ предложилъ ему. Все это давно уже, вмѣстѣ съ винными парами, вылетѣло изъ головы его. Онъ только и помнилъ, что былъ у какого-то Пулькина (на имена у него была большая память) и что что-то такое, о какомъ-то журналѣ съ нимъ бесѣдовалъ, потомъ пилъ чай, потомъ водку пилъ...

— Не Саша-ли Пулькинъ? спросилъ Умековъ.

— Какъ! и вы его знаете? удивилась Леля, допивая чашку своего кофе.

— Да, лѣтъ пять тому назадъ я зналъ одного Пулькина... Какъ теперь помню: служилъ онъ на Васильевскомъ острову въ одной конторѣ и все мечталъ поступить въ университетъ, и ужъ я не знаю, что помѣшало—испугался-ли онъ экзаменовъ, или *матрикулъ?* Даже

помню, какъ его полицейскіе прогнали отъ университетскихъ воротъ, въ то время, какъ тамъ, на дворѣ, у насъ была сходка. Много тогда молодежи лѣзло къ намъ,— всѣмъ хотѣлось подъ арестъ попасть; я даже знаю одного юношу, который чуть не плакалъ, узнавъ, что насъ забрали въ крѣпость, а онъ не попалъ. Зубы у него заболѣли, — остался онъ дома, да и прозѣвалъ удобный случай.

Кто-то при этомъ спросилъ — во вторникъ или въ среду будетъ Ломоносовскій юбилей? И завязался общій разговоръ о значеніи Ломоносова. Кроликовъ при этомъ глубокомысленно замѣтилъ, что юбилей этотъ вовсе неумѣстенъ, ибо Ломоносовъ былъ великъ не тѣмъ, что онъ былъ ученый, и не тѣмъ, что первый написалъ оду ямбами, а тѣмъ, что первый изъ русскаго народа протестовалъ противъ нѣмецкихъ порядковъ и былъ буяномъ. Съ какой-же стати офиціальный юбилей и Майковскіе стихи, когда онъ былъ буянъ и протестантъ, котораго всѣ боялись!...

Умековъ сказалъ на это, что впервые отъ роду слышитъ такое мнѣніе о Ломоносовѣ, и что онъ непремѣнно постарается его провѣрить.

Затѣмъ перешла рѣчь на диссертацію Неклюдова и на то, нужно-ли идти къ нему на диспутъ—чтобъ поддержать его въ случаѣ, если на него нападутъ *офиціозусы*...

— Я бы на одно напалъ,—замѣтилъ Кроликовъ.

— На что?

— На выраженіе «уголовное право». Можетъ ли быть право уголовнымъ? Вѣдь *уголовный* значитъ преступный? Не правда-ли?

— Нисколько... помилуйте! возразилъ юноша, будущій (или лучше сказать теперешній) адвокатъ. Уголовное дѣло—конечно, будетъ значить преступное дѣло, но уголовное право это не то-съ — это значитъ право преслѣдовать или карать нарушеніе закона.

Поднялся споръ. Кроликовъ даже сослался на лексиконъ Даля, гдѣ сказано, что самый глаголъ «*уголовить*» значитъ «обидѣть», «лишить права»—какимъ же образомъ уголовное, то есть лишающее правъ, можетъ быть правомъ!

— Очень можетъ быть. Почему-же не можетъ быть право—лишающее правъ, то есть уголовное?

Богъ знаетъ, до котораго-бы часу тянулся этотъ споръ, еслибъ вдругъ не звякнуло въ передней. Кто-то позвонилъ.

Всѣ притихли и оглянулись на окна. На дворѣ было уже утро.

Ни Марфы Сергѣевны Кроликовой, ни Матильды уже не было въ комнатѣ (онѣ ложились спать) — была одна Леля. Она была страшно утомлена и вздрогнула, когда услыхала звонокъ.

Минераловъ разомъ допилъ бутылку вина.

Ефименко побѣжалъ отворять дверь.

И вотъ, вся вѣющая утреннимъ холодомъ, съ румянцемъ на блѣдно-желтомъ, точно восковомъ лицѣ, на порогѣ появилась Юлинька Дицъ—въ синемъ бурнусѣ, въ черномъ атласномъ капорѣ и съ большой плетеной корзинкой въ рукахъ.

Всѣ удивились, засуетились, обрадовались, и даже Кроликовъ сталъ извиняться, что онъ въ халатѣ.

Леля такъ и бросилась къ ней.

— Здравствуйте! Но я не къ вамъ.... Кто ѣдетъ со мной на Выборгскую сторону?

— Я ѣду,—отвѣчалъ Умековъ.

— А кто же проводитъ Машу? спросилъ Ефименко

— Вы проводите.

— Не безпокойтесь, она останется у насъ ночевать,— сказала Леля.

— Юлія! зачѣмъ ты туда?...

— Ты знаешь... отвѣчала Дицъ.

— Да какъ же ты достучишься?

— Они уже знаютъ, что на зарѣ я пріѣду къ нимъ.— Не сюрпризы же дѣлать... они ждутъ меня...

Умековъ пошелъ въ переднюю надѣвать свою шинель и калоши.

Маша не сказала ему ни слова, даже не проводила— но она точно проснулась и удивленными глазами глядѣла на Юлиньку.

Юлинька поглядѣла на Минералова, который замѣтно сконфузился при ея появленіи.

Вообще, появленіе Дицъ произвело какое то электрическое, возбуждающее дѣйствіе на всю молодую компанію.

Леля побѣжала въ свою комнату, принесла въ зажатой рукѣ десяти-рублевую депозитку и передала эти деньги въ руки Юлинькѣ.

Дицъ вынула изъ кармана портмоне—и при всѣхъ положила въ него эти деньги...

Замѣтивъ это, каждый пошарилъ у себя въ карманѣ— даже Стихаревъ, который очень хорошо зналъ, что у него въ карманѣ давно уже ни гроша нѣтъ.

Кроликовъ тоже, запахнувъ халатъ свой, пошелъ за деньгами.

Юлинька Дицъ улыбнулась. И—странное дѣло! Эта улыбка не шла къ ея скуластому, круглому личику съ большими сѣрыми глазами, съ большимъ ртомъ и маленькимъ носикомъ. Въ ея улыбкѣ было что-то, если не кошачье, то львиное. Ея смѣхъ какъ будто говорилъ: «я смѣюсь, да,—но не забудьте, что я и кусаюсь».

Не даромъ молодые люди не только любили ее, но и побаивались. Она, какъ говорятъ, умѣла очень ласково выгнать отъ себя всякаго, кто ей почему либо не нравился.

Говорятъ, что Минераловъ не смѣлъ уже и заглядывать къ ней съ тѣхъ поръ, какъ она, узнавъ о немъ *кое-что*, чего, впрочемъ, она не хотѣла никому разсказывать,—

тонко при всѣхъ дала ему понять, что ей «кое-что» извѣстно. Этого намека никто не понялъ, кромѣ Минералова,—и съ тѣхъ поръ онъ зналъ уже, что вся его репутація, и какъ человѣка, и какъ литератора,—въ ея рукахъ.

Нечего и говорить, что эта Юлинька, оригинальная и въ то же время сильная дѣвушка, подчинила себѣ Лелю до такой степени, что та, не посовѣтовавшись съ ней, ни на что бы не рѣшилась, и мы это сами увидимъ впослѣдствіи.

Когда Дицъ уѣхала, Маша Студенецкая простилась съ Лелей и сказала, что она ночевать у нея не останется. Леля тотчасъ же ушла къ себѣ въ комнату, заперлась и съ полчаса просидѣла съ закрытыми глазами, прежде чѣмъ легла спать.

Ефименко, прежде чѣмъ проводить Машу, долженъ былъ все-таки принесть графинъ водки и дать Минералову проглотить еще рюмочки двѣ-три, съ тѣмъ, чтобы тотъ успокоился и отправился восвояси или куда ему угодно. Наконецъ, вся компанія вышла на улицу.

Это было почти въ тотъ самый часъ, когда Пулькинъ на улицѣ бесѣдовалъ съ Дыминымъ и когда, распростившись съ нимъ, ѣхалъ домой, а день безъ тучъ и солнца, съ какими-то туманно-перламутровыми, розовыми отливами, сіялъ надъ утомленнымъ и засыпающимъ городомъ.

XLVII.

7-го апрѣля, въ среду на Святой недѣлѣ, въ 6-мъ часу вечера, когда еще на улицахъ было свѣтлехонько, въ парадныхъ покояхъ и бальномъ залѣ дворянскаго собранія уже горѣли всѣ до единой люстры, заливая потоками свѣта и ряды бѣлыхъ, лоснящихся колонъ, и темную, разомъ нахлынувшую и разсыпавшуюся публику.

лигентная публика; даже Пулькинъ—и тотъ тутъ былъ.

Цѣлые лѣса высокихъ южныхъ деревьевъ, лимонныхъ, лавровыхъ и померанцовыхъ, группировались между колоннъ или тѣснились по угламъ галлерей, идущихъ кругомъ всего зала подъ хорами. И не казалось ли имъ, что яркое, родное солнце начинаетъ пригрѣвать ихъ жесткіе, темно-зеленые, пахучіе листья, и не казалось-ли публикѣ, что она, подъ громовые звуки оркестра и стоголосаго хора, вступаетъ, если и не въ Эдемъ, то хоть въ такой уголокъ земного пространства, гдѣ нѣтъ ни скорби, ни печали, ни воздыханія...

Во всю длину и ширину паркета были разставлены обѣденные столы, а на столахъ стояли зажженные канделябры, вазы съ цвѣтами и вазы съ фруктами. Около восьмисотъ приборовъ приглашали почтенную публику занимать мѣста и услаждать не только желудокъ свой, не только зрѣніе и слухъ, но и обоняніе. И сдержанно жужжа, улыбаясь, шаркая ногами, пяля глаза, сморкаясь и покашливая, публика тотчасъ же усѣлась за приборы, безъ малѣйшей толкотни и безпорядковъ, о чемъ и было на другой же день заявлено въ газетахъ, небезъ патріотизма и не безъ удивленія...

Нечего и говорить, до какой степени праздничносвѣтло было въ этомъ громадномъ залѣ, и какое множество было тутъ лакеевъ въ бѣлыхъ перчаткахъ и бѣлыхъ галстукахъ.

Только угловыя лѣстницы, ведущія на хоры, находились какъ бы въ тѣни; но за то шлейфы, дорогіе шлейфы нашихъ дамъ то и дѣло подметали чугунныя ступеньки ихъ.

Въ этотъ разъ нельзя было не замѣтить, пробѣгая опытными глазами во всю длину столовъ, съ одного угла до другого, что въ залѣ дворянскаго собранія присутствуетъ самая отборная, передовая, богатая или интел-

И не даромъ.

На возвышенномъ пьедесталѣ, передъ драпированной каѳедрой, возвышался бюстъ Ломоносова, увѣнчанный лаврами. Это былъ столѣтній юбилей его, праздникъ, въ которомъ принимали участіе почти всѣ, начиная съ министровъ и городского головы, и кончая авторомъ сего повѣствованія, вмѣстѣ съ его героемъ, Александромъ Васильевичемъ Пулькинымъ.

Я готовился читать стихи, Пулькинъ готовился не слушать ихъ и кричалъ ура! при всякомъ удобномъ случаѣ.

Еслибъ я былъ фельетонистомъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» 1865, я, конечно, подробно описалъ бы вамъ, какъ сладко звучалъ и лился голосъ Никольскаго и какъ мягко-звучный басъ Петрова пѣлъ: «Борода-ль моя, бодушка». Я не пропустилъ бы ни рѣчей, ни чтенія стихотвореній, ни полученныхъ депешъ по телеграфу, ни тостовъ, ни криковъ ура! ни рукоплесканій, ни блюдъ—настоящихъ русскихъ блюдъ: крапивныхъ щей съ ватрушками, рыбы изъ Ладоги, рябчиковъ изъ Архангельска...

Но я не фельетонистъ, къ великому моему сожалѣнію.

Впрочемъ, все это было и все прошло... «Однихъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече»... Вѣчны однѣ только мелкія людскія страстишки, надежды и желанія, и та борьба, безъ которой никто еще не прожилъ на свѣтѣ, борьба съ колыбели до гроба, борьба не изъ-за того, за что боролся Ломоносовъ и за что будутъ бороться наши будущіе Ньютоны и Платоны, которыхъ онъ напророчилъ намъ, а борьба изъ-за личныхъ разсчетовъ, борьба самолюбій, тщеславія и сребролюбія... Великое хоть и временно, но не безслѣдно; пошлое вѣчно, но ежедневно, безъ всякаго слѣда, исчезаетъ изъ нашей памяти.

Пулькинъ не безъ труда досталъ себѣ билетъ на этотъ юбилейный праздникъ и, съ замѣтнымъ апетитомъ

выпивъ рюмочку водки, сѣлъ за столъ и принялся ѣсть; только въ антрактахъ между блюдами, заложа руку за спинку стула и поворачивая носъ свой къ каѳедрѣ, слушалъ, что читаютъ или какой провозглашается тостъ гдѣ-то на серединѣ залы, какимъ-то эхо-подобнымъ, неуловимымъ голосомъ, и когда всѣ кричали: ура! онъ тоже кричалъ ура! и когда всѣ стучали стульями объ полъ или ножами объ стаканы,—тоже стучалъ, невольно поддаваясь общему одушевленію или торжественно-праздничному настроенію.

Вотъ онъ, уже почти въ концѣ обѣда, съ особеннымъ удовольствіемъ принялся прохлаждать свое горло мороженнымъ пуншемъ изъ морошки и спряталъ въ карманъ, вчетверо сложивъ, тотъ листъ бумаги, на которомъ были оттиснуты самыя знаменательныя сцены изъ жизни Ломоносова и напечатаны стихи «Слава», вмѣстѣ съ росписаніемъ тостовъ, рѣчей, стиховъ, музыкальныхъ пьесъ, пѣнія и подаваемыхъ кушаній. Ему очень хотѣлось сохранить этотъ листокъ на память, а онъ уже зналъ, что у одного изъ его застольныхъ сосѣдей точно такое же *меню* исчезло, такъ сказать, въ одно мгновеніе ока; не успѣлъ онъ выпить бокала съ шампанскимъ, не успѣлъ вытереть салфеткой усы свои, глядь, какъ уже и нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ... ни на столѣ, ни подъ столомъ.

Да и кто же зналъ, что на хорахъ сидящія дамы безпрестанно посылали своихъ знакомыхъ кавалеровъ внизъ, непремѣнно достать для нихъ или утащить это живописное меню, и что это меню, какъ истинно художественное произведеніе (въ своемъ родѣ), было въ числѣ предметовъ почти на столько же интересующихъ публику, какъ и стихи, и музыка.

Но не успѣлъ Пулькинъ доѣсть еще своего мороженаго, какъ кто-то сзади назвалъ его по фамиліи.

— Это вы, Пулькинъ?

Пулькинъ встрепенулся и повернулся на стулѣ.

— Извините,—сказалъ онъ,—лице очень... даже очень знакомое... но... Ахъ! да!.. ну да, да... это вы! Вотъ гдѣ, наконецъ, мы встрѣтились... Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Но какъ это вы меня узнали? Вы же такимъ сдѣлались красавцемъ... что я гляжу и едва вѣрю глазамъ...

Передъ Пулькинымъ стоялъ Умековъ, несомнѣнно одинъ изъ распорядителей на юбилейномъ праздникѣ, такъ какъ онъ былъ съ трехцвѣтной кокардою въ петлицѣ фрака.

— А я васъ тотчасъ же узналъ, хоть вы и перемѣнились.

— Только, извините, гдѣ и когда мы съ вами познакомились?

— А еще въ 60-мъ году, на Васильевскомъ островѣ... Помните... вы занимались въ конторѣ...

— Ахъ да... у Пухлидзевыхъ... да, да!.. Я еще не забылъ, какъ эта самая мадамъ Пухлидзева, всякій разъ когда кой-кого поджидала, посылала меня пирожки покупать на Невскій, въ какую-то греческую пекарню, и я, какъ дуракъ, съ 14-й линіи Васильевскаго острова дралъ, бывало, высуня языкъ, къ Аничкину мосту на Невскій, а съ Невскаго опять въ 14-ю линію, чтобъ не опоздать къ чаю... Очень хорошо я это помню-съ. Вы тогда еще ухаживали за этой Пухлидзевой.... Гдѣ она теперь?

Все это проговорилъ Пулькинъ, весело скаля зубы, и, дѣйствительно, ему было очень пріятно въ такой массѣ незнакомыхъ лицъ встрѣтить лице нѣсколько знакомое.

— А Богъ ее знаетъ, гдѣ она; говорятъ, бросила мужа и куда-то уѣхала, а куда—это не интересно!

— Конечно, не интересно... а тогда... Сознайтесь, вѣдь это вы нарочно посылали меня въ такую даль, чтобъ

оставаться съ ней вдвоемъ, въ ожиданіи самовара и пирожковъ... А?

Умековъ засмѣялся. — Мало ли что было! Помню, я оставался съ ней вдвоемъ нарочно для того, чтобъ читать ей нотаціи, но всѣ мои нотаціи кончились тѣмъ, что ея мужъ чуть не убилъ меня! Никогда не забуду, какъ я сидѣлъ у ней въ платяномъ шкапу и чуть не задохся! Все это, конечно, и воспоминанія не стоитъ,— просто увлеченія юности.

— Да теперь-то развѣ вы не увлекаетесь?

— Э! теперь иное-съ! Водевиль кончился, началась драма... Теперь любовь—это и борьба, и отвѣтственность, и, въ концѣ концовъ, такая проза, какой ни въ одинъ журналъ не примутъ... Приноси и себя въ жертву, если для тебя чѣмъ-нибудь жертвуютъ; хоть и увѣряютъ, что жертвъ нѣтъ и не должно быть, но, въ сущности, онѣ только тогда и не замѣчаются, когда взаимны. Прошло-съ то блаженное время, когда каждая грязная юбка была магнитомъ. Не знаю, какъ вы, а я совсѣмъ солиднымъ человѣкомъ сталъ; если же иногда и безумствуешь, то иначе... сознаешь, что даже и въ этомъ безуміи, рано или поздно, нужно будетъ отчетъ отдать... Не то... совсѣмъ не то, не тѣ мотивы и не тѣ варіаціи...

Новый тостъ за процвѣтаніе наукъ и литературы не далъ договорить ему. Новый тушъ и новые крики—ура!

Пулькинъ поднялъ бокалъ свой, прокричалъ тоже ура! но на этотъ разъ не стучалъ уже стуломъ, и едва затихъ громъ, обратился къ Умекову съ вопросомъ: гдѣ онъ и что онъ дѣлаетъ?

— Я по большей части учительствую,—отвѣчалъ Умековъ:—а мы недавно объ васъ говорили...

Тутъ, очевидно, Умековъ вспомнилъ разсказъ Ефименко о томъ, какъ онъ на дворѣ видѣлъ привидѣніе, и какъ Леля вообразила, что это никто иной, какъ Пуль-

кинъ. Онъ выдвинулъ впередъ лице и въ тонко-саркастическую улыбку сложилъ уста свои.

— Да, мы объ васъ говорили!

— Гдѣ?

— У Кроликовыхъ...

— А вы ихъ знаете?!.

— Еще бы не знать! Всю пасхальную ночь провелъ у нихъ.

Пулькинъ пересталъ скалить зубы.

— А я... я съ ними едва знакомъ... былъ только разъ у Елены Александровны Затаиловой...

Умековъ, не переставая загадочно улыбаться, еще пристальнѣе сталъ глядѣть на Пулькина...

— Мнѣ очень совѣстно, что я на праздникахъ такъ завертѣлся, что не успѣлъ ее поздравить... Здорова ли она?

— Она здѣсь...

— Здѣсь! чуть не вскрикнулъ Пулькинъ — и уже глаза его забѣгали по неровному ряду лицъ и шляпокъ, какъ цвѣты, повиснувшихъ съ хоръ между колоннами.

— Вонъ, въ томъ углу... видите?

Пулькину было очень досадно, что онъ забылъ взять бинокль; сколько онъ ни глядѣлъ въ ту сторону—ничего не видѣлъ, кромѣ пёстрыхъ и свѣтлыхъ пятенъ, обозначавшихъ женскія лица; онъ хоть и не носилъ очковъ, но скорѣе былъ близорукъ, чѣмъ дальнозорокъ.

— Хотите, я васъ къ нимъ проведу?

— Съ большимъ удовольствіемъ.

Пулькинъ утеръ ротъ салфеткой, и уже увѣренный, что стула его никто не займетъ, пошелъ на хоры, вслѣдъ за Умековымъ.

Леля тоже не ожидала видѣть Пулькина—онъ сидѣлъ къ ней спиной, да еще въ другомъ, противоположномъ концѣ зала, ближе къ музыкѣ. Она была не одна — съ

ней были Маша Студенецкая и Стихаревъ. Хотя она и вида не показала, что обрадовалась,—но по разсѣянности пожала руку не только Пулькину, но и Умекову, съ которымъ уже видѣлась.

Стихаревъ сидѣлъ поотдаль, на скамьѣ, и, по-видимому, на начавшійся разговоръ между Лелей и Пулькинымъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія, но все замѣчалъ и все видѣлъ.

— А гдѣ-же Савелій Дмитріевичъ? спросилъ Пулькинъ Лелю.

— Зачѣмъ ему тутъ быть? замѣтилъ Умековъ:—онъ не любитъ ничего офиціально-торжественнаго— это его коробитъ.

— А васъ не коробитъ? спросила Маша.

— Нисколько.

— И даже эти стихи?

— Они гармонируютъ съ общимъ настроеніемъ, а вы знаете, я люблю гармонію.

— А вы музыкантъ? спросилъ его Пулькинъ.

— Не музыкантъ, но я понимаю музыку.

— Вы ужасный нѣмецъ,—замѣтила Маша и, покосившись на него, снисходительно усмѣхнулась.

— А какъ вы встрѣтили праздникъ? обратилась Леля къ Пулькину и почему-то смутилась.

— Очень грустно,—отвѣтилъ Пулькинъ и тоже почему-то сконфузился.

Никогда еще Леля не казалась ему такой красавицей, какъ среди этихъ бѣлыхъ колоннъ и этого изобилія свѣтящагося газа. Тончайшая, фарфоровая голубизна подъ ея глазами сливалась съ такимъ же тончайшимъ румянцемъ щекъ ея отъ духоты и жара; тонкія ноздри казались прозрачными, улыбка восхитительной, глаза — Богъ ихъ вѣдаетъ, какого они были цвѣта — не то свѣтлые отъ рефлекса колоннъ и огня, не то темные отъ длинныхъ

рѣсницъ. И какъ они глядѣли, эти глаза! Никогда еще такъ не глядѣли они на Пулькина: и скромно, и вопросительно, и понятно, и загадочно. Подозрѣвала-ли сама Леля, какъ она кокетничала въ этотъ вечеръ, на этихъ хорахъ, и какое сильное впечатлѣніе, какую усиленную заразу въ сердцѣ унесетъ Пулькинъ, о разныхъ пустякахъ поговоривши съ ней.

— А не знаете-ли,—спросила Леля,—гдѣ мнѣ достать вонъ точно такой-же расписной листикъ, какъ у той барыни съ краснымъ галстучкомъ...

— Очень хорошо знаю-съ, гдѣ достать,—и онъ вынулъ изъ кармана то самое меню, которое почему-то хотѣлъ сохранить на память...

Леля взяла бумагу, еще теплую отъ теплоты его тѣла, развернула ее и стала разсматривать.

Въ это время на кафедрѣ появился невысокаго роста пожилой человѣкъ, съ гладко выбритымъ подбородкомъ, съ небольшою лысиной, разумѣется во фракѣ и въ бѣломъ галстухѣ, и не снимая бѣлыхъ перчатокъ, сталъ развертывать листъ бумаги. Затѣмъ, проговоривъ нѣсколько словъ, онъ сталъ читать.

— Кто это? спросила Леля.

— Не знаю-съ,—отвѣтилъ Пулькинъ.

— Это Гончаровъ,—сказалъ Умековъ.

— Тотъ, что Обломова написалъ?

— Тотъ самый.

Леля приставила къ глазамъ лорнетъ... Мертвая тишина разлилась по залѣ. Гончаровъ читалъ стихи Розенгейма.

Подъ новый громъ кликовъ и рукоплесканій, Пулькинъ поймалъ маленькую ручку Лели, поймалъ ея долгій, пристальный взглядъ и сошелъ внизъ точно отуманенный. И бѣда быть влюбленнымъ! Пулькинъ прозѣвалъ одно изъ самыхъ лакомыхъ блюдъ: жареные каплуны, дрозды,

перепела и подорожники пролетѣли мимо, и только въ носу его слегка пощекотали своимъ вкуснымъ запахомъ. Онъ вернулся къ столу, когда лакеи убирали уже объѣдки жаркого и очень былъ радъ, что послѣднимъ блюдомъ было тоже мороженое, стало быть прохладительное .. а сердце у него такъ билось, что немножко охолодить его не мѣшало.

— А какъ было-бы хорошо,—думалъ Пулькинъ, погруженный въ любовныя мечты и поѣдающій мороженое,— какъ было-бы хорошо, еслибъ у меня и на этотъ разъ была нанята карета!.. Еще, пожалуй, дождь идетъ... вотъ было-бы кстати предложить ей свой экипажъ... Эхъ!.. Разсказывали мнѣ про какого-то Фуфайчикова... Былъ онъ влюбленъ... и другой тоже былъ влюбленъ въ ту же самую барыню. Разъ, съ какого-то гулянья загороднаго, въ дождь, онъ довезъ эту барыню въ своемъ собственномъ кабріолетѣ, и соперникъ, къ которому она была неравнодушна, остался съ носомъ... Повидимому, пустяки это—свой экипажъ, а въ любви... это тоже не пустяки. Будь тутъ хоть Платонъ, хоть Невтонъ—любой франтъ съ деньгами по женской части заткнетъ ихъ за поясъ. А какъ чертовски хороша эта Леля!.. Неужели кромѣ меня никто не влюбленъ въ нее? Неужели... Впрочемъ, если она не кокетка, она меня любитъ; развѣ можетъ такими выразительными глазами глядѣть дѣвушка, которая не любитъ, если только она не отъявленная бестія... Конечно... сидя на одномъ мѣстѣ, не возьмешь никакой крѣпости! Нужно такъ или иначе объясниться... а потомъ... потомъ,—что будетъ, то будетъ!

Далекій, эхо-подобный голосъ прочелъ какую-то новую поздравительную телеграмму. Всѣ поднялись, поднялся шумъ, праздникъ приходилъ къ концу. Публика начала курить. Пулькинъ тоже вынулъ свои папиросы... Чей-то

голосъ проговорилъ въ толпѣ: «Господа, кому угодно чай или кофе—пожалуйте».

Часть публики стала разъѣзжаться—часть образовала толпу въ галлереяхъ подъ хорами и разбирала чашки съ кофе... часть была особенно воодушевлена, — казалось, вовсе не хотѣла уходить и требовала шампанскаго... Гдѣ-то уже хлопнула пробка, когда Пулькинъ, пробираясь въ уголъ залы, поближе къ выходу, опять встрѣтился съ Умековымъ, опять пожалъ ему руку и далъ ему свой визитный билетикъ съ адресомъ.

Затѣмъ, онъ поднялся на хоры, но—какъ онъ тамъ ни вертѣлся, какъ ни поворачивалъ во всѣ стороны носъ свой—Лели и слѣдъ простылъ... Идеалъ его исчезъ — Пулькинъ прозѣвалъ его!

XLVIII.

Въ тотъ-же вечеръ, проводивъ Машу до ея квартирки, Леля шла домой еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ проведеннаго ею вечера и еще не освободившись отъ мечтательности, навѣянной на нее встрѣчею съ Пулькинымъ. Она давно знала, даже отъ Любиной не разъ слыхала, что Пулькинъ влюбленъ въ нее, — была въ этомъ увѣрена, даже думала, что онъ будетъ просить руки ея, и все-таки сердце ея было спокойно; но съ тѣхъ поръ, какъ услыхала она, или вообразила себѣ, что Пулькинъ былъ ночью, послѣ свѣтлой заутрени, у нихъ на дворѣ и не смѣлъ войти къ ней, съ тѣхъ поръ, какъ она узнала, что Пулькинъ, получивъ наслѣдство, тотчасъ-же подумалъ объ изданіи журнала—Пулькинъ до глубины души заинтересовалъ ее, далъ пищу ея фантазіи. Когда на хорахъ онъ отвѣчалъ ей, что праздники встрѣтилъ очень грустно,— ей стало вдругъ почему-то жаль его,—что-то такое произошло въ ея сердцѣ, чего она, конечно, сама не могла-

бы объяснить, но что давало о себѣ знать страстнымъ желаніемъ играть мечтой о немъ—точно эта игра составляетъ очень пріятное, никому не мѣшающее и въ то-же время не совсѣмъ нравственно спокойное препровожденіе времени.

Молчаливо шла она по тротуарамъ, и долго молчаливо, рядомъ съ ней, шелъ проводникъ ея, Стихаревъ.

Ему было досадно, что, вызвавшись провожать Лелю, онъ чувствовалъ себя въ ея присутствіи чѣмъ-то въ-родѣ комнатной, большой собаки. Ошейника только недостаетъ, да цѣпочки... думалъ про себя Стихаревъ,—совсѣмъ какъ есть борзой или пудель.

Долго собирался онъ заговорить и, наконецъ, собрался.

— Что вы думаете о кокеткахъ? спросилъ онъ ее на ходу, глядя себѣ подъ ноги.

— Ничего не думаю... отвѣчала Леля.

Стихаревъ никакъ не ожидалъ такого отвѣта и нескоро могъ собраться съ мыслями.

— Вы ничего не думаете, а мнѣ такъ противно...

— Что противно?

— Ваше кокетство съ разными франтами!

— Съ какими?

— А вотъ хоть бы съ этимъ—что подходилъ-то къ вамъ...

— Ну, такъ что же? Вы думаете, что я съ нимъ кокетничала? А, впрочемъ, какое мнѣ дѣло, что вы думаете... Ну, и думайте, коли это вамъ такъ нравится; хотѣлось кокетничать, ну, и кокетничала, мало того...

— Что мало?

— Хоть-бы и влюбилась въ него! Какое кому до этого дѣло...

Стихаревъ надвинулъ на лобъ свою фуражку—кровь прилила къ его щекамъ, глаза загорѣлись и сузились; но все это можно-бы было замѣтить, если-бы кто нибудь

при этомъ обратилъ на него особенное вниманіе. Леля же продолжала идти, опустивъ голову, и мало думала о своемъ надоѣдливомъ спутникѣ.

— Такъ вы думаете, что до этого никому дѣла нѣтъ?

— Никому.

— Ну, вотъ вы увидите!

Въ этихъ словахъ Стихарева послышалась такая угрожающая нотка, что Леля искоса взглянула въ его сторону,—и бровки ея сдвинулись.

— Пожалуйста, не читайте мнѣ наставленій и не грозите. Я васъ очень хорошо понимаю, я уже не такая наивная дѣвочка, какъ вы думаете. Будь вы человѣкъ съ характеромъ, вы давно бы оставили меня въ покоѣ.

— Да-съ, будь я безхарактеренъ, я бы давно оставилъ васъ... Но я своего добьюсь,—рано или поздно, будьте увѣрены!

— Чего же это вы такъ добиваетесь, желала-бы я знать?

— Разумѣется, чего—вашей любви, вашего согласія...

Леля засмѣялась коротенькимъ, нервнымъ смѣхомъ.

— Ну, долго-же вамъ будетъ этого добиваться...

— Это все равно-съ,—долго или недолго!

— Я даже и представить себѣ не могу, чтобы кто нибудь могъ любить васъ! Да и вы не любите: чтобъ любить, надо прежде всего человѣкомъ быть!

— Чтобъ любить такъ, какъ я люблю васъ, прежде всего нужно животнымъ быть—имѣть зубы, чтобъ кусать и загрызать своихъ соперниковъ, и имѣть дерзновеніе силой взять то, что по праву принадлежитъ только сильному. Будь вы за мужемъ хоть за десятью мужьями, я и тогда не откажусь отъ того, что забрело мнѣ въ голову! Видно—у меня такая натура; я не виноватъ, что вы меня привлекаете!

Леля ускорила шаги свои, чтобы скорѣй дойти до

дому и не слыхать такого признанія, которое казалось ей дикимъ.

— Знаете, что я думаю? прищурившись началъ опять Стихаревъ, послѣ довольно продолжительнаго молчанія.

— И знать не хочу...

— За что же вы меня оскорбляете?

— Не я, а вы меня оскорбляете. Но не будемъ тратить словъ. Я уже просила васъ никогда не дѣлать мнѣ никакихъ декларацій. Вы знаете, что я равнодушна... и ничего вы отъ меня не ждите...

— Кто же можетъ мнѣ запретить ждать?! Что же касается до молчанія, то, кажется, я не изъ числа болтливыхъ... Въ кои-то вѣки заговорилъ съ вами по-человѣчески... Впрочемъ, обѣщаю вамъ безъ всякой нужды не сердить васъ, т. е. объясняться съ вами не буду. Вы же сказали правду — не слѣдуетъ на слова тратить попусту дорогое время... Что слова!.. Вы не ребенокъ, вы и безъ словъ тотчасъ же поняли, что я звѣрь, ну, и слава-те-Господи!..

— Слава Богу! Мы пришли,—подумала Леля и такъ взбѣжала на лѣстницу, что запыхалась. Когда горничная отворила дверь, она тотчасъ же прошла въ свою комнату, мимо тети, которая сидѣла уже за чайнымъ столомъ и давно ждала ее.

Стихаревъ тоже вошелъ и усѣлся у самовара, какъ ни въ чемъ не бывало. Онъ даже и не пошевельнулся, когда Леля выглянула изъ-за двери и, расчесывая косу, проговорила:

— Тетя, пришлите мнѣ сюда чашку чаю—я не выйду.

— А гдѣ же Савелій Дмитріевичъ? спросилъ Стихаревъ.

— Онъ уже давно напился и работаетъ. Это вы только ничего не дѣлаете,—сказала Кроликова своимъ

хотя и скрипучимъ, но, по обыкновенію, спокойнымъ голосомъ.

Стихаревъ даже и глазомъ не моргнулъ, преспокойно отрѣзалъ себѣ ломоть бѣлаго хлѣба, намазалъ его сливочнымъ масломъ и принялся пить чай не безъ апетита. Видно, что этотъ вечеръ на хорахъ, или созерцаніе, какъ ѣдятъ другіе, возбудилъ въ немъ апетитъ и усилилъ жажду.

XLIX.

«Какая разница между людьми, — думала Леля, продолжая на ночь расчесывать свои косы передъ зеркаломъ, тогда какъ чашка чаю, принесенная ей Марѳой Сергѣевной, стыла на ея столикѣ:—какая разница! Пулькинъ только вообразилъ себѣ, что я люблю другого и тотчасъ же пересталъ ѣздить къ Любинымъ, чтобъ напрасно ни себя, ни меня не тревожить, а этотъ Стихаревъ сидитъ себѣ и чай пьетъ... Какое противное существо!... Неужели мой кузенъ никогда не скажетъ ему, чтобъ онъ не торчалъ у насъ каждый день, какъ свѣча. Чего же онъ боится — не понимаю. Странный человѣкъ, деликатничаетъ въ своей частной жизни до невѣроятности, а любого писателя, будь онъ хоть любимецъ публики, отдѣлаетъ въ печати безъ малѣйшей деликатности. Лермонтова назвалъ Парнасскимъ гусаромъ или Мефистофилемъ уѣздныхъ барышенъ, Писемскаго—литературной поерохой (выдумалъ же словцо!), словомъ, безъ малѣйшей деликатности; а Стихареву хоть бы словечко. Неужели еще не ушелъ?

— Тетя, ушелъ Стихаревъ?

— Нѣтъ еще,—отвѣчала ей вслухъ Марфа́ Сергѣевна.

— Посижу еще полчаса,—подумалъ Стихаревъ.

Леля заперлась; Кроликова, позвавъ горничную уби-

рать чашки, ушла. Савелій писалъ неделикатнѣйшую изъ неделикатнѣйшихъ статей — въ отвѣтъ на брань своихъ литературныхъ супротивниковъ. Матильда переводила. Стихаревъ, поглядывая на дверь, за которой слышался шорохъ Лели, сидѣлъ въ уголкѣ диванчика, гдѣ еще такъ недавно сидѣлъ Умековъ со своею Машею—и ушелъ не раньше, какъ горничная сама вызвалась проводить его и запереть за нимъ дверь въ сѣни.

Въ это самое время, даже не подозрѣвая о существованіи какого-то Стихарева, Пулькинъ сидѣлъ у себя въ спальнѣ и писалъ:

«Милостивая Государыня
Елена Александровна!

Я не даромъ избѣгалъ Васъ; я зналъ, что видѣть Васъ и не любить Васъ невозможно! Простите мнѣ мое дерзновенное признаніе, я такъ боюсь совершенно понапрасну обезпокоить Васъ; но надо же и моимъ страданіямъ положить предѣлъ — или постараться забыть Васъ, или обезумѣть отъ блаженства и счастія. Чувствую, что я недостоинъ Васъ. Жалѣю очень, что не обладаю сокровищами всего міра, чтобъ положить ихъ у Вашихъ ногъ; жалѣю, что только мое бѣдное сердце отдаю въ Ваши руки — разбейте его, если Вамъ оно не нужно, или отдайте мнѣ Ваше, какъ такое сокровище, котораго нельзя купить ни за какіе милліоны. Еще разъ прошу, умоляю Васъ извинить меня. Я пишу, какъ безумный!

Остаюсь Вамъ преданный
7 апрѣля и готовый къ услугамъ
1865. А. Пулькинъ.»

Это письмо, какъ видите, далеко не отличающееся ни оригинальностью, ни изяществомъ чувства и формы,— самое ординарное, любовное посланіе, — было не скоро

сочинено и не скоро переписано. До трехъ часовъ ночи Пулькинъ возился съ нимъ—и чѣмъ больше поправлялъ, тѣмъ оно выходило хуже.

Но еслибъ у насъ сохранилось его черновое письмо, вы бы убѣдились, что Пулькинъ въ эту ночь былъ настолько влюбленъ, что хотѣлъ быть искреннъ,—онъ хотѣлъ даже признаться Затаиловой, что онъ бѣденъ, что толки, распущенные о его богатствѣ,—лживые; что будь онъ богатъ, онъ бы просилъ руки ея, и, наконецъ, что онъ увѣренъ въ своихъ силахъ и что вскорѣ будетъ имѣть возможность однимъ своимъ жалованьемъ обезпечить семейную жизнь свою.

Все это было имъ вычеркнуто, (по зрѣломъ обсужденіи). Осторожность и ложь взяли верхъ надъ его честнымъ порывомъ. Ему вспомнилось, что, въ день перваго своего визита къ Лелѣ, самъ онъ намекнулъ ей, что въ жалованьѣ не нуждается. Вспомнилъ и рѣчи сенатора, и слова Анны Петровны Любиной о теоріяхъ, господствующихъ между нигилистками.

«Зачѣмъ я буду просить ея руки, подумалъ онъ, если она сама, быть можетъ, вовсе и не желаетъ выйти за мужъ! Если по ея понятіямъ любить и быть законной женой—двѣ вещи несовмѣстимыя... зачѣмъ же я буду просить ее о томъ, чего, признаться, и самъ не желаю... Дороговизна жизни, чего добраго, и меня сдѣлаетъ нигилистомъ... То ли дѣло жить на разныхъ квартирахъ,—любить, не надоѣдая мелочами; видѣться хоть рѣдко—да мѣтко, трудиться каждому по своей спеціальности и, по возможности, другъ другу помогать своими деньженками... а въ случаѣ измѣны или охлажденія — разстаться безъ всякихъ скандаловъ» и проч., и проч.

Все это можетъ быть и не пришло бы ему въ голову, еслибъ онъ не боялся бѣдности, и если бы не было ему ясно, какъ $2\times2=4$, что не только быть, даже слыть

человѣкомъ богатымъ—выгодно, или на всякіе шаги въ жизни, во всѣхъ отношеніяхъ, поощрительно.

До чего могутъ довести его эти «всякіе шаги»—онъ не спрашивалъ. Логика Пулькина не заходила слишкомъ далеко. То вдругъ совѣсть начинала его мучить, то вдругъ находилъ на него страхъ при мысли, что скоро не будетъ денегъ, то являлась гордая надежда побороть всѣ затрудненія и достигнуть желанныхъ результатовъ, т. е. какъ можно скорѣй дослужиться до завѣтныхъ окладовъ жалованья, до причисленія къ разнаго рода коммиссіямъ, которыя существуютъ для благоденствія учреждающихъ и сочленовъ ихъ, изъ оффиціальныхъ сферъ избираемыхъ.

Но въ ту минуту, когда онъ окончилъ письмо свое къ Лелѣ, онъ еще не зналъ, достанетъ ли у него духу послать его, и чтобъ «ковать желѣзо, пока горячо», только что запечаталъ конвертъ и надписалъ его, тотчасъ же, запахнувъ халатъ свой, со свѣчей въ рукѣ, отправился къ Николашкѣ и разбудилъ его.

— Слушай!

Николашка испугался съ просонья, вскочилъ, сѣлъ на кровати, замигалъ на свѣчку своими безцвѣтными рѣсницами и, машинально взявъ письмо изъ рукъ Пулькина, положилъ его около себя на столикѣ рядомъ съ погашеннымъ огаркомъ, галстукомъ и подтяжками.

— Отнеси ты это письмо завтра же, раньше, чѣмъ я встану, по адресу; отдай его съ задняго крыльца, не говори отъ кого, отвѣта не жди и приходи домой. Слышишь? Повтори, что я сказалъ!

Николашка совершенно очнулся и сказалъ: — слушаю-съ!

— Повтори, что я сказалъ тебѣ!

— Отнести письмо, никому не сказывать и принести отвѣтъ.

— Никакого отвѣта не нужно — слышишь, подай письмо кухаркѣ или горничной и уходи... Понялъ?

— Понялъ.

— Повтори, что я сказалъ тебѣ!

Николашкѣ стало досадно — онъ натянулъ одѣяло на свои худыя колѣни и исподлобья поглядѣлъ на барина.

Баринъ показался ему какимъ-то блѣдно-зеленымъ, съ испуганными глазами, съ вытянутымъ носомъ.

— Я не глухъ,—пробормоталъ Николашка,—снесу письмо, отдамъ и вернусь... Не въ первый разъ... Что вы такъ безпокоитесь!

— Ну, и будетъ тебѣ за это рубль на чай... Только заруби ты у себя на носу то, что я сказалъ тебѣ. Слышишь?

— Слышу.

Пулькинъ поднялъ свѣчу и ушелъ въ свою спальню; потушилъ свѣчу раньше, чѣмъ разулся и легъ... Зажегъ спичку, закурилъ папироску и, затягиваясь, сталъ думать и мечтать. Эти думы и мечты отчасти помогли ему; онъ едва заснулъ подъ самое утро и когда на другой день продралъ глаза, было двадцать минутъ одиннадцатаго.

Письмо было уже отнесено, и воротить его не было уже никакой возможности.

L.

Леля также была еще въ постели, когда Дуняша вошла къ ней со щеткой въ одной рукѣ и съ конвертомъ въ другой.

— Отъ кого? вяло спросила Леля, протягивая голую руку.

— Принесъ какой-то мальчикъ...

— Вели ему подождать; я сейчасъ встану и напишу отвѣтъ...

*

Лучъ солнца, прокравшійся черезъ крышу въ окно, яркимъ пятномъ лежалъ у ногъ ея и заставлялъ ее съ просонья смыкать и размыкать рѣсницы.

— Ушелъ,—сказалъ, что отвѣта не надо...

— Кто же это? подумала Леля и, облокотясь, стала разсматривать адресъ, четко написанный; потомъ подумала и надорвала конвертъ.

Дуняша вышла вмѣстѣ съ своею щеткою.

Леля въ одинъ мигъ поняла, какое это письмо, и ярко-розовыя пятна заиграли на лицѣ ея...

Письменнаго признанія любви еще ни разу не было въ ея рукахъ... Съ заплетенными на ночь, свѣтлорусыми волосами, сидя на постелѣ, Леля прочла его. Сердце забило тревогу — ни одного прочитаннаго выраженія на этотъ разъ не улеглось въ ея памяти; но значеніе фразъ было ясно, какъ Божій день, и бѣдная дѣвушка пришла въ неописанное волненіе.

Она сунула письмо подъ подушку, вытянулась на постели во всю длину, натянула одѣяло себѣ на голову такъ высоко, что ея бѣлыя ножки очутились на открытомъ воздухѣ, и, глядя сквозь сумерки, воцарившіяся подъ ея одѣяломъ, на освѣщенные солнечнымъ свѣтомъ кончики ногъ своихъ, она еще пуще покраснѣла при мысли, что, если ей вздумается отвѣчать Пулькину, — дѣло можетъ до того дойти, что онъ, этотъ чужой ей человѣкъ, будетъ видѣть, осмѣлится видѣть то же, что и она... Можетъ-ли это быть?.. Неужели такъ необходимо, такъ неизбѣжно любить человѣка и принадлежать ему? Неужели неизбѣжно и то, что это прелестное, молодое тѣло будетъ гнить въ гробу и его будутъ черви ѣсть! Нѣтъ, и этого быть не можетъ—и въ то же самое время внутренній голосъ ей подсказывалъ, что все это и возможно, и даже неизбѣжно...

А если неизбѣжно, если уже такъ все создано, то

куда же дѣваться отъ этого неизбѣжнаго? куда ей уйти отъ любви? куда уйти отъ смерти? Было время, когда отъ любви бѣжали въ монастырь; но для этого надо было влюбиться въ смерть и ждать отъ нея неизвѣданныхъ отрадъ и наслажденій,—такъ же пламенно ждать, какъ влюбленные ждутъ ихъ отъ тайнаго свиданія. Кто не влюбленъ въ смерть свою, тотъ и въ пустынѣ не отдѣлается отъ земного чувства—и не отдѣлается отъ него Леля, только изрѣдка, какъ бы внутреннимъ чутьемъ подозрѣвающая безсмертіе души, но положительно отказавшаяся вѣрить въ это безсмертіе, съ тѣхъ поръ, какъ ей объяснили, до какой степени эта мечта не выдерживаетъ строгаго, естественно-научнаго анализа.

Все это смутно прошло въ головѣ ея; но нерѣдко это смутно безсознательное подсказываетъ намъ тѣ или другія далеко нехитрыя мысли. «Всегда такъ было, есть и будетъ,—думала Леля:—иначе сказать, всѣ такъ созданы, чтобъ, хоть одинъ годъ въ жизни или хоть одинъ день, любить и взять у любви все, что можетъ дать она: иногда больше страданія чѣмъ радости, иногда больше радости чѣмъ страданія». Леля давно уже не была наивна: она очень хорошо знала все, что скрывали отъ нея и папа, и няня, и тетя. Съ анатомическимъ атласомъ въ рукахъ, давно уже будущія акушерки объяснили ей физіологическую сторону любви, и это не только не поселило въ ней никакихъ эротическихъ помысловъ, напротивъ,—раскрытая тайна въ глазахъ ея потеряла всякую поэзію, всякую заманчивую таинственность и скорѣе занимала умъ ея, чѣмъ воображеніе.

Но письмо Пулькина — не анатомическій атласъ! Ей стало вдругъ такъ жарко, что она сбросила съ себя одѣяло—и вдругъ испугалась, что дверь не заперта, что могутъ войти — кто-бы ни вошелъ, хотя-бы Дуняша. И Дуняша можетъ тотчасъ же замѣтить, что она глупая.

влюбленная дѣвчонка, что она чуть было не поцѣловала того письма, которое сунула подъ подушку, что лице у ней горитъ, а руки холодны и что не даромъ она такъ нѣжится.

Она вскочила, босикомъ подбѣжала къ двери и наложила желѣзный крючокъ на петлю.

Марѳа Сергѣевна въ это время сидѣла уже въ столовой и, наливая своему сынку чай (въ его любимый стаканъ съ подстаканникомъ), слышала, какъ заперлась Леля—и громко спросила ее:

— Леля! Неужели ты еще не одѣлась, матушка?

— Сейчасъ, сейчасъ, тетя,—отвѣтила Леля и тотчасъ же заторопилась.

Не прошло десяти минутъ, какъ уже и подвязки были застегнуты, и юбка надѣта, и началось полосканіе съ помощью холодной воды, кувшина, умывальной чаши и ведерки. Тонкимъ запахомъ одеколона повѣяло отъ тѣхъ полотенецъ, которыми вытерла она себѣ шею и плечи; тонкимъ чувствомъ самодовольства отозвалось въ душѣ ея сознаніе молодости и красоты, когда она передъ зеркаломъ расплела свои косы и по плечамъ расчесала ихъ.

— Да отопри же дверь! Что ты, матушка, съ ума сошла — заперлась, когда нужно убирать комнату! — послышался голосъ Марѳы Сергѣевны.

Леля отперла дверь; вошла тетя и вмѣстѣ съ ней Дуняша.

— Ну что? спросила Кроликова.

— Ну что... я готова, — отвѣтила Леля:—кажется, сегодня погода хорошая...

— Вѣтеръ, говорятъ, сильный.

— Дуня, погоди перестилать...

Дуня, уже взявшись было за подушки, остановилась.

— Убери сперва это ведерко.

— Да я послѣ...

— Ахъ! сдѣлай милость, слушайся! капризнымъ тономъ настойчиво возразила Леля:—видишь, упало полотенце, вездѣ налито—прежде всего убери эту воду.

— Что это вамъ вздумалось сегодня? али дурной сонъ видѣли?! грубо проговорила Дуняша. Она не привыкла къ такому обращенію и, нѣсколько озадаченная, искоса поглядѣла на свою барышню.

— Тетя, поди-ка, налей мнѣ чаю; сейчасъ, сію минуту приду къ тебѣ.

Марѳа Сергѣевна тоже на нее поглядѣла и вышла.

Пользуясь минутнымъ отсутствіемъ и тети, и горничной, Леля выхватила изъ-подъ подушки письмо Пулькина и опустила его въ свой кармашекъ. Затѣмъ, минуты двѣ-три спустя, вышла въ столовую и молча принялась за чашку чаю.

Обыкновенно откровенная съ тетей, на этотъ разъ Леля рѣшилась молчать до поры до времени. Ей вовсе не хотѣлось, чтобъ тайна письма разошлась по всему дому, прежде чѣмъ она еще не рѣшила, что она сама будетъ говорить и что будетъ дѣлать.

— Какъ я рада,—сказала она,—что дождя нѣтъ. Сейчасъ я должна идти къ Дицъ—насчетъ лекцій; кажется, выдумываютъ перемѣнить — хотятъ, вмѣсто четверга вечеромъ, перенести на пятницу утромъ... Такъ это неудобно утромъ...

— Чѣмъ же неудобно? спросила тетка.

— Да такъ, неудобно. Пока свѣтло да никого нѣтъ, можно и дома работать...

— Погляжу, какой у васъ будетъ толкъ изо всего изъ этого!

— Какой будетъ толкъ! Развѣ ты не знаешь, тетя, что Юлинька затѣваетъ женскую химическую лабораторію для выдѣлки вещей, необходимыхъ въ хозяйствѣ,—

мыла, крахмала, синьки и разныхъ разностей. Кромѣ того, ей очень хочется пройти съ нами курсъ фармацевтики — какъ составлять лекарства. Она уже давно въ этомъ искусилась: въ любой аптекѣ дали-бы ей жалованье, еслибъ у ней своей не было... Ну, теперь прощай!.. Дуня, не видѣла-ли ты, куда я сунула перчатки?

— Не видѣла, куда вы ихъ сунули!

Леля собралась къ Дицъ для того, чтобъ ей, только ей одной, показать письмо Пулькина,—узнать, что она на это скажетъ и что ей посовѣтуетъ.

LI.

Прошло ровно двое сутокъ съ той минуты, какъ Пулькинъ, проснувшись съ головною болью, узналъ, что письмо его, какъ документъ, оффиціально подтверждающій, что сердце его пылаетъ, отнесено по адресу — и никакого отвѣта! Пулькинъ былъ самъ не свой.

Нисколько не измѣняя своихъ привычекъ, точно также, по утрамъ, забѣгалъ онъ въ департаментъ и занимался бумагами, точно также скромно обѣдалъ по 40 копѣекъ въ Большой Морской, а по вечерамъ игралъ гдѣ нибудь въ преферансъ и нерѣдко выигрывалъ нѣсколько рублей или копѣекъ;—но нылъ душою и ни разу на праздникахъ не былъ у Любиныхъ и не сообщилъ другу своему Аннѣ Петровнѣ о томъ, что онъ признался таки, наконецъ, Затаиловой въ любви своей. Не былъ и потому, наконецъ, что побаивался Дымина:—не Дыминъ-ли первый попялъ, что Пулькинъ между двухъ огней? Лиза, которая такъ плѣняла его до знакомства съ Лелей, можетъ его возненавидѣть, и тогда онъ очутится ужъ не между двухъ огней, а между равнодушіемъ Лели и ненавистью Лизы.

Нѣкогда, во дни юности, простодушный малый, ко-

тораго могла водить за носъ какая-то Пухлидзева, Пулькинъ мало по малу превратился въ порядочнаго дипломата и, не смотря на всѣ свои фантазіи, не переставалъ соображать, что можетъ выйти изъ его поведенія,—что будетъ, если и Леля осмѣетъ письмо его, и Любины отъ него отвернутся, и въ департаментѣ узнаютъ, что онъ пускаетъ пыль въ глаза и своимъ богатствомъ надуваетъ почтеннѣйшую публику.

Сердце Пулькина, также какъ и природный умъ его, были далеки отъ того, чтобъ презирать хитрость, какъ достояніе людей, неспособныхъ опираться на свои личныя достоинства.

Цѣли его были самыя обыденныя, надежды—совершенно тѣ-же, какія волнуютъ душу всѣхъ нашихъ столоначальниковъ, секретарей, чиновниковъ особыхъ порученій, казначеевъ и экзекуторовъ—имя же имъ легіонъ!—надежды имѣть большія средства, хорошенькую жену, а подъ старость—дѣтей, аренду, свой собственный домъ, генеральскій чинъ, однимъ словомъ, безмятежное, мирное житіе и безболѣзненную кончину.

Истинная страсть къ Лелѣ могла бы еще преобразить Пулькина, если-бы онъ былъ человѣкъ вполнѣ образованный,—много зналъ и мыслилъ самостоятельно. Онъ бы тогда не сознался Лелѣ, что на жизнь онъ никакъ не смотритъ; онъ-бы, напротивъ, и ее съумѣлъ бы поставить на свою точку зрѣнія, разсѣять ея сомнѣнія, указать ей, въ чемъ она права и въ чемъ заблуждается, словомъ, посвѣтить ей на томъ пути, который, волей-неволей, всѣ мы должны пройти до конца такъ или иначе.

Пулькинъ вступилъ на такой шаткій и лживый путь, что не могъ уже безъ нѣкотораго страха и трепета любить или жаждать любви честной дѣвушки. Чужія деньги лежали еще у него на совѣсти, и онъ еще не зналъ, кто такой этотъ Александръ Аѳанасьевичъ, потерявшій

ихъ. Леля же еще ничего не говорила ему объ отцѣ своемъ.

Но въ эти двое сутокъ, отъ четверга до субботы, съ Пулькинымъ случилось нѣчто такое, о чемъ онъ даже и во снѣ не грезилъ, отдыхая на чужой кровати, за роскошными, раздвижными занавѣсками. Онъ узналъ такую новость, что сначала не повѣрилъ ей, потомъ взбѣсился и, около 11 часовъ утра въ субботу, побѣжалъ къ Савишину.

Зачѣмъ же вдругъ понадобился ему этотъ Савишинъ? Неужели онъ не зналъ, что этотъ Савишинъ, не смотря на свою плѣшивую молодость, уже корчитъ изъ себя маленькаго государственнаго человѣка, и что слуга его всѣмъ его посѣтителямъ (кромѣ тѣхъ, о которыхъ дана ему особая инструкція) отвѣчаетъ одно и то же — или Дмитрія Ѳедоровича дома нѣтъ, или *они* такъ заняты, что извиняются, принять никакъ не могутъ.

Зналъ это Пулькинъ—и все-таки пошелъ къ Савишину, и пока шелъ къ нему, что-то бормоталъ себѣ подъ носъ, (чего съ нимъ никогда еще не было) и чуть было не попалъ подъ колеса, переходя Невскій проспектъ.

— Дмитрій Ѳедоровичъ не принимаютъ-съ,—сказалъ человѣкъ Савишина, отворивши Пулькину дверь изъ сѣней въ переднюю:—они теперь заняты.

— Ну, хорошо,— поди, отдай эту карточку и скажи ему, что я подожду.

Человѣкъ съ недоумѣньемъ поглядѣлъ на него и проговорилъ: «да еще, кажется, они и не вставали... спятъ еще».

— Я подожду, пока онъ встанетъ, а ты все-таки отдай ему эту карточку.

Минутъ черезъ десять, Пулькинъ уже сидѣлъ въ кабинетѣ Савишина, у его письменнаго стола, дожидаясь хозяина, и былъ такъ погруженъ въ свои мысли, что даже

не разглядывалъ ни тѣхъ картинъ, которыя висѣли по стѣнамъ, ни тѣхъ вещицъ, которыя стояли на столѣ; одинъ только китайскій болванчикъ на каминѣ съ насмѣшливымъ выраженьемъ на фарфоровомъ, четвероугольномъ лицѣ обратилъ его вниманіе. Пулькину показалось, что этотъ фарфоровый болванъ смѣется надъ нимъ... Дескать, что скажешь, голубчикъ!

Послышалось небольшее откашливанье и легкій шорохъ; зашевелилась портьера — и въ кабинетъ вышелъ Савишинъ, въ шелковомъ персидскомъ халатѣ, въ туфляхъ, еще съ голой шеей и несомнѣнно еще въ кальсонахъ. Онъ только-что умылся;—рука, которую онъ протянулъ Пулькину, была еще свѣжа и баки еще не были какъ слѣдуетъ расчесаны.

— Что скажете? началъ онъ, также какъ и его лакей, съ недоумѣніемъ поглядывая въ разстроенную физіономію Пулькина.

— Извините, Дмитрій Ѳедоровичъ, что я такъ рано обезпокоилъ васъ... Но я въ такомъ волненіи, что вы себѣ представить не можете!

— Садитесь... говорите, что такое?

«Ужъ не проигрался-ли онъ въ пухъ и прахъ!» подумалъ Савишинъ и сѣлъ въ свое кресло противъ Пулькина, которому придвинулъ стулъ, какъ хозяинъ утонченно вѣжливый и цивилизованный.

— Вообразите, Дмитрій Ѳедоровичъ: какъ уже извѣстно вамъ, я нанялъ квартиру г-на Буганина съ мебелью...

— Ну да, съ мебелью,—удивленнымъ тономъ подтвердилъ Савишинъ.

— Съ мебелью-съ и даже, такъ сказать, обязался сберечь ее.

— Ну, да... Савишинъ позвонилъ.—Иванъ, чаю! Не хотите-ли чаю, г-нъ Пулькинъ?..

— Если позволите... Покорно благодарю-съ.

— Ну, такъ что же-съ?

— Вообразите же, что я узнаю—узнаю, что г-нъ Буганинъ заложилъ эту самую мебель за 500 рублей, что закладная давно уже представлена въ мировой судъ ко. взысканію, что на-дняхъ ей крайній срокъ и что мебель его, по условіямъ закладной, поступитъ въ полную собственность нѣкоего Циферблюма, и я вдругъ, ни съ того, ни съ сего, остаюсь среди голыхъ стѣнъ, даже не буду знать на чемъ спать... Какова исторія-съ!..

— Да-а! Это странно!... протянулъ Савишинъ.—Эдакій чудакъ этотъ Буганинъ! Понадобилось вдругъ пятьсотъ рублей — и заложилъ... забылъ... даже не подумалъ о томъ, что мебель его стоитъ не одну тысячу. Что же этотъ Циферблюмъ писалъ ему, напоминалъ?

— Не знаю-съ.

— Гмъ... Нелѣпый, однако же, человѣкъ этотъ Сашка Буганинъ... Съ такимъ состояніемъ, съ такимъ родствомъ — и такая непростительная вѣтренность, такое разгильдяйство! Именно наше русское разгильдяйство!.. У меня могъ-бы занять... Фу ты чортъ, что это за нелѣпица! Не хватило какихъ-нибудь пяти-сотъ рублей на какую-нибудь брошку или брилліантовыя серьги и... подвертывается какой-то Циферблюмъ, какая-нибудь канайья, даетъ ему деньги — онъ закладываетъ свою мебель, никому ни слова, уѣзжаетъ... проживаетъ въ Брюсселѣ, собирается въ Парижъ—и знать ничего не хочетъ...

Савишинъ проговорилъ все это съ явнымъ негодованіемъ, даже съ какой-то презрительной гримасой на своемъ полномъ, румяномъ лицѣ.

— Безобразіе-съ! Совершеннѣйшее безобразіе!..

— Правда,—началъ Савишинъ болѣе снисходительнымъ тономъ, въ послѣднее время онъ не совсѣмъ удачно игралъ... и порядочныя суммы проигрывалъ, да и мамзель Эмма

стоила ему не дешево... Но... все же это безобразіе... Что же вы теперь намѣрены дѣлать?

— Положительно не знаю-съ, что мнѣ дѣлать!.. Что вы мнѣ совѣтуете, Дмитрій Ѳедоровичъ? Вы знаете, до какой степени я уважаю васъ! Ну, скажите, какъ-бы вы поступили на моемъ мѣстѣ?...

Савишинъ отпилъ изъ стакана чая.

Оба они, и Пулькинъ, и Савишинъ, были такъ заняты своимъ разговоромъ, что и не замѣтили, какъ входилъ слуга и какъ они взяли съ подноса по стакану чаю и поставили возлѣ себя на письменномъ столѣ, между бумагами.

— Да какъ-бы я поступилъ! Будь у меня въ эту минуту свободные 500 рублей — я тотчасъ-же внесъ бы ихъ этому Циферблюму и спасъ бы мебель... Тамъ одинъ шкапчикъ старинный съ инкрустаціями—что стоитъ налѣво — одинъ онъ стоитъ слишкомъ четыреста рублей... И полагаю, самое лучшее, что вы можете сдѣлать—это внести деньги съ процентами въ тотъ мировой судъ, куда закладная представлена ко взысканію, да тѣмъ дѣло и покончить...

У Пулькина заходили мурашки по спинѣ отъ такого совѣта.

— Я-бы это и самъ-съ непремѣнно сдѣлалъ,—сказалъ онъ нерѣшительно — и стаканъ съ чаемъ дрогнулъ въ рукѣ его — но... сами посудите, Дмитрій Ѳедоровичъ, совершенно даромъ бросить 500—600 рублей, и въ такое время, когда со всѣхъ сторонъ требуютъ отъ меня присылки денегъ на веденіе дѣлъ... когда еще и самое завѣщаніе, которое дѣлаетъ меня капиталистомъ, такъ сказать, еще не утверждено оффиціальнымъ образомъ, и я, такъ-сказать, еще не введенъ въ полное владѣніе...

— Я понимаю-съ! Это я прекрасно понимаю, что даромъ бросить 600 рублей—невесело... Но только даромъ-ли это г. Пулькинъ? Вѣдь этотъ Буганинъ не только пле-

мянникъ родной—любимчикъ, баловень княгини Клеопатры Антоновны... и не пропадетъ онъ, хотя-бы просадилъ цѣлые милліоны своими безпутствами... Да и вы не пропадете, если она узнаетъ и оцѣнитъ васъ, какъ человѣка, или какъ чиновника, преданнаго отечеству. Вотъ я обѣщалъ вамъ мѣсто; на Ѳоминой недѣлѣ, можетъ быть, это дѣло и состоится; но что значу я?!.. Можете-ли вы, говорю съ вами откровенно, на меня разсчитывать? Пока я хорошъ съ тѣмъ, съ другимъ, съ третьимъ,—конечно, я могу замолвить за васъ словцо; но появись вы не сегодня—завтра въ гостиной у Клеопатры Антоновны... обрати она на васъ благосклонный взоръ свой—чортъ ее побери!—вы несокрушимы, ваша будущая карьера обезпечена... Какъ вы объ этомъ думаете, господинъ Пулькинъ? Я вѣдь васъ знаю, — вы не думайте, что я не знаю васъ! Вы никогда не сдѣлаетесь помѣщикомъ, хоть 100,000 десятинъ доставайся вамъ; вы призваны служить и, такъ сказать, рано или поздно играть роль въ нашей бюрократической сферѣ. Вы гражданинъ! А гражданинъ и чиновникъ—одно и то же-съ... Истинный гражданинъ въ Россіи не можетъ не быть чиновникъ—или онъ Донъ-Кихотъ, воюющій съ вѣтреными мельницами, или жалкій утопистъ, или даже нигилистъ, который тоже воображаетъ себя гражданиномъ несуществующаго государства. Отрицанье государства не есть ли въ то же время отрицанье и гражданства? Это, я думаю, вы и сами очень хорошо понимаете....

Пулькинъ былъ блѣденъ и сидѣлъ повѣся носъ. «Что дѣлать? думалъ онъ:—сознаться Савишину, что 500 или 600 рублей, если я выдамъ ихъ, могутъ меня доконать, довести до того, что къ лѣту у меня не будетъ ни копѣйки, или не сознаваться... и рискнуть? Вѣдь, чего добраго, не заплати я этихъ 600 рублей за этого скота, Буганина, не только въ будущемъ ничего не будетъ —чего

добраго, еще и Савишинъ догадается, что я несостоятеленъ, и не станетъ хлопотать обо мнѣ насчетъ мѣста. Вотъ положеніе!...»

— Конечно, Дмитрій Ѳедоровичъ,—началъ мямлить Пулькинъ,—деньги эти небольшія, пустяки... Что значатъ какіе нибудь 500—600 рублей! Вотъ мѣсяца два тому назадъ у меня украли 1,800 рублей, такъ я даже и полиціи не заявилъ, не захотѣлъ огорчать и безпокоить моего сожителя, г-на Сопѣлкина; Богъ съ ними, думалъ, денегъ не верну, а хлопотъ надѣлаю... Я вовсе не изъ скупыхъ, Дмитрій Ѳедоровичъ; я экономенъ, даже очень экономенъ, и этого, какъ вы изволили сказать, разгильдяйства русскаго никогда у меня не будетъ... но я не скупъ-съ... и если вы мнѣ совѣтуете...

Савишинъ просіялъ, даже за руку взялъ Пулькина.

— Слушайтесь меня, и вамъ будетъ хорошо. Вы у насъ на хорошемъ счету—и все будетъ хорошо. Я же напишу сейчасъ г-ну Буганину, какое вы дѣлаете ему одолженіе, спасая его пьянино и его дорогую мебель; я увѣренъ, что, по пріѣздѣ, онъ съ вами тотчасъ же расплатится.

— Хорошо-съ, — сказалъ Пулькинъ, — я внесу эти деньги... А то, признаюсь вамъ, хотѣлъ было тотчасъ же съѣхать въ chambre garnie или взять номеръ въ гостинницѣ... Нельзя же мнѣ оставаться безъ мебели или хлопотать о новой, когда нѣтъ еще никакой необходимости хлопотать, когда мнѣ еще нужно будетъ ѣхать въ отпускъ сначала. Надѣюсь, что лѣтомъ мѣсяца на два или хоть на одинъ мѣсяцъ вы меня отпустите, Дмитрій Ѳедоровичъ?

— Отпустимъ, отпустимъ и, быть можетъ, даже дадимъ вамъ какое нибудь пособіе.

Пулькинъ хотѣлъ было поблагодарить, но, показавши видъ, что ни о какомъ пособіи онъ даже и не думаетъ, всталъ и началъ прощаться.

Савишинъ разъ пять пожалъ ему руку и проводилъ его до передней.

— Ну, ужъ хорошъ твой Буганинъ! сказалъ Пулькинъ Николашкѣ, когда тотъ отворилъ ему дверь часу въ седьмомъ вечера.

— Что такое-съ? заморгавъ глазами, проговорилъ Николашка.

— Скотина онъ!—вотъ что!

— А вамъ письмо принесла какая-то дѣвушка.

— Письмо? гдѣ?

Пулькинъ бросился къ своему письменному столу и нашелъ записку.

Записка эта была отъ Лели Затаиловой, но всего только три строчки было въ этой запискѣ.

«Приходите къ намъ завтра, въ воскресенье, вечеромъ; буду очень рада видѣть Васъ.

Остаюсь Вамъ преданная

Елена З.»

Пулькинъ вытаращилъ глаза. Что это? Ни слова въ отвѣтъ на страстное письмо его—и приглашеніе! Онъ легъ на кушетку и задумался... Въ эту минуту, когда грозило ему скорое истощеніе всей той суммы, которую нашелъ онъ и присвоилъ,—ему было бы пріятно, если-бы любовное письмо его было осмѣяно или если-бы Леля прямо написала ему, что не любитъ его. Очевидно, что отъ наплыва горькихъ и тревожныхъ думъ любовь Пулькина ушла какъ бы на второй планъ, и что отъ приглашенія Лели, такого скромнаго и такого краткаго, на него ничѣмъ не повѣяло: ни холодомъ, ни торжествомъ побѣды, ни печалью, ни радостью.

КОНЕЦЪ I ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

НЕЧАЯННО.

ПОВѢСТЬ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Если Александръ Васильевичъ Пулькинъ и вспоминалъ иногда о существованіи черноглазой кухарки Софьи, то случалось это чаще всего въ такія минуты, когда онъ пересчитывалъ свои деньги. «Эхъ, было бы лишнихъ тысяча восемьсотъ, кабы не эта распроклятая Софья!» Дальше этого восклицанія не шла мысль объ этой женщинѣ.

Сопѣлкинъ не любилъ вспоминать о ней, но въ сердцѣ его еще оставались слѣды ранъ, нанесенныхъ его самолюбію. Не даромъ, когда-то, глядя на ея руки, онъ думалъ: «сладко и жутко будетъ тому, въ кого эти руки вцѣпятся...» Сладкое миновало, какъ сонъ—горькое еще заставляло его иногда дѣлать гримасу, кислую гримасу, которую иной бесѣдующій съ нимъ индивидуумъ могъ и на свой счетъ принять.

Вообразите же себѣ, какую злую мину изобразило собою пухлое и нервное лицо почтеннаго Степана Авдѣича Сопѣлкина, когда разъ на улицѣ подошелъ къ нему тотъ самый чахоточный лакей, который въ январѣ, на

его именинномъ вечерѣ, откупоривалъ и подавалъ шампанское. Подошелъ онъ въ какой-то старомодной, потертой шинелькѣ, не поклонясь, снялъ клеенчатый картузъ и, напомнивъ о себѣ Сопѣлкину, сказалъ, что онъ безъ мѣста, еле ходитъ, хочетъ идти въ больницу и что у него ни копѣйки...

— Накрой голову! скомандовалъ ему Сопѣлкинъ и подозрительными глазами съ ногъ до головы оглядѣлъ его.

Очень блѣдно и невзрачно было лице чахоточнаго лакея, съ черными усиками, съ плохо выбритымъ подбородкомъ и глазками, тревожно выглядывающими изъ-подъ козырька клеенчатой, мятой фуражки...

— А ты бы лучше, братъ, не пьянствовалъ... и мѣста бы не потерялъ... остановившись и строго оглядывая его сквозь очки, наставительно заговорилъ Сопѣлкинъ.

— Да нешто я отъ пьянства, баринъ? Я и водки-то не пью... пивомъ балуюсь, точно... А что я въ такомъ положеньѣ, то это единственно по причинѣ этой анаѳемы...

— Какой анаѳемы?

— Эфтой самой... Кх... кш... Ну, да эфтой Софьи. Какже-съ... Точно отравой опоила, проклятая... Мѣсто—двадцать пять рублевъ, на всемъ на готовомъ, потерялъ изъ-за нея... А она... добро бы еще съ какимъ ни на есть хорошимъ господиномъ связалась, мы на эфтомъ не стоимъ... потому что, коли хорошій баринъ...

И клеенчатый картузъ при этомъ съ особенной выразительностью поглядѣлъ на Сопѣлкина.

— А то связалась съ Прошкой... Разбойникъ, пьяница! Самый что ни на есть настоящій разбойникъ, какъ есть изъ Вяземскаго дому... Тамъ она съ нимъ и познакомилась, тамъ у ней и ребенокъ—у баньщицы: кормить его отдала...

— Ну, ну... мнѣ некогда... что же тебѣ надо? перебилъ Сопѣлкинъ. Гмъ! разбитое сердце! подумалъ онъ про себя и, вынувъ трехрублевую депозитку, сунулъ ему въ руку. Но клеенчатый картузъ почувствовалъ при этомъ страстную охоту говорить, высказать все, что накопилось у него на душѣ, и, переложивъ депозитку себѣ въ жилетный карманъ (причемъ рука его обнажила смятую и уже порядочно грязную коленкоровую манишку, съ чернымъ, лоснящимся отъ жирныхъ пятенъ галстухомъ, въ видѣ покрывившагося и приплюснутаго бантика), онъ вмѣсто того, чтобъ поблагодарить Сопѣлкина за его подачку, тотчасъ же заговорилъ и заговорилъ несравненно болѣе бойкимъ и увѣреннымъ тономъ, заговорилъ, какъ бы принимая живѣйшее участіе въ такомъ добромъ баринѣ, каковъ Сопѣлкинъ.

— Это она-съ... съ эфтимъ самымъ Прошкой и обокрала васъ... На эфти-то деньги она такъ и кутила съ нимъ. Салопъ себѣ купила... точно купчиха перворазрядная! Я все знаю... Таперича она съ *эфтимъ* Андреемъ связалась... переѣхала на квартиру съ нимъ, — думаетъ никто и не сыщетъ... Кх... кх!.. Эка, какъ грудьто завалило... А я ее найду!... отъ меня не спрячется... Будь я на мѣстѣ проклятъ, коли я съ этимъ самымъ Прохоромъ не розыщу ее.

— Да вѣдь ты въ больницу?.. Куда тебѣ?

— Въ больницу... это само собой,—это еще мы успѣемъ... не уйдетъ больница! А что ей это даромъ не пройдетъ... это ужъ извините!.. Что я ей однихъ денегъ передавалъ... Да что деньги! разъ ей принесъ штучку такую, что... Ну, да что ужъ!.. дѣло прошлое...

— Ну, и забудь, коли прошлое,—сказалъ Сопѣлкинъ.

— Я-то забуду?! По гробъ жизни я ей, анаѳемѣ, дохнуть не дамъ... Она тамъ что хошь, кого хошь люби, да не обижай... Я ничего... ни синя пороха мнѣ отъ нея

не надо—только не конфузь... Больно она меня обидѣла... Кх... кх!..

Сопѣлкинъ положилъ ему руку на плечо и сказалъ:

— Плюнь, братецъ, на всякую обиду! Она и меня обидѣла!

— А—а!?.. началъ было клеенчатый картузъ; но Сопѣлкинъ тотчасъ же ушелъ, не оглядываясь и краснѣя отъ наплыва воспоминаній грязныхъ и унизительныхъ.

— Разбитое сердце! бормоталъ онъ про себя... Неужели и у меня разбитое сердце? Вздоръ! Только желчи немало испортилъ я на своемъ вѣку. Слава Богу, я теперь, кромѣ моей Степы, знать никого не хочу...

Степа была та дѣвочка, которая, подъ именемъ Степаниды, была ему подкинута. Это существо какимъ-то новымъ содержаніемъ наполнило холостую жизнь его; онъ всѣмъ хвастался, что у него дочка, и долго дулся на казначея Симеона Родіоновича, который совѣтовалъ ему эту дочку въ воспитательный домъ отдать.

II.

Ночью, передъ разсвѣтомъ, въ то самое время, когда Пулькинъ въ каретѣ ѣхалъ разговляться къ Любиной, на Петербургской сторонѣ, въ одномъ угловомъ домѣ, съ трактиромъ для извощиковъ, въ темныхъ сквозныхъ воротахъ, въ нагольномъ тулупѣ нараспашку, стоялъ дворникъ и, прислонясь къ кирпичной стѣнѣ, поглядывалъ на окно, выходящее на дворъ какъ разъ надъ желѣзной кровлей погреба, окно, постоянно занавѣшенное и въ эту минуту совершенно темное, такъ какъ квартира была пуста. Хозяйка и ея сожитель, зеленщикъ, ушли къ заутренѣ и квартиру эту, состоящую изъ кухни и комнатки съ перегородкою, заперли. Дворнику показалось,

что въ этомъ темномъ окнѣ вдругъ мелькнулъ свѣтъ, и затѣмъ опять вдругъ все стало темно.

Дворникъ хоть и замѣтилъ это, но задать себѣ вопросъ: что бы это могло значить? ему было некогда. Продолжая глазѣть на то же самое окно, онъ думалъ, сколько съ жильцевъ старшій дворникъ соберетъ за поздравленія и сколько на его долю достанется — больше рубля или меньше рубля? То ему казалось больше, то меньше, и думать о какомъ-то мельканіи въ окошкѣ положительно было некогда.

Но вотъ, съ задняго, чернаго крыльца, тоже выходящаго на дворъ, показалась какая-то рослая фигура, въ круглой бараньей шапкѣ, покачиваясь прошла дворъ и подъ ворота, мимо дворника, направила шаги свои.

— Это, должно быть, мазурикъ,—подумалъ младшій дворникъ.—Стой! что за человѣкъ? Ты откелева это? приступилъ было онъ къ мимо идущей тѣни, въ бараньей лохматой шапкѣ.

— Эхъ, простофиля, своихъ не узналъ! прохрипѣла тѣнь, слегка оттолкнувъ его въ грудь своей лапой, не торопясь, прошла сквозныя ворота, перешагнула порогъ калитки съ опущенною цѣпью и скрылась на улицѣ.

Дворникъ былъ озадаченъ. «Своихъ не узналъ... Ишь, что выдумалъ... не узналъ! Да кто же это? Ужъ не тотъ ли, что намедни ночью стучался къ ней... чуть было камнемъ окна не просадилъ? Можетъ, и онъ!»

И, затѣмъ, размышлять ему было положительно некогда. Праздничная мечта о деньгахъ опять восторжествовала, опять въ головѣ завозился вопросъ: рубль или меньше рубля? или больше рубля?...

Минутъ черезъ пять, съ той же черной лѣстницы, въ валенкахъ и съ фонаремъ въ рукахъ, сошелъ старый извозчикъ, котораго окно приходилось во второмъ этажѣ, надъ тѣмъ же самымъ погребомъ. Семья его была у

заутрени, онъ же оставался дома: сильно болѣлъ у него на правой ногѣ отмороженный палецъ; онъ возился съ нимъ и не спалъ, дожидаясь домашней пасхи.

— Илюшка!—Э! закричалъ онъ дворнику.

— Чаво тебѣ? отозвался изъ-подъ воротъ Ильюшка...

— Нижней-то жилички дома нѣтъ?

— Кажись, нѣтъ...

— У ней кто-то больно возился. Не воръ ли? Да и висячій замокъ никакъ на полу лежитъ! Какъ бы чего не было!

Вмѣсто отвѣта дворникъ ахнулъ, бросился на улицу, побѣжалъ направо по деревяннымъ мосткамъ, стуча своими сапожищами и крича изо всей силы: «держи, держи его!... Держи-и-и!»

— Кого держать? спрашивали, мимо его изъ церкви идущіе домой, прихожане и пугливо оглядывались.

— Что орешь? спросилъ его зеленщикъ Андрей, несшій въ лѣвой рукѣ зажженную, восковую свѣчку и прикрывая огонь ея ладонью другой руки, чтобы какъ нибудь, отъ движенія воздуха, она не погасла. Это былъ обычай его роднаго захолустья. Отъ великой заутрени несъ онъ эту свѣчу, какъ святыню; онъ хотѣлъ до самой квартиры своей сберечь ея огонекъ, тогда какъ Софья Данилова, его полюбовница, шла рядомъ съ нимъ, въ новомъ бурнусѣ, повязанная шелковымъ, краснымъ платкомъ, несла пасху въ узелкѣ и смѣялась надъ его причудой — сохранить огонекъ, который безпрестанно точно срывался съ свѣтильни: то сокращался, то вспыхивалъ, а воскъ капалъ на его пальцы, изъ которыхъ онъ умудрился сдѣлать нѣчто въ родѣ коробочки. — Все это пустяки,—говорила Софья, посмѣиваясь.

— Что такое? спросила она дворника, который, узнавши ихъ, тотчасъ же остановился.

— Да сейчасъ... чортъ... убѣгъ!... Я чуть не пой-

малъ его. Говорятъ, у васъ въ квартирѣ замокъ сломалъ.

Андреева свѣча тотчасъ-же погасла, и онъ побѣжалъ слѣдомъ за Софьею. Ворота были недалеко.

Оказалось, что замокъ съ наружной двери, дѣйствительно, сломанъ, что сундукъ Софьи, находящійся подъ кроватью тоже взломанъ и изъ него похищено сто двадцать рублей вмѣстѣ съ замшевымъ кошелькомъ, тремя серебряными ложками и золотыми серьгами (подаркомъ Сопѣлкина).

Когда злилась Софья—все должно было кругомъ ея или трепетать, или ругаться, или лѣзть на драку.

Она и злилась, и плакала. Изъ разсказа дворника тотчасъ же догадалась она, кто этотъ воръ. Живо вспомнила она сцену, когда Прохоръ, недѣлю тому назадъ, вѣроятно, по наущенію чахоточнаго лакея, до полуночи толкался къ ней и, постукивая въ дверь то кулакомъ, то пальцами, вкрадчивымъ голосомъ ее уговаривалъ: «Да пусти же хоть на минутку... Я, ей-Богу, посылочку принесъ къ тебѣ отъ родителевъ... Акулька, слышь, пріѣхала. Да говорятъ же тебѣ — пусти, анаѳемская душа твоя!.. Эй, плохо будетъ!.. Вотъ, ей-Богу же, окошко просажу... хуже будетъ!..

— Не пущу, хоть ты расклянись, — отвѣчала ему Софья, тоже стоя у дверей и придерживая желѣзный крюкъ:—а если выбьешь окно, самъ же завтра и заплатишь. Тутъ и будочники на дворѣ живутъ. А полѣзешь въ окно—утюгомъ голову тебѣ размозжу.

Прохоръ долго не унимался, наконецъ, плюнулъ и, заслыша шаги дворника, ушелъ, на весь дворъ грозя и ругаясь.

— Это непремѣнно его дѣло! повторяла Софья, роясь въ разбитомъ сундукѣ своемъ и перебирая вещи. Пусти

я его тогда, онъ бы убилъ меня — онъ бы безпремѣнно меня убилъ!...

И въ то же утро, кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ разговѣвшись, Андрей пошелъ въ участокъ заявить о покражѣ: этого хотѣла Софья. Она же заявила полиціи и о своемъ подозрѣніи на Прохора, и о томъ, гдѣ и въ какихъ мѣстахъ искать его.

Началось формальное слѣдствіе.

III.

Долго, до 9 часовъ вечера, думалъ Пулькинъ, что значитъ лаконически-вѣжливая записка Лели, и почему она будетъ рада его видѣть, если не любитъ!?.. Но похоже-ли это на любовь?—И чтобъ не думать объ этомъ, Пулькинъ надѣлъ пальто, шляпу, вышелъ, сѣлъ на извощика и, такъ какъ капалъ дождь, прикрылся зонтикомъ.

— Завтра вечеромъ,—мечталъ онъ,—все будетъ рѣшено, а сегодня не мѣшаетъ и въ преферансикъ поиграть у Любиныхъ,—я же давно у нихъ не былъ. Эхъ! говорятъ: кто счастливъ въ картахъ—несчастливъ въ любви... Если я несчастенъ въ любви, можетъ быть, буду счастливъ въ картахъ!

Но у Любиныхъ въ ту субботу, около полудня произошла слѣдующая сцена.

Маменька зашла въ комнату къ дочкѣ и увидѣла, что дочка еще лежитъ въ постели и читаетъ книгу; ея тонкая, обшитая кружевами рубашка спустилась съ одного плеча, волосы выбились изъ-подъ ночнаго чепчика, а пальцы облокотившейся руки ушли въ густыя черныя пряди волосъ и поддерживали надъ страницами книги понуренную голову.

Анна Петровна была недовольна, что дочь ея, проснувшись, такъ долго лежитъ и читаетъ въ постели. Она

сдѣлала ей выговоръ, поворчала на безпорядокъ въ комнатѣ и стала спиной къ изразцовой печкѣ. Печка была не топлена; но выбрала она эту позу машинально, по старой привычкѣ—грѣть спину, когда въ сильные морозы она пріѣзжала домой, или чувствовала, что ее знобитъ. Всю зиму это было ея любимое мѣстечко, когда она заходила въ комнату своей дочери.

Дочка продолжала лежать и читать, ни однимъ словечкомъ не возразивъ своей матери.

— Я тебѣ говорю, пора вставать... Скоро первый часъ—вредно лежать въ постели...

— Сейчасъ, мама...

— И давно-ли ты стала такъ нѣжиться? И тебѣ не стыдно? Мать одѣта, а ты... Что это ты читаешь?

— «Некуда», романъ,—отвѣтила Лиза, переворачивая страницу.

— Стоитъ-ли читать такой романъ!

— Отчего же не стоитъ?

— Ретроградный, пустой романъ! Какъ тебѣ не совѣстно...

— Да развѣ ты либералка, мама?

— Что за вопросъ! Кажется, ты достаточно знаешь мать свою. Какая же порядочная женщина не либералка? Развѣ я была когда-нибудь противъ прогресса? Развѣ я не русская женщина — или желаю, чтобы Россія вѣчно стояла на точкѣ замерзанія?..

— Ну, такъ я, мама, вовсе не раздѣляю твоего мнѣнія... Помнишь, Дыминъ, кажется, говорилъ, что пошла слякоть, потому что все начало таять... То-ли дѣло стоять на точкѣ замерзанія!

— Ахъ, не говори... Какой ты вздоръ говоришь! Я не узнаю тебя!.. И цвѣтовъ бы весной не было, если бы не было сначала слякоти.

— А что же, по-твоему, эти цвѣты?

Анна Петровна рѣшительно не нашлась, что отвѣтить; но, судя по лицу, она напрягала весь свой умишко, чтобы разъяснить дочери вышесказанную аллегорію... «Гмъ! послѣ слякоти будутъ цвѣты!... Какіе же это цвѣты? Вѣдь не сказать же ей: фіялки и ландыши... Вѣдь не фіялокъ же и не букетовъ изъ ландышей ждемъ мы отъ прогресса! Чего же именно?...» Никакого отвѣта не могла себѣ придумать Анна Петровна и очень была рада, что Лиза, отбросивъ книгу, сѣла на своей постели и перемѣнила тему разговора, спросивъ ее:

— Какъ ты думаешь, мама, Пулькинъ женился или скоро женится на Затаиловой?

— Не знаю.

— Какъ же это ты... *ты* этого не знаешь?

— Да почемъ же мнѣ знать? Я не святая... Онъ же цѣлую недѣлю въ праздники и носа своего къ намъ не показывалъ...

— И неужели, мама, я хуже этой Лели? Почему бы ему на мнѣ не жениться?...

— На тебѣ! удивилась Анна Петровна, отдѣлившись спиною отъ изразцовъ холодной печки:—Да развѣ ты могла бы пойти за него?...

— Да отчего же нѣтъ... Что я за принцесса!... Онъ очень приличенъ, недуренъ собой... Въ его лицѣ есть что-то рыцарское и есть какое-то милое добродушіе... Къ тому же, это вовсе не идеалистъ... Онъ человѣкъ практическій: отлично служитъ и непремѣнно до чего-нибудь дослужится. Наконецъ, — и это тоже надо взять въ разсчетъ—не бѣденъ...

Лиза подъ одѣяломъ согнула колѣни и, сидя, обѣими руками обхватила ихъ. Говоря о Пулькинѣ, она не глядѣла на мать и точно разсуждала сама съ собой...

— Да,—разсуждала она,—если-бы онъ посватался, я бы вышла за него замужъ...

Анна Петровна вытаращила на нее глаза.

— И вышла-бы замужъ не изъ разсчета, а по любви, потому-что я влюблена въ него...

— Ты?! влюблена?!...

Лиза мелькомъ взглянула на свою мать, увидѣла испуганные глаза и, быстро перевернувшись всѣмъ своимъ торсомъ, спрятала въ подушки лице свое.

Аннѣ Петровнѣ вообразилось, что дочь ея заплакала. Помолчавъ съ минуту, она подошла къ ней и, положа ладонь на бѣлое и твердое, какъ мраморъ, плечико своей балованной дочки, стала ее расталкивать, точно ей вдругъ стало страшно услыхать ея рыданія, и она этимъ расталкиваньемъ хотѣла удержать ее отъ излишнихъ слезъ и побожиться ей, что плакать не стоитъ, и что она не сердится!

Лиза приподняла свои бѣлыя плечи и еще глубже въ подушку спрятала лице.

— Лиза, Лиза! ты не ребенокъ... Что съ тобой? Какая ты глупая!... Какой вздоръ вдругъ пришелъ тебѣ въ голову... Даже смѣшно... Лиза!... Лиза!... Перестань!

Лиза приподняла свою голову и поглядѣла на мать.

Лице ея было красно, какъ маковъ цвѣтъ, но... глаза были совершенно сухи, къ немалому удивленью встревоженной матери.

— Какъ тебѣ не грѣхъ, Лиза, такъ пугать меня!...

— Я не шучу, мама...

— А не шутишь, такъ ты съ ума сошла! уже разсерженнымъ голосомъ заговорила Анна Петровна. Она какъ будто была недовольна, что ошиблась,—не нашла слезъ на лицѣ своей дочери.—Опоздала ты, матушка, съ твоею любовью и съ твоей поздней окровенностью... Пулькинъ такъ же думаетъ о тебѣ, какъ о прошлогоднемъ снѣгѣ: онъ влюбленъ въ Лелю, это дѣло извѣстное; а если влюбленъ,

то и женится на ней, не завтра, такъ послѣ завтра... Опоздала, матушка!

— Я не съ тѣмъ это говорю, чтобы отбивать у него невѣсту... Чортъ съ нимъ, пусть женится! Я только говорю, что я къ нему неравнодушна, и что если онъ женится на этой Затаиловой, онъ броситъ службу, растратитъ все свое состояніе на разныя общественныя предпріятія, и когда она съ какимъ-нибудь студентомъ или докторомъ убѣжитъ отъ него за границу, онъ превратится въ совершеннѣйшее ничтожество... И вотъ, то доброе, христіанское дѣло, которое вы хотѣли сдѣлать и которымъ хвастаетесь! Развѣ я не знаю, мама, что это ваша мысль — женить его на этой фарфоровой куклѣ!... Это вы... вы, мама!?... (Лиза постоянно говорила своей матери «ты» и невольно перешла на «вы», потому что внутренно негодовала и была взволнована).

— Да развѣ я могу насильно кого-нибудь женить! Ты, право, съ ума сошла! и такъ громко говоришь, что я думаю, и горничная, и швея... и весь домъ слышитъ... Хоть бы по-французски упрекала мать свою...

— Я, мама, не упрекаю васъ.

— Что-же это такое, какъ не упрекъ? (и на глазахъ Анны Петровны показались слезы). Что-же это такое?... Почемъ я знала, что у тебя на сердцѣ... Еслибъ ты была со мной откровенна, какъ съ матерью, какъ съ другомъ, (у тебя нѣтъ и не будетъ такого друга, какъ я), если-бы ты хоть заикнулась мнѣ, неужели, ты думаешь, я бы стала камнемъ преткновенія или препятствіемъ къ твоему счастію! Я бы первая сказала тебѣ: съ Богомъ! выходи, за кого хочешь... хоть за Пулькина!... Но не ты ли надъ нимъ смѣялась, не ты ли находила въ немъ тысячу недостатковъ?!..

— Мама... вы сами говорите такъ громко, что весь домъ услышитъ...

— Тысячу недостатковъ... мало того, ты сама говорила мнѣ, что Пулькинъ хоть и добрый малый, но не развитъ, даже по-французски говоритъ плохо, даже комплименты его ты находила пошлыми и сама радовалась, сама поздравляла Лелю...

— Все это правда... все это правда, что вы говорите... но... любятъ не за достоинства... Я сама не знаю за что, какъ и почему этотъ Пулькинъ у меня изъ ума не идетъ!.. Я знаю, что уже поздно мнѣ объ немъ думать... и что я напрасно съ вами о немъ заговорила... Но успокойся, мама... я сейчасъ встану, одѣнусь, и о Пулькинѣ ты не услышишь отъ меня ни слова... ни, ни, ни полслова! Хорошо, мама?...

— Хорошо, хорошо! Вставай, я вѣдь тебя знаю: ты влюблена не въ первый разъ и, надѣюсь, не въ послѣдній!

— А что если? — вдругъ, начала Лиза, спустивши ноги съ постели и какъ-бы всплеснувъ руками.

— Что?...

— Такъ, ничего... Я просто хотѣла сказать: что̀ будетъ, если онъ на ней не женится, а поступитъ такъ, какъ ты ему совѣтовала?...

— Какъ я ему совѣтовала?!

— Такъ... Ну, мама, надо сейчасъ вставать!

Лиза позвонила, и интимный разговоръ дочки съ матерью долженъ былъ прекратиться. Горничная отворила дверь и внесла въ комнату чистыя, накрахмаленныя юбки, выглаженныя и вздѣтыя на руку, приподнятую выше головы. Повѣсивъ юбки, она вынула изъ комода два чистыхъ полотенца и положила ихъ на мраморную доску рукомойника.

Анна Петровна покосилась на дочь и вышла. На ея лицѣ было нѣчто въ родѣ ужаса; неужели Лиза подслушала слова ея, мимоходомъ сказанныя Пулькину, *безъ всякаго злого умысла*, въ день ея причащенія? Неужели, по-

думала она, я давала ему совѣтъ сойтись съ Лелей до брака... и прежде, чѣмъ жениться на ней, сдѣлать ее своей любовницей, и неужели... эту шутку... это вранье Лиза приняла въ серьёзъ?... Что послѣ этого будетъ думать она о своей матери, о своей чистой, непорочной матери?!...

IV.

Мы уже знаемъ, куда въ субботу вечеромъ отправился Пулькинъ.

Онъ, совершенно случайно, засталъ Любиныхъ дома; онѣ собирались въ театръ смотрѣть новую піесу Островскаго и не нашли билета: всѣ ложи были уже разобраны.

— Гдѣ это вы пропадали, Александръ Васильевичъ? начала Анна Петровна, сидя въ столовой за чайнымъ столомъ, самъ-другъ съ Лизой, которая была блѣдна, и, какъ казалось матери, пожирала своими глазами бѣднаго Пулькина.—Кажется, на праздникахъ вы могли-бы зайти къ намъ, хоть на пульку, не все же вамъ сидѣть у вашей невѣсты? Надѣюсь, что уже это рѣшено и что она не отказала вамъ?! Но любовь любовью, а дружба дружбой! и о насъ, грѣшныхъ, вы могли-бы вспомнить, — тѣмъ болѣе, что мы всегда принимали въ васъ такое горячее участіе...

— Виноватъ, милая Анна Петровна, очень виноватъ; но вы ошибаетесь, думая, что я до такой степени въ плѣну, что день и ночь сижу у этой Затаиловой. А повѣрите-ли вы, что я всѣ праздники у ней ни разу не былъ и даже — совѣстно признаться — не послалъ ей своей визитной карточки.

Лиза молча поглядѣла на мать.

— Что-же это значитъ? подумала Анна Петровна.

— Можетъ ли это быть?... Это что-то такое невоз-

можное, даже неестественное,—именно *неестественное*, чтобъ вы... влюбленный молодой человѣкъ...

— До того-ли мнѣ было, Анна Петровна... Вѣрите-ли вы,—я на праздникахъ чуть было не остался безъ мебели...

— Какъ! изумилась Анна Петровна.

Пулькинъ разсказалъ, разумѣется, не безъ прикрасъ своей собственной фантазіи, какъ поступилъ съ нимъ Буганинъ, какъ онъ узналъ о продѣлкахъ Циферблюма и, чтобъ спасти мебель, заплатилъ за чужую закладную восемьсотъ рублей. (Двѣсти рублей онъ накинулъ; но это, конечно, было вздоръ въ сравненіи съ сотнями тысячъ, которыя онъ получилъ въ наслѣдство!).

Любины очень хорошо знали, что за особа этотъ Буганинъ; онѣ знали, что это молодой человѣкъ, передъ которымъ раскрыты двери большого свѣта, что не нынче, завтра, онъ будетъ секретаремъ посольства, и, разумѣется, со временемъ, займетъ постъ посланника. Разсказъ Пулькина и заинтересовалъ, и удивилъ ихъ.

— Вотъ каковы наши богатые люди! Никакого состоянія не хватаетъ на причуды ихъ... все закладываютъ, все продаютъ,—даже библіотеки, съ великимъ трудомъ собранныя ихъ отцами, идутъ за безцѣнокъ и раскупаются на толкучихъ рынкахъ! Боже мой! въ какое время живемъ мы! волновалась Анна Петровна. Что же вамъ за охота была платить?

— Никакой-съ охоты не было, ни малѣйшей! Я вовсе не изъ числа тѣхъ людей, которые бросаютъ деньги на вѣтеръ... Я терпѣть не могу этого *русскаго разгильдяйства*,—повторилъ Пулькинъ словцо, слышанное имъ изъ устъ Савишина,—терпѣть не могу. Я выдалъ эти деньги потому, что, во-первыхъ, согласитесь сами, Анна Петровна, не весело на праздникахъ оставаться безъ мебели или хлопотать заводить новую; во-вторыхъ, пріятно,

въ нѣкоторомъ смыслѣ слова, утереть носъ такому богачу, какъ этотъ Буганинъ; въ-третьихъ, мебель его стоитъ, по крайней мѣрѣ, десять тысячъ: есть рѣдкіе экземпляры... Жаль, если такія вещи поступили бы въ собственность какого-то плута Циферблюма, который только того и ждалъ, только того и желалъ, чтобъ Буганинъ никогда этихъ денегъ не заплатилъ ему. Съ нимъ у меня тоже была исторія. Вообразите себѣ, въ судѣ не хотѣлъ было брать этихъ денегъ—требовалъ назадъ закладную, хотѣлъ отсрочить... Не тутъ-то было! Я законы-то знаю-съ... меня не надуешь... Наконецъ,—согласитесь сами, Анна Петровна,—что если я дѣлаю одолженіе, можетъ быть, и мнѣ когда нибудь сдѣлаютъ таковое-же — прямой разсчетъ...

— Ну, теперь я понимаю, отъ чего вы не были у Лели: она бѣдна, жениться на ней никакого разсчету нѣтъ... а чтобы волочиться, съ какими-нибудь низкими умыслами, вы неспособны, вы слишкомъ для этого благородны, Александръ Васильевичъ.—Послѣднее Анна Петровна проговорила не столько для Пулькина, сколько для Лизы. Заключеніе утренняго разговора съ нею не могло еще выйти у ней изъ памяти; ей хотѣлось оправдать себя въ глазахъ своей дочери.

— Напротивъ-съ,—почему-то покраснѣвъ, отвѣчалъ ей Пулькинъ, — напротивъ-съ, если я женюсь на ней когда нибудь, то развѣ только потому, что она бѣдна... Я самъ былъ бѣденъ, и знаю, что это такое. Не дальше какъ сегодня, я получилъ-съ отъ нея записку: она приглашаетъ меня завтра вечеромъ. Не знаю, успѣю-ли я быть у нея завтра вечеромъ!

— А у васъ эта записка? потупивъ глаза и какъ бы сознавая нескромность своего вопроса, проговорила Анна Петровна.

Пулькинъ пошарилъ у себя въ карманѣ. Записка была

при немъ. Онъ очень хорошо зналъ, что записка эта одна изъ такихъ, которая никого не можетъ скомпрометировать, — напротивъ, какъ нельзя лучше докажетъ Аннѣ Петровнѣ, что между нимъ и Лелею ничего нѣтъ особеннаго; онъ подалъ ей эту записку. И, еще сильнѣе сконфузясь, Анна Петровна молча прочла ее.

— Изъ этой записки я могу одно только заключить, что вы даже ее вывели изъ терпѣнія... Какъ же вамъ не грѣхъ, всѣ праздники ни разу не быть у ней! Неужели вы такой вѣтренникъ?

— Знаете пословицу, Анна Петровна: тише ѣдешь, дальше будешь!

Послѣ чая Лиза приняла участіе въ разговорѣ и даже развеселилась. Разговоръ зашелъ о разныхъ человѣческихъ свойствахъ и между прочихъ о силѣ воли. Анна Петровна опять привела Пулькину въ примѣръ силу воли сенатора Шталя... Пулькинъ на это отвѣтилъ ей:

— Хотите, Анна Петровна, я съ вами тоже побьюсь объ закладъ!

— О чемъ?..

— О томъ, что черезъ десять лѣтъ у меня будетъ пятьсотъ тысячъ, а черезъ двадцать лѣтъ—милліонъ.

Анна Петровна даже вздрогнула. Лиза поглядѣла на него съ восторженнымъ благоговѣніемъ: каковъ!—подумала она,—да это геній!

Пулькинъ покинулъ ихъ далеко за полночь и оставилъ по себѣ такое впечатлѣніе, что и маменька, и дочка взапуски принялись хвалить его.

— Да—а! лучшаго мужа я бы и не желала тебѣ,— сказала Любина, на ночь цѣлуя дочь свою: — но что же дѣлать! судьбы не перемѣнишь...

Пулькинъ, возвратившись пѣшкомъ домой, самъ мысленно хохоталъ надъ своими фразами, называлъ себя *канальей* и былъ очень доволенъ.

*

V.

Было два часа пополудни. Это былъ часъ, въ который Карлъ Ивановичъ Шталь, по обыкновенію, возвращался домой, въ Галерную, и у себя въ столовой садился завтракать.

Столъ былъ накрытъ на два прибора; на столѣ стояли два блюда съ кушаньемъ и двѣ бутылки вина.

За однимъ приборомъ сидѣла, спиною къ буфету, дама или дѣвица около 26 лѣтъ, та самая, о которой г-жа Любина намекала Пулькину, какъ на старую привязанность пожилого, солиднаго и уже ничѣмъ неувлекающагося сенатора. Она была средняго роста, стройная брюнетка, съ какимъ-то серебристымъ блескомъ въ большихъ черныхъ глазахъ, и если бы вы встрѣтили ее въ сумерки, вы могли бы вообразить, что встрѣтили поразительную красавицу, и остановились бы, набожно благоговѣя передъ святыней красоты. Но при яспомъ солнечномъ освѣщеніи, вы тотчасъ же замѣтили бы болѣзненный цвѣтъ лица ея, на лбу двѣ-три едва замѣтныя морщинки, сухія губы и сказали бы, что она *была* красавицей, и что вкусъ у Карла Ивановича недуренъ.

Звали ее Кларой; и вотъ уже девять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ она, въ качествѣ дальней, бѣдной родственницы, переѣхала жить, заниматься музыкой, шить по канвѣ и присматривать за хозяйствомъ, въ высокія хоромы, занимаемыя Шталемъ.

Она никогда не была особенно говорлива, ея движенія были медленны; но когда она садилась за рояль, только одинъ Карлъ Ивановичъ былъ равнодушенъ къ блестящей игрѣ ея, онъ одинъ ни разу не увѣрялъ ее, что въ ней погребена артистка. Можетъ быть, оттого онъ и молчалъ, что если кто-нибудь и убилъ въ ней

артистку, то это былъ онъ самъ, Карлъ Ивановичъ, который, также какъ и Печеринъ Лермонтова, любилъ музыку для сваренія желудка, т. е. послѣ-обѣденную музыку.

Клара давно привыкла ко всѣмъ угловатостямъ и странностямъ характера Шталя, этого кремнеземнаго человѣка, для котораго наступающая старость казалась чѣмъ-то въ родѣ новой молодости, обязанной вознаградить его за силы, скупо сбереженныя имъ въ ту эпоху, когда и онъ могъ бы, точно такъ же какъ и всѣ, повѣсничать и развратничать. Клара ко многому привыкла, но никакъ не могла объяснить себѣ, отчего этотъ Карлъ Ивановичъ сталъ иногда опаздывать къ завтраку, тотъ самый Карлъ Ивановичъ, который по часамъ распредѣлялъ всю жизнь свою. Ко многому привыкла Клара, но къ его манерѣ насмѣшливо обращаться съ нею, въ послѣднее время, положительно не могла привыкнуть. Въ это послѣднее время онъ такъ повелъ себя, какъ будто выживалъ ее изъ дому. У ея женской гордости не было энергіи, въ свойствахъ ума ея не было женской хитрости. Она безпрекословно отдавалась судьбѣ своей, и какъ прежнія надежды, такъ и теперешнее безнадежное состояніе души ея почему-то не находило словъ, и даже въ глазахъ Шталя она казалась апатично-спокойною.

Итакъ, Клара сидѣла за столомъ, читала нѣмецкую книжку и дожидалась. Кушанья простывали, маятникъ большихъ столовыхъ часовъ тихо постукивалъ, стрѣлка дошла до половины третьяго, а Шталя все еще не было.

Но вотъ, наконецъ, и онъ ввалился въ переднюю, затѣмъ въ гардеробной, при помощи камердинера, перемѣнилъ сапоги свои, съ толстыми подошвами, на сапоги съ тонкими подошвами, что-то такое проворчалъ и явился къ завтраку.

— Много гуляли? спросила его Клара, открывая

блюдо съ котлетами и нѣсколько побаиваясь, не простыло-ли кушанье и не слѣдуетъ-ли его подогрѣть.

— Да вотъ, ходилъ, почтеннѣйшая, все жениховъ вамъ искалъ!

— Нашли?

— Совѣтуютъ мнѣ объявленіе въ газетахъ напечатать...

— Ну, что-жъ... напечатайте... это будетъ оригинально,—съ усмѣшкою проговорила Клара.

Шталь сѣлъ, налилъ себѣ полстакана краснаго вина и выпилъ.

— Что дѣлать-съ! Чувствую, что это долгъ мой, такъ сказать, объ васъ заблаговременно позаботиться.

— Никто вамъ долга этого не навязываетъ... Я знаю, что вы шутите... Но...

Клара потупила свои рѣсницы... Затѣмъ, подняла бутылку съ лафитомъ, и на сухощавой, съ голубыми жилками рукѣ ея, какъ слеза, засверкало бриллiантовое колечко, въ ту минуту, когда красная струя вина, булькая, полилась въ стаканъ и немного попала на скатерть.

Карлъ Ивановичъ покосился на красное пятно; появившееся на чистой скатерти, но не сказалъ ни слова... Онъ доѣлъ прежде свою порцію, отрѣзалъ себѣ кусокъ сыру, запилъ его глоткомъ вина и началъ.

— А сказали-ли вы, почтеннѣйшая, этому болвану, Спиридонычу, чтобъ онъ впредь не проливалъ на полъ керосинъ!.. Керосинъ тоже что-нибудь да стоитъ! Я же терпѣть не могу этого керосиннаго запаха.

— Онъ извиняется...

— Извиняется! повторилъ Шталь:—очень нужно мнѣ его извиненіе. Скажите ему (если это не составляетъ вамъ труда), что если во второй разъ прольетъ онъ въ коридорѣ керосинъ, или будетъ также скверно заправлять лампы—я его прогоню...

— А если я еще какъ-нибудь капну виномъ на скатерть, вы меня тоже прогоните?!...

— Гм! Я васъ не нанималъ, почтеннѣйшая! Вы скорѣе сами бросите меня, такъ какъ я становлюсь старъ для васъ—начинаю ворчать и капризничать...

— А можетъ быть вы будете очень довольны, если я уйду отъ васъ? проговорила Клара такимъ кроткимъ голоскомъ, какимъ бы другая сказала: «а вы будете очень довольны, если я поцѣлую васъ?»

— О, я буду непремѣнно страдать, если при этомъ вы будете горько плакать; а если не будете плакать, то, хотя мое самолюбіе и будетъ затронуто... я не огорчу васъ, почтеннѣйшая, моими слезами и вздохами. Я люблю женщинъ, въ особенности ихъ ножки; но плакать о нихъ такъ же глупо, какъ и проклинать ихъ.

Все это Шталь пророкоталъ шутливо-насмѣшливымъ баскомъ, который чуткому сердцу Клары долженъ былъ подсказать, что онъ давно уже охладѣлъ къ ея прелестямъ — и не очень будетъ огорченъ, если она ему измѣнитъ.

Клара облокотилась на столъ и что-то усиливалась сказать ему, но въ передней раздался звонокъ.

На этотъ звонокъ Шталь не обратилъ никакого вниманія: онъ зналъ, что курьеръ его на столько дрессированъ, что никого не приметъ, кромѣ старыхъ его друзей и сослуживцевъ. Но курьеръ этотъ, чуть не на цыпочкахъ, вошелъ въ столовую, обошелъ столъ и, положа передъ нимъ визитную карточку, сказалъ:

— Желаютъ очень видѣть васъ... Прикажете принять?

Шталь вынулъ изъ жилетнаго кармана стеклышко, въ черепаховой оправѣ, на гуттаперчевой ниткѣ, приставилъ его къ глазу и прочелъ фамилію, оттиснутую на карточкѣ. Онъ былъ отчасти радъ, что судьба помѣшала

ему продолжать разговоръ съ Кларой, но все-таки онъ былъ удивленъ, насупился и пожалъ плечами.

— Зачѣмъ этотъ пистолетъ пожаловалъ? Гмъ! проси въ кабинетъ.

И вставъ изъ-за стола, медленною, тяжелою походкою, не поворачивая головы, прошелъ онъ въ другую комнату, со всѣхъ сторонъ уставленную дубовыми книжными шкафами, такими же столами, съ кипами бумагъ, и увѣшанную дорогими, старинныхъ мастеровъ картинами; налѣво отъ входа висѣла одна самая большая картина, очень темная, съ бѣлесоватыми пятнами, присмотрѣвшись къ которымъ, весьма легко можно было увидѣть, что это Діана, окруженная голыми нимфами.

Изъ передней въ столовую вошелъ гость—это былъ Александръ Васильевичъ Пулькинъ.

Увидѣвъ Клару, онъ пріостановился.

Клара, не вставая съ мѣста, сдѣлала легкое движеніе головою, въ видѣ полупоклона, но, мелькомъ взглянувъ на него, посмотрѣла на него еще разъ и подумала: «я его гдѣ-то видѣла»...

— Гдѣ я видѣлъ эту женщину? подумалъ Пулькинъ. Но долго думать было некогда: курьеръ указалъ ему на дверь кабинета.

— Что прикажете? серьезно, мягкимъ баскомъ проговорилъ сенаторъ, и подалъ гостю свою деревянную руку, съ тѣмъ, чтобы молодой человѣкъ, съ чувствомъ благоговѣнія, пожалъ ее.

— Я къ вамъ съ моей покорнѣйшею просьбою, ваше превосходительство, — началъ Пулькинъ, слегка сгибая колѣни и весело выставляя на видъ свои бѣлые зубы.

— Садитесь, выкладывайте вашу просьбу... Что вамъ отъ меня угодно?

Пулькинъ пересталъ скалить зубы: онъ понялъ, что Шталю непріятенъ визитъ его.

— Вы какъ-то изволили говорить о какой-то рукописи покойнаго Затаилова... Если вы изволили прочесть ее, то не можете ли вы, Карлъ Ивановичъ, черезъ меня переслать ее Еленѣ Александровнѣ,—ей почему-то очень понадобилась эта рукопись.

— Зачѣмъ же это черезъ васъ? Я могу ее и съ человѣкомъ отослать, если уже ей такъ приспичило. Я совершенно не понимаю, для чего ей понадобилось ваше посредничество, а вамъ—эта излишняя угодливость.

— Почему же-съ? развѣ это мѣшаетъ — излишняя угодливость, ваше превосходительство?

— Оставьте въ покоѣ мое превосходительство — я вовсе не нуждаюсь въ угодливости этого сорта...

— Въ такомъ случаѣ, извините, ваше пр.... Пулькинъ окончательно сконфузился, онъ сидѣлъ точно на горячихъ угольяхъ и уже собирался встать, раскланяться и выйти.

— Если я безпокою васъ—извините!

— А какъ здоровье Елены Александровны?

— Не знаю. Я вотъ уже недѣли полторы, какъ не видалъ ее. Въ послѣдній разъ я ее видѣлъ на юбилеѣ Ломоносова.

Шталь поглядѣлъ на Пулькина, и какъ будто и удивился, и усомнился, и успокоился.

— Отчего же вы не были у нея на праздникахъ?

— Не успѣлъ-съ, много было разнаго дѣла... былъ занятъ

— А на этомъ юбилеѣ вы были?

— Надѣюсь, что и вы были, ваше превосходительство?

— Нѣтъ, не былъ. Мнѣ не прислали билета, можетъ быть, оттого, что считаютъ меня профаномъ въ исторіи русской литературы и что я не знаю, кто такой Ломоносовъ, а можетъ и оттого, что недостало билетовъ.

Всѣхъ же петербургскихъ генераловъ никакая зала не помѣститъ. Гмъ, почтеннѣйшій! отчего же это вы у Лели не были на праздникахъ? Вѣдь вы... извините за откровенность... я слышалъ... кое-что слышалъ... и отчасти имѣю нѣкоторое право интересоваться судьбою этой дѣвушки. Покойный отецъ ея былъ мой другъ и не разъ говорилъ мнѣ: «умру, — не оставь и наблюди за ней!» Конечно, родительскія чувства старыхъ холостяковъ не имѣютъ никакой цѣны въ глазахъ молоденькихъ дѣвушекъ, и я положительно отказываюсь наблюдать за ней— это было бы и свыше силъ моихъ, да и не въ моихъ правилахъ. Она уже не ребенокъ... Но заботиться о ней, если даже это ей и не очень нравится, надѣюсь, я всегда въ правѣ... этимъ я, такъ сказать, самому себѣ доставляю нѣкоторое удовольствіе...

Все это Шталь проговорилъ въ другомъ, болѣе мягкомъ, снисходительномъ тонѣ, и Пулькинъ это почувствовалъ.

— Вы знаете, почтеннѣйшій, что всѣ бабы великія сплетницы. Надѣюсь, что и наша общая знакомая, любезнѣйшая Анна Петровна, въ этомъ случаѣ не составляетъ исключенія изъ общаго правила, и васъ нѣсколько удивитъ, если я слышалъ, что вы имѣете кой-какія поползновенія на счетъ руки Лели; и если это имѣетъ какое нибудь основаніе, то я совершенно недоумѣваю, въ какой степени мнѣ вѣрить вамъ, то-есть, вѣроятно ли, чтобы вы ни разу на праздникахъ у нея не были...

— Не былъ, но сегодня вечеромъ мнѣ хочется быть у нея, и, чтобъ найти какой-нибудь предлогъ, я пріѣхалъ просить васъ передать мнѣ рукопись ея покойнаго батюшки, если это только нисколько не обезпокоитъ васъ...

— А! такъ вотъ что! Вы такъ несмѣлы, почтеннѣйшій... Это дѣлаетъ вамъ честь...

— А тебѣ удовольствіе, — подумалъ про себя Пулькинъ.

— А позвольте васъ спросить... вы, г-нъ Пулькинъ, *серьезно* человѣкъ съ состояніемъ?

— О, мнѣ еще далеко до того, чтобы считаться человѣкомъ богатымъ, но надѣюсь, что къ будущей осени я устрою дѣла свои... и...

— А какъ фамилія того дядюшки, который подарилъ васъ такимъ завѣщаніемъ, что, я думаю, вы пребольшущую свѣчу поставили за упокой души его?

— Та же самая фамилія, что и у меня,—внутренно смутившись, отвѣчалъ Пулькинъ.

— А въ какой губерніи досталось вамъ имѣніе?

— Частью въ Орловской, частью въ Ярославской губерніи...

— Въ Орловской! а въ какомъ уѣздѣ?

— Гдѣ-то около... въ Елецкомъ уѣздѣ, ваше превосходительство...

Пулькину при этомъ показалось, что сенаторъ исподлобья глядитъ на него такими глазами, какъ будто хочетъ этими глазами насквозь пронзить его. «А что, если Елецъ не Орловской губерніи?» съ замираніемъ сердца, подумалъ Пулькинъ... тотчасъ же всталъ и взялся за шляпу...

— Не будетъ ли какого порученія, ваше превосходительство?

— Къ Затаиловой? спросилъ Шталь,—а вы не возьмете рукописи?

— Не смѣю безпокоить васъ...

Сенаторъ всталъ, не торопясь, отперъ какой-то шкапчикъ, и такъ какъ у него во всемъ былъ порядокъ изумительный и большая память,—онъ тотчасъ досталъ свертокъ, завязанный желтою ленточкою отъ сигарнаго ящика, и передалъ его Пулькину съ такимъ видомъ, съ ка-

кимъ, иногда, нищимъ подаютъ милостыню, не глядя на нихъ...

— Покорнѣйше васъ благодарю, ваше превосходительство.

— Не стоитъ благодарности, ваше благородіе,— желаю вамъ весело провести сегодняшній вечеръ и плѣнить радикализмомъ все то общество, которое вы тамъ встрѣтите. Прощайте...

И Шталь опять сунулъ ему свою руку, и когда Пулькинъ пожалъ ее, онъ тотчасъ же ее отнялъ, какъ бы чувствуя, что рука его, на этотъ разъ, потеряла свою деревянность и можетъ обнаружить его душевное волненіе.

— И этотъ оскорбленъ!... подумала Клара, когда опять увидѣла Пулькина, проходящаго черезъ столовую, гдѣ она промедлила нарочно для того, чтобъ взглянуть на гостя и вспомнить, гдѣ и когда она его видѣла.

Пулькинъ проклиналъ себя за то, что сунулся къ этому сенатору, и былъ блѣденъ, какъ школьникъ, провравшійся на экзаменѣ; но, замѣтивъ Клару, опять пріостановился, опять поглядѣлъ ей въ лице, поклонился, хотѣлъ что-то сказать, но, заслышавъ за собою шаги, прошелъ въ переднюю.

Когда онъ ушелъ, Клара выбѣжала въ залу и сѣла за рояль; минутъ черезъ десять, раздалась какая-то торжественно-веселая музыка. Эта музыка также шла къ ея душевному настроенію, какъ блестящій, шитый золотомъ чепракъ къ лошади, которая тащитъ въ гору возъ, нагруженный двухсотъ пудовыми жерновами, и по спинѣ которой, того гляди, хозяинъ кнутомъ махнетъ.

Сенаторъ позвонилъ, спросилъ своего курьера — сколько онъ получилъ на водку отъ Пулькина?—и когда, оторопѣвъ, тотъ отвѣтилъ ему: «ничего-съ!»—отослалъ его.

До обѣда, т. е. до 6 часовъ вечера, онъ занимался дѣлами и читалъ газеты.

За обѣдомъ онъ развеселился; но Кларѣ не было легче отъ его веселости.

— Вотъ, почтеннѣйшая Клара Леонтьевна, не даромъ вы нынче такъ разыгрались... видѣли вы сегодня сего молодого субъекта?

— Видѣла...

— Какъ онъ вамъ нравится, этотъ пистолетъ?

— Не знаю, какъ вамъ сказать... Я его какъ-будто гдѣ-то видѣла...

— Ну, вы бы мнѣ такъ и сказали! А то онъ приходилъ просить вашей руки... и я... сказалъ ему, что... я нахожу весьма страннымъ его предложеніе... и отказалъ ему.

— Не шутите такъ... Охота вамъ шутить!

— Не шутя, любезнѣйшая...

— Такъ вы напишите ему, чтобъ онъ на-дняхъ зашелъ ко мнѣ—я сама съ нимъ поговорю.

— О дура! подумалъ про себя Шталь,—съ ней и шутить нельзя!

— Что же вы ему скажете?

— Скажу, что мнѣ такъ тяжело стало жить, что если онъ избавитъ васъ отъ меня... я всю жизнь мою посвящу на то, чтобъ вѣрою и правдою служить ему... по-нѣмецки проговорила Клара, и въ ея голоскѣ зазвучали слезы.

Шталь, точно на него ушатъ воды вылили, тотчасъ-же затихъ и нахмурился... Онъ, какъ человѣкъ умный и справедливый по принципу, не столько сердцемъ, сколько умомъ тотчасъ-же понялъ, что онъ неправъ передъ этою женщиною, что онъ взялъ отъ нея всю ея свѣжую, цвѣтущую молодость,—взялъ какъ-бы нахрапомъ, насильно, нагло, безъ всякихъ прелюдій любви и долгаго ухаживанья. Не мало страшныхъ, соблазнительныхъ страницъ пришлось-бы

написать, если-бъ вздумалъ я въ этомъ разсказѣ возстановлять тѣ первые дни и ночи, которые провела семнадцатилѣтняя сиротка подъ его гостепріимною кровлею... Шталь этотъ, нѣкогда примѣрной нравственности, цѣломудренный юноша, точно покаялся въ своемъ прежнемъ поведеніи, и въ преклонные годы далъ полную волю разнуздавшимся страстямъ своимъ. Клара была одною изъ его жертвъ, и, если-бы она была бойка, хитра, капризна и настойчива,— она бы давно была женой его; но молчаливая, пассивная въ страсти, безъ хитрости, правдивая и въ то же время робкая, она стала казаться ему дурой, и онъ окончательно охладѣлъ къ ней. Но тяготиться ея присутствіемъ сталъ онъ не прежде, какъ новая, тайная страсть потихоньку прокралась въ грудь его—страсть видѣть Лелю Затаилову и слышать голосокъ ея. Но Леля попала въ такую сферу, гдѣ волокитство его было-бы тотчасъ замѣчено и громко, безъ всякихъ церемоній, осмѣяно; (а Шталь смѣшнаго боялся пуще огня.) Свататься за нее онъ тоже не смѣлъ, такъ какъ понималъ, что своими сотнями тысячъ, чинами и обстановкою онъ не соблазнитъ ее,—да и Клара была еще у него на рукахъ. Какъ честный, благовоспитанный человѣкъ, не смотря на всю суровость своего желѣзнаго характера, онъ не могъ прогнать ее; но не могъ и устоять отъ соблазна—безпрестанно пилить или колоть ее разными шутками или намеками на то, что стараго не воротишь, что для его сердца она стала чѣмъ-то въ родѣ гири, и что если она, столь щедро одаренная имъ и вещами, и деньгами, сама позаботится о будущей судьбѣ своей, то это будетъ самое лучшее, что она только можетъ выдумать.

VI.

Пулькинъ отъ сенатора, съ Галерной, отправился на Невскій, чтобы купить себѣ календарь; но было воскресенье,

и книжныя лавки были заперты. А ему непремѣнно былъ нуженъ календарь, чтобы справиться: дѣйствительно-ли Елецъ — Орловской губерніи. Онъ заѣхалъ въ читальню и спросилъ: какой теперь въ гимназіяхъ употребляется учебникъ русской географіи, и нѣтъ-ли какого-нибудь учебника, чтобъ онъ могъ просмотрѣть для рекомендаціи... Не зачѣмъ ему было объяснять, зачѣмъ именно нужна ему географія, но онъ пустился въ объясненія...

Какая-то географія, кажется, Ободовскаго, нашлась на полкахъ библіотеки, и Пулькинъ, просмотрѣвъ ее, тотчасъ-же ее возвратилъ. Онъ убѣдился, что Елецъ дѣйствительно въ Орловской губерніи... Съ успокоеннымъ сердцемъ, онъ принялся читать журналъ, гдѣ печатался Кроликовъ... Онъ такъ углубился въ одну изъ его статей, что и не замѣтилъ, какъ пробило 5 часовъ.

— Можетъ же случиться,—думалъ онъ,—что эта Леля опять заведетъ со мною разговоръ объ этомъ Кроликовѣ. Необходимо мнѣ проникнуться его идеями, понять, чего они хотятъ—эти господа; иначе, я покажусь имъ чортъ знаетъ какимъ ретроградомъ, такимъ, что и знаться-то со мною они почтутъ за преступленіе.

Все это онъ думалъ, когда шелъ обѣдать. А когда шелъ отъ обѣда, домой, то уже не столько думалъ, сколько мечталъ... Ему мечталось, что Леля приметъ его наединѣ и постарается, чтобъ никого дома не было, (хитрый народъ эти дѣвушки!). И Пулькинъ уже мысленно цѣловалъ ея свѣтлыя очи, цѣловалъ ея русыя кудри — и даже ея фарфоровыя ножки стали дразнить его воображеніе, когда онъ по Караванной подходилъ къ своему подъѣзду...

Вдругъ, съ этого самаго подъѣзда, на тротуаръ сошелъ молодой человѣкъ, въ коричневой шляпѣ, съ широкими полями à la Рубенсъ.

— А я только-что отъ васъ! сказалъ онъ Пулькину.

— А! Умековъ!... Здравствуйте, зайдите: у меня есть еще часъ времени. Зайдите, зайдите!

Минутъ черезъ пять, оба они уже сидѣли на угловомъ диванѣ, между бронзовой статуеткой и пьянино. Оказалось, что Умековъ зашелъ къ Пулькину пригласить его на свою свадьбу, съ тѣмъ, чтобы онъ былъ въ числѣ свидѣтелей, и объявилъ, что свадьба эта будетъ въ пятницу, на Ѳоминой недѣлѣ, въ шесть часовъ пополудни, за городомъ, въ церкви Лѣсного института.

— Почему же не въ городѣ? спросилъ Пулькинъ, изъявившій Умекову свое полнѣйшее согласіе.

— Да потому, что все будетъ очень просто,—отвѣчалъ Умековъ:—мы не должны гоняться за пышностью. Чего добраго, мы обойдемся и безъ подвѣнечнаго платья, и безъ цвѣтовъ! Тамъ-же и священникъ знакомый, не возьметъ дорого... и толпы зѣвакъ не будетъ...

— И вы не боитесь вѣнчаться, не имѣя состоянія?..

— Вѣнчаются-же крестьяне и мастеровые, не имѣя состоянія.

— Да вѣдь у нихъ-съ нѣтъ такихъ потребностей. Вѣдь вы не будете же въ крестьянской избѣ обитать! Не будетъ же ваша жена вмѣстѣ съ вами, на той же землѣ работать?!

— Лучше жить въ крестьянской избѣ и работать въ полѣ, чѣмъ жить въ одной душной комнаткѣ съ перегородкою; но, дѣлать нечего, будемъ пока жить въ одной комнатѣ.

— Ты, братъ, тоже, должно быть, нигилистъ,—подумалъ Пулькинъ и спросилъ:

— А вы признаете бракъ, Алексѣй Алексѣевичъ?

— Нельзя не признавать факта, который не пересталъ быть фактомъ,—отвѣчалъ Умековъ. Теоретически можно все отрицать, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые... но у меня своя теорія... Любовь, половыя отношенія и всѣ

происходящія отъ нихъ послѣдствія такъ разнообразны, разносторонни и разнохарактерны, что должны же быть чѣмъ-нибудь формулированы, должны же держаться на какомъ-нибудь принципѣ. Любовь, въ жизни людей, составляетъ такое неизбѣжное и многознаменательное содержаніе, что... нельзя-съ, чтобы такое содержаніе не имѣло никакой формы... Развѣ безформенная мысль—есть мысль? Все имѣетъ форму, и было бы странно, еслибъ любовь не имѣла своей формальной стороны. Даже у дикихъ, даже у нашихъ молоканъ и духоборцевъ есть своя форма брака... Содержаніе можетъ перерости одну форму, но только для того, чтобы найти другую...

Такою тирадою отвѣтилъ Умековъ Пулькину; и долго еще продолжалъ онъ говорить въ томъ же книжномъ тонѣ, съ полною увѣренностью, что все это его собственныя мысли, т. е. нѣчто такое, чего никому еще не приходило въ голову. При этомъ надо сказать, что Умековъ, уговорившій Машу вѣнчаться, вовсе не желалъ, чтобы это вѣнчанье казалось ей выраженіемъ его трусости передъ общественнымъ мнѣніемъ. Нѣтъ, онъ далъ себѣ слово—помирить Машу съ фактомъ брака, и такъ много говорилъ ей на эту тему, что Маша охотно (хотя и не вдругъ) позволила ему уговорить себя.

— Говорятъ, продолжалъ Умековъ, выдвигая впередъ подбородокъ свой и слегка закидывая назадъ голову,—говорятъ, что любовь должна быть священной тайной между мужчиной и женщиной, что никто не въ правѣ спрашивать, кого я люблю и кѣмъ обладаю... Это смѣшно-съ: «шила въ мѣшкѣ не утаишь». Да и что за вздоръ! Если изъ любви дѣлать тайну, не значитъ ли это признавать ея преступность, или, извините за выраженіе, причислять ее къ тѣмъ ежедневнымъ физіологическимъ отправленіямъ пищеваренія, о которыхъ никто вслухъ

не говоритъ, даже публичныя женщины. Дѣлать тайну изъ отношеній, подсказываемыхъ истинною любовью, да это-съ то же самое, что таить отъ дѣтей, кто ихъ мать и кто ихъ отецъ! Возможно ли это? Не значитъ ли это воевать съ природою или съ своимъ собственнымъ сердцемъ?! И вотъ-съ, чтобъ это не было тайною, мудрость вѣковъ требуетъ, чтобъ вы вышли передъ народъ или сказали бы при свидѣтеляхъ: «я, такой-то, буду жить съ такою-то, и обязываюсь кормить и воспитывать нашихъ дѣтей до тѣхъ поръ, пока ихъ кормить и воспитывать не обяжется все общество». Да-съ!...

— Я совершенно вашего мнѣнія,—сказалъ Пулькинъ и посмотрѣлъ на часы.

Если бы Умековъ сказалъ ему, что брака не должно быть, что всякій союзъ съ женщиной, хотя бы онъ продолжался недѣлю, есть бракъ, и что всякій такой союзъ долженъ быть покрытъ непроницаемою тайною, Пулькинъ сказалъ бы тоже: «я совершенно вашего мнѣнія».

Быть можетъ, Пулькину было бы даже пріятнѣе, если бы Умековъ сталъ убѣждать его: «люби и живи, съ кѣмъ хочешь, только никому объ этомъ не сказывай», и было бы это Пулькину гораздо пріятнѣе вовсе не потому, чтобы онъ былъ отрицателемъ брака или семьи, а потому, что это вполнѣ гармонировало бы съ его положеніемъ, соціальнымъ и финансовымъ. А положеніе его было таково: или отрекись отъ блаженства любви, ибо, чего добраго, надо будетъ жениться; или отрекись отъ женитьбы, ибо, чего добраго, на семейную жизнь не хватитъ денегъ, и—что всего ужаснѣе—будущая жена твоя узнаетъ, что ты всѣхъ надулъ твоимъ состояніемъ, и ее также надулъ... Не ясно ли, что будь Умековъ «настоящимъ нигилистомъ», онъ былъ бы гораздо сподручнѣе для чиновника Пулькина, ибо помогъ бы ему всего скорѣе

разрубить этотъ Гордіевъ узелъ, который мѣшаетъ ему любить и мѣшаетъ жениться...

Затѣмъ, Пулькинъ сталъ разспрашивать Умекова, кто такая и что за особа Юлинька Дицъ—и правда ли, что она такъ дружна съ Лелей Затаиловой.

Умековъ вдругъ замолкъ, усѣлся поглубже въ уголъ дивана и, сквозь наступающія сумерки, блестящими глазами сталъ глядѣть на Пулькина...

— Что за личность эта Юлинька Дицъ? началъ онъ, точно приготовляясь сказать что-то необыкновенное, въ вашихъ глазахъ, она будетъ сумасшедшая, въ моихъ— святая...

И затѣмъ, Умековъ, точно подъ наитіемъ тайнаго восторга, сталъ разсказывать о ней вещи, дѣйствительно не совсѣмъ обыкновенныя.

Вотъ въ чемъ заключалась вся суть его разсказа.

Юлинька вся—любовь, самоотверженіе, и дѣятельность ея самая многосторонняя. Когда уѣзжаетъ отецъ ея, докторъ и собственникъ аптеки, она управляетъ всею аптекою и на сотни рублей въ мѣсяцъ выдаетъ бѣднякамъ даровое лекарство. Она сама готовится быть докторомъ, и, если наша академія ее не приметъ, уѣдетъ учиться за границу, ибо ничто не въ силахъ сломить ея характера. Она никого не любитъ, ни къ кому не пылаетъ страстью, потому что любитъ всѣхъ страдающихъ и всѣхъ нуждающихся. Если она на улицѣ встрѣтитъ человѣка въ падучей или въ обморокѣ, она пошлетъ за экипажемъ, попроситъ проходящихъ мимо поднять больного, сама отвезетъ его въ больницу и при себѣ сдастъ съ рукъ на руки доктору. Прилипчивыхъ болѣзней она не труситъ, и уже была разъ въ тифѣ. Она свободно читаетъ по-французски, по-нѣмецки и знаетъ латинскій языкъ. Спорить съ нею трудно, потому что она умна, какъ чортъ: и діалектикой обладаетъ, и анализомъ! Она посѣщаетъ

тюрьмы и остроги, изучаетъ источники нищеты, причины, наталкивающія на преступленія, и въ то же время участвуетъ во многихъ благотворительныхъ обществахъ, а въ томъ числѣ и въ издательской артели...

Пулькинъ слушалъ, поглядывалъ на часы и не довѣрялъ словамъ Умекова—слишкомъ ужъ восторгался онъ! Но мы не даромъ назвали Умекова идеалистомъ: изъ Юлиньки онъ дѣйствительно создалъ нѣчто въ родѣ идеала и не видѣлъ ея недостатковъ. Вообще, видѣть тѣ недостатки, которые сами не бросаются въ глаза, было несвойственно его натурѣ: онъ могъ или отворачиваться и плевать, или благоговѣть и вѣрить. Но ни одинъ характеръ, какъ бы ни былъ онъ цѣленъ, не можетъ быть вполнѣ объяснимъ человѣческою логикою. Умековъ нисколько не благоговѣлъ и не восторгался передъ тою, которую любилъ и съ которою готовился сочетаться навѣки; недостатки ея онъ видѣлъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь, нерѣдко страдалъ отъ нихъ; но чѣмъ чаще голова его спрашивала—стоитъ ли она того, чтобъ любить ее, тѣмъ чаще навѣщалъ ее и сердечно прилѣплялся къ ней.

— Ну-съ,—сказалъ Пулькинъ,—о такихъ дѣвицахъ я, признаюсь вамъ, даже въ романахъ не читывалъ... Ба! скоро девять часовъ... мы бы отлично здѣсь напились съ вами чаю, но, извините меня, ради Бога, Алексѣй Алексѣевичъ, я сегодня вечеромъ обѣщался быть въ одномъ домѣ и всегда держу свое слово—это не въ моихъ правилахъ заставить кого-нибудь понапрасну ждать себя.

— Пожалуйста, не церемоньтесь, я и самъ никакъ бы не могъ у васъ остаться — тоже обѣщался въ одномъ домѣ быть. Что за церемоніи!

И минутъ черезъ десять, молодые люди, одинъ въ щегольскомъ цилиндрѣ, другой въ шляпѣ à-la Рубенсъ, вышли на улицу.

— Вы въ какую сторону? спросилъ Пулькинъ Умекова.

— Я налѣво. А вы куда?

— И я налѣво.

Такимъ образомъ, рядомъ по тротуару пошли они, и, пользуясь случаемъ, Пулькинъ не безъ умысла заговорилъ о Затаиловой.

— Неужели, — сказазалъ онъ, — никто изъ васъ не влюбленъ въ нее? Она такая душка, эта Затаилова!

— Одинъ оболтусъ влюбленъ,—отвѣчалъ Умековъ.

— Оболтусъ? удивился Пулькинъ и легкая краска выступила на лицѣ его.

— Да... вы его не знаете — это нѣкто Стихаревъ, юноша весьма нецеремонный и порядочно назойливый. Но, не смотря на это, до сихъ поръ незамѣтно, чтобы онъ объяснялся съ ней. Леля говорила моей невѣстѣ, что ей противны глаза этого Стихарева, и что ей хочется провалиться сквозь землю всякій разъ, когда онъ этими глазами начинаетъ ее магнетизировать.

— Гмъ!

— Ну-съ, теперь я — тоже налѣво, — улыбаясь скакалъ Умековъ, когда они вошли въ толпу, снующую по широкому тротуару Невскаго.

— И я налѣво,—сказалъ Пулькинъ.

— Можетъ быть, намъ обоимъ опять придется свернуть налѣво, когда мы дойдемъ до Знаменья, — смѣясь, сказалъ Умековъ.

— Да вы куда?

— Я къ Кроликовымъ.

Пулькинъ остановился... «Чортъ возьми!» подумалъ онъ.

— Такъ вы туда?

— Ну... да.

— Гмъ! А какъ вы думаете, не пойти ли и мнѣ съ вами къ этимъ Кроликовымъ? А? Я такъ давно у нихъ не былъ...

— Какъ хотите.

— Даже на праздникахъ не былъ...

— А какъ же ваше слово-то? Вы вѣдь куда-то обѣщались... тамъ ждать васъ будутъ,—сдерживая хохотъ, проговорилъ Умековъ.

— Да... будутъ ждать... Э! была не была! пойдемте къ Кроликовымъ. Я же обѣщался передать Еленѣ Александровнѣ рукопись ея отца. Теперь вотъ что... вы ступайте, а я вернусь, захвачу съ собою рукопись и на дрожкахъ догоню васъ.

— Значитъ, я могу сказать Затаиловой, что вы будете?

— Ну, да, да... можете, можете... До свиданія!

— До свиданія!

Пулкинъ пошелъ назадъ. Рукопись была у него въ карманѣ. Идти домой ему было незачѣмъ. Ему было просто досадно. «Чортъ возьми!» думалъ онъ,—«по крайней мѣрѣ, я одинъ войду. По крайней мѣрѣ, она не подумаетъ, что я самъ пригласилъ его.»

Размышляя, недоумѣвая и досадуя, прошелъ онъ всю Караванную, замедлилъ шаги и повернулъ по направленію къ Литейной. Тамъ онъ не спѣша хотѣлъ взять извощика и поѣхать. Онъ разсчиталъ, что ему лучше пріѣхать позднѣе, что если Умековъ будетъ сидѣть у Кроликова въ кабинетѣ, онъ пройдетъ прямо въ комнатку къ Лелѣ, и что достаточно будетъ десяти минутъ, чтобы убѣдиться, чего ему ждать: былъ ли какой нибудь толкъ въ его любовномъ письмѣ, или съ этимъ письмомъ онъ опростоволосился?..

VII.

«Вотъ тебѣ и ранде-ву!» невольно подумалъ Пулкинъ, когда вошелъ въ квартиру, занимаемую Кроликовыми съ компаніей.

Гостей—мужчинъ, дамъ и дѣвицъ—было множество... Шумъ голосовъ, свѣчи, самоваръ, стаканы съ чаемъ, табачный дымъ, незнакомыя лица... улыбки, удивленные глаза—вотъ что встрѣтилъ Пулькинъ, явившійся на свое первое любовное свиданіе. Не скоро пришелъ онъ въ себя и очень былъ радъ, что, пробравшись въ кабинетъ къ Савелію Дмитріевичу, въ какомъ-то красноватомъ полусумракѣ отъ лампы съ абажуромъ, онъ замѣтилъ бѣколурые волосы и привлекательное лицо Умекова... Онъ сидѣлъ рядомъ съ какою-то дѣвушкою и что-то говорилъ ей, однимъ глазомъ поглядывая на нее, другимъ—на входившаго Пулькина. Самъ Кроликовъ сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ, у письменнаго стола, и разговаривалъ съ какимъ-то пожилымъ человѣкомъ, у котораго лице издали казалось комкомъ сухой земли, и только синіе очки обозначали глаза и переносицу. Сократись этотъ человѣкъ на аршинъ или полтора—и типъ гнома, добывающаго изъ-подъ земли каменья и золото, былъ вы вполнѣ олицетворенъ этимъ собесѣдникомъ великаго критика.

— Ефименко! поглядите-ка! шепнулъ Умековъ, потянувъ за рукавъ одного молодого человѣка, съ длинными волосами и насмѣшливымъ видомъ.

— Чего глядѣть?

— Видите... ваше привидѣніе... оно или нѣтъ?

Ефименко остановилъ глаза свои на Пулькинѣ, который въ это время, молча, здоровался съ хозяиномъ и косился на раскрытый ротъ растолстѣвшаго гнома въ синихъ очкахъ.

— Оно! воскликнулъ Ефименко и такъ захохоталъ, что Пулькинъ обернулся и тотчасъ же сталъ пробираться къ Умекову.

Ефименко отступилъ, изобразивъ на лицѣ своемъ нѣчто въ родѣ комическаго ужаса.

— Ну что, принесли рукопись? спросилъ Умековъ Пулькина.

— Принесъ,—отвѣчалъ Пулькинъ.

— Рекомендую вамъ будущую жену мою... Маша Студенецкая... посидите съ ней... я сію минуту вернусь...

Пулькинъ сѣлъ на его мѣсто. Маша поглядѣла на него, слегка кусая губы, и не сказала ни слова.

— Скоро ваша свадьба? спросилъ Пулькинъ, явно для того, чтобы начать хоть съ чего-нибудь.

— А развѣ Алексѣй Алексѣевичъ не сказалъ вамъ, когда именно? проговорила Маша, слегка поежившись.

— Онъ сказалъ, что въ пятницу.

— Значитъ, въ пятницу.

— Глупо! подумалъ про себя Пулькинъ.

— Вы давно знакомы съ Кроликовымъ?

— Давно...

— У него очень доброе лице, а пишетъ зло. Я очень радъ, что я не литераторъ, а то, чего добраго, и мнѣ бы досталось...

— И ему достается! Да на это нечего обращать вниманія... пролепетала Маша, не глядя на Пулькина:—кто стоитъ за правду, тому чаще всѣхъ достается,—только лежачихъ не бьютъ!...

— Кто, по-вашему, первый, самый лучшій поэтъ въ Россіи? продолжалъ спрашивать Пулькинъ, очевидно, для того только, чтобы не молчать.

— Писаревъ,—быстро отвѣтила Маша и такъ же быстро поглядѣла ему въ глаза: она была увѣрена, что ея отвѣтъ изумитъ его.

Но Пулькинъ не изумился.

— Такъ вы думаете, что онъ поэтъ?

— Выше всѣхъ поэтовъ, какіе когда-либо были въ Россіи. Одна страница его иногда стоитъ десятка лири-

ческихъ Пушкинскихъ или Лермонтовскихъ стихотвореній... Я уже не говорю о другихъ,—тѣ просто нули...

— А Некрасовъ?

— Некрасова я люблю, но его Антоновича терпѣть не могу...

— За что же вы его не любите?

Но Маша уже вслушивалась въ разговоръ у камина. Красивый, плечистый молодой человѣкъ, въ бархатной блузѣ, перетянутой чернымъ ремнемъ и съ краснымъ воротомъ шелковой рубашки вмѣсто галстуха, горячо подпималъ голосъ свой: онъ спорилъ съ двумя юношами, и то хохоталъ, то сердился... Пулькину послышалось въ рѣчахъ его имя Тургенева.

Пулькинъ вынулъ папироску и всталъ со стула, чтобъ у кого нибудь закурить ее.

Но въ эту минуту показалась горничная съ подносомъ, на которомъ дрожали стаканы съ чаемъ; за нею слѣдомъ шелъ какой-то очень маленькій мальчикъ, въ сѣрыхъ штаникахъ и сѣрой курточкѣ. Онъ несъ корзинку съ сухарями, и прежде, чѣмъ Пулькинъ успѣлъ разглядѣть его, корзина съ сухарями полетѣла ему подъ ноги, и мальчикъ, кувыркнувшись, лежалъ уже на полу, брюшкомъ внизъ, и чья-то рука бросилась поднять его. Горничная съ подносомъ обернулась, гости перестали шептаться и спорить, Кроликовъ ахнулъ, синіе очки безучастно разинули ротъ, какъ бы спрашивая: что такое? Маша вскочила съ мѣста и, нечаянно толкнувши горничную, расплескала чай.

— Молодецъ,—не реветъ! прозвучалъ голосъ бархатной блузы.

Изъ носу мальчугана показалась кровь, а въ дверяхъ, вмѣстѣ съ матерью его, Матильдой Сергѣевной Тырковой, испуганное личико Лели.

Пулькинъ сталъ подбирать сухари и складывать ихъ въ корзинку.

— Не безпокойтесь! послышался голосокъ Лели,—и глаза ихъ встрѣтились.

Мальчугана увели.

— Я принесъ вамъ рукопись вашего батюшки,—началъ Пулькинъ, пожимая пойманные имъ похолодѣвшіе пальчики Лели.

— Благодарю васъ... Вы пили чай? Пойдемте...

Пулькинъ вышелъ вслѣдъ за нею въ комнату съ самоваромъ, болѣе свѣтлую чѣмъ кабинетъ Савелія Дмитріевича. Тутъ, за чайнымъ столомъ, сидѣли Мароа Сергѣевна и гости. Въ комнаткѣ Лели, куда дверь была настежь отворена, слышались мужскіе и женскіе голоса, веселый смѣхъ и невнятныя рѣчи. Леля не пошла въ свою комнату; она вышла въ коридоръ, остановилась и приложила руку ко лбу, точно хотѣла собраться съ мыслями, точно сердце ея такъ сильно билось, что захватывало дыханіе... «Почему онъ—привидѣніе?» шевелилось у нея въ умѣ. «Почему? Можетъ быть, и я привидѣніе!?...»

VIII.

Очнувшись, Леля услыхала негромкій, перемежающійся ревъ мальчугана, стукнувшагося лбомъ объ полъ, и тотчасъ прошла въ комнату къ Матильдѣ.

Матильда холодной водой съ арникой мочила головку своему милому Мишѣ, и «молодецъ» при постороннихъ, когда его подняли, почему-то, очутившись на своей постелькѣ, ревѣлъ, но не громко и съ большими промежутками, и неизвѣстно — отъ боли или отъ стыда и досады, ибо на всѣ разспросы матери: «не ушибся ли онъ? и гдѣ больно?» онъ только протяжно мычалъ: э—э—э!...

Леля приняла участіе въ выжиманіи прикладываемыхъ компресовъ.

Такъ, въ этихъ заботахъ, сошлись два женскія существа—одна, навсегда отлюбившая, оскорбленная и униженная тѣмъ именно, что она любила и во что вѣрила, и другая, готовая полюбить, отдаться треволненіямъ жизни, жаждущая вѣры и несмѣющая ни любить, ни вѣрить.

Унявши кровь, которой капли изъ носу сползали въ ротъ къ неудавшемуся трехлѣтнему слугѣ, повязавши лобъ его мокрымъ полотнянымъ платкомъ, обѣ женщины постепенно успокоили ребенка и уложили его спать. Затѣмъ Матильда сказала Лелѣ:

— Ты ступай, а я выпила свою чашку чаю и примусь за работу; скажи имъ, что я легла спать и что у меня голова болитъ.

Леля, вернувшись въ столовую, увидѣла, что Пулькинъ сидитъ на диванѣ между Стихаревымъ и будущимъ адвокатомъ; потомъ, глазами окинувъ комнату, увидѣла пустой стулъ между своей тетею и Юлинькою Дицъ.

— Александръ Васильевичъ! произнесла она.

Пулькинъ, въ эту минуту свертывавшій папироску, вскочилъ и подошелъ къ ней.

— Гдѣ же рукопись? спросила Леля.

— У меня въ пальто-съ, я сейчасъ принесу ее.

— Ну, такъ послѣ когда-нибудь... Вы прочли ее?

— Нѣтъ еще-съ... сегодня только былъ у Шталя и получилъ ее.

— Ну, такъ вы прочтите... и потомъ... когда-нибудь.

Пользуясь толкотнею, тѣснотою и говоромъ гостей, Пулькинъ вполголоса сказалъ ей:

— Ради Бога, простите мнѣ за глупое посланіе.

Леля на это не сказала ни слова, только поглядѣла на него такъ, какъ глядятъ только влюбленныя дѣвушки.

Конечно, взглядъ этотъ былъ одно мгновеніе, но въ

этомъ мгновеніи поэты видятъ цѣлую вѣчность... Точно вѣчность и любовь — одно и то же, точно онѣ равно непостижимы для разума, и только доступны сердцу, въ предѣлахъ одного мгновенія.

Леля поняла, что онъ понялъ взглядъ ея, покраснѣла и отвернулась.

— Ахъ да, я еще васъ не познакомила... Займите мое мѣсто...

— Юля... рекомендую... Пулькинъ...

Проговоривъ эти три слова, Леля ушла въ свою комнату, откуда слышался громкій хохотъ... Тамъ всѣ мѣста были заняты,—даже на ея постели сидѣлъ худенькій молодой человѣкъ съ еврейскимъ лицомъ и высокая, полная дѣвушка съ круглымъ лицомъ, низкимъ лбомъ и такими густыми, зачесанными назадъ волосами, что голова ея смѣло могла бы помѣститься на плечахъ любого соборнаго дьякона.

Между тѣмъ, Пулькинъ сѣлъ рядомъ съ Юлинькою Дицъ и, припоминая недавній восторженный разсказъ о ней, пристально вглядывался въ лице ея. Онъ нашелъ, что эта невысокаго роста, восковая дѣвушка, далеко не красавица—только высокій блѣдный лобъ да глаза, сѣрые, большіе, въ видѣ миндалинъ, да улыбка, несовсѣмъ обыкновенная, не то добродушная, не то саркастическая, обратили на себя его вниманіе, да и то только потому, что это была Юлинька Дицъ, та самая Юлинька, о которой Любина отзывалась, какъ о какой-то ужасной дѣвушкѣ.

Ужасная—неужасная, а только Пулькинъ почувствовалъ, что съ нею ему почему-то жутко... Онъ старался бодриться, отвѣчалъ ей съ развязнымъ видомъ человѣка, въ свѣтѣ бывалаго; но, Богъ знаетъ почему, чувствовалъ себя въ шкурѣ молоденькаго гимназиста, вызваннаго къ столу, за которымъ сидитъ его улыбающійся экзамена-

торъ, и который, не смотря на эту улыбку, непремѣнно поставитъ ему нуль, если онъ срѣжется...

Разговоръ ихъ начался такъ же, какъ обыкновенно начинаются всѣ разговоры между людьми, которыхъ только-что познакомили,—вяло и даже глупо. Юлинька спрашивала, давно ли онъ въ Питерѣ, гдѣ его родина, и пожалѣла, что ей ни разу не удалось на Волгѣ быть.

Пулькинъ вообразилъ, что Юлинька, говоря о Волгѣ, жалѣетъ, что не видала живописныхъ береговъ ея, сталъ ей описывать эти берега и кончилъ тѣмъ, что самые веселые дни его отрочества прошли на Волгѣ.

— А бурлаки?... спросила Юлинька.

— Бурлаковъ нѣтъ!... по крайней мѣрѣ, я, въ послѣднее время, почти не видѣлъ ихъ. Да и зачѣмъ они, когда буксирныхъ пароходовъ развелось столько, что все потащутъ—что нужно и что не нужно.

— Куда же они дѣлись, опять принялись за хлѣбопашество?

— Очень можетъ быть...

— Но вѣдь они и бурлаками бы не были, если бы хлѣбопашество давало имъ средства къ жизни, значитъ, едва ли они принялись за хлѣбопашество!

— Да развѣ у насъ некуда рукъ дѣвать? сказалъ Пулькинъ:—одни подрядились на пароходы, съ пристани кули таскать, другіе ушли желѣзныя дороги строить.

— А замѣтили вы, постройка этихъ желѣзныхъ дорогъ, какъ она отзывается на благосостояніи крестьянъ? богатѣютъ они или остаются такими же нищими?

— Этого я не могу сказать вамъ... знаю только, что кулаки, въ особенности кабатчики богатѣютъ... А что касается до внѣшняго вида крестьянскаго благосостоянія, то я замѣтилъ въ нашемъ уѣздѣ, что избы тѣхъ крестьянъ, которые служатъ половыми въ московскихъ трактирахъ, гораздо чище: и внутри какъ-то лучше убра-

ны, и картинки есть, не лубочныя, и занавѣски, и книжка какая-нибудь на полкѣ лежитъ, какой-нибудь этакій старый журналъ — «Библіотека для чтенія» или «Отечественныя записки»... Даже иногда полисадничекъ около избы... И это оттого-съ, я думаю, что половые—это народъ грамотный и трезвый, такъ какъ, сами посудите, какой же трактирщикъ будетъ держать полового пьяницу?!

— А можетъ быть это и оттого,—замѣтила Юлинька,—что я слышала—въ большихъ, а можетъ быть и во всѣхъ московскихъ трактирахъ есть обычай: кто бы что изъ половыхъ ни получилъ на водку, онъ кладетъ въ общую кружку или кассу... и потомъ, въ концѣ каждаго мѣсяца, всѣ получаютъ равныя доли... Никому необидно и всѣ оказываются съ деньгами...

— Этого я не знаю-съ... кажется, этотъ обычай выводится...

— Жаль, если выводится... А сельскія школы, я увѣрена,—при земствѣ, которое теперь у насъ вводится, будутъ процвѣтать, потому что, сами посудите, если въ губерніи, положимъ, два милліона жителей, и если съ каждаго на школы получится 3 копѣйки,—составится шестьдесятъ тысячъ рублей въ годъ. Да на эти деньги можно шестьдесятъ школъ построить и ежегодно на каждую тратить по тысячѣ рублей. Я не говорю уже о тѣхъ средствахъ, которыя дадутъ пожертвованія богатыхъ, часть церковныхъ или монастырскихъ сборовъ, казна и прочее...

Пулькинъ въ самомъ либеральномъ смыслѣ сталъ распространяться о школахъ, и хотя разговоръ его блисталъ общими мѣстами, Дицъ улыбалась, кивая головкою, и когда перестала кивать головкою—вдругъ обернулась къ нему и спросила:

— А что, пошли бы вы сами въ сельскіе учители?

— Гмъ! я бы и пошелъ-съ, — сказалъ озадаченный Пулькинъ, — да вѣдь, это дѣло мудреное-съ... т. е. не очень мудреное, но все-таки нужна къ этому дѣлу привычка и сноровка и какъ бы вамъ сказать...

— Охота?

— Ну да-съ, охота и увѣренность, что, такъ сказать, приносишь пользу... Я объ этомъ никогда не думалъ... и думаю, что я буду гораздо полезнѣе, если, со временемъ, дамъ средства на двѣ, на три школы, и если будетъ возможность — отъ себя прибавлю жалованье двумъ-тремъ сельскимъ учителямъ.

— Да, имъ необходимо прибавить жалованья. Я знаю одного бѣдняка, окончившаго курсъ въ университетѣ, который самъ пожелалъ быть въ деревнѣ учителемъ, и ужъ не знаю, долго ли онъ выдержитъ... Много онъ мечталъ, когда ѣхалъ! Пока жива мечта — силы будутъ; убьетъ мечту дѣйствительность—и силъ не станетъ.

— Это правда-съ!... жизнь безъ мечты—это тяжелая, безотрадная жизнь!...

— А позвольте васъ спросить какая ваша мечта? о чемъ вы мечтаете?

Пулькинъ смутился. Нельзя же было ему признаться, что чаще всего мечталъ онъ быть когда нибудь, если не директоромъ департамента, то хотя губернаторомъ, получать большіе оклады жалованья, разбогатѣть и имѣть около себя жену-красавицу, миловидныхъ дѣтей, француженку гувернантку, свой собственный экипажъ, быть у всѣхъ въ почетѣ и уваженіи, и проч., и проч. О такихъ мечтахъ (даже о будущемъ милліонѣ) онъ могъ разглагольствовать и даже плѣнять ими слухъ цивилизованныхъ дамъ, каковы Любины; но... можно ли о такихъ мечтахъ даже заикнуться передъ этой дѣвушкой! Не будетъ ли это, съ его стороны, дѣломъ въ высшей степени рискованнымъ?...

Все это Пулькинъ сообразилъ въ головѣ своей съ такою быстротою, съ какою не привыкъ онъ думать, и на нѣсколько секундъ меланхолически свѣсивъ носъ свой, отвѣтилъ, (т. е. не могъ пріискать иного отвѣта):

— Это моя тайна-съ, — и позвольте мнѣ объ этомъ помолчать. Я, знаете, давно замѣтилъ, что чѣмъ чаще люди говорятъ или высказываютъ мечты свои или надежды, тѣмъ рѣже онѣ исполняются, и, напротивъ, молча достигать цѣли своихъ желаній—самое лучшее.

— На все это я вотъ что скажу,—облокотясь на столъ, серьезнымъ тономъ заговорила Юлинька:—личныя мечты, то-есть мечты о нашемъ личномъ счастьѣ или благополучіи, часто требуютъ тайнъ, потому что... конкурентовъ немалое количество... Положимъ, вы мечтаете о выгодномъ мѣстѣ, и другой мечтаетъ о томъ же мѣстѣ, и третій, и четвертый — тутъ молчать иногда выгодно. Купецъ, мечтающій нажить два рубля на рубль, непремѣнно утаитъ отъ сосѣдняго торгаша планъ своей коммерческой плутни или операціи! Но мечты объ общественномъ благѣ и благоденствіи—такія мечты, гдѣ ваше «я» или вашъ личный интересъ исчезаютъ, поглощенные общими интересами—тамъ нечего таить! Или вы рискуете остаться одни, безъ людей вамъ сочувствующихъ, или, напротивъ, люди, которые мечтаютъ о томъ же, о чемъ вы мечтаете, не протянутъ вамъ руки своей. Такія мечты не боятся гласности, и прятать ихъ подъ спудъ нѣтъ никакой необходимости... никакой, никакой!

У Пулькина даже затылокъ вспотѣлъ, — такъ была нелегка ему болтовня съ этой Юлинькой.

— Я не такъ понялъ васъ... Вы правы, — забормоталъ онъ,—вы совершенно правы...

— Возьмите, напримѣръ,—прервала его Юлинька,— мечты великаго поэта. Неужели онъ будетъ таить ихъ? Напротивъ, чѣмъ яснѣе и громче будетъ онъ ихъ вы-

сказывать, тѣмъ лучше... Также и мечты истиннаго гражданина... Можно ли таить свою любовь къ народу или свое негодованіе противъ тѣхъ, которые смотрятъ на него, какъ на стадо барановъ?!..

— Совершенно... совершенно справедливо, — бормоталъ Пулькинъ... Онъ вынулъ чистый носовой платокъ, чтобъ вытереть имъ лобъ свой, и очень былъ радъ, что на этотъ разъ платокъ его не пахъ духами. Запахъ духовъ—это что-то аристократическое, что, по его мнѣнію, могло бы покоробить его собесѣдницу, лучшаго друга Лели. Пулькинъ жестоко ошибался въ этомъ случаѣ... Юлинька сама любила духи и даже пробовала изъ доморощенныхъ петербургскихъ розъ выжимать душистое розовое масло.

— Что же вы не пьете вашъ чай?!. Онъ совсѣмъ простылъ у васъ. Вонъ вамъ сколько тартинокъ надѣлала Марѳа Сергѣевна!... Не хотите-ли лимона?

И Юлинька пододвинула Пулькину блюдечко съ нарѣзанными ломтиками лимона.

— Благодарю васъ... но не находите-ли вы, что здѣсь ужасно жарко?

— Да, я не ожидала, что будетъ такъ много... И знаете ли, отчего всѣ такъ толкутся, всѣ говорятъ, всѣ спорятъ, горячатся?... Это оттого, что здѣсь у каждаго барона своя фантазія, у каждаго своя мечта... Музыканты еще не настроили своихъ инструментовъ, и ужъ Богъ знаетъ, какой будетъ концертъ, особливо, если не найдется даже порядочнаго капельмейстера.

Въ это время изъ комнаты Лели вышла и подошла къ Юлинькѣ та самая пышно-волосая и высоко-грудая дѣвушка, которая сидѣла на кровати Лели, и, съ дымящеюся папироскою, между двумя пальцами, смѣясь, сообщила Юлинькѣ, что она только что побилась объ закладъ о томъ, что подниметъ на плечи 8 пудовъ и понесетъ...

— Позвольте мнѣ не повѣрить вамъ! обратился къ ней Пулькинъ.

— А! и вы не вѣрите! Ну, такъ я буду и съ вами биться объ закладъ... на шесть фунтовъ шеколаду или на шесть фунтовъ зернистой икры—на что хотите?

Пулькинъ оскалилъ зубы—ему сдѣлалось весело. «Ужъ позвольте-съ на шесть фунтовъ шеколаду — это не такъ убыточно».

— Дайте-ка вашу руку...

Пулькинъ далъ ей свою руку.

Дѣвушка взяла въ ротъ папироску, и пустивъ струю дыма, начала жать руку Пулькина. Пулькинъ чуть не вскрикнулъ.

— Ну, вижу, что вы богатырь! сказалъ онъ ей, отдернувъ руку и потряхивая пальцами.

Но богатыря-дѣвицу позвали, и она, повернувшись, тотчасъ же ушла въ комнату Лели; за дверями Пулькину послышалось слово «привидѣніе» и потомъ смѣхъ.

— Какъ фамилія этой барышни? спросилъ Пулькинъ Юлиньку.

— Она очень сильна... а фамилія ея—Нельбитова.

— Нельбитова! Это напоминаетъ... за битаго двухъ не битыхъ даютъ... неудачно сострилъ Пулькинъ.

Юлинька тоже совершенно утратила прежній, нѣсколько серьезно-насмѣшливый тонъ, и уже показалась Пулькину самой обыкновенной барышней, съ которой можно даже врать, сколько душѣ угодно... Онъ же именно любилъ такихъ, съ которыми можно врать.

— А скажите, пожалуйста, кто этотъ черноглазый, что сидитъ на диванѣ—сейчасъ глядѣлъ на насъ...

— А это... Стихаревъ...

У Пулькина что-то дрогнуло на сердцѣ.

— Стихаревъ! Я что-то про него слышалъ! Что онъ за человѣкъ?

— А Богъ его знаетъ, какой онъ человѣкъ! Я только знаю, что онъ бѣденъ, живетъ чуть не на чердакѣ, способенъ къ ученью, но... едва-ли учится... по-крайней-мѣрѣ, я ничего не слыхала о его занятіяхъ. Я разъ заговорила съ нимъ, и знаете-ли, что онъ мнѣ сказалъ? Онъ мнѣ сказалъ: «вы еще обо мнѣ услышите — я живу не даромъ!»

— Онъ, можетъ быть, мечтаетъ Наполеономъ быть?

— А можетъ быть!..

— Что же касается до этой гигантки, какъ вы ее назвали... Небитая... Наб...

— Нельбитова!

— То я представить даже себѣ не могу, каковъ долженъ быть мужъ у этой Нельбитовой, просто какой-нибудь Еруслань Лазаревичъ!

— Никакого не надо Еруслана... Она влюблена въ очень маленькаго и тщедушнаго юношу... всюду, какъ тѣнь, за нимъ слѣдуетъ, скучаетъ, если его нѣтъ въ обществѣ, ни съ кѣмъ не говоритъ, сердится, плачетъ... И если она весела теперь, то это явный знакъ, что онъ здѣсь... и что онъ нѣсколько ласковыхъ словъ шепнулъ ей на ухо... Видите, какъ иногда бываютъ обманчивы наши соображенія! А нынче сюда собрались потому, что Кроликовъ позвалъ одного редактора и нѣсколькихъ сотрудниковъ по очень важному для него вопросу. Онъ хочетъ увеличить полистную плату, а редакторъ хочетъ уменьшить ее. Тутъ есть и переводчики, и компиляторы... и, разумѣется, мы тоже собрались, точно птицы передъ отлетомъ: лѣтомъ—всѣ мы разбредемся, кто куда.

— А вы гдѣ будете на дачѣ?

— Ахъ! я всегда въ городѣ: у меня дѣла!

— А Елена Александровна?

— А ужъ Богъ ее знаетъ, гдѣ она будетъ! Прошлый годъ она жила съ отцомъ на Черной рѣчкѣ... А Са-

велій Дмитріевичъ, какъ говорятъ, любитъ съѣзжать на дачу не раньше іюня—страшно боится сырости...

Такимъ образомъ, разговоръ пересталъ быть головоломнымъ для Пулькина, и, разговаривая съ Дицъ, онъ могъ изрѣдка бросать свои взгляды на Стихарева и, такъ сказать, запоминать себѣ лице его... Очень страннымъ казалось ему это лице: оно было совершенно спокойно, ничего не выражало, точно деревянное, — одни глаза его двигались, переходя съ одного гостя на другого, и при этомъ, то одна бровь его слегка приподнималась, то другая... Небольшая черная бородка съ тонкими усиками какъ-то особенно рѣзко выдѣляла его сочныя, красныя губы, неулыбающіяся, замкнутыя. Онъ былъ невысокъ, ниже средняго роста, но плечистъ и даже сутуловатъ немного...

Почему-то на Пулькина этотъ Стихаревъ производилъ непріятное впечатлѣніе—что-то въ родѣ антипатіи.

Точно такую же страшную антипатію къ Пулькину чувствовалъ Стихаревъ, не смотря на свое равнодушное лице и спокойные взгляды.

IX.

Около часу пополуночи стало меньше народу, и на столѣ, гдѣ стоялъ самоваръ, появилась закуска и вино. Весь вечеръ Леля какъ бы избѣгала Пулькина. Ей было въ особенности непріятно видѣть или подозрѣвать, что глаза Стихарева, какъ бы исподтишка, слѣдятъ за ней. Марѳѣ Сергѣевнѣ Пулькинъ очень понравился, что̀ выражалось тѣмъ въ особенности, что она раза три потчивала его тартинками своего собственнаго изготовленія.

Передъ закуской Юлинька и Леля удалились въ комнатку Матильды. Пулькинъ же вошелъ въ кабинетъ и

занялъ мѣсто на опустѣломъ креслѣ, у стола, противъ Кроликова.

Но Кроликовъ былъ не въ духѣ, и, казалось, на его присутствіе не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. Онъ мысленно сердился и на своего несговорчиваго редактора, и на дымную, отъ куренія папиросъ, атмосферу своей комнаты, и на свое собственное здоровье; то ему воображалось, что у него саднитъ въ горлѣ; то думалось, не велѣть ли открыть форточку, но открыть форточку онъ трусилъ — долго ли до грѣха, можно и дифтеритъ схватить; то задумывался онъ надъ замѣчаніями, по поводу послѣдней полемической статьи его. Кроликовъ понялъ, что не всѣ ему сочувствуютъ вполнѣ, и сидѣлъ точно опущенный въ воду — не чувствовалъ ни позыва ко сну, ни апетита, ни желанія выпить рюмку водки или стаканъ пива.

На Пулькина онъ обратилъ вниманіе только тогда, когда тотъ взялъ со стола его книжку — сочиненіе Гейне — и началъ ее какъ будто просматривать... Тутъ Кроликовъ вспомнилъ, что онъ его гдѣ-то видѣлъ и что Леля про него что-то такое говорила; «кажется», — подумалъ про себя Кроликовъ, — «этотъ господинъ тотъ самый, который называется Пулькинымъ!... Я и не замѣтилъ его сегодня... кажется, онъ со мной здоровался... или... не здоровался?»

— Вы читаете по-нѣмецки? спросилъ Пулькина Кроликовъ.

— Не много маракую-съ; нельзя сказать, чтобы былъ знатокомъ этого языка, но изъ Гейне кое-что читалъ.

— И какъ же вы его находите?

Пулькинъ подумалъ, что бы ему такое сказать и вдругъ вспомнилъ слова одного поэта, обѣдавшаго съ нимъ вмѣстѣ у Соколовыхъ, на Васильевскомъ островѣ, и сказавшаго о Гейне, что это бабочка съ жаломъ осы.

— Что мнѣ вамъ сказать-съ про Гейне, Савелій Дмитріевичъ? Мнѣ кажется, что это прелестная, порхающая по цвѣтамъ бабочка, у которой сзади жало осы... Но что значитъ для васъ мое мнѣніе!

Кроликовъ поглядѣлъ на него.

— Извините меня за вопросъ... я ужасно разсѣянъ... вы—г-нъ Пулькинъ?

— Да-а-съ, — засмѣявшись, отвѣчалъ Пулькинъ, — я Пулькинъ.

— Это очень мѣтко, что вы сказали про Гейне, очень мѣтко... Правда-ли, г-нъ Пулькинъ, я слышалъ, вы когда-то намѣревались издавать журналъ?

Пулькинъ выпрямился и даже ротъ немного раскрылъ отъ удивленія.

— Отъ кого же вы это слышали, Савелій Дмитріевичъ?

— Да ужъ такъ-съ—слухомъ земля полнится!

— Можетъ быть, я и хотѣлъ-съ, но... какой же я редакторъ? развѣ я могу быть редакторомъ?

— Э! это васъ такъ только напугали! Да и зачѣмъ вамъ быть редакторомъ? Начните только издавать—редакторъ будетъ... Хоть меня возьмите... я не откажусь...

— Если только-съ... Очень счастливая мысль... Я никакъ этого не ожидалъ... чтобы вы... Но какъ вы полагаете, на какія средства можно начать журналъ издавать?

— Да на разныя... Можно и со ста тысячъ начать, и съ пятнадцати — чѣмъ больше денегъ, тѣмъ меньше риска и тѣмъ лучше, разумѣется. Тутъ совершенно то же, что и на войнѣ: чѣмъ больше средствъ, тѣмъ болѣе шансовъ на побѣду! Если вы не раздумали, г-нъ Пулькинъ, то... я готовъ вамъ помогать... я давно мечталъ о такомъ органѣ, гдѣ я могъ бы вполнѣ высказываться и дѣйствовать самостоятельно, гдѣ каждая статья, такъ сказать,

била бы въ одно и то же мѣсто, какъ таранъ... Только такой журналъ и будетъ имѣть значеніе, только въ такомъ случаѣ и можно ожидать, что онъ пробьетъ брешь того тупоумія, тѣхъ предразсудковъ и закоснѣлыхъ идей, которыя, точно какія-нибудь стѣны, стоятъ вокругъ насъ... точно стѣны!

Послѣднія слова Кроликовъ произнесъ какимъ-то протяжно-разслабленнымъ, усталымъ голосомъ.

— Я совершенно раздѣляю ваше мнѣніе, и, какъ только устрою дѣла свои, непремѣнно объ этомъ подумаю. (О, какъ онъ хотѣлъ въ эту минуту провалиться сквозь землю!).

— Подумайте-ка! съ ласкою въ глазахъ и въ голосѣ, убѣдительно проговорилъ Кроликовъ.

— Непремѣнно, я объ этомъ подумаю-съ!

Нѣзачѣмъ долѣе продолжать намъ этотъ интересный разговоръ; онъ окончился взаимнымъ дружескимъ рукопожатіемъ; онъ снялъ значительную долю хандры съ Кроликова и значительную долю хандры наложилъ на Пулькина.

— Этотъ человѣкъ съ капиталомъ, — думалъ Кроликовъ:—надо на это благое дѣло натолкнуть его! Дуракъ этотъ Минераловъ, что отговорилъ его...

— Чортъ возьми! думалъ Пулькинъ, и уже не радовало его любимое имъ словечко «каналья».—Экая я скотина! Мнѣ бы просто сказать ему, что не хочу я и думать ни о какомъ журналѣ, и думать не хочу!.. Гмъ! не хватило характера... Фу-ты, канальство!.. Не хочешь лгать, и лжешь самымъ безсовѣстнѣйшимъ образомъ.

Онъ былъ блѣденъ, когда простившись съ Кроликовымъ, остановился передъ накрытымъ столомъ, и не могъ прикоснуться ни къ одному блюду — даже рюмки водки не выпилъ по обычаю... Стихаревъ былъ углубленъ въ ѣду. Глаза Лели, изъ-за спины его, смѣло, любовно и

сочувственно смотрѣли на Пулькина. Леля, несомнѣнно, совершенно иначе толковала себѣ его блѣдность и пасмурную задумчивость.

— Закусите же хоть что-нибудь,—сказала Пулькину Мароа Сергѣевна.

— Очень благодаренъ вамъ,—никакъ не могу-съ.

— Вы у насъ скучали? спросила Леля, протягивая руку, когда онъ подошелъ проститься съ ней.

— Можно ли скучать тамъ, гдѣ... Но прощайте, Елена Александрова.

Стихаревъ повернулся на стулѣ, и, не переставая жевать, поглядѣлъ на Пулькина; затѣмъ, холодными глазами проводилъ его въ переднюю.

Въ переднюю за Пулькинымъ вошелъ Умековъ и сказалъ:

— Александръ Васильевичъ! Вотъ вамъ адресъ— Юлинька Дицъ проситъ васъ завтра къ себѣ, часа въ два или около, кофе пить. Она будетъ ждать васъ. Придете?

— Приду,—не подумавши сказалъ Пулькинъ, пожалъ ему руку и вышелъ на улицу точно въ чаду и отъ разгорѣвшейся страсти, и отъ непривычнаго общества, и отъ разговора съ Юлинькой Дицъ, и отъ собственной лжи своей.

X.

Пулькину отчасти польстило приглашеніе Юлиньки, какъ друга Лели, отчасти поселило въ душѣ его смутную надежду, что вмѣсто Юлиньки онъ найдетъ въ ея комнатѣ Лелю, что, можетъ быть, онѣ такъ и сговорились, когда вдвоемъ куда-то уходили изъ столовой, передъ накрытіемъ ужина; но отчасти это приглашеніе было и несовсѣмъ пріятно Пулькину.

На другой день онъ непремѣнно долженъ былъ идти въ департаментъ и кончить записку по одному дѣлу, которое онъ полѣнился взять къ себѣ на домъ, по дѣлу, такъ

сказать, нетерпящему отлагательства, ибо оно, вмѣстѣ съ запиской Пулькина, около четырехъ часовъ, было назначено къ докладу. Пулькинъ уже чутьемъ угадывалъ, что въ департаментѣ началось кое-какое броженіе умовъ и страстей, по поводу выхода въ отставку одного изъ чиновниковъ въ томъ отдѣленіи, гдѣ служилъ Савишинъ, и вовсе не желалъ въ такое время заслужить чье-либо нареканіе въ неакуратности или *неисполнительности*... Никоимъ образомъ онъ этого не желалъ, хотя и показывалъ видъ, что онъ не только совершенно равнодушенъ къ открывающейся на-дняхъ вакансіи, съ высшимъ окладомъ жалованья, но даже и думать о ней не хочетъ.

«Возможно ли,»—думалъ Пулькинъ,—«быть въ одно и тоже время и у этой *нигилистки* Юлиньки, и въ департаментѣ?»

Съ этими мыслями вернулся онъ ночью отъ Кроликовыхъ, и когда очутился въ своей комфортабельной спальнѣ, приказалъ Николашкѣ, въ 8 часовъ утра, разбудить себя и поставить самоваръ.

«Хорошо ей такъ приглашать!» думалъ Пулькинъ, «видно ей дѣлать нечего, а у меня дѣла! Я страшно занятъ...»

На другой день, въ 9 часовъ утра, когда еще сторожа мели корридоры, засоренные попреимуществу папиросными окурками, и только два писаря, опохмѣлившись, принимались за срочную переписку, Пулькинъ явился въ департаментъ, молча прошелъ къ своему столу, молча закурилъ папироску и принялся перелистывать цѣлую кучу подшитыхъ дѣлъ.

Онъ надѣялся, что къ часу все будетъ готово, что онъ удивитъ начальство быстротой работы, и къ двумъ часамъ уѣдетъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что по собственнымъ дѣламъ его (тоже нетерпящимъ отлагательства) онъ долженъ якобы спѣшить и къ нотаріусу, и на почту, и въ одну банковую контору, и чортъ знаетъ куда.

Вообще, Пулькинъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе привыкалъ или пріучался обдумывать каждый шагъ свой и каждое слово,—словомъ, быть канальей во всѣхъ отношеніяхъ.

«Даже въ любви,»—думалъ Пулькинъ,—«никакъ нельзя обойтись безъ разныхъ, болѣе или менѣе простительныхъ хитростей.»—Не станемъ оспаривать Пулькина и, пока онъ *страшно* занятъ, скажемъ нѣсколько словъ о Юлинькѣ.

Она одна могла бы быть предметомъ длиннаго повѣствованія, но мы должны касаться этой личности только потому, что случай столкнулъ ее съ нашимъ героемъ, и можетъ быть только для того, чтобы добродушный читатель не подумалъ, что мы въ этой женской фигуркѣ хотимъ изобразить что-то не совсѣмъ обыкновенное.

Если бы Юлинька родилась двадцатью годами раньше, она и тогда бы отличалась отъ сверстницъ и своимъ прилежаніемъ, и своими успѣхами, а при выходѣ изъ какого-нибудь учебнаго заведенія, непремѣнно бы оказалась первой ученицей, получила-бы награду — шифръ или цѣлую кучу полудѣтскихъ съ золотыми обрѣзами книжекъ, въ родѣ Телемака или Робинзона Крузе; затѣмъ, пустилась бы танцовать, вышла бы замужъ и была бы очень неглупой матерью.

Но Юлинькѣ, въ 1865 году, было всего только 19 лѣтъ, и она, при томъ же самомъ прилежаніи и успѣхахъ, уже никакъ не могла ограничиться танцами, ибо, заразившись духомъ времени, захотѣла чего-то большаго, — захотѣла стать ученой или приспособить свою дѣятельность такъ, чтобы личная ея польза, во-первыхъ, сливалась съ пользой общественной, во-вторыхъ, никоимъ образомъ не лѣзла бы на первый планъ. Понятно, что при этомъ стремленіи не обошлось безъ вліянія идей, сѣмена которыхъ безпрестанно заносятся къ намъ съ запада, и которыя тѣмъ

слаще, чѣмъ онѣ запретнѣе. Примѣръ Евы, которая, конечно, не могла пожаловаться на тѣсноту жилища или на недостатокъ плодовъ земныхъ, несомнѣнно, во сто разъ заразительнѣе тамъ, гдѣ людямъ тѣсно жить и гдѣ земные плоды нерѣдко достаются съ боя.

Для того, чтобы, такъ сказать, *проявить* себя, Юлинька была поставлена жизнью въ очень выгодныя условія.

Отецъ ея былъ не богачъ, но съ достаткомъ. Онъ содержалъ аптеку, и этажемъ выше нанималъ весьма порядочную квартиру. Изъ числа первыхъ, самыхъ горячихъ поклонниковъ Юлиньки были: ея отецъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, и ея мать, Евгенія Андреевна (нѣмецъ, родившійся въ Архангельскѣ, и русская, родившаяся въ Ригѣ). На дочь свою они смотрѣли, какъ на феноменъ, а когда въ 16 лѣтъ принялась она за анатомію и фармацевтику,—стали обожать ее до такой степени, что дали ей полную волю поступать, какъ ей заблагоразсудится, и достигать чего ей вздумается. Юлинька и не думала скрывать отъ нихъ свой образъ мыслей; этимъ она нерѣдко ихъ коробила, но ни разу не обманула ихъ довѣрія, и съ такимъ тактомъ со всѣми вела себя, что папенька, въ интимной бесѣдѣ съ ея маменькой, не разъ вздыхалъ: «жаль, что наша Юлія не мальчикъ! Будь у насъ такой сынъ—далеко бы онъ пошелъ, и большой бы капиталъ себѣ нажилъ!»

Значитъ, Юлинькѣ ничего не стоило урѣзывать свои доходы, помогая нуждающимся, уѣзжать изъ дому, поступать въ разныя женскія артели, мечтать объ устройствѣ кооперативныхъ обществъ, по примѣру Англіи, и учиться медицинѣ съ тѣмъ, чтобы современемъ выдержать экзаменъ на доктора.

Будь она такъ же бѣдна и безпамятна, какъ Леля, мечты такъ бы и остались мечтами. Но если къ замѣчательной,

завидной памяти да еще присоединялась немалая доза самолюбія, самонадѣянности и настойчивости, то изъ этой смѣси, несомнѣнно, могло выйти нѣчто не совсѣмъ дюжинное, т. е. нѣчто такое, о чемъ говорятъ, что́ бранятъ, хвалятъ, на что негодуютъ и чѣмъ восторгаются. Мы уже знаемъ, какимъ захлебывающимся отъ восторга голосомъ говорилъ о ней Умековъ; но мы и то знаемъ, какъ одинъ пожилой великосвѣтскій денди, встрѣтивъ ее гдѣ-то на вечерѣ и подслушавъ разговоръ ея съ какимъ-то профессоромъ о методахъ преподаванія физики, отошелъ въ сторону, плюнулъ и на ухо шепнулъ хозяину дома: «будь я власть, клянусь Богомъ, я бы ее повѣсилъ нем-мед-дленно! Да-съ, ее и всѣхъ ей подобныхъ—неп-рем-мѣн-но и нем-мед-лен-но-бы повѣсилъ»! и при этомъ, какъ-бы въ подтвержденіе словъ своихъ, онъ потихоньку перекрестилъ двѣ нижнія пуговицы своего жилета.

Но и не однимъ пожилымъ людямъ—даже юношамъ, воспитаннымъ для салоновъ, Юлинька никакъ не могла бы понравиться,—особливо, когда ей было лѣтъ 16. Она говорила, и спорила, и заносилась, и горячилась, и причесывалась, и даже подпиралась въ бокъ рукой, точно мальчикъ. Тогда она была такъ проста, что казалась педанткой, но поневолѣ казалась: не по лѣтамъ много знала, и при этомъ такъ еще была наивна, что воображала, будто всѣ ея знакомые интересуются совершенно тѣмъ же, чѣмъ и она интересуется.

Когда же постепенно сходясь и знакомясь съ молодежью, то на публичныхъ лекціяхъ, то на академическомъ дворѣ, то на университетскихъ диспутахъ, она почувствовала, что на эту молодежь она производитъ самое пріятно-озадачивающее впечатлѣніе,—ея самолюбіе загорѣлось самымъ свѣтлымъ пламенемъ. «Вы подаете намъ примѣръ, какъ работать!» говорили ей нѣкоторыя изъ числа учащихся дѣвушекъ—и Юлинька увлеклась своею

ролью — *подавать примѣръ* и, какъ романтическая головка (чего она, конечно, и не подозрѣвала), стала иногда придавать своимъ поступкамъ нѣчто театральное или эффектное, — не скажу, чтобы это было съ преднамѣреннымъ умысломъ, но не рѣшусь увѣрять, что и безъ всякаго умысла. Юлинька иногда любила *кокетничать* не только умомъ своимъ, но и внезапностью своихъ затѣй или поступковъ.

При этомъ нельзя было не замѣтить, что чѣмъ ближе къ двадцати годамъ приближалась Юлинька, тѣмъ замѣтнѣе утрачивала она свое мальчишество — уже не такъ коротко стригла свои волосы и нѣсколько дольше стояла передъ зеркаломъ. Чѣмъ выше становилась грудь ея, тѣмъ привѣтливѣе и тише становился голосъ. Чѣмъ ближе всматривалась она въ людей и жизнь, тѣмъ чаще насмѣшливая, львиная улыбка появлялась на губахъ ея...

Но неужели Умековъ былъ правъ, когда говорилъ, что Юлинька до такой степени безстрастная дѣвушка, что никого не любитъ, любя однихъ только оскорбленныхъ и униженныхъ?

Чтобъ отвѣтить на это, мы выдадимъ вамъ старую тайну еще семнадцатилѣтней Юлиньки.

XI.

Года за два до нашего разсказа, съ Юлинькой случился слѣдующій казусъ.

Этотъ казусъ состоялъ, во-первыхъ, изъ неудачнаго добраго дѣла и, во-вторыхъ, изъ неудачной страсти.

Исторія неудачнаго дѣла не играла никакой особенной роли въ развитіи характера Юлиньки; но неудачная страсть надолго оставила въ ея душѣ горькій слѣдъ и немало горечи придавала ея словамъ всякій разъ, когда заходила рѣчь о какомъ-нибудь личномъ чувствѣ.

Жила-была въ Петербургѣ нѣкто дѣвица Марья Флюгина, которой главное несчастье состояло въ томъ, что родители ея—надворный совѣтникъ Флюгинъ, получавшій когда-то двѣ тысячи рублей жалованья, казенную квартиру и казенные дрова—и маменька ея, говорившая до обѣда по-русски, а послѣ обѣда по-французски, вообразили себѣ, что у ихъ дочери такой удивительный голосъ, что, если заняться его обработкой, то изъ нея выйдетъ или вторая Віардо, или вторая Гризи. Обуянная этими сладкими надеждами, а паче всего надеждою, на закатѣ дней своихъ, пожить въ роскошной виллѣ, гдѣ-нибудь на берегахъ Адріатики, въ гостяхъ у своей дочери, знаменитой пѣвицы Флюгиной, она не только принялась за обработку этого голоса, но и дочь свою заразила своими надеждами. Машенька Флюгина принялась такъ усердно учиться музыкѣ и пѣнію, что чуть не разучилась читать—до такой степени ей было некогда.

Надворный совѣтникъ Флюгинъ умеръ, и Машенька осталась на свѣтѣ одна съ больной матерью, съ голосомъ, изъ котораго не выходило ничего необыкновеннаго, съ тою же надеждой на славу, подарки и рукоплесканія, но безъ казенной квартиры и безъ денегъ.

Прошло года три самой тревожной, убійственной жизни, въ продолженіе которыхъ Машенька Флюгина дѣйствительно поступила на сцену, но для того, чтобы участвовать въ оперныхъ хорахъ и получать очень мизерное жалованье.

Въ это время Юлинька Дицъ гдѣ-то съ ней познакомилась. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Дицъ, отецъ ея, приказалъ отпускать даровое лекарство на имя старухи Флюгиной,—разумѣется, онъ это сдѣлалъ по просьбѣ своей дочери. Онъ очень уважалъ просьбы своей дочери, но всегда при такихъ просьбахъ почему-то морщился.

Старуха Флюгина умерла наконецъ, и Машенька мало-

по-малу исчезла изъ виду. По крайней мѣрѣ, Юлинька долго ничего объ ней не слыхала и, по правдѣ сказать, вовсе объ ней не думала. Она давно уже смекнула, что дѣвушку, которой вся молодость прошла на «до-ре-ми-фа-соль», также трудно заставить что-нибудь дѣлать, какъ трудно заставить канарейку щипать корпію для больныхъ и раненыхъ.

Вдругъ однажды Юлинька по городской почтѣ получаетъ письмо отъ *Мери* Флюгиной, приблизительно слѣдующаго содержанія:

«Если вы не поможете мнѣ найти уроки пѣнія или какое-нибудь обезпечивающее насущный хлѣбъ занятіе, я или брошусь въ Неву, или рѣшусь по ночамъ выходить на Невскій продавать себя. Если увидите Батырева, напомните ему обо мнѣ, передайте ему мой адресъ и скажите, что если и онъ, мой старый другъ, не спасетъ меня—я погибну. Батырева же вы не можете не знать—онъ одинъ изъ вашихъ.»

Кто такой Батыревъ? Неужели тотъ, который когда-то былъ въ ссылкѣ и присылалъ статьи свои о Сибири и сибирскихъ промыслахъ? Если тотъ самый, то неужели онъ въ Петербургѣ?

— Я положительно не знаю, чѣмъ я могу спасти эту *Мери?!* Было время, я предлагала ей поступить въ переплетную,—не захотѣла... шить не хотѣла... быть переводчицей не можетъ, переписывать тоже не можетъ—рука точно бисеръ и всѣ строчки въ разбродъ идутъ. Авось, этотъ Батыревъ ей поможетъ?! Но гдѣ же я найду его?

По справкамъ (у студентовъ) оказалось, что Батыревъ живетъ въ трехъ шагахъ отъ аптеки Дицъ, на той же улицѣ, на дворѣ, во второмъ этажѣ... И Юлинька къ нему отправилась.

Батыревъ принялъ ее въ своемъ рабочемъ углу, окру-

женный книгами, рукописями, географическими картами, въ сѣромъ, изъ толстаго, чуть не солдатскаго сукна казакинѣ, сверхъ красной рубашки съ косымъ воротомъ, и самъ-другъ съ бѣлымъ сибирскимъ котомъ, который тутъ же лежалъ на какой-то книгѣ въ толстомъ кожаномъ переплетѣ, и, свѣсивъ пушистый хвостъ свой, щурилъ зеленые глаза на вошедшую Юлиньку.

— Чѣмъ я могу быть полезенъ вамъ? спросилъ Батыревъ.

Юлинька разсказала въ чемъ дѣло и показала письмо отъ Мери.

— Есть гниль,—сказалъ Батыревъ, прочтя это письмо и недовольными глазами оглядѣвъ Юлиньку—есть гниль, которую нѣтъ человѣческой возможности опять превратить во что-нибудь свѣжее. Никакая химія не поможетъ. Гмъ! Вы думаете она бросится? Нѣтъ, изъ двухъ золъ она предпочтетъ бо̀льшее...

— Какое же бо̀льшее? спросила Юлинька.

— Невскій предпочтетъ Невѣ.

— И вамъ не жаль?

— А кто вамъ говоритъ, что не жаль? Гмъ! Не жаль... очень жаль! Но если бы изъ людскихъ сожалѣній выходилъ толкъ, хорошо было бы на свѣтѣ... Она бросила театръ, гдѣ получала въ мѣсяцъ 25 рублей жалованья—я сожалѣлъ! Она поступила на содержаніе къ одному франту—я сожалѣлъ! Франтъ этотъ попался въ поддѣлкѣ фальшивыхъ купоновъ и сидитъ въ тюрьмѣ—я нисколько не сожалѣю, но она, разумѣется, въ отчаяніи. Гмъ! что же дѣлать? Достать ей уроки—пожалуй; но вы думаете, она способна учить? Впрочемъ, похлопочу-съ... А вы кто такая?!

— Я Дицъ... дочь аптекаря—ваша сосѣдка.

— А, Дицъ! Юлинька Дицъ... Гмъ! какъ же, знаю... слыхалъ про васъ... Вы, говорятъ, не изъ плохенькихъ...

далеко не изъ плохенькихъ, — безъ малѣйшей улыбки, поднимая глаза и морща лобъ, проговорилъ Батыревъ.

Юлинька чуть было не захохотала, но, взглянувъ ему въ глаза, удержалась.

— Да... вы умны, говорятъ... и вотъ, вижу, добры въ добавокъ... Это хорошо, это... ничего, что добры... даже, въ нѣкоторомъ родѣ, подаетъ надежду, что вы будете порядочной женщиной, можетъ быть, даже прекрасной женщиной, хоть это и не легко, но возможно... А можно мнѣ будетъ къ вамъ зайти? Вѣдь вы тамъ же, гдѣ и аптека? Я, пожалуй, такъ и быть, зайду къ вамъ, эдакъ недѣльки черезъ двѣ... ну, и сообщу вамъ... что успѣю... А теперь васъ не удерживаю... и даже кофеемъ васъ не угощаю, потому что занятъ...

— Чѣмъ же вы заняты?

— А!... Ну, объ этомъ долго разсуждать, да это и не по вашей части...

Юлинька пожала ему руку, поглядѣла ему въ глаза и вышла.

Батыревъ сразу поразилъ Юлиньку Дицъ своей суровой, выразительно-угловатой физіономіей.

Это былъ человѣкъ уже немолодой, лѣтъ около 40, и казался даже старше, потому что волосы его были уже съ просѣдью. Эти волосы, коротко и ровно остриженные, какъ нельзя лучше напоминали собой щетину ежа, свернувшагося комомъ въ ту минуту, когда лягавый песъ, обнюхивая его, то лапой его толкнетъ, и уколовшись, отскакиваетъ, то пробуетъ схватить зубами и тоже отскакиваетъ... Небольшіе, сѣрые, глубоко посаженные глаза Батырева, изъ-подъ низкихъ и прямыхъ бровей его, заключали въ себѣ и сверканіе стали, и неуловимыя искорки какого-то добродушія... Тупой носъ, узкія губы, изъ которыхъ нижняя слегка выпячивалась впередъ, какъ у мопса, шрамъ вдоль одной щеки и рѣ-

денькая бородка—вотъ все, что было самаго замѣчательнаго въ чертахъ лица его, въ полномъ смыслѣ слова топорнаго.

«Некрасивъ и точно раскольникъ,»—подумала Юлинька уходя, и затѣмъ стала думать, зайдетъ ли онъ черезъ двѣ недѣли, и что ей скажетъ? и что она ему скажетъ? Глаза его безпрестанно мелькали въ ея памяти, и шрамъ на щекѣ, точно шрамъ отъ сабельнаго удара, дразнилъ ея воображеніе.

Отъ знакомыхъ Батырева она знала, что человѣкъ этотъ прошелъ сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы; пол—Россіи изшагалъ пѣшкомъ, подвергался тысячѣ непріятностей и, закалившись, вынесъ душу такую же несокрушимую, какъ и его тѣло... Она узнала, что Батыревъ правдивъ и честенъ, трудолюбивъ, и даже не безъ дарованія... Только печататься любилъ въ самыхъ дешевенькихъ изданіяхъ, которыя никто изъ публики не читаетъ, но которыя недурно расходятся въ провинціяхъ.

Недѣли черезъ три, Батыревъ засталъ Юлиньку дома и сообщилъ ей, что Машеньку Флюгину рекомендовалъ онъ къ одной больной старушкѣ чтицей, что три дня она ходила, обѣдала и была очень мила, такъ мила, что даже понравилась, но на четвертый день исчезла... Онъ надняхъ справлялся, и дворникъ сказалъ ему, что Флюгина расплатилась съ хозяйкой, продала свою мебель и уѣхала въ Гатчину... Зачѣмъ и почему—покрыто мракомъ неизвѣстности.

— Ну, это... это меня не интересуетъ, куда и зачѣмъ—замѣтила Юлинька.

— Ну, такъ я уйду, если не интересуетъ.

— Меня *вы* интересуете... Я хочу знать, что вы за человѣкъ?

— Гмъ!... что я за человѣкъ!... Много будете знать, скоро состарѣетесь!

— Какая глупая пословица!

— Напротивъ... самая что ни на есть умная. Незнаніе пустяковъ поддерживаетъ молодость, т. е. любовь и вѣру... Вотъ вы узнали эту пѣвицу Флюгину и перестали ее любить, перестали ей вѣрить — и ужъ она не интересуетъ васъ...

— А неужели, если я узнаю русскій народъ, я перестану его любить и вѣрить?

— Чтобъ узнать его, надо много любить и много вѣрить... И когда вы его узнаете, вы перестанете себя любить и себѣ вѣрить, значитъ, тоже состаритесь. Вы молоды оттого, что дальше книжки ничего не знаете... Книжка оказалась вамъ по силамъ; она выучила васъ отрицать все, кромѣ факта, вы на нее сѣли и поѣхали, и поѣхали, а въ сущности ничего не любите и ни во что не вѣрите, кромѣ той книги, на которой вы ѣдете.

— Точно вѣдьма ьа помелѣ.

— Ну, да... точно вѣдьма... Назади покинутая крестьянская изба, а впереди Лысая гора, ночь и шабашъ... Впрочемъ, что же это я съ вами соглашаюсь! Нѣтъ, куда вамъ! Не годитесь вы въ вѣдьмы, не годитесь! Вѣдьма, та вернется, и на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, начнетъ полоть гряды или кашу варить, или рубашку шить, а вы не вернетесь, нѣтъ... нѣтъ!... Попадете на Лысую гору, такъ тамъ и закружитесь...

— Да почемъ же вы меня знаете? воскликнула Юлинька.

И вотъ первый разговоръ, съ котораго началось знакомство ихъ.

Жаль, что, на одной или ужъ, много-много — на двухъ страничкахъ, я долженъ разсказать вамъ то, чего не умѣстилось бы и въ цѣлой книгѣ, если бы я вздумалъ анализировать подробности... Юлинька, встрѣчаясь съ Батыревымъ и споря съ нимъ, сначала заинтересо-

валась его разсказами о дальнихъ, глухихъ и далекихъ закоулкахъ Россіи, заинтересовалась тѣмъ въ особенности, что Батыревъ всей душой полюбилъ эти дальніе, глухіе и дикіе закоулки... Но мало-по-малу Юлинька стала догадываться, что Батыревъ совсѣмъ не то, чѣмъ она его себѣ вообразила, — что онъ въ грошъ не ставитъ ея убѣжденій и всѣ, такъ называемые, современные вопросы вовсе не считаетъ русскими вопросами; что идея, какъ бы ни была она хороша и красива, и гуманна, и прогрессивна, если она не вытекаетъ изъ самой сути народной жизни, есть ничто иное, какъ идея, взятая напрокатъ, или ничто иное, какъ «плѣнной мысли раздраженье!»

Юлинька возражала, что люди — всюду люди, что $2 \times 2 = 4$—для всѣхъ дважды два четыре; что, такъ называемая, національность есть предразсудокъ, и что задача, идея всего человѣчества, заключается въ томъ, чтобы не было никакихъ перегородокъ, никакихъ національностей, и что ей все равно, нѣмка она или русская, лишь бы душа ея была человѣческая.

Батыревъ возражалъ.

Юлинька не оставалась въ долгу и горячилась, горячилась такъ, какъ она никогда не горячилась.

Батыревъ тоже заинтересовался Юлинькой, потому что убѣдился въ серьезности ея занятій (чему онъ сначала не вѣрилъ), но сталъ дразнить ее тѣмъ, что она знаетъ рефлексы мозга, а исторіи не знаетъ.

Они расходились и опять сходились, потому что Юлинька никакъ не могла помириться съ мыслью, что такой правдивый до грубости и честный до самоотверженія человѣкъ почему-то и абсолютистъ, и даже славянофилъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ слова. Она, семнадцатилѣтняя дѣвушка, вѣрила, что, рано или поздно, она не только его переспоритъ, но и обратитъ его на путь

истинный... Онъ, 40-лѣтній, испытавшій уже всю горечь жизни и всю тяготу обрушившихся на него гоненій и несправедливостей, тоже вѣрилъ, что онъ ее переспоритъ и обратитъ на путь истинный...

Она думала: «онъ такъ много страдалъ и боролся, что не мудрено такое непростительное примиреніе съ русской жизнью и такая вѣра въ народную вѣру». Но она ошибалась... Батыревъ вовсе не похожъ былъ на человѣка усталаго...

Онъ думалъ: «Не то досадно, что она будетъ докторшей. Повивальная бабка, докторша... не все-ли равно?! А то досадно, что она воображаетъ себѣ, что если будетъ на святой Руси 10,000 такихъ же докторшъ, какъ она, то будутъ кисельные берега и молочныя рѣки». Онъ думалъ, что онъ вполнѣ ее раскусилъ или понялъ и — ошибался.

Она тоже ошибалась, хватаясь иногда за его отдѣльныя фразы и мысленно развивая ихъ до самыхъ крайнихъ выводовъ.

Но онъ не шутя начиналъ злиться — эти длинные споры стали утомлять его. Она раздражалась, и даже разъ не утерпѣла, зашла къ нему и съ пылающимъ лицемъ проспорила съ нимъ далеко за полночь...

Онъ порѣшилъ, что имъ встрѣчаться нѣтъ никакой необходимости...

Она тоже не разъ хотѣла плюнуть на Батырева и все-таки съ жаждою, съ нетерпѣніемъ ждала минуты встрѣчи или свиданія... Его грубости (онъ не шутя сталъ грубить) какимъ-то сладкимъ, наркотическомъ ядомъ раздражали ея чувствительность, и она до того дошла наконецъ, что стала бредить имъ... Разъ, въ полуснѣ, она грезила, что она и цѣлуетъ его, и сердится, и ласкаетъ, и плачетъ, и упрашиваетъ его: «ну брани... брани, брани меня, только не спорь!...»

Прошло около полугода съ тѣхъ поръ, какъ Юлинька познакомилась съ Батыревымъ, и дѣло кончилось тѣмъ, что она, къ ужасу своему, почувствовала, что безумно влюблена въ него.

«Какъ! возможно-ли это!... Ничего общаго... ничего... ни одной мысли... и влюблена!... Да я съ ума схожу»,— мысленно восклицала и недоумѣвала Юлинька. Она уединялась, запиралась въ своей комнатѣ, старалась о немъ не думать, и даже—кто бы могъ это подумать!—рыдала отъ злости на себя, отъ жажды видѣть его желтое, сердитое лице, его блестящіе, умные глаза и слышать голосъ, такой странный, непохожій ни на юношескій, ни на старческій...

«Какъ ничего общаго!» какъ-бы очнувшись, вдругъ, подумала Юлинька, когда нравственное страданіе стало одолѣвать ее. «Развѣ онъ не демократъ, хотя и смѣется надъ этимъ словомъ? Развѣ онъ клонитъ передъ кѣмъ-нибудь свою голову? Развѣ онъ льститъ сильнымъ міра сего? Развѣ его не боятся? Развѣ онъ не вольная птица? и при этомъ развѣ онъ не труженикъ... честный, неизмѣнный и настойчивый?... Да и какое дѣло любви до его убѣжденій!... Я люблю его—и кончено... кончено!!»

Юлинька сгоряча написала ему письмо, изъ котораго приведу только слѣдующія фразы: «Я не хочу быть лицемъ, безмолвно и пассивно страдающимъ! Мнѣ все равно, что вы обо мнѣ подумаете, но смѣю думать, вы любите правду, а если любите правду, то знайте, что я люблю васъ... Большей правды въ эту минуту нѣтъ ни въ моемъ сердцѣ, ни на моемъ языкѣ...»

Въ тотъ же день, Юлинька получила отвѣтъ: «Потребность любить вы принимаете за любовь, свѣчу — за солнце, фантазію—за правду... но я не современная скотина и не воспользуюсь вашимъ невиннымъ увлеченіемъ. Я васъ люблю, потому что вы хорошій человѣкъ, и только!

Это сущая правда!... Надѣюсь, вы останетесь довольны мной, когда пройдетъ вашъ бредъ и вы отрезвитесь. Прощайте! На-дняхъ я переселяюсь въ Москву, и мы врядъ-ли съ вами увидимся... да и незачѣмъ. Остаюсь вашъ И. Батыревъ».

У Юлиньки отъ этого отвѣта разлилась желчь и чуть было не сдѣлалась горячка, но, выздоровѣвъ, она не поддалась ни грусти, ни меланхоліи: *отрезвѣла* и принялась за свои занятія. Никому изъ своихъ подругъ не повѣдала Юлинька о странномъ, психологическомъ фактѣ — такъ назвала она любовь свою; но самолюбіе ея было оскорблено, и въ тайникахъ души ея оставалась еще какая-то ранка, которая не любила, чтобы до нея дотрогивались даже воспоминанія...

Этотъ эпизодъ изъ жизни Юлиньки надолго укоренилъ ее въ томъ мнѣніи, что всякая страсть есть нелѣпость, что подъ страстями не кроется никакого разумнаго основанія, что любовь ничто иное, какъ самообманъ, иногда пріятный, иногда скверный, и что нѣтъ на свѣтѣ такихъ нравственныхъ страданій, которыя были бы неизлечимы или вѣчны.

Вотъ почему Юлинька отчасти снисходительно, отчасти саркастически отнеслась къ Лелѣ, узнавъ о ея страстишкѣ къ Пулькину.

XII.

Пулькинъ почти до 2-хъ часовъ просидѣлъ въ своемъ департаментѣ; наконецъ, сдалъ порученное ему дѣло, и улыбаясь заискивающей улыбкой, спросилъ кого слѣдуетъ по начальству, можетъ ли онъ отлучиться на часъ времени для того, чтобы заѣхать къ нотаріусу, потомъ размѣнять кое-какіе билеты и вернуться... «Полагаю,—сказалъ онъ, вынувъ часы,—что сегодня я уже не успѣю на

почту... и въ три часа или въ началѣ четвертаго вернусь, на случай какихъ-нибудь справокъ.» «Можете, можете,» просматривая бумаги, отвѣчало ему снисходительное начальство, и Пулькинъ получилъ полнѣйшую возможность отправиться къ Юлинькѣ Диць.

Но прежде, чѣмъ мы за нимъ послѣдуемъ, вернемся на нѣсколько дней назадъ и сообщимъ нашимъ читателямъ, какого рода разговоръ произошелъ между Лелей Затаиловой и Юлинькой Диць, когда Леля принесла ей любовное посланіе Пулькина. Это мы должны сдѣлать и для того отчасти, чтобы пояснить, почему именно Юлинька пригласила Пулькина. Нельзя-же предположить, что она пригласила его потому, что плѣнилась его умомъ и его краснорѣчіемъ, за чайнымъ столомъ, на вечеринкѣ нашего великаго критика.

Тревожными глазами глядѣла Леля на Юлиньку, когда та, допивая утренній кофе свой, пробѣгала строки, начертанныя перомъ влюбленнаго Пулькина, и когда саркастическая улыбка стала появляться на ея губахъ, на которыхъ еще были крошки, прильнувшія отъ сухаря, только что откушеннаго ея зубками.

— Какъ тебѣ самой нравится это письмо? спросила Юлинька и чайной салфеткой машинально провела по губамъ своимъ.

— Нѣтъ... какъ ты... на это смотришь? Вотъ что я желала бы знать!

— Очень странно онъ въ этомъ письмѣ проявилъ себя... Что за странная цѣль—«*обезумѣть отъ блаженства и счастья*». Ну, обезумѣть—а потомъ что? злиться, зачѣмъ всю жизнь нельзя отъ блаженства безумнымъ быть... И почему онъ чувствуетъ, что «*онъ тебя недостоинъ?*» Можетъ ли быть это искренно?! Ну, положимъ, что это искренно. Но... сама посуди—онъ жалѣетъ, что «*не обладаетъ сокровищами всего свѣта, чтобъ по-*

ложить ихъ у ногъ твоихъ». Что за вздоръ! Неужели ничего другого, кромѣ этой фразы, не нашлось въ головѣ его? Слава Богу, что у этихъ влюбленныхъ нѣтъ сокровищъ всего міра... они всю жизнь свою клали бы ихъ у ногъ своихъ возлюбленныхъ, и ужъ какъ-бы похудѣли несчастные отъ такого занятія!.. Сама посуди, Леля, неужели это не фраза?

Леля потупилась; мучительная досада закипѣла у ней на сердцѣ, но досада не на Пулькина, а на свою подругу.

— Какъ видно, Юля, что ты никогда не любила!.. Иначе, право, ты не стала бы такъ критиковать. Представь себѣ, что въ эту минуту онъ ни о чемъ не думалъ... можно ли выбирать фразы, когда ни о чемъ не думаешь... когда хочется высказаться и словъ нѣтъ! Бываютъ же минуты, когда всѣ наши мыслительныя способности подавлены... нѣтъ... не то... какъ-бы это сказать?

— Ну, находятся не въ нормальномъ состояніи,— подсказала Юлинька.

— Ну да... не въ нормальномъ состояніи... какая же тутъ можетъ быть критика?..

— Ну, хорошо... Я знаю, что я слишкомъ строга и не кстати придирчива. Можетъ быть, и я, если бы была влюблена да получила бы такое письмо, не стала бы разбирать его. Но зато я и не показала бы его никому.

— Такъ ты упрекаешь меня за то, что я къ одной тебѣ пришла показать его! за дружбу мою къ тебѣ упрекаешь! Я не ожидала... Но вѣдь я пришла къ тебѣ не съ тѣмъ, чтобы ты...

Юлинька подмѣтила слезинку, навернувшуюся на глазкахъ хорошенькой Лели, и, не давши ей договорить, какъ малаго ребенка обняла ее.

— Вѣдь я пришла просто за совѣтомъ, какъ мнѣ поступить? Отвѣчать ли ему? Мнѣ такъ страшно и такъ

стыдно отвѣчать, что ты и представить себѣ этого не можешь,—покраснѣвъ до самыхъ бровей, пролепетала Леля.

— А если ты пришла за совѣтомъ, душа моя, то ради Бога не волнуйся... Ты только себѣ представь, что я вовсе не знаю твоего Пулькина, что я совершенно къ нему равнодушна, и что, стало-быть, никакъ не могу пристрастно относиться къ его любви или упрекать тебя... Но послушай меня...

— Говори... говори...

— Вѣдь онъ чиновникъ?

— Ну да, *пока* чиновникъ, но не чиновникъ въ душѣ, и надѣюсь, никогда онъ не былъ въ душѣ чиновникомъ. Онъ служитъ; но что же бы онъ сталъ дѣлать? Вѣдь ни жизнь, ни мы съ тобой еще не научили его, что дѣлать?!

— Во всякомъ случаѣ... онъ вовсе не изъ числа тѣхъ людей, которые вѣрятъ, что любовь и законный бракъ— одно и то же. Этого не признаетъ наше общество, не признаетъ и Пулькинъ. Ты также вовсе не такъ съ дѣтства настроена, чтобы нести на себѣ всю тягость, всю неловкость и всѣ послѣдствія или невыгоды незаконной связи... а уже о твоей тетѣ и говорить нечего! Ты видишь, я ради тебя, Леля, спускаюсь на очень практическую точку зрѣнія... Право же я знаю тебя лучше, чѣмъ ты сама себя знаешь... Ты погибнешь, Леля, если отдашься чувству и будешь обманута или забыта, какъ Матильда. Вотъ почему мнѣ очень досадно, почему этотъ Пулькинъ просто-на-просто не написалъ тебѣ, что если ты его любишь, то онъ проситъ руки твоей. Почему въ этомъ письмѣ даже намека нѣтъ на это?... А вѣдь, кажется, это тоже могло бы придти ему въ голову!

— Я думаю, что это само собой разумѣется, — задумавшись проговорила Леля.

— Ну, такъ вотъ что: познакомь ты меня съ этимъ

Пулькинымъ. Я буду глядѣть на него равнодушными глазами.

— А если не равнодушными?

Юлинька разсмѣялась.

— Что же, онъ такъ хорошъ!.. Аполлонъ Бельведерскій, что ли? Да ты знаешь, Леля, для меня красота въ мужчинахъ—это послѣднее дѣло. Я и въ урода могла бы втюриться.

— Будто ты можешь втюриться! засмѣялась Леля.

Дальше разговоръ ихъ принялъ характеръ дружески-совѣщательный. Юлинька предостерегала Лелю, и Леля дала ей слово не бросаться въ омутъ прежде, чѣмъ не будетъ измѣрена глубина его... Юлинька рѣшилась, во что бы то ни стало, допытаться—чего именно добивается Пулькинъ отъ Лели — хочетъ ли онъ на ней жениться, или, какъ богатый баричъ, взять ее на содержаніе?

XIII.

Въ ту минуту, когда Пулькинъ стоялъ у дверей съ бронзовой дощечкой, на которой было начертано «T. Ditz», онъ былъ почти увѣренъ, что за этой дверью онъ встрѣтитъ Лелю. Сердце его билось, когда рука его дергала за рукоятку звонка.

Дверь была отперта какимъ-то старичкомъ въ очкахъ и долгополомъ сюртукѣ.

— Здѣсь живетъ Юлія Федоровна? спросилъ Пулькинъ.

Старичекъ любезно улыбнулся и сдѣлалъ ему рукой приглашительный жестъ.

Пулькинъ снялъ пальто и вошелъ въ залу.

— Кажется, она дома... кажется мнѣ, она дома... впрочемъ, я не могу вамъ сказать навѣрное,—заговорилъ

старичекъ, съ особеннымъ удареніемъ на словѣ «кажется» и какъ бы размышляя и соображая, дома ли Юлинька.

— Постойте! приложа палецъ къ губамъ, произнесъ онъ таинственно,—я сейчасъ пойду и узнаю, постойте...

Онъ вышелъ; но не успѣлъ Пулькинъ раза два пройтись по залѣ, да постоять передъ висящими портретами какихъ-то средневѣковыхъ ученыхъ (у одного изъ нихъ въ одной рукѣ былъ черепъ, а въ другой — голубенькій цвѣточекъ), старичекъ вернулся, нагнулъ голову, поглядѣлъ исподлобья на Пулькина, и улыбаясь, сказалъ ему:

— Дочь моя воротилась, она теперь дома... Пройдите въ ея комнату.

Пулькинъ понялъ, что передъ нимъ стоитъ отецъ Юлиньки, поклонился ему и отрекомендовался.

— Пожалуйста... вотъ сюда. Подождите... посидите...

Пулькинъ вошелъ въ комнату Юлиньки. Старичекъ же указалъ ему на диванчикъ, сдѣлалъ рукой какой-то неопредѣленный жестъ и пошелъ назадъ въ свой маленькій кабинетикъ, рядомъ съ передней.

Комната Юлиньки была чѣмъ-то въ родѣ гостиной, кабинета и лабораторіи. На столикѣ передъ окномъ лежали учебники, (и въ ихъ числѣ очень истертый латинскій синтаксисъ), паяльныя трубки, реторта и какая-то машинка подъ стекляннымъ колпакомъ; на окнѣ, рядомъ съ гіацинтами стояли запыленныя банки электрической батареи и тускло блестѣли своими мѣдными шариками. На другомъ столѣ, передъ диванчикомъ, ничего не было кромѣ пепельницы и коробочки спичекъ. Комната раздѣлялась сплошными ширмами, изъ-за которыхъ виднѣлся уголъ кровати и другой столъ съ письменными принадлежностями и грудами журналовъ; налѣво шла дверь, которая была не совсѣмъ притворена.

Пока Пулькинъ оглядывался и убѣждался, что Лели

нѣтъ, что ея тутъ и слѣда нѣтъ, за дверью слышался голосъ Юлиньки:

— Я положила меньше дрожжей... И если уже теперь лопнетъ, такъ я ужъ и не знаю... Непремѣнно надо обстоятельный рецептъ достать.

— Надо пробовать, — отозвался ей чей-то мужской голосъ.

— Ну, вотъ мы и пробуемъ! Эдуардъ, не слишкомъ ли тепло въ вашей кладовой? нельзя ли на погребъ?... Ну, такъ закупорьте... Сейчасъ, папа! Распорядитесь на счетъ кофе...

Вслѣдъ за этимъ Юлинька распахнула дверь и появилась передъ очами Пулькина простоволосая, въ темно-коричневомъ платьѣ и въ фартукѣ.

— Это мило, что пришли! сказала она; но прежде чѣмъ подала ему руку, проворно отвязала фартукъ и бросила его въ уголокъ на кресло.

— Какъ же могъ я не придти-съ! Я все бросилъ, всѣ свои дѣла... и почелъ за особенное удовольствіе явиться къ вамъ.

Юлинька внимательно поглядѣла ему въ лице.

— Садитесь...

— Что вы это такое дѣлали? спросилъ Пулькинъ опуская на полъ свою шляпу и садясь на край диванчика.

— Да мы съ папа хотимъ какъ-нибудь добиться кумысъ дѣлать и... такъ мы усердно принялись его дѣлать, что у насъ надняхъ три бутылки лопнуло...

— А! Да вѣдь это, чего добраго, и васъ могло бы ранить осколками. Вотъ это что у васъ такое — черное пятно на пальцѣ?

— А! это... (Юлинька поглядѣла на палецъ). Это сегоднишній казусъ... Я была въ лабораторіи и работала надъ трупомъ... Ну-съ, и такъ была неосторожна, что

обрѣзала себѣ палецъ... Ну-съ, и тотчасъ же должна была прижечь это мѣсто ляписомъ... оттого и черное пятно... но это пустяки, маленькая неосторожность!

— Ну, а если бы вы не прижгли ляписомъ?

— Могла бы заразиться и умереть. Трупъ былъ не свѣжій. Зимой они свѣжѣе... морозы...

Пулькинъ понюхалъ воздухъ и пожалъ плечами.

— Неужели вы непремѣнно хотите быть докторомъ?

— А почему же нѣтъ?

— Я удивляюсь вамъ! Ну, право же, озолотите меня— не захочу быть докторомъ: помилуйте, ни днемъ, ни ночью покоя нѣтъ...

— Да и повивальнымъ бабушкамъ иногда ни днемъ, ни ночью покоя нѣтъ.

— Да я не желалъ бы быть и повивальной бабушкой! Вы представить себѣ не можете, какъ иногда молодые люди... студенты въ особенности, дурачатъ ихъ!

— Какъ дурачатъ?!

И Пулькинъ разсказалъ Юлинькѣ будто бы слышанный имъ разсказъ, какъ однажды, въ Москвѣ, въ три часа ночи, медицинскіе студенты, подкутивъ, поѣхали къ разнымъ повивальнымъ бабушкамъ и выдали имъ адресы въ такіе дома, гдѣ кромѣ знакомыхъ имъ дѣвицъ да старухъ, не было ни одной замужней женщины, и Христомъ-Богомъ умоляли ихъ какъ можно скорѣе торопиться... какъ можно скорѣе!... и какъ эти несчастныя, повивальныя бабушки встали, одѣлись, закутались, поѣхали, и, разумѣется, въ однихъ домахъ ихъ просто съ бранью отослали назадъ, въ другихъ—чуть не поколотили, и онѣ вернулись домой, къ утру, иззябшія и измученныя ..

— Когда же это было?

— Да это... я слышалъ, когда еще былъ въ гимназіи, отъ студентовъ, пріѣзжавшихъ къ намъ на вакаціи...

— Ну, это теперь немыслимо. Теперь и тѣ, и другіе

учатся почти вмѣстѣ, и такія дикія выходки стали просто невозможны... Да если бы и были возможны... ну, положимъ, что и теперь нашлись бы такіе шалопаи или самодуры—что же изъ этого? Значитъ ли это, что ради двухъ-трехъ шалуновъ въ Россіи не слѣдуетъ быть повивальнымъ бабушкамъ?... Это смѣшно!

Пулькинъ догадался, что онъ заврался, и сказалъ:

— Разумѣется, это было бы смѣшно! Я только хотѣлъ намекнуть вамъ, какимъ иногда безпокойствамъ подвергаются у насъ женщины-спеціалистки, помимо тѣхъ трудовъ и заботъ, какія возлагаетъ на нихъ обязанность...

— Гмъ... да! Но вотъ, намъ несутъ кофе, масло, сыръ и прочія снадобья... Если вы проголодались, очень рада, что могу васъ угостить...

Вошла горничная, гораздо болѣе нарядная, чѣмъ сама Юлинька, съ подносомъ, на которомъ стояли кофейникъ, сахарница, сливочникъ и двѣ чашки. За ней вошелъ какой-то дюжій и румянощекій малый, въ синемъ сюртукѣ выше колѣнъ, въ сѣромъ фланелевомъ жилетѣ съ серебряной цѣпочкой отъ часовъ и высокомъ галстукѣ, очевидно не лакей и очевидно нѣмецъ, можетъ быть, тотъ самый Эдуардъ, который закупориваетъ бутылки и хранитъ запасы.

Юлинька была внутренно весьма недовольна разсказомъ Пулькина о какихъ-то давнишнихъ, московскихъ продѣлкахъ надъ повивальными бабушками, т. е. не самымъ разсказомъ была она недовольна, а тѣмъ пошловато веселымъ тономъ, съ какимъ это было разсказано... точно Пулькинъ хотѣлъ ее этимъ потѣшить и самъ внутренно потѣшался... У ней было очень тонкое чутье... но...

Пулькинъ былъ голоденъ—съ 8 часовъ утра ничего не ѣлъ—и былъ очень радъ и сыру, и маслу, и кофейнику, и сливкамъ. Все же онъ никакъ не могъ понять,

зачѣмъ это Юлинька его пригласила?... У него тоже было свое чутье, и онъ не ошибался, думая, что весь этотъ разговоръ, который вели они, есть ничто иное, какъ одна прелюдія; что Юлинька что-то такое собирается сказать ему; что Юлинька ни разу не засмѣялась, и совсѣмъ не такая, какою была вчера у Кроликовыхъ; даже раза два поглядѣла на него вопросительно, причемъ большіе, сѣрые, миндалевидные глаза ея днемъ казались свѣтлѣе и (такъ, по-крайней-мѣрѣ, вообразилось Пулькину) пронзительнѣе...

Пулькинъ не даромъ же считалъ себя канальей, и вотъ, чтобы какъ можно скорѣе натолкнуть ее на разговоръ, — можетъ быть, увы! не лестный для его самолюбія и тяжелый для его влюбленнаго сердца,—онъ поставилъ чашку на столъ, вынулъ папироску и, съ замираніемъ подъ ложечкой, спросилъ ее:

— Елена Александровна была сегодня у васъ? Часто вы ее видите?

— Хотѣла быть, но... не была... а видимся мы довольно часто...

Юлинька тоже допила свою чашку кофе, поставила ее на подносъ, и, откинувшись на спинку стула, сложила свои пальцы и задумалась.

— Господинъ Пулькинъ! Можно мнѣ быть съ вами откровенной? спросила она, не глядя на него, и тонкій румянецъ оттѣнилъ ея восковое личико.

Пулькинъ поблѣднѣлъ: вотъ-вотъ сію минуту она ему скажетъ: «Леля поручила мнѣ сказать вамъ, что она не любитъ васъ и извиняется...»

— Я знаю, что вы хотите сказать мнѣ, — проговорилъ онъ, какъ бы встрепенувшись и глядя ей прямо въ лицо своими карими, потемнѣвшими глазами.

— Вы знаете! удивилась Юлинька.

— Да-съ... Вамъ поручено сказать, что... что... я... недостоинъ... или... мнѣ не слѣдуетъ надѣяться...

«Онъ любитъ», подумала Юлинька, замѣтивъ блѣдность лица его и очевидное смущеніе.

— Вы писали къ ней... да?

— Если это вамъ уже извѣстно, то что же я могу сказать на это?

— А вотъ что вы можете мнѣ сказать: что вы намѣрены дѣлать, если Леля отвѣтитъ вамъ взаимностью, или если она также неравнодушна къ вамъ?

— Что я намѣренъ!...

Въ эту минуту краска румянца перешла съ лица Юлиньки на лицо ея гостя.

— Что я намѣренъ! повторилъ онъ:—разумѣется, все, что мнѣ подскажетъ моя страсть!

Юлинька засмѣялась беззвучнымъ смѣхомъ, львиная улыбка растянула ея губы, и эти губы произнесли слѣдующій афоризмъ:

— Одна и та же страсть одному подскажетъ чувство самоотверженія, другому—эгоистическое требованіе, третьему—жажду минутнаго блаженства, четвертому—глупость, пятому — грубость и такъ далѣе, каждому свое, смотря по характеру и образу мыслей. Вонъ Баскину, который когда-то былъ влюбленъ въ Матильду Тыркову, страсть подсказала, что жениться ему не слѣдуетъ, а Умекову подсказала, что слѣдуетъ. Вотъ вы и разбирайте, что подсказываетъ страсть!

— Вы, можетъ быть, Юлія Ѳедоровна, хотите спросить меня, женюсь ли я на Еленѣ Александровнѣ? Но... какъ же смѣю я объ этомъ думать!

— Отчего же вы любить смѣете, а жениться не смѣете?... Но... можетъ быть — я вѣдь не знаю васъ— можетъ быть, ваши убѣжденія таковы, что вы отрицаете бракъ...

— Что мнѣ сказать на это? подумалъ Пулькинъ,— отрицаю я бракъ или не отрицаю?...

Онъ зажегъ спичку, закурилъ папироску и тотчасъ же пересталъ курить ее.

— Изволите видѣть,—началъ онъ, повѣся носъ свой,— я не знаю, какъ на это смотритъ Елена Александровна.

— Ну, а вы какъ смотрите?

— Я не прочь жениться, если это только составитъ счастье Елены Александровны! Клянусь вамъ, я не прочь... Я никогда никого такъ не любилъ. Я просто мѣшаюсь въ умѣ, до такой степени я люблю ее.

— Такъ мнѣ и сказать ей, что вы просите руки ея?

— Да... но... зачѣмъ же спѣшить, Юлія Ѳедоровна?... Я, признаюсь вамъ, думалъ прежде устроить дѣла свои, нанять квартиру, омеблировать ее, и уже потомъ просить руки ея... Я теперь точно на какомъ-то перепутьѣ стою, не знаю, что и будетъ: тамъ это проклятое наслѣдство... тутъ эта служба проклятая... Хочется и здѣсь остаться... и въ отпускъ надо ѣхать... Ахъ,—неужели вы думаете, что если бы въ эту минуту мои обстоятельства позволяли мнѣ жениться, я завтра же не женился бы... лишь бы согласіе ея было на это... Довольно одного пожатія руки ея, чтобы я рѣшился на все... Вѣрите ли вы этому?...

— Я не имѣю никакого повода не вѣрить вамъ... Можетъ быть, это и къ лучшему, что вы медлите... Вы узнаете ее, она—васъ.

— Я тоже такого мнѣнія, Юлія Ѳедоровна... Но это не значитъ, чтобы я сомнѣвался въ ея честности или въ благородствѣ ея характера—нѣтъ! Я просто на себя не надѣюсь... не то, чтобы я не надѣялся на свою любовь или на свое постоянство, нѣтъ... Просто не смѣю думать, что я во всѣхъ отношеніяхъ буду достоинъ руки ея... клянусь вамъ!... Можетъ быть, ей хочется, чтобы я былъ ученый или герой, или богачъ!

— Ручаюсь вамъ, что ей вашего богатства не нужно... что—будь вы бѣдный подмастерье, и полюби она васъ—и тогда она вышла бы за васъ замужъ... Главное заключается не въ томъ, что вы будете обвѣнчаны, а въ томъ—какъ вы понимаете отношенія мужа къ женѣ?... Но... объ этомъ когда-нибудь послѣ...

Юлинька встала... Пулькинъ тоже всталъ.

Юлинька стала ходить по комнатѣ съ такимъ видомъ, какъ-будто цѣлый вихрь мыслей поднялся въ головѣ ея.

Онъ поглядѣлъ на нее не безъ удивленія, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ робости—и взялся за шляпу.

— Я не смѣю болѣе безпокоить васъ моимъ присутствіемъ...

Юлинька не отвѣчала, продолжала ходить и думать...

— А! вы, кажется, уходите? сказала она вдругъ, закинувъ голову, и остановилась.

— Четверть пятаго-съ—и я знаю, какъ вамъ дорого время!

— Ну, прощайте... Любите Лелю и знайте, что кого она полюбитъ—не разлюбитъ даромъ!... Заходите къ ней—и ко мнѣ, когда вздумается. Впрочемъ, меня почти никогда дома нѣтъ, особливо утромъ. До свиданья!

Затѣмъ Юлинька проводила его до передней и сама заперла за нимъ дверь.

XIV.

Возвращаясь въ департаментъ, Пулькинъ уже не думалъ ни о своихъ дѣлахъ, ни о справкахъ, ни о докладѣ, ни о департаментѣ. Свиданіе съ Дицъ и разговоръ съ нею совершенно поглотили умъ его. Все вышло не такъ, какъ онъ воображалъ себѣ. «Да какой же это, чортъ возьми, нигилизмъ!» думалъ онъ: «Что же эта дура, Любина, наговорила мнѣ... Просто какая-то идеальная чест-

ность, недопускающая ни малѣйшей сдѣлки съ совѣстью!... Интересно было бы знать, что бы она, эта Юлинька, отвѣчала мнѣ, если бы я ляпнулъ ей: ну да-съ, брака я не признаю,—не признаю, да и только!... Сказала ли бы она мнѣ: «ну, въ такомъ случаѣ поступайте такъ, какъ вамъ говорятъ ваши убѣжденія...» Или, напротивъ, прямо бы заявила: «такъ какъ Леля хочетъ выйти замужъ, то... вамъ всего лучше постараться забыть о ней... Боже мой! что за загадка эта будущая докторша! Начала говорить о моемъ письмѣ и покраснѣла... Говорите же послѣ этого, что у нихъ нѣтъ ни стыда, ни совѣсти!... Нѣтъ... тутъ что-то не то... что-то такое... не совсѣмъ понятное. Я, покрайней мѣрѣ, ничего тутъ не понимаю... А можетъ быть и понимать-то нечего?!... Просто-на-просто, всѣ онѣ на столько практичны, не смотря на свой идеализмъ, что предпочитаютъ выгодное и прочное невыгодному и непрочному... Считаютъ меня человѣкомъ богатымъ, думаютъ, что я буду давать деньги на журналъ, а Кроликовъ будетъ редакторомъ; а Леля, ставъ моей женой, будетъ тоже играть роль и распоряжаться моими доходами—и устраивать всякія женскія мастерскія да какія-то артели, и проч., и проч.... Но это не то... нѣтъ... Нельзя не вѣрить, что будь я простой подмастерье, и не будь у меня ровно никакого состоянія, Леля точно также вышла бы за меня, если бы полюбила. Вѣдь отказалась же она переѣхать къ сенатору Шталю, на все на готовое... къ этому Шталю, который, несомнѣнно, неравнодушенъ къ ней, несомнѣнно! — и быть можетъ озолотилъ бы ее, если бы она позволила ему поцѣловать свои бѣлыя ножки... А что этотъ опекунъ въ нее влюбленъ—это я чувствую... Я не такой дуракъ, чтобы это не чувствовать!... Какъ онъ тонъ-то свой перемѣнилъ, когда я сказалъ ему, что не былъ у Лели на праздникахъ—инда просіялъ!... Э! меня, братъ, не проведешь!

Не даромъ я бился, какъ рыба объ ледъ... Тоже кое къ чему присматривался... А что, если я пойду къ нему и скажу: ваше превосходительство! такъ и такъ, вы мнѣ изволили говорить, что принимаете участіе въ судьбѣ Елены Александровны, такъ вотъ-съ, я пришелъ просить ваше превосходительство, не будете ли вы такъ добры, не соблаговолите ли на нашей свадьбѣ быть ея посаженымъ отцомъ? Интересно было бы видѣть, какъ онъ со мной тогда поведетъ себя! Боже мой! Да неужели же я женихъ!... Думалъ ли я вчера, что сегодня я буду женихомъ!... О! Если бы деньги!... Еслибъ въ самомъ дѣлѣ какое-нибудь наслѣдство! Съ какою радостью я сегодня же вечеромъ просилъ бы руки ея... и съ какою радостью завтра же послалъ бы ей подарокъ—какое-нибудь кольцо или серьги брилліантовыя! Какъ бы это было хорошо!!... Женихъ! А сколько у меня денегъ? Да кажется, около двухъ сотъ рублей, не болѣе; да еще за квартиру долженъ... А что, если занять?... А?—Но у кого же? А что, если у Любиной? Она, какъ кажется, больше всѣхъ вѣритъ моимъ капиталамъ! — Попробую... Коли удастся—значитъ, я долженъ жениться, а коли не удастся—значитъ не долженъ...»

Вотъ, въ короткихъ словахъ, перечень тѣхъ мыслей, которыя до такой степени сократили дорогу Пулькину, что онъ не замѣтилъ, какъ дошелъ до крыльца, ведущаго въ департаментъ и вошелъ въ просторныя сѣни, со швейцаромъ, съ вѣшалками направо, съ коридоромъ налѣво и съ широкою лѣстницею прямо противъ входныхъ дверей съ улицы. Уже вѣшалки были наполовину пусты; уже уходящіе чиновники надѣвали калоши и напяливали на себя пальто... Очевидно, что уже наступилъ тотъ часъ, когда господа жрецы Ѳемиды начинаютъ покидать насиженныя мѣста свои и спѣшатъ къ своимъ пенатамъ. Но Пулькинъ, по-видимому, и на это не обра-

тилъ большого вниманія... Онъ снялъ свои калоши, сдалъ швейцару пальто свое и сталъ подниматься на лѣстницу.

— Александръ Васильевичъ... куда вы такъ поздно? спросилъ его тотъ самый чиновникъ, который, три недѣли тому назадъ, бесѣдовалъ съ нимъ на подоконникѣ.

— Какъ! неужели я опоздалъ? удивился Пулькинъ.

Тутъ только вспомнилъ онъ, что отъ Юлиньки до департамента дорога неблизкая, что все время онъ шелъ пѣшкомъ, и можетъ быть, шелъ довольно медленно.

— Директоръ поѣхалъ къ министру. Иванъ Ивановичъ тоже куда-то уѣхалъ... Да и пора... Не каждый же день до 6 часовъ маяться...

— Я сегодня съ 8 часовъ маюсь; кажется, имѣю право опоздать...

— Александръ Васильевичъ! Постойте-ка, что я вамъ шепну.

— Что такое?

— А вотъ пойдемте-ка туда, въ коридорчикъ.

— Ну, вы опять что-нибудь въ родѣ того, что я въ карты сотни тысячъ выигрываю...

— Не сотни тысячъ... а вотъ что-съ... Между нами... хлопотали вы о мѣстѣ... въ отдѣленіи... по случаю... знаете этой ваканціи?

— И не думалъ! Съ какой стати стану я хлопотать!

— Да вы того-съ... не думайте, что я что-нибудь эдакое... Это такъ между нами и останется... Хлопотали?...

— Да помилуйте... Какъ я стану хлопотать! У кого?... Да и зачѣмъ хлопотать о такомъ мѣстѣ, котораго, я знаю, мнѣ не дадутъ... Съ носомъ-то оставаться невесело...

— Да какъ же это говорятъ?!

— Что такое?...

— Вы ничего не знаете?

— Ей-Богу... ничего...

— Ну, такъ это такъ, должно быть, врутъ... или... ужъ я и не знаю что такое!

— Ей-Богу, вы меня интересуете... Скажите, пожалуйста... опять какая-нибудь кляуза!

— Да вы никому не скажете?... А?...

— Никому...

— Ну, такъ вотъ что-съ: изволите видѣть, говорятъ-съ, будто васъ отъ насъ переводятъ и даютъ вамъ это самое мѣсто...

— А вы и вѣрите!...

— А вы?

— Да въ жизнь мою я этому не повѣрю! Съ какой стати!... Этого и скрывать не стоитъ, такой это вздоръ-съ!

— Нѣтъ ужъ... Какъ вы хотите, а только это между нами, Александръ Васильевичъ! Между нами... и ужъ вы меня не выдайте. Знаете, чай, сами, какой у насъ народъ. Коли вамъ все пересказать, такъ, ей-Богу!... ушамъ не повѣрите!...

Чиновникъ все это говорилъ до того таинственно, какъ будто дѣло шло о какой-то важной государственной тайнѣ. Онъ всякій разъ косился, сторонился и замолкалъ, когда по коридору мимо него проходили писаря или чиновники. Пулькинъ же мысленно замиралъ отъ этой новости. Онъ уже почувствовалъ, что судьба готовитъ ему сюрпризъ раньше, чѣмъ онъ этого ожидалъ—и это значительно ослабило въ немъ то впечатлѣніе, какое онъ вынесъ изъ разговора съ Юлинькой; онъ еще болѣе утвердился въ мысли, что судьба, сама судьба толкаетъ его на женитьбу, и что женатый на такой хорошенькой женщинѣ, какъ Леля, онъ еще быстрѣе будетъ подвигаться вверхъ по ступенямъ служебной іерархіи.

— Пойдемте-ка лучше червячка заморить, — смѣясь сказалъ Пулькинъ чиновнику и опять надѣлъ на себя пальто и калоши.

XV.

На той же недѣлѣ въ четвергъ, за часъ до обѣда, Пулькинъ былъ въ квартирѣ Кроликовыхъ, но не засталъ Лели,—засталъ только Марѳу Сергѣевну.

Отчего же только въ четвергъ рѣшился Пулькинъ навѣстить свою невѣсту? Не могъ же онъ предполагать, что весь разговоръ его съ Юлинькой не будетъ переданъ буквально Затаиловой, и не могъ же онъ думать, что послѣ этого разговора Леля Затаилова не въ правѣ считать его женихомъ своимъ!

Не оттого ли это, что, если поглубже заглянуть въ душу Пулькина, — онъ не только былъ влюбленъ, но и трусилъ любви. Онъ понялъ, что Леля не изъ числа существъ, подбитыхъ вѣтеркомъ, бросающихся очертя голову навстрѣчу обаятельныхъ объятій страсти, что его отношенія къ ней вовсе не шутка и что рано или поздно онъ долженъ будетъ въ ея глазахъ вполнѣ разоблачить себя. И что затѣмъ? Какъ отнесется къ нему и къ его хитросплетенной фальши, и къ его чиновническому честолюбію, и къ его опустѣвшему карману честная женская душа?...

Все это почти безсознательно наводило на него нѣкій страхъ. Образъ Лели его преслѣдовалъ. Стоило только ему хоть на минуту отвлечься отъ своихъ канцелярскихъ дѣлъ и департаментскихъ интригъ, чтобъ тотчасъ же погрузиться въ цѣлое море мечтаній о красавицѣ Лелѣ, и не смотря на это, онъ долженъ былъ, такъ сказать, *принудить* себя идти къ ней.

Леля очень жалѣла, что Пулькинъ не засталъ ея, хотя и не высказала вслухъ своихъ сожалѣній. Она также мечтала о Пулькинѣ и, какъ наивная душа, нисколько не боялась любви своей.

— А знаешь, Леля,—сказала ей Кроликова, когда та вошла въ ея комнату,—какъ этотъ Стихаревъ при немъ велъ себя?! Не успѣлъ Александръ Васильевичъ войти, какъ и онъ ввалился... Мы вотъ этакъ сидѣли на диванчикѣ... Стихаревъ вошелъ, не кланяясь, и сначала сѣлъ у окна; потомъ вдругъ вскочилъ, пошелъ въ твою комнату, затворился тамъ, и слышу—на крючекъ запирается! Я не выдержала... Что это вы, говорю, въ чужой комнатѣ запираетесь? отопритесь! Онъ отперся, но дверей не отворилъ. Пулькинъ удивленными глазами глядѣлъ... Видно было, что ему это непріятно, даже поморщился! Да и кому же пріятно этакое невѣжество!

Разсказъ этотъ взбѣсилъ Лелю. Она тотчасъ же вышла изъ комнаты своей тети и вошла въ столовую, гдѣ Дуня, уже накрывъ скатертью столъ, разставляла приборы.

Стихаревъ стоялъ у стѣнки и дожидался обѣда.

— Что это, г. Стихаревъ, вы, кажется, съ ума сошли: какъ вы смѣете при гостяхъ запираться въ моей комнатѣ?

Стихаревъ дрогнулъ, губы его побѣлѣли.

— При какихъ гостяхъ? спросилъ онъ.

— При такихъ, которые мнѣ дороже васъ, которыми я дорожу...

— Ахъ да! при этомъ... какъ бишь его! Пулькинѣ-то? Что-жъ! Я не виноватъ... Вы зачѣмъ его къ себѣ пускаете?...

— Я пускаю къ себѣ—кого хочу! Кто вамъ отдалъ меня подъ надзоръ?

— Подъ какой надзоръ! Я за вами не надзираю,—отвѣчалъ Стихаревъ, глядя въ сторону и щуря глаза:—я не мѣшаю вамъ, не мѣшайте же и мнѣ ненавидѣть этого чиновничишку, эту дрянную пигалицу Пулькина!...

— А! вы его ненавидите! Ну, такъ знайте же, что

я выхожу за него замужъ! и потому вамъ лучше не приходить къ намъ, чтобы не встрѣчаться съ человѣкомъ, котораго вы ненавидите...

Никогда еще Леля не была въ такомъ возбужденномъ состояніи, никогда еще она такъ громко не говорила.

Кроликовъ былъ дома, и услыхавъ ея негодующій голосъ, вышелъ въ столовую.

Леля разсказала ему въ чемъ дѣло, сѣла у двери на стулъ и заплакала.

— Какъ вамъ не стыдно! сказалъ Кроликовъ Стихареву:—вѣдь придется и мнѣ сказать вамъ то же, что сказала Леля.

Страшная борьба въ это время происходила въ душѣ Стихарева, борьба страсти, злости, ненависти, ревности, досады и отчаянія. Это можно было видѣть по мускульнымъ движеніямъ блѣднаго лица его; но онъ преодолѣлъ себя и повинился.

— Что-жъ я такое сказалъ? Я не зналъ, что Пулькинъ женихъ Елены Александровны, я бы тогда остерегся и не сказалъ бы ей, что я его ненавижу... Теперь я это знаю, и... и... и... что же дѣлать, остерегусь. А Еленѣ Александровнѣ я не сказалъ ничего обиднаго, и не понимаю (Стихаревъ при этомъ разставилъ руки), не понимаю, чѣмъ я могъ такъ огорчить ее?

Кроликовъ, повидимому, совершенно удовлетворился отвѣтомъ Стихарева, но лице его все еще продолжало быть строгимъ на столько, на сколько оно могло быть строгимъ.

— Ну, такъ извинитесь! сказалъ онъ и опять ушелъ въ свой кабинетъ дописывать какую-то безпощадно карающую статью.

Только что онъ ушелъ, Леля тотчасъ же встала, ушла въ свою комнату и заперлась: она не хотѣла слышать извиненій Стихарева.

Стихаревъ остался стоять на томъ же мѣстѣ до тѣхъ поръ, пока всѣ, кромѣ Лели, не вышли обѣдать. Когда же всѣ вышли, онъ взялъ свою шапку и, поклонившись всѣмъ, отправился въ переднюю. Онъ былъ увѣренъ, что Кроликовъ его воротитъ; но Кроликовъ, вмѣсто того, чтобы воротить его, приподнялъ крышку съ миски посмотрѣть, что будетъ—щи или супъ?

Голодный Стихаревъ пошелъ по улицѣ, на бокъ надвинувъ свою фуражку, никого и ничего не замѣчая: онъ обдумывалъ мщеніе.

XVI.

Пулькинъ кое-что другое обдумывалъ и на слѣдующій же день обдуманное привелъ въ исполненіе.

Онъ поѣхалъ къ Любинымъ обѣдать. И Боже мой! какъ онъ былъ любезенъ и веселъ за обѣдомъ, не смотря на интересную блѣдность щекъ, отчего еще темнѣе и блестящѣе казались его глаза. Послѣ обѣда, поблагодаривъ хозяйку, онъ такъ многозначительно пожалъ ручку Лизы, что та посмотрѣла на него вопросительно.

Все время о Лелѣ Затаиловой и рѣчи не было. Анна Петровна такъ и не дождалась, чтобъ онъ заговорилъ о ней, и это начало ее безпокоить. «Неужели,—думала она,—этотъ столоначальникъ женится на моей дочери? Положимъ, онъ теперь богатъ, но можно ли на него полагаться, когда онъ такой вѣтренникъ! Несомнѣнно былъ влюбленъ въ Затаилову, но подулъ какой-то противный вѣтеръ, и вотъ онъ ухаживаетъ за моей дочерью». Материнское сердце ея чувствовало что-то такое неискреннее въ поведеніи Пулькина, и послѣ обѣда, когда Лиза вышла въ свою комнату, она не вытерпѣла, взяла его за руку и заговорила съ нимъ.

— А что наша Леля? Что она?

— Ахъ, Леля... Леля! все такъ же мила и прелестна!

— Что-жъ вы медлите? для чего вы медлите?

— То-есть, зачѣмъ я не сватаюсь? А вамъ хочется, чтобъ я уѣхалъ въ отпускъ не иначе какъ съ женой? Это вамъ хочется?...

— Вы знаете, я желаю вамъ счастья! потупившись проговорила Анна Петровна.

— А если такъ, не знаете-ли вы кого-нибудь, у кого-бы я могъ перехватить небольшую сумму денегъ? Разумѣется, съ процентами и на вексель. Я, знаете, никому не долженъ; долги дѣлать не привыкъ-съ, и совершенно неопытный профанъ въ этомъ дѣлѣ. Даже, признаюсь вамъ, мнѣ разспрашивать объ этомъ совѣстно! Я знаю, что есть тутъ такіе господа, которые тѣмъ только и пробавляются, что даютъ деньги на большіе проценты, и мнѣ стоитъ показать имъ кой-какіе документики, чтобъ они тотчасъ же раскошелились! Но согласитесь, совѣстно какъ-то имѣть дѣло съ этими аферистами... Я такъ ужъ и рѣшилъ: пока не уѣду да не переговорю со своимъ повѣреннымъ, не посовѣтуюсь съ нимъ, какъ бы мнѣ хоть тысячъ шестьдесятъ получить раньше срока, т. е. раньше шести мѣсяцевъ, я такъ ужъ и рѣшилъ ничего не дѣлать, т. е. отложить о моей женитьбѣ всякое попеченіе...

— А сколько вамъ нужно денегъ? какъ-то нерѣшительно, съ запинкой, спросила его Любина, закинувъ назадъ голову и глядя прямо ему въ лице.

— Да не очень много-съ: какихъ-нибудь три, четыре тысячи, равнодушно произнесъ улыбающійся Пулькинъ.

— А если...—еще нерѣшительнѣе произнесла Любина,—я дамъ вамъ взаймы, сколько могу...

— Нѣтъ... у васъ брать мнѣ совѣстно, милый другъ Анна Петровна! Это ужъ черезчуръ... такая доброта! Вѣдь послѣ этого я самъ не буду въ правѣ отказать

вамъ въ чемъ бы то ни было. Скажите: Пулькинъ, бросься въ окошко!—придется и въ окошко броситься...

Этими словами Пулькинъ, такъ сказать, задѣлъ Любину за самую чувствительную струнку. Ей ничего такъ не хотѣлось, какъ имѣть въ домѣ своемъ человѣка, готоваго ради нея въ окошко выпрыгнуть и сломить себѣ голову. У ней даже загорѣлось страшное желаніе непремѣнно одолжить милаго, признательнаго и такого совѣстливаго друга...

Пулькинъ веселыми глазами глядѣлъ на нее и точно сомнѣвался, не хотѣлъ вѣрить ея добротѣ, обращалъ въ шутку слова ея; а она стояла противъ него, слегка раскрывши ротъ, (что напоминало басню «лисица и ворона съ кусочкомъ сыру») и тоже какъ будто не вѣрила его пламенной, на все готовой дружбѣ.

— Вѣдь вы шутите, Анна Петровна! проговорилъ Пулькинъ, взявъ ея обѣ руки въ свои и продолжая улыбаться.

— Нѣтъ... я никогда не шучу,—проговорила Анна Петровна:—Я вѣрю, что вы честный, благородный, правдивый и умный... Я вѣрю—вы не мотъ, вы съ пользою для себя и для своихъ дѣлъ употребите эти деньги. Но если вы любите бѣдную Лелю, вы до вашего отъѣзда на ней женитесь и уѣдете съ молоденькой женой... Не правда-ли?... На сколько же времени вы хотите занять?...

— До осени, Анна Петровна, до первыхъ чиселъ сентября, никакъ не дольше-съ! Май, іюнь, іюль, августъ... сталъ считать по пальцамъ Пулькинъ, — на четыре мѣсяца-съ... Это слишкомъ даже большой срокъ; я увѣренъ, что еще раньше этого срока я могу вамъ выслать все то, что вы...

— Ну, хорошо... на четыре мѣсяца... и шесть процентовъ,—это не будетъ слишкомъ много... для васъ?...

— Почему же не семь и не восемь? Вѣдь это... сколько

придется? А впрочемъ, я не знаю, сколько именно вы въ въ настоящую минуту можете мнѣ дать...

Анна Петровна пошла за деньгами. Пулькинъ подошелъ къ окну и перенюхалъ всѣ цвѣты, наклоняя одну вѣтку за другой. Онъ находился въ лихорадочномъ волненіи: щеки его горѣли и онъ уже не казался блѣднымъ.

— Видите, какой вы счастливецъ, Александръ Васильевичъ! начала Любина, вернувшись въ гостиную: —я никогда не держу денегъ у себя въ домѣ; а на этотъ разъ я получила отъ управляющаго да еще за выкупныя свидѣтельства небольшую сумму... за одно маленькое имѣньице, и не успѣла еще этихъ денегъ внести въ банкъ. Но извините, болѣе трехъ тысячъ четырехъ сотъ рублей я не могу вамъ дать: нужно что нибудь и для дома оставить...

Пулькинъ поцѣловалъ ея руку, положилъ пачку депозитокъ въ свой боковой карманъ, и отблагодаривъ ее, какъ нѣкое божество, спросилъ:

— Что же теперь дѣлать-съ? Вексель вамъ дать или расписку?

— Ахъ! вексель дорого... да у меня нѣтъ и бланковъ вексельныхъ. Дайте расписку на всякій случай. Я сейчасъ принесу вамъ... посидите здѣсь или пойдемте къ моему письменному столику... Да что же вы даже не пересчитали, сколько я дала вамъ?

— Ахъ, Анна Петровна, развѣ вы можете обманывать? Зачѣмъ считать!

Пулькинъ далъ расписку, приписавъ къ суммѣ шесть процентовъ; затѣмъ убѣдительнѣйше попросилъ ее—*пока* никому объ этомъ не говорить; затѣмъ опять раза три поцѣловалъ ея трепетныя, сухощавыя и блѣдныя руки, и остался у ней на цѣлый вечеръ. Вечеромъ подошли Дыминъ и другіе знакомые. Разумѣется, они засадили Пулькина съ собой въ преферансъ играть.

Во время игры Лиза безпрестанно садилась около Пулькина и заглядывала ему въ карты; она, кажется, всѣмъ сердцемъ принимала участіе въ его игрѣ... О! если бы она знала, какую опять каверзу учинила съ ней ея маменька!—дала Пулькину деньги, чтобы онъ какъ можно скорѣе женился на ея соперницѣ.

Послѣ чая, Пулькинъ съ компаніей опять усѣлся за ломберный столъ доигрывать партію. Любина же въ половинѣ двѣнадцатаго ушла въ свою комнату, сказавши, что чувствуетъ себя не совсѣмъ здоровой. Она была совершенно здорова, но нервы ея были разстроены; порывъ великодушія и доброты, ею самой неожиданный, разстроилъ эти бѣдные нервы такъ, что она ушла, велѣла горничной раздѣть себя и легла въ постель. Любина не любила разставаться съ деньгами и уже внутренно каялась, и не даромъ, прежде чѣмъ погасить свѣчу, поглядѣла на кіотъ съ образами и, нѣсколько разъ вздохнувъ, перекрестилась...

«Конечно, онъ отдастъ,—думала Любина,—и я ничего не потеряю... Но никому не давать взаймы... это было моимъ правиломъ, и я не должна была нарушать его... Да и зачѣмъ я такъ раскошелилась? Одной тысячи рублей было бы ему слишкомъ довольно... Вѣдь не аристократъ же онъ какой-нибудь! Не весь же Петербургъ поѣдетъ къ нему на свадьбу!» И долго, долго затѣмъ чувство досады на излишнюю доброту наполнило душу этой чистой и непорочной дамы... Ее какъ будто совѣсть мучила, совѣсть души разсчетливой и подозрительной.

Пулькинъ тоже уѣхалъ, какъ только кончилъ партію, проигравъ два рубля и сорокъ копѣекъ.

Въ концѣ концовъ, когда всѣ разъѣхались, въ пустой столовой, гдѣ пили чай, остались Лиза и Дыминъ.

Дыминъ молчалъ, гладилъ усы или мягко барабанилъ по столу пальцами... Лиза сидѣла отъ него въ двухъ

шагахъ, и положа локти на столъ, машинально тасовала карты.

— Ею же мѣрою мѣряется, тою же мѣрою и воздастся вамъ,—проговорилъ Дыминъ.

— Это неправда.

— Какъ это можетъ быть неправдой!...

— Да такъ... если бы это было правдой, то—на сколько бы вы кого-нибудь любили, на столько бы и васъ любили.

— А! вотъ вы что!... Ну, а если такъ повернуть фразу: на сколько вы заставили страдать другихъ, на столько и вы страдайте. Вы были несправедливы — и сами отъ другихъ не ждите справедливости.

— Я всегда справедлива,—отвѣчала Лиза.

Дыминъ уставилъ на нее глаза и скривилъ губы.

— Что вы такъ смотрите! Успокойтесь! Пулькина я просила помирить меня съ Лелей, просила его передать мой поклонъ, онъ и этого не исполнилъ: забылъ, говоритъ. Хорошо оправданье!...

— Что ему за выгода мирить васъ съ Лелей!

— Почему же?

— Да такъ! Изъ-за какихъ благъ я буду съ вами откровенничать?!

— Ну, и не нужно...

Лиза продолжала машинально тасовать карты, и повидимому, дула губки. Въ залѣ и гостиной лакей тушилъ лампы. Въ столовой минуты три слышно было только постукиванье маятника большихъ стѣнныхъ часовъ. Лиза зѣвнула.

— Что бишь такое вы мнѣ говорили?... Ахъ, да!... Какой однако же вы хитрый человѣкъ! Вы разсчитываете на мое любопытство и я замѣтила, не въ первый разъ дразните меня разными таинственными экивоками...

— Что мнѣ васъ дразнить! Зачѣмъ? Ваша судьба и такъ въ моихъ рукахъ.

— Вотъ какъ! моя судьба въ вашихъ рукахъ! Скажите, пожалуйста. Это даже не смѣшно... Такъ, по-вашему, у меня и воли нѣтъ?..

— Да, это само собой разумѣется!

— Какъ!...—Лиза стиснула въ рукѣ карты, подняла темныя брови и поглядѣла на него, какъ бы спрашивая: не съ ума ли вы сошли, другъ мой!

— Желала бы я знать, напримѣръ, какъ бы вы помѣшали мнѣ выйти замужъ за того, кто мнѣ понравится...

— Да какъ же вы выйдете замужъ, если тотъ человѣкъ, который вамъ понравится, не пожелаетъ на васъ жениться?

— Я заставлю его пожелать!...

— Ну, этого безъ моей помощи вы не можете. Это все отъ меня зависитъ... И я знаю, что, рано или поздно, вы только на меня и будете надѣяться, какъ на каменную стѣну... да!

Лиза бросила на столъ карты, и, не простясь съ нимъ, ушла въ свою комнату.

Дыминъ холодно поглядѣлъ на ту дверь, въ которую вышла Лиза, взялъ съ окна свою фуражку и вышелъ въ переднюю. Вспышка Лизы нисколько его не огорчила— онъ былъ въ ней увѣренъ. Еще ни разу почти математическій разсчетъ, въ достиженіи тѣхъ или другихъ результатовъ въ жизни, не обманулъ его. Онъ зналъ, что Лиза разсердится и разсердилъ ее не безъ умысла.

Въ это же самое время, другого сорта плутоватый баринъ, Пулькинъ, сидѣлъ у себя въ спальнѣ съ одной свѣчей, съ опущенными сторами и считалъ занятыя денежки. Оказалось, что Любина, по разсѣянности или по недосмотру, передала ему лишнихъ 25 рублей, и Пулькинъ, какъ *честный человѣкъ*, тотчасъ же рѣшилъ на другой же день съ благодарственнымъ письмомъ отослать ей эту лишнюю двадцатипятирублевку.

Заперевъ деньги и ложась спать, Пулькинъ былъ въ такомъ усладительномъ настроеніи духа, что нечего и сомнѣваться въ томъ, что на этотъ разъ совѣсть его нисколько не мучила.

«Неужели не отдамъ? думалъ Пулькинъ.—Отдамъ. Займу опять гдѣ-нибудь шесть тысячъ и отдамъ... а чтобъ отдать шесть тысячъ — займу двѣнадцать. Нужна только ловкость и сноровка, а главное—роскошь, и все пойдетъ какъ по маслу!»

XVII.

Въ пятницу на Ѳоминой недѣлѣ, въ 6 часовъ вечера, за городомъ, по дорогѣ къ Лѣсному Корпусу неслась двухмѣстная карета, довольно щегольского фасона, запряженная парой бѣлыхъ коней, и ямщикъ, въ кучерскомъ армякѣ, по-видимому, нисколько не сдерживалъ горячность ихъ, не смотря на то, что дорога была ужасная, а погода—еще ужаснѣе. Все казалось сѣро, тускло и пасмурно. По сторонамъ дороги, по полямъ и огородамъ, ползли и клубились бѣлыя тучи; изъ-за каждой наглухо заколоченной дачи, изъ-за каждой сосны или ели выглядывало облако; сѣялся дождь, и такой мелкій, что и разобрать было трудно что это такое — дождь или какая-то крутящаяся въ воздухѣ водяная пыль.

Изъ опущеннаго стекла кареты выглядывалъ дорогой букетъ изъ алыхъ и бѣлыхъ розъ, камелій и незабудокъ, а надъ этимъ букетомъ выдѣлялся профиль и бѣлый галстухъ Пулькина.

«Вотъ такъ погода! думалъ Пулькинъ, — настоящая весна! Понесъ же ихъ чортъ вѣнчаться въ такую даль!...»

Наконецъ, прокативъ съ версту по грязному шоссе, карета сдѣлала полуоборотъ и подъѣхала къ церковной паперти.

— Мы ужъ думали, вы не будете! сказалъ Пулькину чей-то голосъ при входѣ въ церковь.

Пулькинъ ничего не отвѣтилъ и вошелъ, оглядываясь. Народу было такъ мало, что лучше сказать—его совсѣмъ не было. Изъ числа знакомыхъ были только Умековъ, его невѣста, Леля и Нельбитова. Изъ мужчинъ одинъ женихъ былъ во фракѣ, остальные были въ сюртукахъ, въ пальто, съ распущенными на шеѣ, вязанными шарфами, и разумѣется, безъ перчатокъ. Изъ дамъ только невѣста—Маша, да Леля Затаилова были одѣты въ бѣлыя платья альпага съ отдѣлкою изъ бархата, да посажёная мать невѣсты была въ коричневомъ шелковомъ платьѣ, съ висюльками изъ стекляруса, и въ шляпкѣ тоже съ стеклярусомъ; остальныя дѣвицы, казалось, были въ тѣхъ же платьяхъ, въ какихъ онѣ ходятъ на лекціи.

Пулькинъ, скаля зубы, преподнесъ букетъ Машѣ Студенецкой, и не успѣлъ двухъ словъ сказать Лелѣ, какъ уже Умековъ потащилъ его въ алтарь вписать въ книгу свой чинъ, имя и фамилію, въ качествѣ одного изъ свидѣтелей.

— Ну, ужъ выбрали вы погодку! сказалъ ему Пулькинъ.

— Да кто ее выбиралъ! съ неудовольствіемъ отозвался Умековъ.—Онъ не столько былъ веселъ, сколько хотѣлъ казаться веселымъ.

Маша нюхала поднесенный ей букетъ, и насмѣшливая гримаска не сходила съ ея хорошенькаго, нѣсколько похудѣвшаго личика.

Священникъ былъ уже въ ризѣ, налой стоялъ среди церкви, передъ царскими вратами, свѣчи были зажжены, дьячки отхаркивались на клиросѣ: и немудрено, что отхаркивались: въ церкви было сыро и чуть ли не холоднѣе, чѣмъ на воздухѣ. Не даромъ Леля накинула на себя что-то въ родѣ епанечки изъ лебяжьяго пуха, подбитой

бѣлымъ атласомъ. Она одна изъ всѣхъ — маленькая, стройная и въ локонахъ — казалась свѣтской дѣвушкой.

Кромѣ Умекова въ алтарѣ былъ еще одинъ господинъ, довольно замѣчательной наружности— приземистый, большеголовый, рябой и съ огромными усищами. Умековъ отрекомендовалъ его Пулькину тоже какъ свидѣтеля и родственника, и тотчасъ вышелъ изъ алтаря.

— Послѣ вѣнца милости прошу и васъ къ себѣ на чашку чаю, ну, и на закусочку-съ! А фамилія моя Тарасенко. Я хохолъ-съ,—не безъ нѣкотораго самохвальства добавилъ онъ,—хохолъ-съ!... Ба! Пойдемте—уже и священникъ вышелъ.

— А гдѣ вы живете, г. Тарасенко?

— А вамъ ужъ это скажутъ... куда всѣ, туда и вы... И безъ всякихъ разныхъ этакихъ церемоній—попросту, понимаете!

Пока они выходили изъ алтаря, держа другъ друга за руку, точно старые пріятели, Умековъ уже успѣлъ подвести свою невѣсту къ аналою на разостланный кусокъ розовой тафты, и дьячки запѣли: «Исаія, ликуй!»

Начался обрядъ. Не смотря на порядочное количество зажженныхъ восковыхъ свѣчей, въ церкви было не только сыро, но и пасмурно. Въ окна глядѣли темныя тучи, сзади хлопнула за кѣмъ-то затворившаяся дверь и заставила Лелю вздрогнуть, а Пулькина повернуть назадъ свой носъ. «Не Стихаревъ ли?» подумалъ онъ. Но Стихарева не было.

Леля перешла на другое мѣсто и стала за клиросомъ. Пулькинъ остался на томъ же мѣстѣ, за спиной одного шафера, но онъ не спускалъ глазъ съ граціозной фигурки любимой дѣвушки, тускло освѣщенной свѣчей, теплившейся передъ образомъ. Онъ замѣтилъ, какъ она высморкалась и съ умышленной нечаянностью стерла слезу, показавшуюся на ея фарфоровомъ личикѣ.

Леля не то что плакала; но тайная, ей самой непонятная тоска грызла ей душу и выдавливала слезы. Ей хотѣлось молиться. Въ эту минуту это было одной изъ самыхъ жгучихъ потребностей ея сердца; но какъ молиться, когда ни во что сверхчувственное и необъяснимое вѣры нѣтъ! Вѣдь все то, что удовлетворяло Юлиньку Дицъ—труды, наука, общественные идеалы—ее не удовлетворяло, да и не могло удовлетворять. Она чувствовала, что для труда у нея нѣтъ силы, для науки нѣтъ ни подготовки, ни памяти, общественные идеалы съуживались въ головѣ ея и казались идеаломъ ея собственнаго семейнаго счастья. Она еще помнила мать, помнила смерть родного брата, смерть отца. Ей въ эту минуту почему-то казалось, что въ этой церкви, подъ этимъ темнымъ сводомъ все еще отпѣваютъ, поютъ кому-то: «вѣчная память!» Во все время, пока продолжался обрядъ вѣнчанья, она ни разу не взглянула на Пулькина; холодъ пробѣгалъ у ней по спинѣ, ножки зябли, но и объ этомъ она мало думала, вся поглощенная какой-то неизъяснимой грустью.

Она очнулась, когда уже священникъ сказалъ жениху и невѣстѣ: «ну, поцѣлуйтесь, такъ слѣдуетъ» и вышелъ съ крестомъ.

Скоро всѣ стали выходить изъ церкви. Пулькинъ подалъ руку Лелѣ. Она оперлась на нее и пошла съ нимъ рядомъ. Ефименко и другіе молодые люди не безъ тайной зависти въ эту минуту поглядѣли на высокаго, щеголемъ одѣтаго Пулькина.

— Такъ вы ко мнѣ, значитъ? сказалъ Пулькину Тарасенко, нахлобучивая на голову мѣховую, малороссійскую шапку.

— Непремѣнно... къ вамъ! отвѣчалъ Пулькинъ.

Всѣ стали садиться въ экипажи: кто въ четырехмѣстныя извощичьи кареты, кто на дрожки. Глаза Лели испу-

ганно забѣгали: та карета, въ которой пріѣхала она съ Машей, уже отъѣхала.

— Гдѣ же я сяду? спросила она.

— Митрофанъ! крикнулъ Пулькинъ—и его двухмѣстная карета подкатила къ каменнымъ ступенькамъ.

— Я довезу васъ! Вы позволите? спросилъ Пулькинъ Лелю, прижавъ своимъ локтемъ руку дѣвушки и какъ бы боясь ее выпустить.

— Зачѣмъ же? пролепетала Леля. Личико ея казалось встревоженнымъ. Но дѣлать было нечего—Пулькинъ подсадилъ ее, вскочилъ въ карету, дверцы захлопнулись, и они поѣхали.

XVIII.

Пулькинъ такъ былъ блаженъ и счастливъ, что сидитъ рядомъ съ Лелей въ одной каретѣ, что долго не зналъ, что ему говорить; онъ только держалъ холодную ручку Лели и тихо пожималъ ее. Она не отнимала отъ него своей руки, но отворачиваясь, глядѣла въ окно, за которымъ ровно ничего не было видно.

— Я еще не получилъ отъ васъ отвѣта на письмо мое,—началъ Пулькинъ.

— Что жъ отвѣчать! зачѣмъ! пролепетала Леля такъ тихо, что гулъ колесъ по щебню шоссейной дороги заглушилъ отвѣтъ ея.

— Я не рѣшился бы лично сказать вамъ, потому что очень люблю васъ.

— Будто—очень?...

— А вы, — вы, милая, дорогая моя Елена Александровна?

— Я бы и не была съ вами въ одномъ экипажѣ... если бы не... если бы я ..

— Еслибъ вы меня не любили? да?!

И Леля вздрогнула. Она почувствовала на зарумянившейся щекѣ своей прикосновеніе его губъ.

Не прошло и пяти минутъ, какъ головка Лели была на его груди.

Разговоры или, лучше сказать, отрывочныя фразы, повторенія одного и того же—тѣхъ же ласковыхъ словъ и увѣреній, прерываемыхъ долгими, пламенными поцѣлуями, трепетъ рукъ и трепетъ сердца, — все это такія проявленія страсти, которыя ни одинъ повѣствователь не возсоздастъ во всей ихъ реальной неуловимости. Передайте буквально отрывочный бредъ двухъ влюбленныхъ въ минуты ихъ перваго свиданія, тѣмъ же самымъ влюбленнымъ, спустя мѣсяцъ или два мѣсяца, и этотъ бредъ имъ самимъ покажется пошлостью,—не потому, что это была пошлость, а потому, что то пламя, которое придавало ему и жизнь, и смыслъ, улетучится; останутся одни слова, повторить которыя—значитъ опошлить... Сила же любви такъ велика, что даже Пулькинъ какъ будто изъ какого-то душнаго болота вынырнулъ на чистый воздухъ и въ первый разъ увидѣлъ ясное солнце!

Они очнулись, когда уже подъ колесами загремѣла мостовая Выборгской.

Леля первая выглянула въ окно и сказала:

— Я ничего не вижу...

Да и трудно было что-нибудь увидѣть: былъ такой туманъ, что только силуэты зданій едва-едва изъ него выступали, и такъ былъ густъ воздухъ, что вечеръ казался наступленіемъ ночи. Тротуаровъ, фонарныхъ столбовъ и прохожихъ не было видно, только мимо и близко проѣзжавшіе экипажи смутно мелькали, точно это были не экипажи, а воздушныя тѣни ихъ.

— Мы точно одни въ цѣломъ мірѣ,—сказала Леля,—или точно мы подъ водой съ вами ѣдемъ...

— Да... я бы очень желалъ, вотъ такъ... вѣчно

ѣхать... и ничего кромѣ васъ не видѣть... Но неужели вы во мнѣ сомнѣваетесь?... Скажите, Леля, отчего вы были такъ грустны въ церкви; мнѣ даже показалось, вы какъ будто плакали... или это мнѣ показалось?

— Я вамъ разскажу отчего—хотите?

— Леля, говорите мнѣ «ты», подайте мнѣ примѣръ... этой... этой, такъ сказать, милой фамильярности...

— О, нѣтъ еще, нѣтъ! Послѣ, когда это самое будетъ другимъ, болѣе святымъ чувствомъ...

— Какимъ же болѣе святымъ? Неужели мы съ вами въ эту минуту грѣшники?...

— Не грѣшники... но... зачѣмъ спѣшить! Вы сами говорили Юлинькѣ, что спѣшить не слѣдуетъ... Ахъ, Юлинька! Она говоритъ, что всѣ влюбленные глупы... Да... это правда! мы... такъ глупо ведемъ себя... Зачѣмъ такъ цѣловаться! Зачѣмъ?

Леля не хотѣла при этомъ вслухъ сознаться, что поцѣлуи эти только раздражали ихъ; что у ней отъ этого пылаютъ щеки, холодѣютъ губы и кружится голова... Она откинула головку въ уголокъ кареты и начала говорить.

— Отчего было мнѣ грустно? вы спрашиваете... Да оттого, быть можетъ, что старое горе лежитъ еще на сердцѣ! Я вспоминала похороны моего брата, моего милаго Сережи—мальчика такого славнаго... такого, что я и сказать вамъ не могу! Это былъ любимецъ моего папа—онъ его такъ любилъ! Боже мой, какъ онъ любилъ его! Когда его отпѣли въ церкви и понесли на кладбище, отецъ мой стоялъ и не плакалъ; видитъ—идетъ его няня.—«Няня!» говоритъ.—«Чего изволите?»—«Пожалуйста, поглядите, какъ бы того... въ толпѣ его не задавили.»—«Кого это, батюшка?»—«Да Сережу,» говоритъ. Та такъ и а него и уставилась. «Господи!» говоритъ, «да вѣдь его хоронятъ!»—Папа зашатался. Я одна не могла бы под-

держать его... Ахъ, какъ было тяжело!... Какъ полоумный вернулся мой отецъ домой: три дня не плакалъ—мы думали, что онъ съ ума сошелъ; на четвертый день онъ обнялъ меня—и заплакалъ, такъ горько заплакалъ, что я никогда еще такихъ слезъ не видала, и дай мнѣ Богъ никогда не видѣть... Потомъ служба, заботы, хлопоты... Надо вамъ сказать, что мой папа былъ всегда разсѣянъ, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ потерялъ Сережу, онъ сталъ еще разсѣяннѣе: часто не помнилъ, какой день и куда ему надо ѣхать... Какъ жаль, что вы его не знали... и что онъ не зналъ васъ... За васъ онъ бы меня выдалъ замужъ, непремѣнно бы выдалъ!... Но вы, можетъ быть, не знаете, до чего довела его разсѣянность?

— Какой грустный разсказъ, Леля! Зачѣмъ теперь, именно теперь?...

— Да вы думаете, мнѣ теперь не грустно и также не жаль, что нѣтъ моего папа?... О! какъ бы онъ любилъ васъ! Быть можетъ, вы замѣнили бы ему его Сережу! Во всякомъ случаѣ, ему было бы отрадно думать, что я выйду замужъ за честнаго человѣка. О! онъ самъ былъ честенъ!... На его мѣстѣ другіе разбогатѣли бы... Онъ же только и скопилъ съ небольшимъ пять тысячъ,—только потому и скопилъ, что всякій разъ, когда получалъ денежную награду, откладывалъ мнѣ на приданое.

— Гдѣ же эти деньги? спросилъ Пулькинъ, хотя при словѣ «*пять тысячъ*» сердце его какъ-то сжалось и замерло.

— Да потерялъ, вообразите! Потерялъ! Повезъ куда-то класть, въ какую-то контору... Онѣ у него лежали въ казенномъ ящикѣ, вмѣстѣ съ казенными деньгами: такъ казначей, Дмитрій Петровичъ Степановъ — былъ очень хорошій человѣкъ, — чувствуя, что ему плохо и что ключи могутъ перейти въ другія руки, — тотъ часъ

:же сказалъ моему папà: «возьмите ваши деньги!» Дома же держать ихъ папа боялся—могъ быть пожаръ, да и горничная у насъ была воровка, — онъ ихъ куда-то повезъ, и, разумѣется, по разсѣянности опоздалъ—контора была заперта. Онъ заѣхалъ куда-то въ гостиницу пообѣдать. Меня же дома не было:—я въ этотъ день, какъ теперь помню, 4-го января, обѣдала у Любиныхъ и слышала, какъ васъ бранятъ эти Любины... О! не вѣрьте имъ: онѣ фальшивыя!...

Леля на минуту замолчала, какъ бы справляясь со своими воспоминаніями; личико ея едва бѣлѣлось въ сумеркахъ кареты. Пулькинъ тоже молчалъ.

— Ну, это бы еще не бѣда, что мой папа потерялъ деньги... Ну, потерялъ—эка бѣда! не умерли бы съ голоду! Но это такъ его поразило, такъ поразило, что на третій день онъ умеръ... и умеръ ударомъ, сидя у себя въ кабинетѣ, въ креслахъ... Помню, въ этотъ день онъ не обѣдалъ, все ходилъ, на меня поглядывалъ и такой безпокойный былъ... точно нигдѣ себѣ мѣста не находилъ, и лицо у него было такое темное... Какъ это я не догадалась и раньше не послала за докторомъ! Я и не предчувствовала, что это можетъ такъ скоро кончиться!.. Такъ вотъ видите, сколько у меня было горя!..

Въ это время карета уже катилась черезъ Неву, по Литейному мосту, хотя вмѣсто Невы было что-то сплошное, блѣдно-сѣрое, перечеркнутое снизу темно сѣрыми перилами. Въ каретѣ же было такъ сумрачно, что Леля не видѣла и не могла видѣть вытянутаго, блѣднаго лица Пулькина... Откинувшись головой въ другой уголъ кареты, онъ сидѣлъ точно преступникъ, котораго казнить везутъ.

— Отчего же вашъ батюшка не объявилъ о пропажѣ... и не далъ знать полиціи?

— Не знаю... Впрочемъ, онъ далъ знать полиціи.

Но посудите, можно ли было разсчитывать, что деньги эти попадутся въ руки честнаго человѣка. Ахъ! этотъ человѣкъ, который нашелъ ихъ, знаетъ-ли онъ, что онъ убійца!

— Убійца!? глухо пробормоталъ Пулькинъ.

XIX.

— Но что было, то прошло. Tout passe, tout lasse! Скоро ли мы пріѣдемъ? Ноги мои точно ледъ. А вы знаете адресъ, куда ѣхать?

— Я? нѣтъ, я не знаю адреса.

— Такъ куда же мы ѣдемъ?

— Не знаю...

Леля всплеснула руками.

— Я слышала, Умековъ говорилъ Нельбитой, что гдѣ-то на Садовой, около Гороховой; онъ говорилъ и номеръ дома, но я не вслушалась...

— А мои мысли такъ были вами заняты, что у меня изъ головы вонъ. Но можетъ быть кучеръ знаетъ!

Карета уже стучала по каменной мостовой. Кое-гдѣ тусклыми пятнами свѣта мелькали огни. Пулькинъ опустилъ переднее стекло и окликнулъ кучера.

— Стой!... Было тебѣ сказано, куда ѣхать?... А?...

Митрофанъ остановилъ лошадей.

— Куда прикажете? спросилъ онъ въ свою очередь.

— Да вѣдь тебѣ сказано было: «ступай за нами». Я самъ слышалъ, какъ съ дрожекъ тебѣ кричали: «ступай за нами!»

— Да какіе тутъ дрожки! Видите, чай, какой туманъ! Дай Богъ кого не задавить!...

— Ступай на Садовую, на уголъ Гороховой.

Пулькинъ поднялъ стекло.

— Какъ мы теперь найдемъ ихъ—Богъ знаетъ! сказалъ онъ.

Ему, въ сущности, было все равно, найдетъ ли онъ этого Тарасенку, или не найдетъ. Будь онъ одинъ, онъ даже былъ бы радъ этому случаю. Пировать, пить играть въ карты или танцовать въ такую минуту, когда кошки скребутъ на сердцѣ, ему было бы невыносимо; но онъ зналъ, что Леля должна быть на этой свадьбѣ, что ея отсутствіе Богъ знаетъ какъ будетъ всѣми перетолковано.

Онъ понялъ, въ какое непріятное положеніе ставитъ Лелю его опрометчивость. Молча взялъ онъ ея руку и молча поднесъ ее къ губамъ своимъ. Онъ какъ бы просилъ у ней прощенія за все, за все. Онъ чувствовалъ, до какой степени, при словѣ «убійца», вдругъ остыла кровь его. Даже чуткому сердцу Лели онъ сталъ казаться уже не тѣмъ Пулькинымъ, который сѣлъ съ нею въ карету, а какимъ-то другимъ, какъ будто уже не влюбленнымъ Пулькинымъ, а чѣмъ-то въ родѣ вѣжливаго кавалера—не болѣе...

— Что это съ вами... милый мой? спросила она его и прилегла къ его плечу.

— Леля... милая! Вы меня заразили вашей грустью или вашимъ горемъ... Чего бы я не далъ и на что бы не рѣшился, лишь бы имѣть возможность отдать ему его деньги...

— Кому «ему»!? Папа?... Да вѣдь уже его на свѣтѣ нѣтъ... Какъ же вы ему ихъ отдадите?...

— Ахъ да!... Ну—не ему, такъ вамъ...

— Этимъ вы его не воротите. Но... постойте... Куда мы ѣдемъ?... Гдѣ мы? Неужели... такой длинный мостъ?

— Нѣтъ, — это, должно быть, Невскій... Торцовая мостовая.!. Но зачѣмъ же онъ прямо не поѣхалъ по Литейной?

— А можетъ быть, мы уже проѣхали Литейную?

Карета медленно катилась по торцовой мостовой Каравanной, мимо квартиры Пулькина. Но разглядѣть это не было никакой возможности...

— Ну, будемъ ѣхать куда-нибудь,—авось куда-нибудь пріѣдемъ! сказала Леля.

— Я не помню, чтобъ былъ когда-нибудь такой туманъ... пробормоталъ Пулькинъ.

Если бы Пулькинъ былъ въ прежнемъ восторженномъ настроеніи, онъ непремѣнно бы придрался къ словамъ Лели и уговорилъ бы ее заѣхать къ нему на квартиру— и Богъ знаетъ, чѣмъ могло бы кончиться это конфортабельное одиночество — вдвоемъ! Можетъ быть, и Леля, подобно Машѣ, слѣпо отдалась бы потоку страсти: не даромъ, каждый поцѣлуй его, казалось ей, электрическимъ огнемъ пробѣгалъ по всему ея молодому и нѣжному тѣлу. Такъ, Пулькинъ, убившій отца, быть можетъ, не пощадилъ бы и дочери, если бы не зналъ, что онъ былъ причиною его смерти, также, какъ и тогда, въ январѣ, онъ не зналъ, чьи нашелъ онъ деньги.

Конечно, Леля и сама не подозрѣвала, что разсказъ ея, въ этомъ непроглядномъ туманѣ, спасалъ и ограждалъ ее.

— Ну вотъ, кажется, теперь мы свернули на Садовую!? сказала Леля—и не ошиблась! карета ощупью пробиралась по Садовой, безпрестанно сталкиваясь съ другими экипажами и останавливаясь.

Гостиный дворъ казался мостомъ: только и видны были сквозь туманъ темныя очертанія арокъ, которыя казались мостовыми арками. Къ сожалѣнію, и фонарей не зажигали, потому что въ календарѣ стояло: «Заря во всю ночь»...

XX.

— Стой! Слушай! Остановись на углу Гороховой! Слышишь?—опять обратился Пулькинъ къ своему возницѣ, высунувшись изъ окна кареты. — Можетъ быть, ты замѣтишь, гдѣ стоятъ экипажи, тѣ, что были въ Лѣсномъ, у церкви,—ступай!—Хоть бы знать, обратился онъ къ Лелѣ, по правую или по лѣвую сторону искать намъ этого Тарасенко.

Кучеръ хлеснулъ лошадей и чуть было не наѣхалъ на какую-то старуху. Минутъ черезъ пять показалось ему, что онъ проѣхалъ углы Гороховой. Вотъ наткнулся онъ на колеса кареты, лошади заржали... За этой каретой, у тротуара стояла еще карета, какія-то дрожки и опять нѣсколько каретъ, — кузова ихъ въ туманѣ казались возами съ сѣномъ. Со втораго этажа, изъ окошекъ длинными полосами, освѣщая туманъ, выходилъ свѣтъ; освѣщенный подъѣздъ съ фонаремъ тоже можно было разглядѣть.

— Тутъ свадьба, голубчикъ? спросилъ извощикъ какую-то тѣнь, заслонявшую подъѣздъ.

— Тутъ,—отвѣчала тѣнь и отошла въ сторону.

Митрофанъ обернулся и постучалъ пальцемъ въ переднее стекло кареты.

— Здѣсь! послышался его хриплый голосъ, точно съ того свѣта.

— Слава Богу! сказали въ одинъ голосъ и Пулькинъ, и Леля.

По высокой лѣстницѣ, обитой зеленымъ сукномъ и уставленной цвѣтами, вошли они во второй этажъ и увидѣли, что дверь налѣво растворена; какой-то человѣкъ въ поддевкѣ, съ большой корзиной на головѣ, вхо-

дилъ, а другой человѣкъ, во фракѣ и съ салфеткой въ рукѣ, впускалъ его.

— Здѣсь Умековъ? спросилъ Пулькинъ, войдя въ просторную переднюю, увѣшанную верхнимъ платьемъ—пальто и салопами.

— А кто онъ такой? шаферъ или гость?... спросилъ его въ свою очередь человѣкъ съ салфеткою въ рукѣ, и съ ногъ до головы оглядѣлъ ихъ. Бѣлый галстукъ Пулькина и бѣлое платье хорошенькой Лели тотчасъ же подсказали ему, что это запоздалые гости...

— Кто-жъ ихъ знаетъ! Какъ ихняя фамилья? сказалъ человѣкъ съ салфеткой.

— Пожалуйте-съ! подхватилъ другой, по фигурѣ отставной солдатъ и очевидно стражъ вѣшалокъ и чужаго платья... Подъ номерочекъ прикажете?

— Александръ Васильевичъ! шепнула Леля, быть не можетъ, чтобъ у Умекова было такъ много гостей на свадьбѣ!...

— Почемъ же мы знаемъ, сколько людей пригласилъ этотъ хохолъ Тарасенко? Это его дѣло!...

Леля сняла съ себя накидку, шелковый платочекъ, который повязывалъ ей горло, резиновыя калоши, и подъ руку съ Пулькинымъ вошла въ дверь обѣденнаго зала.—Стояло два длинныхъ стола, ярко освѣщенныхъ зажженными канделябрами. Гостей было штукъ, по крайней мѣрѣ, пятьдесятъ, если не болѣе. Лакеи подавали пирожное, слышался говоръ и звонъ чекающихся бокаловъ.

Десятки разныхъ носовъ, мужскихъ и женскихъ, и десятки глазъ обернулись на входившихъ въ залу Лелю и Пулькина. И ни одного знакомаго лица, ни одного знакомаго голоса!... Пулькинъ почувствовалъ, какъ дрогнула рука Лели и пріостановился.

— Гдѣ женихъ? спросилъ онъ у человѣка съ подносомъ, уставленнымъ рюмками.

Съ конца одного стола поднялась довольно высокая, сутулая фигура во всемъ парадѣ: тоже въ бѣломъ, кружевами обшитомъ галстухѣ и съ брилліантовыми или стразовыми запонками въ рубашкѣ. Съ недоумѣвающимъ лоснящимся лицемъ, съ круглыми, выпуклыми глазами и баками, въ видѣ двухъ густыхъ черныхъ кустиковъ, подошла эта фигура къ Пулькину.

— А! проговорила она, очень радъ-съ... но... не имѣю чести знать... съ кѣмъ имѣю честь говорить-съ...?

Пулькинъ сконфузился, Леля опустила глаза.

— Извините-съ...—началъ Пулькинъ, — я бы желалъ видѣть жениха-съ...

— Я женихъ-съ! осклабившись отвѣчала высокая фигура и, шаркнувъ ногой, раскланялась.

Въ залѣ воцарилось молчаніе.

Не только гости, всѣ лакеи смотрѣли, выпуча глаза, на эту сцену.

— Ради Бога, извините! такой туманъ, что кучеръ ошибкой подвезъ насъ не къ тому подъѣзду... ѣхали на одну свадьбу,—попали на другую...

Женихъ какъ-то пріосанился и засмѣялся.—Ну, такъ что же-съ, милости просимъ, отдохните съ вашей супругой! Не угодно ли... ну, хоть шампанскаго? Мы за это не въ претензіи-съ...

— Нѣтъ, ужъ надо ѣхать! Очень благодарны вамъ, но насъ ждутъ. Извините!

Пулькинъ поклонился и пошелъ съ бѣдной Лелей назадъ въ переднюю.

Гомерическій хохотъ поднялся со всѣхъ концевъ залы — такой хохотъ, что казалось, стѣны рухнутъ. И что всего ужаснѣе было Пулькину, — кто то изъ гостей узналъ его и проговорилъ довольно громко: «это нашъ чиновникъ Пулькинъ!»

Отдавши номерокъ и торопливо одѣвшись, Пулькинъ и Леля спустились по лѣстницѣ и вышли на улицу.

Будь Пулькинъ въ нормальномъ состояніи духа, онъ бы самъ хохоталъ и утѣшилъ бы, и развеселилъ бы Лелю; но онъ былъ самъ пораженъ и взволнованъ.

Выйдя на улицу, они убѣдились, что карета ихъ куда-то отъѣхала. Они остановились на тротуарѣ, не зная куда идти; изъ тумана на свѣтъ высовывались и пропадали какія то подозрительныя лица. Къ счастью для Пулькина, среди этихъ лицъ оказалось одно нисколько не подозрительнымъ, — оно, очевидно, судя по формѣ, принадлежало городовому.

Пулькинъ ухватился за него и обѣщалъ ему рубль, если только онъ найдетъ кучера Митрофана и велитъ ему подать карету.

Городовой исчезъ, какъ призракъ; но, къ немалому утѣшенію Лели, вдали послышались голоса: «Митрофанъ! Кто тутъ Митрофанъ!»

— Дѣлать нечего! проговорила Леля:—велите ѣхать къ намъ, на Знаменскую. Я озябла, и охотно выпью съ вами чашку чая. Видно, не судьба намъ съ вами на свадьбѣ пировать!

— Да-а! сегодняшній вечеръ для меня достопамятенъ! Никогда мнѣ не забыть его, никогда...

Леля поняла слова его въ томъ смыслѣ, что никогда не забыть ему, что въ этотъ вечеръ произошло ихъ первое объясненіе, и, не смотря на то, что вся дрожала, улыбнулась и поглядѣла на Пулькина.

— Неужели и я также блѣдна, какъ вы? спросила она:—или это туманъ насъ такъ окрашиваетъ? Боже мой! Да гдѣ же это наша карета? Что, если Митрофанъ въ кабакъ ушелъ?

Долго еще такимъ образомъ стояли они и говорили; наконецъ, послышался стукъ колесъ, застучали копыта

бѣлыхъ лошадей, и, сквозь темносѣрую мглу, мелькнуло стекло кареты, попавшее на свѣтлую полосу, протянувшуюся отъ фонаря надъ дверями подъѣзда.

Нечего, кажется, пояснять, что подъѣздъ этотъ велъ въ помѣщеніе офиціанта, который отдавалъ въ наймы залу и комнаты для всѣхъ желающихъ имѣть парадный залъ послѣ вѣнчанья или послѣ похоронъ, если только квартира молодыхъ или покойника не приспособлена къ такого рода пиршествамъ, иначе сказать, не довольно помѣстительна для гостей.

Не раньше одиннадцати часовъ вечера, Пулькинъ и Леля были встрѣчены горничной Дуней и голосомъ тети Мароы Сергѣевны:

— Какими судьбами?

Леля разсказала тётѣ свои приключенія, побѣжала къ Матильдѣ, велѣла поставить самоваръ, и затѣмъ вернувшись въ столовую, зажгла свѣчу и прошла въ свою комнату.

Пулькинъ хотѣлъ за ней послѣдовать, но свѣча, приподнятая ручкой Лели, освѣтила портретъ ея отца, и глаза этого покойника встрѣтились съ глазами Пулькина. Онъ вернулся и сѣлъ на диванъ.

Леля немножко изумилась, отчего Пулькинъ вдругъ сдѣлался такимъ несмѣлымъ, но она подошла къ зеркалу, поправила свои, совершенно отъ сырости распустившіеся волосы, и поглядѣла на лице свое: такое ли оно послѣ поцѣлуевъ Пулькина, какимъ было и до поцѣлуевъ?

На свадебной же пирушкѣ Умекова, въ квартирѣ Тарасенко, собралось тоже немало гостей; и въ то время, когда Пулькинъ и Леля, блуждая въ туманѣ, искали ихъ, тамъ бренчало старое фортепіано, пѣлись малороссійскія пѣсни, плясался казачекъ, даже трепакъ съ разными присѣданьями и выкрутасами. Пили кто чай, кто пиво; шли

политическія и неполитическія бесѣды, и немало, между прочимъ, говорилось объ отсутствіи Лели и Пулькина. Никто не могъ понять, отчего они не пріѣхали.

— Да кто такой этотъ Пулькинъ? спрашивали Умекова.

— Да ничего... такъ себѣ, добрый малый,—отвѣчалъ Умековъ.

— Чортъ знаетъ, какихъ людей напускаемъ мы въ свое общество! сердился юноша съ еврейскимъ типомъ лица.

— Да кто его знаетъ!

Умековъ больше всѣхъ безпокоился объ отсутствіи Лели; послѣ ужина онъ хотѣлъ ѣхать на квартиру къ Пулькину и узнать отъ него, что это значитъ? Но его не пустила Маша.

— Какое тебѣ до нихъ дѣло? сказала она ему. Оставь ихъ! Они просто куда нибудь заѣхали и объ насъ забыли. Ей, можетъ, и не до насъ теперь!

Умековъ понялъ намекъ своей молодой супруги и слегка насупился. Онъ уже зналъ, что Маша ни къ кому его такъ не ревновала, какъ къ этой Лелѣ, и всегда отзывалась о ней съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ.

XXI.

Къ двѣнадцати часамъ ночи туманъ поднялся вверхъ и заволокъ все небо; но тотъ туманъ, который засѣлъ въ головѣ Пулькина, а отчасти и въ распаленной головкѣ Лели, еще не разсѣялся.

Пулькинъ, вернувшись домой отъ Кроликовыхъ далеко за полночь, долго не могъ еще опомниться. Леля назвала его убійцей отца ея и не подозрѣвала, что это былъ онъ, тотъ самый, который за нѣсколько минутъ такъ страстно цѣловалъ ее. Это слово «убійца» точно гвоздь торчало въ головѣ его. Долго не могъ онъ спать

ни при свѣчѣ, ни безъ свѣчи, и долго ворочался на чужомъ матрацѣ съ подскакивающими пружинами. Даже папиросы, которыя онъ закуривалъ лежа, ему не нравились, и онъ бросалъ ихъ.

«Господи Боже мой!»—думалъ Пулькинъ,—«нужно же было случиться такой оказіи! Нарочно и не сочинишь такой! Я влюбленъ въ дочь, а нахожу деньги, которыя, можетъ быть, отецъ ея готовилъ ей въ приданое.»

«Ну что-жъ, «—продолжалъ думать Пулькинъ,—» я раньше взялъ это приданое. Не все ли равно, раньше или позже? Вѣдь она этого не знаетъ и никогда не узнаетъ! Что же мѣшаетъ мнѣ насладиться ея любовью или сдѣлать ее женой своею при благопріятныхъ обстоятельствахъ! О чемъ же я думаю! Пфу! какой я дуракъ. Изъза такихъ пустяковъ совѣсть грызетъ мемя. Точно я и въ самомъ дѣлѣ умышленно убилъ его. Самъ виноватъ, зачѣмъ на другой же день въ «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ» не напечаталъ объявленія. Я вѣдь нарочно... нарочно пошелъ заглянуть, нѣтъ ли чего въ «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ» — и ничего! Чѣмъ же я виноватъ? Гмъ! чуть было не признался! Вотъ бы одолжилъ, нечего сказать! Одолжилъ бы, отравилъ бы ея сердце и самъ бы отъ этого ничего не выигралъ... Э! не стоитъ объ этомъ и думать.»

Пулькинъ энергически завернулся въ свое одѣяло, отвернулся къ стѣнкѣ, рѣшившись заснуть во что бы то ни стало; но заснулъ не скоро и заснулъ, мечтая, что Леля уже жена его и что вотъ-вотъ она сейчасъ подойдетъ и разбудитъ его своими поцѣлуями. Послѣ нравственной подавленности и борьбы съ совѣстью наяву, чувственный человѣкъ проснулся въ немъ въ состояніи полусна, когда уже голова его какъ бы отказывалась думать, а фантазія создавала самые плѣнительные образы, какъ бы для того, чтобы дразнить его.

Леля тоже не спала чуть ли не до четырехъ часовъ ночи. Сначала она разговаривала со своей тетей, которая почему-то не легла, не смотря на поздній часъ ночи, и пришла посидѣть на ея кровати. Пожилой, многоопытной тетѣ что-то не вѣрилось, чтобы *они* такъ долго блуждали по городу. Вѣрно, куда-нибудь заѣзжали—или къ нему на квартиру, или въ гостиницу. Вѣрно, что-нибудь да было. У него такое разстроенное, озабоченное лицо, точно совѣсть его мучаетъ. Никогда еще такимъ блѣднымъ я его не видѣла. Ей, конечно, нипочемъ! Влюбленнымъ дурочкамъ все нипочемъ!

— Ну что, какова у него квартира-то? А? хитрила Марѳа Сергѣевна.

— Не знаю, тетя, я не была,—отвѣчала Леля, немножко удивясь ея вопросу и думая про себя:—а что? вѣдь онъ могъ бы завезти меня къ себѣ; неужели бы я заупрямилась и не пошла къ нему! Нѣтъ, онъ слишкомъ деликатенъ, чтобъ рѣшиться тотчасъ же приглашать меня, и въ такое позднее время! Нѣтъ!

— Что это тебѣ вздумалось вообразить, тетя! Какая ты странная!

— Я ничего... я... такъ... я такъ только.

— Ну, была бы у него, такъ бы тебѣ и сказала! Ты думаешь, я тебя боюсь? ни-чуточки не боюсь... А нѣтъ ли у тебя спирту или одеколону? ногъ до сихъ поръ никакъ согрѣть не могу...

Ясные глаза и спокойный голосъ Лели убѣдили, наконецъ, старуху въ неосновательности ея подозрѣній.

— Кажется, есть, — одеколону хватитъ; только мнѣ странно, Леля, отчего онъ не высказалъ тебѣ яснѣе своихъ намѣреній? Ну, жениться онъ хочетъ... ну, хорошо— жениться! А когда? къ Троицыну дню или послѣ Петрова, или осенью? Такъ надо и готовиться...

— А! это ты о платьѣ подвѣнечномъ? Что-жъ тутъ готовиться: въ три дня сошьютъ.

— Да не объ одномъ платьѣ. Бѣлье у тебя все износилось, надо объ этомъ подумать. Да и мало ли что! Нельзя же такъ, матушка ты моя! Тяпъ-да-ляпъ!

— Э! ты это по старинѣ, тетя... Это въ старину такъ приданое готовили... А не все ли равно, послѣ свадьбы купить или сдѣлать что-нибудь, (если деньги будутъ), или до свадьбы? Пожалуйста, ты не хлопочи обо мнѣ. Я и сама о себѣ похлопочу, коли нужно будетъ.

— Я что-жъ! я ничего; какъ ты хочешь, такъ и поступай.

Леля закрыла глаза, Кроликова потупилась.

— Ахъ! какіе дураки эти мужчины! вдругъ воскликнула старуха послѣ нѣкотораго молчанія, и Богъ знаетъ вслѣдствіе какихъ мысленныхъ комбинацій въ головѣ ея. И она вцѣпилась своими долгопалыми, жесткими руками въ свои собственныя худенькія колѣни, прикрытыя бумазейной юбкой, изъ-подъ которой выставлялись на свѣтъ чулки и башмаки.

— Ну да, тетя, дураки! Ужасные дураки эти мужчины! Только мнѣ хочется спать, такъ вотъ глаза и слипаются. Погаси, пожалуйста, свѣчу, когда ты спать пойдешь... Мнѣ лѣнь!

— Такъ ты невѣста, Леля?

— Да... кажется...

— Ну, поздравляю...

И старуха нагнулась, чтобы обнять и поцѣловать ее. Леля раскрыла глаза, обѣими руками по-дѣтски ухватила ее за шею и стала отвѣчать ей порывистыми, торопливыми поцѣлуями.

Наконецъ, Мароа Сергѣевна высвободилась изъ ея объятій, задула свѣчу и вышла, впотьмахъ ощупывая двери.

Она уже ни въ чемъ не подозрѣвала Лелю, хотя это подозрѣніе было въ связи съ какимъ-то дурнымъ сномъ, который она видѣла про свою племянницу. Она была такъ же суевѣрна, какъ и ни во что невѣрующій сынъ ея. Снамъ она вѣрила.

Леля снамъ не вѣрила, но странная перемѣна въ тонѣ голоса и даже въ обращеніи съ нею Пулькина послѣ того, какъ она разсказала ему о смерти брата и о смерти отца, не ускользнула отъ чуткости ея молодаго сердца.

«Можетъ быть, думала Леля, я такъ дурно вела себя, что онъ во мнѣ разочаровался. Э, подумалъ, вотъ она какая! Сразу готова и душой и тѣломъ! Можетъ быть, я навела на него грустныя мысли или меланхолію своими разсказами о похоронахъ и смерти отца, и онъ подумалъ: вотъ жизнь! стоитъ ли она того, чтобъ ею увлекаться да мечтать о какомъ-то счастьѣ. Можетъ быть, и у меня будетъ сынъ... можетъ быть, и онъ умретъ!... Ахъ, какая я дура! какая дура! очень мнѣ нужно было его тревожить! Можетъ быть, онъ просто чувствовалъ себя виноватымъ, что не разспросилъ какъ слѣдуетъ объ адресѣ этого Тарасенко, и Богъ знаетъ, куда-то, на чужую свадьбу завезъ меня! Или—уже я не знаю что!»

И Леля, у которой при тетѣ глаза слипались, долго не могла заснуть, долго слушала, какъ за стѣной храпитъ Матильда, и думала объ ея участи; слушала, какъ мышенокъ или большой черный тараканъ шелеститъ въ потьмахъ какой-то бумажкой, и думала: «а что, если это душа моего папаши?...» Не вѣрить въ существованіе духовъ и вдругъ, ночью, вообразить себѣ ихъ таинственное присутствіе—двѣ вещи, нерѣдко совмѣстимыя въ одномъ и томъ же сложномъ аппаратѣ разумнаго существа, называющагося существомъ человѣческимъ.

Однимъ словомъ, Леля заснула не раньше Пулькина и также фантазировала, только съ тою разницею, что Пуль-

кинъ не какъ мужъ въ полуснѣ представлялся ей, а какъ нѣкій полубогъ, который уносилъ ее въ царство музыки, такой музыки, отъ которой духъ захватываетъ, сердце перестаетъ биться и забывается все на свѣтѣ.

О своихъ озябшихъ ножкахъ, разумѣется, она точно также забыла, какъ и тетя ея о спиртѣ и одеколонѣ.

XXII.

Оттого ли, что Пулькинъ все еще чувствовалъ себя какъ бы похитителемъ денегъ, принадлежащихъ Лелѣ, какъ наслѣдницѣ своего папеньки, или отъ желанія пофанфаронить, пощеголять своею щедростью, или оттого и другого въ совокупности — онъ, въ одно прекрасное утро, позвалъ своего Николашку, вручилъ ему нѣчто завернутое въ бумагу, крестообразно перевязанное розовой и въ двухъ мѣстахъ сургучемъ припечатанной ленточкой, и велѣлъ ему отнести на Знаменскую, туда же, куда онъ относилъ письмо, передать по адресу и дождаться отвѣта.

Посылка эта состояла изъ маленькаго, китайскаго ящичка съ ключикомъ, купленнаго у «Рабонъ» въ кондитерской. Въ ящичекъ же этотъ былъ положенъ золотой браслетъ съ брилліантами, 500 рублей, или пять радужныхъ, и письмо, съ просьбою принять это приношеніе во имя любви и будущихъ, неразрывныхъ узъ.

Николашка отправился на Знаменскую, Пулькинъ же— въ департаментъ, гдѣ ожидала его важная новость.

Его причислили къ министерству и назначили исправляющимъ должность секретаря того отдѣленія, которымъ управлялъ Савишинъ, съ мѣсячнымъ жалованьемъ въ 120 рублей.

Пулькинъ показалъ видъ, будто онъ не только озадаченъ, но и сконфуженъ. Нечего и говорить о томъ, у

сколькихъ изъ числа его сослуживцевъ въ этотъ день зародилась болѣзнь печени, разстроилось пищевареніе, и какими при этомъ эпитетами угощали его тѣ, которые на это мѣсто надѣялись. Мѣсто само-по-себѣ неважное, ничуть не выше столоначальническаго, но болѣе важное по своимъ послѣдствіямъ. Пулькинъ очень легко могъ, со временемъ, сѣсть на мѣсто Савишина—и затѣмъ идти все выше и выше.

Пулькинъ тотчасъ же отправился въ отдѣленіе къ Дмитрію Ѳедоровичу—благодарить его.

— Съ завтрашняго дня, г-нъ Пулькинъ, вы примете дѣла и ознакомитесь съ новымъ характеромъ вашей служебной дѣятельности. Не мѣшаетъ вамъ кое-что перечитать или пересмотрѣть и исправить упущенія, сдѣланныя вашимъ предмѣстникомъ,—начальническимъ тономъ, т. е. повелительно-любезнымъ, проговорилъ Савишинъ, выпячивая впередъ грудь и строгими глазами поглядывая на Пулькина.

Пулькинъ не могъ не почувствовать, что отношенія его къ Савишину перемѣнились; но не могъ онъ и не подумать, что эти отношенія тотчасъ же примутъ другой тонъ и окрасятся въ болѣе нѣжныя краски, если только онъ, Пулькинъ, опять заплатитъ чьи-нибудь долги или черезъ Савишина внесетъ какую нибудь значительную сумму денегъ въ одно изъ учрежденій, покровительствуемыхъ Клеопатрой Антоновной.

Изъ департамента, часу въ шестомъ, прежде чѣмъ отправиться обѣдать, онъ побѣжалъ домой узнать отъ Николашки, есть ли отвѣтъ отъ Лели. Онъ нетерпѣливо ожидалъ этого отвѣта, такъ какъ отвѣтъ этотъ долженъ былъ польстить его самолюбію.

— Есть письмо? Принесъ? спросилъ онъ Николашку, сбрасывая пальто.

— У васъ на столѣ... отвѣчалъ Николашка, слегка

кривя губы и какъ бы улыбаясь. Онъ уже узналъ отъ людей Кроликова, что баринъ его женится на ихней барышнѣ.

— На, возьми себѣ на чай три рубля и поздравь меня съ повышеніемъ!

Николашка не успѣлъ его поздравить, какъ уже Пулькинъ былъ у себя въ спальнѣ, передъ письменнымъ столомъ, и торопливо распечаталъ первое попавшееся ему подъ руку письмо; срывая конвертъ, онъ и не замѣтилъ, что это письмо съ пятикопѣечной маркой, т. е. послано ему по городской почтѣ.

Трудно себѣ и вообразить, какъ вытянулось, покраснѣло и поблѣднѣло лицо счастливца Пулькина, когда глаза его забѣгали по строчкамъ слѣдующаго содержанія:

«Милостивый Государь
господинъ Пулькинъ,

«Знайте, что Леля принадлежала и принадлежитъ другому и что этотъ другой вамъ ее не уступитъ, а потому, если вы не перестанете за ней ухаживать, если даже будете навѣщать ее—то берегитесь! Вамъ не сдобровать! Одной глупой башкой на свѣтѣ будетъ меньше!! Не зачѣмъ вамъ знать — кто написалъ эти строки. Будьте и безъ подписи довольны моею откровенностью и моимъ предостереженіемъ. Аминь.»

«Что это такое?» подумалъ Пулькинъ:— «Это письмо онъ мнѣ въ отвѣтъ принесъ!? Это... значитъ... гдѣ же это было писано? Неужели въ ея присутствіи, съ ея позволенія?... А гдѣ же браслетъ? гдѣ деньги?!...»

У Пулькина закружилась голова—онъ чуть не упалъ.

— Николай! крикнулъ онъ во все горло.

Николай вбѣжалъ.

— Это письмо ты принесъ? Кто далъ тебѣ это письмо?

— Мнѣ дѣвушка вынесла.

— Нѣтъ! это невозможно... это надо сегодня же выяснить! Дай мнѣ стаканъ холодной воды!

Пулькинъ прошелся по комнатѣ, сѣлъ на кресло и опять крикнулъ:

— Николай!

Никто ему не откликнулся. Николай пошелъ въ кухню къ сосѣдямъ добывать въ графинъ свѣжую воду.

— Это... это Стихаревъ... кому же больше? Это видно и по грубому тону... и по всему... Но неужели, она дала ему право ревновать и такъ оскорблять меня! Можетъ ли это быть, чтобъ Леля—эта честная Леля, могла принадлежать ему!.. Николай!

Николай вошелъ съ подносикомъ, на которомъ стояли графинъ съ водой и стаканъ. Пулькинъ залпомъ выпилъ стаканъ воды и поглядѣлъ на Николашку.

— Да ты тамъ ли былъ? А? Не на улицѣ ли кто-нибудь это письмо всучилъ тебѣ? А?

Николай въ это время ставилъ графинъ на столъ и тотчасъ же замѣтилъ, что письмо, которое онъ принесъ, лежитъ на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ положилъ его—на табачномъ ящикѣ, и взявъ его въ руки, увидѣлъ, что оно еще не распечатано.

— Да вѣдь, я жъ это самое письмо принесъ! произнесъ онъ съ неудовольствіемъ.—Какъ дѣвушка мнѣ его принесла на кухню, такъ я и понесъ его... что вы, баринъ?!

Не получи Николка трехъ рублей, онъ бы непремѣнно сталъ ворчать. Всякіе разспросы, намекающіе на его нерасторопность, бѣсили этого безкровнаго человѣка съ лягушечьимъ профилемъ.

Пулькинъ изумился и просіялъ. На конвертѣ онъ узналъ руку Лели.

— Ну... хорошо... извини, я не видѣлъ, попалось другое письмо. Не видѣлъ! Убирайся!

Николка вышелъ.

Но прежде, чѣмъ раскрыть письмо, Пулькинъ подумалъ: «а что, если и она подтверждаетъ то же, что написано этимъ... этимъ... ну, Стихаревымъ... ну, я не знаю— кѣмъ. Дескать принадлежала, принадлежу, но люблю васъ и вы можете на мнѣ жениться...»

Онъ, не безъ трепета въ рукахъ, вытащилъ письмо изъ конверта и сталъ читать.

«Милый мой Александръ Васильевичъ!

«Я понимаю, что Вамъ хочется побаловать меня, какъ ребенка. Это естественно, и я душевно и сердечно благодарю Васъ и за подарокъ, и за деньги. Но извините, если я, при первомъ же свиданіи, возвращу Вамъ ваши 500 рублей. Надѣюсь, Вы за это на меня не разсердитесь! Браслетъ Вашъ я могу воротить Вамъ, если Вы меня разлюбите, или найдете, что я не могу, какъ жена, составить вашего счастья. Деньги же я могу растратить— и Вы совершенно даромъ ихъ потеряете. Приходите къ намъ. Жду васъ. До свиданья.

На вѣки ваша Леля».

«Нѣтъ! эта честная душа не можетъ меня обманывать!» подумалъ Пулькинъ, «и тотъ, кто написалъ мнѣ то скверное письмо — клеветникъ! И я... я его, конечно, выведу на чистую воду... Онъ думаетъ, я спрячу его письмо, да такъ никому и не покажу его — нѣтъ, это дудки!.. А если онъ изъ-за угла да на меня накинется... я тоже ему спуску не дамъ... Гмъ! Завтра же гуттаперчевую трость куплю»...

Затѣмъ, Пулькинъ опять принялся за чтеніе письма Лели—оно дѣйствовало на него успокоительно, какъ чистое лампадное масло послѣ мушки. Не будь Пулькинъ влюбленъ,—на сколько онъ могъ быть влюбленъ,—можетъ быть, по поводу отказа Лели принять отъ него деньги,

онъ бы еще и могъ подумать: «ну, была бы честь предложена, а отъ убытка Богъ избавилъ!» Но Пулькину на этотъ разъ даже и въ голову не пришло этой фразы — такъ онъ былъ отчасти тронутъ, отчасти опечаленъ.

Да, опечаленъ! Прошу покорно послѣ этого жениться на такой особѣ, или снять передъ ней ту маску, выгоды которой очевидны—такъ очевидны, что для Пулькина въ этомъ не оставалось уже ни малѣйшаго сомнѣнія. Не носи онъ этой маски, Любина не дала бы ему и 25 рублей. Лиза съ нимъ бы не кокетничала. Савишинъ и не подумалъ бы о немъ при открывшейся вакансіи. Снять эту маску — значитъ все потерять, всю свою будущую карьеру, все то общественное положеніе, которое формировалось вокругъ него, и, разумѣется, потерять всякое уваженіе Лели. Пока Леля носитъ имя Затаиловой, онъ еще можетъ такъ или иначе маскировать себя, но когда эта самая Леля будетъ носить имя Пулькиной, маска окажется невозможной и рано или поздно она разглядитъ его. «Я не хуже другихъ,» размышлялъ Пулькинъ, «и былъ бы счастливъ, если бы могъ думать... Да, я даже не хуже Лели—и она любитъ деньги, и она пользуется случаемъ имѣть возможность накупить себѣ цѣлую кучу новомодныхъ тряпокъ и проч. и проч. Вотъ Лиза—та бы не только мнѣ простила, но, можетъ быть, была бы даже довольна моимъ поведеніемъ. «Успѣхъ все оправдываетъ»— вотъ подлинныя слова ея... все оправдываетъ! да! И мои бы успѣхи могли ее радовать, тогда какъ эти же самые успѣхи, чего добраго, отвратятъ отъ меня этого милаго ребенка Лелю... Странно сложилась судьба моя — но что будетъ, то будетъ! Буду плыть по теченію, можетъ быть и недурно плыть по теченію.»

XXIII.

Пулькинъ съ тѣхъ поръ, какъ занялъ деньги у Любиной, почти цѣлую недѣлю не показывался у нея въ гостиной.

Любина думала: «онъ прислалъ мнѣ лишніе 25 рублей, которые я передала ему; онъ премилое письмо при этомъ написалъ мнѣ, но онъ очень хорошо дѣлаетъ, что къ намъ не является. Лиза моя на себя непохожа — она желта, раздражительна... она, какъ кажется, не шутя влюблена въ него... Пулькинъ это, конечно, замѣтилъ и не является... Онъ поступаетъ умно и благородно... я его понимаю. Къ тому же, теперь ему пока не до насъ, онъ долженъ жениться.» Но Любина и тутъ хитрила съ своей дочерью. Она жаловалась, что Пулькинъ опять забылъ ихъ, и чтобъ еще больше уронить его въ глазахъ ея, призналась ей, что Пулькинъ пересталъ къ ней ходить съ тѣхъ поръ, какъ занялъ у ней три тысячи четыреста рублей.

Но результатомъ этого признанія вышло далеко не то, чего ожидала маменька. Дочка засмѣялась — засмѣялась какимъ-то нервно-веселымъ смѣхомъ.

— Какъ, мама! онъ могъ занять у тебя три тысячи!

— Три тысячи четыреста!

— Ну, если онъ три тысячи да еще четыреста могъ у тебя занять, то онъ просто великій человѣкъ...

— Это почему?

— Просто великій человѣкъ! Чего этотъ человѣкъ не достигнетъ, если онъ могъ, въ какой нибудь часъ времени, заставить тебя пойти и принести ему деньги!... И такой человѣкъ будетъ мужемъ Лели!... Стоитъ-ли она его! Отъ этой... отъ одной этой мысли я съ ума сойду!...

«Въ кого это она уродилась!» подумала про себя несчастная Анна Петровна и къ небу возвела глаза свои.

Но не сознавала Анна Петровна, до какой степени она, какъ мать, страшно непослѣдовательно вела себя по отношенію къ дочери. Вдругъ начинала какъ-бы поощрять ее кокетничать съ Пулькинымъ и, повидимому, совершенно стала раздѣлять ея планы и сочувствовать ея страсти; затѣмъ, вдругъ натянула поводья и стала упрекать ее въ поведеніи, недостойномъ фамиліи Любиныхъ!

Однимъ словомъ, Анна Петровна, какъ и всегда помышляла и дѣйствовала такъ, какъ Господь пошлетъ ей на душу. Впрочемъ, Господь Богъ тутъ былъ непричемъ—между божественной истиной и ея душей ничего не было общаго. Она была генеральской дочкой, вышла замужъ за генерала, никакихъ житейскихъ бурь и треволненій не испытала, и постоянно жаловалась на эти бури и треволненія только потому, что малѣйшій вѣтерокъ гнулъ ее на всѣ стороны.

Никто такъ хорошо не зналъ ее, какъ Дыминъ. Въ продолженіе своего десятилѣтняго знакомства съ нимъ, она была не разъ самой пламенной его поклонницей и самымъ искреннимъ другомъ; потомъ считала его чуть-ли не злѣйшимъ врагомъ своимъ, потомъ — опять другомъ. Было время, когда она думала, что Дыминъ втайнѣ влюбленъ въ нее и страдаетъ; было время, когда ей воображалось, что Дыминъ ей измѣнилъ, возненавидѣлъ и волочится за ея дочерью Лизой—и волочится не по любви, а съ самыми своекорыстными цѣлями... Иногда она говорила своей дочери: «Вѣрь Андрею Петровичу, т. е. Дымину,—это возвышенная, христіанская душа!» Иногда, напротивъ, сердилась, зачѣмъ она такъ долго съ нимъ о чемъ-то бесѣдуетъ. «Нашла съ кѣмъ откровенничать! Очень нужно.»

Лиза, какъ я разъ уже замѣтилъ, была умнѣе ма-

тери, гораздо послѣдовательнѣе въ образѣ своихъ мыслей и настойчивѣе. Вотъ почему Аннѣ Петровнѣ было почти не по силамъ ладить съ ней.

Послѣдній разговоръ Лизы съ Дыминымъ произвелъ на Лизу озадачивающее впечатлѣніе. Хоть она и разсердилась, хоть она и ушла, не простившись съ нимъ,— но прежде чѣмъ лечь спать, цѣлый часъ сидѣла и думала:

«Ничего не будетъ, если я не стану дѣйствовать— ничего! Онъ женится на этой Лелѣ и тогда—тогда все кончено!! Не правъ-ли этотъ Дыминъ, что, безъ его совѣта и помощи, я не только не выйду замужъ за того, кого люблю, а останусь старой дѣвой. Онъ самолюбивъ, все видитъ, насквозь все видитъ, читаетъ въ душѣ моей и его оскорбляетъ моя скрытность, тогда какъ... моя откровенность съ нимъ могла бы быть полезной мнѣ. Съ другой стороны, этотъ человѣкъ можетъ повредить мнѣ, если захочетъ!... это чортъ!... Но на кого это онъ намекалъ, кого это я заставляла страдать? Пулькина, пока не увлекла его эта Леля — или его?... Я съ нимъ тоже когда-то кокетничала... отъ скуки... онъ даже мнѣ когда-то нравился... но... не замѣтно, чтобъ онъ ревновалъ меня къ Пулькину. Зачѣмъ-же я упрекнула его въ ревности!... Онъ просто чувствуетъ ко мнѣ симпатію, дружбу, и ему досадно, что я не какъ съ другомъ дома, а какъ съ чужимъ, съ постороннимъ обращаюсь съ нимъ. Нѣтъ, Дыминъ одинъ можетъ быть моимъ руководителемъ—что онъ мнѣ посовѣтуетъ, то я и сдѣлаю!... Посовѣтуетъ мнѣ первой написать ему письмо—напишу! Посовѣтуетъ назначить ему свиданіе—назначу! А что, если онъ посовѣтуетъ мнѣ о немъ не думать?... Нѣтъ, нѣтъ! Это выше силъ моихъ!...

XXIV.

Какъ-то Карлъ Ивановичъ Шталь зашелъ къ Любиной и узналъ отъ нея, что Леля на-дняхъ выходитъ, или должна выйти за Пулькина. На это онъ не сказалъ ни слова. Онъ только спросилъ ее:

— А вы, почтеннѣйшая, выдали бы свою дочь за этого пистолета—Пулькина?

— Я бы ее не выдала, хоть онъ и богатъ теперь... Но развѣ въ настоящее время матери выдаютъ замужъ дочерей? Развѣ теперь дочери уважаютъ совѣты матерей? Вздумается моей Лизѣ выйти замужъ за квартальнаго надзирателя или за купца, развѣ я слажу съ ней?! Не говорите мнѣ, ради Бога, не говорите о теперешнихъ молодыхъ дѣвушкахъ! горячо заговорила Анна Петровна, до того горячо, что у ней, сквозь слой тончайшей пудры, пробился румянецъ и окрасилъ собой ея негодующее, помятое личико.

— Не волнуйтесь, пожалуйста... Я для того только спросилъ васъ объ этомъ, чтобъ знать ваше мнѣніе. Я бы тоже не выдалъ замужъ за Пулькина ни дочери моего закадычнаго друга, ни своей дочери:—онъ неучъ, какъ кажется, и фатъ. Не понимаю, что Леля могла найти въ немъ? Я дорого бы далъ, чтобъ это дѣло разстроить!

— Ахъ, нѣтъ, Карлъ Ивановичъ! Надо и то сообразить, что Леля такъ окружена, такъ скверно окружена какимъ-то обществомъ, непризнающимъ ни божескихъ, ни человѣческихъ законовъ, что, право, если бы не только Пулькинъ, если бы даже просто какой-нибудь писарь, если только онъ не пьяница и человѣкъ сколько нибудь порядочный, на ней женился,—онъ бы спасъ ее... Какъ вы этого не понимаете!...

— Но... позвольте... почтеннѣйшая,—мнѣ вѣдь нѣсколько лучше знать, кѣмъ окружена эта Леля... Право, далеко не такъ страшно, какъ это вамъ кажется! Ну, нравы, можетъ быть, нѣсколько вольнѣе; кой-какія мнѣнія, такъ сказать, своеобразнѣе или нелѣпѣе,—вотъ и все...

— Ахъ! вы не знаете!...

— Да и вы не знаете, почтеннѣйшая...

— Ну, я съ вами не спорю! съ какимъ-то утомленіемъ въ голосѣ или съ вынужденной покорностью сказала Анна Петровна, откинулась на задокъ своей кушетки, томно опустила глаза и приложила къ носу скляночку съ эфиромъ.

Сенаторъ тоже всѣмъ туловищемъ откинулся на спинку креселъ, помолчалъ немного, и, чтобъ перемѣнить непріятный разговоръ, сказалъ ей:

— Ахъ, вотъ что, почтеннѣйшая! Кто это снималъ съ васъ портретъ?... Такая широкая кисть и такое сходство!...

— Портретъ?... Какой портретъ? Гдѣ вы его видѣли?...

И Анна Петровна съ какимъ-то злымъ, ядовитымъ недовѣріемъ поглядѣла на своего сановитаго гостя.

— Какъ гдѣ?... Да его всѣ видятъ! онъ на выставкѣ стоитъ—въ академіи! Ну-съ, вы, я думаю, знаете, что въ живописи, не то что въ музыкѣ, я кой-что маракую... ну, и полагаю, что съ такимъ портретомъ — можно поздравить васъ, почтеннѣйшая! Двѣ капли воды... и свѣтъ брошенъ съ эфектомъ... Вы меня одолжите, если напомните фамилію этого портретиста, я его рекомендую въ одинъ домъ.

Анна Петровна вся съ головы до ногъ похолодѣла... Она сама даже испугалась,—подумала, что ее хватитъ ударъ, что она упадетъ и уже не встанетъ.

— На вы—ста—вкѣ! протянула она:—Я—гмъ! не... зн—а—ла!...

Анна Петровна приподнялась на одну руку, какъ разслабленная.

— Карлъ Ивановичъ, отъ васъ близко столикъ,—позвоните, пожалуйста!

Сенаторъ повернулъ свою шею, отыскалъ колокольчикъ и позвонилъ. Вошла горничная.

— Подай мнѣ склянку съ каплями, у меня на ночномъ столикѣ... и рюмочку съ водой... Извините, Карлъ Ивановичъ... у меня вдругъ закружилась голова... не знаю отчего.

— Что съ вами?

Анна Петровна приложила руку къ груди, и, судя по лицу ея, дѣйствительно казалось, что ее что-то душитъ.

Карлъ Ивановичъ выразилъ на лицѣ своемъ нѣчто въ родѣ состраданія.

— Давно это съ вами, почтеннѣйшая?...

Горничная подала склянку и рюмку съ водой...

— Накапайте мнѣ 10 капель... Карлъ Ивановичъ... Я не могу... А гдѣ Лиза? обратилась она къ горничной.

— Онѣ въ столовой съ г. Дыминымъ.

— Съ Дыминымъ?... Позови ее... Благодарю васъ, Карлъ Ивановичъ! Очень благодарна вамъ.

Любина понюхала рюмку и выпила капли. Горничная вышла.

— Такъ вы находите... что... что этотъ уродъ, эта шестидесятилѣтняя карга на меня похожа, какъ двѣ капли воды?!... А!... я этого не знала!... Я думала, что мнѣ еще далеко до шестидесяти... хоть я и знаю, что уже въ мои годы не плѣняютъ... это я знаю!...

Карлъ Ивановичъ понялъ, отчего у Анны Петровны чуть-чуть не сдѣлалась истерика. Но онъ не смутился,—напротивъ, это его даже нѣсколько позабавило!

*

— Вы ошибаетесь, почтеннѣйшая! Всѣ, кто видѣлъ вашъ портретъ—я тамъ встрѣтилъ и княгиню Чихачеву съ мужемъ, и Потанина, и вашего знакомаго со стекляшкомъ въ глазу—всѣ въ одинъ голосъ находятъ, что портретъ удивительный, и нисколько, смѣю васъ въ этомъ увѣрить, почтеннѣйшая, нисколько не старше вашихъ лѣтъ.

— Положимъ... двѣ капли воды... Богъ съ вами! но... какое право имѣлъ онъ, этотъ Смаковъ, выставлять мой портретъ, не спросивъ на то моего дозволенія... какое онъ имѣлъ право? Вотъ что меня возмущаетъ, вотъ что ужасно!.. Лиза... Гдѣ Андрей Петровичъ?

— Онъ здѣсь, мама.

— Вы здѣсь, другъ мой, Андрей Петровичъ! Скажите по совѣсти, имѣлъ ли право этотъ живописецъ... этотъ Смаковъ выставлять предъ публику... какъ бы на позоръ лице мое? Я спрашиваю васъ...

Дыминъ глубокомысленно нахмурился, и какъ бы размышляя, покривилъ свои губы.

— Гмъ!

— Ну что—гмъ! передразнила его Анна Петровна:— я васъ спрашиваю, а вы гримасы строите!

— Если вы этотъ портретъ купили, т. е. заплатили за него деньги, и онъ вашъ собственный, то никакого права... никакого... Онъ долженъ былъ непремѣнно на такую выставку испросить вашего дозволенія...

— Ну, вотъ видите! пробормотала Анна Петровна, обративъ глаза свои на спокойное лице невозмутимаго Шталя.

— Какъ же это онъ такъ, заговорилъ Шталь,—не спросилъ на то вашего позволенія! Это, конечно, неделикатно. Но я ничего и не говорю съ вами на счетъ поступка — деликатенъ онъ или неделикатенъ. Я, почтеннѣйшая, и не вдавался въ подобнаго рода размышленія...

Я только говорю, что портретъ похожъ и сдѣланъ весьма недурно! У насъ такъ мало хорошихъ портретистовъ, что я очень радъ, что есть какой-то Смаковъ, который можетъ очень хорошо писать женскія лица.

— Андрей Петровичъ, я васъ очень прошу, очень, очень—сдѣлайте это для меня! умоляющимъ голосомъ обратилась бѣдная Анна Петровна къ Дымину:—велите прибрать этотъ портретъ съ выставки. Я вамъ это поручаю.

— Непремѣнно! отозвался Дыминъ:—Зачѣмъ ему тамъ быть, если вы этого не желаете! А если вы еще не успѣли какъ-нибудь за него заплатить, то не позволите ли мнѣ—я внесу ему сполна всѣ деньги; а портретъ этотъ или привезу къ вамъ, или оставлю у себя, какъ вамъ, заблагоразсудится.

— Нѣтъ... привезите его ко мнѣ—этотъ chef-d'oeuvre кисти г-на Смакова!.. и если что нужно приплатить, заплатите—я съ благодарностью тотчасъ же возвращу вамъ деньги... Не такъ ли, другъ мой, Андрей Петровичъ?

— Непремѣнно! тѣмъ же тономъ отозвался Дыминъ и вмѣстѣ съ Лизой вышелъ въ гостиную.

— Понимаете, какой я есмь человѣкъ, Лизавета Михайловна?

— Нѣтъ, а что?

— Я могъ бы сію минуту... понимаете, что бы я могъ сію минуту сдѣлать?

— Нѣтъ...

— Я могъ бы такую штуку соорудить, что maman ваша до такой степени разгнѣвалась бы на Пулькина, что не велѣла бы его принимать къ себѣ, или такъ приняла бы его, что другой разъ онъ на пушечный выстрѣлъ не захотѣлъ бы къ вашему дому ни подойти, ни подъѣхать!

— Право? Почему же?

— А потому, что этотъ Пулькинъ очень хорошо зналъ, что портретъ вашей maman будетъ на выставкѣ и не предупредилъ ея! Смаковъ самъ просилъ его увѣдомить ее объ этомъ, а онъ и не увѣдомилъ... Я могъ бы это все сказать и... не сказалъ!

— И хорошо сдѣлали... Александръ Васильевичъ могъ это забыть... а maman, Богъ знаетъ, что бы себѣ вообразила.

— Видите теперь, что все отъ меня зависитъ: скажу такъ—выйдетъ такъ, скажу этакъ—выйдетъ этакъ!

— Ну, пойдемте... Мнѣ еще надо много, много разныхъ соображеній передать вамъ. Пойдемте...

И Лиза взяла его за руку, какъ товарища или какъ наперсника, и потащила его обратно въ столовую, подальше отъ своей маменьки. .

XXV.

Хотя Шталю и не вѣрилось, что Леля на дняхъ выходитъ замужъ (онъ вообще не всегда довѣрялъ словамъ почтеннѣйшей Анны Петровны), но вернувшись домой за часъ до обѣда, долго хмурый и задумчивый похаживалъ онъ у себя въ кабинетѣ, какъ-бы внутренно борясь съ самимъ собою, наконецъ, усѣлся за свой тяжелый, письменный столъ, досталъ листъ почтовый бумаги и сталъ писать:

«Милая Елена Александровна,

«Вы въ правѣ пренебрегать моими совѣтами—я это знаю; но въ правѣ ли Вы отказать мнѣ въ желаніи давать Вамъ эти совѣты, во имя Вашего будущаго спокойствія и счастья? Конечно, каждый изъ насъ счастье понимаетъ по-своему; но какъ-бы Вы его ни понимали, я убѣжденъ, что Вы будете очень несчастны, если на-

вѣки сойдетесь съ человѣкомъ, недостойнымъ Васъ! У всякаго свой вкусъ, и Вамъ, конечно, дѣла нѣтъ до того, нравится или не нравится мнѣ г-нъ Пулькинъ. Но, полагаю, Вы согласитесь со мной, что въ бракѣ наружность играетъ послѣднюю роль, и что красивый фатъ, будь онъ великолѣпнѣе самого Аполлона Бельведерскаго, можетъ наконецъ опротивѣть Вамъ, если Вы разглядите въ немъ человѣка пустого или негодяя. Итакъ, дѣло не въ умныхъ совѣтахъ (которыхъ сердце никогда не слушается, особливо сердце молоденькой дѣвушки), а въ томъ, что я, во имя Вашего покойнаго отца, моей дружбы къ Вамъ, умоляю Васъ, не давайте Вашего слова или согласія Пулькину до тѣхъ поръ, пока мы его не раскусимъ! Золото не боится пробы. Не лжетъ ли онъ и на счетъ своего состоянія и не пользуется ли чужими деньгами? Вотъ все, что я хотѣлъ Вамъ сказать, милая моя Леля! Буду душевно скорбѣть, если письмо мое опоздаетъ или придетъ къ Вамъ некстати, или разсердитъ васъ! Но Богъ съ вами! Прощайте!

«Остаюсь Вашъ К. Шталь.»

Суповая чаша уже стояла на столѣ, и Клара въ столовой дожидалась своего угрюмаго сожителя и господина, когда Шталь позвонилъ, передалъ курьеру запечатанное письмо и велѣлъ отвезти его къ Затаиловой, на Знаменскую.

Молча сѣлъ за столъ сенаторъ, молча ѣлъ и молча запивалъ токайскимъ виномъ вкусно приготовленныя блюда. Клара тожемолчала и поглядывала на него своими черными глазами, въ которыхъ блестѣлъ холодъ, именно холодъ, а не равнодушіе. Равнодушіе не сжимаетъ души, холодъ сжимаетъ. Но Шталь и не думалъ о томъ, какого рода чувства возбуждаетъ онъ въ этой загубленной имъ дѣвушкѣ: онъ былъ давно уже равнодушенъ къ ней, и ея присутствіе также мало его безпокоило, какъ присутствіе стѣнныхъ часовъ или стараго календаря. Знай онъ,

что Леля приметъ его предложеніе, если-бы онъ вздумалъ за нее посвататься; мало того, знай онъ, что Леля согласится жить съ нимъ подъ одной и той же кровлей, онъ безъ всякихъ церемоній вручилъ-бы Кларѣ лишнихъ двадцать тысячъ и сказалъ-бы ей: «я хотѣлъ на васъ жениться, но такъ какъ этого никогда не будетъ, то совѣтую вамъ немедленно уложить ваши вещи и переѣхать въ chambres-garnies, со столомъ и прислугой, чтобъ самой не хлопотать и не заводить хозяйства; а если хотите хозяйничать, то дѣлайте какъ вамъ угодно, почтеннѣйшая! Я не мѣшаю вамъ! Не мѣшайте же и мнѣ.»

Но такого пассажа пока не предвидѣлось. Сенаторъ смутно сознавалъ, что письмо его къ Лелѣ не подѣйствуетъ, что Пулькинъ, если только она влюблена въ него, будетъ предпочтенъ не только ему, но и всѣмъ на свѣтѣ министрамъ и сенаторамъ. Помѣшать ихъ свадьбѣ онъ не видѣлъ никакой возможности—и хандрилъ.

Въ концѣ обѣда человѣкъ подалъ ему письмо и удалился. Сенаторъ поглядѣлъ на почтовую марку, положилъ письмо возлѣ себя на скатерть, доѣлъ пирожное, вытеръ губы салфеткой, столовымъ ножемъ разрѣзалъ конвертъ, приложилъ къ глазамъ пэнсъ-не и принялся читать.

Что-то въ родѣ внутренняго, глухаго хохота послышалось въ широкой груди сенатора, и лице его, если не прояснилось, то, по крайней мѣрѣ, прежняя тѣнь сошла съ него.

— А еще сватается! Гмъ! проговорилъ онъ какъ-бы себѣ подъ носъ.

— Кто? едва слышно и глядя куда-то въ сторону, тоже какъ-бы про себя проговорила Клара.

Сенаторъ поглядѣлъ на нее.

— Вамъ очень хочется знать—кто? Да вотъ тотъ самый пистолетъ, который приходилъ просить вашей милой руки... Навралъ, что у него чуть не 10,000 десятинъ въ

Елецкомъ уѣздѣ! Оказывается, что никакого помѣщика Пулькина въ Елецкомъ уѣздѣ нѣтъ и не было! Оказывастся, что никакого завѣщанія на имя Пулькина въ гражданскій судъ не поступало, и что ни о какой Пулькиной землѣ никто знать не знаетъ и вѣдать не вѣдаетъ! Хорошъ пистолетъ!? Вотъ вы и гнѣвайтесь на меня, почтеннѣйшая, за то, что я отказалъ ему!

При этихъ словахъ, не дожидаясь отвѣта, сенаторъ всталъ со стула и пошелъ въ свой кабинетъ. Клара облокотилась на столъ, повѣсила свою хорошенькую, отцвѣтающую головку и задумалась.

XXVI.

— Слава Богу! сказалъ Пулькинъ, входя въ комнату Лели, которую засталъ за работой у письменнаго столика.

— А! здравствуйте! Что слава Богу?

— Да то, что этого Стихарева нѣтъ у васъ.

— Не сглазьте... онъ уже не былъ у насъ двое сутокъ... Она протянула ему руку; но личико ея было блѣдно и невесело.

Пулькинъ поглядѣлъ ей въ глаза и прижалъ ея тоненькіе пальчики къ губамъ своимъ.

— Отчего вы невеселы?

— Да оттого, что меня безпрестанно сердятъ! Всѣмъ до меня дѣло... всѣмъ! Никто не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на то, что дѣлаютъ другіе; я—исключеніе. Одни колятъ меня намеками, другіе предостерегаютъ, третьи изъ себя выходятъ при одномъ вашемъ имени,—что прикажете дѣлать! Вонъ сенаторъ Шталь—и тотъ...

Пулькинъ навострилъ уши.

— Что сенаторъ Шталь?

— Онъ думаетъ, что вы просите руки моей.

— Ну, такъ что же?

— И проситъ меня, чтобъ я не давала вамъ своего согласія до тѣхъ поръ, пока онъ не узнаетъ, настоящее ли вы золото или фальшивое?

— Пусть узнаётъ! Впрочемъ, я ему никогда не говорилъ и не увѣрялъ, что я золото. Я скорѣй желѣзо, чѣмъ золото. Меня не сломитъ и такому влюбленному кабану, какъ этотъ сенаторъ! Да-съ, ему не сломить меня!

Пулькинъ сталъ горячиться.

— Развѣ я не знаю,—продолжалъ онъ,—отчего онъ такимъ звѣремъ встрѣтилъ меня, когда я пришелъ къ нему за рукописью вашего батюшки, и отчего онъ весь расцвѣлъ, какъ піонъ, когда я сказалъ ему, что всю Святую не видѣлъ васъ? Подъ видомъ какой-то дружбы и покровительства, это животное само имѣетъ на васъ какіе-то виды и злится, что я ему поперекъ дороги сталъ. Посмотрю я, какъ онъ столкнетъ меня съ этой дороги!

Леля еще ни разу не видѣла Пулькина въ такомъ возбужденномъ состояніи; она думала, что онъ великій мастеръ самого себя въ уздѣ держать. Стихаревъ не разъ говорилъ при ней ему дерзости, и Пулькинъ только морщился,—и вдругъ онъ называетъ животнымъ друга отца ея, замѣтно горячится, явно сердится.

— Я не знаю, имѣетъ ли онъ на меня виды или нѣтъ; но онъ просто боится, что я могу обмануться въ васъ.

— Я не знаю, я не читалъ его письма къ вамъ; но, милая Елена... милая, дорогая моя Леля! мнѣ досадно, что вы какъ будто ему вѣрите! А что, если бы я вѣрилъ всякому наглому вздору, который мнѣ на вашъ счетъ пишутъ разные сочинители?!

— Какому вздору?.. что вамъ могутъ про меня писать? Что я часто бывала у Любиныхъ и даже было время, что получала отъ нихъ подарки, такъ это правда: — я была тогда такая подлая! такая дрянная! Сама краснѣю, какъ

это я раньше не разглядѣла ихъ! Если это вамъ пишутъ, то это правда!

— А! если бы это? Хотите прочесть?

Пулькинъ опустилъ руку въ боковой карманъ своего сюртука и какъ-бы не рѣшался извлечь изъ него на Божій свѣтъ то самое письмо, которое онъ приписывалъ Стихареву и которое начиналось словами: «Леля принадлежала и принадлежитъ другому!»

— Покажите, что такое? Очень интересно знать, какъ это заочно бранятъ насъ! пролепетала Леля, ухватившись за ту руку Пулькина, которая тонула въ его боковомъ карманѣ. Она тоже улыбнулась совершенно по-дѣтски, тогда какъ легкая тѣнь грусти пробѣжала у ней по лицу.

Пулькинъ вынулъ записку и отдалъ ей. Леля, опустя глаза, съ бьющимся сердцемъ прочла ее.

— Милая записка!! нечего сказать! проговорила она и отошла къ окну, которое настежъ было отворено. Клевета наглая, самоувѣренная, оскорбительная—для нея, какъ для дѣвушки, какъ для человѣка, до глубины души потрясла ее. Она даже и вообразить себѣ не могла, чтобъ можно было такъ подло играть ее именемъ! Ей было ужасно подумать, что Пулькинъ могъ, прочтя эти строки, хоть одну минуту, хоть одну сотую долю минуты, усомниться въ ней. Она приложила ко лбу свою холодную руку и обернулась.

Пулькинъ стоялъ отъ нея въ двухъ шагахъ, и какъ показалось ей, любовался ея открытой шейкой. Лице его было холодно, карiе глаза горѣли страстью.

— Можете вы мнѣ отдать эту записку? сказала Леля, и протянула къ нему, какъ за подачкой, ту руку, которую отняла отъ головы своей.

— Съ тѣмъ, чтобъ изорвать, — извольте. Если я до сихъ поръ сберегъ ее, то знаете почему? — не потому, чтобъ вамъ ее показать, а для того, что если этотъ

господинъ—Стихаревъ, или я не знаю кто—изъ-за угла камнемъ или ножемъ убьетъ меня, по крайней мѣрѣ, эта записка дастъ возможность полиціи узнать, чья это рука, и притянуть къ отвѣтственности этого негоднаго разбойника. Вотъ для чего я сберегъ эту записку.

— У меня въ рукахъ она не пропадетъ, — это все равно, что у васъ въ карманѣ. Дайте. Я узнаю, кто это, и—если Стихаревъ... Я, я узнаю!

Пулькинъ отдалъ ей пресловутую записку и сказалъ:

— Ну, теперь, Леля, теперь позвольте мнѣ васъ поцѣловать!

— Нѣтъ... нѣтъ!

Пулькинъ подошелъ къ окну и опустилъ штору.

— Ради Бога... одинъ... одинъ поцѣлуй!

Онъ оглянулся на притворенную дверь, обнялъ ее, приподнялъ и прижалъ къ груди своей.

— Ради Бога! прошептала Леля задыхаясь. Погодите, идутъ!

Пулькинъ опустилъ руки. Леля воспользовалась этой минутой, чтобъ быстро отворить дверь, и точно вкопанная стала на порогѣ комнаты.

У дверей передней, противъ нея сидѣлъ Стихаревъ, заложа руку за пазуху, сидѣлъ какъ истуканъ: лице его было блѣдно, какъ полотно, глаза горѣли, какъ у дикаго звѣря.

— А! вырвалось изъ груди остолбенѣвшей дѣвушки.

Затѣмъ она обернулась къ Пулькину и сказала:

— Позвоните, Пулькинъ!

Въ комнатѣ Лели раздался звонъ колокольчика.

— Теперь возьмите вашу шляпу и проводите меня, я пойду съ вами... я... я не буду дома обѣдать! Дуня, это ты?... Подай мнѣ шляпку!...

Пулькинъ сначала ничего не понялъ изъ словъ Лели; но замѣтилъ Стихарева—и сердце его дрогнуло.

— Я нарочно теперь при немъ поцѣлую васъ,—шепнула ему на ухо Леля.

И поцѣлуй ея прозвучалъ при открытыхъ дверяхъ, въ виду у Стихарева. Стихаревъ сидѣлъ какъ прикованный и не двигался. Дуня принесла шляпку.

— Дуня, выпусти насъ... И зачѣмъ ты не запираешь дверей? Мало-ли кто вдругъ можетъ войти...

— Дверь была заперта,—сказала Дуня:—Можно и черезъ кухню войти, кто захочетъ,—добавила она уже въ передней, намекая на то, какимъ путемъ вошелъ Стихаревъ.

Стихаревъ все это слышалъ и не двигался.

— Проводите меня, Александръ Васильевичъ, къ Дицъ... Я теперь убѣждена, что эта записка—его записка,—заговорила Леля, выходя на улицу. Она была въ лихорадкѣ и отъ клеветы, и отъ неожиданныхъ объятій Пулькина, и отъ появленія Стихарева, и отъ какихъ-то ей самой невѣдомыхъ предчувствій.

XXVII.

Человѣческое болото далеко не то, что лягушечье: послѣднее — рай въ сравненіи съ первымъ, такъ какъ еще ни одна лягушка и не думала лопаться изъ-за того, что ей до величины вола хотѣлось бы раздуть себя. Это выдумка людей, потому что люди въ своемъ болотѣ, всѣ почти до единаго надуваются, изъ кожи лѣзутъ, чтобы не быть маленькими, и лопаются, каждый день лопаются!

У Сопѣлкина лопнулъ его непосредственный начальникъ, который его терпѣть не могъ, именно за то, что и въ Сопѣлкинѣ замѣтилъ онъ то же самое поползновеніе къ самонадуванью. До самой Святой недѣли надувалъ онъ себя для того, чтобы получить звѣзду и сравняться съ

однимъ изъ своихъ товарищей; къ этому самонадуванью примѣшалась простуда, и онъ умеръ...

Сопѣлкинъ, который чуть было не подалъ въ отставку,—до такой степени надувающійся начальникъ мѣшалъ или стѣснялъ его,—обрадовался его смерти, хотя и сказалъ: «ну, царство ему небесное!» и перекрестился при этомъ. Служебная жизнь его потекла спокойнѣе, такъ какъ новое начальство повело съ нимъ себя гораздо либеральнѣе: иногда позволяло себѣ шутить съ нимъ, даже нисколько не совѣстилось говорить: «Спасибо вамъ!... Вижу, что вы у насъ работникъ... вижу... вижу!»

И Сопѣлкинъ чуть не заболѣлъ, такъ сталъ надуваться и пыхтѣть за работой. Онъ возмнилъ, что, безъ его трудовъ, канцелярія непремѣнно бы провалилась въ тартарары, все бы пришло въ первобытный хаосъ, и никто бы ничего не нашелъ и не нашелся.

Убѣдившись въ этомъ, онъ былъ довольно счастливъ, но, приходя домой, нерѣдко ропталъ на Пулькина за то, что тотъ заважничалъ, почти что пересталъ навѣщать его.

Не зналъ Сопѣлкинъ, что Пулькинъ тоже въ свою очередь надувается — и надувается довольно счастливо, слыветъ человѣкомъ состоятельнымъ и влюбляетъ въ себя хорошенькихъ барышенъ. Не зналъ онъ, какъ этотъ Пулькинъ въ глубинѣ души своей несчастливъ, не смотря на всѣ свои удачи,—что ежечасно и ежеминутно боится онъ лопнуть, и какъ отъ этого похудѣлъ и поблѣднѣлъ онъ и, можетъ быть, именно вслѣдствіе этого сталъ еще интереснѣе въ глазахъ мечтательныхъ барышенъ.

«Ну, чортъ съ нимъ, коли важничаетъ!» думалъ Сопѣлкинъ про Пулькина:—«Коли и на Лизѣ женится, да не придетъ меня на свадьбу звать, не пойду!»

Но съ Сопѣлкинымъ было одно уже истинное горе: его маленькая дѣвочка была опасно больна. Силы Сопѣлкина чуть не истощились: до часу ночи сидѣлъ онъ

за бумагами, а съ часу до трехъ — у колыбели своей Степы, и всякій разъ, когда казалось ему, что она умираетъ, онъ хваталъ себя за хохолъ и чуть не скрежеталъ зубами съ отчаянія. Самъ не свой сидѣлъ онъ въ своей канцеляріи и опрометью бѣжалъ домой, и тотчасъ же справлялся: «Ну, что, какъ? еще дышитъ? А... дышитъ?»

И кухаркѣ, и кормилицѣ надоѣлъ онъ съ разными выговорами и разспросами до такой степени, что тѣ только и отдыхали, когда онъ уходилъ на должность. Сопѣлкинъ воскресъ душой, когда дѣтскій докторъ объявилъ ему, что ребенокъ внѣ опасности; но глаза его еще были красны отъ долгихъ безсонныхъ ночей, и нервы его еще не совсѣмъ успокоились, когда разъ, сидя у себя за конторкой въ должности, онъ получилъ конвертъ, а въ конвертѣ бумагу слѣдующаго содержанія: «Его превосходительство тайный совѣтникъ Карлъ Ивановичъ Шталь всепокорнѣйше проситъ Степана Авдѣевича Сопѣлкина пожаловать къ нему 25-го сего апрѣля, въ воскресенье, въ 3 часа пополудни, за объясненіемъ по одному очень нужному дѣлу». Затѣмъ слѣдовалъ адресъ и приписка рукой самого сенатора: «надѣюсь видѣть васъ!» Подпись же была похожа и на Шише, и на Шашы, и на Штанъ, и на Шталь, и Богъ знаетъ на что.

Получивъ это приглашеніе, Сопѣлкинъ и обрадовался, и встревожился, и надулся.

«По какому же это дѣлу?» подумалъ онъ. «Ба!..»

— Г-нъ Васинькинъ?! Было у насъ отношеніе или запросъ сенатора Шталя?

— Нѣтъ.

— Э! Вы ничего не знаете!..

— Я... съ... не помню-съ... спросить развѣ у Ивана Петровича...

— Спросите у Ивана Петровича!

Васинькинъ захромалъ и подошелъ къ столу Ивана

Петровича. Иванъ Петровичъ нахмурился и, поглядѣвъ на него искоса, проворчалъ:

— Что вамъ надо?

— Степанъ Авдѣевичъ спрашиваютъ, не было ли къ намъ какой-нибудь бумаги отъ сенатора Шталя?

— А вы не можете справиться въ настольномъ реестрѣ?

Опять заковылялъ Васинькинъ, пошелъ справляться.

«Ба!.. было что-то въ родѣ запроса о какой-то статьѣ какого-то устава!» думалъ Сопѣлкинъ, напрягая память и соображеніе.

— Ну, что же вы тамъ возитесь?

Васинькинъ продолжалъ возиться,—Сопѣлкинъ не вытерпѣлъ и сталъ браниться.

— Фр! все приведено въ порядокъ и ничего найти не могутъ!

Начались поиски, тасканье бумагъ изъ шкафовъ, перелистыванье, и много желчи испортилъ Сопѣлкинъ, прежде чѣмъ его подчиненные докопались до какой-то весьма незначительной бумаги, присланной отъ сенатора на имя покойнаго правителя дѣлъ.

Сопѣлкинъ недоумѣвалъ; онъ подозрѣвалъ, что есть, непремѣнно есть какое-то дѣло. Но какое? чортъ его знаетъ! Какъ же онъ пойдетъ къ сенатору и окажется ничего незнающимъ? У Сопѣлкина при этой мысли кровью наливалось лице, и онъ пѣтушился, пѣтушился до тѣхъ поръ, пока его не позвали къ новому правителю дѣлъ. Доложивъ свои бумаги, Сопѣлкинъ поправилъ на глазахъ очки и сказалъ:

— Сенаторъ Шталь, ваше превосходительство, зоветъ меня къ себѣ для объясненія по какому-то важному дѣлу.

— По какому важному дѣлу? спросилъ его начальникъ и, съ удивленіемъ раскрывъ ротъ, поглядѣлъ на Сопѣлкина.

— Никакъ не могу понять!

— А я и того еще меньше! Впрочемъ-съ, еслибъ это важное дѣло касалось нашихъ канцелярскихъ дѣлъ, то, несомнѣнно, этотъ Шталь прислалъ бы намъ бумагу за №,—а если этого нѣтъ, то значитъ—это что-нибудь такое, что лично до васъ относится. Можетъ быть, вы хотите перейти въ сенатъ на службу?

— И не думаю, ваше превосходительство!

— Можетъ быть, вамъ тамъ будетъ лучше?

— Я здѣсь полезнѣе, ваше превосходительство,—гордо отвѣтилъ Сопѣлкинъ и надулся.

— А можетъ быть вы тамъ будете еще полезнѣе для... отечества,—добавилъ начальникъ.

— Если вы находите меня здѣсь безполезнымъ, то я готовъ на всякую перемѣну судьбы. Я знаю себѣ цѣну и на все готовъ!... пробормоталъ Сопѣлкинъ.

— Ну... Богъ съ вами! ступайте! Съ вами и пошутить нельзя!

— Извините, ваше превосходительство!

Сопѣлкинъ вышелъ.

«Ужъ точно, что пѣтушокъ!» подумалъ правитель дѣлъ и усмѣхнулся, но въ то же время и поморщился.

XXVIII.

У Юлиньки Дицъ собрался весь наиболѣе интимный кружокъ ея, и въ томъ числѣ наши знакомые: великій критикъ Кроликовъ, Леля, Умековъ, его жена, Ефименко и даже Матильда Тыркова, пришедшая по неотступной просьбѣ Лели. Весь вечеръ шелъ разговоръ объ анонимномъ письмѣ, полученномъ Пулькинымъ, которое было всѣми прочтено, и затѣмъ рѣшался вопросъ: дѣйствительно ли это письмо Стихарева? И если дѣйствительно, то какъ должны они поступить по отношенію къ этой личности?...

Леля внутренно негодовала больше всѣхъ, и при

чтеніи письма чуть не заплакала. Кроликовъ, ея кузенъ, былъ всѣхъ равнодушнѣе; онъ смотрѣлъ на это письмо, какъ на пошлую глупость, на которую не стоитъ обращать вниманія, и ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, тоже ни на кого въ особенности не обращая вниманія. Мягко ступали ноги его, а голосъ былъ еще мягче; одна рука была въ карманѣ свѣтлокоричневыхъ брюкъ, другая—слегка приподнималась и опускалась.

— Я думаю, господа,—говорилъ онъ,—я думаю, что это писалъ какой-нибудь бурсакъ или школьникъ. Я не думаю, чтобы это была рука Стихарева, хотя и похожа, (Рука его приподнималась). Не стоитъ обращать вниманія! То ли еще бываетъ на свѣтѣ! (И рука его опускалась).

Умековъ, глядя на блѣдное, разстроенное личико Лели, вдохновлялся ея тайнымъ горемъ и говорилъ:

— Положимъ это письмо есть ничто иное, какъ проявленіе ревности, но ревности дикой, безобразной, недостойной цивилизованнаго общества!

Жена его, Маша, придралась къ слову «цивилизованное общество» и стала возражать ему.

— Мы уже очень хорошо знаемъ, что значитъ это «цивилизованное общество»,—говорила она:—это—общество, помѣшанное на обычаяхъ, формалистикѣ и тысячѣ китайскихъ церемоній. Я первая не хочу принадлежать къ цивилизованному обществу!

Умековъ на это отвѣчалъ ей, что она не понимаетъ, что значитъ «цивилизованное общество». Маша на это замѣтила ему, что *онъ* этого не понимаетъ, потому что самъ погрязаетъ въ этомъ обществѣ. Однимъ словомъ, изъ числа присутствующихъ, Маша больше всѣхъ придиралась къ отдѣльнымъ словамъ, отклонялась отъ общей темы разговора и, казалось, мало думала и о Лелѣ, и о Стихаревѣ, и о письмѣ его.

Юлинька говорила меньше всѣхъ. Лицо ея, какъ и

всегда, было спокойно и ясно. Она сидѣла въ уголкѣ диванчика и, какъ-бы погруженная въ сумерки, казалась болѣе восковой, чѣмъ когда-либо.

— Господа! сказала она наконецъ:—тутъ не о чемъ спорить. Дѣло очень просто. Прежде всего надо допросить самого Стихарева, и я предлагаю вотъ что: написать ему отъ имени всего нашего общества коллективное письмо и пригласить его къ Кроликову.

— Нѣтъ... не къ намъ... пожалуйста не къ намъ! возразила Леля.

— Ну, хоть ко мнѣ—въ слѣдующее воскресенье, послѣ обѣда... Какъ вы думаете, утромъ или послѣ обѣда?

— Лучше послѣ обѣда,—замѣтилъ Ефименко, который по утрамъ въ воскресенье любилъ въ одной кондитерской пиво пить.

— Ну, такъ въ 7 часовъ вечера, вотъ сюда, въ эту самую комнату... куда и вы всѣ сойдетесь спросить его: онъ-ли, его-ли это письмо? и затѣмъ уже судить, виноватъ-ли онъ, или невиноватъ въ этой гнусности? Если виноватъ, и будетъ доказано, что виноватъ, то попросить его отъ насъ быть подальше, такъ какъ мы вовсе не желаемъ имѣть въ числѣ нашихъ знакомыхъ такихъ господъ, которые не умѣютъ уважать ни правъ, ни свободы каждаго изъ насъ располагать своимъ сердцемъ, какъ ему заблагоразсудится! Такіе господа, которые клеветою и угрозами хотятъ добиваться взаимности, и при этомъ топчутъ въ грязь всякое человѣческое достоинство...

— Браво! сказалъ Умековъ.

— Ужъ одно слово, что Леля кому-то принадлежала или принадлежитъ—противно! Леля не вещь и никому принадлежать не можетъ!

— Да... да... шепотомъ подтвердила Леля, какъ бы задыхаясь отъ наплыва того горькаго чувства, которое стѣснило грудь ея.

*

— Согласны ли вы господа? Если не согласны, то, признаюсь вамъ, я не вижу другого способа распутать эту гнусную исторію...

— Да, позвать... — промямлилъ Кроликовъ,—и, разумѣется, намылить голову.

— Я этого не понимаю, что значитъ намылить голову... Ни гладить его по головкѣ за то, что онъ правъ, ни намыливать ему голову, если онъ неправъ — это не по нашей части! Мы просто выскажемъ ему наше мнѣніе, назовемъ его поступокъ такъ, какъ и слѣдуетъ назвать его: подлымъ, и затѣмъ попросимъ его никого изъ насъ не безпокоить личнымъ своимъ присутствіемъ—вотъ и все!

— И вотъ вы увидите — онъ оправдается! замѣтилъ Кроликовъ.

— И пусть оправдывается...

— Послушай, Сава,—начала Леля,—я не понимаю, за что ты его такъ любишь? Слишкомъ полгода, какъ онъ ходитъ къ намъ, и, ей-ей, я не слыхала отъ него ни одной мысли... ничего... ничего, кромѣ придирокъ, глупыхъ совѣтовъ того не читать, другого не читать... да еще дерзостей! Не помню, когда это было, только Пулькинъ при немъ какъ-то зашелъ ко мнѣ... кажется, на третій день послѣ свадьбы Умекова... Я и спрашиваю Александра Васильевича: какъ вы назовете вашъ будущій журналъ, если вамъ разрѣшатъ его?... Назовите его «Зеркало», потому, говорю, что зеркало не лжетъ— все отражаетъ, и дурное, и хорошее... А Стихаревъ и говоритъ: «это, говоритъ, такое будетъ зеркало, въ которое и заглядывать никто не станетъ».—Отчего? говорю. Если мой братъ будетъ редакторомъ, всякій въ него заглянетъ. «Нѣтъ ужъ, говоритъ, всего приличнѣе, если журналъ г-на Пулькина вы назовете *помойной ямой!*»— Мы оба поглядѣли на него съ изумленіемъ: какое право

имѣетъ онъ такъ оскорблять, говорить такія дерзости у меня въ комнатѣ... впрочемъ нѣтъ, это было въ столовой, а не въ моей комнатѣ,—ну, да все равно—не ясно ли, что Стихаревъ нарочно заводитъ такія рѣчи, чтобъ взбѣсить Пулькина, вывести его изъ границъ всякаго терпѣнія, и, право, я не знаю, что было бы, еслибъ Пулькинъ не умѣлъ собой владѣть: онъ краснѣлъ, блѣднѣлъ и наконецъ сказалъ ему: «въ присутствіи Елены Александровны я вамъ отвѣчать не буду».—«Да и нечего вамъ отвѣчать!» сказалъ тотъ съ такой ядовитой насмѣшкой, что... было ясно, что Стихареъ возненавидѣлъ Пулькина. Впрочемъ, онъ и самъ мнѣ говорилъ, что онъ его ненавидитъ. А что же, кромѣ самой заклятой ненависти, могло продиктовать это письмо?... Нѣтъ, Сава, какъ ты хочешь, некому, кромѣ Стихарева, написать къ Пулькину такое милое посланіе! Некому!...

Кроликовъ прошелся по комнатѣ. Мысль, что Пулькинъ можетъ ему быть очень полезенъ въ литературномъ отношеніи, съ новой ясностью возникла въ головѣ его и онъ понялъ. что заступаться за Стихарева ему не слѣдуетъ.

— Хорошо,—сказалъ онъ,—учинимъ судъ!...

— Ну, — сказалъ Ефименко, — давайте же сочинять письмо къ этому несчастному юношѣ. Что же мы ему напишемъ, Юлія Ѳедоровна?

— Да просто напишите, что мы всѣ, нижеподписавшіеся, приглашаемъ его въ такую-то квартиру, въ такой-то день и часъ, для того чтобъ выслушать его оправданіе въ такомъ поступкѣ, который всѣхъ насъ равно и огорчаетъ, и компрометируетъ. Даже не надо говорить, въ какомъ именно поступкѣ... самъ пойметъ, если виноватъ.—И Юлинька улыбнулась своею львиной улыбкой.

Горничная вошла съ подносомъ, на которомъ внесла стаканы и чашки съ чаемъ. Ефименко пошелъ за ширмы

и взялъ на столѣ Юлиньки бумагу, перо и чернильницу. Подносъ съ чаемъ опустился на одинъ край стола, за другой край усѣлся Ефименко и, подъ диктовку Юлиньки, сталъ писать призывъ Ѳедота Николаевича Стихарева къ суду.

Когда всѣ подписались, Умековъ взялся разыскать его и вручить ему этотъ документъ. Затѣмъ, всѣ принялись за чай и разговоръ принялъ другое направленіе.

XXIX.

Для маленькихъ героевъ, наполняющихъ своими страстями страницы моего правдиваго разсказа, 25-е апрѣля было днемъ довольно знаменательнымъ. Начнемъ съ того, что Сопѣлкинъ, выбрившись, облекся въ свой вицъ-мундиръ, затѣмъ, при помощи кухарки Дарьи, влѣзъ въ свое пальто и поѣхалъ къ Шталю. Сильно тревожило его духъ совершенное невѣдѣніе того важнаго дѣла, по которому зовутъ его.

Когда Карлъ Ивановичъ увидѣлъ въ своемъ кабинетѣ толстенькаго, невысокаго человѣчка, расплывающіяся, мягкія черты какой-то блѣдно-сѣрой физіономіи, небольшой утиный носъ, золотыя очки и нѣкоторое поползновеніе на развязность, онъ привсталъ съ мѣста и сказалъ: а!...

— Вамъ угодно было меня видѣть? скорчивъ маленькую улыбку, проговорилъ Сопѣлкинъ и не безъ достоинства пожалъ протянутую руку сенатора.

— Ну... какъ здоровье вашей тетушки Любиной? Взяла она съ выставки свой портретъ?

— Не знаю, ваше превосходительство!

— Садитесь.

Сопѣлкинъ тотчасъ же сѣлъ, мелькомъ оглядѣвъ кабинетъ, и проговорилъ:

— Я вѣдь не часто-съ бываю у Любиныхъ—это не моя сфера...

— Какъ, почтеннѣйшій? отчего?

— Вкусами мы какъ-то не сходимся... Я слишкомъ демократиченъ для ея превосходительства... Такъ иногда бываю по родству...

— А съ Лизой вы въ какихъ отношеніяхъ?

— Какъ, въ какихъ отношеніяхъ! Ни въ какихъ, ваше превосходительство...

— Кажется, она того... не глупа, и будетъ „belle femme“ со временемъ...

— Особливо, коли выйдетъ замужъ за Пулькина.

— Какъ это... за Пулькина? удивился сенаторъ. Онъ вѣдь женится на Затаиловой? Развѣ вы ничего этого не знаете?...

— Буду ждать, когда въ газетахъ объ этомъ напечатаютъ. Я и не зналъ, что онъ на Затаиловой. . Ну, чтожъ! Съ деньгами можно и на Затаиловой...

Сенаторъ помолчалъ.

— Гмъ! да откуда же у него деньги?... Извините, почтеннѣйшій, если я приступлю, такъ-сказать, къ тому именно, зачѣмъ я и побезпокоилъ васъ... Хочу спросить на счетъ одного очень щекотливаго обстоятельства... Не помните ли вы, въ какой день объявилъ вамъ Пулькинъ, бывшій сожитель вашъ, о полученномъ имъ наслѣдствѣ?

— Хорошо-съ помню: это было 4-го января, въ день моихъ именинъ вечеромъ, или, лучше сказать, ночью, за ужиномъ...

— Какъ? четвертаго января! Можетъ-ли это быть?— И сенаторъ взялъ со стола пустой бумажникъ изъ гладкаго краснаго сафьяна, съ гуттаперчевой, загрязненной тесьмой.

— Не видѣли ли вы, почтеннѣйшій, этого самаго бумажника въ рукахъ г. Пулькина?

Сопѣлкинъ со всѣхъ сторонъ оглядѣлъ бумажникъ, раскрылъ его, помялъ въ рукахъ и отвѣчалъ, что онъ такого бумажника у Пулькина не видалъ...

— А мою визитную карточку видѣли?

— Видѣлъ у него на столѣ... Онъ думалъ, что вы были у него съ визитомъ, и сказывалъ мнѣ, что былъ у васъ... Мы объ этомъ много говорили съ нимъ...

— Все-таки странное совпаденіе! Конечно, улики далеко не выяснились!

— Улики!... съ удивленіемъ повторилъ Сопѣлкинъ и вылупилъ на Шталя свои глаза.

Сенаторъ дружески прикоснулся ладонью до колѣна Сопѣлкина и заговорилъ:

— Надо вамъ знать, почтеннѣйшій, что старый другъ мой, покойный Александръ Аѳанасьевичъ Затаиловъ...

— Отецъ этой самой...

— Да, отецъ Лели, былъ хотя и честнѣйшій человѣкъ, но порядочный розиня—не тѣмъ онъ будь помянутъ! Ну-съ, и угораздило его въ день вашихъ именинъ, вотъ въ этомъ самомъ бумажникѣ, потерять все то, что онъ скопилъ—5,500 рублей, вексель, письма и... вмѣстѣ съ ними, какъ значится въ заявленіи полиціи, мою визитную карточку. Совершивши этотъ подвигъ, онъ на другой же день отправился ad patres! Такъ это дѣло и кануло... Я ничего не зналъ, почтеннѣйшій... И весьма уже недавно, эта дура Кроликова, встрѣтившись со мной, сообщила мнѣ, что ее съ Лелей призывали въ полицію, страшно ихъ напугали, показали имъ вотъ этотъ самый бумажникъ и спросили, тотъ ли это, въ которомъ отецъ ея потерялъ 5,500 рублей? Бумажникъ оказался тотъ самый... Такъ вотъ, думаю себѣ, отчего онъ въ Елисейскія поля махнулъ!... *Богатель!* потерять такую сумму, это и для меня было бы чувствительно... Прошло нѣсколько мѣсяцевъ... я уже пересталъ и думать о возможности когда-нибудь найти

потерянныя деньги, какъ вдругъ нечаянно узнаю, что есть дѣло, въ которомъ замѣшаны и вы, и г. Пулькинъ.

— Я? какимъ образомъ? пробормоталъ Сопѣлкинъ и даже поблѣднѣлъ.

— А вотъ какимъ образомъ... Возникло слѣдственное дѣло о покражѣ со взломомъ 120 рублей у какой-то Софьи Даниловой.

Сопѣлкинъ поглядѣлъ на сенатора, и, сморщивъ лобъ около переносицы, полураскрылъ ротъ въ видѣ маленькаго четыреугольника...

— Эта Софья Данилова изъявила свое подозрѣніе на какого-то бывшаго своего *одоратера* Прохора Трофимова, государственнаго крестьянина и слесаря по ремеслу... Прохоръ былъ пойманъ въ кабакѣ, пропивающимъ краденыя денежки, и сознался... Но... слушайте, почтеннѣйшій!... Онъ въ свою очередь донесъ на Софью, что она обокрала нѣкоего чиновника Сопѣлкина, т. е. васъ, и часть украденныхъ денегъ обѣщала ему за скромное поведеніе... и будто не сдержала своего слова. Очень возможно, что на дняхъ васъ будутъ допрашивать, и что вы на это скажете?...

— А то же, что и вамъ, ваше превосходительство, что Софья жила у меня въ кухаркахъ и обокрала моего сожителя Пулькина, украла у него изъ комода 1,800 рублей, но была еще такъ добра и великодушна, что оставила ему 200 рублей...

При этомъ Сопѣлкинъ разсказалъ ему то, что мы уже знаемъ изъ первыхъ главъ нашего повѣствованія.

Шталь выслушалъ его, не проронивъ ни одного слова, и, затѣмъ, приподнявшись съ креселъ, походилъ по комнатѣ и проговорилъ своимъ баскомъ:

— А что, если этотъ Пулькинъ всѣхъ васъ надулъ!? Я имѣю одно доказательство, что никакого наслѣдства, никакой земли въ Елецкомъ уѣздѣ онъ не получалъ.

Весьма возможно, что, найдя бумажникъ Затаилова, онъ выдумалъ исторію о наслѣдствѣ просто для того, чтобъ прикрыть или замаскировать свои расходы, по случаю найденныхъ чужихъ денегъ. А?... Какъ вы думаете?

Сопѣлкинъ еще болѣе изумился, но и двухъ секундъ не прошло, какъ онъ уже сталъ смѣяться тихо и язвительно.

— Если это правда, то это значитъ—«воръ у вора дубинку укралъ». Только неужели это правда? Я, признаться сказать, хоть не очень высокаго мнѣнія о Пулькинѣ, — не замѣчалъ въ немъ охоты или умѣнья врать. Напротивъ, онъ казался мнѣ человѣкомъ откровеннымъ и даже честнымъ, хоть и не любилъ расплачиваться за квартиру. Но... вотъ вы сказали, ваше превосходительство, что онъ получилъ наслѣдство въ Елецкомъ уѣздѣ, а мнѣ онъ говорилъ—въ Ярославской губерніи!

— Когда нигдѣ нѣтъ наслѣдства, не все ли равно въ какой оно губерніи и въ какомъ уѣздѣ! Въ Ярославской! Ну, что-жъ! и тамъ не долго справиться... Не удивляйтесь, почтеннѣйшій, что въ этомъ дѣлѣ я принимаю такое горячее участіе. Мало ли на свѣтѣ плутовъ и враліей— не всѣхъ же уличать! Но онъ, т. е. этотъ самый Пулькинъ, сватается за дочь моего друга, и если тутъ какой-нибудь обманъ... я ему не совѣтую...

— Хотите, я спрошу его?

— Нѣтъ, почтеннѣйшій Степанъ Авдѣевичъ! Я васъ прошу, пока никому ни слова. Это еще не уйдетъ! А пока не угодно ли вамъ прочесть выписку изъ дѣла. Мнѣ сегодня только принесли ее. Садитесь и читайте.

Сопѣлкинъ присѣлъ къ столу, разставилъ колѣна, снялъ очки, протеръ ихъ носовымъ платкомъ и опять надѣлъ. Затѣмъ, онъ сталъ чита ть указанную сенаторомъ выписку, и чѣмъ болѣе читалъ, тѣмъ болѣе лице его на-

ливалось кровью, тѣмъ чаще онъ мигалъ, морщился, строилъ гримасы и морщилъ лобъ.

Изъ выписки этой онъ узналъ, что Софья арестована, что она объявила при допросѣ, что деньги 1,000 р. получила она отъ г. Сопѣлкина за свою съ нимъ связь, болѣе чѣмъ интимную, и что когда Прохоръ на очной съ нею ставкѣ уличалъ ее въ томъ, что она заказывала ему ключъ по мѣркѣ — она отреклась. Тогда Прохоръ обвинилъ ее въ другомъ уголовномъ преступленіи: обвинилъ ее въ томъ, что будто бы она убила своего незаконнаго ребенка, дѣвочку, которая была отдана ею на кормленіе какой-то Лукерьѣ Сидоровой, женѣ банщика, живущаго въ Вяземскомъ домѣ, на дворѣ, по Обуховскому проспекту, что ребенка этого она взяла отъ кормилицы и неизвѣстно куда дѣвала. На это Софья отвѣчала, что она снесла его въ воспитательный домъ; но, послѣ разныхъ допросовъ, оказалось, что въ воспитательномъ домѣ она не была, такъ какъ на третьей недѣлѣ великаго поста никакого шестимѣсячнаго ребенка женскаго пола въ воспитательный домъ не было принято. Затѣмъ, Софья созналась, что она дочь свою подкинула, но кому именно— этого объявить не захотѣла.

Читая все это, Сопѣлкинъ безпрестанно поправлялъ свои очки и носовымъ платкомъ теръ себя по лбу.

— Прочелъ, ваше превосходительство,—сказалъ онъ, всталъ съ мѣста и поглядѣлъ въ какое-то неопредѣленное пространство. Онъ сталъ отгонять отъ себя мысль, что его Степа, его нареченная дочка—дочь Софьи, и можетъ быть Прохора, но эта мысль влѣзла ему въ голову и стала щипать его за сердце.

— Не хотите ли закусить, почтеннѣйшій? спросилъ его сенаторъ, замѣтивъ его волненіе.

— Не могу, ваше превосхóдительство. Дорого бы далъ, чтобъ не читáть этого сквернаго дѣла! Никакихъ

1,000 рублей я Софьѣ не давалъ и не могъ дать, потому что у меня у самого никогда еще въ рукахъ такой суммы денегъ не было... А что я былъ съ нею въ связи — это правда. Она чертовски хороша, и я чуть было не привязался къ ней. Несомнѣнно, что эти деньги она украла у Пулькина... и... странно, очень странно, что въ одинъ и тотъ же день, 4-го января—одинъ деньги потерялъ, а у другого тотчасъ же оказались... Что же вы теперь намѣрены дѣлать?

— Э! этого, почтеннѣйшій, этого я еще и самъ не знаю!

Затѣмъ, отказавшись отъ завтрака, Сопѣлкинъ раскланялся, не безъ претензіи на развязность, и вышелъ отъ сенатора въ самомъ странномъ настроеніи духа, т. е. въ очень сложномъ настроеніи: ему хотѣлось и злиться, и плеваться, и фыркать, и плакать, и хохотать.

XXX.

Въ то же утро, въ 9 часовъ, Умековъ отыскивалъ по адресу Стихарева. Сначала проникъ онъ въ четвертый этажъ, потомъ въ длинную, съ окнами на дворъ галлерею, залитую помоями, съ слѣдами отъ собакъ и кошекъ, мѣстами завѣшанную веревками для бѣлья и съ дверями, по большей части обитыми рогожей. На дверяхъ были нумера, а изъ нумеровъ въ галлерею выходили окна съ банками, склянками, горшками, бутылками и ваксенными щетками на подоконникахъ; нѣкоторыя окна были занавѣшаны розовымъ коленкоромъ; кое-гдѣ разбитыя стекла были заклеены сахарной бумагой.

Умековъ, затыкая носъ, постучался въ дверь подъ № 87. Дверь отворила какая-то толстая и рыхлая женщина, въ одной юбкѣ, и спросила его, кого ему нужно?

— Стихарева,—сказалъ Умековъ.

— Никакъ еще дрыхнетъ; войдите.

Умековъ вошелъ сначала въ жаркую кухню, гдѣ пекли хлѣбы и пахло ржаной квашней, гдѣ что-то стирали и пахло мыломъ. Женщина въ юбкѣ показала ему вправо, и Умековъ, уцѣпившись за скобку двери, отворилъ ее.

Въ комнаткѣ, оклеенной темносѣрыми обоями, съ желтыми потеками съ потолка и черновато-зелеными пятнами, тускло освѣщенной невысокимъ, выходящимъ тоже въ галлерею окошкомъ, стоялъ столъ, стулъ и деревянная, некрашеная кровать. На столѣ лежали двѣ-три книги, какія-то тетради и стояла тарелка съ кусочкомъ сыру и ломтикомъ хлѣба; на стулѣ висѣли брюки и поношенные носки; на кровати лежалъ Стихаревъ.

По-видимому, онъ такъ уже привыкъ лежать въ этомъ углу и на этой кровати, что нисколько ни этотъ уголъ, ни эта кровать его не конфузили. Онъ не спалъ, ибо глядѣлъ въ потолокъ, и, когда вошелъ Умековъ, равнодушно въ его сторону повернулъ глаза свои — даже подумалъ: «а ну, какъ онъ головой да стукнется въ потолокъ— чего добраго, отобьетъ кусокъ штукатурки...»

Затѣмъ, когда Умековъ снялъ свою шляпу, Стихаревъ приподнялъ голову и спросилъ.

— Какъ это вы нашли меня, Умековъ? На свадьбу что ли звать меня пришли?

— Что звать! ухмыляясь по-пріятельски, отозвался Умековъ:—меня уже, раба Божія, и такъ повѣнчали.

Стихаревъ очень хорошо зналъ, что его уже повѣнчали, и спросилъ его не безъ умысла, ибо досадовалъ что Умековъ на эту свадьбу не пригласилъ его.

— Такъ обвѣнчались! Вишь, до чего вы досантиментальничались!

— Что дѣлать! Знаете пословицу: «любишь кататься—люби и саночки возить».

— Очень мнѣ нужно знать глупыя пословицы!

Стихаревъ протянулъ мускулистую руку, снялъ со стула свой гардеробъ и перебросилъ его къ себѣ на кровать. Умековъ сѣлъ и уперся подбородкомъ на свою палку. (Онъ рѣдко ходилъ безъ палки или трости).

— Дескать долгъ... нельзя! Какъ можно! продолжалъ говорить Стихаревъ, надѣвая носки.—Охъ, ужъ эти долги! Чортъ ихъ возьми совсѣмъ!

— Нельзя, Стихаревъ, чтобъ человѣкъ ничѣмъ, никакимъ нравственнымъ или философскимъ принципомъ не связалъ себя. Онъ жить не можетъ... Будетъ произволъ, а произволъ всѣхъ и каждаго—это такое ограниченіе свободы, такая тѣснота жизни, какой ни одинъ деспотъ еще не выдумалъ.

— Ну, вы этимъ меня не поддѣнете; что произволъ, что свобода — это все одно... Ишь выдумали какую-то іерархію словъ, одни поставили выше, другіе ниже,— очень мнѣ нужно! Я живу и вы живете, и если вы меня стѣсняете, не даете мнѣ жить, — я васъ стѣсню и жить вамъ не дамъ. Кто кого перетянетъ, тотъ и торжествуй! Гдѣ-то кто-то писалъ, что земля наша черезъ чертовы милліоны лѣтъ будетъ кружиться ближе къ солнцу, и наконецъ, солнце ее къ себѣ совсѣмъ притянетъ и съѣстъ. И прекрасно сдѣлаетъ... Чего жалѣть?!

— Ну, тогда насъ съ вами не будетъ.

— Знаю, что не будетъ. Только это я не спроста говорю вамъ. Въ жизни то же самое—или вы меня съѣдите, или я васъ...

— Ну, я васъ съѣдать не намѣренъ,—усмѣхнувшись возразилъ Умековъ.

— Подавиться что-ли опасаетесь?

— Ничего я не опасаюсь, только не нахожу въ этомъ ни малѣйшаго удовольствія. Я не левъ, не волкъ и не акула.

— Хоть вы и буквально все это поняли, но въ сущ-

ности, всѣ мы то же самое—кто левъ, кто волкъ, а кто и овца. Всякіе бываютъ. Только я не овца, это вы ужъ какъ хотите!

– Знаю, что не овца... размышлять умѣете!

— Да, я всегда размышляю, когда хочу добится какой-нибудь цѣли.

— Должно быть, не всегда, Стихаревъ! Вотъ я принесъ вамъ письмо, подписанное многими изъ числа нашего общества. Всѣ зовутъ васъ для того, чтобъ вы оправдались въ одномъ неблаговидномъ поступкѣ... и если вы его учинили, то, воля ваша, учинили его безъ всякаго размышленія.

Стихаревъ повелъ бровями, покосился на Умекова, взялъ изъ рукъ его письмо и лежа пробѣжалъ его глазами.

— Какой же это неблаговидный поступокъ? А?!

— Узнаете, когда придете.

Стихаревъ помолчалъ, заложивъ руки подъ затылокъ, и проговорилъ, не глядя на Умекова:

— Ну, такъ я никогда не узнаю. Съ чего вы взяли, что я васъ послушаюсь—явлюсь на вашъ дурацкій судъ, когда я никогда ничему не покорялся и не покорюсь ничему, кромѣ физической силы! Вотъ, развѣ вы меня свяжете да насильно потащите по улицамъ къ этой Дицъ... Ну, тогда—дѣлать нечего!

— Никто васъ насильно не потащитъ! — И Умековъ съ досадою и соболѣзнованіемъ поглядѣлъ на Стихарева.

— Ну, не потащутъ, такъ и прекрасно!

— Такъ вы не придете, значитъ?

— Значитъ—не приду.

— Хорошо-съ... я такъ и передамъ. Но, Стихаревъ, это васъ поставитъ въ очень неловкое положеніе по отношенію къ нашему обществу. Чего добраго, оно уже и не приметъ васъ. Выгодно ли это? Вы сами говорите,

что безъ размышленія ничего не дѣлаете, такъ размыслите, выгодно ли вамъ остаться безъ всякой возможности оправдать себя въ нашихъ глазахъ и перестать считаться однимъ изъ нашихъ знакомыхъ.

— Какая тутъ выгода! Что вы мнѣ дадите за то, что вы меня оправдаете? Домъ что ли вы мнѣ выстроите, или Лелю Затаилову приведете въ мои объятія? Если мнѣ непріятно съ вами препираться, да разглагольствовать, да оправдываться,—значитъ, и невыгодно?

— А выгодно ли вамъ перестать посѣщать Кроликовыхъ, гдѣ вы привыкли бывать каждый день и каждый день обѣдать? Вѣдь Кроликовъ тоже подписался подъ этимъ письмомъ.

— Вижу, что подписался, ну и получитъ за это кой-какую непріятность въ видѣ сюрприза. Вы всѣ—это я не шутя говорю... вы всѣ расплатитесь... я на все пойду...

— Нашему нраву не препятствуй, значитъ?

— Совершенно справедливо.

— Чѣмъ же вы лучше Тита Титыча?

— Какого Тита Титыча? Какое мнѣ до него дѣло! Вашъ Титъ Титычъ самъ по себѣ, а я самъ по себѣ.

Умековъ догадался, что Стихаревъ о комедіи Островскаго понятія не имѣетъ, и его, какъ литературнаго человѣка, это даже покоробило. Онъ машинально взялъ со стола книги и сталъ ихъ просматривать. Книги были всѣ чужія и одна изъ нихъ, какъ значилось, Е. Затаиловой. На поляхъ ихъ были карандашныя отмѣтки съ восклицательными знаками: «глупо!» «ахъ дуракъ!» и т. п.

— А! крикнулъ Стихаревъ, такъ вотъ зачѣмъ вы ко мнѣ пожаловали?

Умековъ положилъ книги обратно на столъ, проникся чѣмъ-то въ родѣ негодованія и сталъ доказывать Стихареву, что люди, ничего непризнающіе, кромѣ своего «я», или своей ничтожной личности, невозможны ни въ какомъ

обществѣ; даже коммуна—и та, учредись она въ какомъ нибудь уголкѣ міра безпрепятственно, потребуетъ общаго труда, подчинитъ личную свободу каждаго изъ своихъ членовъ волѣ всѣхъ, выраженной въ какихъ-нибудь правилахъ или постановленіяхъ, и, стало быть, каждаго поставитъ въ зависимость отъ общаго надзора, т. е. отъ надзора сотни глазъ вмѣсто двухъ или нѣсколькихъ.

Долго на эту тему говорилъ Умековъ, но слова его дѣйствовали на Стихарева, какъ горохъ на стѣну. Стихаревъ выслушалъ его и сказалъ:

— Вы для меня не законъ—и я вамъ ни давать отчета въ своихъ поступкахъ, ни вообще покоряться вамъ не намѣренъ.

— Ну, такъ не требуйте, чтобъ и другіе покорялись вамъ.

— И не требую.

— И не требуйте, чтобъ сердце Лели Затаиловой принадлежало вамъ, во что бы то ни стало, если оно не хочетъ вамъ принадлежать, если она прямо говоритъ, что ваши искательства противны ей.

— И она за это будетъ наказана.

— Вы накажете?

— Я.

— За что? за непокорность?

— За непокорность!

— Какъ же вы ее накажете? Ужъ не высѣчь ли вы ее собираетесь за то, что она не любитъ васъ?

— А вотъ увидите! Впрочемъ, перестаньте объ этомъ вздорѣ говорить — очень нужно слова тратить попусту! Экъ я съ вами разфилософствовался! Дурь на себя напустилъ. Никогда я себѣ этого не прощу.

— Никто съ вами и не философствовалъ, — проговорилъ Умековъ и поднялся со стула: у него дрожалъ подбородокъ, лице было блѣдно. Ну, такъ подпишитесь

подъ этимъ письмомъ, что вы его прочли и приходить не намѣрены.

— Это зачѣмъ? У меня и чернила высохли. Что писать! Впрочемъ, дайте-ка мнѣ это письмо, я еще перечту его—не мѣшаетъ запомнить!

Стихаревъ взялъ письмо, перечелъ его и разодралъ на четыре части.

— Вотъ мой и отвѣтъ — и коротко, и ясно! сказалъ Стихаревъ, поблѣднѣвъ отъ прилива внутренней злобы и передавая разорванное письмо Умекову.

Умековъ понялъ, что Стихаревъ готовъ вскочить и драться съ нимъ. Молча взялъ онъ письмо, положилъ въ свой карманъ, нахлобучилъ на глаза свою артистическую шляпу, толкнулъ ногой дверь и вышелъ.

«Что онъ такое?» думалъ Умековъ, сходя по лѣстницѣ: «идіотъ или самодовольное, влюбленное въ себя невѣжество? Не трудясь, одной силой своей воли, хочетъ онъ покорять себѣ *подъ ноги всякаго врага и супостата!* И отъ такихъ людей Кроликовъ ждетъ общественнаго переустройства! Хорошо будетъ общество: война всѣхъ противъ каждаго, и каждаго—противъ всѣхъ!

«Удивительно! продолжалъ думать Умековъ, уже шагая по улицамъ: «такая, по-видимому, непреклонная сила и настойчивость, и что же? на такое слабенькое, нервное существо, какъ Леля, не имѣла и не имѣетъ никакого вліянія! Не оттого ли это, что ничѣмъ непросвѣтленная сила, для всякой сколько-нибудь порядочной женщины, нисколько не обаятельна? Вѣдь недуренъ собой, даже сразу обращаетъ на себя вниманіе; но ни признака на лицѣ той души или того оживленія, которое привлекаетъ и нравится. Да, это своего рода экземпляръ, достойный изученія!»

Воспользуемся мыслью Умекова, и не ради изученія, а ради уясненія скажемъ нѣсколько словъ о прошломъ Стихарева. Кто читалъ и помнитъ яркими красками изобра-

женную «Бурсу» Помяловскаго, тотъ пусть представитъ себѣ, что въ стѣнахъ этой самой бурсы прошло все дѣтство Стихарева, что въ ней онъ выросъ, изъ нея вынесъ взглядъ на жизнь и житейскія отношенія и подъ ея ферулой закалилъ себя. Кто не знаетъ, что деспотизмъ, даже деспотизмъ старшихъ товарищей, производитъ на Божій свѣтъ или подленькихъ, трусливыхъ рабовъ, или такихъ же деспотовъ! Коренастый мальчикъ Стихаревъ оказался на столько силенъ, что вынесъ всѣ побои и сталъ самъ бить тѣхъ, которые ему почему либо не нравились или не покорялись. Въ этомъ битьѣ другихъ, онъ сталъ чувствовать какое-то страстное, неизъяснимое удовольствіе, и вышелъ изъ бурсы, сознавая свое превосходство надъ другими. Но, что всего печальнѣе, не вынесъ онъ никакой любви къ наукѣ, никакого довѣрія къ ея представителямъ. Благодаря своей памяти, Стихаревъ выдержалъ экзаменъ въ университетъ и поступилъ, къ сожалѣнію, въ такое время, когда уже одушевленія не было на каѳедрахъ, когда всѣ тѣ горячія слова, которыя электризуютъ студентовъ и пробуждаютъ ихъ стремленія къ истинѣ и совершенству, уже простыли; а то, что читалось вяло и оффиціально, какъ бы по программѣ, конечно, не могло оказать своего благотворнаго вліянія не только на душу, закаленную въ бурсѣ, но и на душу, воздѣланную домашнимъ воспитаніемъ. Прежняго товарищества и равенства между студентами тоже какъ будто и въ поминѣ не было. Самонадѣянность, или, лучше сказать, вѣра въ свою память рано отучила Стихарева отъ работы и усидчиваго прилежанія. Онъ легко выдалбливалъ цѣлыя тетради передъ экзаменами, получалъ хорошіе баллы и затѣмъ объ этой «ерундѣ», какъ онъ выражался, болѣе не думалъ и не заботился.

Успѣхъ Помяловскаго на литературномъ поприщѣ и его быстро-распространяющаяся извѣстность не могли не

соблазнить такого самоувѣреннаго юноши, какъ Стихаревъ. Онъ принялся кое-что пописывать и для того, чтобъ освоиться съ литературнымъ языкомъ, сталъ читать все, что ему рекомендовалось. Прочелъ Гончарова, Тургенева, Авдѣева, Льва Толстаго и другихъ. Но то, что повергало въ восторгъ воспріимчивую душу иныхъ читателей, для него было чѣмъ-то совершенно внѣшнимъ. Сцены и лица изъ той среды, куда онъ никогда не заглядывалъ, не имѣли въ глазахъ его никакой цѣны. Не вѣяло на него жизнью отъ страницъ, изображающихъ жизнь для него совершенно чуждую. Что значилъ, напримѣръ, для него какой-нибудь Рудинъ, когда онъ отъ роду не встрѣчалъ ни одного лица, похожаго на Рудина. Что значилъ для него Обломовъ, когда онъ даже представить себѣ не могъ, изъ-за чего тотъ возмущается и чего боится, и чего стыдится, когда пріѣзжаетъ къ нему влюбленная въ него барышня Ольга. Сынъ петербургскаго дьякона, никогда не жилъ онъ въ провинціи и даже съ помѣщиками никогда не разговаривалъ. Никакихъ историческихъ или бытовыхъ преданій для него не существовало. Бурса ничего не дала ему. Какъ на взбудораженную и ничѣмъ не засѣянную почву пали сѣмена запретнаго матеріализма, и взошли непригрѣтыя никакой обновляющей, свѣжей идеей. Онъ прочелъ и запрещеннаго Бюхнера, и незапрещеннаго Дарвина и, какъ недоучка, все понялъ по-своему. Съ нѣкоторой завистью сталъ смотрѣть онъ на безотвѣтныя страсти животныхъ. «Вотъ каковъ долженъ быть человѣкъ,» не разъ думалъ онъ, «долой китайскія, придуманныя церемоніи!!» Стихаревъ не любилъ высказываться, не изъ скромности, но скорѣе изъ осторожности; онъ думалъ, что свѣтъ и общество еще далеко не дозрѣли до того, чтобы понимать его; иногда только среди молодежи, послѣ выпивки, рѣшался онъ пощеголять цинизмомъ, и щеголялъ имъ не безъ самоуслажденія. Раз-

сказы, написанные имъ въ подраженіе Помяловскому и Глѣбу Успенскому, были такъ плохи, носили на себѣ печать такой бездарности и такого непониманія людей, что Стихаревъ, съѣвши грибъ въ двухъ или трехъ редакціяхъ, еще выше возъимѣлъ о себѣ мнѣніе. «Имъ ли, болванамъ, печатать такія вещи! что они понимаютъ? ни бельмеса они не понимаютъ! Бить ихъ нужно, а не покланяться имъ!» Стихаревъ никогда, никому, даже Кроликову, не говорилъ, что онъ когда-то занимался беллетристикой. Но на Кроликова, какъ на писателя, онъ глядѣлъ особенно снисходительно, даже съ нѣкоторымъ сочувствіемъ именно за то, что Кроликовъ въ грошъ не ставилъ нѣкогда прославленныхъ писателей; это льстило его самолюбію; дескать, если вы меня въ грошъ не ставите, то вѣдь и другіе тоже — всѣ эти Пушкины, Лермонтовы — гроша мѣднаго не стоятъ! И Кроликовъ не ошибался, считая его однимъ изъ людей, наиболѣе его понимающихъ и ему сочувствующихъ. Отъ отца своего Стихаревъ получалъ 15 рублей въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы онъ не жилъ дома. Дома было тѣсно, да и не хотѣлось отцу діакону, чтобы сынокъ его внушалъ его дочерямъ, что все на свѣтѣ ерунда и что всякій живи по-своему, какъ ему хочется, ибо нѣтъ ни грѣха, ни добродѣтели.

Когда Умековъ ушелъ, Стихаревъ, въ однихъ брюкахъ, безъ сюртука, пошелъ въ комнату хозяйки поглядѣть на циферблатъ, какъ веснушками покрытый прошлогодними слѣдами мухъ, и узнать, много ли осталось времени до его путешествія въ студенческую кухмистерскую на Васильевскій островъ. Времени оставалось еще слишкомъ много, и онъ рѣшился идти по товарищамъ искать...

«Чортъ возьми!» думалъ онъ, «неужели я не найду того, что мнѣ нужно!»

XXXI.

Не смотря на то, что въ день перваго мая погода была пасмурная (при 4-хъ градусахъ тепла) и что гулянье въ Екатерингофѣ не обѣщало быть ни многолюднымъ, ни особенно оживленнымъ, такъ какъ Петербургъ въ это время былъ въ траурномъ настроеніи по случаю кончины Наслѣдника Великаго Князя Николая Александровича, Пулькинъ былъ въ такомъ игриво-мечтательномъ расположеніи духа, что этотъ вечеръ хотѣлъ провести не иначе, какъ въ экипажѣ съ Лелей, гдѣ-нибудь на вольномъ, загородномъ воздухѣ.

Засунувъ въ бумажникъ свой нѣсколько десятковъ рублей, сѣлъ онъ въ наемную коляску и тотчасъ же послѣ обѣда отправился на Знаменскую.

Въ началѣ седьмого часа, онъ уже сидѣлъ въ комнаткѣ Лели, и безпокойство, смѣшанное съ недовольствомъ обманутаго ожиданія, мелькало въ глазахъ его. Мало того—онъ былъ озадаченъ. При встрѣчѣ съ нимъ, Леля не обрадовалась, не обняла его и на поцѣлуй не отвѣтила поцѣлуемъ; и цвѣтъ лица ея былъ такой томный, такой нездоровый, голубоватыя тѣни слишкомъ явственно обрисовывали задумчивые глаза, и какъ-то особенно невесело глядѣла она на Пулькина. Долго старался онъ притворной веселостью заглушить въ себѣ щемящее чувство, похожее на предчувствіе чего-то недобраго, и наконецъ спросилъ ее:

— Что съ вами? Я не узнаю васъ...

— Сильно голова болитъ.

— А если бы вы были здоровы, неужели и тогда вы бы со мной не поѣхали?...

— Если бы я была здорова—да... если бы... Нѣтъ,

не поѣхала бы. Зачѣмъ? Что за гулянье! Искать веселости тамъ, гдѣ ея быть не можетъ—глупо!

Пулькинъ повѣсилъ носъ.

— Я можетъ быть и глупъ,—скромно замѣтилъ онъ,—но я не ради веселости. Мнѣ хотѣлось этой прогулкой развлечь васъ отъ вашихъ занятій; быть на чистомъ воздухѣ и быть вмѣстѣ съ вами—вотъ все, чего мнѣ хотѣлось!

— Сколько вы заплатили за коляску? спросила Леля, всматриваясь въ лицо его.

— Хотя бы сто рублей! Что значатъ деньги въ такихъ случаяхъ! Я себя готовъ продать, чтобы только вамъ, Леля, было весело...

Леля опустила рѣсницы и не сказала ни слова.

Пулькинъ взялъ ее за руку и нѣсколько разъ пожалъ ее.

— Вы даже на пожатіе руки отвѣчать мнѣ не хотите, Леля! Я никогда не видѣлъ васъ такой холодной, такой непривѣтливой...

— Я уже сказала вамъ, что мнѣ нездоровится.

— Нѣтъ, это не то... тутъ не при чемъ ваше нездоровье... Вамъ или оклеветали меня, или вы... вы меня разлюбили...

Леля еще ниже наклонила голову и минуты двѣ не произносила ни слова. Эти двѣ минуты Пулькину показались цѣлымъ часомъ.

Послышалась мужская походка, и въ комнату вошла длинная Марѳа Сергѣевна.

Пулькинъ всталъ и протянулъ ей руку. Старуха, не глядя на него и какъ бы не замѣчая протянутой руки, обратилась къ Лелѣ.

— Ну что,—спросила она,—легче ли тебѣ стало послѣ обѣда? Иногда бываетъ легче, какъ поѣшь. Это со мной

часто бываетъ: болитъ, болитъ, а какъ съѣшь кусокъ говядины—какъ рукой сниметъ!

— Нѣтъ, тетя, все такъ же... Затылокъ ломитъ...

— А я, Мароа Сергѣевна,—заговорилъ Пулькинъ,—я было пріѣхалъ къ вамъ просить всѣхъ васъ куда-нибудь прокатиться—ну, хоть на острова! И вдругъ слышу, Елена Александровна жалуется, что не совсѣмъ здорова... Но если у ней голова болитъ, кто знаетъ, можетъ быть, лучшее лекарство—это сѣсть въ экипажъ и поѣхать куда-нибудь за городъ. Правда, погода невеселая... и не тепло, но можно потеплѣе одѣться...

— Ну... вы ступайте и катайтесь, а ужъ мы, такъ и быть, дома посидимъ,—проскрипѣла Кроликова. Кончики двухъ желтыхъ, старческихъ зубовъ показались изъ-подъ ея верхней губы. Но это не была улыбка — это было нѣчто такое, что вполнѣ гармонировало съ тономъ ея голоса, нѣчто зловѣщее.

Пулькинъ смутился, нахмурился и сѣлъ на табуретъ, спиной къ туалетному столику Лели. Невольно вспомнилъ онъ, что, не дальше какъ вчера, на Невскомъ встрѣтилъ онъ Сопѣлкина, и Сопѣлкинъ точно также довольно странно обошелся съ нимъ, точно также ему не обрадовался, вылупилъ на него глаза свои и спросилъ, былъ ли онъ у сенатора Шталя! И когда Пулькинъ сказалъ ему, что не былъ, тотъ какими-то загадочными словами сталъ предостерегать его и кончилъ тѣмъ, что если у него (т. е. у Пулькина) совѣсть чиста, то ему нечего опасаться ни Шталя, ни полиціи.

Пулькинъ невольно вспомнилъ, какъ озадачила его эта встрѣча съ старымъ сожителемъ и какъ долго на всевозможные лады варьировалъ онъ мысль свою по поводу загадочныхъ словъ его, и вотъ опять тотъ же казусъ: опять онъ озадаченъ, и такъ внезапно, такъ неожиданно!

«Положимъ», подумалъ онъ, «они какъ-нибудь узнали,

что я бѣденъ; но вѣдь и Леля не богата; вѣдь я же не изъ-за денегъ люблю ее... Но... она чистосердечна, а я... я враль!» Эта послѣдняя мысль до такой степени показалась ему въ эту минуту противной, что онъ тотчасъ же постарался затушевать ее въ своей головѣ, и она исчезла, но все-таки сдѣлала свое дѣло: поселила въ душѣ его нѣчто въ родѣ безсознательнаго раскаянія.

Поговоривши съ Лелей и посовѣтовавши ей напиться липоваго цвѣта или сухой малины, лечь спать и пропотѣть, Марѳа Сергѣевна вышла. Она никогда не понимала любви, какъ поэтическаго чувства, и при влюбленныхъ выражалась очень прозаически, говоря о ѣдѣ, о липовомъ цвѣтѣ, о возможности пропотѣть; но на этотъ разъ Пулькинъ и не слыхалъ, о чемъ именно говорила старуха съ Лелей. Онъ былъ почти такъ же блѣденъ, какъ и въ тотъ вечеръ, когда онъ блуждалъ съ нею въ туманѣ и выслушивалъ ея воспоминанія.

— Александръ Васильевичъ! тихо, дрогнувшимъ голосомъ проговорила Леля.

— Что прикажете, Елена Александровна? тихо, съ натянутой вѣжливостью отозвался Пулькинъ.

— Были вы у Карла Ивановича?

— У Шталя? не былъ-съ... Я было, признаюсь вамъ, хотѣлъ звать его въ посаженные отцы; но, во-первыхъ, мы еще и сами не рѣшили, когда намъ вѣнчаться, а во-вторыхъ...

Пулькинъ не договорилъ.

— Александръ Васильевичъ! повторила Леля.

— Что прикажете?

— Чиста у васъ совѣсть?

Пулькинъ дрогнулъ. «Опять моя совѣсть!» подумалъ онъ, и нѣчто пугливое промелькнуло въ темнокарихъ, красивыхъ глазахъ его. Онъ поглядѣлъ на Лелю—взоры ихъ встрѣтились.

— Какъ это всѣхъ интересуетъ моя совѣсть! Я не святой, Елена Александровна.

— Не надо быть святымъ, чтобы быть честнымъ,— помолчавъ, томно проговорила Леля и большимъ и среднимъ пальцами лѣвой руки своей сжала виски, точно боясь, что въ эту минуту лопнутъ голубыя жилки, которыя бились подъ ихъ прозрачной кожицей.

— Если вы слышали, что я безчестный человѣкъ, и вѣрите, что я безчестный, то казните меня... Я, какъ мнѣ ни горько и ни тяжело, можетъ быть и вынесу этотъ ударъ...

— Какой ударъ?

— Развѣ это не ударъ—потерять васъ, ваше сердце? Впрочемъ я... я, быть можетъ, и не стою его, Елена Александровна!...

Леля шире раскрыла глаза свои, точно въ словахъ Пулькина послышалась ей не то иронія, признакъ оскорбленнаго достоинства, не то приливъ горькаго раскаянія. Она молчала, глаза ея были мутны.

— Одно, по чистой совѣсти, могу я сказать,—снова началъ Пулькинъ,—вотъ мнѣ уже двадцать шесть лѣтъ и я никогда еще никого не любилъ такъ свято и такъ искренно... Вы первая и, это я чувствую, послѣдняя любовь моя. Потерявши васъ, я сдѣлаюсь негодяемъ...

«Если бы сто Пулькиныхъ измѣнили мнѣ», подумала про себя Леля, «я и тогда не сдѣлалась бы негодяйкой...»

— Да-съ, негодяемъ, — повторилъ Пулькинъ. Разъ одинъ писатель сказалъ при мнѣ: «На землѣ, въ человѣческой жизни только двѣ силы—любовь и деньги; на нихъ все вертится, они всѣмъ заправляютъ...»; значитъ, если измѣнитъ мнѣ истинная любовь, я ухвачусь за деньги, буду во что бы то ни стало добиваться денегъ — а добиться денегъ честнымъ путемъ въ нашъ вѣкъ едва ли возможно...

Казалось, Леля вся превратилась въ слухъ; но Пулькинъ пересталъ говорить и опустилъ голову.

— Но... Александръ Васильевичъ! Зачѣмъ же вамъ ихъ добиваться, когда вы всѣмъ говорите, что вы богаты?...

Пулькинъ не могъ не почувствовать, что онъ проговорился и самъ себя выдалъ. Страшно стало ему въ эту минуту передъ этимъ честнымъ существомъ повторять излюбленную имъ ложь—и онъ рѣшился быть *нѣсколько* откровеннѣе.

— Простите, Леля! заговорилъ онъ взволнованнымъ голосомъ,—вамъ одной, одной вамъ я скажу всю правду... Что бы ни было... я не могу, я не стану лгать... Я далеко не такъ богатъ, какъ я это разглашаю; но знаете ли... что если бы не эта ложь, я не былъ бы у васъ, не сидѣлъ бы съ вами рядомъ, и ни одной счастливой минуты не было бы у меня въ жизни... ни одной!...

Въ голосѣ Пулькина послышались слезы.

— Скажу вамъ правду, Леля... Прежде всего мнѣ пришло въ голову надуть вашихъ тогдашнихъ друзей—Любиныхъ, надуть за то, что онѣ, особливо Лиза, до такой степени оттолкнули меня своимъ пренебреженіемъ, что я рѣшился не бывать у нихъ въ домѣ и даже васъ не встрѣчать у нихъ (Пулькинъ и тутъ вралъ: первый разъ мысль о наслѣдствѣ пришла ему въ голову вовсе не потому, что онъ хотѣлъ надуть Любиныхъ, а просто потому, что нашелъ деньги и что отъ шампанскаго у него разыгралась фантазія). И вотъ-съ, продолжалъ Пулькинъ, черезъ своего племянника, Любина узнаетъ, что я уже не прежній бѣдный Пулькинъ, что и у меня уже есть состояніе, и,—вообразите торжество мое! Любина первая пишетъ мнѣ милое посланіе и упрекаетъ меня, что я забылъ ее. Я являюсь къ нимъ въ домъ и за мной ухаживаютъ. Мало того—Лиза въ меня влюбляется...

— Лиза!?

— Да... та самая Лиза, которая не хотѣла говорить со мной,—но что мнѣ до этого за дѣло! Я получилъ возможность видѣть васъ... и затѣмъ съ вами познакомиться:—цѣль моя была достигнута! Я сказалъ этой Любиной, что у меня двѣсти пятнадцать тысячъ и огромное количество десятинъ, и она растаяла до того, что стала предлагать мнѣ въ займы деньги—и я это очень хорошо понялъ—совершенно охладѣла къ мысли женить меня на васъ и поощряла дочь свою со мной кокетничать. Меня это тѣшило и тѣшитъ! Вотъ, Леля, вотъ вся вина моя! Ни передъ кѣмъ въ цѣломъ мірѣ я не сознался бы въ этомъ. Ни передъ кѣмъ! У меня есть средства жить, но я не богачъ. Это я сказалъ бы вамъ, давно бы сказалъ, если бы почему-то вашему кузену не вообразилось, что, по изданію журнала, онъ можетъ надѣяться на мои капиталы... Какъ я могъ, не рискуя потерять васъ, сознаться ему, что никогда отъ роду я не думалъ издавать журнала и никогда не буду издавать его...

— А! вотъ что!...

— Если вамъ нуженъ богатый Пулькинъ, Пулькинъ журналистъ или издатель, то прогоните меня... Не плачьте, Леля... Я... я лучше уйду, если я непріятенъ вамъ...

— Мнѣ нуженъ не богатый Пулькинъ, а честный,— пролепетала Леля, и крупная слеза остановилась на блѣдной щекѣ ея.

— Если вы думаете, что я человѣкъ безчестный... то... сдѣлайте меня честнымъ, Леля...

— Ахъ, въ силахъ ли я измѣнить характеръ! Но... все, что вы сказали... это,.. это все еще можно оправдать. Мое сердце, можетъ быть, и оправдаетъ васъ... но скажите...

— Что?... спрашивайте! Вы видите, я готовъ во всемъ признаться вамъ...

— Нѣтъ, не теперь... я такъ боюсь! Есть одно... что можетъ разлучить насъ. Но... послѣ, послѣ... У меня кружится голова... Ради Бога, велите дать мнѣ стаканъ воды... Ахъ, если бы вы знали, какъ эти дни я страдала!... Вѣдь я полюбила васъ, Пулькинъ! Зачѣмъ это!...

Леля закрыла рукой глаза и откинулась на спинку стула.

Еще одна минута и Пулькинъ бросился бы къ ногамъ ея—такъ весь этотъ разговоръ потрясъ, взволновалъ и умилилъ его. Леля показалась ему такой несчастной, такой больной, такой маленькой, что ему сдѣлалось страшно жаль ея. Любовь его къ этой дѣвушкѣ достигла въ немъ своего апогея! Сильнѣе онъ уже не могъ любить.

— Воды, пожалуйста! повторила Леля уже слабымъ голосомъ.

Пулькину вообразилось, что съ ней дурнота или обморокъ. Дрожа всѣмъ тѣломъ, побѣжалъ онъ въ кухню искать воды, и въ коридорчикѣ, передъ растворенной дверью въ комнату Матильды, чуть не сбилъ съ ногъ Марѳу Сергѣевну. Къ счастью, онъ увидѣлъ ее вовремя и остановился.

— Милая Марѳа Сергѣевна, гдѣ бы мнѣ достать стаканъ холодной воды?... Ей дурно...

— Воды я ей сейчасъ принесу... А вы... я ужъ прошу васъ... вы уходите... отвѣчала ему Кроликова, загородивъ ему собой дорогу и глядя ему въ лице.

Пулькину показалось, что профиль старухи, обращенный къ свѣту, желтъ, какъ сухая лимонная корка, и вытянутъ такъ, какъ никогда еще не былъ вытянутъ.

— Развѣ я могу уйти?

— Вы теперь ей помочь не можете...

— Марѳа Сергѣевна... я люблю ее больше чѣмъ вы... я не могу уйти... и когда она больна—кататься или гулять, какъ вы изволите думать,—не могу!

— Все равно, что бы я ни думала... Замужъ она за васъ не выйдетъ!

Въ это время Матильда повернулась на своемъ стулѣ и стала глядѣть на нихъ.

Пулькинъ былъ точно обожженъ ударомъ грома. Опустивъ руки, онъ остался въ темномъ корридорѣ и стоялъ тамъ до тѣхъ поръ, пока Кроликова мимо него изъ кухни не пронесла графина съ водой и не отворила дверь въ столовую. Онъ сдѣлалъ шагъ и вошелъ въ комнату къ Тырковой.

Матильда закинула руку за спинку стула и встрѣтила его холоднымъ, непривѣтливымъ взглядомъ.

— Извините меня... если я мѣшаю вамъ,—началъ Пулькинъ, стараясь улыбаться:—Но, ради Бога, растолкуйте мнѣ, что значатъ слова Маѳы Сергѣевны? Я не понимаю ихъ... Я не вѣрю ушамъ своимъ...

— Отчего же вы не вѣрите?

— Нѣтъ, не вѣрю... почему Елена Александровна не пойдетъ за меня замужъ, тогда какъ она платитъ мнѣ взаимностью? Если... Еленѣ Александровнѣ слѣдуетъ лечь въ постель—я понимаю, что я долженъ уйти... это я понимаю-съ. Но пока она сама не скажетъ мнѣ, что я не стою руки ея, до тѣхъ поръ я—извините меня—я никому не повѣрю. Такъ и прошу я васъ передать слова мои Еленѣ Александровнѣ...

— Это, конечно, не мое дѣло... но... мнѣ кажется, вамъ самимъ будетъ тяжело или неловко на ней жениться, такъ какъ вы нашли деньги ея отца и, не объявивъ объ этомъ, свели его въ могилу...

— Я нашелъ деньги!.. Я... въ могилу!! съ ужасомъ повторилъ Пулькинъ, точно впервые отъ роду слышитъ онъ новость объ этомъ событіи. Кто вамъ могъ сказать? гдѣ доказательства?

— Не знаю съ... не мое дѣло доказывать—спросите Шталя!

— А! Шталя! Это выдумка Шталя... который самъ влюбленъ въ Лелю и ревнуетъ. Ну, теперь я понимаю... Старому селадону непріятно, что я стою у него на дорогѣ... и онъ изобрѣтаетъ всякія на мой счетъ нелѣпости! И вы вѣрите? и Елена Александровна вѣритъ?! Ну... Богъ съ ней! скажите ей... отъ меня, что я извиняю ей... передайте ей мое глубочайшее почтеніе-съ... Прощайте!

Поклонившись Матильдѣ, Пулькинъ, себя не помня, прошелъ въ переднюю, самъ надѣлъ на себя пальто, отыскалъ въ углу свою гуттаперчевую палку, отперъ дверь, сошелъ, вернулся позвонить, чтобъ за нимъ заперли, и черезъ минуту лежалъ уже въ своей наемной коляскѣ.

— Куда? спросилъ его извощикъ, трогая лошадей.

— Пошелъ на острова! крикнулъ Пулькинъ.

Коляска, гремя, понеслась и холодный, сѣверный вѣтеръ сталъ дуть въ лице несчастнаго Пулькина.

«Неужели я въ послѣдній разъ былъ въ ея комнатѣ и никогда, никогда ея не увижу?» думалъ Пулькинъ. По временамъ, слезы стояли у него въ глазахъ, по временамъ, онъ прикладывалъ гладкій набалдашникъ палки къ губамъ своимъ и старался убѣждать себя, что если будетъ разрывъ, то несомнѣнно это къ лучшему... несомнѣнно, ибо сама судьба не хочетъ, чтобъ онъ женился на бѣдной; что едва ли будетъ прочна любовь Лели, если она захочетъ, чтобы онъ жилъ и поступалъ такъ, какъ ей хочется, а онъ захочетъ, чтобы она понимала жизнь такъ, какъ онъ ее понимаетъ. По временамъ, онъ старался угадать, по какимъ соображеніямъ сенаторъ могъ открыть тайну его находки. И если онъ, по какимъ-то невѣдомымъ путямъ, дошелъ до убѣжденія, что Пулькинъ пользовался деньгами Затаилова, то какъ отнесутся къ нему Любины,

если этотъ сенаторъ также точно взбаломутитъ ихъ, какъ онъ взбаломутилъ Кроликовыхъ и опечалилъ Лелю.

— Пошелъ назадъ, въ городъ! закричалъ Пулькинъ, придержавъ рукой шляпу, потому что вѣтеръ чуть было не снесъ ее. Ему вдругъ захотѣлось заѣхать къ Любинымъ и узнать, пощупать, нѣтъ ли и тамъ какихъ нибудь про него слуховъ или сплетенъ, ибо лучше знать, чѣмъ не знать.

XXXII.

Но когда Пулькинъ вернулся въ городъ и уже катилъ по Невскому, онъ раздумалъ заѣзжать къ Любинымъ и потому, что онъ страшно продрогъ, и потому, что былъ до такой степени разстроенъ, что не хотѣлось ему никого видѣть, а тѣмъ болѣе говорить или любезничать.

Онъ велѣлъ извощику завернуть въ Караванную и тамъ, у своего подъѣзда, расплатился съ нимъ.

Къ довершенію всѣхъ нравственныхъ передрягъ и опасеній, Пулькинъ, вернувшись къ себѣ, нашелъ на столѣ повѣстку отъ полиціи, въ которой онъ приглашался на другой день явиться въ кварталъ *** по дѣлу за № 7781.

Хоть Пулькинъ и хвастался, гдѣ только могъ, хоть онъ и убѣждалъ себя, что у него характеръ желѣзный; по всего вѣрнѣе то, что характеръ у него былъ гуттаперчевый, способный растягиваться, сжиматься, гнуться и распрямляться,—однимъ словомъ, характеръ съ прозаической точки зрѣнія, несравненно лучше желѣзнаго. Прочитавъ повѣстку, онъ испугался; испугавшись, онъ сообразилъ, что если это дѣло о деньгахъ, потерянныхъ Затаиловымъ, то нѣтъ возможности доказать, что онъ нашелъ ихъ и что ему нужно только держать ухо востро... Если же это дѣло о его мнимомъ наслѣдствѣ, то и дѣла такого быть не мо-

жетъ—безобидно врать и шутить никому законами не воспрещается...

Часу въ первомъ ночи, не успѣлъ онъ раздѣться, какъ кто-то съ улицы постучалъ къ нему въ стекло окошка, судя по стуку, кончикомъ зонтика или тросточки. Пулькинъ вскочилъ, отодвинулъ тихонько край сторы и, въ лихорадочномъ мерцаніи тусклой и холодной ночи, увидѣлъ на тротуарѣ темную фигуру какой-то дѣвушки. Она тоже, должно быть, увидала за темнымъ стекломъ отодвинутый край шторы и махнула зонтикомъ по направленію къ запертому подъѣзду...

«Неужели Леля?» съ замираніемъ сердца въ первую минуту подумалъ Пулькинъ. «Нѣтъ, это не она... Кто же это?... Неужели Амальхенъ?» И Пулькинъ вспомнилъ, что онъ самъ училъ ее, въ случаѣ, если ей вздумается зайти не въ урочный часъ, не звонить, не вызывать швейцара, а постучаться въ окно...

«Кой чортъ въ эту ночь принесъ ее!... До того ли мнѣ?... А что, чортъ возьми! не попробовать ли... хоть чѣмъ-нибудь, хоть съ этой Амальхенъ развлечь себя... Все къ лучшему и всякое даяніе—благо...»

И, постучавъ пальцемъ въ окно, онъ пошелъ разбудить Николашку. Николашка натянулъ свои штанишки и, шлепая стоптанными туфлями, побѣжалъ отпирать подъѣздъ.

Амальхенъ видѣла Пулькина на Невскомъ, когда онъ катилъ, развалясь въ коляскѣ, и возгорѣлась желаніемъ не только вознаградить его за честную расплату по старымъ долгамъ, но и опять сдѣлать его должникомъ своимъ (если у него нѣтъ денегъ)... Хотя Пулькинъ и говорилъ ей, что онъ женится и не хочетъ ни съ кѣмъ связываться, но Амальхенъ этому плохо вѣрила,—пошла домой, переодѣлась, вымылась, надушилась и на «авось» отправилась постучаться къ Пулькину.

Не успѣлъ Николашка запереть за ней дверь, какъ уже она влетѣла и бросилась обнимать и цѣловать душку Пулькина...

— Не смѣйте ни о чемъ думать!... Что вы все думаете!... Фуй! щебетала ему Амальхенъ, въ третьемъ часу пополуночи теребя его за носъ... А когда онъ сердился и отворачивался, принималась щекотать его.

Да, если былъ въ эту ночь въ Петербургѣ человѣкъ, который, такъ сказать, пополамъ разорвалъ себя, и одной половиной своего существованія тѣшился продажной красотой, а другой половиной горько скорбѣлъ объ утратѣ милой и дорогой сердцу дѣвушки, одной половиной храбрился, и, такъ сказать, плевалъ на все и на всѣхъ, а другой—трусилъ какого-то дѣла подъ № 7781, то этотъ человѣкъ въ эту ночь былъ никто иной, какъ нашъ Александръ Васильевичъ Пулькинъ.

Въ эту же самую ночь Леля страдала безсонницей. Тщетно, хоть на четверть часа, старалась заснуть она, заснуть, чтобъ ни о чемъ не думать, чтобъ хоть на нѣсколько минутъ освободиться отъ этого несноснаго внутренняго трепета и замиранія, котораго она сама не могла постичь, не могла одолѣть, и которое по временамъ наводило на нее такую смертельную тоску, что она металась, и ночь казалась ей вѣчностью, и ранній разсвѣтъ—день въ два часа пополуночи—рѣзалъ ей глаза и тяготилъ ее. Весь домъ спалъ, и эта мертвая тишина безконечно однообразной нотой звенѣла у нея въ ушахъ. До пяти часовъ она еще была въ постели, въ пять у ней уже не хватило терпѣнія... Она задыхалась. Нервное волненіе такъ усилилось, что она его не вынесла, встала, обулась, одѣлась, накинула себѣ на голову большой черный, шелковый, съ черными цвѣточками платокъ, прошла въ коридоръ, поглядѣла въ дверь на спящую Матильду, и, мимо спящей кухарки, вышла на заднюю лѣстницу.

Дворникъ, спавшій подъ воротами, проснулся, и долженъ былъ по ея просьбѣ отпереть калитку.

— Я немного пройдусь и вернусь сейчасъ,—сказала она, кутаясь, и, вздрагивая, вышла на улицу.

Было тихое, свѣжее, солнечное утро. Ни одного облачка не было на небѣ, ни одного экипажа на улицѣ. Только тамъ, въ концѣ Знаменской, на Невскомъ что-то мелькало и двигалось. Гдѣ-то слышался благовѣстъ, гдѣ-то далеко, на желѣзной дорогѣ свистѣлъ выпускаемый паръ. Судя по запертымъ подъѣздамъ и спущеннымъ шторамъ, вся улица еще спала тѣмъ крѣпкимъ утреннимъ сномъ, какимъ спятъ усталые труженники, поздно домой вернувшіеся гуляки, богачи и голодные. Раздолье было воробьямъ; они кучами перелетали съ мѣста на мѣсто, суетились, подпрыгивали, щебетали, и Леля стала смотрѣть на нихъ такъ, какъ будто никогда прежде не замѣчала веселой жизни ихъ.

Какъ можно глубже старалась дышать она прохладой и тихо шла, шла, куда глаза глядятъ, и также тихо поворачивала свою голову, какъ бы боясь, что она упадетъ съ плечъ ея. Ничего не было новаго, ни особенно красиваго или грандіознаго въ этихъ домахъ, молчаливо вытянувшихся въ линію, какъ на парадѣ, ни въ этихъ каменныхъ тротуарахъ, ни въ этой исковырянной мостовой, ни въ этихъ фонарныхъ, заново вымазанныхъ краской столбахъ— и странное дѣло! на все, на все Леля глядѣла съ какимъ-то болѣзненнымъ умиленіемъ.

«Ахъ, какъ хорошо на улицѣ! Какъ хорошо, что я... ушла... Я бы задохлась тамъ...»

Пока Леля была въ постели, она, какъ испуганная, встревоженная тайной физической пыткой, мало думала о Пулькинѣ. Теперь онъ вдругъ пришелъ ей въ голову и ей казалось, что она уже помирилась съ нимъ, что и честныя натуры иногда заблуждаются, что можетъ это и

вздоръ, что говорятъ о немъ, и что во всякомъ случаѣ она не можетъ измѣнить ему, потому что... если она позволяла себѣ цѣловаться съ нимъ, значитъ, уже наполовину отдалась ему. «О, да! думала бѣдная Леля,—любовь есть сила и эта сила спасетъ его отъ всякихъ житейскихъ мерзостей, по крайней мѣрѣ, не допуститъ его принять въ нихъ участіе... О! да... онъ такъ меня любитъ, такъ любитъ»! И она еще съ большимъ умиленіемъ глядѣла на этотъ сѣрый городъ, наполовину покрытый тѣнью, наполовину потонувшій въ расплавленномъ золотѣ чистыхъ солнечныхъ лучей.

Она завернула на Бассейную улицу, потомъ пошла по Литейной; тутъ уже не было такого сна, такой тишины. Стучалъ молотъ, перемащивали мостовую, двигались фуры, проскакала коляска съ какой-то роскошно растрепанной барыней. Сгорбленная старушка съ дѣвочкой плелась ей навстрѣчу, и когда старуха низко ей поклонилась, Леля, пощупавъ свои кармашки, къ немалой радости, въ одномъ изъ нихъ нашла двугривенный и отдала его. «Благослови тебя Мать Пресвятая Богородица, спаси тебя Господи и помилуй!» заголосила старушка, крестясь и поднявъ къ небу сморщенные глаза свои, тогда какъ глаза ея дѣвочки глядѣли на Лелю такъ, какъ глядятъ дѣти любопытныя, но ничему неудивляющіяся и еще весьма неясно понимающія, почему двугривенный лучше мѣднаго пятака,—оттого ли, что онъ бѣлый, а тотъ темный, или оттого, что онъ маленькій, а тотъ большой. Вотъ она маленькая и старухи не любитъ, а старуха большая, но часто дерется и ее любитъ.

Леля перешла Симеоновскій мостъ и остановилась на углу Караванной. Она не только знала, гдѣ живетъ Пулькинъ,—знала, гдѣ его окна.

«Ахъ, если бы не было такъ рано», подумала она, «я бы его вызвала!»

Прошелъ какой-то лавочникъ, подмигнулъ ей глазомъ и сказалъ:

— Хорошо ли ночку прогуляли, сударыня?

— Хорошо! отвѣчала Леля. — Этотъ двусмысленный вопросъ нисколько не оскорбилъ ея. Она едва поняла, что значитъ «прогуляла» и отвѣчала: «хорошо», потому что въ эту минуту, послѣ ночныхъ томленій и безсонницы, ей было хорошо, голова не болѣла, и только кружилась иногда, какъ у пьяной...

«Какое необыкновенное утро!» мечтала Леля. Это утро, дѣйствительно, казалось ей не совсѣмъ обыкновеннымъ, потому что и нервы ея были въ не совсѣмъ обыкновенномъ состояніи, точно наэлектризованы. «Нѣтъ,» продолжала думать Леля о Пулькинѣ, «теперь еще рано... Пойду, посижу на бульварчикѣ... О! онъ непремѣнно докажетъ мнѣ, что это клевета! непремѣнно онъ себя оправдаетъ! Статочное ли это дѣло, чтобъ онъ, именно онъ, а не кто другой нашелъ эти проклятыя деньги! Выдумаетъ же этотъ сенаторъ! Я развѣ не знаю, что онъ... таки не совсѣмъ ко мнѣ равнодушенъ... Только тетю мою встревожилъ!»

И, усѣвшись на скамеечкѣ и плотно обѣими руками завернувшись въ мягкій платокъ своей покойной матери, она не чувствовала холода, и всѣ мысли ея, какъ нарочно, были такія фантастично-розовыя, такія ядовито-сладкія, любовныя и въ то же время безстрастныя. Ей просто хотѣлось, чтобъ Пулькинъ сидѣлъ съ ней рядомъ, чтобъ рука ея покоилась въ рукѣ его, чтобъ вмѣстѣ глядѣли они на это синее небо, съ поднимающимся бѣлымъ облакомъ, на пробуждающуюся жизнь, на почки липъ, на эти маленькіе, еще свернувшіеся въ узелокъ березовые листики, на все, на все, что въ это утро ей такъ нравилось и такъ плѣняло, какъ никогда еще не плѣняло!

Даже думы ея были какъ-то глубже и шире, чѣмъ

когда нибудь; она видѣла то, чего никогда не видала; и непостижимая связь между ея сердцемъ и всею видимой ею природой зараждалась въ ней, и хотѣлось ей высказываться, говорить, говорить горячо, ласково, любовно; но говорить было не съ кѣмъ, не съ кѣмъ было ей въ это утро подѣлиться душей своей.

XXXIII.

На слѣдующій день, позднѣе всѣхъ явился Пулькинъ на службу въ свое отдѣленіе. Съ озабоченнымъ, измятымъ лицемъ, подозрительно поглядывалъ онъ по сторонамъ. Пулькинъ казался больнымъ и усталымъ. Первымъ его вопросомъ было, не спрашивалъ ли его Дмитрій Ѳедоровичъ? Ему отвѣчали, что не спрашивалъ. Онъ закурилъ папироску, затянулся, сѣлъ къ своему столу и сталъ, въ качествѣ исправляющаго должность секретаря, на перебѣленныхъ бумагахъ, въ самомъ низу подписывать: «А. Пулькинъ», «А. Пулькинъ», «А. Пулькинъ».

Кончивъ эту работу, онъ положилъ перо и задумался.

«Самое лучшее—это самому предупредить всякіе толки и сплетни, иначе этотъ Шталь и здѣсь успѣетъ навредить мнѣ, особливо если у него и здѣсь есть пріятели.»

Не дождавшись, чтобъ вызвали его, онъ всталъ, собралъ подписанныя имъ бумаги, высморкался и отправился въ ту комнату, гдѣ сидѣлъ Савишинъ.

Савишинъ не любилъ, чтобъ его безпокоили, но Пулькинъ состоялъ какъ бы на особыхъ правахъ и иногда безбоязненно подходилъ къ нему.

— Что вамъ угодно? спросилъ его Савишинъ. Онъ читалъ въ «Revue de deux mondes» одну изъ статей Мазада о Россіи, такъ какъ объ этой статьѣ не мало было толковъ въ высшемъ обществѣ. Савишинъ всегда зналъ, что говорится въ высшемъ обществѣ, гдѣ его считали

большимъ либераломъ, что нисколько его не смущало. Напротивъ, либерализмъ, страшный въ сороковыхъ годахъ, уже казался чѣмъ-то въ высшей степени невиннымъ, приличнымъ и комфортабельнымъ. Онъ уже сталъ чѣмъ-то въ родѣ масла, которымъ подмазывались винты, колеса и поршни бюрократической машины, и, стало быть, былъ даже полезенъ въ нѣкоторомъ отношеніи: не скрипѣло то, что могло бы скрипѣть.

— Извините, Дмитрій Ѳедоровичъ,—началъ Пулькинъ, я сегодня явился поздно, ибо получилъ приглашеніе быть въ гостяхъ у частнаго пристава.

— Это какъ? Зачѣмъ? удивился Савишинъ.

— Надъ этимъ вопросомъ я и самъ вчера весь вечеръ ломалъ себѣ голову. Добро бы еще долженъ былъ кому нибудь по векселю...

— А много вы ихъ подписали на своемъ вѣку? А?..

— Пока еще ни одного, а что будетъ впереди, не знаю...

— Безъ этого не обойдетесь — нельзя у насъ безъ этого... Время такое разгильдяйное!

Пулькинъ не спѣшилъ отвѣчать Савишину на вопросъ, зачѣмъ онъ былъ въ полиціи? Онъ положилъ передъ нимъ бумаги и далъ ему время бѣгло пробѣжать ихъ глазами... Въ одной изъ этихъ бумагъ Савишинъ, не говоря ни слова, перекрестилъ карандашемъ какую-то фразу и на поляхъ внесъ ее въ видоизмѣненномъ видѣ, болѣе приличномъ, по его мнѣнію. Вообще, Савишинъ былъ изъ числа тѣхъ, которые въ изложеніи бумаги, хотя бы она заключала въ себѣ выговоръ или нотацію, требовалъ мягкости, иначе сказать, безобиднаго склада фразы; несомнѣнно, что и въ этихъ поправкахъ, часто въ ущербъ прямотѣ и ясности, сквозилъ либерализмъ его. — Это надо переписать,—сказалъ онъ Пулькину, и, отложивъ помѣченную бумагу, снова повернулъ къ Пулькину свою юношескую лы-

сину, заглянулъ ему въ лице снизу вверхъ и, улыбнувшись, процѣдилъ сквозь зубы:—ну, такъ что же? По какому это поводу вздумалось полиціи обезпокоить васъ... А?

— Помните, Дмитрій Ѳедоровичъ, я говорилъ вамъ какъ-то, что меня обокрали. Такъ вотъ-съ, не смотря на то, что я не подавалъ никакого заявленія, воровка моя нашлась и меня ставили съ ней на очную ставку... Тутъ еще примѣшалась такая глупость, что совѣстно даже говорить...

— Что такое?

— Изволите вы знать нѣкоего Сопѣлкина?

— Нѣтъ...

— А сенатора Шталя знать изволите?

— И о сенаторѣ Шталѣ не имѣю никакого понятія...

«Очень радъ, что ты ихъ не знаешь!» подумалъ про себя Пулькинъ и началъ:

— Жаль, что вы не знаете этого Шталя. Это-съ нѣчто въ родѣ лифляндскаго Собакевича-съ, ей Богу...

— Какъ... какъ вы назвали?... Ха, ха!

— Я его назвалъ-съ лифляндскимъ Собакевичемъ.

— Это почему?

— Да потому, что онъ на все и на всѣхъ огрызается, сложенъ, какъ чурбанъ и говоритъ басомъ... И что же-съ! Я, надо признаться вамъ, Дмитрій Ѳедоровичъ, на дняхъ чуть было не сдѣлалъ предложеніе одной дѣвушкѣ, которую онъ опекаетъ, въ качествѣ закадычнаго друга ея покойнаго отца, и за которой ухаживаетъ, въ качествѣ влюбленнаго селадона-съ... Кто-жъ его зналъ, что онъ влюбленъ въ нее! Разумѣется, Дмитрій Ѳедоровичъ, сталъ онъ измышлять всякія средства какъ-нибудь поссорить насъ... и измыслилъ. Покойникъ когда-то, гдѣ-то потерялъ бумажникъ съ деньгами...

— Постойте! эта дѣвица богата?

— Есть гдѣ-то какое-то имѣніе, которое не даетъ

ни копѣйки, или можетъ быть, рублей 500 въ годъ, да пенсія...

— И вы увлеклись! Ахъ вы, Пулькинъ, Пулькинъ! Не ожидалъ я отъ васъ такого ребяческаго промаха!.. Да что вы послѣ этого за современный юноша! Посмотрѣли бы вы, какъ это дѣлается во Франціи! Тамъ эта красота или эта любовь никакой роли не играютъ въ такомъ серьезномъ дѣлѣ, какъ бракъ! Интересъ тутъ главное: есть деньги, есть приданое, ну, и прекрасно! нѣтъ—покорнѣйше васъ благодарю!.. Тамъ влюбляются только школьники да пожилые холостяки и, разумѣется, знаютъ, въ кого влюбляться... Мало ли есть замужнихъ дамъ, для которыхъ мужья хуже горькой рѣдьки; наконецъ, мало ли кокотокъ или такихъ, которыя на столько умны, что сами не выходятъ замужъ, пока не нападутъ на случай нажить капиталецъ, открыть лавочку или купить кусокъ земли въ провинціи... Видите, какъ въ цивилизованныхъ то странахъ дѣлается!.. Но какое же все это имѣетъ отношеніе къ очной ставкѣ... и...

— Казалось бы никакого, а вышла прекурьезная и пресмѣшная исторія-съ. Отецъ этой самой дѣвушки... нѣкто Затаиловъ... потерялъ бумажникъ съ деньгами. Полиція, или—извините—не полиція, а какой-то архитекторъ нашелъ этотъ самый бумажникъ въ рукахъ какого-то не то плотника, не то каменьщика, и такъ найденный бумажникъ, безъ денегъ, разумѣется, представилъ въ полицію. Не зная, что съ нимъ дѣлать, полиція обратилась къ Затаиловой, спрашиваетъ, не это-ли бумажникъ ея покойнаго батюшки? Оказывается тотъ самый. Разумѣется, что оставалось полиціи, какъ не показывать его всякимъ ворамъ и мошенникамъ, да не разспрашивать, не видѣли ли они этого бумажника въ чьихъ нибудь рукахъ. Подвернулось дѣло Софьи Даниловой, той самой, что меня обокрала и которую тоже обокрали. Спрашиваютъ, не

знакомъ ли ей этотъ бумажникъ? Она и говоритъ, что, кажется, она его видѣла въ моихъ рукахъ, когда была у насъ кухаркой. Докладываютъ объ этомъ Шталю. Шталь распускаетъ слухъ, что я нашелъ деньги и не вернулъ. Всѣ приходятъ въ ужасъ!... Наконецъ, призываютъ мени... не то слѣдователь, не то полицейскій сыщикъ начинаетъ задавать мнѣ разные допросные пункты-съ. Что такое? ничего не понимаю! Долго даже догадаться никакъ не могъ, въ чемъ тутъ дѣло и чего отъ меня эти люди хотятъ. Наконецъ, говорю, гдѣ же эта Софья? Возьмите, говорю, мой бумажникъ и спросите ее, этотъ ли бумажникъ видѣла она въ моихъ рукахъ? Къ счастью, что бумажникъ то мой былъ у меня въ карманѣ-съ. Подходитъ воровка... Ну что, милая, говорятъ, этотъ ли самый бумажникъ видѣла ты въ рукахъ господина Пулькина? Этотъ самый, говоритъ-съ. Ну, и стало всѣмъ ясно, что всѣ они олухи Царя Небеснаго и что я тутъ не причемъ-съ. Тутъ я, Дмитрій Ѳедоровичъ, признаться вамъ, погорячился,—можно ли такъ, зря, призывать на слѣдствіе всякаго, кого имъ вздумается... Узнавши, что у этой самой Софьи найдено при обыскѣ 1,000 рублей, я подалъ заявленіе, что она меня обокрала поддѣльнымъ ключемъ, снявши воскомъ размѣръ замочной скважины, и что если у ней есть деньги, то онѣ должны быть мнѣ возвращены по праву собственности. Пусть же ее засадятъ и судятъ, какъ воровку, такъ какъ за мое великодушіе она отплатила мнѣ клеветой и надѣлала мнѣ непріятностей. Вотъ какая была со мной исторія...

— Да-съ, ужасно глупая была съ вами исторія!... Такъ вы думаете, что вамъ отдадутъ украденныя деньги? Врядъ ли! Развѣ подѣлитесь?!

— Да хотя и ничего не получу, мнѣ все равно; это не раззоритъ меня! Главное—принципъ, законная-съ почва... право собственности...

— Ну-съ, а какъ же на счетъ этой особы прелестнаго пола, которую вы собирались превратить въ госпожу Пулькину?

— Да еще и самъ не знаю-съ, Дмитрій Ѳедоровичъ.

Пулькинъ почувствовалъ у себя на душѣ что-то нехорошее, или, какъ говорится, кошки заскребли у него на сердцѣ.

— Можетъ быть... какъ нибудь это дѣло... и устроится... Я вѣрю въ ея любовь... и если она бѣдна... то что же дѣлать!

— Что дѣлать? Дѣлать то, что подсказываетъ опытъ и благоразуміе... Что вы за милліонеръ? Да если бы и милліонеромъ сдѣлались,—мало ли на свѣтѣ красивыхъ тѣлесъ съ придачею всякой благодати Божіей! Въ нашъ вѣкъ и Родшильды не женятся на бѣдныхъ. Предоставьте эту глупость тѣмъ, которымъ ничего не стоитъ погрязать въ постыдной бѣдности! Ну, тѣ пусть пробавляются любовью, а потомъ клянчатъ да плачутся на то, что многочисленное потомство заѣдаетъ ихъ... Одинъ проситъ каши, другой—картуза, третій—сапоговъ, четвертый—книгъ да тетрадей и проч... фа!

Савишинъ почувствовалъ, что онъ уже слишкомъ разговорился, и сталъ уже потрогивать своими выхоленными руками лежащія передъ нимъ бумаги.

— Гмъ! А когда въ послѣдній разъ вы были въ отпуску?

— Ни разу не былъ... съ тѣхъ поръ, какъ служу... ни разу-съ...

— Ба! неужели ни разу?

— Ни разу, Дмитрій Ѳедоровичъ, и я былъ бы очень благодаренъ вамъ, если бы мнѣ, вмѣсто отпуска, дали какое-нибудь порученіе въ Ярославль или Ярославскую губернію...

— Вы секретарь, какое же вамъ можно дать порученіе?!

— Не какъ секретарю или исполняющему эту должность, а какъ чиновнику, причисленному къ министерству... Я полагаю, что это... можно бы...

— Это не отъ меня зависитъ... Впрочемъ, не знаю... можетъ быть... Который-то часъ?

Савишинъ вынулъ часы; Пулькинъ тоже вынулъ часы.

— Шестого четверть,— сказалъ Савишинъ,— пора, пора!

— У меня пять минутъ шестого-съ. Извините, если я утомилъ васъ или помѣшалъ вашимъ занятіямъ, Дмитрій Ѳедоровичъ!

— Ничего, помилуйте; а на счетъ отпуска или порученія—объ этомъ мы еще успѣемъ переговорить, г. Пулькинъ... Прощайте!

Изъ этого разговора, кажется, ясно, зачѣмъ Пулькинъ призывался въ полицію и какъ счастливо отдѣлался онъ отъ допроса, благодаря случайному сходству двухъ бумажниковъ. Неудачный отвѣтъ Софьи не только спасъ нашего Пулькина отъ дальнѣйшихъ непріятностей, но и воротилъ ему то самообладаніе, безъ котораго онъ могъ бы сбиться съ толку или запутаться. Скажу одно въ заключеніе: на вопросъ, откуда 4-го января у него явились деньги? Пулькинъ отвѣчалъ, что 4-го января у него въ карманѣ было всего 50 рублей, которые онъ вынулъ при гостяхъ изъ своего жилета, а потомъ, повѣривши слухамъ о наслѣдствѣ, занялъ 2,000 рублей. На вопросъ, у кого онъ занялъ эти 2,000? Пулькинъ отвѣчалъ, что онъ этого не скажетъ, ибо не хочетъ, чтобъ давшій ему деньги былъ такъ же, какъ и онъ, привлеченъ къ допросу, и не хочетъ только потому, что это у кредитора можетъ подорвать къ нему довѣріе или же поселить въ немъ такое же нелѣпое подозрѣніе,—однимъ словомъ, Пулькинъ об-

наружилъ себя и тѣмъ, что струсилъ, и тѣмъ, что выпутался, и тѣмъ, что на свою точку зрѣнія поставилъ своего ближайшаго начальника — на тотъ случай, если бы тотъ какъ-нибудь со стороны услыхалъ о дѣлѣ за № 7781.

XXXIV.

Если отношенія Пулькина къ Лелѣ или Лели къ Пулькину не были лишены кое-какого драматизма, то въ домѣ ея превосходительства Любиной совершалась чистѣйшая комедія. Анна Петровна (какъ это и прежде безпрестанно случалось съ ней) вдругъ почувствовала къ инженеру Дымину самое неограниченное довѣріе, особливо съ тѣхъ поръ, какъ онъ выручилъ и притащилъ къ ней съ выставки портретъ ея. (Портретъ этотъ она завернула въ старое зеленое сукно и велѣла отнести его въ гардеробную).

Чувствуя себя не совсѣмъ здоровой (отъ всякихъ житейскихъ бурь и треволненій, какъ воображалось ей), Анна Петровна боялась умереть, и, въ одномъ интимномъ разговорѣ съ Дыминымъ, жаловалась ему на дочь свою.

— Что мнѣ дѣлать? Что мнѣ дѣлать, чтобъ она не увлекалась и не мечтала объ этомъ Пулькинѣ?—Съ тѣхъ поръ, какъ Пулькинъ занялъ у ней деньги, она уже относилась къ нему съ нѣкоторымъ недовѣріемъ.

— Ничего не дѣлать,—совѣтовалъ ей Дыминъ—и, если хотите, я въ три недѣли ее вылечу.

— Ахъ! сдѣлайте это... сдѣлайте это, другъ мой Андрей Петровичъ! Вы знаете, до какой степени я вѣрю вамъ! Гдѣ ужъ мнѣ ее образумить! Я мать...Что я значу? Развѣ она меня послушаетъ? Я ей слово, а она мнѣ два... Что дѣлать! Поколѣніе такое неблагодарное. Тоже увѣряетъ меня, что портретъ мой похожъ! Точно у меня глазъ нѣтъ. Какъ вамъ это нравится? Пулькинъ опять

пропалъ, и я ужъ не знаю право, на что это Лиза моя надѣется!?

Богъ знаетъ, на что надѣялась Лиза, но она надѣялась. Она до такой степени ставила себя выше Лели во всѣхъ отношеніяхъ, что ослѣпленіе Пулькина казалось ей просто какимъ-то недоразумѣніемъ. Ей думалось, что Пулькинъ потому только ее не любитъ, что не смѣетъ любить ее. Она не разъ подсылала свою дѣвушку къ горничной Кроликовыхъ узнать, когда свадьба, и всякій разъ получала отвѣтъ, что о свадьбѣ еще и слуха нѣтъ. Чѣмъ рѣже Пулькинъ являлся въ гостиной ея матери, тѣмъ сильнѣе разгоралось ея воображеніе; она тосковала и положительно нуждалась въ другѣ, который бы помогъ ей совѣтомъ и съ которымъ она могла бы говорить безъ всякихъ церемоній. А съ кѣмъ же могла бы она говорить безъ всякихъ церемоній, какъ не съ Дыминымъ, къ которому она привыкла чуть не съ дѣтства, съ которымъ не разъ кокетничала отъ скуки, который ни разу ее ни къ кому не ревновалъ и который такъ проницателенъ, что по временамъ читаетъ у ней въ душѣ такъ, что даже злитъ ее.

Въ тотъ самый сиверкій вечеръ 1-го мая, когда Пулькинъ, въ послѣдній разъ, сидѣлъ и изнывалъ душой у бѣдной Лели, Лиза, вздернувъ носикъ, сидѣла въ своей комнатѣ, облокотясь на свой маленькій письменный столикъ съ пульпитромъ и бронзовой, грушевидной чернильницей.

— Такъ вы думаете, Андрей Петровичъ, что я первая должна рѣшиться писать къ нему? Иначе сказать, вы думаете, что во мнѣ уже нѣтъ ни капельки, ни малѣйшей капельки женской гордости...

Дыминъ въ эту минуту стоялъ отъ нея въ двухъ шагахъ, глубокомысленно надувши губы, свѣсивъ усы и заложа руку за пазуху.

— Да и не должно быть! Что за гордость! Гмъ!

Гордость, когда нѣтъ смиренія! А смиреніе-то заключалось бы, какъ бы это сказать? Фу! никакъ тутъ съ вами и словъ не подберешь... Ну, да что такое женская гордость? Это гордость смиренія,—другой гордости и быть не должно... Ну, положимъ, вы не хотите къ нему писать изъ сатанинской гордости, такъ какъ же онъ узнаетъ, что вы по немъ сохнете?

— Ужъ будто и сохну?

— Сохнете...

Лиза задумалась и сдвинула брови. Ей вовсе не хотѣлось высохнуть ради Пулькина или ради своей сатанинской гордости.

— Ну, такъ что же я могла бы написать ему? Ну, диктуйте... я погляжу, что вы мнѣ продиктуете...

— Ну, хорошо-съ, пишите: «Милый Пулькинъ!»

— Почему же не милый Александръ Васильевичъ? Это вовсе нехорошо: Пулькинъ!

— Почему же нехорошо? Вѣдь вы же хотите быть Пулькиной, ну, и пріучайтесь какъ можно чаще писать и произносить: «Пулькинъ! Господинъ Пулькинъ! Милый Пулькинъ!»

— Э! съ вами не сговоришь! Ну, что же дальше? произнесла она съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ неудовольствія.

Дыминъ подумалъ, оглянулся на дверь и началъ восторженно:

— «Я такъ страстно люблю васъ, что, не смотря на мою гордость, рѣшаюсь писать къ вамъ. Сжальтесь надъ моимъ бѣднымъ сердцемъ, надъ моими слезами, надъ моими безсонными ночами, надъ моимъ страданіемъ...» Написали?

— И писать не хочу! Скажите, пожалуйста, вы смѣетесь, что ли?... Право, смѣетесь! «Сжальтесь!» За кого же вы меня принимаете? Я буду писать ему: «сжаль-

тесь!»—И Лиза, повернувшись, увидѣла удивленное, какъ бы озадаченное лице Дымина и захохотала...

— Чему?... еще пуще удивясь, пожавъ плечами и скривя губы, спросилъ ее Дыминъ.

— Ахъ, какой вы, Дыминъ, забавный! Вы, вѣрно, когда-нибудь получили письмо отъ какой-нибудь сантиментальной дѣвицы, которое именно такъ начиналось...

— Да, да! Я потому вамъ такъ и диктую...

— Такъ она и писала вамъ: «сжальтесь?»

— Ну да! серьезнымъ тономъ, безъ малѣйшей улыбки отвѣтилъ Дыминъ.

— Ну, что жъ вы—сжалились?...

— Вообразите, сжалился.

Дыминъ сложилъ руки и такъ поглядѣлъ на Лизу, что та опять захохотала.

— Ну, и что же?

— Ну, и ничего, сжалился, написалъ ей, что я ее обожаю и чтобъ она не плакала—тѣмъ все и кончилось.

— А! вотъ что! вотъ вы чего хотите! Чтобъ все это кончилось ничѣмъ, тогда какъ я уже не разъ говорила вамъ и теперь повторяю, что или я выйду замужъ за Пулькина, или ни за кого не выйду. Тутъ вопросъ всей моей жизни, а вы такой вздоръ заставляете писать меня!

— Я вижу, Лизавета Михайловна, вы еще того... неопытны, говорите «вздоръ», «вздоръ», а не понимаете, что такъ и слѣдуетъ! Я на своемъ вѣку... Гмъ!... Я прочелъ, по крайней мѣрѣ, полтораста любовныхъ записочекъ... и раздушенныхъ, и съ кляксами, и всякихъ... и всѣ онѣ были «вздоръ», потому что такъ и должно быть! Коли вы любите, такъ ужъ, того-съ—извините, тутъ уже нечего ума спрашивать! Иначе, кто же повѣритъ вамъ? Тутъ, я вамъ скажу, тутъ... только любовная чепуха и трогательна!... Нельзя безъ этого. Пишите!

— Ну, ужъ нѣтъ! Если нужна чепуха,—я и безъ васъ...

— И чудесно-съ! покрививъ губы, замѣтилъ Дыминъ и опять вопросительно поглядѣлъ на Лизу.

— Что вы на меня такъ смотрите? Досадный вы человѣкъ!

— Я, знаете, только чего боюсь? Начнете вы безъ меня писать—и выйдетъ такъ умно, что хоть брось, потому что я умнѣе васъ никого еще не встрѣчалъ: ей Богу...

Лиза не была бы маменькиной дочкой, если бы этотъ комплиментъ не польстилъ ей—и онъ польстилъ ей какъ нельзя кстати. Ей уже казалось, что Дыминъ не серьезно глядитъ на ея чувство, и это начинало уже обижать ее.

Въ томъ же родѣ разговоры велись между ними всякій разъ, когда они видѣлись. Анна Петровна лежала у себя на кушеткѣ или въ постели и, къ счастью, не мѣшала имъ, даже не знала иногда, что Дыминъ сидитъ въ комнатѣ Лизы и, подъ видомъ ея наперсника, смѣшитъ ее. И всякій разъ, послѣ такихъ разговоровъ, воображеніе влюбленной дѣвушки тускло, какъ холодное зеркало, на которое дышатъ. Она меньше мечтала въ постели и цѣлымъ часомъ засыпала ранѣе. При этомъ слѣдуетъ еще и то замѣтить, что эти препирательства на любовную тему наполняли время и жизнь Лизы хоть какимъ-нибудь содержаніемъ, замѣняли ей и свѣтскіе визиты, и отзвучавшіе концерты, и оперу, и карты, и капризы маменьки. Это было хоть «что-нибудь», а «что-нибудь» все все же лучше, чѣмъ «ничего».

XXXV.

Стихаревъ, задавшись цѣлью, во что бы то ни стало, рано или поздно, добиться отъ Лели удовлетворенія своей безумной страсти, вертѣлся около точки умопомѣшательства, какъ ночная бабочка около горящей свѣтильни.

Крайній матеріализмъ, также какъ и крайній идеализмъ, часто ведутъ къ одному и тому же результату, къ одной и той же катастрофѣ. Какой влюбленный идеалистъ обращаетъ вниманіе на средства къ жизни, когда стремится къ обладанію той дѣвушкой, въ которой, такъ сказать, воплощается идеалъ его? Стихаревъ тоже ни разу не подумалъ о томъ, что у него нѣтъ ни денегъ, ни охоты работать, ни обезпеченнаго мѣста,—онъ только хотѣлъ любви и обладанія, внѣ всякихъ житейскихъ соображеній, и не задавалъ себѣ вопроса о будущемъ.

Судя по себѣ, Стихаревъ былъ глубоко убѣжденъ, что Пулькинъ уже владѣетъ Лелей, какъ своей любовницей — и злость душила его при мысли, что какой-то франтъ и глупый аристократишка (Пулькинъ былъ аристократомъ въ глазахъ Стихарева, также какъ въ глазахъ Пулькина аристократомъ былъ Савишинъ, а въ глазахъ Савишина—Буганинъ), что какой-то чиновникъ Пулькинъ не успѣлъ показать носу и безъ всякаго труда завладѣлъ его добычей. Онъ былъ весь, такъ-сказать, погруженъ въ мысленное созерцаніе того блаженства, которое вкушалъ его соперникъ, и ненависть — тяжелая, глухая и нѣмая, завладѣла всѣмъ юнымъ существомъ его. То хотѣлъ онъ подстеречь Пулькина, и если не убить его, то хоть расквасить ему физіономію, то хотѣлъ учинить какую-нибудь пакость Еленѣ Затаиловой. Какъ ни противенъ былъ ему Пулькинъ, онъ считалъ его менѣе передъ собой виноватымъ, чѣмъ Лелю. Она, это онъ видѣлъ, она сама подала ему поводъ за собой ухаживать и надѣяться. Она, а не онъ, какъ бы на зло ему, поцѣловала Пулькина въ его присутствіи, когда въ послѣдній разъ онъ черезъ кухню пробрался къ нимъ, и, подслушивая у дверей, слышалъ, какъ спускалась стора. Не отвори она этой двери, онъ бы самъ сорвалъ ее съ петель, лишь бы застать ее на мѣстѣ преступленія. Ненависть къ ней въ

послѣдніе дни до такой степени возрасла въ душѣ его, что антипатія или презрѣніе къ Пулькину исчезли въ ней, какъ черное пятно исчезаетъ въ непроглядномъ мракѣ.

4-го мая, около одиннадцати часовъ Стихаревъ отправился къ Кроликовымъ. У него въ карманѣ былъ небольшой заряженный пятиствольный револьверъ. Онъ не купилъ его, — онъ его добылъ у одного юнкера, съ которымъ нарочно ходилъ за городъ стрѣлять въ цѣль. Онъ упросилъ его дать ему эту штуку на подержаніе. Онъ обѣщалъ ему его вымыть и вычистить.

Шелъ онъ по тротуарамъ своимъ обыкновеннымъ широкимъ шагомъ, немного покачиваясь впередъ и при этомъ сгибая колѣни. Лице его было блѣдно, но никого бы не поразило своею блѣдностью. Онъ шелъ въ послѣдній разъ увидѣть Лелю и объясниться съ нею, испугать ее хоть силою своей ненависти, если нельзя привлечь ее силою страсти—и затѣмъ что будетъ, то будетъ

Хотя мысль застрѣлить ее и застрѣлиться самому уже три дня какъ сидѣла въ головѣ его,—онъ не зналъ, когда шелъ, чѣмъ все это кончится. Не было у него яснаго, опредѣленнаго намѣренія совершить злодѣяніе, его влекла какая-то безсознательно-слѣпая сила. То онъ думалъ: «о! я ихъ всѣхъ поражу... будутъ помнить! Ишь, еще судить меня вздумали!» — То онъ думалъ: «я ее испугаю... увидитъ, что я не шучу, и кто знаетъ, можетъ быть согласится куда-нибудь уйти со мной!»—То онъ думалъ: «если судьба не дала мнѣ львиныхъ зубовъ, она дала мнѣ въ руки огнестрѣльное оружіе. Я—звѣрь съ револьверомъ, вмѣсто зубовъ...»

Не сознавалъ Стихаревъ, что онъ былъ хуже звѣря, ибо нѣтъ такого звѣря, который бы до смерти загрызалъ самку за то, что она не отдала ему предпочтенія. Но я уже сказалъ, что Стихаревъ вертѣлся на точкѣ умопомѣшательства. Колоссальное самолюбіе его было сброшено

съ пьедестала и открывалось пустое мѣсто, съ которымъ не могла помириться неразвитая воспитаніемъ, исковерканная душа его. Онъ и себя ненавидѣлъ, и себя презиралъ. Ему не было жаль ни себя, ни Лели, ни Кроликовыхъ, ни Пулькина, ничего, что въ это утро видѣли глаза его. Не смотря на это, онъ очень хорошо понималъ, зачѣмъ онъ выбралъ 11 часовъ утра, для того, чтобъ отправиться къ Лелѣ. Онъ зналъ, что этотъ часъ самый для него удобный. Савелій Кроликовъ сидитъ у себя въ кабинетѣ и съ перомъ въ рукахъ ничего не слышитъ; Марѳа Сергѣевна съ кухаркой пошла на рынокъ покупать провизію и до часа пополудни будетъ торговаться и выбирать зелень и говядину; Кроликовъ уйдетъ на службу, Матильда будетъ у себя въ комнатѣ, Леля у себя съ книгой или съ гребнемъ въ рукахъ, смотря по расположенію духа.

Тѣмъ же шагомъ прошелъ онъ ворота, дворъ, поднялся по задней лѣстницѣ до второго этажа, гдѣ квартировали Кроликовы.

Дверь въ кухню ихъ не была заперта. Онъ думалъ, что сейчасъ явится горничная и попроситъ его обойти съ другаго, параднаго входа. Онъ послушается, пойдетъ съ параднаго входа, и она отворитъ ему дверь въ переднюю. Онъ скажетъ, что пришелъ къ Савелію Дмитріевичу по очень важному дѣлу и по его приглашенію. Но кухня была пуста.

«Что же это они не запираются? Обокрасть ихъ можно!» подумалъ Стихаревъ.

Онъ оглядѣлся.

На кухонномъ столѣ, въ деревянной чашкѣ, стоялъ ледъ...

«Мороженое на сговоръ дѣлать собираются...» подумалъ Стихаревъ и отворилъ дверь въ темный коридорчикъ, который велъ мимо комнаты Матильды.

Мысли объ убійствѣ или самоубійствѣ въ эту минуту не было въ головѣ его; онъ думалъ только, какъ бы пройти такъ, чтобы его не замѣтили.

Дверь въ комнату Матильды была растворена и освѣщала старый шкафъ, поставленный въ коридорѣ для мыла, свѣчей, подсвѣчниковъ и для всякой всячины.

«Если я буду прокрадываться,» подумалъ онъ, «Матильда тотчасъ же услышитъ, обратитъ на меня вниманіе и окликнетъ.»

И Стихаревъ прошелъ мимо ея двери обыкновеннымъ шагомъ и мелькомъ видѣлъ, что Матильда сидитъ у себя на кровати, держитъ передъ собой своего мальчугана и что-то на немъ застегиваетъ. «Она близорука,» вспомнилъ Стихаревъ и отворилъ дверь въ столовую.

Первое, что поразило его—это запахъ уксуснаго курева и мѣдный тазъ съ простывшимъ кирпичемъ на стулѣ. Въ комнатѣ Кроликова слышался разговоръ и голосъ Маѳы Сергѣевны.

«Э! эта дура дома! Не ожидалъ... Ну, да мнѣ все равно!»

Онъ пощупалъ рукою револьверъ, который былъ засунутъ въ боковой карманъ его брюкъ и былъ прикрытъ полой его сюртука, нарочно застегнутаго на всѣ пуговицы.

Не прошло двухъ минутъ, какъ онъ проскользнулъ уже въ комнату къ Лелѣ—и остановился. Лели не было ни на табуреткѣ, передъ ея зеркаломъ, ни на диванчикѣ, ни на креслахъ передъ ея рабочимъ столикомъ.

«Ея нѣтъ!» подумалъ Стихаревъ, и вдругъ сердце его забилось—до сей минуты онъ не чувствовалъ его біенія.

Леля лежала на постели подъ легкимъ лѣтнимъ одѣяломъ, которое слегка обрисовывало округлости ея ногъ и стана. Она лежала на спинѣ; бѣлое лицо ея съ закрытыми глазами едва отдѣлялось отъ бѣлой подушки, на головѣ что-то лежало, прикрытое полотенцемъ; оно спуска-

лось на лобъ; выбившіяся изъ подъ него русыя косы казались неподвижными, и вся она казалась неподвижнымъ трупомъ или изваяннымъ мраморомъ; только складка на ея груди едва-едва приподнималась и опускалась съ легкой, почти неуловимой дрожью.

Быстро сообразивъ—ледъ, комнаты, накуренныя уксусомъ, и даже голосъ Маѳы Сергѣевны въ комнатѣ у ея сына—Стихаревъ понялъ, что Леля или въ горячкѣ, или у ней воспаленіе въ мозгу.

Онъ подошелъ къ кровати, оперся локтемъ на комодъ съ выдвинутымъ ящикомъ и забылъ, зачѣмъ онъ пришелъ. То, что онъ въ эту минуту чувствовалъ, трудно передать словами; онъ какъ будто ровно ничего не чувствовалъ—ни страха, ни жалости, ни любви, ни ненависти—ничего, кромѣ какого-то замиранія, которое нисколько не мѣшало ему смотрѣть на больную съ любопытствомъ и мысленно задавать себѣ вопросы: «будетъ ли она жива, или умретъ? Давно ли она больна?» и такъ далѣе. Стихаревъ уже намѣревался пощупать ей пульсъ, руки и голову, какъ вдругъ сдѣлалъ шагъ назадъ, въ уголъ, гдѣ съ одной стороны стоялъ умывальный столикъ, съ другой—что-то висѣло на гвоздикахъ.

Леля пошевелилась, раскрыла большіе глаза, пристально, прямо въ лице его устремила мутно-блестящій взоръ свой, высвободила изъ-подъ одѣяла голую, похудѣвшую руку, протянула указательный палецъ и проговорила довольно явственно:

— Прогони этого чернаго монаха, который стоитъ за тобой!

Стихаревъ въ ужасѣ оглянулся.

— Это черное платье виситъ! сказалъ онъ.

— А, да, это платье! какъ будто сомнѣваясь въ чемъ-то, согласилась Леля.

Уронивъ руку, она закрыла глаза и опять тихонько полураскрыла ихъ.

Казалось, она вдругъ узнала Стихарева и пришла въ волненіе. Но это была одна секунда. Прежній таинственный покой воцарился на лицѣ ея.

XXXVI.

— Какъ вы сюда попали? чуть не крикнула Кроликова, когда застала Стихарева въ столовой, куда только-что выбѣжалъ онъ изъ комнаты Лели.

— Я узналъ, что она больна... и пришелъ,—отвѣчалъ Стихаревъ. Губы его были блѣдны, онъ дрожалъ.

— Пришли навѣстить!... Можетъ быть, не мало кровито испортили... добивать пришли...

Изъ-за Кроликовой въ дверяхъ кабинета показалась всклокоченная голова ея сына Савы. Лице его было явно измято безсонницей и тревогами. Не смотря на слова своей матери, онъ какъ бы обрадовался, что увидѣлъ Стихарева и проговорилъ:

— Войдите! войдите!

Стихаревъ вошелъ въ кабинетъ.

Кроликовъ затворилъ за нимъ дверь и прошелся по кабинету.

— Вотъ какая исторія-съ... Ожидали вы? А?

— Такъ она очень больна?

— Такъ больна, что едва ли вынесетъ.

— И давно уже она въ такомъ положеніи?

Кроликовъ опять зашагалъ по кабинету и въ разсѣянности не отвѣчалъ ему; потомъ остановился передъ нимъ и сказалъ:

— Хоть вы и скверно поступили, но я увѣренъ, будете рады, такъ же какъ и всѣ мы будемъ рады, если

она выздоровѣетъ! Ахъ, какъ я усталъ! вы представить себѣ не можете.

Кроликовъ сѣлъ на свое кресло. Стихаревъ вмѣсто него сталъ ходить по кабинету, опустивъ глаза и не говоря ни слова.

— Еще третьяго дня,—сталъ разсказывать Кроликовъ,— утромъ она испугала насъ. Съ вечера напилась малины... утромъ встали—нѣтъ ея! Въ 4 часа утра изволила выйти изъ дому, а вернулась не раньше 9-ти; не могла спать, говоритъ, было душно... вышла подышать свѣжимъ воздухомъ. Сѣла чай пить... выпила чашку... Маменька пощупала ей голову, нашла, что жару нѣтъ, спросила, болитъ ли голова? Нѣтъ, говоритъ, ничего не болитъ. Мы успокоились. Я же, сказать по правдѣ, и не подозрѣвалъ ничего, никакой болѣзни. Часто, знаете, нездоровится; нельзя же отъ всякихъ пустяковъ приходить въ отчаяніе. Сѣлъ я заниматься... передъ завтракомъ слышу— кто-то какъ будто рыдаетъ! Я выскочилъ; что такое? Да вотъ, говорятъ, урезонь хоть ты ее. Никогда этого съ ней не было — сидитъ у себя въ комнатѣ, плачетъ, говоритъ, что скоро умретъ, что она это чувствуетъ и что ей будетъ очень жаль огорчить тетю и всѣмъ надѣлать такого безпокойства. Я взялъ ее за руку. Лихорадочный пульсъ. Давайте, говорю, хининъ попробуемъ... у меня всегда хининъ... chinini muriatici. Далъ ей 6 гранъ. Къ вечеру должны уже были послать за докторомъ Каташинскимъ. Пріѣхалъ, осмотрѣлъ, зашелъ ко мнѣ; не опасайтесь, увѣряетъ, ничего еще нѣтъ такого страшнаго; но... говоритъ, и говоритъ точно не мнѣ, а себѣ подъ носъ, признаки тифознаго свойства. Точно обухомъ по головѣ! такъ онъ этимъ напугалъ меня... Шутка сказать — тифознаго свойства! Я уже и работать не могъ! Эдакая, какъ подумаешь, глупость — съ вечера напиться потогоннаго, и на разсвѣтѣ, въ холодъ, выбѣгать на улицу.

— Къ Пулькину, должно быть?! не вытерпѣлъ, проговорился Стихаревъ. Онъ ничего почти не слышалъ изъ разсказа Кроликова, кромѣ начала и конца.

— Какъ! вы думаете, къ Пулькину? это невѣроятно. Она ему съ вечера отказала въ рукѣ своей. Такъ, по крайней мѣрѣ, маменька сказала мнѣ. Да и зачѣмъ ночью или такъ рано она пошла бы къ нему? И днемъ, во всякое время, могла бы къ нему зайти! Нѣтъ, сколько намъ извѣстно, она ни разу не была у этого скота Пулькина. И не скрывала бы, если бы была—Матильда первая бы знала.

Опять Стихаревъ слышалъ только первую фразу—ту, что Леля отказала Пулькину въ рукѣ своей, и затѣмъ—сколько ни говорилъ Кроликовъ—ничего не слышалъ.

Это извѣстіе потрясло Стихарева пуще, чѣмъ тотъ фактъ, что она больна и при смерти. Онъ сѣлъ и невольно пощупалъ то мѣсто, гдѣ торчала подъ полой рукоять его револьвера, и какъ бы струсилъ, что онъ нечаянно выстрѣлитъ.

— Молода—вынесетъ! проговорилъ Стихаревъ и съ такой увѣренностью, что лицо Кроликова просвѣтлѣло.

— Вы думаете?...

— Да, непремѣнно вынесетъ... Будь она еще толстая баба или вотъ хоть такой комплекціи, какъ эта Нельбитова, ну тогда опасно, — а то... такая хрупкая, тоненькая... нервная... переживетъ!... Свезите только на дачу скорѣй, коли поправится.

Говоря все это, Стихаревъ думалъ: «какова! отказала Пулькину!... Прозѣвалъ, значитъ... ну, и чортъ съ нимъ!... И за что... чортъ меня возьми! я такъ ее возненавидѣлъ, что чуть было того... А что была или не была она у Пулькина — это мнѣ все равно... Отказала... ну, и чудесно сдѣлала!... Можно будетъ и отдубасить его, коли не въ свои сани опять полѣзетъ.»

Затѣмъ Стихареву показалось, что у пистолета его курокъ взведенъ; онъ осторожно привсталъ, торопливо простился съ Кроликовымъ и вышелъ. Въ сѣняхъ онъ успокоился: курокъ не былъ взведенъ.

Въ 6 часовъ вечера Стихаревъ лежалъ у себя въ постели, цѣлый день ничего онъ не ѣлъ, — и странное дѣло—не чувствовалъ голода. Онъ лежалъ точно разбитый, и вдругъ показалось ему, что въ головахъ его стоитъ черный монахъ. Онъ съ ужасомъ оглянулся—въ головахъ висѣлъ его черный сюртукъ, имъ же самимъ повѣшенный...

«Тьфу!» подумалъ Стихаревъ, «чортъ знаетъ что!... Этакъ, пожалуй, недолго и съ ума сойти!»

XXXVII.

Трое сутокъ, съ утра до ночи Пулькинъ ждалъ, не пришлетъ ли Леля, ну, хоть строчку, хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь о себѣ извѣстіе. Но ни строчки, ни полстрочки не дождался Пулькинъ.

Успокоившись на счетъ дѣла подъ № 7781, Пулькинъ все еще находился подъ вліяніемъ полицейскаго допроса и никогда еще на службѣ въ департаментѣ не былъ онъ такимъ исправнымъ, скромнымъ, предупредительнымъ. Точно въ каждомъ видѣлъ онъ своего врага и стремился его задобрить. Узнавши, что у писаря Тимошина больна жена, Пулькинъ отпустилъ его домой и сунулъ ему въ руку десятирублевую. Чиновнику Баскакину обѣщался похлопотать, чтобъ ему лѣтомъ выдали пособіе. Казначею сказалъ, что онъ придетъ непремѣнно, непремѣнно придетъ къ нему въ преферансъ играть. Сдѣлалъ визитъ Сопѣлкину и, не заставъ его дома, покачалъ на рукахъ его подкидыша.

Онъ тоже, какъ бы передъ какой-то опасной бо-

лѣзнью, — можетъ быть, передъ окончательной утратой совѣсти — чувствовалъ приливъ какого-то добродушія и щедрости.

На четвертый день, снова съ утра обезпокоила его мысль, что Шталь чортъ знаетъ что наговорилъ о немъ Аннѣ Петровнѣ Любиной, что она непремѣнно, при первомъ же свиданіи, попроситъ его, какъ можно скорѣй, вернуть ей должокъ, и что Лиза не захочетъ съ нимъ говорить.

Скрѣпя сердце, въ 9 часовъ вечера поѣхалъ онъ на Моховую, къ Любинымъ.

Позвонилъ. Человѣкъ въ вѣчномъ фракѣ отперъ дверь и впустилъ его въ переднюю.

— Нездоровы, не принимаютъ-съ,—сказалъ онъ Пулькину.

«Ну, всѣ больны!...» подумалъ Пулькинъ и подозрительно поглядѣлъ на лакея.

— Такъ никого не принимаютъ?

— Никого-съ!...

— Ну, отдай мою карточку, скажи, что я самъ боленъ былъ... и только-что выздоровѣлъ! Пулькинъ полѣзъ къ себѣ въ карманы, и не находилъ визитныхъ карточекъ.

Въ это время дверь изъ столовой на полвершка отошла назадъ, и въ эту полувершковую щель блеснулъ черный глазъ, любопытный и сразу узнанный оторопѣвшимъ Пулькинымъ.

— Я забылъ свои карточки,—сказалъ Пулькинъ,—но все равно, скажи, что былъ Пулькинъ. Ты вѣдь знаешь мою фамилію?

Дверь изъ столовой отворилась.

— Войдите, Александръ Васильевичъ. Мама больна... но мы шумѣть не будемъ... зайдите.

Пулькинъ радостно оскалилъ зубы, отряхнулся, пожалъ ей руку и вошелъ въ столовую.

— Садитесь!... Что съ вами такое? Вы такъ похудѣли... Счастливые люди такъ не худѣютъ... Хотите чаю?

— Нѣтъ-съ... и безъ чаю страшная безсонница.

Лиза была замѣтно обрадована и смущена неожиданнымъ появленіемъ Пулькина, но что говорить съ нимъ— не знала, не смотря на всю свою свѣтскую развязность и находчивость. Онъ же смотрѣлъ ей въ глаза и какъ будто старался уловить въ нихъ тайну ея смущенія.

— Вы уже женаты, m-r Пулькинъ? Можно поздравить васъ!?

— Да-съ... можно поздравить...

Лиза поблѣднѣла, и ставя чайникъ на самоваръ, поглядѣла на него съ пугливымъ недовѣріемъ.

— Ахъ, Лизавета Михайловна! произнесъ, какъ бы вздыхая, несчастный Пулькинъ.

— Очень рада... за васъ... пролепетала Лиза.

— Чему же вы рады? Я не только не женатъ, — я никогда не женюсь на ней.

— Чтожъ это значитъ?

Лиза поглядѣла на него съ недоумѣніемъ и даже съ нѣкоторой строгостью.

Пулькинъ молчалъ.

— Что случилось? здоровы ли вы?

— Теперь здоровъ—но всю эту недѣлю такъ дурно себя чувствовалъ, что думалъ, не доживу до... до удовольствія видѣть васъ... Только не спрашивайте меня о томъ, о чемъ такъ трудно говорить...

— Я не стану васъ спрашивать; но вы бы должны сказать мнѣ, какая причина, что свадьба ваша разстроилась? Она ли васъ разлюбила, или вы?...

— Э! тутъ другія, совсѣмъ постороннія обстоятельства...

— Обстоятельства? Какія? Денежныя обстоятельства?

Пулькинъ отрицательно покачалъ головой.

— У меня на четыре свадьбы хватило бы денегъ; деньги, это послѣднее дѣло... Вотъ вы какъ-то говорили мнѣ, что у меня вкуса нѣтъ...

— Ну, да...

— А между тѣмъ, въ вашу бывшую подругу Лелю такая пропасть влюбленныхъ, что если я еще живъ, то... это даже мнѣ самому удивительно! Одинъ писалъ ко мнѣ, что онъ убьетъ меня изъ-за угла, другой... оклеветалъ, и знаете, кто этотъ другой?

— Почемъ я знаю! нетерпѣливо передернувъ плечомъ, сказала Лиза.

— Этотъ другой-съ... нѣкто Шталь, сенаторъ и другъ вашей maman.

— Шталь? Карлъ Ивановичъ?

— Да-съ, этотъ солидный Карлъ Ивановичъ. Онъ по уши влюбленъ въ Лелю, и я уже не знаю, какіе у него на нее виды, только онъ — можете себѣ представить — какую исторію выдумалъ. Отецъ Лели... царство ему небесное! когда-то, гдѣ-то потерялъ какія-то деньги; это его такъ огорчило, что онъ взялъ да и померъ...

— Я это знаю...

— Ну, а знаете ли вы, что я эти деньги нашелъ, да и спряталъ! Какъ вамъ это нравится?

— Какой вздоръ!

— Вотъ вы говорите «вздоръ», а Карлъ Ивановичъ увѣрилъ Лелю и всѣхъ ея родныхъ, что это я нашелъ-съ; и знаете, чѣмъ онъ это доказываетъ? Онъ это тѣмъ доказываетъ, что у Затаилова былъ красный бумажникъ и у меня красный. Вотъ этотъ самый! (Пулькинъ вынулъ изъ кармана свой бумажникъ и показалъ его Лизѣ). У него былъ сафьянный и у меня сафьянный. Только тотъ нахо-

дится при полиціи, а этотъ находится при мнѣ... Какъ вамъ это нравится?

— Можетъ ли это быть? Шталь... влюбленъ въ Лелю!! Вретъ про васъ всякій вздоръ! и эта дура... извините меня, Александръ Васильевичъ, эта дурочка ему вѣритъ? Еще послѣднее я понимаю: она всему повѣритъ, что ей ни скажи! А этотъ Шталь, увѣряю васъ, Александръ Васильевичъ, просто хотѣлъ пошутить надъ ней! Онъ слишкомъ уменъ для того, чтобъ серьезно влюбиться въ эту фарфоровую куколку!

— Не знаю, шутя или не шутя, но онъ зоветъ ее жить съ собою, краснѣетъ въ ея присутствіи, пишетъ ей нѣжныя и предостерегательныя письма... проситъ ее испробовать, чистое ли я золото и проч., и проч. Знаю только, что онъ, не шутя, меня ненавидитъ, и при первомъ удобномъ случаѣ, очернитъ меня въ вашихъ глазахъ, очернитъ непремѣнно-съ!

— Жаль, что мама его не приняла сегодня. Интересно было бы знать, что бы онъ могъ такое сказать про васъ!?

— Да про кого же нельзя сказать все, что угодно? Вонъ Смаковъ увѣряетъ, что будто бы ваша maman просила его написать ее въ видѣ ангела! Я этому не повѣрю, потому что знаю... и уважаю вашу maman; а кто не знаетъ?

Лиза улыбнулась. «Можетъ быть,» подумала она, «мама и была бы очень рада видѣть себя окруженной сіяніемъ».

— Пойдемте въ мою комнату,—зарумянившись, проговорила Лиза, встала и отошла къ окну.

— Какъ еще свѣтло! сказала она.

— Да, еще свѣтло... подтвердилъ Пулькинъ.

— Пойдемте!... я велю сейчасъ убирать чай... это помѣшаетъ намъ!

Лиза позвала изъ передней человѣка, велѣла ему схо-

дить за экономкой, выложила изъ сахарницы нѣсколько кусковъ сахару для прислуги, заперла сахарницу и, поглядѣвъ на Пулькина, вошла въ свою комнату.

Пулькинъ вошелъ вслѣдъ за нею. И они усѣлись— онъ въ кресла, она на легонькій, золоченый стулъ передъ своимъ письменнымъ столикомъ, поставила одну ножку на табуретъ, и скрестивъ пальцы рукъ, опустила ихъ на свое колѣно.

Пулькинъ, хотя и не былъ влюбленъ въ нее, не могъ не заглядѣться на ея кокетливо-граціозную позу въ сумеркахъ вечера.

— Ну-съ, о чемъ же мы будемъ говорить? А, да!.. Несчастный вы человѣкъ! О чемъ же и говорить, какъ не о томъ горѣ, которое выпало на вашу долю! Ну, такъ скажите, вы совсѣмъ, совсѣмъ разстались съ ней?...

— Да, кажется...

— Значитъ, еще не все потеряно... Она пойметъ, что все это глупо... вы сжалитесь, и все пойдетъ попрежнему!

— Нѣтъ, это невозможно! воскликнулъ Пулькинъ.

— Вѣдь вы очень добрый... я знаю васъ...—И Лиза глазами показала ему на ту дверь, которая черезъ одну комнату вела въ спальню ея матери. — Будемъ говорить тише. Мамѣ будетъ непріятно, если она узнаетъ, что я приняла васъ въ своей комнатѣ. Вы вѣдь здѣсь еще ни разу не были, m-r Пулькинъ?

— Ни разу не имѣлъ этой чести...

— Ну-съ... что бишь я такое хотѣла сказать вамъ? Васъ не очень возмущаетъ то, что эта милая Леля повѣрила нелѣпой выдумкѣ и такъ безчеловѣчно поступила съ вашимъ сердцемъ?... Ахъ, какъ вы похудѣли! Какъ вы перемѣнились!

— Можетъ быть, Лизавета Михайловна, у меня мягкое, впечатлительное сердце, но у меня желѣзная

воля... Я не стану ни оправдываться, ни ныть, ни просить прощенія, ни заискивать ея милости... Богъ съ ней! Вы знаете, что я не изъ интереса хотѣлъ на ней жениться...

— Разумѣется, не изъ интереса,—вы увлеклись!

— Да, и ваша maman радовалась моему увлеченію. Она, какъ другъ, совѣтовала мнѣ спасти ее!

— Ахъ,—горячо перебила его Лиза,—я знала, что это ее не спасетъ, а васъ погубитъ! Я знала и хотѣла не ее, а васъ спасти, и признаюсь вамъ, очень рада, что такъ случилось. Эту Лелю я знаю съ двѣнадцатилѣтняго возраста; мы вмѣстѣ учились, были въ одномъ пансіонѣ. Теперь она изучаетъ химію, ну, не смѣшно ли?—химію! а тогда никогда не знала уроковъ и только профессорамъ глазки строила! Мама и я принимали ее, какъ родную, и чѣмъ же кончилось?! Набралась она какихъ-то непостижимыхъ идей... поспорила со мной... и перестала бывать у насъ. Повѣрьте, Пулькинъ, она бы и васъ бросила, если бы съ вами поспорила. И вы были бы гораздо, гораздо несчастнѣе! Вотъ чего я за васъ боялась...

— Вы... за меня боялись?!

— Что-жъ, развѣ это удивляетъ васъ?

— Удивляетъ...

— И вы такъ слѣпы!... пробормотала Лиза.

Оба повѣсили голову.

— Вы говорите, я слѣпъ! началъ Пулькинъ,—но кто же въ наше время не слѣпъ? Никто изъ насъ не видитъ, въ чемъ истинное счастье! Что оно не въ деньгахъ, многіе ли это видятъ! Вѣрите ли, что съ тѣхъ поръ, какъ денежныя мои обстоятельства поправились, я сталъ вдвое, втрое несчастнѣе. Да-съ, теперь... я, можетъ быть, гораздо несчастнѣе, чѣмъ въ то время, когда вы не хотѣли говорить со мной...

— Положимъ, если это и было, то это было отъ того, что вы вѣтренникъ! Перестали быть со мной любезнымъ

съ той минуты, какъ стали любезничать съ Лелей... Этого я никогда не забуду...

— Какъ вы злопамятны! но могъ ли я смѣть!.. Пулькинъ потупился. То, чего я искалъ въ Лелѣ, я никогда не надѣялся найти въ комъ бы то ни было!..

— Ахъ, Боже мой!.. только и свѣтъ, что одна Леля!.. Досадливый вы человѣкъ! Неужели вы... Лиза не договорила и опустила рѣсницы.

Пулькинъ очень хорошо понялъ, что значатъ этотъ оборвавшійся голосъ и эти опущенныя рѣсницы. Мысль, что онъ любимъ такой роскошной и богатой дѣвушкой, вдохновила его.

— Я точно въ потьмахъ, Лизавета Михайловна! Вотъ видите, въ окошко свѣтитъ заря вечерняя... и каждый ее увидитъ! тутъ и сомнѣваться не въ чѣмъ! А въ потемкахъ и бриллианта отъ стеклышка не отличишь...

Наклонивъ голову, слушала Лиза Пулькина, даже была немножко удивлена его краснорѣчіемъ. Пулькинъ часто повторялъ чужія фразы такъ хорошо, такъ иногда кстати, что самого себя обманывалъ; но на этотъ разъ фразы, имъ произносимыя, были, какъ кажется, его собственныя. Разстроенные нервы и новая мечта придавали какую-то особенность языку его,—дѣлали его чѣмъ-то въ родѣ поэта. Онъ говорилъ на тему, что всѣ мы ходимъ въ потьмахъ, а потому и заблуждаемся. Лиза долго его слушала. Вдругъ подняла голову и засмѣялась.

— Ахъ! этакъ Богъ знаетъ до чего можно договориться! сказала она.

— До чего же?.. Я не понимаю васъ!

Въ эту минуту вошла горничная и сказала Лизѣ, что маменька зоветъ ее...

— Сію минуту,—отвѣтила Лиза и встала. Горничная вышла.

Лиза кончиками пальцевъ дотронулась до головы Пуль-

кина, иначе сказать, своею ладонью провела по воздуху такъ, что едва коснулась волосъ его. Пулькинъ вздрогнулъ, всталъ и поднесъ ея ласковую руку къ губамъ своимъ.

— Боюсь, горничная проговорится, что вы у меня въ комнатѣ. Мама не любитъ, чтобъ я кого-нибудь изъ мужчинъ принимала въ свою комнату. Она думаетъ, что только замужнія дамы могутъ такъ фамильярничать!

— А! вы боитесь!.. засмѣялся Пулькинъ.

Лиза остановилась и поглядѣла на него вопросительно.

— Знаете-ли, что я сію минуту подумалъ?..

— Что?

Лиза торопилась уйти, но ей хотѣлось узнать, что ей скажетъ Пулькинъ.

— Если я буду погибать, — маменька не позволитъ вамъ спасти меня... Вы побоитесь и не спасете...

— Вы думаете?.. Ну, такъ вы еще мало меня знаете... Но, прощайте; когда же вы придете къ намъ?

— Не знаю... Меня посылаетъ министръ по одному дѣлу... меня также ждутъ мои дѣла... Я скоро ѣду... Прощай, Питеръ!

— Когда же вы ѣдете?

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!..

— Это отчего?

— Оттого, что здѣсь вы, даже *вы*, боитесь принять меня въ своей комнатѣ.

— Это еще не значитъ, чтобъ я боялась... любить...

Слово «любить» пролепетала она такъ тихо и такъ быстро, что Пулькинъ едва могъ поймать его — и не успѣлъ оглянуться, какъ Лизы уже не было, только платье ея мелькнуло въ дверяхъ—она убѣжала...

Пулькинъ покраснѣлъ, прошелся по комнатѣ, сѣлъ, машинально закурилъ папироску и тотчасъ же погасилъ ее, вспомнивъ, что онъ не въ столовой, не у нигилистки, а въ будуарѣ свѣтской дѣвушки.

— Ему не хотѣлось уходить,—онъ хотѣлъ дождаться Лизы и попытаться довести ее до полнаго и рѣшительнаго объясненія. Ему хотѣлось признаться ей, что и она ему нравится, и что, если онъ не противенъ ей, онъ будетъ очень счастливъ имѣть ее женой своей.

Но, вмѣсто Лизы, появилась горничная, покосилась на гостя, подошла къ комоду и стала отпирать его.

Пулькинъ взялъ свою шляпу.

— Васъ, кажется, Полей зовутъ?—сказалъ Пулькинъ.—Какъ здоровье Анны Петровны?

— Я не дохтуръ, не знаю,—вынимая что-то изъ комода, отвѣчала горничная.

— Ну... прощайте!

И Пулькинъ почему-то чуть не на цыпочкахъ черезъ столовую прошелъ въ переднюю.

Горничная пошла вслѣдъ за нимъ, чтобъ отпереть подъѣздъ и выпустить его на улицу.

Пулькинъ сунулъ ей въ руку первую попавшуюся ему въ боковомъ карманѣ депозитку и вышелъ.

Прійдя домой, Пулькинъ обревизовалъ бумажникъ и свои карманы,—оказалось, къ его великой досадѣ, что горничной Лизы вручилъ онъ двадцатипятирублевую депозитку.

Тьфу! плюнулъ съ досады Пулькинъ.

«Ну, что-жъ!» думалъ онъ, уже лежа въ постели, «недурна и богата! На такой жениться и начальство разрѣшитъ съ удовольствіемъ, и Савишинъ похвалитъ... даже позавидуетъ... Только Леля,... о! что скажетъ, что подумаетъ Леля!... Милая, незабвенная, дорогая, святая!... Нѣтъ, я... я Лели не стою. Я скотина, подлецъ, подлецъ! Я... Боже мой! Зачѣмъ я съ ней познакомился? Зачѣмъ я ее влюбилъ въ себя?!.»

И Пулькинъ, сжавъ руками голову, погрузилъ въ подушку носъ свой, и старался ни о чемъ не думать и безполезно не ругать себя.

*

XXXVIII.

Болѣзнь Лели приняла дурной оборотъ; даже холодныя, мокрыя простыни, въ которыя ее завертывали, не помогали ей. На плечахъ и спинѣ ея мѣстами показалась мелкая, неровная сыпь. На шестой день изъ носу пошла кровь и въ такомъ изобиліи, что Умековъ побѣжалъ въ академію за Юлинькой, Кроликовъ послалъ за докторомъ, а Марѳѣ Сергѣевнѣ почему-то вообразилось, что этотъ симптомъ пророчитъ ей выздоровленіе. И точно — Леля пришла въ память и стала жаловаться, что она голодна и что она умретъ съ голоду. Ей приготовили бульонъ, но, проглотивъ двѣ—три ложки, она тотчасъ же упросила взять назадъ тарелку. Вечеромъ она сидѣла на своей постели — худая, блѣдная и прозрачная, окруженная всѣми своими друзьями, и начала общипывать, перебирать складки своей ночной кофты, теребить ихъ, поправлять, тянуть, точно каждая изъ нихъ лежала не на своемъ мѣстѣ и ее безпокоила. Юлинька теряла надежду и глаза Кроликовой наполнялись слезами.

— Юлинька! говорила больная, — отошли *ему* браслетъ... Или ужъ я его отослала?.. ахъ да! отослала... да, да! Какая я безжалостная, Юлинька!.. Юлинька, повези меня на дачу... ужъ давно лѣто... давно цвѣты... птицы поютъ... а мы тутъ... Кто это прошелъ туда?.. съ такимъ носомъ... смѣшной такой...

— Куда? спрашивала Юлинька.

Леля показывала въ стѣну, и спокойно, сознательно отвѣчала ей: «Туда!»

Очевидно, что здравая мысль ея переплеталась съ бредомъ, и нельзя было смотрѣть на нее равнодушно, хотя, по-видимому, она не страдала и не жаловалась на болѣзнь

свою, напротивъ, все собиралась куда-то идти или ѣхать... и иногда самой себѣ казалась совершенно здоровой...

На седьмую ночь Умековъ и Ефименко остались ночевать въ кабинетѣ Кроликова. Юлинька взяла на себя роль сестры милосердія и сидѣла около постели Лели. Марѳа Сергѣевна крѣпилась; у Матильды глаза казались испуганными, она была блѣдна, и все-таки сидѣла за своими переводами, и перо ея неустанно двигалось.

На 8-й день докторъ сидѣлъ у Кроликова и долго думалъ, повѣсивъ голову.

— Ну, что... безсильна ваша медицина!.. Не вылечить вамъ ее!.. Я ужъ это чувствовалъ, что не вылечить!.. говорилъ ему Кроликовъ. Онъ былъ жалокъ, и паче всего боялся заразиться тифомъ, приказывалъ курить, сыпалъ по угламъ какой-то порошокъ, словомъ, бралъ всякія предосторожности.

— Одно еще средство... надо попробовать! сказалъ докторъ, глядя въ стѣну,—ему было невесело.

— Какое?

— Велите послать за бутылкой самаго лучшаго шампанскаго...

— Сейчасъ... Умековъ, голубчикъ... сейчасъ я вамъ деньги дамъ... Сколько это стоитъ, докторъ? Десять рублей... А?

— Три... много-много четыре... Да не хлопочите, у меня есть деньги... Я дѣлаю эту пробу, я и пошлю.

— Да съ какой же вамъ стати?

— Да не мѣшайте мнѣ, сдѣлайте милость! Я самъ хочу выпить бокалъ шампанскаго!

И докторъ (прозванный литературнымъ докторомъ, потому что не бралъ съ пишущихъ ни копѣйки за свои визиты) силой оттолкнулъ руку Кроликова съ деньгами, вынулъ свои пять рублей и отдалъ ихъ Умекову:

— На-те, привозите шампанскаго.

— Онъ въ немъ знаетъ толкъ... сказалъ Ефименко.

— Разумѣется, знаю,—сказалъ Умековъ и тотчасъ же отправился.

— Дайте ей шампанскаго сначала двѣ чайныхъ ложки... Потомъ увидимъ... говорилъ докторъ вошедшей Маріѣ Сергѣевнѣ.

— И вы думаете, что ее можно вылечить?...

— Я не знаю... но были примѣры, когда это помогало... въ такихъ случаяхъ... возбуждало силы, дѣлало реакцію...

Около 8 часовъ вечера сухія губки Лели оросились шампанскимъ и она выпила его двѣ чайныхъ ложечки.

Не прошло пяти минутъ, какъ она уже горѣла и бредила. Веселые сны, должно быть, снились ей! Она болтала, двигала кистью руки и даже вдругъ запѣла: «Горныя вершины спятъ во тмѣ ночной!». Эти слова она пѣла, когда, еще при отцѣ, училась музыкѣ. Странно и грустно было слышать этотъ слабый, замирающій голосъ на одрѣ болѣзни!—онъ скоро оборвался и опять замѣнился бредомъ. Такъ прошла почти вся ночь до разсвѣта. Въ 4-мъ часу утра она раскрыла глаза и удивилась.

— Гдѣ же Пулькинъ? сказала она. Мы сейчасъ гуляли съ нимъ по саду... Тетя! откуда ты?

— Ты больна... ты очень больна... милая моя, голубушка моя! проговорила Марѳа Сергѣевна.

— Какъ странно! ничего не понимаю!...

Леля съ недоумѣніемъ поглядѣла вокругъ себя, и, должно быть, понявъ свое положеніе, она закрыла глаза, и сомкнувши рѣсницы, выдавила густыя слезы. Потомъ губами она показала, что ей хочется поцѣловать свою тетю. Марѳа Сергѣевна нагнулась, и рыдая, приложилась къ воспаленнымъ, пересмяглымъ губамъ ея.

Послѣ этого поцѣлуя, Леля заснула крѣпкимъ, пред-

смертнымъ сномъ; ноги и руки ея стали леденѣть, дыханіе становилось все чаще и чаще, все короче и короче.

Въ 7-мъ часу утра пріѣхалъ докторъ. Онъ засталъ весь домъ, не исключая кухарки и горничной, вокругъ постели Лели. Только Кроликовъ сидѣлъ въ столовой, какъ приговоренный. Онъ боялся смерти, боялся похоронъ, боялся отпѣванія.

— Она въ агоніи! сказала Юлинька, ухватившись за рукавъ доктора и заплакала.

Докторъ подошелъ къ постели, вынулъ свои золотые часы, взялъ больную за руку и сталъ дощупываться пульса. Мертвая тишина воцарилась въ комнатѣ. Вдругъ Леля тяжело вздохнула, стонъ вырвался изъ груди ея лице исказилось судоргой и, затѣмъ, мгновенно приняло обычное выраженіе спокойно уснувшей дѣвушки.

— Кончено! пробормоталъ докторъ, положилъ обратно въ карманъ золотые часы свои, отошелъ, сѣлъ на подоконникъ и заплакалъ. Онъ былъ такъ нервенъ, не смотря на свои розовыя щеки, что не могъ видѣть умирающей красоты, не могъ видѣть плачущихъ.

XXXIX.

До какой степени человѣкъ можетъ быть нравственно растрепанъ или развинченъ, на это указывало поведеніе Пулькина. Когда Лиза такъ неделикатно, такъ грубо относилась къ Лелѣ, онъ не заступался за нее, какъ будто такъ и быть должно! Но спустя три или четыре дня послѣ свиданія съ Лизой, ему вдругъ сдѣлалось такъ грустно и такъ жаль Лели, что для очистки совѣсти, онъ придумалъ слѣдующее: «Леля еще не вернула мнѣ своего слова... она даже не оттолкнула меня и я не имѣю права, никакого права волочиться за другую дѣвушкой. Пусть же Леля, если она не хочетъ писать ко мнѣ, — скажетъ

мнѣ въ лице, что я свободенъ, что она не нуждается въ любви моей или что я опротивѣлъ ей! Тогда, о! тогда я въ правѣ дѣйствовать, какъ мнѣ заблагоразсудится!» И вотъ, Пулькинъ рѣшилъ, что на слѣдующее же утро онъ отправится на Знаменскую и будетъ ходить по тротуару мимо дома, гдѣ живетъ Леля, дождется, когда она куда-нибудь выйдетъ и подойдетъ.

И не могъ Пулькинъ отдать себѣ отчета, что было бы для него лучше: прежнія, возстановленныя отношенія съ Лелей, или окончательный разрывъ? И то, и другое было для него страшно. Страшно любить ту, которую лишилъ онъ и отца, и ея послѣднихъ денегъ; страшно и разстаться съ нею.

И вотъ, въ 10 часовъ утра, онъ вышелъ со двора и отправился на Знаменскую. Долго, около часа, ходилъ онъ по тротуару и даже заглядывалъ въ ворота, но никого не видѣлъ. Вдругъ изъ воротъ вышла дѣвушка—это была Юлинька Дицъ, въ одномъ платьѣ, съ свѣтло-каштановыми волосами, разбросанными по плечамъ и съ зонтикомъ. Она шла въ тѣни отъ зданій, медленной, усталой походкой и глядѣла себѣ подъ ноги. Пулькинъ пошелъ къ ней навстрѣчу, съ намѣреніемъ вѣжливо обратиться къ ней съ кое-какими вопросами. Юлинька подняла глаза и равнодушно поглядѣла на Пулькина. Онъ поклонился. Она прошла мимо, не отвѣтивши на поклонъ его, какъ мимо человѣка ей совершенно незнакомаго.

— Mademoiselle Дицъ! Юлія Ѳедоровна! задыхаясь, крикнулъ Пулькинъ.

Юлинька даже не обернулась. Сердце его заныло, и до такой степени было уязвлено его самолюбіе, что ноги отказались ему повиноваться, и онъ стоялъ на одномъ мѣстѣ до тѣхъ поръ, пока фигурка Юлиньки не пропала изъ глазъ его, смѣшавшись съ другими прохожими. Вдругъ, стукъ дрожекъ, выѣзжающихъ изъ-подъ воротъ, заста-

вилъ его обернуться. На дрожкахъ, другъ друга обхвативъ за талію, точно пьяные, выѣхали на улицу Кроликовъ и Ефименко. Они тоже не обратили на него вниманія и повернули въ другую сторону.

«Что это значитъ?» подумалъ Пулькинъ. «Юлинька была у ней и ушла, Кроликовъ тоже уѣхалъ... Можетъ быть, она одна теперь... Неужели даже справиться о ея здоровьѣ я не имѣю права? Чортъ знаетъ, что это такое! Кажется, мнѣ-то ужъ не подобаетъ трусить! Мнѣ... который сто разъ цѣловалъ и обнималъ ее! Наконецъ... что же такое?!»

И съ стѣсненнымъ сердцемъ, но твердыми, большими шагами Пулькинъ перешелъ знакомый дворъ, обогнулъ дрова и поднялся по лѣстницѣ. Погода была такъ хороша въ этотъ день, что его нисколько не удивило то обстоятельство, что всѣ окна въ квартирѣ Кроликова были отворены настежъ. Онъ позвонилъ въ передней, Дуня отперла ему дверь. Онъ спросилъ ее:

— Дома ли Елена Александровна?

— Пожалуйте, дома,—сказала она, но такимъ страннымъ тономъ, что Пулькинъ поглядѣлъ ей въ глаза.

Дуня отворила дверь въ столовую.

На столѣ, вся въ бѣломъ, на бѣлой подушкѣ, скрестивъ руки, лежала Леля.

Пулькинъ затрясся всѣмъ тѣломъ, чуть не упалъ; сѣлъ на ближайшій стулъ и заплакалъ.

— Сегодня утромъ, въ 7 часовъ, приказали долго жить,—проговорила Дуня, согнала мухъ съ мертваго, маленькаго, съ ввалившимися щеками личика Лели, накрыла его ея вуалью, которую вѣтеръ въ окно сдувалъ всякій разъ, когда отворяли двери, пришпилила вуаль булавками и вышла.

Пулькинъ сгорбился, нагнулъ голову и закрылъ глаза

свои обѣими ладонями. Нестерпимая скорбь и ужасъ проникли въ его жалкую душу.

«Да—а!» подумалъ онъ, «теперь она вернула мнѣ свое слово; но легче ли мнѣ отъ этого?»

Чьи-то шаги заставили его поднять голову. Онъ подумалъ, что въ комнату вошла Марѳа Сергѣевна; но не Марѳа Сергѣевна вошла въ комнату — изъ коридорчика вошелъ Стихаревъ. Онъ тоже какъ бы не ожидалъ предстоящаго ему зрѣлища, тоже какъ бы опѣшилъ, отшатнулся, сѣлъ на стулъ у другой стѣны, противъ Пулькина, и хотя былъ страшно блѣденъ, но не плакалъ.

Вотъ онъ всталъ, приподнялъ вуаль, поглядѣлъ на покойницу, отвернулся и опять сѣлъ на прежнее мѣсто.

— Будетъ панихида? спросилъ онъ Пулькина.

— Не знаю,—отвѣчалъ тотъ.

— Отчего она отказала вамъ?

— Она не отказывала,—отвѣчалъ съ досадой Пулькинъ.—Но, не знаете-ли, куда уѣхалъ Кроликовъ?

— А развѣ онъ уѣхалъ?

— Уѣхалъ...

— Можетъ быть, гробъ поѣхалъ заказывать.

— Можетъ быть...

— А зачѣмъ вы пришли сюда?

— Я не зналъ, что она скончалась.

— А теперь знаете?

Пулькинъ ничего не отвѣчалъ, только поглядѣлъ на него.

— Если бы она была жива, вамъ бы не сдобровать... Ну, теперь благодарите вашего Господа Бога... Къ мертвой я ревновать не стану, только жаль... до смерти жаль,— добавилъ онъ, сморщивъ лобъ и стиснувъ зубы.—Пойдемте въ кабакъ—выпьемъ, помянемъ!

— Нѣтъ, зачѣмъ пить! вздохнулъ Пулькинъ.

Онъ самъ бы не прочь былъ выпить, да слово «ка-

бакъ» испугало его благовоспитанную душу. Тяжело ему было; онъ всталъ, поклонился бездыханному тѣлу, навѣки ускользнувшему изъ объятій земной человѣческой страсти, и вышелъ.

Вернувшись къ себѣ домой, Пулькинъ нашелъ у себя на столѣ завязанный въ бумагу ящикъ съ брилліантовымъ браслетомъ, когда-то посланнымъ Лелѣ, и записку слѣдующаго содержанія:

«Елена Александровна сегодня скончалась. Исполняя волю ея, передаю вамъ отъ ея имени подарокъ вашъ. Счастливо оставаться.

«Умековъ».

И хотя бы «Вашъ покорный слуга», или «Вашъ преданный», или «готовый къ услугамъ»—нѣтъ, просто «Умековъ!» подумалъ Пулькинъ.

Онъ такъ былъ разстроенъ, что въ этотъ день не пошелъ на службу.

XL.

Лиза на другой же день послѣ своей бравурной выходки съ Пулькинымъ, когда она такъ явно намекнула ему на любовь свою, струсила и послала за Дыминымъ.

— Андрей Петровичъ! Знаете, что я сдѣлала? Это ужасъ! Вы будете бранить меня...

— Что такое вы сдѣлали?

— Я ему объяснилась въ любви!

— Когда?

— Вчера...—И Лиза въ краткихъ словахъ передала ему разговоръ свой съ Пулькинымъ.

— Ну, и прекрасно! сказалъ Дыминъ, хотя по лицу его прошла тѣнь досады или неудовольствія. — Что-жъ дальше?

— Я не знаю, что будетъ дальше, но я ужасно боюсь... знаете чего? Я боюсь, что онъ завтра или на дняхъ отправится къ моей мама и будетъ просить руки моей.

— Чего же лучше? Вы уговорите мама не упрямиться, и мы повѣнчаемъ васъ!

— А вы думаете мама согласится?

— Нѣтъ, не думаю; хотя я и не понимаю, почему бы ей не согласиться?

— Ни за что!...

— Ну, такъ что же? Ну, не согласится!

— Тогда... вы знаете, одно средство—бѣжать...

— Вотъ какъ! и вы рѣшитесь?

— Да.

— Ну, и прекрасно!

— Нѣтъ, вотъ что: послушайте, зайдите къ Пулькину и какъ нибудь намекните ему, что мама больна и что я не желала бы, чтобъ онъ ее чѣмъ нибудь потревожилъ... Понимаете?

— Гмъ! Но зачѣмъ же откладывать дѣло? Меня только измучаете и истерзаете... Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше... И если ужъ бѣжать, то пусть прежде онъ посватается... Авось и такъ какъ нибудь обойдется... безъ бѣганья.

— Вижу, какъ это васъ безпокоитъ, Андрей Петровичъ! Вы, какъ будто, за меня и въ самомъ дѣлѣ страдаете... Мнѣ даже иногда кажется, что вы сами ко мнѣ не совсѣмъ равнодушны...

— Я?... — криво усмѣхнувшись, сказалъ Дыминъ:— Гм!.. можетъ быть!

— Можетъ быть, вамъ особенно будетъ непріятно, если я рѣшусь на такую выходку—бѣжать!.. Вѣдь это очень смѣшно, не правда ли? Что я за героиня! Меньше всего я думаю о какихъ-то романическихъ приключеніяхъ...

Я просто хочу выйти замужъ за того, кто мнѣ нравится,—кажется, это законное желаніе!?

— Совершенно законное...

— Что вы сказали?

— Я говорю, что это совершенно законное желаніе...

— А бѣжать, развѣ это законно по-вашему?

— Да вѣдь это ваша, а не моя идея... Я взялся только вамъ... помогать... и... только.

Лиза стала ходить по комнатѣ. Она размышляла.

Дыминъ сѣлъ на стулъ и притворился дремлющимъ — то закрывалъ глаза, то косился на Лизу.

— Вы уже, кажется, задремали, точно не выспались... А я рѣшила бѣжать, если не найдется другого средства! Я разсудила, что это даже никого не удивитъ... никого! Только и слышишь, что такая-то ушла и повѣнчалась, такая-то ушла и пропала...

— Да и хлопотъ меньше! сказалъ Дыминъ.

— Что вы сказали?

— Я сказалъ, что и хлопотъ меньше...

— Я не знала однако же, что вы такъ легко на это смотрите... А еще христіанинъ!

— Что же тутъ такого нехристіанскаго? Извѣстно... «Остави отца и матерь твою и прилѣпися къ женѣ». Почему же и дочь не можетъ оставить мать и прилѣпиться къ мужу?

— Да... но развѣ сказано—оставь безъ позволенія?

— Нѣтъ, этого не сказано. И законы гражданскіе до 21 года не позволяютъ безъ позволенія—ну, а вамъ 22 или... сколько—я уже не знаю...

Лиза засмѣялась.

— И мама не знаетъ... Ей все кажется, что мнѣ осьмнадцатый годъ...

— Ну, что-жъ... ей было бы еще пріятнѣе, еслибъ вамъ вѣчно было двѣнадцать... А то... того... что за

пріятность выпускать на волю, дѣлить хозяйство, выдавать деньги, да еще не знать, каковъ будетъ зять?

— Пулькинъ будетъ прелестный зять, увѣряю васъ... Онъ очень добръ, деликатенъ, и главное—человѣкъ практическій, не промотаетъ ни моего, ни своего состоянія. Пожалуйста, Андрей Петровичъ, зайдите къ нему и покопайтесь у него въ душѣ—что и какъ? Вы на это мастеръ!

— Я?..

— Да... вы... Я знаю, что вы сами меня немножко любите... но... вы, какъ честный человѣкъ, обѣщались помогать мнѣ, и я увѣрена, все, что сдѣлаете, все будетъ къ лучшему! Ну... прощайте, Дыминъ! Меня портниха ждетъ.

XLI.

Помогать Лизѣ и, помогая, разстроить—вотъ задача, которую взялъ на себя Дыминъ. Онъ уже мысленно торжествовалъ. Лиза стала больше размышлять, чѣмъ страдать и волноваться; онъ уже успѣлъ своими съ ней разговорами, во-первыхъ, на нѣсколько градусовъ охладить капризно-страстное сердце молодой, избалованной дѣвушки, во-вторыхъ, разными хитро-сплетенными фразами поселить въ ней мысль, что онъ самъ ее любитъ, и, по отношенію къ Пулькину, оказываетъ подвигъ великаго самоотверженія. Полупризнаніе Лизы и ея послѣднее свиданіе съ Пулькинымъ его озадачили. Послѣдній разговоръ съ нею убѣдилъ его, что задача его еще далеко не кончена.

А взялся онъ за эту задачу оттого, что самъ давно бы женился на Лизѣ, еслибъ не характеръ маменьки. Для своей Лизы она хотѣла чего-то необыкновеннаго, чего-то такого, чтобъ всѣ ахали и чуть не падали передъ величіемъ ея будущаго зятя. Ей мало было денегъ, нуженъ

былъ человѣкъ власть имѣющій или гораздо выше ея стоящій на ступеняхъ общественной лѣстницы. Впрочемъ, фантазіи ея такъ часто мѣнялись, что услѣдить за ними не было никакой возможности. Часто была она и въ идиллическомъ настроеніи духа, и выше всего на свѣтѣ считала голубиное воркованіе двухъ влюбленныхъ.

Ничего нѣтъ нелѣпѣе и несноснѣе именно такихъ характеровъ, и Дыминъ, въ продолженіе десяти лѣтъ, испыталъ на себѣ, что значитъ расположеніе или дружба такой женщины, какъ эта Анна Петровна. Онъ понялъ, что самое лучшее, это не замѣчать, когда она сердится или капризничаетъ, и никогда не поддаваться ея дружескимъ изліяніямъ такъ, какъ поддавался имъ Пулькинъ, хотя и плутоватый, но далеко еще не столь опытный.

Дыминъ былъ безконечно хитрѣе Пулькина. На службѣ онъ нажилъ большія деньги, ловко игралъ на биржѣ, зналъ всѣхъ дѣльцовъ и угадывалъ планы ихъ; зналъ положеніе дѣлъ каждой конторы, каждаго общества — и что всего сквернѣе—никогда громко не негодовалъ, никогда никакому мошенничеству не мѣшалъ, никому не вредилъ и ни разу не выдалъ тайны, даже такой, огласка которой могла бы многихъ спасти отъ разоренія. Онъ не любилъ роскоши, но съ дѣтства мечталъ о богатствѣ. Онъ любилъ деньги, и все-таки былъ такъ добръ, что не отказывался помогать другимъ при случаѣ. Такъ, напримѣръ, на Святую недѣлю, выручилъ онъ Смакова, котораго давно зналъ, и далъ ему взаймы 100 рублей. Отъ знакомыхъ сенатора Шталя до него дошли уже кой-какіе слухи о Пулькинѣ. Онъ зналъ даже и то, что герой нашъ былъ призываемъ въ полицію, но, по свойственной ему привычкѣ молчать, не сказалъ объ этомъ ни Лизѣ, ни ея матери. «Это меня не касается,» думалъ онъ, «да и повѣрить ли мнѣ Лиза, если она влюблена въ него; а если и повѣритъ, то мнѣ же на зло выйдетъ замужъ за пер-

ваго въ свѣтѣ вора и мошенника! Нѣтъ, ужъ пусть лучше узнаетъ отъ другихъ... я не хочу съ ней ссориться... Пусть себѣ хоть сто разъ влюбляется и дѣлаетъ глупости; разъ она будетъ женой моей, все это пройдетъ, и вечерній преферансъ будетъ для нея и усладой, и занятіемъ. Она тоже не безъ фантазій, но умнѣе своей маменьки, и умный мужъ сумѣетъ ее выровнять!»

Долго думалъ Дыминъ прежде, чѣмъ рѣшился идти къ Пулькину.

6 мая онъ не засталъ его, 8 мая вечеромъ зашелъ и засталъ.

XLII.

Онъ засталъ Пулькина въ спальнѣ, гдѣ стояло трюмо въ углу, письменный столъ противъ окна и гдѣ широкій цвѣтной занавѣсъ во всю стѣну закрывалъ кровать его. Пулькинъ былъ въ халатѣ, съ измятымъ лицемъ, съ растрепанными волосами и растрепанными чувствами; у него въ рукахъ былъ золотой браслетъ, въ видѣ змѣи, съ головкой, усыпанной брилліантами.

Тотчасъ узналъ онъ отъ Пулькина о смерти Лели, остолбенѣлъ, перекрестился и прочиталъ про себя: «Помяни, Господи!» Узналъ, что этотъ браслетъ въ 450 рублей былъ подаренъ Пулькинымъ Лелѣ и что Пулькинъ оченъ огорченъ, зачѣмъ ему его вернули, такъ какъ самый видъ этого браслета растравляетъ ему сердце и такія мрачныя мысли поселяетъ въ головѣ его, что онъ готовъ съума сойти.

Николашка въ сосѣднюю комнату съ піанино и угольнымъ сафьяннымъ диваномъ внесъ вечерній самоваръ. Пулькинъ послалъ его за калачами и вареньемъ, пригласилъ Дымина напиться съ нимъ чаю и, если можно, разогнать хандру его.

«Ну, братъ, ты вовсе не такъ глубоко потрясенъ и опечаленъ, чтобы съ ума сойти», — подумалъ про себя Дыминъ, выпилъ полстакана чаю и закурилъ сигару, предложенную Пулькинымъ.

— Когда вы уѣзжаете? спросилъ Дыминъ.

— Не позднѣе 20-го мая,—отвѣчалъ Пулькинъ.

— Ну-съ... такъ вотъ что-съ...—Дыминъ погладилъ усы сверху внизъ, потупился и продолжалъ:—да... что бишь?... Ахъ, да! Если вы до того времени не успѣете жениться на Лизѣ Любиной, то... я женюсь на ней...

— Вы?..—удивился Пулькинъ:—Вотъ ужъ чего не ожидалъ!...

— Вы не удивляйтесь, что я такъ говорю. Я очень скрытенъ; но когда откровенность никому не вредитъ, я откровененъ... Вы не барыня: съ тѣми... бѣда! ничего нѣтъ хуже. Скажи кто-нибудь искренно, отъ души скажи: «я васъ люблю»—не повѣритъ! Солги—повѣритъ... Пфъ! пфъ! какія сигары у васъ крѣпкія!...

— Я самъ сигаръ не курю, Андрей Петровичъ. Купилъ для знакомыхъ у Фейка... какія попались...

— Пфъ!.. Нѣтъ, ничего сигары... Ну, такъ вотъ что-съ... Хотите жениться — дѣйствуйте, сватайтесь, и разумѣется... того, не проговаривайтесь, что у васъ ничего нѣтъ и что вы «яко благъ, яко нагъ, яко нѣтъ ничего!...»

Пулькинъ покраснѣлъ, поблѣднѣлъ и уставилъ на него каріе глаза свои...

— А! и вы тоже...—процѣдилъ онъ сквозь зубы,— ну, это еще мы поглядимъ, это еще вы увидите!..

— Конечно, увидимъ... Женитесь —разбогатѣете! Да вы, пожалуйста, этого не пугайтесь, Я... не такой, чтобы... Никому... понимаете!? Я никогда никому зла не желаю — можетъ быть, добра мало дѣлаю, но зла не желаю... «Возлюби ближняго, сказано, и не осуди»...

— Какъ же не пугаться? Сами посудите, чѣмъ же я живу, если у меня ничего нѣтъ, на что же я покупаю такія вещи, хотя бы такой браслетъ, напримѣръ? Одна квартира стоитъ мнѣ дороже моего жалованья. Если у меня ничего нѣтъ, значитъ, я или краду, или счастливо карточную игру веду... И я не понимаю васъ—вы, старый пріятель Любиныхъ, и вы хотите, чтобы я ихъ обманывалъ!?

— Да развѣ вы не сказали имъ, что у васъ двѣсти тысячъ!?

— А, можетъ быть, и есть двѣсти тысячъ! Чѣмъ вы докажете, что у меня ихъ нѣтъ?

— А чѣмъ вы докажете, что есть? Вы говорите, есть завѣщаніе; ну, хорошо: вытребуйте хоть копію съ этого завѣщанія, со всѣми надлежащими печатями и подписями. Копію вамъ сейчасъ пришлютъ, даже обязаны прислать... Если у васъ есть билеты, акціи или квитанціи, выложите ихъ на столъ, ну, и тогда доказательство будетъ ясное!

— Извините, я считаю для себя позоромъ это доказывать. Если вы мнѣ не вѣрите, и не нужно... Пусть я и буду въ вашихъ глазахъ нищимъ. Отъ этого мнѣ ни тепло, ни холодно! Можете такъ и сказать Лизѣ, что «я голъ, какъ соколъ»—и если это помѣшаетъ ей выйти за меня замужъ, ну, и не нужно!

— Зачѣмъ я буду ей это говорить? А, впрочемъ, если хотите... если вы полагаете, что это, такъ сказать, послужитъ ей... какъ бы это выразить?.. ну... пробой... фу! не пробой... испытаніемъ, дѣйствительно ли она любитъ васъ безкорыстно... то прекрасно, я готовъ вамъ служить.

— Нѣтъ... что за испытанія!.. Вы лучше скажите мнѣ откровенно, отъ себя вы пришли ко мнѣ, по собственному побужденію, или отъ нея?..

— И отъ себя, по собственному побужденію, и отъ нея.

— Что же? она поручила вамъ сказать что-нибудь? или...

— Гмъ, да! конечно, поручила.

— Что же именно?

— Узнать, какое ваше расположеніе, т. е. расположены ли вы поѣхать къ ея мамашѣ и просить ея руки, или... ужъ я и не знаю что... что то въ этомъ родѣ...

Пулькинъ задумался.

— Я этого теперь не могу-съ! Анна Петровна, конечно, узнаетъ, что Леля скончалась, и будетъ поражена сватовствомъ моимъ. Она, какъ благородная и впечатлительная женщина, непремѣнно вознегодуетъ и откажетъ мнѣ.

— Тѣмъ лучше... Такъ и надо... Оттого-то я и совѣтую вамъ спѣшить...

— Да отчего же тѣмъ лучше?

— Да оттого, что если вамъ откажетъ ея мамаша, Лиза съ вами удеретъ... т. е. убѣжитъ... Вы 20-го мая уѣзжаете, и она, чего добраго, уѣдетъ съ вами съ тѣмъ же поѣздомъ. Ну, и вѣнчайтесь съ ней, гдѣ хотите—въ Колпино, въ Твери, въ Москвѣ, въ Ярославлѣ—гдѣ хотите!

— Вы это не шутя говорите, Андрей Петровичъ? проговорилъ Пулькинъ и схватилъ Дымина за руку—вы это не шутя?.. Неужели она такъ сильно расположена ко мнѣ?..

— Появилась такая фантазія, а развѣ есть возможность бороться съ женской фантазіей? Никакой возможности. Я ее отговаривалъ—уйду! говоритъ... Что-жъ вы тутъ подѣлаете?.. Ничего не подѣлаешь!...

Дыминъ какъ-то странно замигалъ и развелъ руки.

— Такъ вы думаете, что она на все рѣшится?

— Ну-да... особливо, если я похлопочу...

— Похлопочите, Андрей Петровичъ... Надо только

будетъ, чтобъ она и документы свои взяла на всякій случай... Надо и мнѣ взять свое метрическое свидѣтельство и копію съ формулярнаго списка, — если же нужно дозволеніе начальства, то... и за этимъ дѣло не станетъ.

— Разумѣется, это никогда не мѣшаетъ—дозволеніе.

— Затѣмъ, хозяинъ и гость замолчали.

Дыминъ курилъ, у Пулькина разыгрывалась фантазія. Перспектива жить въ своемъ собственномъ домѣ, переѣзжать на свою собственную дачу, сидѣть и нюхать цвѣты въ собственномъ саду и, не нуждаясь въ службѣ, преуспѣвать на ней — все это для Пулькина было такой заманчивой перспективой, что не мудрено, если у него разыгралась фантазія! Вдругъ, новая мысль мелькнула въ головѣ его, и онъ пристально поглядѣлъ на Дымина.

— Разумѣется...—началъ онъ,—если я женюсь, и... вы... мнѣ поможете... вы будете въ правѣ требовать отъ меня... какъ бы это вамъ сказать...

Дыминъ точно проснулся.

— Знаю, что вы хотите сказать: потребовать могарычъ, сирѣчь вознагражденіе за ходатайство — тысячъ эдакъ семь, восемь! А? это вы хотите сказать?...

— То-есть... да... вы угадали... но...

— Пфъ! пфъ! Дыминъ пустилъ струю дыма и искоса своими свинцовыми глазами поглядѣлъ на Пулькина.

— Гмъ-да! не мѣшаетъ, если женитесь... Но... знаете... я человѣкъ немножко благородный, дорого цѣню свои услуги, а во-вторыхъ, я богаче Лизы...

— Извините, Андрей Петровичъ, я такъ, на всякій случай спросилъ васъ, нисколько не сомнѣваясь въ васъ; но я воображалъ, что вы однимъ жалованьемъ существуете.

— Такъ и надо жить, чтобъ всѣ это думали—меньше сплетенъ, зависти... Я не роскошничаю, въ каретахъ не ѣзжу. А чтобы убѣдить васъ, что я въ вашихъ деньгахъ

не нуждаюсь, я самъ могу предложить вамъ десять, пятнадцать тысячъ, если вы напишете Лизѣ, что... того... что вы ее не любите—пфу! не Лизѣ—съ какой стати вы будете ей писать — а мнѣ, ну, хотя по поводу смерти Лели, можно вклеить такую фразу, что вы никого не любите, никого—даже дочери ея превосходительства.

Пулькинъ откинулся въ уголокъ дивана и, не сводя глазъ съ равнодушнаго Дымина, подумалъ: «Господи Боже мой! какіе есть случаи наживать деньги! Пятнадцать тысячъ за одну фразу!... Но... что же за выгода — взять 15,000 и потерять красавицу и 100,000?! Ну, не будь она влюблена въ меня и не рѣшайся на все... развѣ Дыминъ могъ бы сдѣлать мнѣ такое предложеніе!

— Нѣтъ, за милліонъ не уступлю! сказалъ Пулькинъ.

— Ну-съ, очень пріятно слышать, что вы и за милліонъ мнѣ ее не уступите... Однако-жъ я у васъ засидѣлся! Эге! онъ поглядѣлъ на часы и взялся за фуражку.

Дыминъ и Пулькинъ встали. Дыминъ простился и уже былъ въ сѣняхъ, когда вдругъ Пулькинъ вслѣдъ за нимъ изъ-за двери высунулъ въ сѣни свою голову и закричалъ:

— Андрей Петровичъ! Андрей Петровичъ! (Дыминъ вернулся). Вы не шутя хотите помочь мнѣ?

— Ну-да... а что?...

— Такъ знаете что... посидите у меня... я... я напишу письмо Аннѣ Петровнѣ, или, такъ сказать, проектъ письма, и прочту вамъ, и если вы одобрите, я тотчасъ перебѣлю его, а вы возьмете съ собой и отдадите его Любиной, когда вамъ вздумается. А то ей-Богу идти... faire la proposition... какъ вы мнѣ совѣтуете, я ни за что не рѣшусь. Я, право, не такой, какъ вы думаете—часто не достаетъ смѣлости... частехонько! особливо въ такихъ дѣлахъ. Да и этой Анны Петровны я иногда побаиваюсь. Иногда ласковая такая—чудо! матери родной не надо; а

иногда такъ глядитъ... что... точно или злится, или не довѣряетъ мнѣ! Ей-Богу!

— Ну-съ, вы напишите письмо и завезите мнѣ это письмо завтра утромъ. Вы вѣдь знаете, гдѣ я живу,— кажется, разъ заходили ко мнѣ? Напишите и запечатайте, зачѣмъ я буду читать?... Я не любопытенъ. А теперь мнѣ надо... А Лизѣ я такъ и скажу, что на-дняхъ мама ея получитъ отъ васъ посланіе... Ну, прощайте!

«Чортъ знаетъ, что это за человѣкъ!» подумалъ про себя Пулькинъ, проводивъ его.

«Дрянь человѣкъ!» подумалъ Дыминъ, уходя отъ Пулькина. «Мѣдный лобъ—и навострился, въ три мѣсяца навострился! Молодецъ!»

XLIII.

Бѣдный Кроликовъ не въ силахъ былъ ни ѣсть, ни пить, ни спать, ни свои статьи писать рядомъ съ комнатой, гдѣ на столѣ вѣчнымъ, непробуднымъ сномъ покоилась Леля, куда черезъ часъ принесутъ изъ церкви высокіе подсвѣчники, гдѣ начнутъ курить ладаномъ, читать псалтырь, пѣть «со святыми упокой» гдѣ, наконецъ, послышится трупный запахъ и гдѣ постоянно всѣ окна, даже ночью, будутъ открыты.

— Я не могу... не могу...—сказалъ онъ матери,—дѣлайте, что хотите, распоряжайтесь, какъ знаете... Я поѣду... возьмите деньги на похороны, и затѣмъ до самаго кладбища вы меня не увидите...

— Ступай, ступай! отвѣчала ему Мароа Сергѣевна, поглядывая на позеленѣвшее, красноглазое лицо своего Савушки:—Но гдѣ же намъ искать тебя? куда ты поѣдешь?

— А ко мнѣ... У меня комната ничего, хорошая, двоимъ мѣсто есть, отозвался Ефименко.

— Ну-да... я къ Ефименко... Прощайте, маменька!... Заприте кабинетъ... Постойте, забылъ порошки... Деньги я завезу или пришлю къ вамъ.

Въ тотъ же день Кроликовъ, выпивъ рюмку мятной водки и закусивъ въ трактирѣ, отправился на Пески къ своему пріятелю, и, въ деревянномъ флигелькѣ, съ окнами на дворъ, лежалъ уже въ его комнатѣ на узенькомъ, покрытомъ черной волосяной матеріей диванчикѣ и хандрилъ.

— Какое безобразіе! хандрилъ онъ вслухъ,—какая безсмыслица! Толкуй послѣ этого, что есть какая-то высшая правда или высшій разумъ! Ну, есть ли смыслъ въ ея преждевременной смерти?! Какіе-то міазмы, микроскопическіе грибки какіе-то — и жизни какъ не бывало! точно со школьной доски недоконченную задачу губкой стерли! Кто поручится, Ефименко, что и мы съ тобой въ эту минуту не дышимъ точно такими же міазмами и наша задача также ничѣмъ не кончится!

Кромѣ того, что Кроликовъ былъ наклоненъ къ ипохондріи, смерть Лели порядочно таки потрясла его. Умри она не на его глазахъ, не въ его квартирѣ — было бы легче, но и тогда онъ не могъ бы не жалѣть о ней. Не даромъ же лучшіе годы своего болѣзненнаго дѣтства и гимназическаго долбленія уроковъ провелъ онъ въ дѣтской Лели, въ домѣ отца ея, чудака и добряка Затаилова. Шестью годами онъ былъ старше Лели, и такъ какъ до сихъ поръ онъ страстно не полюбилъ еще ни одной женщины, любовь къ Лелѣ, какъ къ близкому и родственному существу, еще сохранилась въ немъ, хотя въ послѣдніе годы онъ и не сознавалъ въ себѣ этой любви, погруженный въ непосильныя для него ученыя и литературныя занятія и польщенный тою долей извѣстности, какой пользовался онъ въ кругу молодежи,

толкуя ей Милля, Дарвина, отчасти Конта, и на всѣ лады разсуждая о томъ, что полезно и что безполезно.

Ефименко былъ далеко не такъ геніаленъ, но зато далеко и не такъ золотушенъ, какъ Кроликовъ. Послѣдній казался чуть не старикомъ въ его присутствіи, не смотря на то, что всего только двумя годами былъ старше Ефименка.

Ефименко до такой степени зналъ всѣ причуды своего знаменитаго друга и гостя, что, не смотря на теплый майскій день, всячески наблюдалъ, чтобъ въ комнатѣ его не было сквозного вѣтра, или, Боже сохрани, самоварнаго чада изъ кухни. Онъ бы очень желалъ, чтобъ и клоповъ у него не было, но спасти своего гостя отъ ночного нашествія этихъ варваровъ онъ не надѣялся.

Смерть Лели глубоко отозвалась въ душѣ Ефименка. «Но,—говорилъ онъ Кроликову въ тотъ же день вечеромъ, — если бы она вышла замужъ за Пулькина, это было бы хуже смерти!»

— Нѣтъ... нѣтъ... ничего нѣтъ хуже этой смерти! убѣждалъ его Кроликовъ:—отъ скверной жены или отъ противнаго мужа можно уйти, можно надувать ихъ, а изъ этого ящика, засыпаннаго землей, никуда не уйдешь, хоть всю вселенную взломай, хоть всю ее наизнанку вывороти! Мертвый не воскреснетъ! Баста! Тотъ еще и можетъ иногда не дорожить своимъ земнымъ существованіемъ, кто вѣритъ, что есть еще какое-то другое... Я этому не вѣрю, а потому хочу жить, жить и жить! Въ этомъ скрывается тайна всѣхъ моихъ причудъ, моей мнительности и даже моего глупаго суевѣрія... Когда общество утратитъ вѣру въ небесное, оно будетъ дорожить земнымъ и всѣми его благами. Жизнь вздорожаетъ, воины и храбрецы сдѣлаются умными людьми, т. е. трусами, средства пойдутъ на борьбу съ природой. Всѣ таланты, не исключая поэтическихъ, не будутъ растрачиваться на

пустячки—всѣ уйдутъ на ту же борьбу противъ холода, голода, саранчи, болотныхъ испареній, міазмовъ, тифозной эпидеміи, и проч., и проч. Чортъ ли мнѣ въ музыкѣ или въ лирическомъ восторгѣ, когда я знаю, что, можетъ быть, дышу заразой или ѣмъ протухлую говядину, или пью воду, отравленную всевозможными стоками нечистотъ!

— Какая тутъ зараза!... Не хочешь ли чаю?

— Чай буду пить, сколько хочешь и когда хочешь! Лучшаго промывательнаго для желудка и кишекъ я не знаю. Чай меня освѣжаетъ. Не даромъ китайцы, самое миролюбивое, самое культурное племя на нашей планетѣ, выдумали этотъ напитокъ. Ты себѣ представить не можешь, какъ я иногда жалѣю, что родился не въ Китайской имперіи:—воистину Небесная!

Черезъ полчаса кухарка внесла самоваръ, и, вслѣдъ за ней, въ комнату заглянула хозяйка, еще смазливая бабенка, съ добрымъ лицомъ и веселыми глазками.

— Не послать ли за сухарями? спросила она. Ей хотѣлось, главное, не за сухарями послать, а поглядѣть, что за гость у Ефименка, такъ какъ Ефименко сказалъ ей, что онъ у него ночуетъ.

Ефименко выбѣжалъ къ ней за дверь и, поговоривши съ нею, рѣшилъ, что за сухарями онъ бы и самъ послалъ, но что купить лимончикъ не мѣшаетъ.

Къ чаю пришелъ Умековъ. Долго онъ былъ неразговорчивъ, и, казалось, еще глубже, подъ самый лобъ ушли голубые, свѣтящіеся глаза его.

— А знаете, что я вамъ повѣдаю? сказалъ онъ невеселымъ голосомъ.

— Что такое?

— А то, что если бы не умерла Леля—этотъ сумасшедшій Стихаревъ убилъ бы ее!

— Какой вы вздоръ говорите! воскликнулъ Кроликовъ и даже вздрогнулъ отъ такой новости.

Ефименко съ недовѣріемъ поглядѣлъ на Умекова.

— Это не я говорю... Онъ самъ признался въ этомъ при мнѣ и при Матильдѣ.

— Ну, такъ самъ на себя вретъ.

— Можетъ быть... Но... онъ немного выпилъ, пришелъ обѣдать и за обѣдомъ подробно разсказалъ намъ, какъ четыре дня тому назадъ, онъ прокрался къ Лелѣ въ комнату съ револьверомъ и не застрѣлилъ ее только потому, что она была безъ памяти.

Сказавъ это, Умековъ сталъ допивать свой чай; Кроликовъ что-то соображалъ; всѣ молчали.

— Ну, вотъ, братъ, Савелій Дмитріевичъ, ты недавно говорилъ, что жизнь вздорожаетъ, если мы на загробную жизнь не будемъ надѣяться... Если и вздорожаетъ, то во всякомъ случаѣ не чужая...

— Да онъ и съ собою хотѣлъ тутъ же порѣшить,— сказалъ Умековъ,—ему и своей не жаль!

— Господа! сказалъ Кроликовъ,—хоть мнѣ все еще не вѣрится, но допустимъ, что это именно было бы такъ, какъ говоритъ Умековъ,—развѣ это противорѣчитъ тому, что я проповѣдую? Такія катастрофы можетъ породить только крайнее невѣжество.

— Да развѣ Стихаревъ ужъ такой невѣжда — онъ изъ духовной академіи!

— Вездѣ можно исковеркать всю нашу жизнь, всѣ наши лучшіе инстинкты. Вы сдираете съ дерева его кору, вы его допиливаете до сердцевины, вы его подпиливаете съ корней и хотите, чтобы оно цвѣло! Оно высохнетъ, свалится при первомъ вѣтрѣ, да еще кого-нибудь задавитъ при этомъ. Стихаревъ невѣжда потому, что и профессора его были ученые невѣжды—обскуранты перваго сорта. Я нѣкоторыхъ лично знаю... Ученые тупицы, у которыхъ въ головѣ на копѣйку свѣта нѣтъ. Когда я говорилъ тебѣ, Ефименко, о борьбѣ съ природой — я и

свою собственную природу разумѣлъ. Утилитаризмъ учитъ понимать, на сколько вредна, на сколько полезна мнѣ та или другая страсть. Я бы самъ, можетъ быть, пустился во всѣ тяжкія, если бы не взвѣсилъ своихъ силъ и если бы не зналъ, что всякое излишество, хотя бы оно и доставляло мнѣ временное наслажденіе, высушитъ мой становой хребетъ и навлечетъ на меня такія лихія болѣзни, что хоть не живи... Стихаревъ не выучился и не умѣетъ любить себя... Онъ и того не сообразилъ, дуракъ, что если бы, застрѣлившись, онъ не умеръ въ ту же минуту, а промучился бы четыре дня или недѣлю, то передъ такимъ страданіемъ ничтожно показалось бы ему то наслажденіе любовью, котораго добивался онъ... Если онъ не вретъ на себя, то... я еще поговорю съ нимъ, еще поговорю! горячился Кроликовъ.

Умековъ возразилъ Кроликову, что слово «полезное» не такое слово, чтобъ ради его мы боролись съ тѣми страстями, удовлетвореніе которыхъ услаждаетъ насъ, и что слово это очень эластично, всякій пойметъ его посвоему: что Кроликову вредно, то можетъ быть полезно для него или очень полезно для Ефименка.

— Это слово оттого такъ эластично, что при этомъ забывается наука,—отвѣчалъ Кроликовъ:—Стихаревъ же не знаетъ себя даже съ физіологической точки зрѣнія. Положимъ, онъ животное, какъ и всѣ мы животныя; но какъ-же онъ не догадывается, что въ тѣхъ же условіяхъ, въ какихъ живетъ левъ, волкъ, даже кошка, онъ жить уже не можетъ. Вообще, у него въ головѣ сумбуръ, и если онъ рано или поздно застрѣлится, я не удивлюсь.

— Такъ за что же ты его такъ любилъ и такъ всегда снисходилъ къ нему? спросилъ Ефименко.

— А за то, что мнѣ казалось, господа, онъ безсознательно врагъ тому злу, которому и я не сочувствую. Впрочемъ, я можетъ быть ошибаюсь!

Споръ этотъ продолжался далеко за полночь, и если бы я буквально внесъ его въ свое повѣствованіе, то вы должны бы были лишнихъ три часа читать его...

Споръ этотъ въ концѣ концовъ больше всѣхъ увлекъ Умекова, который сталъ доказывать Кроликову, что бороться противъ искусства ради искусства — это то же, что бороться съ чѣмъ-то несуществующимъ, такъ какъ такого искусства не было и нѣтъ среди человѣческаго общества, или это не искусство, а жестяной сапогъ, котораго никто не надѣнетъ на ногу, но если этотъ жестяной сапогъ качается вмѣсто вывѣски, то и онъ уже нѣчто полезное—онъ уже не сапогъ ради сапога, а ради того, чтобъ указать, гдѣ живутъ сапожники.

Вдругъ въ стѣнкѣ раздался стукъ, и всѣ притихли.

— Кто это? спросилъ Кроликовъ.

— Кто? хозяйка должно быть! Что на нее смотрѣть! сказалъ Ефименко.

Опять поднялся споръ и опять «стукъ, стукъ, стукъ!» Чья-то рука постучала въ деревянную перегородку, за диванчикомъ.

Умековъ поглядѣлъ на часы и ахнулъ. Онъ обѣщалъ женѣ своей зайти за ней въ одинъ домъ и опоздалъ. Жена же его была въ интересномъ положеніи и капризничала.

«Ну, достанется мнѣ!» вставая, подумалъ Умековъ.

Ефименко пошелъ до воротъ провожать его.

— Чортъ возьми! заворчалъ онъ, вернувшись въ свою душную, накуренную комнату. Какъ она смѣла стучать! какъ она смѣетъ!

— Да что же за бѣда?

— Разумѣется, бѣды тутъ нѣтъ... но ложитесь, Кроликовъ, на мою постель. Скоро свѣтать начнетъ... Вотъ эту стору надо опустить;... какъ бы только не свалилась, чортъ возьми! Нѣтъ, это вы какъ хотите, а я не могу

это такъ оставить! Стучится, точно мы съ вами школьники или мальчишки. Спрошу, что ей надо. Ложитесь, Кроликовъ, я пойду къ хозяйкѣ.

— Да она спитъ! Что вы, куда?

— А мнѣ какое дѣло!

И Ефименко накинулъ на себя старую шинель вмѣсто халата, снялъ сапоги и босикомъ исчезъ за дверью.

Минуты черезъ двѣ за перегородкой послышался звукъ женскаго голоса и какое-то движеніе.

«Экій неугомонный!» укладываясь на чужой матрасъ, думалъ Кроликовъ. «Разбудилъ ее, безсовѣстный! Подѣломъ, коли плюху получитъ. Ни малѣйшей деликатности! И что за бѣда, что постучалась, что за бѣда! Ну, мы мѣшали ей спать, ну, и стучалась.»

Не догадывался наивный критикъ, что въ гнѣвѣ Ефименко на хозяйку слышалась явно фальшивая нотка, т. е. нотка далеко не гнѣвная.

Долго ему не спалось, хандра мучила. Наконецъ, чуть было онъ не заснулъ, да на лицѣ клопа поймалъ и проснулся. Проснувшись, услыхалъ онъ, что дверь въ комнату тихонько отворяется. Онъ вздрогнулъ, и оглянувшись, увидѣлъ, что это Ефименко. Было уже свѣтло, не смотря на зеленую стору.

— Ну что? спросилъ Кроликовъ.

— А вы еще не спите? Я за спичками.

— Еще не сплю. Ну что, помирились?

— Она мнѣ уступаетъ свою подушку, одѣяло и свой широкій диванъ. Я къ ней перейду и тамъ ночую.

— Ну, значитъ, нѣтъ худа безъ добра! засмѣявшись, сказалъ Кроликовъ.

— Не то, что нѣтъ худа безъ добра, а не слѣдуетъ ей стучать въ стѣну. Созналась, что виновата.

— Да какъ же вы ее застали?

— Разумѣется, дрыхла.

— Ну, я вижу—вы тутъ не очень церемонитесь!

— Что за церемоніи! Мертвый мирно въ гробѣ спи, жизнью пользуйся живущій!

XLIV.

Простившись съ сыномъ, Марѳа Сергѣевна взяла на себя всѣ хлопоты, какъ бы стараясь заглушить этимъ то страшное горе, которое, какъ тяжелый камень, свалилось ей на сердце. Лелю любила она не какъ племянницу, а какъ родную дочь, какъ милое дитя свое. Ничѣмъ, никакими мечтами, никакими разговорами не могла бы она развлечь себя. Поплакавъ въ комнатѣ Лели, въ комнатѣ, гдѣ еще не высохъ полъ, на которомъ женщины обмывали покойницу, она шла торговаться съ гробовщикомъ. Поплакавъ въ комнатѣ Матильды, она шла въ кухню и объяснялась съ полицейскимъ чиновникомъ, заказывала обѣдъ, ходила въ лавочку и брала съ собой мальчика Мишу, сына Матильды, который никогда еще не видѣлъ покойниковъ и весь день казался испуганнымъ—прятался по угламъ, уходилъ въ чужой сарай, гдѣ его чуть не заперли, или сидѣлъ на улицѣ, выбравъ себѣ пониже тротуарную тумбочку, и разсѣянно глядѣлъ на идущихъ и ѣдущихъ.

На другой день Кроликова отправилась къ Шталю.

Съ нимъ сдѣлался точно столбнякъ: глаза остановились и щеки посинѣли,—такъ поразила его вѣсть о смерти Лели. Давно ли, дней десять тому назадъ, онъ былъ у нея, говорилъ съ ней о Пулькинѣ, и она благодарила его за правду, и даже лѣтомъ обѣщалась на дачѣ навѣстить его.

— Зачѣмъ же вы, почтеннѣйшая, не дали мнѣ знать о ея болѣзни? басилъ онъ, съ укоромъ и злостью глядя на бѣдную Марѳу Сергѣевну. Что это за докторъ, кото-

рый лечилъ ее? Это закулисныхъ дѣлъ мастеръ, а не докторъ. Я бы собаки своей не далъ ему лечить. Что вы надѣлали?!

Сенаторъ прослезился, чуть не застоналъ. Велѣлъ заложить карету для Маріы Сергѣевны и сказалъ: «поѣзжайте, велите каретѣ моей дожидаться у васъ, а я въ два часа зайду; да вотъ, если на похороны нужны деньги, то сколько вамъ нужно, почтеннѣйшая?»

Марѳа Сергѣевна созналась, что сынъ ея поѣхалъ къ редактору и прислалъ ей на всѣ расходы всего только 50 рублей,—видно, у редактора не случилось денегъ (недавно домъ купилъ) или Сава по неопытности думалъ, что этихъ денегъ достаточно. Сенаторъ далъ еще 200 рублей, и, когда она уѣхала, долго ходилъ у себя по кабинету, мрачный, какъ туча, и скорбѣлъ такъ, какъ скорбитъ тотъ, который навѣки теряетъ послѣдній лучъ надежды, послѣднюю возможность любить. Лифляндскій Собавичъ, какъ назвалъ его Пулькинъ ради краснаго словца, былъ очень богатъ, оченъ страстенъ, и полухолостая жизнь съ Кларой не могла уже удовлетворять его. На дочь друга своего, Лелю Затаилову, онъ смотрѣлъ иногда, какъ на будущую свою жену, и только выжидалъ случая, только старался о томъ, чтобъ какой-нибудь Пулькинъ не завладѣлъ ею, и не шутя радовался, что Пулькинъ этотъ провалился. Давно ли онъ радовался—и и вдругъ такой ударъ!

Сильно раскаялся сенаторъ, когда пришедши ровно въ 2 часа въ квартиру Кроликовыхъ и выслушавъ панихиду, заглянулъ онъ подъ вуаль, которымъ было прикрыто лице покойницы. Это темное, студенистое, съ впалыми щеками и высунувшимся тонкимъ носомъ лице уже нисколько не напоминало собой прежней милой Лели и ея нѣжнаго, бѣлаго, какъ фарфоръ, личика.

Сенаторъ отшатнулся, и, хотя былъ лютеранинъ, пе-

рекрестился, что-то пробормоталъ и тотчасъ же вышелъ, нахлобучивъ на глаза свою широкую шляпу - цилиндръ и стиснувъ зубы.

Кромѣ постороннихъ посѣтителей и знакомыхъ дѣвушекъ, гробъ Лели чаще другихъ навѣщалъ Стихаревъ, къ немалой досадѣ старухи Кроликовой, и не одной ей онъ казался полупомѣшаннымъ. То упрашивалъ онъ положить его спать на кровать Лели, то по цѣлымъ часамъ, какъ истуканъ съ движущимися глазами, сидѣлъ онъ на одномъ и томъ же мѣстѣ и ни съ кѣмъ не говорилъ ни слова, то уходилъ въ кухню и преспокойно просилъ изжарить для него кусокъ говядины или дать ему сыру. Иногда принимался смѣяться, нюхалъ табакъ изъ табакерки дьячка, который читалъ псалтырь, мѣшалъ Матильдѣ, на которую разсказъ его о томъ, что онъ чуть было не совершилъ преступленіе, произвелъ неотразимо тяжелое впечатлѣніе. Она повѣрила ему больше, чѣмъ Умековъ. Умековъ же, хотя и повѣрилъ, все же приписывалъ этотъ разсказъ или его омраченной фантазіи, или желанію хоть чѣмъ-нибудь заинтересовать другихъ своею личностью. Стихаревъ же разсказалъ это, во-первыхъ, потому, что лишнее выпилъ, во-вторыхъ, потому, что хотѣлъ этимъ доказать Умекову, который приходилъ звать его на судъ, что онъ не таковскій, чтобъ позволить имъ или кому бы то ни было презирать себя, и что для него, Стихарева, все нипочемъ! Да, онъ это чувствовалъ, чувствовалъ, что ему все нипочемъ, даже преступленіе, и вдругъ—смерть!—сила, которая сильнѣе всѣхъ силъ, вмѣстѣ взятыхъ, сильнѣе, чѣмъ страсти людей, какъ-бы ни были онѣ разнузданы, сильнѣе науки, сильнѣе невѣжества, сильнѣе воли самой настойчивой, сильнѣе цѣлаго легіона такихъ Стихаревыхъ, которымъ все нипочемъ. Тотъ невѣдомый, кто вырвалъ у него добычу, былъ уже не Пулькинъ, а кто-то такой таинственный, недоступный, и

небоящійся человѣческаго мщенія; — и самообожающій Стихаревъ сталъ еще ближе къ точкѣ помѣшательства.

XLV.

Пулькинъ, проводивъ Дымина, надѣлъ халатъ и тотчасъ же принялся за письмо къ Аннѣ Петровнѣ, но вдругъ всталъ и нахмурился.

«Нѣтъ, подумалъ онъ, шалишь! этотъ Дыминъ просто хотѣлъ подвести меня! Это... хитрецъ!... Самъ же проболтался, что не прочь жениться на Лизѣ, можетъ быть даже влюбленъ въ нее! Съ какой стати будетъ онъ хлопотать о моемъ благополучіи! Э! нѣтъ!.. Еще не успѣли похоронить бѣдную Лелю, какъ уже онъ хочетъ, чтобы я тотчасъ же за Лизу сватался... Неблаговидно... Явно, онъ хочетъ какъ-нибудь уронить меня въ ихъ мнѣніи... Ну, нѣтъ! А вѣдь чуть-было, каналья, не поддѣлъ меня!»

Пулькинъ изорвалъ начатое письмо, стащилъ съ себя халатъ, потушилъ свѣчу и легъ. Засыпая, онъ вдругъ очнулся: образъ дѣвушки, лежащей на столѣ подъ вуалемъ, такъ живо и рѣзко, со всѣми мельчайшими подробностями возникъ въ его воображеніи, и при этомъ такъ отчетливо повторилась въ головѣ его ироническая фраза горничной: «пожалуйте — дома!» что сердце его вдругъ опять заныло, и слезы выступили на глаза. Онъ опять зажегъ свѣчу и закурилъ папироску. «Нѣтъ, никого я такъ любить не буду... прощай любовь»!.. И тяжело было Пулькину припомнить, какъ не разъ мечталъ онъ увлечь ее, сдѣлать ее своей любовницей, какъ онъ хитрилъ при ней, говоря то о своемъ будущемъ журналѣ, то о путешествіи за границу, и какъ онъ притворялся, что совершенно во всемъ раздѣляетъ ея образъ мыслей, хотя ни въ чей образъ мыслей, особливо въ образъ мыслей

молодой дѣвушки, онъ не вѣрилъ и, стало быть, только игралъ словами.

На другой день, утромъ, раньше, чѣмъ идти въ департаментъ, онъ поѣхалъ къ Дымину. Ему хотѣлось поговорить съ нимъ, похитрить, узнать, искренно ли его участіе, и скрыть отъ него свои намѣренія. Но когда онъ позвонилъ въ квартиру Дымина, вышелъ писарь и сказалъ, что Дымина дома нѣтъ.

— Отдайте ему мою визитную карточку, я подожду на лѣстницѣ,—сказалъ Пулькинъ.

Писарь взялъ карточку и вѣжливо опять повторилъ ему, что Андрей Петровича г-на Дымина дома нѣтъ.

«Ага!» подумалъ Пулькинъ, «самъ побоялся взять у меня письмо. Ну, пусть думаетъ, что я его привозилъ къ нему. Нѣтъ, пока я отъ Лизы не получу согласія, я за нее не буду свататься ни за что!»

Въ день смерти Лели, Сопѣлкинъ навѣстилъ свою тетушку. Она велѣла принять его и, какъ родственника, приняла въ постели. «Привередничаетъ! Нисколько не похудѣла, все такая же!» думалъ Сопѣлкинъ, то глядя ей въ лицо, то оглядывая въ углу большой кіотъ съ образами и лампадками.

— Ну, что новаго? спросила Любина.

Сопѣлкинъ сѣлъ и разсказалъ ей о своемъ визитѣ къ Шталю и о своемъ рѣшительномъ подозрѣніи, что Пулькинъ нигдѣ никакого наслѣдства не получалъ и очень ловко обморочилъ и его, и тетушку Любину.

Анна Петровна чуть не выскочила изъ-подъ одѣяла, всплеснула руками и поглядѣла на улыбавшагося Сопѣлкина, какъ кошка, которую бульдогъ или лягавый песъ загналъ въ самый уголъ, откуда ей и спасенья нѣтъ.

— Можетъ ли это быть? Можно ли такъ подозрѣвать человѣка! Не шутите такъ, Степанъ... Я недавно

еще дала ему взаймы 3,400 рублей. Значитъ, я потеряла ихъ?

У Сопѣлкина все лицо дрогнуло отъ какого-то язвительно-колкаго смѣха, очки слѣзли внизъ до половины носа, но, взглянувъ на разстроенное лицо тетушки поверхъ очковъ, онъ тотчасъ поправилъ ихъ и пересталъ смѣяться.

— И онъ далъ вамъ вексель на эти деньги?

— Никакого. Далъ росписку и только.

— Ну, что-жъ, онъ вамъ заплатитъ. Женится когда нибудь на вашей дочери и заплатитъ.

— И вы это говорите! Вы можете такъ говорить! Съ чего вы это взяли, что я выдамъ за него дочь свою? Ахъ! вы меня съ ума сведете... Вы меня разстроили.

— Да отъ чего же, chère tante, Лизѣ и не выйти за Пулькина. Онъ будетъ преотличный мужъ: и не пьяница, и въ карты не проиграетъ ея состоянія.

— А, такъ вы думаете, что если человѣкъ не пьяница и не азартный игрокъ, то ужъ онъ и достоинъ руки моей дочери! Вы меня уморите, если будете говорить мнѣ такія дерзости.

— Да поймите только, тетушка, что больше чѣмъ половина всѣхъ женщинъ, населяющихъ Питеръ, при выборѣ мужа удовлетворяется этими качествами: «не пьетъ и не козыряетъ». Чего же лучше? Не обо всѣхъ нашихъ аристократахъ—богачахъ и людяхъ чиновныхъ—можно сказать: «не пьетъ и не козыряетъ...» Ха, ха, ха! развѣ это не рѣдкія качества, особливо въ такой странѣ, гдѣ о другихъ что-то и помина нѣтъ? А что Пулькинъ любитъ деньги—такъ кто же ихъ не любитъ? И вы ихъ любите.

— Вы съ ума сошли, Степанъ Авдѣевичъ; я не хочу съ вами говорить... не могу, не могу... такія разсужденія, такой вздоръ! Пріятель вашъ мошенничаетъ, оби-

раетъ деньги, и вы... вы не только его оправдываете, вы такъ мало дорожите честью моего дома, честью моего имени!

— Ну, прощайте, коли я ничѣмъ не дорожу. А знаете, тетушка, что я сегодня сдѣлалъ?

— Что такое вы сегодня сдѣлали?

— Пулькина обокрала моя бывшая кухарка, Софья. Онъ—молодецъ, узнавши, что она эти деньги еще не всѣ истратила, подалъ на нее уголовный искъ. Ее засадили. Она сказала, что найденныя у нея деньги—тысячу рублей—она не крала, а что это я, вашъ покорный слуга, ей подарилъ за то, что... ну, за что именно, я вамъ этого не скажу,—чай, сами слышали. Ну-съ... позвали меня на очную ставку съ ней. Точно ли, спрашиваютъ, я дарилъ ей тысячу рублей? И какъ вы думаете, что я отвѣтилъ?... Ха, ха, ха!

— Что вы ей подарили эти деньги! вытаращивъ на Сопѣлкина маленькіе глаза свои, проговорила Любина.

— Да... именно, именно. Я сказалъ, что это правда, что эти деньги я ей подарилъ и надѣюсь, что не нынче—завтра ее выпустятъ!

— Ну, хоть это и глупо потакать воровству, но я понимаю васъ... вы революціонеръ, и это въ вашемъ духѣ! Вы, кажется, и Пулькину готовы потакать! Будете даже рады, если онъ ни копѣйки мнѣ не заплатитъ. Что же это, какъ не воровство: не имѣть въ виду денегъ и занимать?

— Да вѣдь вы мнѣ, тетушка, сто разъ говорили, что у васъ святое правило: никому денегъ взаймы не давать! Зачѣмъ же вы нарушили это святое правило?

— Я его нарушила потому, ну... да потому, что Пулькинъ деньги эти просилъ на свадьбу. Я хотѣла... я имѣла свои причины желать, чтобъ онъ женился на Затаиловой.

— Ну, что жъ, можетъ быть, онъ и женится на Затаиловой.

Почти весь конецъ этого разговора слышала Лиза, стоя на порогѣ комнаты, незамѣчаемая ни Сопѣлкинымъ, который сидѣлъ къ ней спиной, ни взволнованной матерью.

— О чемъ у васъ такой крупный разговоръ идетъ? спросила она, входя за перегородку.

Сопѣлкинъ всталъ и сталъ прощаться. Онъ былъ въ наилучшемъ настроеніи духа, но ему вовсе не хотѣлось слышать повтореніе того, что ужъ и такъ ему порядочно надоѣло. Онъ былъ очень радъ, что вдоволь потѣшилъ демократическую желчь свою, взволновалъ свою великосвѣтскую тетушку и что она не такъ больна, какъ ей кажется.

По уходѣ Сопѣлкина, Анна Петровна притихла, откинула голову на подушку, закатила глаза и стала какъ бы сквозь сонъ, монотонно и томно, слабымъ голосомъ передавать своей дочери все то, что она слышала о ея миломъ Пулькинѣ, которому дочка дозволяетъ входить въ свою комнату, тогда какъ она, ея мать, приказала въ этотъ вечеръ никого не принимать, а стало быть, и этого негоднаго человѣка—Пулькина.

— Это все вздоръ, мама! рѣзко проговорила Лиза.

Анна Петровна раскрыла глаза свои, точно голосъ дочери изумилъ, даже испугалъ ее.

— Это все клевета, изобрѣтенная Шталемъ! Онъ влюбленъ въ Лелю, можетъ быть, самъ думаетъ вступить съ ней въ законное супружество (Клара давно уже ему надоѣла — это дѣло извѣстное!) и Шталь достигъ своей цѣли — Пулькинъ и Леля поссорились. Пулькинъ никогда не женится на дѣвушкѣ, которая вѣритъ всякому нелѣпому слуху, всякой сплетнѣ, всякой клеветѣ!

Анна Петровна приподняла голову и еще пристальнѣе стала смотрѣть на дочь свою.

— Что у тебя на умѣ? говори...

— Да то же, что и было. Если Пулькинъ за меня посватается, я за него выйду замужъ.

Съ Анной Петровной сдѣлалась истерика, она стала и рыдать, и хохотать.

Лиза выбѣжала за водой. Въ дѣвичьей поднялась суматоха; въ полночь экономка поѣхала за докторомъ.

XLVI.

Когда на другой день, утромъ, Лиза встала съ постели и стала передъ зеркаломъ расплетать свои черныя, лоснящіяся косы, ей показалось, что она въ одну эту ночь состарѣлась. Черные глаза ея, окруженные тѣнью, блестѣли, губы были сухи, щеки казались впалыми.

«Кто бы могъ ожидать, думала она, что послѣ такихъ либеральныхъ сентенцій, которыя не разъ выслушивала я изъ устъ моей мамà, сентенцій противъ деспотизма родителей, противъ брака не по любви, а по разсчету, противъ тѣхъ безхарактерныхъ дѣвушекъ, которыя не умѣютъ любить безкорыстно и не умѣютъ прощать мужчинамъ ихъ недостатки и слабости,—кто бы могъ подумать, что мать моя не дастъ мнѣ воли выйти замужъ за того, кто мнѣ нравится! Давно ли, когда Пулькинъ увѣрялъ ее, что можетъ нажить милліонъ, она обнимала меня и жалѣла, что Пулькинъ связалъ себя съ этой Лелей и что она ничего бы такъ не желала, какъ видѣть меня замужемъ за этимъ самымъ Пулькинымъ! И вдругъ—подулъ откуда-то противный вѣтеръ, и я не смѣю даже помышлять о немъ. Неужели мнѣ хитрить и притворяться съ матерью для того, чтобъ не вызвать

опять какой-нибудь новой истерики. Вѣдь, если я начну хитрить и притворяться, кончится тѣмъ, что я убѣгу изъ дому и тайно повѣнчаюсь съ нимъ.

И пока она такъ думала, черепаховый гребень, по старой привычкѣ, машинально ходилъ по волосамъ ея съ легкимъ, чуть слышнымъ потрескиваньемъ отъ накопившагося въ волосахъ электричества. Пальцы работали, шпилки вынимались изъ фарфоровой коробочки и прихватывали то прядь волосъ, то завитокъ ихъ, и, наконецъ, въ видѣ короны, пришпилили чуть не на самое темя такую же черную косу, купленную и заплетенную у куафера Альфреда на Морской.

Не успѣла она прибрать головы своей, какъ въ столовой послышались шаги и голосъ Дымина, спрашивающаго экономку о здоровьи барыни. «Какъ онъ кстати,» подумала Лиза. «Что-то онъ скажетъ?» И поспѣшив надѣть на себя лѣтнюю, сѣрую блузу, съ розовыми, матово-атласистыми лентами, она оглядѣла комнату, приказала горничной убрать ее, и, шурша длиннымъ шлейфомъ, вышла въ столовую.

— Ну, что?—спросила она инженера, стиснувъ руку его, какъ бы въ удостовѣреніе, что онъ одинъ ея другъ, ея помощникъ и ея спасеніе.

— Грустная новость! сказалъ Дыминъ, глядя на нее равнодушно упорными глазами, точно двумя пулями, и не выпуская изъ рукъ своихъ ея бѣлую, влажно-теплую руку.

Лиза поглядѣла на него вопросительно.

— Леля приказала долго жить!

— Умерла!? вскрикнула Лиза и поблѣднѣла.

Дыминъ нагнулъ голову, какъ бы въ извиненіе, что такъ напугалъ ее.

— Когда?...

— Вчера... отвѣтилъ онъ, — воротила Пулькину его браслетъ и умерла.

— Вы видѣли этотъ браслетъ? Вы были у Пулькина?

— Былъ...

— Онъ очень огорченъ? очень?

— Не знаю. Онъ, кажется, себѣ на умѣ,—съ легкой гримасой пробурчалъ себѣ подъ носъ Дыминъ и отошелъ къ чайному столу, гдѣ кипѣлъ самоваръ и гдѣ толстая экономка изъ бутылки переливала сливки въ сливочникъ, куда тотчасъ же попались и двѣ мухи, что заставило ее сдвинуть брови и, можетъ быть, подумать: «ужъ не къ свадьбѣ ли?»

Лиза поняла, что Дыминъ ничего не хочетъ говорить ей при постороннихъ, сѣла на стулъ, повѣсила голову и сказала экономкѣ:

— Луиза Карловна! слышали вы — наша Леля, помните вы Лелю?—умерла!

— Леля! Ай! ахнула старуха Луиза, чуть не выронила изъ рукъ сливочникъ, и оборки чепца ея пришли въ движеніе. Господи мой Богъ! что же это... въ такіе годы... такая молоденькая, хорошенькая! мой Богъ! мой Богъ! Какъ это жалко... Кто это сказалъ, что она умерла?...

— А вотъ,—и движеніемъ головы Лиза показала на Дымина.

— Вы это знаете? это не фальшь!?

— Какая фальшь! Завтра похороны на Митрофаньевскомъ кладбищѣ. Я это узналъ отъ Смакова; приглашали, знаете, снимать портретъ; но, говорятъ, она такъ измѣнилась, бѣдняга, что узнать нельзя! писать было невозможно.

— Вы не повѣрите, какъ мнѣ вдругъ стало жаль ее! вздохнула Лиза.

— Есть у васъ ея фотографическая карточка?

— Да, одна есть, но тоже несовсѣмъ похожа. Солнце постоянно врало, ни одна фотографическая карточка не удавалась ей. Говорятъ, что это дурной знакъ, когда не удаются фотографическія карточки! Съ меня удаются, но... мнѣ кажется, что и мнѣ не долго жить!

Вообще вѣсть о смерти Лели произвела на Лизу далеко не то впечатлѣніе, какого можно было бы ожидать отъ вѣсти, что умерла соперница.

Пришла горничная и сказала, что Анна Петровна проситъ Андрея Петровича зайти къ ней.

— А давно она встала? спросила Лиза.

— Да, онѣ давно уже встали, сидятъ въ уборной и приказали имъ чаю подать.

— Такъ стало быть, она сейчасъ зоветъ меня? А?

— Пожалуйте, онѣ одѣты,—сказала горничная.

— Андрей Петровичъ! Постойте, я пойду съ вами. И затѣмъ, Лиза начала по-французски просить его ничего не говорить мамà о смерти Лели. Она еще такъ слаба, что съ ней опять, чего добраго, сдѣлается истерика.

Дыминъ обѣщался не говорить и пошелъ въ уборную.

Лиза пошла вслѣдъ за нимъ, поздоровалась съ матерью, спросила, легче ли ей, и ушла въ гостиную; тамъ бросилась она въ кресло и глубоко задумалась. Въ первый разъ что-то въ родѣ упрековъ совѣсти шевельнулось въ ея душѣ. «Она умерла...» размышляла Лиза, «потому ли, что повѣрила клеветѣ? или потому, что онъ, можетъ быть, слишкомъ ужъ грубо за это оттолкнулъ ее? Бѣдная Леля! Я бы, кажется, не умерла, если бы онъ оттолкнулъ меня... Я? О, нѣтъ, я бы не умерла! Я бы просто его возненавидѣла... Нѣтъ... я бы не возненавидѣла, я бы стала презирать его. Что значитъ, что Дыминъ проворчалъ (думая, что я не слышу) проворчалъ: «онъ себѣ на умѣ!» Пулькинъ себѣ на умѣ?! что это значитъ? Радъ, что Леля умерла и что онъ нашелъ другую дуру, которая побогаче?

Будетъ ли онъ на похоронахъ ея? А что, если я поѣду къ ней на похороны? Что-жъ, отчего же мнѣ не ѣхать? Не я съ ней поссорилась, она со мной! Да мы и не ссорились, просто не сошлись въ образѣ мыслей. Поѣду завтра къ Митрофанію... къ обѣднѣ, маменька пуститъ. Дыминъ такъ забралъ ее въ руки, что уговоритъ ее. Интересно знать, будетъ ли Пулькинъ плакать по ней въ моемъ присутствіи! Поѣду! непремѣнно поѣду! Бѣдная, бѣдная Лелечка! все-таки ты съ дѣтства была моей подругой... вмѣстѣ играли! вонъ еще въ томъ углу она разъ за гардиной спряталась такъ, что я едва нашла ее и какъ мы тогда смѣялись... какъ были счастливы! Меня будетъ совѣсть мучить, если я не отдамъ ей послѣдняго долга и не поѣду... не помолюсь за упокой души ея!» Лиза набожно перекрестилась, и слезы показались у ней на глазахъ. Разговоръ Дымина съ матерью нисколько въ эту минуту не интересовалъ ее. Она еще не сознавала въ глубинѣ души своей, что ничто такъ не охладило ея страсти къ Пулькину, какъ эта смерть.

XLVII.

На третій день, 10-го мая, въ 9 часовъ утра, послѣ панихиды, молодые люди вынесли на рукахъ своихъ гробъ Лели и поставили его на черныя дроги, подъ балдахинъ съ растрепанными страусовыми перьями. Дроги эти были запряжены парою лошадей съ траурнымъ возницей, въ широкой черной шляпѣ, повитой крепомъ и въ черной мантіи.

По улицамъ проснувшагося города тихо двинулась эта бѣдная, погребальная процессія, безъ священника впереди, безъ пѣвчихъ, безъ блеска и роскоши.

Двѣ наемныя кареты, трое дрожекъ да кучка молодежи сопровождали голубой, обитый серебряными галу-

нами гробъ ея, прикрытый вѣнкомъ изъ цвѣтовъ, вѣнкомъ, присланнымъ заболѣвшимъ сенаторомъ Шталемъ изъ своихъ царскосельскихъ оранжерей, куда наканунѣ посылалъ онъ своего курьера съ запиской къ садовнику.

Сколько людей—тысячи, десятки тысячъ—и идущихъ, и ѣдущихъ встрѣчалось съ этой процессіей! Иные снимали шапки, иные оглядывались и крестились, но никто не спросилъ: «кто умеръ? кого хоронятъ?»

Да и что мудренаго! Случалось мнѣ видѣть въ Питерѣ и не такія погребальныя процессіи! Съ архіерейскими пѣвчими впереди, съ орденами на бархатныхъ подушкахъ, съ сотнями каретъ, съ жандармами... И когда при этомъ случалось мнѣ спрашивать: «кого хоронятъ?» никто въ толпѣ не зналъ имени покойника. «Кто его знаетъ? Енералъ какой-то». Вотъ все, что изъ толпы отвѣчали мнѣ. Такова популярность, такова слава петербургскихъ великихъ людей!

Изъ провожавшихъ Лелю никто уже не плакалъ, всѣ были въ шляпахъ или шапкахъ, но у многихъ лица были сердиты. Явно, что въ головѣ ихъ цвѣтущая красотой Леля и закрытый гробъ никакъ еще не могли примириться между собой, какъ два противоположныхъ понятія, какъ шаръ и прямая линія. Первый можно видѣть и осязать, перебросить съ руки на руку, покатать, положить въ карманъ. Вторая — что она такое? въ природѣ нѣтъ ни видимой, ни осязаемой линіи!

Говорятъ, будто бы на углу Знаменской и Невскаго мелькнула въ толпѣ фигура Пулькина, будто бы онъ снялъ шляпу, перекрестился и исчезъ, когда дроги, переѣхавъ площадь, двинулись вдоль по Лиговкѣ. Если это былъ Пулькинъ, то странно—зачѣмъ приходилъ онъ такъ напрасно, безъ всякой надежды, терзать себя? Или немножко потерзать себя есть неизбѣжная потребность всѣхъ виноватыхъ,

всѣхъ страдающихъ пошляковъ съ романической подкладкой самаго дешеваго качества?

Въ 11 часовъ утра, наша маленькая процессія уже входила въ ворота Митрофаніевскаго кладбища, и затѣмъ все пошло обычнымъ порядкомъ: Заупокойная обѣдня, заказанная Маѳоой Сергѣевной, отпѣваніе, свѣчи и выносъ на кладбище.

Когда опустили гробъ и стали бросать на его крышку песокъ или землю, на самомъ краю могилы появились двѣ никому незнакомыя личности: молодая, стройная, черноглазая дѣвушка, въ сѣромъ платьѣ, подъ чернымъ вуалемъ и инженеръ, въ сюрукѣ съ серебряными погонами.

Она была очень блѣдна, тоже бросила горсть земли и съ любопытствомъ оглядѣла всѣхъ присутствующихъ...

— Изъ этихъ дѣвицъ вы никого не знаете? тихо, на ухо спросила она своего спутника.

— Никого не знаю... отвѣчалъ онъ и взялъ ее подъ локоть, чтобъ отвести отъ этой еще свѣже-разрытой ямы.

— Какъ бы узнать, которая тутъ Юлинька Дицъ?.. Какъ жаль, что вы ея не знаете!

— Почему же жаль?

— Очень бы хотѣлось имѣть понятіе о той, которая... ну, да которая сумѣла отбить отъ меня Лелю... и такъ разсорить насъ... Умная, должно быть!.. Отчего у нихъ у всѣхъ лица такія обыкновенныя? т. е. у женщинъ... Тсъ! это, должно быть, Кроликовъ,—вонъ что сѣлъ на камень у рѣшетки и сгорбился... Я помню его еще гимназистомъ—въ пансіонъ, за кузиной своей приходилъ... такой былъ смѣшной тогда! Онъ и теперь смѣшной...

— Господа! послышался чей-то голосъ со стороны могилы... Кто же скажетъ... хоть что-нибудь?—Эй, Ефименко!

— Что тутъ говорить! про себя, но вслухъ, сокрушенно проговорилъ Кроликовъ.

— У кого вѣнокъ?.. Куда же его положить?

— Все равно—украдутъ...

— Ну, и пусть украдутъ!

— Умековъ!

— Что прикажете?.. Не могу... я такъ измученъ! Къ тому же... горло болитъ...

— У кого теперь не болитъ горло? у всѣхъ болитъ...

Очевидно, что всѣмъ хотѣлось слышать хоть нѣсколько словъ въ память усопшей—и никто не рѣшался...

Наконецъ, на краю полузасыпанной могилы встала блѣдная, точно воскомъ налитая дѣвушка, въ одномъ темно-коричневомъ платьѣ, съ свѣтло-каштановыми, слегка волнистыми волосами, и сдѣлавъ маленькій невольный жестъ кистью руки, начала: «Скажу, что могу—и какъ могу...» Всѣ къ ней подвинулись, могильщики перестали подбрасывать землю, уперлись на лопаты и осклабились.

Юлинька слегка раскраснѣлась и начала говорить громче.

— «Одного изъ насъ сейчасъ спросили: за что именно онъ любилъ покойницу?.. Этотъ вопросъ можетъ быть обращенъ ко всѣмъ намъ, въ особенности ко мнѣ—за что именно я любила нашу милую Лелю?.. Какъ вы знаете, она ничѣмъ особеннымъ не отличалась—въ газетахъ о ней и написать было бы нечего! Скажутъ—она была хорошенькая! но мало ли на свѣтѣ хорошенькихъ? Красота—это такой даръ, за который мы благодарили бы природу, если бы она была разборчивѣе на такіе дары,—но и нравственные уроды часто бываютъ красавцами! Вотъ почему неумѣстно, на чьей бы то ни было могилѣ говорить о физической красотѣ. Пусть, она была хорошенькая! но я не мужчина и даже, какъ думаютъ многіе, не эстетикъ; стало быть, никогда не увлеклась бы хорошенькимъ личикомъ!—За что же я ее любила?—Память у ней была такая несчастная, что она часто забывала то, что выучивала наканунѣ, и, стало быть, я не имѣла

никакой надежды, что со временемъ она станетъ нашей помощницей. Она хотѣла трудиться наравнѣ съ лучшими изъ нашихъ труженицъ; но самое здоровье ея, изнѣженное воспитаніемъ и барскими привычками, не давало ей никакой возможности находить въ трудѣ то наслажденіе, которое почерпаетъ въ немъ всякій здоровый организмъ, жизнію и страстями неиспорченный... Сердце ея наклонно было къ увлеченіямъ, свойственнымъ всякой дѣвушкѣ... Но, господа! Всякая фальшь—на столько, насколько она ее понимала, была противна ей. Если она хваталась за книги и посѣщала лекціи, то вовсе не ради самоуслажденія или ради того, чтобъ выставить себя напоказъ со временемъ, а просто ради того, чтобъ какъ нибудь выбиться на свѣтъ, изъ безполезнаго существа стать полезнымъ. Ей была присуща жажда правды—и эта жажда постоянно ее мучила! Чувства ея были тоже правдивы: лживый человѣкъ, который былъ недостоинъ ея сердца, и тотъ, какъ кажется, никогда не сомнѣвался въ ея искренности! Если онъ когда нибудь навсегда потеряетъ вѣру въ жизнь и во все хорошее—все-таки никогда не забудетъ, что въ этомъ мірѣ онъ встрѣтилъ нѣчто такое, чему не вѣрить не было возможности. Насъ еще очень немного, идущихъ въ путь къ лучшему неизвѣстному. Леля пошла за нами, не имѣя силъ идти! Неужели за это мы бросимъ въ нее камнемъ? И слабые люди на всякомъ пути могутъ быть полезны, если только они честные, неизмѣнные спутники! Вотъ, господа, почему мы всѣ ее любили, почему память о ней надолго сохранимъ, что бы впереди ни ожидало насъ!»

«Да, да! правда! Браво, Дицъ! Больше нечего говорить,—все сказано! Пойдемте, Марфа Сергѣевна! Мертвый мирно въ гробѣ спи, жизнью пользуйся живущій!»—въ перебивку раздавались голоса, группами, среди могилъ, расходящихся дѣвицъ и юношей. Но Лиза Любина

уже не слыхала этихъ голосовъ. Она была поражена. Чѣмъ? простотою рѣчи или ея смысломъ,—скромнымъ видомъ Юлиньки или ея смѣлостью,—намекомъ на Пулькина или просто новизною впечатлѣнія, неожиданностью? Богъ знаетъ!

Дыминъ, который велъ ее подъ руку, молча посадилъ ее въ карету и, сѣвъ рядомъ съ ней, сердито захлопнулъ дверцу. Лошади привстали на дыбы и, поднимая пыль, помчали ихъ.

XLVIII.

Пулькинъ до такой степени былъ убѣжденъ въ своей побѣдѣ надъ сердцемъ Лизы, что даже думалъ—слѣдуетъ или не слѣдуетъ заказать ему, на всякій случай, обручальныя кольца. При первомъ же свиданіи съ Лизой, онъ намѣревался окончательно объясниться съ ней, и если скажетъ она «свататься»—идти свататься! скажетъ: «не надо»—нанять особый вагонъ и увезти ее!

Пулькинъ и не могъ думать иначе послѣ полупризнанія Лизы въ ея комнатѣ и послѣ посѣщенія Дымина. Не только Пулькинъ, всякій на его мѣстѣ могъ бы вообразить себѣ, что эта дѣвушка готова на все, лишь бы принадлежать ему.

Онъ былъ очень доволенъ, что раньше, чѣмъ Леля умерла, онъ успѣлъ уже признаться Лизѣ, что всѣ его отношенія къ Лелѣ Затаиловой порваны и что онъ настолько твердъ, что не приходитъ отъ этого въ отчаяніе.

«Это одно,—думалъ онъ,—можетъ уже вполнѣ оправдать меня... Если умерла Леля, то не я измѣнилъ ей—она. Она повѣрила Шталю. Если же Лиза подумаетъ, что Леля умерла отъ любви ко мнѣ, то кто же виноватъ? Развѣ можно жениться на дѣвушкѣ, которая знаетъ... нѣтъ, не знаетъ, а воображаетъ себѣ, что онъ винов-

никъ смерти отца ея!... Но, что бы то ни было, Лиза влюблена въ меня по уши, а любовь не размышляетъ. Лиза никогда не упрекнетъ меня въ томъ, что я обманулъ ее своимъ состояніемъ, потому что сама же говорила мнѣ, что «успѣхъ все оправдываетъ...» Разъ она будетъ женой моей—кончено! Мои интересы будутъ связаны съ ея интересами, и она сама увидитъ, умѣю-ли я жить съ людьми и пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ?!»

Очевидно, что Пулькинъ выучился размышлять и что, подъ новыми впечатлѣніями, счастливыми и тяжелыми, сладкими и горькими, безнадежными и подсказывающими милліонъ надеждъ, мозги Пулькина значительно усовершенствовались въ этомъ, такъ сказать, канальскомъ направленіи. Они усовершенствовались на столько, что Пулькинъ самъ понялъ, что въ своемъ разговорѣ съ Дыминымъ онъ велъ себя безтактно, слишкомъ увлекся, слишкомъ выказалъ ему свои намѣренія, ему, очевидно, сопернику, какъ видно, не совсѣмъ счастливому и способному вредить ему.

Онъ положилъ не торопиться, не спѣшить ѣхать къ Любинымъ; если можно, постараться сначала встрѣтиться съ горничной, которой по ошибкѣ онъ далъ 25 рублей, и стало быть, думалъ Пулькинъ, достаточно подкупилъ ее, встрѣтиться съ Полей и передать ей записку къ ея барышнѣ; (барышни же любятъ таинственность).

Но сколько разъ ни проходилъ онъ поздно вечеромъ мимо дома Любиныхъ, онъ ни разу не встрѣтилъ этой Поли. Такъ и осталась при немъ записочка къ Лизѣ, гдѣ онъ умолялъ ее на другой день, въ 12 часовъ пріѣхать въ Лѣтній садъ, такъ какъ она единственная дѣвушка въ мірѣ, которая можетъ спасти его.

Если Пулькинъ и не былъ влюбленъ въ Лизу, то, безпрестанно вызывая образъ ея въ своей памяти, онъ

самъ старался о томъ, чтобъ до страсти распалить къ ней свое воображеніе, самъ старался заглушить въ себѣ впечатлѣнія прошлой недѣли—и оскорбленное самолюбіе, и жгучее раскаяніе, и сердечную боль, и смерть...

Хлопоты его по министерству увѣнчались полнымъ успѣхомъ: ему дали не отпускъ, а порученіе, а стало быть дадутъ и деньги на дорогу (помимо жалованья), и отсутствіе его не будетъ ограничено никакимъ срокомъ. Что можетъ быть лучше для человѣка, который собирается увезти генеральскую дочку и гдѣ-нибудь въ провинціи обвѣнчаться съ ней! Не великолѣпно ли съ молодой женой, полной страсти и нѣги, провести лѣто гдѣ-нибудь на Волгѣ, въ какой-нибудь деревенской усадьбѣ, отдаваемой въ наемъ и окруженной стариннымъ дремучимъ садомъ, вдали отъ маменьки Анны Петровны, и тамъ выждать время, когда она уймется, успокоится и сама пожелаетъ видѣть ихъ. «Не великолѣпно-ли это?» думалъ Пулькинъ. Что же еще можетъ быть великолѣпнѣе!

XLIX.

Вечеромъ 17 мая, у Любиной собрались гости. Она же всѣмъ дала знать, что здоровье ея, слава Богу, поправилось и что погода такъ хороша, что она скоро переѣдетъ на дачу.

Анна Петровна была въ духѣ и, помѣстившись въ гостинной на диванчикѣ за трельяжемъ, сидѣла окруженная кавалерами, дамами и дѣвицами. Лиза тоже была весела; Дыминъ былъ въ ударѣ, что-то разсказывалъ, и такъ смѣшилъ, что у Анны Петровны чуть не сдѣлалась колика.

Никто сначала не замѣтилъ, какъ вошелъ Пулькинъ. Пулькинъ тоже не ожидалъ такого собранія, но и онъ

былъ въ ударѣ, а потому и подошелъ къ Аннѣ Петровнѣ съ развязностью человѣка ей близкаго.

Лиза покраснѣла. Анна Петровна почему-то явно изумилась. Ей вообразилось, что Пулькинъ отлично знаетъ, какого она о немъ сквернаго мнѣнія и что, стало быть, онъ никогда не рѣшится такъ, по-просту, ни съ того, ни съ сего, навѣстить ее.

— Ну, теперь баста! сказалъ Дыминъ, какъ бы давая знать гостямъ, что больше онъ смѣшить ихъ не будетъ, всталъ и, не глядя на Пулькина, пожалъ ему руку.

Весело скаля зубы, Пулькинъ поздоровался съ Лизой, сталъ извиняться передъ Анной Петровной, что забылъ ее.

— Не забылъ-съ,—поправилъ онъ самого себя,—а не хотѣлъ, не смѣлъ безпокоить васъ, зналъ, что вы не совсѣмъ здоровы... и очень радъ, что вы поправились, даже помолодѣли!

— Покорно благодарю,—опустивъ рѣсницы, сухо проговорила Любина и кашлянула себѣ въ платокъ. Потомъ достала изъ кармана скляночку съ эфиромъ, открыла ее и понюхала.

Дыминъ, за спиною Пулькина, скорчилъ такую удивленную мину, что опять всѣхъ насмѣшилъ, и вышелъ изъ за-трельяжа. Лиза вышла вслѣдъ за нимъ, за Лизой—гости.

Пулькинъ остался съ Анной Петровной и сѣлъ около нея на диванчикъ.

— Очень рада...—начала Анна Петровна.—Мнѣ легче. Я думала, вы уѣхали...

— Развѣ я могъ бы уѣхать, не простясь съ вами?! А что вы рады мнѣ, то я такъ въ этомъ увѣренъ, — что скорѣй повѣрю, что теперь зима, чѣмъ повѣрю, что вы забыли вамъ преданнаго Пулькина!

Пулькинъ, говоря это, далеко былъ не увѣренъ, что Анна Петровна ему рада.

— Будто?... я не вѣрю ничьей преданности! отвѣчала Любина:—ничьей! Давно ли вы были такъ влюблены... и въ такую чудную, божественную дѣвушку, и такое несчастіе случилось съ вами, а вы... вамъ это какъ-будто все равно!

— Изъ чего вы это заключаете? Я такъ былъ пораженъ ея кончиной, что цѣлую недѣлю никуда не выходилъ изъ дому, даже службой своей манкировалъ; но неужели вы не знаете, что, если бы даже и не умерла она, ничего бы не было. Прежде, чѣмъ Елена Александровна простудилась и заболѣла, я вынужденъ былъ съ ней раскланяться.

— То есть, какъ это—любить и раскланяться?...

— Ахъ, Анна Петровна, насильно милъ не будешь! Можетъ быть, я и самъ не на столько сильно любилъ ее... Любовь—любовью, а честь—честью, Анна Петровна! Къ тому же вы, какъ великодушная женщина, поймете, что я не хотѣлъ лишать ее лучшей участи!

— Какой?

— Выйти замужъ за его превосходительство сенатора Шталя. Онъ, конечно, сумѣлъ въ ея глазахъ оклеветать меня, и помните, я говорилъ вамъ, что онъ неравнодушенъ къ ней; оказалось, что да! Ахъ, Анна Петровна, тяжело мнѣ было! но что же дѣлать?

— Въ сенаторѣ Шталѣ я увѣрена... и я прошу васъ... ничего не говорить о немъ!

Пулькинъ замолчалъ, поглядѣлъ искоса на Анну Петровну и положилъ ногу на ногу. «Гм!... подумалъ онъ, и тутъ интриги... Ее тоже увѣрили, что я человѣкъ безъ всякаго состоянія».

— А когда вы за вашимъ наслѣдствомъ ѣдете? помолчавъ, сказала Любина.

— На-дняхъ... Отпускъ уже у меня въ карманѣ... Я пріѣхалъ проститься съ вами.

— И что же вамъ пишутъ?... Пищетъ вамъ что-нибудь вашъ повѣренный?

— Что пишетъ,—зоветъ меня! Впрочемъ, дѣло и безъ меня идетъ...

Увѣренный тонъ, съ какимъ все это проговорилъ Пулькинъ, озадачилъ Любину, даже поселилъ въ ней какую-то смутную надежду получить отъ Пулькина 3,400 рублей.

— Вотъ вы какъ говорите, Александръ Васильевичъ!.. А у меня былъ одинъ господинъ, — я вамъ не назову его,—такъ тотъ божится и крестится, что вы никогда не будете въ состояніи уплатить мнѣ этихъ денегъ! Признаюсь вамъ, слышать это мнѣ было не очень пріятно!...

— Да и мнѣ слышать это не очень пріятно-съ!! Но пусть его божится; если вы мнѣ вѣрите, то чего же больше? Одно жаль, Анна Петровна, вы дали мнѣ слово никому не говорить объ этомъ одолженіи.

— У меня есть друзья, отъ которыхъ я ничего не скрываю! съ достоинствомъ проговорила Анна Петровна.

— Да вѣдь и я считалъ васъ въ числѣ друзей моихъ!...

Анна Петровна потупилась и даже чуть-чуть покраснѣла, точно институтка, которой сдѣлали на ухо признаніе въ любви.

Пулькинъ всталъ и вышелъ на середину гостиной.

— Андрей Петровичъ, я тогда былъ у васъ и не засталъ... и очень радъ, что не засталъ, сказалъ онъ Дымину.

— Когда же вы были? удивился Дыминъ.

— Да на другой день... Помните?

— Не помню.

Лиза улыбнулась и закусила губку. Она сидѣла у окна и разговаривала съ какой-то дѣвицей, съ розовымъ лицомъ и въ розовомъ платьѣ. Лиза была одѣта очень просто, но бѣлая шея ея была обвита нитями довольно крупнаго, настоящаго жемчуга.

— Вы теперь секретаремъ? спросилъ Пулькина бывшій лицеистъ со стеклышкомъ въ глазу.

— Да.

— А какъ жалованье?

— Жалованье—вздоръ. Нельзя жить на 120 рублей въ мѣсяцъ. Я и не добивался этого мѣста, но оно тѣмъ хорошо, что съ этого мѣста скорѣе можно двигаться впередъ, чѣмъ съ мѣста столоначальника.

— О, не всегда! серьезнымъ тономъ дѣльца возразилъ юный карьеристъ; все зависитъ отъ протекціи!

— Конечно, все зависитъ отъ протекціи,—согласился Пулькинъ.

— Пойдемте чай пить,—проговорила Любина, проходя въ залу и подзывая Дымина.

Пулькинъ подошелъ къ Лизѣ, сталъ съ нею разговаривать, и сердце его глухо заныло. Лиза глядѣла ему въ лицо—но точно разглядывала его, точно она никогда его не видала и ей интересно было знать, что за лицо, какой носъ, какіе глаза и какія губы у этого Пулькина.

Пулькинъ не могъ не почувствовать, что такъ не глядятъ влюбленныя дѣвушки.

— Вы какъ будто похудѣли, Лизавета Михайловна?!

— Не знаю, можетъ быть. Смерть Лели, признаюсь вамъ, очень меня опечалила. Все-таки она была добрая и правдивая дѣвушка! Неужели вы, m-r Пулькинъ, не были даже на похоронахъ ея? Это ужъ непростительно!

— А кто же вамъ сказалъ, что я не былъ?

— Я васъ спрашиваю—были вы или не были?

— Да, я былъ на Митрофаніевскомъ кладбищѣ.

— А! такъ вы были!

Пулькинъ поглядѣлъ ей въ глаза. Эти черные глаза глядѣли на него насмѣшливо, и слегка вздернутый носикъ Лизы показался ему такимъ задорнымъ, какимъ онъ никогда не видалъ его.

— Я былъ, но не тогда, какъ... началъ было Пулькинъ.

— Натали, пойдемъ въ столовую,—проговорила Лиза своей розовой гостьѣ, толкнувъ ее локоткомъ, и проговорила такимъ тономъ, который отозвался въ душѣ Пулькина чѣмъ-то въ родѣ слѣдующаго: что тутъ съ нимъ толковать—пойдемъ!

Смущенный Пулькинъ поглядѣлъ на нее исподлобья, но, не встрѣтивъ ни улыбки, ни взгляда, сталъ глядѣть въ окно на улицу, ничего не видя, разумѣется. Всѣ ушли, онъ остался одинъ въ гостиной.

«Что это значитъ? подумалъ онъ:—притворство или испытаніе?»

Когда онъ вошелъ въ столовую, всѣ уже сидѣли вокругъ стола, и всѣ мѣста были уже заняты. Онъ сталъ за стуломъ одной какой-то барыни и началъ съ высоты своего роста оглядывать лица присутствующихъ.

Лиза разливала чай. Анна Петровна помѣстилась за самоваромъ и первая, минуты три спустя, замѣтила Пулькина.

Ему хотѣлось уйти, но не хотѣлось показаться обиженнымъ, и онъ рѣшился остаться до конца вечера.

— Лиза! сказала хозяйка, вели изъ залы стулъ принесть. Пулькинъ! что вы стоите? Садитесь.

— Не безпокойтесь! Я самъ себѣ сейчасъ принесу стулъ.

Онъ проворно вышелъ въ залу, одной рукой, за ножку поднялъ легонькій, плетеный стулъ, и, какъ бы играя имъ, внесъ его въ столовую. Онъ уже понялъ, что онъ очерненъ такъ, какъ только можетъ быть очерненъ благородный человѣкъ, и ему хотѣлось хоть подурачиться, повертѣть стуломъ надъ головой, чтобъ хоть этимъ обратить на себя вниманіе.

Но никто и на это не обратилъ ни малѣйшаго вниманія.

— Лизавета Михайловна, не наливайте мнѣ чаю.

— Отчего же вы не хотите?

Пулькинъ ничего на это не отвѣтилъ и поставилъ свой стулъ тоже за самоваромъ, гдѣ была хозяйка дома.

L.

— Извините, Александръ Васильевичъ, начала Любина, когда уже почти всѣ ея гости напились чаю, нѣкоторые встали съ мѣстъ, нѣкоторые оставались на мѣстахъ, и говоръ бесѣды слышался отчасти въ залѣ, сопровождаемый смѣхомъ Лизы и ея пріятельницъ, отчасти въ столовой, посреди запаха закуриваемыхъ папиросъ и фосфорныхъ спичекъ. Извините, что я такъ не кстати заговорила съ вами о вашемъ долгѣ. Во-первыхъ, еще далеко до срока и я не имѣю права... во-вторыхъ, вы еще не устроились. Но если я заговорила объ этомъ, то на это есть причины.

— Вотъ эти то причины мнѣ бы и хотѣлось знать! перебилъ ее Пулькинъ. Про меня столько клеветъ, столько клеветъ распускаютъ по городу, что вы представить себѣ не можете.

— Я никогда никакимъ клеветамъ не вѣрю! съ достоинствомъ произнесла Любина.

— Такъ какія же это причины?

— А то что... такъ какъ вы не женитесь, то я полагала, что всѣхъ денегъ вы еще не истратили... и можетъ быть, хоть половиною изъ нихъ... можете ссудить меня...

— Я ничего почти на себя не истратилъ, и деньги... послалъ моему повѣренному на веденіе дѣлъ моихъ... Вы знаете...

— Ну... можетъ быть... можетъ быть... я виновата... не столько я виновата, сколько мои денежныя обстоятель-

ства. Денегъ, положенныхъ въ банкъ на имя моей дочери, я не въ правѣ тронуть... а между тѣмъ... моя Лиза... Но это подъ секретомъ, Александръ Васильевичъ... Я это... какъ другу сообщаю вамъ... въ надеждѣ, что это между нами...

У Пулькина сжалось сердце.

— Дочь моя не сегодня-завтра выходитъ замужъ...

У Пулькина позеленѣло въ глазахъ.

— За Дымина! пробормоталъ онъ.

Анна Петровна не безъ тайнаго наслажденія поглядѣла на перемѣну, происшедшую въ лицѣ Пулькина.

— Почему вы такъ думаете?

— Я такъ думаю.

— Да... вздохнула Анна Петровна, не такого желала бы я жениха... но что же дѣлать! Я либералка, я дала слово своей дочери ни въ чемъ не стѣснять ея сердечныхъ склонностей... Пусть выходитъ, коли онъ такъ любъ ей!... Что дѣлать! Вы сами знаете, можетъ ли въ нашъ вѣкъ мать бороться съ сердцемъ дочери...

— Она... развѣ влюблена въ него? пробормоталъ несчастный Пулькинъ...

— Ну... да... что прикажете дѣлать!.. я давно уже это замѣчала и сдерживала, на сколько это было возможно...

— Поздравляю васъ... Можно мнѣ будетъ ее поздравить... вы позволите?

— Ахъ... не теперь!... Этого еще никто не знаетъ, и я бы не желала, чтобъ дочь моя упрекнула меня въ излишней съ вами откровенности!... Мнѣ ужъ и такъ надоѣли эти упреки! вы представить себѣ не можете... Но неужели вы ничего не знали?...

Глаза у Пулькина загорѣлись... кровь прилила къ головѣ его.

— Я догадывался... да... Дыминъ былъ у меня и давалъ мнѣ 15,000 съ тѣмъ, чтобы я написалъ ему, что

я не люблю Лизаветы Михайловны... Но на это я сказалъ ему, что я не возьму милліона... что это... подло... низко! Извините меня, Анна Петровна! То, что я сію минуту сказалъ вамъ, невольно съ языка сорвалось!..

Анна Петровна вытянулась, опустила рѣсницы, углы рта ея тоже опустились, она задумалась.

Пулькинъ всталъ, попросилъ у кого-то спичку, закурилъ папироску и вышелъ въ залу.

— Александръ Васельевичъ, не хотите ли на зеленое поле, сразиться? сказалъ ему Дыминъ, подавая карты.

— Нѣтъ, я играть не буду... отвѣтилъ Пулькинъ.

Дыминъ тотчасъ же понялъ, отчего онъ не хочетъ играть, и отошелъ.

Пулькинъ сталъ блуждать изъ комнаты въ комнату... Лиза, увы! была уже для него почти такою же, какою была она въ январѣ. Ни одного лишняго взгляда, ни кокетства съ нимъ, ни привѣта, ни досады, ни даже смущенія—ничего!

Кавалеры усѣлись за карты. Анна Петровна прилегла на диванчикъ и уже казалась разстроенной.

Лиза раскрыла рояль и стала развертывать ноты; но вдругъ что-то вспомнила и прошла въ столовую, вѣроятно затѣмъ, чтобъ выдать опредѣленное число кусковъ сахару для прислуги.

Пулькинъ услыхалъ знакомое позвякиванье ключей въ рукѣ ея, и захвативъ свою шляпу, тоже вошелъ въ столовую.

— Лизавета Михайловна!..

— Ахъ, это вы?... Я на васъ сердита! равнодушно-весело, запирая жестянку съ сахаромъ, произнесла она.

— За что?

— За то, что вы не были на похоронахъ у Лели!...

— Ну... Богъ съ вами! сердитесь вы или не сердитесь... Мы съ вами не увидимся, и такъ какъ мы уже

больше съ вами не увидимся, то... имѣю честь поздравить васъ!..

Лиза поглядѣла на него, какъ бы любуясь имъ или его смущеніемъ.

— Спасибо,—сказала она:—но... при этомъ, что-жъ вы мнѣ пожелаете?

— Ничего... Прощайте!

Онъ вѣжливо поклонился, вышелъ въ переднюю и услыхалъ за собою хохотъ Лизы.

Изъ того хаоса, который воцарился въ этотъ вечеръ и на всю ночь въ головѣ нашего Пулькина, можно было выловить только слѣдующія мысли или отрывистыя разсужденія:

«Все ложь... не я одинъ! Все пропало! Ни мечты... ни надежды! Пустота!.. Чортъ ее возьми! Змѣя она... Мстить имъ, лгать еще больше, вдвое, втрое больше лгать, чтобъ совсѣмъ ихъ съ толку сбить... вотъ что нужно!... Какая страсть, подумаешь!.. Гмъ, хотѣла бѣжать со мной!... Или я самъ глупъ, зачѣмъ не послушался Дымина и прежде его не посватался! Ей лишь бы замужъ! Гдѣ же любовь?... Ахъ, Леля, Леля!»

На другой день Пулькинъ всталъ на себя не похожъ—у него разлилась желчь.

LI.

Въ концѣ мая, въ одинъ теплый, но хмурый денекъ, когда, по выраженію старыхъ матросовъ, изъ синяго неба даже матросскихъ штановъ нельзя выкроить, въ 10 часовъ утра, изъ Петербурга по Николаевской желѣзной дорогѣ, двинулся пассажирскій поѣздъ.

Съ этимъ поѣздомъ, въ вагонѣ перваго класса, въ темно-зеленой фуражкѣ, съ козырькомъ и кокардой на черномъ бархатномъ околышѣ, съ ремнемъ черезъ плечо,

на которомъ висѣла англійской работы новая сафьянная сумка, и въ высокихъ, какъ бы охотничьихъ сапогахъ, двигался нашъ герой Александръ Васильевичъ Пулькинъ.

Онъ былъ эффектенъ, но никто не пріѣхалъ проводить его, да онъ и не желалъ никакихъ проводовъ. У него не было ни одного друга, ни одного искренняго пріятеля. Да и не мудрено:—тотъ, кто самому себѣ подчасъ не вѣритъ, не повѣрилъ бы никакому безкорыстному чувству. Пулькинъ до такой степени убѣжденъ былъ, что безъ денегъ ни любви, ни дружбы на свѣтѣ нѣтъ, что всѣхъ этихъ благъ надѣялся достичь—если не дѣйствительнымъ богатствомъ, то хоть прикидываясь богатымъ.

Какъ уже извѣстно, дѣйствительнаго богатства у него и въ поминѣ не было; играть же роль невозможно, когда уже всѣ знаютъ и говорятъ. Пулькину такъ казалось, что всѣ знаютъ и говорятъ, что у него ничего нѣтъ, ни кола, ни двора, и что пускаетъ онъ пыль въ глаза, «яко благъ, яко нагъ, яко нѣтъ ничего!»

Онъ только-что вылечился отъ своей желчной лихорадки, но былъ еще худъ, и такъ какъ въ вагонѣ ни одного лица не было ему знакомаго, онъ сидѣлъ въ уголкѣ, и повѣсивъ носъ свой, то читалъ газету, то глядѣлъ въ окно, то задумывался.

«Вотъ пріѣдетъ къ осени Буганинъ, думалъ онъ—я долженъ буду найти себѣ другую квартиру... Положимъ, я найму себѣ три комнаты... будутъ ли у меня средства омеблировать ихъ... какъ буду жить я на 120 рублей въ мѣсяцъ, когда я чуть ли не 6,000 прожилъ въ пять мѣсяцевъ! Неужели тогда всѣмъ не будетъ ясно, что не только двухъ сотъ тысячъ—лишнихъ ста рублей нѣтъ у меня въ карманѣ! А Любина? Что если она мою росписку да подастъ ко взысканію?!... будутъ изъ жалованья вычитать... Какого же искать кредита? Кто повѣритъ мнѣ и что подумаетъ Савишинъ? Нѣтъ, я погибъ... и погибъ

окончательно! Въ лицѣ Лели погибло для меня все святое и честное, въ лицѣ Лизы отвернулось отъ меня все пустое и пошлое петербургское общество—ничего нѣтъ... ничего, ничего!»

По правую отъ него руку, у другаго окна, около желѣзнаго цилиндра, или печки, которою зимой отапливали вагонъ, сидѣла дама—блѣдная, черноглазая, въ бурнусикѣ и въ черной кружевной косынкѣ, которою она поиспански накрыла себѣ голову. Шляпка ея, картонка, ящичекъ, узелокъ тряслись передъ ней за рѣшетчатой полкой, а желѣзный цилиндръ печки, вздрагивая при каждомъ подскакиваньѣ колесъ, тихо издавалъ тотъ самый металлическій звукъ, который дребежжитъ въ нашихъ ушахъ, когда по улицѣ везутъ желѣзныя полосы.

Дама эта была — Клара, предметъ привязанности Шталя, привязанности неизмѣнной, по мнѣнію либеральной Анны Петровны Любиной, а потому и простительной.

Какъ-разъ за день до смерти Лели, она пришла къ Шталю и сказала: «прощайте, другъ мой, Карлъ Иванычъ, я хочу уѣхать».

Если бы Карлъ Иванычъ сказалъ ей: «не уѣзжайте» она тотчасъ же сняла бы шляпку, вернулась въ свою комнату и въ уголокъ на прежнее мѣсто поставила бы зонтикъ свой. Но Карлъ Иванычъ сказалъ: «очень радъ, милѣйшая, что вы отъ меня уѣзжаете. Я вамъ надоѣлъ, да и по правдѣ сказать, можетъ и то случиться, что вы будете стѣснять меня... Разстанемся безъ всякихъ кривляній. Вы еще молоды, и кто знаетъ, еще выйдете замужъ; а не выйдете замужъ, у васъ есть деньги, и старость ваша обезпечена... Прощайте, милѣйшая!» И Шталь, по-родительски поцѣловавъ ее, передалъ ей пакетъ съ акціями рязанской желѣзной дороги, о повышеніи которыхъ и не снилось почтенному Карлу Ивановичу.

Клара собрала свои вещи, сначала переѣхала на ба-

сонную фабрику къ одной своей дальней родственницѣ—женѣ фабриканта, потомъ взяла билетъ на желѣзную дорогу и на все лѣто поѣхала въ деревню, гдѣ жила у ней родная тетка, тоже нѣмка, въ качествѣ довѣренной старухи, заправляющей какою-то княжескою усадьбою. Она же писала Кларѣ, что усадьба все лѣто будетъ пуста, такъ какъ княгиня-хозяйка и вся семья ея уѣхали за границу, и что есть гдѣ помѣститься ей и отдохнуть.

Уложившись въ вагонѣ по-дорожному и совершенно освоившись съ своимъ мѣстомъ, Клара откинула назадъ свою голову, полузакрыла глаза, вытянула ножки и стала смотрѣть на Пулькина.

«Боже мой! думала она, похоже ли на то, чтобъ этотъ человѣкъ приходилъ къ Шталю для того, чтобы за меня свататься? Онъ даже не узнаетъ меня! А тогда, лѣтъ восемь тому назадъ, когда и по Волгѣ, и по этой самой дорогѣ, до самаго Петербурга онъ сопровождалъ меня и не отходилъ отъ меня, какой онъ былъ милый, веселый, влюбчивый! Перламутровый крестикъ подарилъ мнѣ на память... Я еще помню его гимназистомъ, помню, какъ онъ пріѣзжалъ въ деревню къ своимъ кузинамъ Орѣшниковымъ... Кажется, отецъ его былъ не то становымъ, не то частнымъ приставомъ. Зачѣмъ онъ приходилъ къ Шталю, отчего вышелъ отъ него съ такимъ разстроеннымъ лицомъ?»

Такъ думала про себя Клара, и что же мудренаго, что она всякій разъ, когда выходила на платформу какой-нибудь станціи или встрѣчалась съ Пулькинымъ въ дверяхъ вагона, невольно устремляла на него черные, блестящіе глаза свои и, такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, не могла не заинтриговать его.

Мы уже знаемъ, что Пулькинъ, который могъ въ одно и то же время страдать и плакать отъ разлуки съ Лелей и наслаждаться свиданіемъ съ Амальхенъ, вовсе

не былъ изъ числа тѣхъ пуританъ или платониковъ, которые въ горѣ пренебрегаютъ случаемъ забыться или разсѣяться; онъ рѣшился подойти къ ней и сказать ей:

«Извините, но... мнѣ кажется, я гдѣ-то имѣлъ уже удовольствіе видѣть васъ».

Но не такъ онъ началъ.

— Позвольте-съ мнѣ закурить папиросу—дымъ не безпокоитъ васъ?

— Курите,—отвѣчала Клара.

— Извините... ваше лицо напоминаетъ мнѣ что-то очень знакомое... можетъ быть, я ошибаюсь, но...

— Немудрено, г-нъ Пулькинъ,—вашъ перламутровый крестикъ до сихъ поръ я берегу на память.

— Какой крестикъ на память? изумился Пулькинъ.

— Тотъ, который вы подарили мнѣ.

— Я вамъ подарилъ? Я? продолжалъ изумляться Пулькинъ.

— Да, вы...

— И вы знаете меня, знаете мою фамилію?

— О, да...

Пулькинъ подсѣлъ къ ней — и Клара заговорила. У ней иногда былъ поэтическій складъ рѣчи—не даромъ же она такъ много читала нѣмецкихъ поэтовъ — и Пулькинъ все вспомнилъ и невольно вздохнулъ объ этой порѣ своей юности, когда въ карманѣ его при въѣздѣ въ пышную столицу было не больше 20 рублей, а въ сердцѣ и въ головѣ такъ много теплоты и радужныхъ фантазій. Тогда всѣ знали, что онъ бѣдный молодой человѣкъ; онъ даже хвастался иногда своею бѣдностью, и сколько было дѣвушекъ, которыя ему улыбались, сколько было пріятелей!

— Зачѣмъ вы были у Шталя? спросила его подъ вечеръ Клара, когда, поужинавъ на станціи, они опять усѣлись въ вагонъ, и когда все темное, сырое, сѣрое,

туманное—дымъ, паръ, кочки, ельникъ, столбы проносились мимо ихъ окна съ быстротою почти неуловимою, а ясный мѣсяцъ неподвижно стоялъ на небѣ и глядѣлъ на нихъ.

Пулькинъ былъ въ такомъ настроеніи духа, что разсказалъ ей исторію страстной любви своей къ Лелѣ Затаиловой,—любви, погубленной навѣтами—яко бы злостными и несправедливыми навѣтами Шталя и заключилъ:

— О, если бы не Шталь! Если бы онъ не отравилъ ее ядовитой клеветой своей, она бы жила, и я былъ бы счастливъ!

Все это было такъ разсказано, съ такимъ чувствомъ, что Клара чуть не прослезилась, и не безъ сердечнаго сочувствія, крѣпко-крѣпко пожала ему руку. Съ этой минуты между Пулькинымъ и Кларой начался обмѣнъ всяческихъ признаній и самообличеній, искреннихъ и простодушныхъ въ устахъ Клары, пламенно-фальшивыхъ въ устахъ нашего бѣднаго Пулькина.

Въ Твери они остановились въ одной и той же гостиницѣ, затѣмъ вмѣстѣ, въ ожиданіи парохода, гуляли по городскому саду, наконецъ вмѣстѣ сѣли на пароходъ;—и берега Волги, пока еще далеко не живописные, поплыли мимо ихъ съ своими пашнями, рытвинами, овинами и далеко, среди лѣсовъ и сумерокъ, мелькающими колокольнями.

Въ одну холодную ночь Пулькинъ лежалъ у себя въ каютѣ, закутавшись въ байковое одѣяло и, закрывшись пледомъ, думалъ: «ужъ не кладъ ли такъ нечаянно и такъ неожиданно дается мнѣ въ руки!... Спрашиваетъ, что дѣлать ей со своимъ капиталомъ? Ха... что дѣлать?... Дать мнѣ въ руки распорядиться съ нимъ. Если нужно, я и ее возьму въ придачу—кажется, добрая. Гм... мы не одному Шталю, мы всѣмъ имъ носъ утремъ; не только двумъ стамъ тысячамъ—милліонамъ моимъ заставлю по-

вѣрить ихъ. Дуракъ я буду, если не воспользуюсь этимъ случаемъ!»

И вотъ, началась для Пулькина новая полоса жизни. Одна повѣсть кончилась, началась другая,— повѣсть о томъ, какъ Пулькинъ фигурировалъ у себя на родинѣ, какъ дурачилъ онъ родныхъ своихъ, какіе гражданскіе подвиги оказалъ онъ, ознакомившись вполнѣ съ тѣмъ дѣломъ (по поводу перестройки какихъ-то казенныхъ зданій), ради котораго онъ былъ посланъ высшимъ начальствомъ (Савишинъ же увѣрялъ, что Пулькинъ, какъ человѣкъ богатый, не польстится на казенныя деньги), и— повѣсть о томъ, съ какими препятствіями и успѣхами сталъ онъ ухаживать за разбогатѣвшей Кларой. Пусть всѣ эти событія вообразятъ себѣ тѣ изъ числа нашихъ читателей, для которыхъ выяснился образъ нашего милаго Пулькина. Скажемъ только въ заключеніе, что осенью того же 1865 года Пулькинъ вернулся въ Питеръ, не для того, чтобъ унывать и ежиться, а для того, чтобъ окончательно завоевать себѣ мѣсто среди людей состоятельныхъ и посрамить враговъ своихъ.

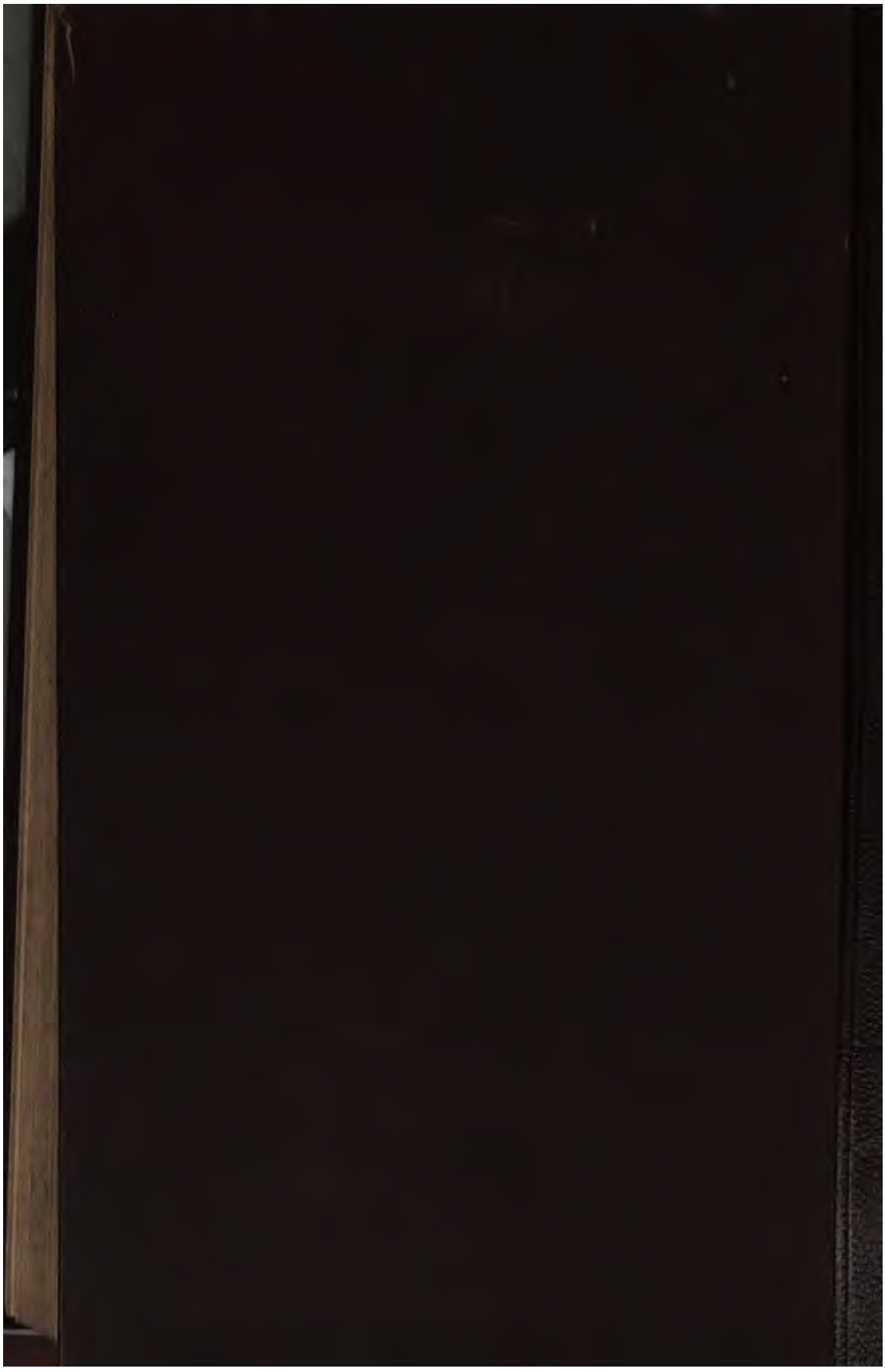
Прошло съ тѣхъ поръ около одиннадцати лѣтъ, и Пулькинъ не только посрамилъ враговъ своихъ, но сталъ на дружескую ногу съ нашими великими воротилами: банкирами, концессіонерами, финансистами, знаменитыми адвокатами, доморощенными политиками и бюрократическими дипломатами. Богъ знаетъ, откуда брались у него деньги, а съ деньгами выростало и вліяніе! Что Пулькинъ рыцарь честности, въ этомъ уже нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Пулькинъ началъ съ того, что при всѣхъ, въ департаментѣ, запечаталъ въ конвертъ 3,500 рублей и попросилъ экзекутора свезти этотъ должокъ ея превосходительству, Аннѣ Петровнѣ Любиной, и получить росписку; Буганину же, который прожилъ за границей 37,000 и вернулся въ свою квартиру (на Караванную)

безъ копѣйки, Пулькинъ даже и не напомнилъ о томъ, что онъ, Буганинъ, долженъ ему за выкупъ мебели. Черезъ Савишина онъ переслалъ 1,000 рублей въ пользу какого-то благотворительнаго заведенія, находящагося подъ попечительствомъ вліятельной Клеопатры Антоновны, и, наконецъ, совершенно нечаянно сдѣлался управителемъ всѣхъ ея домовъ и имѣній. Нѣкоторые увѣряютъ, что, когда умретъ эта Клеопарта Антоновна, единственный наслѣдникъ ея—Буганинъ, надѣющійся на милліоны, тоже совершенно нечаянно убѣдится, что всего состоянія его многомилліонной тетушки не хватитъ на покрытіе долговъ (на ея имя сдѣланныхъ Пулькинымъ), и обанкрутится до того, что за границей перестанутъ ему вѣрить въ гостиницахъ, а старые друзья-аристократы будутъ иногда изъ жалости выручать его.

Николашка хотя и не выросъ, но весьма возмужалъ, по-прежнему расторопенъ, умѣренно-жаденъ и уже благоговѣйно глядитъ на своего новаго барина Александра Васильевича. Сопѣлкинъ растолстѣлъ, получаетъ около 4,000 жалованья, женился на гувернанткѣ, которую онъ взялъ для своей Степы, обѣщающей быть и красавицей, и капризной, продувной барышней. Сопѣлкинъ отъ нея въ восторгѣ, но съ Пулькинымъ не видится, и не безъ нѣкоторой зависти заочно язвитъ его. Любина въ непримиримой враждѣ со своей Лизой и ея супругомъ; о Пулькинѣ же говоритъ не иначе, какъ поднимая глаза свои къ небу, и очень сожалѣетъ, что онъ не зять ея: она очень постарѣла; но портретъ ея, когда-то написанный Смаковымъ, все еще кажется ей старше ея по крайней мѣрѣ лѣтъ на десять. Недавно слышалъ я, что Пулькинъ, тоже должно быть *нечаянно*, купилъ себѣ въ Питерѣ пятиэтажный домъ съ магазинами, надбавилъ на жильцовъ по сту рублей, и изъ провинціи выписалъ къ себѣ жену свою Клару, рѣдкую изъ женъ—

терпѣливую, послушную и увѣренную, что благороднѣе Пулькина нѣтъ на свѣтѣ ни единаго смертнаго, хотя этотъ Пулькинъ держалъ ее постоянно въ одномъ изъ имѣній Клеопатры Антоновны и посѣщалъ ее наѣздами, раза два, три въ годъ—не болѣе, а въ Питерѣ постоянно слылъ за холостяка, да и теперь еще говоритъ, что ему отъ петербургскихъ барынь отбоя нѣтъ.

Такъ современный нашъ пріобрѣтатель, въ наше просвѣщенное время, оказывается гораздо счастливѣе стараго пріобрѣтателя—Чичикова, не встрѣчаетъ никакихъ подводныхъ камней и на всѣхъ парусахъ несется къ личному обогащенію. Жалкое время—жалкое общество!!

КОНЕЦЪ.

Stanford University Libraries
3 6105 006 079 714